



ЛУНА И ГРОШ
ТЕАТР

СОМЕРСЕТ
МОЭМ



СОМЕРСЕТ
МОЭМ



ЛУНА И ГРОШ
•
ТЕАТР

СОМЕРСЕТ МОЭМ

ЛУНА И ГРОШ • ТЕАТР • РАССКАЗЫ



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1 9 8 3

*Перевод с английского
Н. Ман и Г. Островской*

Моэм С.

М 74

Луна и грош. Театр. Рассказы; Пер. с англ.
Н. Ман и Г. Островской.— М.: Правда,
1983.— 576 с.

В книгу известного английского писателя Уильяма Сомерсета Моэма (1874—1965) включены два его популярных произведения «Луна и грош» (1919), «Театр» (1937) и рассказы, в которых дается реалистическая панорама жизни английского общества первой половины двадцатого века.

М $\frac{4703\ 000\ 000}{080(02)-83}$ без объявл.—83

84.4 Вл

ЛУНА И ГРОШ



Глава первая

Когда я познакомился с Чарлзом Стриклендом, мне, по правде говоря, и в голову не пришло, что он какой-то необыкновенный человек. А сейчас вряд ли кто станет отрицать его величие. Я имею в виду не величие удачливого политика или прославленного полководца, ибо оно относится скорее к месту, занимаемому человеком, чем к нему самому, и перемена обстоятельств нередко низводит это величие до весьма скромных размеров. Премьер-министр вне своего министерства сплошь и рядом оказывается болтливым фанфароном, а генерал без армии — всего-навсего пошловатым провинциальным львом. Величие Чарлза Стрикленда было подлинным величием. Вам может не нравиться его искусство, но равнодушны вы к нему не останетесь. Оно вас поражает, приковывает к себе. Прошли времена, когда оно было предметом насмешки, и теперь уже не считается признаком эксцентричности отстаивать его или извращенностью — его превозносить. Недостатки, ему свойственные, признаны необходимым дополнением его достоинств. Правда, идут еще споры о месте этого художника в искусстве, и весьма вероятно, что славословия его почитателей столь же безосновательны, как и пренебрежительные отзывы хулителей. Одно несомненно — это творения гения. Мне думается, что самое интересное в искусстве — личность художника, и если она оригинальна, то я готов простить ему тысячи ошибок. Веласкес как художник был, вероятно, выше Эль Греко, но к нему привыкаешь и уже не так восхищаешься им, тогда как чувственный и трагический критянин открывает нам вечную жертвенность своей

души. Актер, художник, поэт или музыкант своим искусством, возвышенным или прекрасным, удовлетворяет эстетическое чувство; но это варварское удовлетворение, оно сродни половому инстинкту, ибо он отдает вам еще и самого себя. Его тайна увлекательна, как детективный роман. Это загадка, которую не разгадать, все равно как загадку вселенной. Самая незначительная из работ Стрикленда свидетельствует о личности художника — своеобразной, сложной, мученической. Это-то и не оставляет равнодушными к его картинам даже тех, кому они не по вкусу, и это же пробудило столь острый интерес к его жизни, к особенностям его характера.

Со дня смерти Стрикленда не прошло и четырех лет, когда Морис Гюре опубликовал в «Меркюр де Франс» статью, которая спасла от забвения этого художника. По тропе, проложенной Гюре, устремились с большим или меньшим рвением многие известные литераторы: уже долгое время ни к одному критику во Франции так не прислушивались, да и, правда, его доводы не могли не произвести впечатления; они казались экстравагантными, но последующие критические работы подтвердили его мнение, и слава Чарльза Стрикленда с тех пор зиждется на фундаменте, заложенном этим французом.

То, как забрезжила эта слава,— пожалуй, один из самых романтических эпизодов в истории искусства. Но я не собираюсь заниматься разбором искусства Чарльза Стрикленда или лишь постольку, поскольку оно характеризует его личность. Я не могу согласиться с художниками, спесиво утверждающими, что непосвященный обязательно ничего не смыслит в живописи и должен откликаться на нее только молчанием или чековой книжкой. Нелепейшее заблуждение — почитать искусство за ремесло, до конца понятное только ремесленнику. Искусство — это манифестация чувств, а чувство говорит общепринятым языком. Согласен я только с тем, что критика, лишенная практического понимания технологии искусства, редко высказывает сколько-нибудь значительные суждения, а мое невежество в живописи беспредельно. По счастью, мне нет надобности пускаться в подобную авантюру, так как мой друг мистер Эдуард Леггат, талантливый писатель и превосходный художник, исчерпывающе проанализировал творчество

Стрикленда в своей небольшой книжке¹, которую я бы назвал образцом изящного стиля, культивируемого во Франции со значительно бóльшим успехом, нежели в Англии.

Морис Гюре в своей знаменитой статье дал жизнеописание Стрикленда, рассчитанное на то, чтобы возбудить в публике интерес и любопытство. Одержимый бескорыстной страстью к искусству, он стремился привлечь внимание истинных знатоков к таланту, необыкновенно своеобразному, но был слишком хорошим журналистом, чтобы не знать, что «чисто человеческий интерес» способствует скорейшему достижению этой цели. И когда те, кто некогда встречались со Стриклендом,—писатели, знавшие его в Лондоне, художники, сидевшие с ним бок о бок в кафе на Монмартре—к своему удивлению открыли, что тот, кто жил среди них и кого они принимали за жалкого неудачника,—подлинный Гений, в журналы Франции и Америки хлынул поток статей. Эти воспоминания и восхваления, подливая масла в огонь, не удовлетворяли любопытства публики, а только еще больше его разжигали. Тема была благодарная, и усердный Вейтбрехт-Ротгольц в своей внушительной монографии² привел уже длинный список высказываний о Стрикленде.

В человеке заложена способность к мифотворчеству. Поэтому люди, алчно впитывая в себя ошеломляющие или таинственные рассказы о жизни тех, что выделились из среды себе подобных, творят легенду и сами же проникаются фанатической верой в нее. Это бунт романтики против заурядности жизни.

Человек, о котором сложена легенда, получает паспорт на бессмертие. Иронический философ усмехается при мысли, что человечество благоговейно хранит память о сэре Уолтере Рали, водрузившем английский флаг в до того неведомых землях, не за этот подвиг, а за то, что он бросил свой плащ под ноги королевы-девушницы. Чарлз Стрикленд жил в безвестности. У него было больше врагов, чем друзей. Поэтому писавшие о нем старались всевозможными домыслами пополнить

¹ Эдуард Леггат, современный художник. Заметки о творчестве Чарлза Стрикленда, изд. Мартина Зекера, 1917. (*Прим. автора.*)

² Вейтбрехт-Ротгольц, доктор философии. Карл Стрикленд. Его жизнь и искусство, изд. Швингель и Ганиш. Лейпциг, 1914. (*Прим. автора.*)

свои скудные воспоминания, хотя и в том малом, что было о нем известно, нашлось бы довольно материала для романтического повествования. Много в его жизни было странного и страшного, натура у него была неистовая, судьба обходилась с ним безжалостно. И легенда о нем мало-помалу обросла такими подробностями, что разумный историк никогда не отважился бы на нее посягнуть.

Но преподобный Роберт Стрикленд не был разумным историком. Он писал биографию своего отца¹, видимо, лишь затем, чтобы «разъяснить некоторые получившие хождение неточности», касающиеся второй половины его жизни и «причинившие немало горя людям, живым еще и поныне». Конечно, многое из того, что рассказывалось о жизни Стрикленда, не могло не шокировать почтенное семейство. Я от души забавлялся, читая труд Стрикленда-сына, и меня это даже радовало, ибо он был крайне сер и скучен. Роберт Стрикленд нарисовал портрет заботливейшего мужа и отца, добродушного малого, трудолюбца и глубоко нравственного человека. Современный служитель церкви достиг изумительной сноровки в науке, называемой, если я не ошибаюсь, экзогезой (толкованием текста), а ловкость, с которой пастор Стрикленд «интерпретировал» все факты из жизни отца, «не устраивающие» почтительного сына, несомненно, сулит ему в будущем высокое положение в церковной иерархии. Мысленно я уже видел лиловые епископские чулки на его мускулистых икрах. Это была затея смелая, но рискованная. Легенда немало способствовала росту славы его отца, ибо одних влекло к искусству Стрикленда отвращение, которое они испытывали к нему как личности, других — сострадание, которое им внушала его гибель, а посему благонамеренные усилия сына странным образом охладили пыл почитателей отца. Не случайно же «Самаритянка»², одна из значительнейших работ Стрикленда, после дискуссии, вызванной опубликованием новой биографии, стоила на 235 фунтов дешевле, чем девять месяцев назад, когда ее

¹ Книга «Стрикленд. Человек и его труд», написанная сыном Стрикленда Робертом, изд. Уильяма Хейнемана, 1913. (Прим. автора.)

² Эта картина описана в каталоге Кристи следующим образом: «Обнаженная женщина, уроженка островов Товарищества, лежит на берегу ручья на фоне тропического пейзажа с пальмами, бананами и т. д.»; 60 дюймов × 48 дюймов. (Прим. автора.)

купил известный коллекционер, вскоре внезапно скончавшийся, отчего картина и пошла опять с молотка.

Возможно, что стриклендову искусству не достало бы своеобразия и могучей притягательной силы, чтобы оправиться от такого удара, если бы человечество, приверженное к мифу, с досадой не отбросило версии, посягнувшей на наше пристрастие к необычному, тем более что вскоре вышла в свет работа доктора Вейтбрехта-Ротгольца, рассеявшая все горестные сомнения любителей искусства.

Доктор Вейтбрехт-Ротголец принадлежит к школе историков, которая не только принимает на веру, что человеческая натура насквозь порочна, но старается еще больше очернить ее. И, конечно, представители этой школы доставляют куда больше удовольствия читателю, чем коварные историки, предпочитающие выводить людей недюжинных, овеванных дымкой романтики, в качестве образцов семейной добродетели. Меня, например, очень огорчила бы мысль, что Антония и Клеопатру не связывало ничего, кроме экономических интересов. И, право, понадобились бы необычайно убедительные доказательства, чтобы заставить меня поверить, будто Тиберий был не менее благонамеренным монархом, чем король Георг V.

Доктор Вейтбрехт-Ротголец в таких выражениях расправился с добродетельнейшей биографией, вышедшей из-под пера его преподобия Роберта Стрикленда, что, право же, становилось жаль злополучного пастыря. Его деликатность была объявлена лицемерием, его уклончивое многословие — сплошным враньем, его умолчания — предательством. На основании мелких погрешностей против истины, достойных порицания у писателя, но вполне простительных сыну, вся англосаксонская раса разносилась в пух и прах за ханжество, глупость, претенциозность, коварство и мошеннические проделки. Я лично считаю, что мистер Стрикленд поступил опрометчиво, когда для опровержения слухов о «неладах» между его отцом и матерью сослался на письмо Чарлза Стрикленда из Парижа, в котором тот называл ее «достойной женщиной», ибо доктор Вейтбрехт-Ротголец раздобыл и опубликовал факсимиле этого письма, в котором черным по белому стояло: «Черт бы побрал мою жену. Она достойная женщина. Но я бы предпочел, чтобы она уже была в аду». Надо

сказать, что церковь во времена своего величия поступала с неугодными ей свидетельствами иначе.

Доктор Вейтбрехт-Ротгольц был пламенным поклонником Чарлза Стрикленда, и читателю не грозила опасность, что он будет всеми способами его обелять. Кроме того, Вейтбрехт-Ротгольц умел безошибочно подмечать низкие мотивы внешне благопристойных действий. Психопатолог в той же мере, что и искусствовед, он отлично разбирался в мире подсознательного. Ни одному мистiku не удавалось лучше прозреть скрытый смысл в обыденном. Мистик видит несказанное, психопатолог — то, о чем не говорят. Это было увлекательное занятие: следить, с каким рвением ученый автор выискивал малейшие подробности, могущие опозорить его героя. Он захлебывался от восторга, когда ему удавалось вытащить на свет божий еще один пример жестокости или низости, и ликовал, как инквизитор, отправивший на костер еретика, когда какая-нибудь давно позабытая история подрывала сыновний пиетет его преподобия Роберта Стрикленда. Трудолюбие его достойно изумления. Ни одна мелочь не ускользнула от него, и мы можем быть уверены, что если Чарлз Стрикленд когда-нибудь не заплатил по счету прачечной, то этот счет будет приведен *in extenso*¹, а если ему случилось не отдать взятые займы полкроны, то уж ни одна деталь этого преступного правонарушения не будет упущена.

Глава вторая

Раз так много написано о Чарлзе Стрикленде, то стоит ли еще и мне писать о нем? Памятник художнику — его творения. Правда, я знал его ближе, чем многие другие: впервые я встретился с ним до того, как он стал художником, и нередко виделся с ним в Париже, где ему жилось так трудно. И все же я никогда не написал бы воспоминаний о нем, если бы случайности войны не забросили меня на Таити. Там, как известно, провел он свои последние годы, и там я познакомился с людьми, которые близко знали его. Таким образом, мне представилась возможность пролить свет на ту пору его трагиче-

¹ Полностью (лат.).

ской жизни, которая оставалась сравнительно темной. Если Стрикленд, как многие считают, и вправду великий художник, то, разумеется, интересно послушать рассказы тех, кто изо дня в день встречался с ним. Чего бы мы не дали теперь за воспоминания человека, знавшего Эль Греко не хуже, чем я Чарлза Стрикленда?

Впрочем, я не уверен, что все эти оговорки так уж нужны. Не помню, какой мудрец советовал людям во имя душевного равновесия дважды в день проделывать то, что им неприятно; лично я в точности выполняю это предписание, ибо каждый день встаю и каждый день ложусь в постель. Но будучи по натуре склонным к аскетизму, я еженедельно изнуряю свою плоть еще более жестоким способом, а именно: читаю литературное приложение к «Таймсу».

Поистине это душеспасительная епитимья — размышлять об огромном количестве книг, вышедших в свет, о сладостных надеждах, которые возлагают на них авторы, и о судьбе, ожидающей эти книги. Много ли шансов у отдельной книги пробить себе дорогу в этой сутолоке? А если ей даже сужден успех, то ведь ненадолго. Один бог знает, какое страдание перенес автор, какой горький опыт остался у него за плечами, какие сердечные боли терзали его, и все лишь для того, чтобы его книга часок-другой поразвлекла случайного читателя или помогла ему разогнать дорожную скуку. А ведь если судить по рецензиям, многие из этих книг превосходно написаны, авторами вложено в них немало мыслей, а некоторые — плод неустанного труда целой жизни. Из всего этого я делаю вывод, что удовлетворения писатель должен искать только в самой работе и в освобождении от груза своих мыслей, оставаясь равнодушным ко всему привходящему — к хуле и хвале, к успеху и провалу.

Но вместе с войной пришло новое отношение к вещам. Молодежь поклонилась богам, в наше время неведомым, и теперь уже ясно видно направление, по которому двинутся те, кто будет жить после нас. Младшее поколение, неутомимое и сознающее свою силу, уже не стучится в двери — оно ворвалось и уселось на наши места. Воздух сотрясается от их крика. Старцы подражают повадкам молодежи и силятся уверить себя, что их время еще не прошло. Они шумят заодно с юнцами, но из их ртов вырывается не воинственный

клич, а жалобный писк; они похожи на старых распутниц, с помощью румян и пудры старающихся вернуть себе былую юность. Более мудрые с достоинством идут своей дорогой. В их сдержанной улыбке проглядывает снисходительная насмешка. Они помнят, что в свое время так же шумно и презрительно вытесняли предшествующее, уже усталое поколение, и предвидят, что нынешним бойким факельщикам вскоре тоже придется уступить свое место. Последнего слова не существует. Новый завет был уже стар, когда Ниневия возносила к небу свое величие. Смелые слова, которые кажутся столь новыми тому, кто их произносит, были, и почти с теми же интонациями, произнесены уже сотни раз. Маятник раскачивается взад и вперед. Движение неизменно совершается по кругу.

Бывает, что человек зажился и из времени, в котором ему принадлежало определенное место, попал в чужое время,— тогда это одна из забавнейших сцен в человеческой комедии. Ну кто, к примеру, помнит теперь о Джордже Краббе? А он был знаменитый поэт в свое время, и человечество признавало его гений с единодушием, в наше более сложное время уже немыслимым. Он был выучеником Александра Попа и писал нравоучительные рассказы рифмованными двустихиями. Но разразилась французская революция, затем наполеоновские войны, и поэты запели новые песни. Крабб продолжал писать нравоучительные рассказы рифмованными двустихиями. Надо думать, он читал стихи юнцов, учинивших такой переполох в мире, и считал их вздором. Конечно, многое в этих стихах и было вздором. Но оды Китса и Вордсворта, несколько поэм Колриджа и, еще в большей степени, Шелли открыли человечеству ранее неведомые и обширные области духа. Мистер Крабб был глуп, как баран: он продолжал писать нравоучительные истории рифмованными двустихиями. Я прочитываю иногда то, что пишут молодые. Может быть, более пылкий Китс и более возвышенный Шелли уже выпустили в свет новые творения, которые навек запомнит благодарное человечество. Не знаю. Я восхищаюсь тщательностью, с которой они отделывают то, что выходит у них из-под пера,— юность эта так закончена, что говорить об обещаниях, конечно, уже не приходится. Я дивлюсь совершенству их стиля; но все их словесные богатства (сразу видно, что в детстве они заглядывали в «Сокровищницу» Роджета) ничего не

говорят мне. На мой взгляд, они знают слишком много и чувствуют слишком поверхностно; я не терплю сердечности, с которой они похлопывают меня по спине, и взволнованности, с которой бросаются мне на грудь. Их страсть кажется мне худосочной, их мечты — скучноватыми. Я их не люблю. Я завяз в другом времени. Я по-прежнему буду писать нравоучительные истории рифмованными двустихиями. Но я был бы трижды дурак, если б делал это не только для собственного развлечения.

Глава третья

Но все это между прочим.

Я был очень молод, когда написал свою первую книгу.

По счастливой случайности она привлекла к себе внимание, и различные люди стали искать знакомства со мной.

Не без грусти предаюсь я воспоминаниям о литературном мире Лондона той поры, когда я, робкий и взволнованный, ступил в его пределы. Давно уже я не бывал в Лондоне, и если романы точно описывают характерные его черты, то, значит, многое там изменилось. И кварталы, в которых главным образом протекает литературная жизнь, теперь иные. Гемпстед, Ноттинг-Хилл-Гейт, Гайстрит и Кенсингтон уступили место Челси и Блумсбери. В те времена писатель моложе сорока лет привлекал к себе внимание, теперь писатели старше двадцати пяти лет — комические фигуры. Тогда мы конфузились своих чувств, и страх показаться смешным смягчал проявления самонадеянности. Не думаю, чтобы тогдашняя богема очень уж заботилась о строгости нравов, но я не помню и такой неразборчивости, какая, видимо, процветает теперь. Мы не считали себя лицемерами, если покров молчания прикрывал наши безрассудства. Называть вещи своими именами у нас не считалось обязательным, да и женщины в ту пору еще не научились самостоятельности.

Я жил неподалеку от вокзала Виктория и совершал долгие путешествия в омнибусе, отправляясь в гости к радушным литераторам. Прежде чем набраться храбрости и дернуть звонок, я долго шагал взад и вперед по улице и потом, замирая от страха, входил в душную

комнату, битком набитую народом. Меня представляли то одной, то другой знаменитости, и я краснел до корней волос, выслушивая добрые слова о своей книге. Я чувствовал, что от меня ждут остроумных реплик, но таковые приходили мне в голову лишь по окончании вечера. Чтобы скрыть свою робость, я усердно передавал соседям чай и плохо нарезанные бутерброды. Мне хотелось остаться незамеченным, чтобы спокойно наблюдать за этими великими людьми, спокойно слушать их умные речи.

Мне помнятся дородные чопорные дамы, носатые, с жадными глазами, на которых платья выглядели как доспехи, и субтильные, похожие на мышек, старые девы с кротким голоском и колючим взглядом. Я точно зачарованный смотрел, с каким упорством они, не сняв перчаток, поглощают поджаренный хлеб и потом небрежно вытирают пальцы о стулья, воображая, что никто этого не замечает. Для мебели это, конечно, было плохо, но хозяйка, надо думать, отыгрывалась на стульях своих друзей, когда, в свою очередь, бывала у них в гостях. Некоторые из этих дам одевались по моде и уверяли, что не желают ходить чучелами только оттого, что пишут романы: если у тебя изящная фигура, то старайся это подчеркнуть, а красивые туфли на маленькой ножке не помешали еще ни одному издателю купить у тебя твою «продукцию». Другие, напротив, считая такую точку зрения легкомысленной, наряжались в платья фабричного производства и нацепляли на себя поистине варварские украшения. Мужчины, как правило, имели вполне корректный вид. Они хотели выглядеть светскими людьми и при случае вправду могли сойти за старших конторщиков солидной фирмы. Вид у них всегда был утомленный. Я никогда прежде не видел писателей, и они казались мне несколько странными и даже какими-то ненастоящими.

Их разговор я находил блистательным и с удивлением слушал, как они поносили любого собрата по перу, едва только он повернется к ним спиной. Преимущество людей артистического склада заключается в том, что друзья дают им повод для насмешек не только своим внешним видом или характером, но и своими трудами. Я был убежден, что никогда не научусь выражать свои мысли так изящно и легко, как они. В те времена разговор считали искусством; меткий, находчивый ответ

ценился выше подспудного глубокомыслия, и эпиграмма, еще не ставшая механическим приспособлением для переплавки глупости в остроумие, оживляла салонную болтовню. К сожалению, я не могу припомнить ничего из этих словесных фейерверков. Но мне думается, что беседы становились всего оживленнее, когда они касались чисто коммерческой стороны нашей профессии. Обсудив достоинства новой книги, мы, естественно, начинали говорить о том, сколько экземпляров ее распродано, какой аванс получен автором и сколько еще дохода она ему принесет. Далее речь неизменно заходила об издателях, щедрость одного противопоставлялась мелочности другого; мы обсуждали, с каким из них лучше иметь дело: с тем, кто не скупится на гонорары, или с тем, кто умеет «протолкнуть» любую книгу. Одни умели рекламировать автора, другим это не удавалось. У одного издателя был нюх на современность, другого отличала старомодность. Затем разговор перескакивал на комиссионеров, на заказы, которые они добывали для нас, на редакторов газет, на характер нужных им статей, на то, сколько платят за тысячу слов и как платят — аккуратно или задерживают гонорар. Мне все это казалось весьма романтичным. Я чувствовал себя членом некоего тайного братства.

Глава четвертая

Никто не принимал во мне тогда больше участия, чем Роза Уотерфорд. Мужской ум соединялся в ней с женским своеобразием, а романы, выходившие из-под ее пера, смущали читателей своей оригинальностью. У нее-то я и встретил жену Чарлза Стрикленда. Мисс Уотерфорд устраивала званый чай, и в ее комнатке набилось полным-полно народу. Все оживленно болтали, и я, молча сидевший в сторонке, чувствовал себя прескверно, но был слишком робок, чтобы присоединиться к той или иной группе гостей, казалось, всецело поглощенных собственными делами. Мисс Уотерфорд, как гостеприимная хозяйка, видя мое замешательство, поспешила мне на помощь.

— Вам надо поговорить с миссис Стрикленд,— сказала она.— Она в восторге от вашей книги.

— Чем занимается миссис Стрикленд? — осведомился я.

Я отдавал себе отчет в своем невежестве, и если миссис Стрикленд была известной писательницей, то мне следовало узнать это прежде, чем вступить с нею в разговор.

Роза Уотерфорд потупилась, чтобы придать больший эффект своим словам.

— Она угощает гостей завтраками. Если вы будете иметь успех, приглашение вам обеспечено.

Роза Уотерфорд была циником. Жизнь представлялась ей оказией для писания романов, а люди — необходимым сырьем. Время от времени она отбирала из этого сырья тех, кто восхищался ее талантом, зазывала их к себе и принимала весьма радушно. Беззлобно подсмеиваясь над их слабостью к знаменитым людям, она тем не менее умело разыгрывала перед ними роль прославленной писательницы.

Представленный миссис Стрикленд, я минут десять беседовал с нею с глазу на глаз. Я не заметил в ней ничего примечательного, разве что приятный голос. Она жила в Вестминстере, и окна ее квартиры выходили на недостроенную церковь; я жил в тех же краях, и это обстоятельство заставило нас почувствовать взаимное расположение. Универсальный магазин Армии и Флота служит связующим звеном для всех, кто живет между Темзой и Сент-Джеймским парком. Миссис Стрикленд спросила мой адрес, и несколькими днями позднее я получил приглашение к завтраку.

Я редко получал приглашения и потому принял его с удовольствием. Когда я пришел с небольшим опозданием, так как из страха явиться слишком рано три раза обошел кругом церкви, общество было уже в полном сборе: мисс Уотерфорд, миссис Джей, Ричард Туайнинг и Джордж Род. Словом, одни писатели. Стоял погожий весенний день, и настроение у собравшихся было отличное. Разговоры шли обо всем на свете. На мисс Уотерфорд, разрывавшейся между эстетическими представлениями ее юности (строгое зеленое платье, нарциссы в руках) и ветреностью зрелых лет (высокие каблуки и парижские туалеты), была новая шляпа. Это придавало ее речам необыкновенную резвость. Никогда еще она так зло не отзывалась о наших общих друзьях. Миссис Джей, убежденная, что непристойность — душа остроумия, полушепотом отпускала остроуты, способные вогнать в краску даже белоснежную скатерть. Ричард

Туайнинг все время нес какую-то чепуху, а Джордж Род в горделивом сознании, что ему нет надобности щеголять своим остроумием, уже вошедшим в поговорку, открывал рот только затем, чтобы положить в него лакомый кусочек. Миссис Стрикленд говорила немного, но у нее был бесценный дар поддерживать общую беседу: чуть наступала пауза, она весьма кстати вставляла какое-нибудь замечание, и разговор снова оживлялся. Высокая, полная, но не толстая, лет так тридцати семи, она не отличалась красотой, но смугловатое лицо ее было приятно, главным образом из-за добрых карих глаз. Темные волосы она тщательно причесывала, не злоупотребляла косметикой и по сравнению с двумя другими дамами выглядела простой и безыскусной.

Убранство ее столовой было очень строго, в соответствии с хорошим вкусом того времени. Высокая белая панель по стенам и на зеленых обоях гравюры Уистлера в изящных черных рамках. Зеленые портьеры с узором «павлиний глаз» строгими прямыми линиями ниспадали на зеленый же ковер, по углам которого среди пышных деревьев развились блеклые кролики — несомненное влияние картин Уильяма Морриса. Каминная доска была уставлена синим голландским фарфором. В те времена в Лондоне нашлось бы не меньше пятисот столовых, убранных в том же стиле — скромно, артистично и уныло.

Я вышел оттуда вместе с мисс Уотерфорд. Чудесный день и ее новая шляпа определили наше решение побродить по парку.

— Что ж, мы премило провели время, — сказал я.

— А как вы находите завтрак? Я внушила ей, что если хочешь видеть у себя писателей, то надо ставить хорошее угощение.

— Мудрый совет, — отвечал я. — Но на что ей писатели?

Мисс Уотерфорд пожала плечами.

— Она их считает занимательными и не хочет отставать от моды. Она очень простодушна, бедняжка, и воображает, что все мы необыкновенные люди. Ей нравится кормить нас завтраками, а мы от этого ничего не теряем. Потому-то я и чувствую к ней симпатию.

Оглядываясь назад, я думаю, что миссис Стрикленд была еще самой безобидной из всех охотников за знаменитостями, преследующих свою добычу от изыс-

канных высот Гемпстеда до захудалых студий на Чейн-Уок. Юность она тихо провела в провинции, и книги, присылаемые ей из столичной библиотеки, пленяли ее не только своей собственной романтикой, но и романтикой Лондона. У нее была подлинная страсть к чтению (редкая в людях, интересующихся больше авторами, чем их творениями, больше художниками, чем их картинами), она жила в воображаемом мире, пользуясь свободой, недоступной для нее в повседневности. Когда она познакомилась с писателями, ей стало казаться, что она попала на сцену, которую прежде видела только из зрительного зала. Она так их идеализировала, что ей и вправду думалось, будто, принимая их у себя или навещая их, она живет иною, более возвышенной жизнью. Правила, согласно которым они вели свою жизненную игру, ее не смущали, но она ни на мгновение не собиралась подчинить им свою собственную жизнь. Их вольные нравы, так же как необычная манера одеваться, их нелепые теории и парадоксы занимали ее, но ни в какой мере не влияли на ее убеждения.

— Скажите, а существует ли мистер Стрикленд? — поинтересовался я.

— О, конечно; он что-то делает в Сити. Кажется, биржевой маклер. Скучнейший малый!

— И они в хороших отношениях?

— Обожают друг друга. Вы его увидите, если она пригласит вас к обеду. Но у них редко обедают посторонние. Он человек смирный. И нисколько не интересуется литературой и искусством.

— Почему это милые женщины так часто выходят за скучных мужчин?

— Потому что умные мужчины не женятся на милых женщинах.

Я ничего не смог на это возразить и спросил, есть ли у миссис Стрикленд дети.

— Да, девочка и мальчик. Оба учатся в школе.

Тема была исчерпана, и мы заговорили о другом.

Глава пятая

В течение лета я довольно часто виделся с миссис Стрикленд. Я посещал ее приятные интимные завтраки и куда более торжественные чаепития. Мы искренне

симпатизировали друг другу. Я был очень молод, и, возможно, ей льстила мысль, будто она руководит моими первыми шагами на многотрудном поприще литературы, мне же было приятно сознавать, что есть человек, к которому я всегда могу пойти с любимыми моими заботами в уверенности, что меня внимательно выслушают и дадут разумный совет. У миссис Стрикленд был дар сочувствия. Прекрасное качество, но те, кто его сознает в себе, нередко им злоупотребляют; с алчностью вампира впиваются они в беды друзей, лишь бы найти применение своему таланту. Они обрушивают на свои жертвы сочувствие, оно бьет точно нефтяной фонтан, еще хуже запутывая их дела. На иную грудь пролито уже столько слез, что я бы не решился увлажнять ее еще своими. Миссис Стрикленд не злоупотребляла этим даром, но, принимая ее сочувствие, вы явно доставляли ей радость. Когда я с юношеской непосредственностью поделился этим наблюдением с Розой Уотерфорд, она сказала:

— Молоко пить приятно, особенно с бренди, но корова жаждет от него избавиться. Разбухшее вымя — пренеприятная штука.

У Розы Уотерфорд язык был, как шпанская мушка. Никто не умел злее съязвить, но, с другой стороны, никто не мог наговорить более милых слов.

В миссис Стрикленд мне нравилась еще одна черта — ее умение элегантно жить. В доме у нее всегда было очень чисто и уютно, повсюду пестрели цветы, и кретон в гостиной, несмотря на строгий рисунок, выглядел светло и радостно. Кушанья у нее были отлично приготовлены, стол маленькой артистичной столовой — изящно сервирован, обе горничные щегольски одеты и миловидны. Сразу бросалось в глаза, что миссис Стрикленд — превосходная хозяйка. И уж, конечно, превосходная мать. Гостиную украшали фотографии ее детей. Сын Роберт, юноша лет шестнадцати, учился в Регби; на одной фотографии он был снят во фланелевом спортивном костюме, на другой — во фраке, со стоячим воротничком. У него, как и у матери, был чистый лоб и красивые задумчивые глаза. Он производил впечатление чистоплотного, здорового, вполне заурядного юноши.

— Не думаю, чтобы он был очень умен, — сказала она однажды, заметив, что я вглядываюсь в фотографию, — но зато он добрый и славный мальчик.

Дочери было четырнадцать лет. Ее волосы, темные и густые, как у матери, волнами спадали на плечи. И у нее тоже лицо было доброе, а глаза безмятежные.

— Они оба — ваш портрет, — сказал я.

— Да, они больше похожи на меня, чем на отца.

— Почему вы так и не познакомили меня с вашим мужем? — спросил я.

— Вы этого хотите?

Она улыбнулась — улыбка у нее и правда была прелестная — и слегка покраснела. Я всегда удивлялся, что женщина ее возраста так легко краснеет. Но наивность была, пожалуй, главным ее очарованием.

— Он ведь совсем чужд литературе, — сказала она. — Настоящий обыватель.

Она сказала это без тени пренебрежительности, скорее нежно, словно стараясь защитить его от нападок своих друзей.

— Он служит на бирже, типичнейший биржевой маклер. Вы с ним умрете с тоски.

— Вы тоже скучаете с ним?

— Нет, но ведь я его жена. И я очень к нему привязана.

Она улыбнулась, стараясь скрыть свое смущение, и мне показалось, что она боится, как бы я не отпустил какой-нибудь шуточки в духе Розы Уотерфорд. Она помолчала. В глазах у нее светилась нежность.

— Он не воображает себя гением и даже не очень много зарабатывает на бирже. Но он удивительно хороший и добрый человек.

— Думаю, что мне он придется по душе.

— Я приглашу вас как-нибудь отобедать с нами в семейном кругу, но если вам будет скучно, пеняйте на себя.

Глава шестая

Обстоятельства сложились так, что, встретившись наконец с Чарлзом Стриклендом, я толком не познакомился с ним. Однажды утром мне принесли письмецо миссис Стрикленд, в котором говорилось, что сегодня вечером она ждет гостей к обеду, и так как один из ранее приглашенных не может прийти, она предлагает мне занять его место. В записке стояло:

«Считаю своим долгом предупредить вас, что скука будет отчаянная. По составу гостей это неизбежно. Но если вы все-таки придете, я буду бесконечно вам признательна. Мы улучим минутку и поболтаем с глазу на глаз».

Я решил, что добрососедские отношения велят мне явиться.

Когда миссис Стрикленд представила меня своему мужу, он довольно сухо пожал мне руку.

Живо обернувшись к нему, она шутливо заметила:
— Я пригласила его, чтобы показать, что у меня действительно есть муж. По-моему, он уже начал в этом сомневаться.

Стрикленд учтиво улыбнулся; так улыбаются в ответ на шутку, в которой нет ничего смешного, но ни слова не сказал. Новые гости отвлекли от меня внимание хозяйина, и я снова был предоставлен самому себе. Когда все были уже в сборе и я занимал разговором даму, которую мне было назначено вести к столу, мне невольно подумалось, что цивилизованные люди невероятно изобретательны в способах расходовать свою краткую жизнь на докучные церемонии. Это был один из тех обедов, когда невольно дивишься: зачем хозяйка утруждает себя приемом гостей и зачем гости взяли на себя труд прийти к ней. За столом было десять человек. Они встретились равнодушно, и разойтись им предстояло со вздохом облегчения. Такой обед был отбыванием светской повинности. Стрикленды «должны» были пригласить отобедать этих людей, ничуть им не интересных. Они выполняли свой долг, а гости—свой. Почему? Чтобы избежать скуки сидеть за столом tête-à-tête, чтобы дать отдохнуть прислуге, потому что не было резонов отказать или потому что хозяева «задолжали» им обед?

В столовой было довольно-таки тесно. За столом сидели известный адвокат с супругой, правительственный чиновник с супругой, сестра миссис Стрикленд с мужем, полковником Мак-Эндрю, и супруга одного члена парламента. Так как сам член парламента решил, что в этот день ему нельзя отлучиться из палаты, то на его место пригласили меня. В респектабельности этой компании было что-то невыносимое. Женщины были слишком манерны, чтобы быть хорошо одетыми, и

слишком уверены в своем положении, чтобы быть занимательными. Мужчины являли собой воплощенную солидность. От них так и веяло самодовольством.

Все говорили несколько громче обычного, повинувшись инстинктивному желанию оживить общество, и в комнате стоял шум. Но общий разговор не клеился. Каждый обращался только к своему соседу: к соседу справа — во время закуски, супа и рыбы, к соседу слева — во время жаркого, овощей и десерта. Говорили о политике и гольфе, о детях и последней премьере, о картинах, выставленных в Королевской академии, о погоде и планах на лето. Разговоры не утомляли ни на одно мгновение, и шум усиливался. Миссис Стрикленд имела все основания радоваться — обед удался на славу. Муж ее с достоинством играл роль хозяина. Пожалуй, он был только слишком молчалив, и под конец мне показалось, что на лицах обеих его соседок появилось выражение усталости. Видимо, он им наскучил. Раз или два тревожный взгляд миссис Стрикленд останавливался на нем.

После десерта она поднялась, и дамы гуськом последовали за нею в гостиную. Стрикленд закрыл за ними дверь и, перейдя на другой конец стола, сел между известным адвокатом и правительственным чиновником. Он налил всем по рюмке портвейна и стал угощать нас сигарами. Адвокат нашел вино превосходным, и Стрикленд сообщил, где оно куплено. Разговор завертелся вокруг вин и табака. Потом адвокат рассказал о судебном процессе, который он вел, а полковник стал распространяться об игре в поло. Мне нечего было сказать, и я сидел молча, стараясь из учтивости выказывать интерес к разговору других; никому не было до меня дела, и я стал на досуге разглядывать Стрикленда. Он оказался выше, чем я думал; почему-то я воображал, что Стрикленд — худощавый, невзрачный человек; на деле он был широкоплеч, грузен, руки и ноги у него были большие, и вечерний костюм сидел на нем мешковато. Чем-то он напоминал принарядившегося кучера. Это был мужчина лет сорока, отнюдь не красавец, но и не урод; черты лица его, довольно правильные, но странно крупные, производили невыгодное впечатление. Он был чисто выбрит, и его большое лицо казалось неприятно обнаженным. Волосы у него были рыжеватые, коротко остриженные, глаза не то серые, не то

голубые. В общем, внешность самая заурядная. Я понял, почему миссис Стрикленд немного стеснялась его: не такой муж нужен женщине, стремящейся добиться положения в обществе литераторов и артистов. Он был явно лишен светского лоска, но это качество не обязательное; он даже не выделялся какими-нибудь чудачествами. Это был просто добродушный, скучный, честный, заурядный малый. Некоторые его качества, может быть, и заслуживали похвалы, но стремиться к общению с ним было невозможно. Он был равен нулю. Пусть он добропорядочный член общества, хороший муж и отец, честный маклер, но терять на него время, право же, не стоило!

Глава седьмая

Сезон уже подходил к своему пыльному концу, и все вокруг готовились к отъезду. Миссис Стрикленд с семьей собиралась в Норфолк, там дети могли наслаждаться морем, а супруг — игрою в гольф. Мы с нею распростились, уговорившись встретиться осенью. Но накануне своего отъезда я столкнулся с нею и ее детьми в дверях магазина; она, как и я, делала последние закупки перед отъездом из Лондона и, так же, как я, чувствовала себя усталой и разгоряченной. Я предложил им пойти в парк и поесть мороженого.

Миссис Стрикленд, вероятно, была рада показать мне своих детей и с готовностью согласилась на мое предложение. Дети ее в жизни выглядели еще привлекательнее, чем на фотографиях, и она по праву гордилась ими. Я был еще молод, а потому они меня не стеснялись и болтали напропалую. Это были удивительно милые, пышущие здоровьем юные создания. И сидеть под деревьями тоже было приятно.

Час спустя она кликнула кэб и уехала домой, а я, чтобы скоротать время, поплелся в клуб. В этот день у меня было как-то тоскливо на душе, и я ощутил даже некоторую зависть к семейному благополучию, с которым только что соприкоснулся. Все они, видимо, очень любили друг друга. Они то и дело вставляли в разговор какие-то словечки, ничего не говорившие постороннему, им одним понятные и смешившие их до упаду. Возможно, что Чарлз Стрикленд был скучным человеком, если подходить к нему с меркой, превыше всего

ставящей словесный блеск, но его интеллект соответствовал среде, в которой он жил, а это уже залог не только известного успеха, но и счастья. Миссис Стрикленд была прелестная женщина и любила его. Я представил себе, как течет их жизнь, ничем не замутненная, честная, мирная и, благодаря подрастающим прелестным детям, предназначенным продолжать здоровые традиции их расы и сословия, наполненная содержанием. «Наверно, они тихо доживут до глубокой старости,— думал я,— увидят своих детей зрелыми людьми; сын их женится, как и надлежит, на хорошенькой девушке, будущей матери здоровых ребятишек; дочь выйдет замуж за красивого молодого человека, скорей всего, военного; и вот в преклонных годах, среди окружающего их благоденствия, оплаканные детьми и внуками, они отойдут в вечность, прожив счастливую и небесполезную жизнь».

Такова, вероятно, история бесчисленных супружеств, и, право же, в подобной жизни есть своя безыскусственная прелесть. Она напоминает тихий ручеек, что безмятежно струится по зеленеющим лугам и в тени густых деревьев, покуда не впадет в безбрежное море; но море так спокойно, так тихо и равнодушно, что в душу внезапно закрадывается смутная печаль. Или, может, это просто странность моей натуры, сказавшаяся уже в те годы, но такая участь огромного большинства всегда казалась мне пресноватой. Я признавал ее общественную ценность, видел ее упорядоченное счастье, но жаркая кровь во мне алкала иной, мятежной доли. Столь доступные радости пугали меня. Мое сердце рвалось к более опасной жизни. Пусть встретятся на моем пути рифы и предательские мели, лишь бы не так монотонно текла жизнь, лишь бы познать радость нечаянного, непредвиденного.

Глава восьмая

Перечитав все написанное мною о Стриклендах, я вижу, что они получились у меня довольно блеклыми фигурами. Мне не удалось придать им ни одной из тех характерных черт, которые заставляют персонажей книги жить своей собственной, реальной жизнью; полагая, что это моя вина, я долго ломал себе голову, стараясь припомнить какие-нибудь особенности, могу-

щие вдохнуть в них жизнь. Я уверен, что, обыграв какое-нибудь излюбленное словцо или странную привычку, я бы сделал своих героев куда более значительными. А так — они, точно выцветшие фигуры на шпалерах, слились с фоном, на расстоянии вовсе утратили свой облик и воспринимаются лишь как приятные для глаза мазки. Единственным моим оправданием служит то, что именно такими они мне казались. В них была расплывчатость, свойственная людям, которые, являясь частью социального организма, существуют лишь в нем и благодаря ему. Эти люди напоминают клетки в тканях нашего тела, необходимые, но, покуда они здоровы, не замечаемые нами. Стрикленды были обычной буржуазной семьей. Милая, гостеприимная жена, с безобидным пристрастием к второразрядным литературным львам; довольно скучный муж, честно выполняющий свои обязанности на том самом месте, на какое его поставил господь бог; миловидные, здоровые дети. Трудно встретить более заурядное сочетание. В них не было ничего такого, что могло бы привлечь внимание любопытного.

Вспоминая все, что случилось в дальнейшем, я спрашиваю себя: может, я просто дурак, если не разглядел в Чарлзе Стрикленде ничего, что отличало бы его от простого обывателя? Возможно! Думается, что за годы, отделяющие то время от нынешнего, я хорошо узнал людей, но даже если бы весь мой опыт был при мне тогда, когда я впервые встретил Стриклендов, я уверен, что отнесся бы к ним точно так же. С одной только разницей — уразумев, что человек полон неожиданностей, я не был бы так потрясен сообщением, которое услышал по осени, вернувшись в Лондон.

На следующий же день после моего возвращения я столкнулся на Джермин-стрит с Розой Уотерфорд.

— Вид у вас весьма оживленный, — заметил я. — В чем дело?

Она улыбнулась, и в глазах ее мелькнуло злорадство. Причину его я понял немедленно: она прознала о скандальной истории, случившейся с кем-нибудь из ее друзей, и все чувства этой литературной дамы пришли в волнение.

— Вы ведь знакомы с Чарлзом Стриклендом?

Не только ее лицо, вся ее фигура выражала полную боевую готовность. Я кивнул и подумал, что бедняга,

наверно, попал под омнибус или же проигрался на бирже.

— Ужасная история! Он бросил жену!

Мисс Уотерфорд, конечно, чувствовала, что тротуар на Джермин-стрит не место для дальнейшего развития этого разговора, и, как натура артистическая, ошеломила меня только самим фактом, заявив, что никаких подробностей она не знает. Я, правда, усомнился, чтобы такая мелочь, как городская суетолака, могла помешать ей, но она стояла на своем.

— Говорят вам, я ничего не знаю,— отвечала она на все мои взволнованные расспросы и, слегка передернув плечами, добавила: — Думаю, что какая-нибудь смазливая кельнерша оставила свою службу в кафе.

Она очаровательно улыбнулась и, пояснив, что ее ждет зубной врач, удалилась, бойко стуча каблуками.

Я был скорее заинтригован, чем огорчен. В ту пору мой непосредственный житейский опыт был очень невелик, и меня потрясло, что вот среди моих знакомых случилось нечто такое, о чем я прежде только читал в романах. Позднее я привык к подобным событиям в окружавшей меня среде, но тогда все это сильно меня смутило. Стрикленду было не менее сорока лет, и я не понимал, как это человеку столь почтенного возраста вздумалось пуститься в любовные авантюры. В своем юношеском высокомерии я полагал, что после тридцати пяти лет уже не влюбляются. Ко всему эта новость ставила и меня самого в неудобное положение. Я еще из деревни написал миссис Стрикленд, что скоро возвращаюсь в Лондон и тотчас же приду к ней на чашку чаю, если, конечно, она не сочтет это нежелательным. Я обещал прийти как раз сегодня, но ответа от нее не получил. Хочет она меня видеть или не хочет? Возможно, что среди таких волнений она попросту забыла о моем письме и разумнее воздержаться от визита. С другой стороны, может быть, она хочет сохранить всю историю в тайне, и я совершу бестактность, дав ей понять, что это странное известие уже дошло до моих ушей. Я боялся оскорбить чувства милейшей женщины и в равной мере боялся показаться навязчивым. Ясно, что она очень страдает, стоит ли смотреть на чужое горе, если ты бессилен ему помочь? И все-таки в глубине души, хоть я и стыдился своего любопытства, мне хотелось посмотреть, как она справляется со свалившей-

ся на нее бедой. Одним словом, я находился в полной растерянности.

Затем я сообразил, что могу явиться как ни в чем не бывало и осведомиться через горничную, желает ли миссис Стрикленд меня видеть. Это даст ей возможность мне отказать. Все же я был вне себя от смущения, произнося перед горничной заранее приготовленную фразу, и, дожидаясь ответа в темной передней, напрягал все свои силы, чтобы попросту не удрать. Горничная воротилась. В своем возбуждении я почему-то решил, что ей все известно о несчастье, постигшем этот дом.

— Не угодно ли вам пройти вот сюда, сэр,— сказала она.

Я последовал за нею в гостиную. Занавеси на окнах были почти задернуты, и миссис Стрикленд сидела спиной к свету. Ее шурин, полковник Мак-Эндрю, стоял перед камином, греясь у незажженного огня. Мне было мучительно неловко. Я вообразил, что мое появление застало их врасплох, и миссис Стрикленд велела просить меня только потому, что позабыла написать мне отказ. Полковник, решил я, возмущен моим вторжением.

— Я не был уверен, что вы пожелаете меня принять,—заговорил я с наигранной непринужденностью.

— Разумеется, пожелая. Энн сейчас подаст нам чай...

Даже в полутемной комнате я разглядел, что глаза миссис Стрикленд опухли от слез, а лицо ее, всегда несколько бледное, было землисто-серого цвета.

— Вы ведь, кажется, знакомы с моим свояком? Помнится, вы весною встретились у меня за обедом.

Мы пожали друг другу руки. Я так растерялся, что не находил слов, но миссис Стрикленд поспешила ко мне на выручку. Она осведомилась, как я провел лето, и с ее помощью я кое-как поддерживал разговор, пока не внесли чай. Полковник спросил себе виски с содовой.

— И вам я тоже советую выпить виски, Эми,—сказал он.

— Нет, я хочу чаю.

Это был первый намек на то, что случилась какая-то неприятность. Я пропустил его мимо ушей и приложил все усилия, чтобы вовлечь миссис Стрикленд в разговор. Полковник, стоявший у камина, не проронил ни слова. В душе я то и дело спрашивал себя, когда мне можно

будет отклоняться и еще зачем, собственно, вздумалось миссис Стрикленд принимать меня? В гостиной не было цветов, и всевозможные безделушки, убранные на лето, еще не были расставлены по местам; комната эта, обычно столь уютная, выглядела такой чопорной и угрюмой, что странным образом начинало казаться, будто за стеной лежит покойник. Я допил свой чай.

— Хотите сигарету? — спросила миссис Стрикленд.

Она оглянулась, ища коробку, но ее не оказалось под рукой.

— У нас, видимо, нет сигарет!

Внезапно она разразилась слезами и выбежала из комнаты.

Я опешил. Видимо, отсутствие сигарет, которые, как правило, покупал ее муж, больно резануло ее, и новое чувство, что вот теперь некому позаботиться о доме, вызвало приступ боли. Она вдруг поняла, что прежняя ее жизнь кончилась навеки. Невозможно было дольше соблюдать светские условности.

— Я полагаю, мне лучше уйти, — сказал я полковнику и поднялся.

— Вы, верно, уже слышали, что этот негодяй бросил ее? — запальчиво крикнул он.

Я помедлил с ответом.

— Да, мне намекнули, что у них что-то неладно.

— Он сбежал. Отправился в Париж с какой-то особой. И оставил Эми без гроша.

— Как это печально, — сказал я, не зная, что, собственно, сказать.

Полковник залпом выпил свое виски. Это был высокий, тощий мужчина лет пятидесяти, седоволосый, с обвисшими усами. Глаза у него были голубые, губы дряблые. Из прошлой встречи в памяти у меня осталось только его глупое лицо, и еще я запомнил, с какой гордостью он рассказывал, что до отставки, лет десять подряд, играл в поло не менее трех раз в неделю.

— По-моему, миссис Стрикленд сейчас совсем не до меня, — заметил я. — Передайте ей, что я очень скорблю за нее и почту за счастье быть ей чем-нибудь полезным.

Он меня даже не слушал.

— Не знаю, что с нею будет. Кроме всего прочего, у нее дети. Чем они будут жить? Воздухом? Семнадцать лет!

— Семнадцать лет? Что вы хотите этим сказать?

— Они были женаты семнадцать лет,—отрезал он.— Мне Стрикленд никогда не нравился. Конечно, он был моим свояком, и я ничего не мог сказать. Вы считаете его джентльменом? Не надо было ей выходить за него замуж.

— Так, значит, это окончательный разрыв?

— Ей остается только одно — развестись с ним. Я ей так и сказал: немедленно подавайте прошение о разводе, Эми. Это ваша обязанность перед собой и перед детьми тоже. Пусть он лучше мне на глаза не попадается. Я задам ему такую взбучку, что он своих не узнает.

Я невольно подумал, что полковнику Мак-Эндрю будет не так-то легко это сделать — Стрикленд был дюжий малый,—но промолчал. Как это печально, что оскорбленной добродетели не дано карать грешников. Я вторично сделал попытку откланяться, как вдруг вошла миссис Стрикленд. Она успела вытереть слезы и припудрить нос.

— Мне очень жаль, что я не совлада с собой,— сказала она.— Хорошо, что вы еще не ушли.

Она села. Я окончательно растерялся. Мне было неловко заговорить о предмете, вовсе меня не касающемся. В ту пору я еще не знал, что главный недостаток женщин — страсть обсуждать свои личные дела со всяким, кто согласен слушать. Миссис Стрикленд, казалось, сделала над собой усилие.

— Что, об этом уже много говорят? — спросила она.

Я был озадачен ее уверенностью в том, что мне известно несчастье, постигшее ее семью.

— Я только что вернулся. Я не видел никого, кроме Розы Уотерфорд.

Миссис Стрикленд стиснула руки.

— Скажите мне все, что вы от нее слышали.

Я промолчал, но она настаивала:

— Я хочу знать во что бы то ни стало.

— Вы же знаете, что она охотница посудачить. Веры ее словам давать нельзя. Она сказала, что ваш муж оставил вас.

— И это все?

Я не считал возможным повторить прощальную реплику Розы Уотерфорд насчет девушки из кафе и соврал.

— Она не говорила, что он уехал с какой-то женщиной?

— Нет.

— Это все, что я хотела узнать.

Я стал в тупик, но все-таки сообразил, что теперь мне можно уйти. Прощаясь, я заверил миссис Стрикленд, что всегда буду к ее услугам. Она тускло улыбнулась.

— Благодарю вас. Но вряд ли найдется человек, который мог бы что-нибудь для меня сделать.

Слишком застенчивый, чтобы высказать ей свое соболезнование, я повернулся к полковнику, намереваясь проститься с ним. Он не взял моей руки.

— Я тоже уйду. Если вы идете по Виктория-стрит, то нам по пути.

— Отлично,— сказал я.— Идемте!

Глава девятая

— Скверная история,— проговорил он, едва мы вышли на улицу.

Я понял, что он пошел со мной, чтобы еще раз обсудить то, что уже часами обсуждал со свояченицей.

— Понимаете ли, мы даже не знаем, кто эта женщина,— сказал полковник.— Знаем только, что мерзавец отправился в Париж.

— Мне всегда казалось, что они примерные супруги.

— Так оно и было. Как раз перед вашим приходом Эми говорила, что они ни разу не повздорили за все время совместной жизни. Вы знаете Эми. На свете нет женщины лучше.

После столь откровенных признаний я счел возможным задать ему несколько вопросов.

— Итак, вы полагаете, что она ни о чем не подозревала?

— Ни о чем. Август месяц он провел в Норфолке с нею и с детьми. И был такой же, как всегда. Мы с женой ездили туда на несколько дней, и я играл с ним в гольф. В сентябре он вернулся в город, так как его компаньон должен был уехать в отпуск, а Эми осталась на взморье. Они сняли дом на полтора месяца, и к концу своего пребывания там она написала ему, сообщая, в какой день они приедут в Лондон. Он ответил ей из Парижа. Написал, что больше не хочет жить с нею.

— Чем же он это объяснил?

— А он, голубчик мой, ничего не объяснил. Я читал письмо. В нем и всего-то было строчек десять, не больше.

— Ничего не понимаю.

В эту минуту мы как раз переходили улицу, и оживленное движение помешало нам продолжить разговор. То, что мне рассказал полковник, звучало очень уж неправдоподобно, и я решил, что миссис Стрикленд что-то от него скрывает. Ясно, что после семнадцати лет супружества человек не оставляет жену без причин, которые должны заставить ее усомниться, так ли уж благополучна была их совместная жизнь. Полковник прервал мои размышления.

— Да и что он мог объяснить, кроме того, что удрал с какой-нибудь особой женского пола. Он, наверно, решил, что об этом она и сама может догадаться. Вот какой это тип!

— Что же собирается предпринять миссис Стрикленд?

— Прежде всего мы должны получить доказательства. Я сам поеду в Париж.

— А что с его конторой?

— О, тут он повел себя очень хитро. Он целый год подготавливал себе отступление.

— Он предупредил компаньона о своем отъезде?

— И не подумал.

Полковник Мак-Эндрю разбирался в коммерческих вопросах крайне слабо, а я и вовсе не разбирался и потому так и не понял, в каком состоянии Стрикленд оставил свои дела. Судя по словам Мак-Эндрю, покинутый компаньон должен быть вне себя от гнева и, верно, уже грозит Стрикленду судебным преследованием. Похоже, что эта история обойдется ему фунтов в пятьсот.

— Еще слава богу, что обстановка квартиры принадлежит Эми. Она-то уж ей останется.

— Вы помнили об этом, говоря, что она осталась без гроша?

— Разумеется, помнил. У нее есть сотни две или три фунтов да вот эта мебель.

— Но на что же она будет жить?

— Это уж одному богу известно!

Все было, видимо, очень не просто, а негодующий полковник еще больше сбивал меня с толку. И я очень

обрадовался, когда он, взглянув на часы на магазине Армии и Флота, вспомнил, что в клубе его ждут партнеры по карточной игре, и предоставил мне в одиночестве идти через Сент-Джеймский парк.

Глава десятая

День или два спустя миссис Стрикленд прислала мне записку, в которой спрашивала, не могу ли я зайти к ней вечером. Я застал ее одну. Черное, монашески простое платье намекало на ее тяжелую утрату, и я в простоте душевной очень удивился, как она, с таким камнем на сердце, могла играть роль, по ее понятиям, ей подобающую.

— Вы сказали, что если я обращусь к вам с какой-нибудь просьбой, то вы не откажетесь ее исполнить,—сказала она.

— Да, конечно.

— Согласитесь вы поехать в Париж и встретиться с Чарли?

— Я?

Я был ошеломлен. Ведь я только однажды видел его. Что она намеревалась мне поручить?

— Фред собирается туда. (Фред был полковник Мак-Эндрю.) Но я уверена, что ему ехать нельзя. Он только все запутает. И я не знаю, кого мне об этом просить.

Голос ее слегка задрожал, и я почувствовал, что даже секунда колебания с моей стороны — свинство.

— Но я и двух слов не сказал с вашим мужем. Он меня не знает и скорее всего просто пошлет к черту.

— Вам от этого не будет ни жарко ни холодно,— улыбаясь, отвечала миссис Стрикленд.

— Как, по-вашему, я должен действовать?

На этот вопрос она не дала мне прямого ответа.

— По-моему, как раз хорошо, что он вас не знает. Видите ли, он никогда не любил Фреда. И всегда считал его дураком — военные ему чужды. Фред впадет в ярость, они поссорятся, и все выйдет только хуже, а не лучше. Если вы скажете, что явились к нему от моего имени, он обязан будет выслушать вас.

— Я ваш недавний знакомый,—отвечал я.— И я не понимаю, как может взяться за такое дело человек, не знающий о нем всех подробностей. Я не хочу совать свой

нос в то, что меня не касается. Почему бы вам самой не поехать в Париж?

— Вы забываете, что он там не один.

Я прикусил язык. Мне уже мерещилось, как я вхожу в дом Чарлза Стрикленда и посылаю ему свою карточку. Вот он выходит ко мне, держа ее двумя пальцами:

— Чему я обязан честью?

— Я пришел поговорить с вами относительно вашей жены.

— Серьезно? Ну, когда вы станете старше, вы поймете, что не стоит соваться в чужие дела. Если вы будете так добры повернуть голову налево, вы увидите дверь. Желаю всего наилучшего.

Я предвидел, что удалиться с достоинством мне будет очень нелегко, и клял себя за то, что вернулся в Лондон прежде, чем миссис Стрикленд выпуталась из всех своих затруднений. Я украдкой покосился на нее. Она была погружена в раздумье. Но секунду спустя посмотрела на меня, глубоко вздохнула и улыбнулась.

— Все это так неожиданно,— сказала она.— Мы были женаты семнадцать лет. Никогда я не думала, что Чарли может увлечься другой женщиной. Мы жили очень дружно. Правда, у меня было множество интересов, которых он не разделял со мною.

— Вы уже знаете, кто...— я не знал, как выразиться поделикатнее,— кто эта особа, с которой он уехал?

— Нет. Никто даже не догадывается. Это очень странно. Обычно в таких случаях люди встречают влюбленных в ресторане или где-нибудь еще и рассказывают об этом жене. Меня никто не предупредил, я ничего не подозревала. Его письмо было как гром среди ясного неба. Я не сомневалась, что он счастлив со мной.

Миссис Стрикленд заплакала, бедняжка, и я от души пожалел ее. Но она тут же успокоилась.

— Мне нельзя распускаться,— сказала она, вытирая глаза.— Сейчас надо решить, что именно следует предпринять.

Она начала говорить несколько вразброд то о недавнем прошлом, то об их первой встрече и женитьбе. И передо мной стала вырисовываться картина их совместной жизни. Я подумал, что мои прежние догадки не так уж неправильны. Миссис Стрикленд была дочерью чиновника в Индии. Выйдя в отставку, он остался жить там, где-то в глубине страны, но каждый август

возил свою семью в Истборн для перемены обстановки; в Истборне она и встретилась со Стриклендом. Ей было двадцать, ему двадцать три. Они вместе играли в теннис, вместе гуляли, вместе слушали негритянских певцов; и она решила стать его женой за неделю до того, как он сделал ей предложение. Они поселились в Лондоне, сначала в предместье Гемпстед, а потом, когда материальное положение Стрикленда упрочилось, в центре города. У них родились дети, девочка и мальчик.

— Он так любил их. Даже если я ему наскучила, как у него достало сердца покинуть детей? Просто невероятно. Я и сейчас еще не верю, что все это правда.

Под конец она показала письмо, которое он прислал ей. Мне давно хотелось его прочитать, но просить об этом я не решался.

«Дорогая Эми!

Надеюсь, что дома ты все застанешь в порядке. Я передал Энн твои распоряжения; тебя и детей будет ждать обед. Я вас не встречу. Я решил жить отдельно от вас и сегодня уезжаю в Париж.. Это письмо я отправлю уже по приезде. Домой не вернусь. Мое решение непоколебимо.

Всегда твой Чарлз Стрикленд».

— Он ничего не объясняет, ни о чем не сожалеет. Разве это не чудовищно?

— Весьма странное письмо в подобных обстоятельствах,— ответил я.

— Объяснение тут может быть только одно — он не в себе. Я не знаю, кто эта женщина, завладевшая им, но она сделала его другим человеком. Видимо, это уже давняя история.

— Почему вы так думаете?

— Фред это выяснил. Чарлз имел обыкновение через день играть в бридж у себя в клубе. Фред знаком с одним из членов этого клуба и однажды в разговоре назвал Чарлза злым бриджистом. Его знакомый очень удивился. Он ни разу не видел Чарлза за карточным столом. Теперь все ясно — когда я думала, что он в клубе, он был с нею.

Я промолчал. Но затем вспомнил о детях.

— Очень трудно, вероятно, было объяснить все это Роберту.

— О, я ни ему, ни дочери ни слова не сказала. Мы ведь вернулись в город за день до начала занятий в школе. У меня хватило присутствия духа сказать им, что отец неожиданно уехал по делам.

Наверно, очень нелегко было сохранять спокойствие и безмятежность с этой внезапной тайной на сердце и еще труднее заботиться о всех мелочах, нужных детям к школе. Голос миссис Стрикленд опять задрожал.

— Что с ними станет, с моими бедняжками? Как мы будем жить?

Она старалась овладеть собою, и я заметил, что ее руки судорожно сжимаются и разжимаются. Горестное зрелище!

— Конечно, я поеду в Париж, если вы считаете, что это принесет вам пользу, но только скажите мне точно, чего я должен добиваться.

— Я хочу, чтобы он вернулся.

— Со слов полковника Мак-Эндрю я понял, что вы решили развестись с ним.

— Я никогда не дам Чарлзу развода! — воскликнула она гневно. — Так ему и передайте. Он никогда не сможет жениться на этой женщине. Я не менее упряма, чем он, и ни за что с ним не разведусь. Я обязана думать о детях.

Последнее она, наверно, добавила, чтобы объяснить свою позицию, но мне показалось, что дело здесь не столько в материнской заботе, сколько во вполне естественной ревности.

— Вы все еще любите его?

— Не знаю. Я хочу, чтобы он вернулся. Если он вернется, я все забуду. Как-никак, мы были женаты семнадцать лет. Я женщина широких взглядов. Пусть делает что хочет, лишь бы я ни о чем не знала. Он должен понять, что его увлечение долго не продлится. Если он вернется, мы проживем по-прежнему, и никто ничего не узнает.

Меня слегка передернуло оттого, что миссис Стрикленд так страшилась сплетен; тогда я еще не знал, какую огромную роль в жизни женщины играет людское мнение. Страх перед ним бросает тень неискренности на самые глубокие ее чувства.

Где остановился Стрикленд, было известно. Его компаньон в неистово-зломном письме, адресованном банку, метал громы и молнии по поводу того, что Стрикленд скрывает свое местопребывание, тот ответил

цинично и насмешливо и дал компаньону свой точный адрес. Жил он в гостинице.

— Я никогда об этой гостинице не слыхала,— заметила миссис Стрикленд.— Но Фред знает этот отель и говорит, что он очень дорогой.

Она густо покраснела. Я понял, что она мысленно увидела мужа, который живет в роскошных апартаментах, обедает то в одном, то в другом знаменитом ресторане, дни проводит на скачках, а вечера—в театрах.

— Так он долго не протянет,— сказала она.— Нельзя забывать, что ему уже за сорок. Будь он человек молодой, я бы все поняла, но в его годы, когда у нас почти взрослые дети, это ужасно. Он окончательно подорвет свое здоровье.

Гнев и страдание боролись в ней.

— Скажите ему, что без него наш дом—не дом. Все как будто осталось на местах—и все уже не то. Я не могу жить без него. Лучше мне покончить с собой. Напомните ему о нашем прошлом, обо всем, что мы пережили вместе. Что я скажу детям, когда они спросят о нем? В его комнате все осталось нетронутым. Она ждет его. Мы все его ждем.

И она стала внушать мне слово в слово, что я должен ему говорить. Более того, подсказала мне точнейшие ответы на любое его возражение.

— Вы обещаете сделать для меня все возможное?— жалобно добавила она.— Скажите ему, в каком я горе.

Она явно хотела, чтобы я всеми доступными мне способами разжалобил его, и плакала, уже не стесняясь. Растроганный, я негодовал на холодную жестокость Стрикленда и поклялся сделать все от меня зависящее, чтобы вернуть его домой. Я согласился уехать на следующий же день и пробыть в Париже столько, сколько понадобится для того, чтобы добиться толку. Затем, так как было уже поздно и оба мы устали от всех этих треволнений, я распрощался с нею.

Глава одиннадцатая

Обдумывая по пути в Париж свою миссию, я опасался, что она обречена на неудачу. Теперь, когда вид плачущей миссис Стрикленд не смущал меня, я мог

лучше собраться с мыслями. Меня озадачивали явные противоречия в поведении миссис Стрикленд. Она была очень несчастна, но, желая вызвать мое сочувствие, всячески выставляла напоказ свое несчастье. Так, например, не подлежало сомнению, что она заранее готовилась плакать, ибо под рукой у нее оказался изрядный запас носовых платков. Я восхищался ее предусмотрительностью, но, если вдуматься, эта предусмотрительность делала ее слезы менее трогательными. Я недоумевал: хочет она возвращения мужа оттого, что любит его, или оттого, что боится злословия? Я подозревал, что страдания попорченной любви сплелись в ее сердце с муками уязвленного самолюбия, и по молодости лет считал это недостойным. Я еще не знал, как противоречива человеческая натура, не знал, что самым искренним людям свойственна поза, не знал, как низок может быть благородный человек и как добр отверженный.

Но в моей поездке было нечто интригующее, и по мере приближения к Парижу я воспрянул духом. Я вдруг увидел себя со стороны и очень понравился себе в роли доверенного, который возвращает заблудшего мужа в объятия супруги, готовой все простить. Стрикленда я решил повидать не раньше следующего вечера, ибо чувствовал, что время должно быть выбрано с сугубой щепетильностью. Взывать, например, к чувствам до завтрака — пустое занятие. Собственные мои мысли в то время были постоянно заняты любовью, но семейного блаженства до чая я не мог себе представить.

У себя в гостинице я осведомился, где находится «Отель де Бельж», в котором остановился Чарлз Стрикленд. К моему удивлению, консьерж никогда не слышал о таком. Между тем со слов миссис Стрикленд я понял, что это большая, роскошная гостиница где-то возле улицы Риволи. Мы заглянули в справочник, и оказалось, что единственное заведение, так именуемое, находится на Рю де Муан. Квартал отнюдь не шикарный и даже не вполне респектабельный. Я покачал головой.

— Нет, это явно не то.

Консьерж пожал плечами. Другого отеля с таким названием в Париже нет. Мне пришло в голову, что Стрикленд утаил свой настоящий адрес и попросту надул своего компаньона, назвав ему первый попавшийся отель. Не знаю почему, мне вдруг показалось, что это

вполне в духе Стрикленда — заставить разъяренного маклера примчаться в Париж и угодить в захолустную гостиницу с весьма сомнительной репутацией. Тем не менее я решил отправиться на разведку. На следующий день, часов около шести, я взял кеб и велел кучеру ехать на Рю де Муан, но отпустил его на углу, так как хотел пешком подойти к гостинице и для начала хорошенько рассмотреть ее. На улице было полно мелких лавчонок, торгующих на потребу покупателей-бедняков, в середине ее, по левую руку от меня, находился «Отель де Бельж». Я остановился в достаточно скромной гостинице, но по сравнению с этой она могла считаться великолепной. Вывеска «Отель де Бельж» украшала высокое здание, не ремонтировавшееся уже годами и до того обшарпанное, что дома по обе его стороны казались чистыми и нарядными. Грязные окна, по-видимому, никогда не открывались. Нет, не здесь Чарлз Стрикленд и неведомая очаровательница, ради которой он позабыл долг и честь, утопали в преступной роскоши. Я был страшно зол, чувствуя, что попал в дурацкое положение, и уже совсем было собрался уходить, даже не спросив о Стрикленде. Но под конец я заставил себя переступить порог этого заведения единственно для того, чтобы сказать миссис Стрикленд, что сделал для нее все, что мог.

Вход в гостиницу был рядом с какой-то лавчонкой, дверь была открыта, и рядом с ней виднелась надпись: «Bureau au premier»¹. Я поднялся по узкой лестнице и на площадке обнаружил нечто вроде стеклянной каморки, в которой находился стол и два стула. Снаружи стояла скамейка, на которой коридорный, по-видимому, проводил свои беспокойные ночи. Навстречу мне никто не попался, но под электрическим звонком имелась надпись: «garçon»². Я нажал кнопку, и вскоре появился молодой человек с бегающими глазами и мрачной физиономией. Он был в жилетке и кожаных шлепанцах.

Не знаю почему, я спросил с самым что ни на есть небрежным видом:

— Не стоит ли здесь случайно некий мистер Стрикленд?

— Номер тридцать два. Шестой этаж,— последовал ответ.

¹ Контора на втором этаже (франц.).

² Коридорный (франц.).

Я так опешил, что в первую минуту не нашелся, что сказать.

— Он дома?

Портье взглянул на доску, висевшую в каморке.

— Ключа он не оставлял. Сходите наверх, посмотрите.

Я счел необходимым задать еще один вопрос:

— *Madame est là?*¹

— *Monsieur est seul!*²

Коридорный окинул меня подозрительным взглядом, когда я и впрямь отправился наверх. На темной и душной лестнице стоял какой-то омерзительный кислый запах. На третьем этаже растрепанная женщина в капоте распахнула дверь и молча уставилась на меня. Наконец я добрался до шестого этажа и постучал в дверь под номером тридцать два. Внутри что-то грохнуло, и дверь приоткрылась. Передо мной стоял Чарлз Стрикленд. Он не сказал ни слова и явно не узнал меня.

Я назвал свое имя. И далее постарался быть грациозно-небрежным:

— Вы меня, видимо, не помните. Я имел удовольствие обедать у вас прошлым летом.

— Входите,—приветливо отвечал он.—Очень рад вас видеть. Садитесь.

Я вошел. Это была тесная комнатка, битком набитая мебелью в стиле, который французы называют стилем Луи-Филиппа. Широкая деревянная кровать, прикрытая красным стеганым одеялом, большой гардероб, круглый стол, крохотный умывальник и два стула, обитых красным репсом. Все грязное и обтрепанное. Ни малейших следов греховного великолепия, которое живописал мне полковник Мак-Эндрю. Стрикленд сбросил на пол одежду, валявшуюся на одном из стульев, и предложил мне сесть.

— Чем могу служить? — спросил он.

В этой комнатушке он казался еще крупнее, чем в первый вечер нашего знакомства. Он, видимо, не брился уже несколько дней, на нем была поношенная куртка. Тогда, у себя дома, в элегантном костюме Стрикленд явно был не в своей тарелке; теперь, неопрятный и непричесанный, он, видимо, чувствовал себя превосходно. Я не знал, как он отнесется к заготовленной мною фразе.

¹ Мадам дома? (*франц.*).

² Мсье живет один (*франц.*).

- Я пришел по поручению вашей супруги.
— А я как раз собирался глотнуть абсента перед обедом. Пойдемте-ка вместе. Вы любите абсент?
— Более или менее.
— Тогда пошли.

Он надел котелок, очень и очень нуждавшийся в щетке.

— Мы можем и пообедать вместе. Вы ведь, собственно, должны мне обед.

— Разумеется. Вы один?

Я лстыл себе, воображая, что весьма ловко задал щекотливый вопрос.

— О да! По правде говоря, я уже три дня рта не раскрывал. Французский язык мне что-то не дается.

Спускаясь с ним по лестнице, я недоумевал, что случилось с девицей из кафе. Успели они поссориться, или его увлечение уже прошло? Впрочем, последнее казалось мне сомнительным, ведь он чуть ли не целый год готовился к бегству. Дойдя до кафе на улице Клиши, мы уселись за одним из столиков, стоявших прямо на мостовой.

Глава двенадцатая

Улица Клиши в этот час была особенно многолюдна, и, обладая мало-мальски живым воображением, здесь едва ли не любого прохожего можно было надеть романтической биографией. По тротуару сновали клерки и продавщицы; старики, словно сошедшие со страниц Бальзака; мужчины и женщины, извлекающие свой доход из слабостей рода человеческого. Оживление и сутолока бедных кварталов Парижа волнуют кровь и подготавливают к всевозможным неожиданностям.

— Вы хорошо знаете Париж? — спросил я.

— Нет. Мы провели в Париже медовый месяц. С тех пор я здесь не бывал.

— Но как, скажите на милость, вы попали в этот отель?

— Мне его рекомендовали. Я искал что-нибудь подешевле.

Принесли абсент, и мы с подобающей важностью стали капать воду на тающий сахар.

— Думается, мне лучше сразу сказать вам, зачем я вас разыскал, — начал я не без смущения.

Его глаза блеснули.

— Я знал, что рано или поздно кто-нибудь разыщет меня. Эми прислала мне кучу писем.

— В таком случае вы отлично знаете, что я намерен вам сказать.

— Я их не читал.

Чтобы собраться с мыслями, я закурил сигарету. Как приступить к возложенной на меня миссии? Красноречивые фразы, заготовленные мною, трогательные, равно как и негодующие, здесь были неуместны. Вдруг он фыркнул.

— Чертовски трудная задача, а?

— Пожалуй.

— Ладно, выкладывайте поживее, а потом мы преми-ло проведем вечер.

Я задумался.

— Неужели вы не понимаете, что ваша жена мучительно страдает?

— Ничего, пройдет!

Не могу описать, до чего бессердечно это было сказано. Я растерялся, но сделал все, чтобы не показать этого, и заговорил тоном моего дядюшки Генри, священника, когда тот уговаривал кого-нибудь из родственников принять участие в благотворительной подписке.

— Вы не рассердитесь, если я буду говорить откровенно?

Он улыбнулся и покачал головой.

— Чем она заслужила такое отношение?

— Ничем.

— Вы что-нибудь против нее имеете?

— Ровно ничего.

— В таком случае разве не чудовищно оставить ее после семнадцати лет брака?

— Чудовищно.

Я с удивлением взглянул на него. Столь чистосердечное признание моей правоты выбило у меня почву из-под ног. Положение мое было не только затруднительно, но и смехотворно. Я собирался увещевать и уговаривать, грозить и взывать к его сердцу, предостерегать, негодовать, язвить, убивать сарказмом. Но что, черт возьми, прикажете делать исповеднику, если грешник давно раскаялся? Опыта у меня не было ни малейшего, ибо сам я всегда упорно отрицал все обвинения, которые мне предъявлялись.

— Ну и что же дальше? — спросил Стрикленд.

Я постарался презрительно скривить губы.

— Что ж, если вы все признаете, мне, пожалуй, не стоит больше распространяться.

— Не стоит.

Мне стало очевидным, что я не слишком ловко выполнил свою миссию, и я разозлился.

— Черт подери, но нельзя же оставлять женщину без гроша.

— Почему нельзя?

— Как прикажете ей жить?

— Я содержал ее семнадцать лет. Почему бы ей для разнообразия теперь не содержать себя самой?

— Она не может.

— Пусть попытается.

Конечно, у меня нашлось бы, что на это ответить. Я мог бы заговорить об экономическом положении женщины, об обязательствах, которые мужчина, гласно и негласно, берет на себя, вступая в брак, но вдруг я понял, что в конце концов важно только одно.

— Вы больше не любите ее?

— Ни капли.

Все это были очень серьезные вопросы в человеческой жизни, но манера, с которой он отвечал, была такой задорной и наглой, что я кусал себе губы, лишь бы не расхохотаться. Я твердил себе, что его поведение отвратительно, и изо всех сил старался возгореться благородным негодованием.

— Но, черт вас возьми, вы же обязаны подумать о детях. Они вам ничего худого не сделали. И они не просили вас произвести их на свет. Если вы о них не позаботитесь, они будут выброшены на улицу.

— Они много лет прожили в холе и неге. Не все дети живут так. Кроме того, о них кто-нибудь да позаботится. Я уверен, что Мак-Эндрю станет платить за их учение.

— Но разве вы не любите их? Они такие славные. Неужели вы хотите совсем от них отказаться?

— Я любил их, когда они были маленькие, а теперь, когда они подросли, я, по правде говоря, никаких чувств к ним не питаю.

— Это бесчеловечно!

— Очень может быть.

— И вам нисколько не стыдно?

— Нет.

Я попытался изменить курс.

— Вас будут считать просто свиньей.

— Пускай!

— Неужели вам приятно, когда вас клянут на всех перекрестках?

— Мне все равно.

Его ответ звучал так презрительно, что мой вполне естественный вопрос показался мне верхом глупости. Я подумал минуту-другую.

— Не понимаю, как может человек жить спокойно, зная, что все вокруг осуждают его? Рано или поздно это начнет вас тяготить. У каждого из нас имеется совесть, и когда-нибудь она непременно проснется. К примеру, вдруг ваша жена умрет, разве вы не будете мучиться угрызениями совести?

Он молчал, и я терпеливо дожидался, пока он заговорит. Но в конце концов мне пришлось прервать молчание.

— Что вы на это скажете?

— То, что вы идиот.

— Вас ведь могут заставить содержать жену и детей,— возразил я, несколько уязвленный.— Я не сомневаюсь, что закон возьмет их под свою защиту.

— А может закон снять луну с неба? У меня ничего нет. Я приехал сюда с сотней фунтов.

Если я и раньше недоумевал, то теперь уж окончательно встал в тупик. Ведь жизнь в «Отеле де Бельж» и вправду свидетельствовала о крайне стесненных обстоятельствах.

— А что вы будете делать, когда эти деньги выйдут?

— Как-нибудь подработаю.

Он был совершенно спокоен, и в глазах его по-прежнему мелькала насмешливая улыбка, от которой все мои речи становились дурацкими. Я замолчал, соображая, что мне еще сказать. Но на этот раз первым заговорил он.

— Почему бы Эми не выйти опять замуж? Она еще не старуха и собой недурна. Я могу рекомендовать ее как превосходную жену. Если она пожелает развестись со мной, пожалуйста, я возьму вину на себя.

Теперь пришел мой черед улыбаться. Как он ни хитер, но мне ясно, что за цель он преследует. Он скрывает, что приехал сюда с женщиной, и пускается на

всевозможные уловки, чтобы замести следы. Я отвечал очень решительно.

— Ваша жена ни за что не согласится на развод. Это ее бесповоротное решение. Оставьте всякую надежду.

Он посмотрел на меня с непритворным удивлением. Улыбка сбежала с его губ, и он очень серьезно сказал:

— Да ведь мне, голубчик, все едино, что в лоб, что по лбу.

Я рассмеялся.

— Полно, не считайте нас такими уж дураками. Мы знаем, что вы уехали с некоей особой.

Он даже привскочил на месте и разразился громким хохотом. Смеялся он так заразительно, что сидевшие поблизости обернулись к нему, а потом и сами начали смеяться.

— Не вижу тут ничего смешного.

— Бедняжка Эми,—осклабился он.

Затем его лицо приняло презрительное выражение.

— Убогий народ эти женщины. Любовь! Везде любовь! Они думают, что мужчина уходит от них, только польстившись на другую. Не такой я болван, чтоб проделать все, что я проделал, ради женщины.

— Вы хотите сказать, что ушли от жены не из-за другой женщины?

— Конечно!

— Вы даете мне честное слово?

Не знаю, зачем я потребовал от него честного слова, верно, по простоте душевной.

— Честное слово.

— Тогда объясните мне, бога ради, зачем вы оставили ее?

— Я хочу заниматься живописью.

Я смотрел на него, вытаращив глаза. Я ничего не понял и на минуту подумал, что передо мной сумасшедший. Вспомните, я был очень молод, а его считал человеком уже пожилым. От удивления у меня все на свете вылетело из головы.

— Но вам уже сорок лет.

— Поэтому-то я и решил, что пора начать.

— Вы когда-нибудь занимались живописью?

— В детстве я мечтал стать художником, но отец принудил меня заниматься коммерцией, он считал, что искусством ничего не заработаешь. Я начал писать с год

назад. И даже посещал вечернюю художественную школу.

— А миссис Стрикленд думала, что вы проводите это время в клубе за бриджем?

— Да.

— Почему вы не рассказали ей?

— Я предпочитал держать язык за зубами.

— И живопись вам дается?

— Еще не вполне. Но я научусь. Для этого я и приехал сюда. В Лондоне нет того, что мне нужно. Посмотрим, что будет здесь.

— Неужели вы надеетесь чего-нибудь добиться, начав в этом возрасте? Люди начинают писать лет в восемнадцать.

— Я теперь научусь быстрее, чем научился бы в восемнадцать лет.

— С чего вы взяли, что у вас есть талант?

Он ответил не сразу. Взгляд его был устремлен на снующую мимо нас толпу, но вряд ли он видел ее. То, что он ответил, собственно, не было ответом.

— Я должен писать.

— Но ведь это более чем рискованная затея!

Он посмотрел на меня. В глазах его появилось такое странное выражение, что мне стало не по себе.

— Сколько вам лет? Двадцать три?

Вопрос показался мне бестактным. Да, в моем возрасте можно было пускаться на поиски приключений; но его молодость уже отошла, он был биржевой маклер с известным положением в обществе, с женой и детьми. То, что было бы естественно для меня,—для него непозволительно. Я хотел быть беспристрастным.

— Конечно, может случиться чудо, и вы станете великим художником, но вы же должны понять, что тут один шанс против миллиона. Ведь это трагедия, если в конце концов вы убедитесь, что совершили ложный шаг.

— Я должен писать,—повторил он.

— Ну, а что, если вы навсегда останетесь третьесортным художником, стоит ли всем для этого жертвовать? Не во всяком деле важно быть первым. Можно жить припеваючи, даже если ты и посредственность. Но посредственным художником быть нельзя.

— Вы просто олух,—сказал он.

— Не знаю, почему так уж глупы очевидные истины.

— Говорят вам, я должен писать. Я ничего не могу с собой поделать. Когда человек упал в реку, неважно, хорошо он плавает или плохо. Он должен выбраться из воды, иначе он потонет.

В голосе его слышалась подлинная страсть; вопреки моему желанию она захватила меня. Я почувствовал, что внутри его клокочет могучая сила, и мне стало казаться, что нечто жестокое и непреодолимое помимо его воли владеет им. Я ничего не понимал. Точно дьявол вселился в этого человека, дьявол, который каждую минуту мог растерзать, погубить его. А с виду Стрикленд казался таким заурядным. Я не сводил с него глаз, но это его не смущало. Интересно, за кого можно принять его, думал я, когда он вот так сидит здесь в своей старой куртке и давно не чищенном котелке; брюки на нем мешковатые, руки нечисты; лицо его, с небритой рыжей щетиной на подбородке, с маленькими глазками и большим задорным носом, грубо и неотесанно. Рот у него крупный, губы толстые и чувственные. Нет, мне не подобрать для него определения.

— Так, значит, вы не вернетесь к жене? — сказал я наконец.

— Никогда.

— Она готова все забыть и начать жизнь сначала. И никогда она ни в чем не упрекнет вас.

— Пусть убирается ко всем чертям.

— Вам все равно, если вас будут считать отъявленным мерзавцем? И все равно, если она и ваши дети вынуждены будут просить подаяния?

— Плевать мне.

Я помолчал, чтобы придать больше веса следующему моему замечанию, и сказал со всей решительностью, на которую был способен:

— Вы хам и больше ничего.

— Ну, теперь, когда вы облегчили душу, пойдите-ка обедать.

Глава тринадцатая

Я понимаю, что было бы достойнее пренебречь этим предложением. Наверно, мне следовало бы выказать негодование, которое я на самом деле ощущал, и заслужить похвалу полковника Мак-Эндрю, рассказав

ему о своем горделивом отказе сесть за один стол с таким человеком. Но беда в том, что страх не справиться со своей ролью никогда не позволял мне разыгрывать из себя моралиста. И на этот раз уверенность, что все мои благородные чувства для Стрикленда — что горох об стену, заставила меня держать их при себе. Только поэт или святой способен поливать асфальтовую мостовую в наивной вере, что за ней зацветут лилии и вознаградят его труды.

Я заплатил за выпитый им абсент, и мы отправились в дешевенький ресторан; там было полно народу, очень оживленно, и обед нам подали отличный. У меня был аппетит юноши, у него — человека с окостенелой совестью. Из ресторана мы пошли в кабачок выпить кофе с ликером.

Я уже сказал ему все, что мог, относительно причины моего приезда в Париж, и хотя мне казалось, что, прекратив этот разговор, я стану предателем в отношении миссис Стрикленд, но продолжать борьбу с его безразличием я был уже не в силах. Только женщина может с неослабной горячностью десять раз подряд твердить одно и то же. Я успокаивал себя мыслью, что теперь смогу получше разобраться в душевном состоянии Стрикленда. Это было куда интересней. Но сделать это было не так-то просто, ибо Стрикленд отнюдь не отличался разговорчивостью. Он с трудом выжимал из себя слова, так что, казалось, для него они не были средством общения с миром; о движениях его души оставалось догадываться по избитым фразам, вульгарным восклицаниям и отрывистым жестам. Но, хотя ничего сколько-нибудь значительного он не говорил, никто бы не посмел назвать этого человека скучным. Может быть, из-за его искренности. Он, видимо, мало интересовался Парижем, который видел впервые (его краткое пребывание здесь с женой в счет не шло), и на все новое, открывавшееся ему, смотрел без малейшего удивления. Я бывал в Париже бесчисленное множество раз и всегда заново испытывал трепет восторга. Проходя по его улицам, я чувствовал себя счастливым искателем приключений. Стрикленд оставался хладнокровным. Оглядываясь назад, я думаю, что он был слеп ко всему, кроме тревожных видений своей души.

В кабачке, где было множество проституток, произошел нелепый инцидент. Некоторые из этих девиц

сидели с мужчинами, некоторые друг с дружкой; вскоре я заметил, что одна из них смотрит на нас. Встретившись взглядом со Стриклендом, она улыбнулась. Он, по моему, ее просто не заметил. Она поднялась и вышла из зала, но тотчас же воротилась и, проходя мимо нас, весьма учтиво попросила угостить ее чем-нибудь спиртным. Она под села к нашему столику, и я начал болтать с нею, отлично, впрочем, понимая, что она интересуется Стриклендом, а не мной. Я пояснил, что он знает по-французски лишь несколько слов. Она пыталась говорить с ним то знаками, то на ломаном французском языке; ей казалось, что так он лучше поймет ее. У нее в запасе было с десяток английских фраз. Она заставила меня перевести ему то, что умела выразить только на своем родном языке, и настойчиво потребовала, чтобы я перевел ей смысл его ответов. Он был в хорошем расположении духа, его это немножко забавляло, но, в общем, он явно оставался равнодушным.

— Вы, кажется, одержали победу,— засмеялся я.

— Польщенным себя не чувствую.

На его месте я был бы больше смущен и не так уж спокоен. У нее были смеющиеся глаза и очаровательный рот. Она была молода. Я удивлялся: чем ее пленил Стрикленд? Она не таила своих желаний, и мне пришлось перевести:

— Она хочет, чтобы вы пошли с нею.

— Я с ними не якшаюсь,— буркнул он.

Я постарался по мере сил смягчить его ответ. И так как мне казалось, что нелюбезно с его стороны отклонять такое приглашение, то я объяснил его отказ неимением денег.

— Но он мне нравится,— возразила она.— Скажите ему, что я пойду с ним задаром.

Когда я это перевел, Стрикленд нетерпеливо пожал плечами.

— Скажите, пусть убирается к черту.

Вид Стрикленда был красноречивее слов, и девушка вдруг гордо вскинула голову. Возможно, что она покраснела под своими румянами.

— *Monsieur n'est pas poli*¹,— проговорила она, вставая, и вышла из залы.

Я даже рассердился.

¹ Мсье неучтив (франц.).

— Не понимаю, зачем вам понадобилось оскорблять ее. В конце концов она отличила вас из многих.

— Меня тошнит от этих особ,— отрезал Стрикленд.

Я с любопытством посмотрел на него. Непритворное отвращение выражалось на его лице, и тем не менее это было лицо грубого, чувственного человека. Наверно, последнее и привлекло девушку.

— В Лондоне я мог иметь любую женщину, стоило мне только захотеть. Не за этим я сюда приехал.

Глава четырнадцатая

На обратном пути в Англию я много думал о Стрикленде и честно старался упорядочить то, что мне предстояло сказать его жене. Я знал, что мой ответ не удовлетворит ее, я и сам был недоволен собою. Стрикленд меня озадачил. Я не понимал мотивов его поведения. На мой вопрос, когда у него впервые зародилась мысль стать художником, он не мог или не пожелал ответить. Сам же я тут ни до чего не мог додуматься. Правда, я пытался убедить себя, что в его неповоротливом уме мало-помалу нарастало смутное чувство возмущения, но эти домыслы разбивались о неопровержимый факт — он никогда не высказывал недовольства однообразием своей жизни. Если Стрикленду до того все опостылело, что он решил сделаться художником, лишь бы порвать с докучными узами,— это было постижимо и довольно банально; но самое слово «банальность» никак не вязалось со Стриклендом. Романтик в душе, я наконец придумал версию, которая, правда, мне самому казалась притянутой за волосы, но все же хоть что-то объясняла. В глубинах его души, говорил я себе, заложен инстинкт творчества; приглушенный житейскими обстоятельствами, он тем не менее неуклонно разрастался наподобие того, как разрастается злокачественная опухоль в живой ткани, покуда не завладел всем его существом и не принудил его к действию. Так кукушка кладет свое яйцо в гнездо другой птицы, когда же та выкормит кукушонка, он выпихивает своих сводных братьев, а под конец еще и разрушает гнездо, его приютившее.

Странно, что инстинкт творчества завладел этим скучным маклером, быть может, на погибель ему и на

горе его близким; но разве не более странно то, как дух божий нисходил на людей богатых и могущественных, преследуя их с неотступным упорством, покуда они, побежденные им, не отступались от радостей жизни и женской любви во имя сурового монашества. Откровение приходит под разными личинами, и по-разному люди на него отзываются. Некоторым нужна жестокая встряска: так камень разлетается на куски от ярости потока; с другими все совершается постепенно: так вода точит камень. Стрикленда отличали прямота фанатика и свирепость апостола.

Но я хотел еще дознаться, возможно ли, чтобы страсть, которую он одержим, была оправдана его произведениями. Когда я спросил, что думали его сотоварищи по вечерней школе живописи в Лондоне о его работах, он улыбнулся:

— Они думали, что я дурачусь.

— Вы и здесь посещаете какую-нибудь студию?

— Да. Этот зануда—я имею в виду нашего маэстро—сегодня утром, как увидел мой рисунок, только брови поднял и прошествовал дальше.

Стрикленд фыркнул. Он отнюдь не был обескуражен. Мнение других его не интересовало.

Из-за этого-то я всякий раз и становился в тупик, общаясь со Стриклендом. Когда люди уверяют, будто они безразличны к тому, что о них думают, они по большей части себя обманывают. Обычно они поступают, как им вздумается, в надежде, что никто не прознает об их чудачествах, иногда же они поступают вопреки мнению большинства, ибо их поддерживает признание близких. Право же, нетрудно пренебрегать условностями света, если это пренебрежение—условность, принятая в компании ваших приятелей. В таком случае человек проникается преувеличенным уважением к своей особе. Он удовлетворен собственной храбростью, не испытывая при этом малоприятного чувства опасности. Но жажда признания—пожалуй, самый неистребимый инстинкт цивилизованного человека. Никто так не спешит набросить на себя покров респектабельности, как непотребная женщина, преследуемая злобой оскорбленной добродетели. Я не верю людям, которые уверяют, что в грош не ставят мнения окружающих. Это пустая бравада. По сути дела, они только не страшатся упреков в мелких прегрешениях, убежденные, что никто о таковых не прознает. Но здесь передо мною был

человек, которого действительно нимало не тревожило, что о нем думают: условности не имели над ним власти. Он походил на борца, намазавшего тело жиром — никак его не ухватишь,— и это давало ему свободу, граничившую со святотатством. Помнится, я сказал ему:

— Если бы все поступали, как вы, мир не мог бы существовать.

— Чушь! Не всякий хочет поступать, как я. Большинству нравится все делать, как люди.

Я пытался съязвить:

— Вы, видимо, отрицаете максимум: «Поступайте так, чтобы любой ваш поступок мог быть возведен во всеобщее правило».

— Первый раз в жизни слышу! Чушь какая-то.

— Между тем это сказал Кант.

— А мне что. Чушь, и ничего больше.

Ну стоило ли вызывать к совести такого человека? Все равно что стараться увидеть свое изображение, не имея зеркала. Я полагаю, что совесть—это страж, в каждом отдельном человеке охраняющий правила, которые общество выработало для своей безопасности. Она — полицейский в наших сердцах, поставленный, чтобы не дать нам нарушить закон. Шпион, засевший в главной цитадели нашего «я». Человек так алчет признания, так безумно страшится, что собратья осудят его, что сам торопится открыть ворота своему злейшему врагу; и вот враг уже неотступно следит за ним, преданно отстаивая интересы своего господина, в корне пресекает малейшее поползновение человека отбиться от стада. И человек начинает верить, что благо общества выше личного блага. Узы, привязывающие человека к человечеству,—очень крепкие узы. Однажды уверовав, что есть интересы, которые выше его собственных, он становится рабом этого своего убеждения, он возводит его на престол и под конец, подобно царедворцу, раболепно склонившемуся под королевским жезлом, что опустился на его плечо, еще гордится чувствительностью своей совести. Он уже клеймит самыми жесткими словами тех, что не признают этой власти, ибо теперь, будучи членом общества, он сознает, что бессилен против них. Когда я понял, что Стрикленду и вправду безразлично отношение, которое должны возбудить в людях его поступки, я с ужасом отшатнулся от этого чудовища, утратившего человеческий облик.

На прощание он сказал мне следующее:

— Передайте Эми, чтобы она сюда не приезжала. Впрочем, я все равно съеду с квартиры, и ей не удастся меня разыскать.

— Мне лично кажется, что ей следует бога благодарить за то, что она от вас избавилась,—сказал я.

— Милый мой, я очень надеюсь, что вы ее заставите это понять. Впрочем, женщины—народ бестолковый.

Глава пятнадцатая

В Лондоне меня ожидала записка с настойчивым требованием явиться вечером к миссис Стрикленд. У нее сидел полковник Мак-Эндрю с супругой, старшей сестрой миссис Стрикленд. Сестры походили друг на друга, хотя у миссис Мак-Эндрю, уже изрядно поблекшей, был такой воинственный вид, словно она засунула себе в карман всю Британскую империю; вид, кстати сказать, характерный для жен старших офицеров и обусловленный горделивым сознанием принадлежности к высшей касте. Манеры у этой дамы были бойкие, а ее благовоспитанности едва-едва хватало на то, чтобы вслух не высказывать убеждения, что любой штатский—приказчик. Гвардейцев она тоже ненавидела, считая зазнайками, а об их женах, забывающих отдавать визиты, даже и говорить не желала. Платье на ней было дорогое и безвкусное.

Миссис Стрикленд явно нервничала.

— Итак, какие вести вы нам привезли?—спросила она.

— Я видел вашего мужа. Увы, он твердо решил не возвращаться.—Я помолчал.—Он намерен заниматься живописью.

— Что вы хотите этим сказать?—вне себя от удивления крикнула миссис Стрикленд.

— Неужели вы никогда не замечали этой его страсти?

— Он окончательно рехнулся!—воскликнул полковник.

Миссис Стрикленд нахмурила брови. Она рылась в своих воспоминаниях.

— Еще до того, как мы поженились, он иногда баловался красками. Но, бог мой, что это была за мазня! Мы смеялись над ним. Такие люди, как он, не созданы для искусства.

— Ах! Это же просто предлог! — вмешалась миссис Мак-Эндрю.

Миссис Стрикленд некоторое время сидела погруженная в свои мысли. Она не знала, как понять мое сообщение. В гостиной уже был наведен порядок; домовитость, видимо, возобладала в миссис Стрикленд над горем, и гостиная больше не производила унылого впечатления меблированной комнаты, ожидающей нового жильца, как в первый мой визит после катастрофы. Но, лучше узнав Стрикленда в Париже, я уже не мог представить его себе в этой обстановке. «Неужели им ни разу не бросилось в глаза, как все здесь ему не соответствует?» — думал я.

— Но если он хотел стать художником, почему он молчал? — спросила наконец миссис Стрикленд. — Кто-то, а я бы уж сочувственно отнеслась к такому влечению.

Миссис Мак-Эндрю поджала губы. Она, вероятно, всегда порицала сестру за пристрастие к людям искусства и насмеялась над ее «культурными» друзьями.

Миссис Стрикленд продолжала:

— Ведь окажись у него хоть какой-то талант, я первая стала бы поощрять его, пошла бы на любые жертвы. Вполне понятно, что я бы предпочла быть женой художника, нежели биржевого маклера. Если бы не дети, я бы ничего не боялась и в какой-нибудь жалкой студии в Челси жила бы не менее счастливо, чем в этой квартире.

— Нет, милочка, ты выводишь меня из терпения! — воскликнула миссис Мак-Эндрю. — Не хочешь же ты сказать, что поверила этой вздорной выдумке?

— Но я уверен, что это правда, — робко вставил я. Она взглянула на меня с добродушным презрением.

— Мужчина в сорок лет не бросает своего дела, жену и детей для того, чтобы стать художником, если тут не замешана женщина. Уж я-то знаю, что какая-нибудь особа из вашего «артистического круга» вскружила ему голову.

Бледное лицо миссис Стрикленд внезапно залилось краской:

— Какова она из себя?

Я помедлил. Это будет как взрыв бомбы.

— С ним нет женщины.

Полковник Мак-Эндрю и его жена заявили, что они в это не верят, а миссис Стрикленд вскочила с места.

— Вы хотите сказать, что ни разу не видели ее?
— Мне некого было видеть. Он там один.
— Что за вздор!— вскричала миссис Мак-Эндрю.
— Надо было мне ехать самому,— буркнул полковник.— Уж я-то бы живо о ней разузнал.

— Жалею, что вы не взяли на себя труд съездить в Париж,— отвечал я не без язвительности,— вы бы живо убедились, что все ваши предположения ошибочны. Он не снимает апартаментов в шикарном отеле. Он живет в крошечной, убогой комнатушке. И ушел он из дому не затем, чтобы вести легкую жизнь. У него гроша нет за душой.

— Вы полагаете, что он совершил какой-нибудь проступок, о котором мы ничего не знаем, и скрывается от полиции?

Такое предположение заронило луч надежды в их души, но я решительно отверг его.

— Если бы это было так, зачем бы он стал давать адрес своему компаньону,— колко возразил я.— Так или иначе, а в одном я уверен: никакой женщины с ним нет. Он не влюблен и ни о чем подобном даже не помышляет.

Настало молчание. Они обдумывали мои слова.

— Что ж,— прервала наконец молчание миссис Мак-Эндрю,— если то, что вы говорите, правда, дело обстоит еще не так скверно, как я думала.

Миссис Стрикленд взглянула на нее, но ничего не сказала. Она была очень бледна, и ее тонкие брови хмурились. Выражения ее лица я не понимал. Миссис Мак-Эндрю продолжала:

— Значит, это просто каприз, который скоро пройдет.

— Вы должны поехать к нему, Эми,— заявил полковник.— Почему бы вам не провести год в Париже? За детьми мы присмотрим. Я уверен, ему просто наскучила однообразная жизнь, он быстро одумается, с удовольствием вернется в Лондон, и все это будет предано забвению.

— Я бы не поехала,— вмешалась миссис Мак-Эндрю.— Лучше предоставить ему полную свободу действий. Он вернется с поджатым хвостом и заживет прежней жизнью.— Миссис Мак-Эндрю холодно взглянула на сестру.— Может быть, ты не всегда умно вела себя с ним, Эми. Мужчины— фокусники, и с ними надо уметь обходиться.

Миссис Мак-Эндрю, как и большинство женщин, считала, что мужчина — негодяй, если он оставляет преданную и любящую жену, но что вина за его поступок все же падает на нее. *Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas*¹.

Миссис Стрикленд медленно переводила взгляд с одного на другого.

— Он не вернется, — объявила она.

— Ах, милочка, вспомни, что тебе о нем сказали. Он привык к комфорту и к тому, чтобы за ним ухаживали. Неужели ты думаешь, что он долго будет довольствоваться убогой комнатушкой в захудалом отеле? Вдобавок у него нет денег. Он должен вернуться.

— Покуда я считала, что он сбежал с какой-то женщиной, у меня еще оставалась надежда. Я была уверена, что долго это не продлится. Она бы смертельно надоела ему через три месяца. Но если он уехал не из-за женщины, всему конец.

— Ну, это уж что-то слишком тонко, — заметил полковник, вкладывая в последнее слово все свое презрение к столь штатским понятиям. — Он, конечно, вернется, и Дороти совершенно права, от этой эскапады его не убудет.

— Но я не хочу, чтобы он вернулся, — сказала миссис Стрикленд.

— Эми!

Приступ холодной злобы нашел на миссис Стрикленд. Она мертвенно побледнела и заговорила быстро, с придыханием:

— Я могла бы простить, если бы он вдруг отчаянно влюбился в какую-то женщину и бежал с нею. Это было бы естественно. Я бы его не винила. Я считала бы, что его заставили бежать. Мужчины слабы, а женщины назойливы. Но это — это совсем другое. Я его ненавижу. И уж теперь никогда не прощу.

Полковник Мак-Эндрю и его супруга принялись наперебой уговаривать ее. Они были потрясены. Уверяли, что она сумасшедшая, отказывались понимать ее. Миссис Стрикленд в отчаянии обратилась ко мне:

— Вы-то хоть меня понимаете?

— Не совсем. Вы хотите сказать, что могли бы простить его, если бы он оставил вас ради другой

¹ Сердце рассуждает по-своему, рассудком этого не понять (франц.).

женщины, но не ради отвлеченной идеи? Видимо, вы полагаете, что в первом случае у вас есть возможность бороться, а во втором вы бессильны?

Миссис Стрикленд бросила на меня не слишком дружелюбный взгляд, но ничего не ответила. Возможно, что я попал в точку. Затем она продолжала сиплым, дрожащим голосом:

— Я никогда не думала, что можно так ненавидеть человека, как я ненавижу его. Я ведь тешила себя мыслью, что сколько бы это ни продлилось, в конце концов он все же ко мне вернется. Я знала, что на смертном одре он пошлет за мной, и была готова к этому; я бы ходила за ним как мать, и в последнюю минуту сказала бы, что я всегда любила его и все-все ему простила.

Я часто с недоумением замечал в женщинах страсть эффектно вести себя у смертного одра тех, кого они любят. Временами мне даже казалось, что они досадуют на долговечность близких, не позволяющую им разыграть красивую сцену.

— Но теперь—теперь все кончено. Для меня он чужой человек. Пусть умирает с голоду, одинокий, заброшенный, без единого друга,—меня это не касается. Надеюсь, что его постигнет какая-нибудь страшная болезнь. Для меня он больше не существует.

Тут я счел уместным передать ей слова Стрикленда.

— Если вы желаете развестись с ним, он готов сделать все, что для этого потребуется.

— Зачем мне давать ему свободу?

— По-моему, он к ней и не стремится. Просто он думает, что вам так будет удобнее.

Миссис Стрикленд нетерпеливо пожала плечами. Я был несколько разочарован. В ту пору я предполагал в людях больше цельности, и кровожадные инстинкты этого прелестного создания меня опечалили. Я не понимал, сколь различны свойства, составляющие человеческий характер. Теперь-то я знаю, что мелочность и широта, злоба и милосердие, ненависть и любовь легко уживаются в душе человека.

«Сумею ли я найти слова, которые смягчили бы горькое чувство унижения, терзающее миссис Стрикленд?» — думал я и решил попытаться.

— Мне временами кажется, что ваш муж не вполне отвечает за свои поступки. По-моему, он уже не тот

человек. Он одержим страстью, которая помыкает им. Безраздельно предавшийся ей, он беспомощен, как муха в паутине. Его точно околдовали. Тут поневоле вспомнишь загадочные рассказы о том, как второе «я» вступает в человека и вытесняет первое. Душа — непостоянная жительница тела и способна на таинственные превращения. В старину сказали бы, что в Чарлза Стрикленда вселился дьявол.

Миссис Мак-Эндрю разгладила ладонью платье на коленях, золотые браслеты скользнули вниз по ее руке.

— Все это, по-моему, пустые измышления,— заметила она кислым тоном.— Я не отрицаю, что Эми чересчур полагалась на своего мужа. Будь она меньше занята собственными делами, она бы уже сообразила, что происходит. Я уверена, что Алек не мог бы годами носиться с каким-нибудь замыслом втайне от меня.

Полковник уставился в пространство с видом самого добродетельного человека на свете.

— Но Чарлз Стрикленд все равно бессердечное животное.

Миссис Мак-Эндрю бросила на меня строгий взгляд.

— Я могу вам точно сказать, почему он оставил жену: из эгоизма, и только из эгоизма.

— Это, конечно, самое простое объяснение,— ответил я, про себя подумав, что оно ничего не объясняет. Потом я поднялся, сославшись на усталость, откланялся, и миссис Стрикленд не сделала попытки задержать меня.

Глава шестнадцатая

Дальнейшие события показали, что миссис Стрикленд — женщина с характером. Она скрывала свои мучения, так как сумела понять, что людям докучают вечные рассказы о несчастьях, и вида страданий они тоже стараются избегать. Где бы она ни появлялась — а друзья из сочувствия наперебой приглашали ее, — она неизменно сохраняла полное достоинство. Одевалась она элегантно, но просто; была весела, но держалась скромно и предпочитала слушать о чужих горестях, чем распространяться о своих. О муже она всегда говорила с жалостью. Ее отношение к нему на первых порах меня удивляло. Однажды она сказала мне:

— Вы, безусловно, заблуждаетесь, я слышала из достоверных источников, что Чарлз уехал из Англии не один.

— В таком случае он положительно гений по части заметания следов.

Она отвела глаза и слегка покраснела:

— Во всяком случае, я хотела вас попросить, если кто-нибудь скажет, что он скрылся с женщиной, пожалуйста, не опровергайте этого.

— Хорошо, не стану.

Она небрежно перевела разговор на другое. Вскоре я узнал, что среди друзей миссис Стрикленд распространился своеобразный вариант этой истории. Стрикленд будто бы влюбился во французскую танцовщицу, впервые увиденную им на сцене театра Эмпайр, и последовал за нею в Париж. Откуда возник подобный слух, я так и не доискался, но он вызывал сочувствие к миссис Стрикленд и укреплял ее положение в обществе. А это было бесполезно для профессии, которую она намеревалась приобрести. Полковник Мак-Эндрю отнюдь не преувеличивал, говоря, что она осталась без гроша за душой, ей необходимо было начать зарабатывать себе на жизнь, и чем скорее, тем лучше. Она решила извлечь пользу из своих обширных знакомств с писателями и взялась за изучение стенографии и машинописи. Ее образованность заставляла предположить, что она будет превосходной машинисткой, а ее семейная драма сделала эти попытки стать самостоятельной очень симпатичными. Друзья обещали снабжать ее работой и рекомендовать своим знакомым.

Мак-Эндрю, люди бездетные и с достатком, взяли на себя попечение о детях, так что миссис Стрикленд приходилось содержать только себя. Она выехала из своей квартиры и продала мебель. Обосновавшись в Вестминстере, в двух небольших комнатах, миссис Стрикленд начала жизнь заново. Она была так усердна, что не оставалось никаких сомнений в успехе ее предприятия.

Глава семнадцатая

Лет пять спустя после вышеописанных событий я решил пожить некоторое время в Париже. Лондон мне приелся. Каждый день делать одно и то же — утомитель-

нейшее занятие. Мои друзья размеренно шли по своему жизненному пути; они уже ничем не могли удивить меня; при встрече я заранее знал, что и как они скажут, даже на их любовных делах лежала печать докучливой обыденности. Мы уподобились трамвайным вагонам, бегущим по рельсам от одной конечной станции до другой; можно было уже почти точно высчитать, сколько пассажиров эти вагоны перевезут. Жизнь текла слишком безмятежно. И меня обуяла паника. Я отказался от квартиры, распродал свои скромные пожитки и решил все начать сызнова.

Перед отъездом я зашел к миссис Стрикленд. Я не видел ее довольно долгое время и отметил, что она переменилась: она не только постарела и похудела, не только новые морщинки избороздили ее лицо, мне показалось, что и характер у нее изменился. Она преуспела в своем начинании и теперь держала контору на Чансери-Лейн; сама миссис Стрикленд почти не печатала на машинке, а только проверяла работу четырех служащих у нее девушек. Стремясь придать своей продукции известное изящество, она обильно пользовалась синими и красными чернилами; копии она обертывала в плотную муаровую бумагу нежнейших оттенков и действительно заслужила известность изяществом и аккуратностью работы. Она усиленно зарабатывала деньги. Однако не могла отрешиться от представления, что зарабатывать себе на жизнь не вполне пристойное занятие, и потому нет-нет да и напоминала собеседнику, что по рождению она леди. В разговоре миссис Стрикленд так и сыпала именами своих знакомых, преимущественно громкими и доказывавшими, что она оставалась на той же ступени социальной лестницы. Она немножко конфузилась своей отваги и деловой предприимчивости, но была в восторге оттого, что завтра ей предстояло обедать в обществе известного адвоката, живущего в Южном Кенсингтоне. С удовольствием рассказывая, что сын ее учится в Кембридже, она не забывала, правда слегка иронически, упоминать о бесконечных приглашениях на танцы, которые получала ее дочь, недавно начавшая выезжать. Я совершил бестактность, спросив:

— Она тоже вступит в ваше дело?

— О нет! Я этого не допусу,—отвечала миссис Стрикленд.—Она очень мила и, я уверена, сделает хорошую партию.

— Это будет для вас большой поддержкой.

— Многие считают, что ей следует идти на сцену, но я, конечно, на это не соглашусь. Я знакома со всеми нашими лучшими драматургами и могла бы хоть завтра достать для нее прекрасную роль, но я не хочу, чтобы она вращалась в смешанном обществе.

Такая высокомерная разборчивость несколько смутила меня.

— Слышали вы что-нибудь о вашем муже?

— Нет. Ничего. Он, по-видимому, умер.

— А если я вдруг встречу с ним в Париже? Сообщить вам о нем?

Она на минуту задумалась.

— Если он очень нуждается, я могу немножко помочь ему. Я вам пришлю небольшую сумму денег, и вы будете постепенно ему их выплачивать.

— Вы очень великодушны,— сказал я.

Но я знал, что не добросердечие подвигнуло ее на это. Неправда, что страдания облагораживают характер, иногда это удается счастьем, но страдания в большинстве случаев делают человека мелочным и мстительным.

Глава восемнадцатая

Вышло так, что я встретился со Стриклендом, не пробыв в Париже и двух недель.

Я быстро нашел себе небольшую квартиру на пятом этаже на Рю де Дам и за две сотни франков купил подержанную мебель. Консьержка должна была варить мне по утрам кофе и убирать комнаты. Обосновавшись, я тотчас же отправился к своему приятелю Дирку Стрёву.

Дирк Стрёв был из тех людей, о которых в зависимости от характера одни говорят пренебрежительно усмехаясь, другие — недоуменно пожимая плечами. Природа создала его шутком. Он был художник, но очень плохой; мы познакомились в Риме, и я хорошо помнил его картины. Казалось, он влюблен в банальность. С душою, трепещущей любовью к искусству, он писал римлян, расположившихся отдохнуть на лестнице площади Испании, причем их слишком очевидная живописность нимало его не обескураживала; в результате мастерская Стрёва была сплошь увешана холстами, с которых на нас

смотрели усатые, большеглазые крестьяне в остроконечных шляпах, мальчишки в красочных лохмотьях и женщины в пышных юбках. Они либо отдыхали на паперти, либо прохлаждались среди кипарисов под безоблачным небом; иногда предавались любовным утехам возле фонтана времен Возрождения, а не то брели по полям Кампаньи подле запряженной волами повозки. Все они были тщательно выписаны и не менее тщательно раскрашены. Фотография не могла бы быть точнее. Один из художников на вилле Медичи окрестил Дирка: *Le maître de la boîte à chocolats*¹. Глядя на его картины, можно было подумать, что Моне, Манэ и прочих импрессионистов вообще не существовало.

— Конечно, я не великий художник,— говаривал Дирк.— Отнюдь не Микеланджело, но что-то во мне все-таки есть. Мои картины продаются. Они вносят романтику в дома самых разных людей. Ты знаешь, ведь мои работы покупают не только в Голландии, но в Норвегии, в Швеции и в Дании. Их очень любят торговцы и богатые коммерсанты. Ты не можешь себе представить, какие зимы стоят в этих краях долгие, темные, холодные. Тамошним жителям нравится думать, что Италия похожа на мои картины. Именно такой они себе ее представляют. Такой представлялась она и мне до того, как я сюда приехал.

На самом деле это представление навек засело в нем и так его ослепило, что он уже не умел видеть правду; и вопреки жестоким фактам, перед его духовным взором вечно стояла Италия романтических разбойников и живописных руин. Он продолжал писать идеал—убогий, пошлый, затасканный, но все же идеал; и это сообщало ему своеобразное обаяние.

Для меня лично Дирк Стрёв был не только объектом насмешек. Собратья художники ничуть не скрывали своего презрения к его мазне, но он зарабатывал немало денег, и они, не задумываясь, распоряжались его кошельком. Дирк был щедр, и все кому не лень, смеясь над его наивным доверием к их рассказам, без зазрения совести брали у него займы. Он отличался редкой сердобольностью, но в его отзывчивой доброте было что-то нелепое, и потому его одолжения принимались без благодарности. Брать у него деньги было все равно

¹ Специалист по разрисовке шоколадных коробок (франц.).

что грабить ребенка, а его еще презирали за дурость. Мне кажется, что карманник, гордый ловкостью своих рук, должен досадовать на беспечную женщину, забывшую в кебе чемоданчик со всеми своими драгоценностями. Природа напаялила на Стрёва дурацкий колпак, но чувствительности его не лишила. Он корчился под градом всевозможных издевок, но, казалось, добровольно вновь и вновь подставлял себя под удары. Он страдал от непрерывных насмешек, но был слишком добродушен, чтобы озлобиться: змея жалила Дирка, а опыт ничему его не научал, и, едва излечившись от боли, он снова пригревал змею на своей груди. Жизнь его была трагедией, но написанной языком вульгарного фарса. Я не потешался над ним, и он, радуясь сострадательному слушателю, поверял мне свои бесчисленные горести. И самое печальное было то, что чем трагичнее они были по существу, тем больше вам хотелось смеяться.

Из рук вон плохой художник, он необычайно тонко чувствовал искусство, и ходить с ним по картинным галереям было подлинным наслаждением. Способность к неподдельному восторгу сочеталась в нем с критической остротой. Дирк был католик. Он умел не только ценить старых мастеров, но и с живой симпатией относиться к современным художникам. Он быстро открывал новые таланты и великодушно судил о них. Думаю, я никогда не встречал человека со столь верным глазом. К тому же он был образован лучше, чем большинство художников, и не был, подобно им, полным невеждою в других искусствах; его музыкальный и литературный вкус сообщал глубину и разнообразие его суждениям о живописи. Для молодого человека, каким я был тогда, советы и объяснения Дирка Стрёва поистине значили очень много.

Уехав из Рима, я стал переписываться с ним и приблизительно раз в два месяца получал от него длинные письма на своеобразном английском языке, который заставлял меня как бы снова видеть и слышать его — захлебывающегося, восторженного, оживленно жестикулирующего. Незадолго до моего приезда в Париж он женился на англичанке и теперь обосновался в студии на Монмартре. Мы не виделись с ним четыре года, и я не был знаком с его женой.

Я не известил Стрёва о своем приезде, и когда он открыл дверь на мой звонок, то в первое мгновение не узнал меня. Затем издал ликующий вопль и потащил в мастерскую. Право же, приятно, когда тебя так пылко встречают!

Жена его что-то шила, сидя у печки, и поднялась мне навстречу. Дирк представил меня.

— Ты помнишь,—обратился он к ней,—я много рассказывал тебе о нем?—И ко мне:—Почему ты не написал, что приезжаешь? Давно ли ты здесь? Надолго ли? Ах, если бы ты пришел часом раньше, мы бы вместе пообедали.

Он засыпал меня вопросами, усадил в кресло, похлопывал, точно я был подушкой, настойчиво потчевал вином, печеньем, сигарами. Он никак не мог оставить меня в покое, без конца сокрушался, что в доме нет виски, бросился варить для меня кофе, не знал, как бы еще меня приветить, весь светился радостью, хохотал и от избытка чувств отчаянно потел.

— Ты ничуть не переменился,—сказал я, с улыбкой глядя на него.

У Дирка была все та же нелепейшая внешность. Маленький, толстый, с короткими ножками и, несмотря на свою молодость—ему было не больше тридцати лет,—уже изрядно плешивый. Лицо у него было совершенно круглое, отличавшееся яркими красками—белая кожа, румяные щеки и очень красные губы. Он постоянно носил большие очки в золотой оправе, глаза у него были голубые и тоже круглые, а брови до того светлые, что он казался безбровым. Он напоминал жизнерадостных толстых торговцев, которых любил писать Рубенс.

Когда я сказал, что собираюсь прожить некоторое время в Париже и уже снял квартиру, он осыпал меня упреками за то, что я заранее не дал ему знать об этом. Он сам подыскал бы мне жилье, ссудил бы меня мебелью—неужто я и вправду уже потратился на покупку?—и помог бы мне с переездом. Он вполне серьезно считал недружественным поступком то, что я не воспользовался его услугами. Между тем миссис Стрёв молча продолжала штопать чулки и со спокойной улыбкой прислушивалась к тому, что он говорил.

— Как видишь, я женат,—внезапно объявил Дирк,—что ты скажешь о моей жене?

Он смотрел на нее бесконечно нежным взглядом и поправлял очки, так как от пота они то и дело соскальзывали на самый кончик носа.

— Ну скажи на милость, что я могу тебе ответить? — рассмеялся я.

— Полно тебе, Дирк,—улыбаясь, вставила миссис Стрёв.

— Разве она не чудо? Говорю тебе, друг мой, не теряй времени, женись, женись как можно скорее. Я счастливейший из смертных. Посмотри на нее. Разве это не готовая картина? Шарден, а? Я видел всех мировых красавиц, но никогда не видел женщины красивее мадам Стрёв.

— Если ты не уgomонишься, Дирк, я уйду.

— *Mon petit chouх*¹,—отвечал он.

Она слегка покраснела, смущенная страстью, слышавшейся в его голосе. Из его писем я уже знал, что он без памяти влюблен в жену, а теперь и сам убедился, что он с нее глаз не сводит. Любила ли она его, об этом я судить затруднялся. Бедняга Панталоне вряд ли мог внушить пламенную любовь, но глаза ее улыбались ласково, и под ее сдержанностью, возможно, скрывалось глубокое чувство. Я не заметил в миссис Стрёв пленительной красоты, которую видел его взор, опьяненный любовью, но была в ней какая-то тихая прелесть. Отлично сшитое, хотя и скромное, серое платье не скрывало удивительной стройности ее высокой фигуры. Впрочем, эта фигура, должно быть, была привлекательнее для скульптора, чем для портного. Свои пышные каштановые волосы миссис Стрёв зачесывала с изящной простотой; лицо у нее было бледное, с правильными, хотя и не очень значительными чертами. В ее серых глазах светилось спокойствие. Я не назвал бы ее не только красавицей, но даже хорошенькой, и все-таки Стрёв не без основания упомянул о Шардене,—она странным образом напоминала ту милую хозяйшку в чепце и фартуке, которую обессмертил великий художник. Не было ничего легче, как представить себе ее хлопочущей среди горшков и кастрюль с обстоятельностью, которая сообщает нравственную значимость домоводству, более того,

¹ Крошка ты моя (*франц.*).

возводит его в ритуал. Впечатления занятой или умной женщины она не производила, но что-то в ее спокойной серьезности возбуждало мой интерес. В ее сдержанности мне мерещилась какая-то таинственность. Странно, что она вышла замуж за Дирка Стрёва. И хотя она была англичанкой, я никак не мог себе представить, из какого она круга, какое воспитание получила и как жила до замужества. Она почти все время молчала, но голос ее, когда ей случалось вставить несколько слов в разговор, звучал приятно, и манеры у нее были естественные.

Я спросил Стрёва, работает ли он.

— Работаю? Да я пишу лучше, чем когда-либо!

Он повел рукой в сторону неоконченной картины на мольберте.

Я невольно вздрогнул.

Дирк писал кучку итальянских крестьян в одежде жителей Кампаньи, расположившихся отдохнуть на церковной паперти.

— Ты это сейчас пишешь? — спросил я.

— Да. И модели у меня здесь не хуже, чем в Риме.

— Не правда ли, как красиво? — сказала миссис Стрёв.

— Моя бедная жена воображает, что я великий художник.

За конфузливый смешок он, довольно неудачно, попытался скрыть свое удовольствие. Глаза его остановились на мольберте. Странное дело, как его критическое чутье, такое безусловное и точное в отношении других художников, удовлетворялось собственной работой, невероятно пошлой и вульгарной.

— Покажи и другие свои картины, — сказала миссис Стрёв.

— Хочешь посмотреть?

Дирк Стрёв, столько выстрадавший от насмешек своих собратьев, в жажде похвал и в наивном самодовольстве тут же согласился показать свои работы. Он поставил передо мной картину, на которой два курчавых итальянских мальчика играли в бабки.

— Правда, это прелесть что такое? — спросила миссис Стрёв.

Он показал мне еще множество картин, и я убедился, что в Париже Дирк писал те же самые избитые, псевдоживописные сюжеты, что и в Риме. Все это было фальшиво, неискренне, дрянно, а между тем свет не знал

человека честнее, искреннее, чище Дирка Стрёва. Как обратиться в таком противоречии?

Не знаю, почему мне вдруг взбрело на ум спросить:

— Скажи, пожалуйста, не встречался ли тебе случайно некий Чарлз Стрикленд, художник?

— Неужели ты его знаешь? — вскричал Дирк.

— Это негодяй, — сказала миссис Стрёв.

Стрёв рассмеялся.

— *Ma pauvre chérie!*¹ — Он подбежал и расцеловал ей обе руки. — Она его не выносит. Как это странно, что ты знаешь Стрикленда!

— Я не выношу дурных манер, — сказала его жена. Дирк, все еще смеясь, обернулся ко мне.

— Я тебе сейчас объясню, в чем дело. Как-то я позвал его посмотреть мои работы. Он пришел, и я вытащил на свет божий все, что у меня было. — Стрёв запнулся и с минуту молчал. Не знаю, зачем он начал этот рассказ, который ему было тошно довести до конца. — Он посмотрел на мои работы и ничего не сказал. Я думал, он приберегает свое суждение под конец. Потом я все-таки заметил: «Ну вот и все, больше у меня ничего нет!» А он и говорит: «Я пришел попросить у вас взаймы двадцать франков».

— И Дирк дал! — с негодованием воскликнула миссис Стрёв.

— Признаться, я опешил. Да и не люблю я отказывать. Он сунул деньги в карман, кивнул мне, сказал «благодарю» и ушел.

Когда Дирк Стрёв рассказывал эту историю, на его круглом глуповатом лице было написано такое бесконечное удивление, что трудно было удержаться от смеха.

— Скажи он, что мои картины плохи, я бы не обиделся, но он ничего не сказал — ни слова!

— А ты еще рассказываешь об этом, — заметила миссис Стрёв.

Самое печальное, что мне больше хотелось смеяться над растерянной физиономией Дирка, чем негодовать на то, как Стрикленд обошелся с ним.

— Я надеюсь, что больше никогда его не увижу, — сказала миссис Стрёв.

Стрёв рассмеялся и пожал плечами. Обычное благодушие уже вернулось к нему.

¹ Бедняжка ты моя (франц.).

— Так или иначе, а он большой художник, очень, очень большой.

— Стрикленд? — воскликнул я. — Тогда это, наверно, не тот.

— Высокий малый с рыжей бородой. Чарлз Стрикленд. Англичанин.

— У него не было бороды, когда я встречался с ним, но если он отрастил бороду, то, надо думать, рыжую. Мой Стрикленд начал заниматься живописью всего пять лет назад.

— Это он. Он великий художник.

— Не может быть!

— Разве я когда-нибудь ошибался? — спросил Дирк. — Говорю тебе, он гений. Я в этом не сомневаюсь. Если через сто лет кто-нибудь вспомнит о нас с тобой, то только потому, что мы знали Чарлза Стрикленда.

Я был поражен и взволнован до предела. Мне внезапно вспомнился мой последний разговор со Стриклендом.

— Где можно посмотреть его работы? Он имеет успех? Где он живет?

— Нет, успеха он не имеет. Думаю, что он не продал еще ни одной картины. О них кому ни скажи — все смеются. Но я-то знаю, что он великий художник. Ведь и над Манэ в свое время смеялись. Коро в жизни не продал ни одной из своих работ. Я не знаю адреса Стрикленда, но могу устроить тебе встречу с ним. Каждый вечер в семь часов он бывает в кафе на улице Клиши. Мы можем завтра сходить туда.

— Я не уверен, что он захочет меня видеть. Я напому ему то, о чем он старается забыть. Но все равно я пойду. А можно посмотреть его работы?

— У него — нет. Он тебе ничего не покажет. Но я знаю одного торговца, у которого есть две или три картины Стрикленда. Только ты не ходи без меня; ты ничего не поймешь. Я их сам тебе покажу.

— Дирк, ты меня выводишь из терпения! — воскликнула миссис Стрёв. — Как ты можешь превозносить его картины после того, что было? — Она обернулась ко мне: — Вы знаете, когда какие-то приезжие из Голландии пришли к нам покупать картины, то Дирк стал их уговаривать лучше купить картины Стрикленда! И настоял, чтобы их принесли сюда.

— А что вы думаете об этих полотнах? — с улыбкой спросил я.

— Они ужасны.

— Ах, радость моя, ты ничего не понимаешь.

— А почему же твои голландцы так на тебя разозлились? Они решили, что ты вздумал подшутить над ними.

Дирк Стрёв снял очки и тщательно протер их. От волнения его лицо сделалось еще краснее.

— Неужели, по-твоему, красота, самое драгоценное, что есть в мире, валяется, как камень на берегу, который может поднять любой прохожий? Красота — это то удивительное и недоступное, что художник в тяжких душевных муках творит из хаоса мироздания. И когда она уже создана, не всякому дано ее узнать. Чтобы постичь красоту, надо вжиться в дерзание художника. Красота — мелодия, которую он поет нам, и для того чтобы она отозвалась в нашем сердце, нужны знание, восприимчивость и фантазия.

— Почему я всегда считала твои картины прекрасными, Дирк? Они восхитили меня, едва только я увидела их.

У Дирка чуть-чуть задрожали губы.

— Ложись спать, родная моя, а я немножко провожу нашего друга и сейчас же вернусь домой.

Глава двадцатая

Дирк Стрёв пообещал зайти за мной на следующий день вечером, чтобы отправиться в кафе, где бывал Стрикленд. К вящему моему удивлению, это оказалось то самое кафе, в котором мы пили абсент со Стриклендом, когда я приезжал в Париж для разговора с ним. То, что он по-прежнему бывал здесь, свидетельствовало об известной верности привычке, и это показалось мне характерным.

— Вот он, — сказал Стрёв, едва только мы вошли в кафе.

Несмотря на октябрь месяц, вечер был теплый и за столиками, расставленными прямо на мостовой, сидело множество народу. Я впился взглядом в эту толпу, но не нашел Стрикленда.

— Смотри же, вон там в углу, за шахматами.

Я заметил человека, склонившегося над шахматной доской, но различил только широкую шляпу и рыжую бороду. С трудом пробравшись между столиков, мы подошли к нему.

— Стрикленд! — Он поднял глаза.

— Хэлло, толстяк! Что надо?

— Я привел старого друга, он хочет повидать вас.

Стрикленд посмотрел мне в лицо, но, видимо, не узнал меня и стал снова обдумывать ход.

— Садитесь и не шумите, — буркнул он.

Он передвинул пешку и тотчас же весь погрузился в игру. Бедняга Стрёв бросил на меня огорченный взгляд, но я не позволил таким пустякам смутить себя. Я велел подать вина и стал покойно дожидаться, пока Стрикленд кончит. Я был рад случаю исподволь понаблюдать за ним. Нет, это не тот человек, которого я знал. Прежде всего косматая и нечесаная рыжая борода закрывала большую часть лица, и волосы на голове тоже были длинные; но более всего непохожим на прежнего Стрикленда его делала страшная худоба. Большой нос еще резче выдался вперед, щеки ввалились, глаза стали огромными. Запавшие виски казались ямами. Тело напоминало скелет. Сюртук, тот же, что и пять лет назад, рваный, в пятнах, донельзя изношенный, болтался на нем, как с чужого плеча. Я долго смотрел на его руки с отросшими грязными ногтями; кожа да кости, но большие и сильные, а я ведь совсем забыл, что они так красивы! Я смотрел на него, погруженного в игру, и думал о том, какая сила исходит от этого изголодавшегося человека. Я только не мог понять, почему теперь она больше бросалась в глаза.

Сделав ход, Стрикленд откинулся на стуле и вперил в пространство рассеянный взгляд. Противник — дородный бородатый француз — долго обдумывал положение, затем вдруг разразился беззлобной бранью, смахнул фигуры с доски и швырнул их обратно в коробку. Изругав Стрикленда и, видимо, облегчив свою душу, он позвал кельнера, заплатил за абсент и ушел. Стрёв придвинул свой стул поближе к столику.

— Ну, теперь мы можем и поговорить, — сказал он.

Глаза Стрикленда были устремлены на него с каким-то злорадным выражением. Я ясно чувствовал, что он ищет повода поиздеваться над ним, ничего не находит и потому угрюмо молчит.

— Я привел старого друга повидаться с вами,— сияющим лицом повторил Стрёв.

Стрикленд, наверно, с минуту задумчиво смотрел на меня. Я молчал.

— В жизни его не видел,— объявил он наконец.

Не знаю, зачем он это сказал, от меня все равно не укрылся огонек в его глазах,— он, несомненно, узнал меня. Но теперь я не так легко конфузился, как несколько лет назад.

— Я на днях говорил с вашей женой и уверен, что вам интересно будет узнать о ней столь свежие новости.— В ответ слышался короткий смешок. Глаза Стрикленда блеснули.

— Мы тогда славно провели вечер,— сказал он.— Сколько лет назад это было?

— Пять.

Он спросил еще абсенту. Стрёв начал многословно объяснять, как мы с ним встретились и как в разговоре случайно выяснилось, что мы оба знаем Стрикленда. Не знаю, слушал ли его Стрикленд. Раза два он задумчиво взглянул на меня, но большей частью был погружен в собственные мысли, и, конечно, без болтовни Стрёва мне было бы нелегко поддерживать разговор. Минут через двадцать голландец поглядел на часы и объявил, что ему пора. Он спросил, пойду ли я с ним. Мне подумалось, что наедине я кое-что вытяну из Стрикленда, и я решил остаться.

После ухода толстяка я сказал:

— Дирк Стрёв считает вас великим художником.

— А почему, черт возьми, это должно интересовать меня?

— Вы позволите мне посмотреть ваши картины?

— Это еще зачем?

— Возможно, что мне захочется приобрести одну из них.

— Возможно, что мне не захочется ее продать.

— Надо думать, вы хорошо зарабатываете живописью?— с улыбкой спросил я.

Он фыркнул.

— Вы это заметили по моему виду?

— У вас вид вконец изголодавшегося человека.

— Так оно и есть.

— Тогда пойдемте обедать.

— Почему вы мне это предлагаете?

— Во всяком случае, не из жалости,— холодно отвечал я.— Ей-богу, мне наплевать, умрете вы с голоду или не умрете.

Глаза его снова зажглись.

— В таком случае пошли.— Он поднялся с места.— Неплохая штука — хороший обед.

Глава двадцать первая

Предоставив ему выбор ресторана, я по дороге купил газету. Когда мы заказали обед, я развернул ее, прислонил к бутылке «сен-галмье» и углубился в чтение. Ели мы молча. Время от времени я чувствовал на себе взгляд Стрикленда, но сам не поднимал глаз. Мне хотелось во что бы то ни стало вызвать его на разговор.

— Есть что-нибудь интересное в газете? — спросил он под самый конец нашего молчаливого обеда.

В его тоне мне послышалось легкое раздражение.

— Я люблю читать фельетоны о театре, — отвечал я, складывая газету.

— Я с удовольствием пообедал, — заметил он.

— А не выпить ли нам здесь же кофе?

— Можно.

Мы взяли по сигаре. Я курил молча, но заметил, что в глазах его мелькал смех, когда он взглядывал на меня. Я терпеливо ждал.

— Что вы делали все эти годы? — спросил он наконец.

Что мог я рассказать о себе? Это была бы летопись тяжелого труда и малых дерзаний; попыток то в одном, то в другом направлении; постепенного познания книг и людей. Я, со своей стороны, остерегался спрашивать Стрикленда о его делах и жизни, не выказывая ни малейшего интереса к его особе, и под конец был вознагражден. Он заговорил первый. Но, начисто лишенный дара красноречия, лишь отдельными вехами отметил пройденный путь, и мне пришлось заполнять пробелы с помощью собственного воображения. Это были танталовы муки — слушать, как скупыми намеками говорит о себе человек, так сильно меня интересовавший. Точно я читал неразборчивую, стертую рукопись. В общем, мне стало ясно, что жизнь его была непрестанной борьбой с разнообразнейшими трудностями. Но

понял я и то, что многое предельно страшное для большинства людей его нисколько не страшило. Стрикленда резко отличало от его соплеменников полное пренебрежение к комфорту. Он с полнейшим равнодушием жил в убогой комнатке, у него не было потребности окружать себя красивыми вещами. Я убежден, что он даже не замечал, до какой степени грязны у него обои. Он не нуждался в креслах и предпочитал сидеть на кухонной табуретке. Он ел с жадностью, но что есть, ему было безразлично; пища была для него только средством заглушить сосущее чувство голода, а когда ее не находилось, ну что ж, он голодал. Я узнал, что в течение полугода его ежедневный рацион состоял из ломтя хлеба и бутылки молока. Чувственный по природе, он оставался равнодушен ко всему, что возбуждает чувственность. Нужда его не тяготила, и он, как это ни поразительно, всецело жил жизнью духа.

Когда подошла к концу скромная сумма, которую Стрикленд привез из Лондона, он не впал в отчаяние. Картины его не продавались, да он, по-моему, особенно и не старался продать их и предпочел пуститься на поиски какого-нибудь заработка. С мрачным юмором рассказывал он о временах, когда ему в качестве гида приходилось знакомить любопытных лондонцев с ночной жизнью Парижа; это занятие более или менее соответствовало его сардоническому нраву, и он каким-то образом умудрился досконально изучить самые «пропащие» кварталы Парижа. Много часов подряд шагал он по бульвару Мадлен, выискивая англичан, желательно подвыпивших и охочих до запрещенных законом зрелищ. Иной раз Стрикленду удавалось заработать кругленькую сумму, но под конец он так обносился, что его лохмотья отпугивали туристов и мало у кого хватало мужества довериться гиду-оборванцу. Затем ему снова посчастливилось, он достал работу — переводил рекламы патентованных лекарств, которые посылались в Англию, а однажды, во время забастовки, работал маляром.

Однако он не забросил своего искусства, только перестал посещать студии и работал в одиночку. Деньги на холст и краски у него всегда находились, а больше ему ничего не было нужно. Насколько я понял, работал он очень трудно и, не желая ни от кого принимать помощи, тратил уйму времени на разрешение технических проб-

лем, разработанных еще предшествующими поколениями. Он стремился к чему-то, к чему именно, я не знал, да навряд ли знал и он сам, и я опять еще яснее почувствовал, что передо мною одержимый. Право же, он производил впечатление человека не совсем нормального. Мне даже почудилось, что он не хочет показать мне свои картины, потому что они ему самому не интересны. Он жил в мечте, и реальность для него цены не имела. Должно быть, работая во всю свою могучую силу, он забывал обо всем на свете, кроме стремления воссоздать то, что стояло перед его внутренним взором, а затем, покончив даже не с картиной (мне почему-то казалось, что он редко завершал работу), но со сжигавшей его страстью, утрачивал к ней всякий интерес. Никогда не был он удовлетворен тем, что сделал; вышедшее из-под его кисти всегда казалось ему бледным и незначительным в сравнении с тем, что денно и ночью виделось его духовному взору.

— Почему вы не выставляете своих картин? — спросил я. — Неужто вам не хочется узнать, что думают о них люди?

— Я не любопытен.

Неописуемое презрение вложил он в эти слова.

— Разве вы не мечтаете о славе? Вряд ли хоть один художник остался к ней равнодушен.

— Ребячество! Как можно заботиться о мнении толпы, если в грош не ставишь мнение одного человека.

Я рассмеялся:

— Не все способны так рассуждать!

— Кто делает славу? Критики, писатели, биржевые маклеры, женщины.

— А, должно быть, приятно сознавать, что люди, которых ты и в глаза не видел, волнуются и трепещут, глядя на создание твоих рук! Власть — кто ее не любит? А есть ли власть прельстительнее той, что заставляет сердца людей биться в страхе или сострадании?

— Мелодрама.

— Но ведь и вам не все равно, пишете вы хорошо или плохо?

— Все равно. Мне важно только писать то, что я вижу.

— А я, например, сомневаюсь, мог ли бы я работать на необитаемом острове в уверенности, что никто, кроме меня, не увидит того, что я сделал.

Стрикленд долго молчал, но в глазах его светился странный огонек, словно они видели нечто, преисполнявшее восторгом его душу.

— Я иногда вижу остров, затерянный в бескрайнем морском просторе; там бы я мог мирно жить в укромной долине, среди неведомых мне деревьев. И там, мне думается, я бы нашел все, что ищу.

Он говорил не совсем так. Прилагательные подменял жестами и запинаясь. Я своими словами передал то, что он, как мне казалось, хотел выразить.

— Оглядываясь на эти последние годы, вы полагаете, что игра стоила свеч?

Он взглянул на меня, не понимая, что я имею в виду. Я пояснил:

— Вы оставили уютный дом и жизнь такую, какую принято считать счастливой. Вы были состоятельным человеком, а здесь, в Париже, вам пришлось очень круто. Если бы жизнь можно было повернуть вспять, сделали бы вы то же самое?

— Конечно.

— А знаете, что вы даже не спросили меня о своей жене и детях? Неужели вы никогда о них не думаете?

— Нет.

— Честное слово, я бы предпочел, чтобы вы отвечали мне не так односложно. Но иногда-то ведь вы чувствуете угрызения совести за горе, которое причинили им?

Стрикленд широко улыбнулся и покачал головой.

— Мне кажется, что временами вы все же должны вспоминать о прошлом. Не о том, что было семь или восемь лет назад, а о далеком прошлом, когда вы впервые встретились с вашей женой, полюбили ее, женились. Неужто вы не вспоминаете радость, с которой вы впервые заключили ее в объятия?

— Я не думаю о прошлом. Значение имеет только вечное сегодня.

С минуту я раздумывал. Ответ был темен, и все же мне показалось, что я смутно прозреваю его смысл.

— Вы счастливы? — спросил я.

— Да.

Я молчал и задумчиво смотрел на него. Он выдержал мой взгляд, но потом сардонический огонек зажегся у него в глазах.

— Плохо мое дело, вы, кажется, осуждаете меня?

— Ерунда,— отрезал я,— нельзя осуждать боаконстриктора: напротив, его психика несомненно возбуждает интерес.

— Значит, вы интересуетесь мною чисто профессионально?

— Да, чисто профессионально.

— Что ж, вам и нельзя меня осуждать. Сами не бог весть что!

— Может быть, потому-то вы и чувствуете себя со мной непринужденно,— отпарировал я.

Он сухо улыбнулся, но ничего не сказал. Жаль, что я не умею описать его улыбку. Ее нельзя было назвать приятной, но она озарила его лицо, придала ему иное выражение, не хмурое, как обычно, а лукаво-злорадное. Это была неторопливая улыбка, начинавшаяся, а, может быть, и кончавшаяся, в уголках глаз; очень чувственная, не жестокая, но и не добрая, а какая-то нечеловеческая, словно это ухмылялся сатир. Эта улыбка и заставила меня спросить:

— И вы ни разу не были влюблены здесь в Париже?

— У меня не было времени на такую чепуху. Жизнь — короткая штука, и на искусство и на любовь ее не хватит.

— Вы не похожи на анахорета.

— Все это мне противно.

— Плохо придуман человек.

— Почему вы смеетесь надо мной?

— Потому что я вам не верю.

— В таком случае вы осел.

Я молчал, испытующе глядя на него.

— Какой вам смысл меня дурачить? — сказал я наконец.

— Не понимаю.

Я улыбнулся.

— Сейчас объясню. Вот вы месяцами ни о чем таком не думаете и убеждаете себя, что с этим покончено раз и навсегда. Вы наслаждаетесь свободой и уверены, что теперь ваша душа принадлежит только вам. Вам кажется, что головой вы касаетесь звезд. А затем вы вдруг чувствуете, что больше вам не выдержать такой жизни, и замечаете, что ноги ваши все время топтались в грязи. И вас уже тянет вывалиться в ней. Вы встречаете женщину вульгарную, низкопробную, полуживотное, в которой воплощен весь ужас пола, и бросаетесь на нее, как

дикий зверь. Вы упиваетесь ею, покуда ярость не ослепит вас.

Он смотрел на меня, и ни один мускул не дрогнул в его лице. Я не опускал глаз под его взглядом и говорил очень медленно.

— И вот еще что, как это ни странно, но когда все пройдет, вы вдруг чувствуете себя необычайно чистым, имматериальным. Вы как бестелесный дух, и кажется, вот-вот коснетесь красоты, словно красота осязаема. Вам чудится, что вы слились с ветерком, с деревьями, на которых набухли почки, с радужными водами реки. Вы как бог. А можете вы объяснить—почему?

Он не сводил с меня глаз, покуда я не кончил, и тогда отвернулся. Странное выражение застыло на его лице. «Такое лицо,—подумалось мне,—должно быть у человека, умершего под пытками». Стрикленд молчал. Я понял, что наша беседа окончена.

Глава двадцать вторая

Обосновавшись в Париже, я начал писать пьесу. Жизнь я вел очень размеренную, по утрам работал, а днем бродил в Люксембургском саду или же шатался по улицам. Долгие часы я проводил в Лувре, приветливейшей из всех галерей на свете и всегда влекущей к раздумью, или же торчал у букинистов на набережных, перелистывая старые книги, которые не думал покупать. Я прочитывал страничку то тут, то там, затем шел дальше и таким образом просмотрел множество книг, с которыми мне и не хотелось знакомиться подробнее. По вечерам я навещал друзей. Частенько заходил к Стрёвам и, случалось, делил с ними их скромный ужин. Дирк Стрёв похвалялся своим искусством готовить итальянские блюда, и надо сознаться, что его *spaghetti*¹ значительно превосходили его картины. Поистине то было королевское пиршество, когда в огромной миске он вносил макароны, щедро пропитанные томатом, и мы ели их с чудесным домашним хлебом, запивая красным вином. Я ближе узнал Бланш Стрёв, и, может быть, потому, что я англичанин, а она редко встречалась со своими соотечественниками, ее, видимо, всегда радовал

¹ Макароны (итал.).

мой приход. Она была приветлива, проста в обращении; хотя по большей части молчалива, и, не знаю почему, мне казалось, что на сердце у нее какая-то тайна. Впрочем, может быть; это была всего лишь врожденная сдержанность, подчеркнутая болтливой откровенностью мужа. Дирк ни о чем не умел молчать. Самые интимные вопросы он обсуждал без малейшего стеснения. Жена его конфузилась, но только раз я заметил, что она вышла из себя, когда он пожелал во что бы то ни стало сообщить мне, что принял слабительное, и пустился в длинный и весьма натуралистический рассказ. Абсолютная серьезность, с которой он повествовал о своей беде, заставила меня покатываться со смеху, а миссис Стрёв окончательно смешалась.

— Не понимаю, что за охота строить из себя дурачка! — воскликнула она.

Когда он увидел, что она сердится, его круглые глаза стали еще круглее, а брови взметнулись.

— Душенька моя, ты недовольна? Никогда больше не стану принимать слабительного. Это из-за разлития желчи. Сидячий образ жизни. Надо больше двигаться. Подумать только, что три дня у меня не было...

— Бога ради, придержи свой язык, — перебила она мужа со слезами досады на глазах.

Лицо его вытянулось, губы надулись, как у наказанного ребенка. Он бросил на меня умоляющий взгляд, взывая о помощи, но я, не в силах совладать с собой, корчился от смеха.

Однажды мы зашли к торговцу картинами, в лавке которого, по словам Стрёва, находились две или три вещи Стрикленда, но хозяин сообщил нам, что Стрикленд на днях забрал их. Почему — неизвестно.

— По правде сказать, я не очень-то огорчаюсь. Я взял их только из любезности, мсье Стрёв, и, конечно, пообещал продать, если удастся, хотя, ей-богу... — он пожал плечами, — я, конечно, стараюсь поддерживать молодых художников, но тут *vous*, мсье Стрёв, вы сами знаете, таланта ни на грош.

— Даю вам честное слово, нет в наши дни более даровитого художника. Помяните мое слово, вы упускаете выгодное дело. Придет время, когда эти картины будут стоить дороже всех, что имеются у вас

¹ Право же (франц.).

в лавке. Вспомните Моне, которому не удавалось сбыть свои вещи за сотню франков. А сколько они стоят теперь?

— Правильно, но десятки художников не хуже Моне не могли сбыть свои картины, которые и теперь ничего не стоят. Что тут можно знать? Разве успех дается по заслугам? Вздор. *Du reste*¹, надо еще доказать, что этот ваш приятель достоин успеха. Кроме вас, мсье Стрёв, никто этого не считает.

— А как вы в таком случае определяете, кто его достоин? — спросил Дирк, красный от гнева.

— Только одним способом — по успеху.

— Филистер! — крикнул Дирк.

— А вы вспомните великих художников прошлого — Рафаэля, Микеланджело, Энгра, Делакруа — все они имели успех.

— Пойдем, — оборотился ко мне Стрёв, — или я убью этого человека.

Глава двадцать третья

Я встречал Стрикленда довольно часто и время от времени даже играл с ним в шахматы. Он был человек очень неровного характера. То молча сидел в углу, рассеянный и никого не замечающий, то вдруг, придя в хорошее расположение духа, начинал говорить, как всегда отрывисто и косноязычно. Я ни разу не слышал от него ничего особенно умного, но его жестокий сарказм порою был занимателен; и говорил Стрикленд только то, что думал. Ему ничего не стоило больно уязвить человека, и когда на него обижались, он только веселился. Дирку Стрёву, например, он наносил обиды столь горькие, что тот убегал, клянясь никогда больше не встречаться с ним. Но могучая натура Стрикленда неодолимо влекла к себе толстяка голландца, и он возвращался, виляя хвостом, точно провинившийся пес, хотя отлично знал, что его снова встретят пинком, которого он так боялся.

Не знаю почему, Стрикленд охотно водился со мной. Отношения у нас сложились своеобразные. Однажды он попросил меня дать ему взаймы пятьдесят франков.

¹ К тому же (*франц.*).

— И не подумаю,— отвечал я.

— Почему?

— А с какой радости я стану ссужать вас деньгами?

— Мне сейчас очень туго приходится.

— Не интересуюсь.

— Не интересуетесь, если я сдохну с голода?

— Мне-то что до этого? — в свою очередь спросил я.

Минуту-другую он смотрел на меня, теребя свою косматую бороду. Я улыбался.

— Что вас смешит, хотел бы я знать? — глаза его гневно блеснули.

— Неужели вы так наивны? Вы ведь никаких обязательств не признаете, следовательно, и вам никто ничем не обязан.

— А каково вам будет, если я сейчас пойду и повешусь, потому что мне нечем заплатить за комнату и меня выгонят на улицу?

— Мне наплевать, что с вами будет.

Он фыркнул.

— Хвастовство! Сделай я это, и вас совесть загрызет.

— Попробуйте, тогда увидим,— отвечал я.

Улыбка промелькнула у него в глазах, и он молча допил свой абсент.

— Не сыграть ли нам в шахматы? — предложил я.

— Пожалуй.

Когда мы расставили фигуры, он с довольным видом оглядел доску.

— Отрадно видеть, что твои солдаты готовы к бою.

— Вы вправду вообразили, что я дам вам денег? — спросил я.

— А почему бы вам и не дать?

— Вы меня удивляете и разочаровываете.

— Чем?

— Оказывается, в глубине души вы сентиментальны. Я бы предпочел, чтобы вы не взывали так наивно к моим чувствам.

— Я презирал бы вас, если бы вы растрогались,— отвечал он.

— Так-то оно лучше,— рассмеялся я.

Мы сделали первые ходы и оба углубились в игру. А когда кончили, я сказал:

— Вот что я вам предлагаю, если у вас дела так плохи, покажите мне ваши картины. Возможно, какая-нибудь из них мне понравится, и я ее куплю.

— Идите к черту,— отрезал он.

Он встал и уже шагнул было к двери. Я его остановил ехидным замечанием:

— Вы забыли заплатить за абсент!

Он обругал меня, швырнул на стол монету и ушел.

После этого я несколько дней его не видел. Но однажды вечером, когда я сидел в кафе и читал газету, он вошел и уселся рядом со мной.

— Как видно, вы все же не повесились,— заметил я.

— Нет, я получил заказ. За двести франков пишу портрет старого жестянщика.

— Как это вам удалось?

— Меня рекомендовала булочница, у которой я покупаю хлеб. Он ей сказал, что ищет, кто бы мог написать его портрет. Пришлось дать ей двадцать франков за комиссию.

— А каков он собой?

— Великолепен. Красная рожа, жирная, как баранья нога, и на правой щеке громадная волосатая бородавка.

Стрикленд был в отличном расположении духа и, когда к нам подсел Дирк Стрёв, со свирепым добродушием обрушился на беднягу. С ловкостью, которой я даже не предполагал в нем, он отыскивал наиболее уязвимые места злополучного голландца. На сей раз Стрикленд донимал его не рапирой сарказма, но дубиной брани. Это была атака настолько неспровоцированная, что Стрёв, застигнутый врасплох, оказался полностью беззащитным и походил на испугнутую овцу, бессмысленно тыкающуюся из стороны в сторону. Он был так поражен и озадачен, что в конце концов слезы потекли у него из глаз. Но самое печальное, что любой свидетель этой безобразной сцены, при всей ненависти к Стрикленду, не мог бы удержаться от смеха. Дирк Стрёв принадлежал к тем несчастным, чьи самые глубокие чувства поневоле смешат вас.

¹ Эта картина ранее принадлежала богатому фабриканту в Милле, бежавшему при приближении немцев. Теперь она находится в Национальной галерее в Стокгольме. Шведы — мастера ловить рыбу в мутной воде. (Прим. автора.)

И все же приятнейшее мое воспоминание о той парижской зиме — Дирк Стрёв. Его скромный домашний очаг был проникнут очарованием. Вид этой уютной четы радовал душу, а наивная любовь Дирка к жене так и светилась заботливой нежностью. Бестолковая искренность его страсти невольно вызывала симпатию. Я понимал, какие чувства она должна была питать к нему, и радовался, видя ее теплую привязанность. Если у нее есть чувство юмора, думал я, она забавляется его преклонением, тем, что он вознес ее так высоко, но ведь смеясь она не может и не быть польщена и растрогана. Дирк — однолюб, и даже когда она постареет, утратит приятную округлость линий и миловидность, для него она все равно будет самой молодой и прекрасной на свете. Образ жизни этой четы отличался успокоительной размеренностью. Кроме мастерской, в их квартирке была только спальня и крохотная кухонька. Миссис Стрёв собственноручно делала всю домашнюю работу; покуда Дирк писал плохие картины, она ходила на рынок, стряпала, шила — словом, хлопотала, как муравей, а вечером, снова с шитьем в руках, сидела в мастерской и слушала, как Дирк играет на рояле, хотя он любил серьезную музыку, вероятно, недоступную ее пониманию. Он играл со вкусом, но вкладывал в игру слишком много чувства, в игре звучала вся его честная, сентиментальная, любвеобильная душа.

Их жизнь была своего рода идиллией, но подлинно красивой идиллией. Комичность, печать которой ложилась решительно на все вокруг Дирка Стрёва, вносила в нее своеобразную нотку, некий диссонанс, делавший ее, однако, более современной и человеческой; подобно грубой шутке, вкрапленной в серьезную сцену, она только еще горше делала горечь, неизбежно заложенную в красоте.

Глава двадцать четвертая

Незадолго до рождества Дирк Стрёв пришел просить меня встретить праздник вместе с ними. Сочельник неизменно вызывал в нем прилив сентиментальности, и он жаждал провести его среди друзей и со всеми подобающими церемониями. Оба мы не видели Стрикленда уже около месяца: я — потому, что занимался

друзьями, приехавшими на некоторое время в Париж, Стрѐв — потому, что разобиделся сильнее, чем обычно, и дал себе наконец слово никогда больше не искать его общества. Стрикленд — ужасный человек, и он отныне знать его не желает. Однако наступающие праздники вновь преисполнили его добрых чувств, и он содрогнулся при мысли, что Стрикленд проведет рождество в полном одиночестве. Приписывая ему свои чувства, он не мог вынести, чтобы в день, когда друзья собираются за праздничным столом, бедняга пребывал наедине со своими мрачными мыслями. Дирк устроил елку в своей мастерской, и я подозревал, что самые неподходящие подарки для каждого из нас уже висят на ее разукрашенных ветвях. В глубине души он все-таки боялся встречи со Стриклендом, сознавая, что унижительно так легко прощать жестокую обиду, и потому непременно хотел, чтобы я был свидетелем сцены примирения.

Мы вместе отправились на улицу Клиши, но Стрикленда в кафе не оказалось. Сидеть на улице было холодно, и мы облюбовали себе кожаный диван в зале, не устранившись духоты и воздуха, сизого от сигарного дыма. Стрикленд не появлялся, но вскоре мы заметили художника-француза, с которым он иногда играл в шахматы. Я его окликнул, и он подсел к нашему столику. Стрѐв спросил, давно ли он видел Стрикленда.

— Стрикленд болен,— отвечал художник,— разве вы не знали?

— И серьезно?

— Очень, насколько мне известно.

Стрѐв побелел.

— Почему он мне не написал? Какой я дурак, что поссорился с ним. Надо сейчас же к нему пойти. За ним, вероятно, и присмотреть некому. Где он живет?

— Понятия не имею,— отвечал француз.

Оказалось, что ни один из нас не знает, как найти Стрикленда. Дирк был в отчаянии.

— Он может умереть, и ни одна живая душа об этом не узнает! Ужас! Даже подумать страшно! Мы обязаны немедленно разыскать его.

Я пытался втолковать Стрѐву, что наугад гоняться за человеком по Парижу — бессмыслица. Сначала надо составить план действий.

— Отлично! А он, может быть, лежит при смерти, и, когда мы его разыщем, будет уже поздно.

— Да замолчи ты, дай подумать! — прикрикнул я на него.

Мне был известен только один адрес — «Отель де Бельж», но Стрикленд давно оттуда выехал, и вряд ли там даже помнят его. А если еще принять во внимание его навязчивую идею скрывать свое местожительство, то не остается уже почти никакой надежды, что он сообщил портье свой адрес. Вдобавок это было пять с лишним лет назад. Но наверняка он жил где-то поблизости, раз продолжал ходить в то же кафе, что и в бытность свою постояльцем «Отель де Бельж».

И вдруг я вспомнил, что заказ на портрет достался ему через булочницу, у которой он покупал хлеб. Вот у кого узнаем мы, возможно, где он живет. Я спросил адресную книгу и стал выискивать булочные. Неподалеку отсюда их было пять, нам оставалось только все их обойти. Стрѐв неохотно последовал за мной. У него был свой собственный план — заходить во все дома по улицам, расходящимся от улицы Клиши, и спрашивать, не здесь ли проживает Стрикленд. Моя несложная схема вполне себя оправдала, ибо уже во второй булочной женщина за прилавком сказала, что знает Стрикленда. Она только не была уверена, в каком из трех домов напротив он живет. Но удача нам сопутствовала, и первая же спрошенная нами консьержка сообщила, что комната Стрикленда находится на самом верху.

— Он, кажется, нездоров, — начал Дирк.

— Все может быть, — равнодушно отвечала консьержка. — *En effet*¹ я уже несколько дней его не видела.

Стрѐв помчался по лестнице впереди меня, а когда и я наконец взобрался наверх, он уже разговаривал с каким-то рабочим в одной жилетке, открывшим на его стук. Рабочий велел нам стучать в соседнюю дверь. Тамошний жилец и вправду, кажется, художник. Но он не попадался ему на глаза уже целую неделю. Стрѐв согнул было палец, чтобы постучать, но вдруг с отчаянным лицом обернулся ко мне.

— А что, если он умер?

— Кто-кто, а Стрикленд жив!

Я постучал. Ответа не было. Я нажал ручку, дверь оказалась незапертой, и мы вошли — я впереди, Стрѐв за мной. В комнате было темно. Я с трудом разглядел, что

¹ В самом деле (франц.).

это мансарда под стеклянной крышей; слабый свет с потолка лишь чуть-чуть рассеивал темноту.

— Стрикленд! — позвал я.

Ответа не было. Это уже и мне показалось странным, а Стрёв, стоявший позади меня, дрожал как в лихорадке. Я не решался зажечь свет. В углу я смутно различил кровать, и мне стало жутко: а вдруг при свете мы увидим на ней мертвое тело?

— Что, у вас спичек, что ли нет, дурачье?

Я вздрогнул, услышав из темноты жесткий голос Стрикленда.

— Господи боже ты мой! — закричал Стрёв. — Я уж думал, вы умерли!

Я зажег спичку и, оглянувшись в поисках свечи, успел увидеть тесное помещение, одновременно служившее жильем и мастерской. Тут только и было что кровать, холсты на подрамниках, повернутые лицом к стене, мольберт, стол и стул. Ни ковра на полу, ни камина. На столе, заваленном красками, шпателями и всевозможным мусором, нашелся огарок свечи. Я зажег его. Стрикленд лежал в неудобной позе, потому что кровать была коротка для него, навалив на себя всю имевшуюся у него одежду. С первого взгляда было ясно, что у него жестокий жар. Стрёв бросился к нему и срывающимся от волнения голосом забормотал:

— О бедный мой друг, что же это с вами? Я понятия не имел, что вы больны. Почему вы меня не известили? Вы же знаете, я все на свете сделал бы для вас. Не думайте о том, что я вам сказал тогда. Я был неправ. Глупо, что я обиделся...

— Убирайтесь к черту, — проговорил Стрикленд.

— Будьте же благоразумны. Позвольте мне устроить вас поудобнее. Неужели здесь никого нет, кто бы присмотрел за вами?

Он в полном смятении оглядел убогий чердак. Поправил одеяло и подушку. Стрикленд тяжело дышал и хранил злобное молчание. Потом сердито взглянул на меня. Я спокойно стоял и, в свою очередь, смотрел на него.

— Если хотите что-нибудь для меня сделать, принесите молока, — сказал он наконец. — Я два дня не выхожу из комнаты.

Возле кровати стояла пустая бутылка из-под молока, в кусок газеты были завернуты огрызки хлеба.

— Что вы ели это время? — спросил я.

— Ничего.

— С каких пор? — закричал Стрёв. — Неужели вы два дня провели без еды и питья? Это ужасно!

— Я пил воду.

Глаза его остановились на большой кружке, до которой можно было дотянуться с кровати.

— Сейчас я сбегая за едой, — суетился Стрёв, — скажите, чего бы вам хотелось?

Я вмешался, сказав, что надо купить градусник, немного винограду и хлеба. Стрёв, радуясь, что может быть полезен, кубарем скатился по лестнице.

— Чертов дуралей! — пробормотал Стрикленд.

Я пощупал его пульс. Он бился часто и чуть слышно. На мои вопросы Стрикленд ничего не ответил, а когда я настойчиво повторил их, со злостью отвернулся к стене. Мне оставалось только молча ждать. Минут через десять возвратился запыхавшийся Стрёв. Помимо всего прочего, он принес свечи, бульон, спиртовку и, как расторопный хозяин, тотчас же принялся кипятить молоко. Я измерил Стрикленду температуру. Градусник показал сорок и три десятых. Он был серьезно болен.

Глава двадцать пятая

Вскоре мы его оставили. Дирку надо было домой обедать, а я сказал, что приведу к Стрикленду врача. Но едва мы оказались на улице, где дышалось особенно легко после спертого чердачного воздуха, как голландец стал умолять меня немедленно пойти вместе с ним в его мастерскую. У него есть одна идея, какая — он мне сейчас не скажет, но я непременно, непременно должен сопровождать его. Я не думал, чтобы врач в данный момент мог сделать больше, чем сделали мы, и поэтому согласился. Когда мы вошли, Бланш Стрёв накрывала на стол. Дирк прямо направился к ней и взял ее руки в свои.

— Милочка моя, я хочу кое о чем попросить тебя, — сказал он.

Она посмотрела на него тем серьезным и ясным взглядом, который был едва ли не главной ее прелестью. Красная физиономия Стрёва лоснилась от пота, вид у

него был до смешного перебудораженный, но в его круглых, всегда удивленных глазах светилась решимость.

— Стрикленд очень болен. Возможно, при смерти. Он живет совсем один на грязном чердаке, где некому даже присмотреть за ним. Позволь мне перевезти его к нам.

Она быстро вырвала руки из его рук, я никогда еще не видел у нее такого стремительного движения; бледное лицо ее вспыхнуло.

— Ах, нет!

— Дорогая моя, не отказывай мне. Я не в силах оставить его там одного. Я глаз не сомкну, думая о нем.

— Пожалуйста, иди и ухаживай за ним, я ничего не имею против.— Голос ее звучал холодно и высокомерно.

— Но он умрет.

— Пусть.

Стрѐв даже рот раскрыл, потом вытер пот с лица и обернулся ко мне, ища поддержки, но я не знал, что сказать.

— Он великий художник.

— Какое мне дело? Я его ненавижу.

— Дорогая, любимая моя, не говори так. Заклинаю тебя, позволь мне привести его. Мы его устроим здесь, может быть, спасем ему жизнь. Он тебя не обременит. Я все буду делать сам. Я постелю ему в мастерской. Нельзя же, чтобы он подышал, как собака. Это бесчеловечно.

— Почему его нельзя отправить в больницу?

— В больницу! Он нуждается в любовном, заботливом уходе.

Меня удивило, что Бланш так взволновалась. Она продолжала накрывать на стол, но руки у нее дрожали.

— Не выводи меня из терпения! Заболей ты, Стрикленд бы пальцем не пошевелил для тебя!

— Ну и что с того? За мной ходила бы ты. Его помощь мне бы не понадобилась. А кроме того, я— дело другое, много ли я значу?

— Ты как неразумный щенок. Валяешься на земле и позволяешь людям топтать себя.

Стрѐв хихикнул. Ему показалось, что он понял причину ее гнева.

— Деточка моя, ты все вспоминаешь, как он пришел сюда смотреть мои картины. Что за беда, если ему они

показались скверными? С моей стороны было глупо показывать их. А кроме того, они ведь и вправду не очень-то хороши.

Он унылым взором окинул мастерскую. Незаконченная картина на мольберте изображала улыбающегося итальянского крестьянина; он держал гроздь винограда над головой темноглазой девушки.

— Даже если они ему не понравились, он обязан был соблюсти вежливость. Зачем он оскорбил тебя? Чтобы показать, что он тебя презирает? А ты готов ему руки лизать. О, я ненавижу его!

— Деточка моя, ведь он гений. Не думаешь же ты, что я себя считаю гениальным художником. Конечно, я бы хотел им быть. Но гения я вижу сразу и всем своим существом преклоняюсь перед ним. Удивительнее ничего нет на свете... Но это тяжкое бремя для того, кто им осенен. К гениальному человеку надо относиться терпимо и бережно.

Я стоял в сторонке, несколько смущенный этой семейной сценой, и удивлялся, почему Стрёв так настаивал на моем приходе. У его жены глаза уже были полны слез.

— Пойми, я умоляю тебя принять его не только потому, что он гений, но еще и потому, что он человек, больной и бедный человек!

— Я никогда не впущу его в свой дом! Никогда! Стрёв обернулся ко мне:

— Объясни хоть ты ей, что речь идет о жизни и смерти. Нельзя же оставить его в этой проклятой дыре.

— Конечно, ухаживать за больным было бы проще здесь,—сказал я,—но, с другой стороны, это очень стеснит вас. Его ведь нельзя будет оставить одного ни днем, ни ночью.

— Любовь моя, не может быть, чтобы ты страшилась заботы и отказала в помощи больному человеку.

— Если он будет здесь, то я уйду! —вне себя воскликнула миссис Стрёв.

— Я тебя не узнаю. Ты всегда так добра и великодушна.

— Ради бога, оставь меня в покое. Ты меня с ума сведешь!

Слезы наконец хлынули из ее глаз. Она упала в кресло и закрыла лицо руками. Плечи ее судорожно

вздрагивали. Дирк в мгновение ока очутился у ее ног. Он обнимал ее, целовал ей руки, называл нежными именами, и слезы умиления катились по его щекам. Она высвободилась из его объятий и вытерла глаза.

— Пусти меня,— сказала миссис Стрѐв уже мягче и, сияясь улыбнуться, обратилась ко мне: — Что вы теперь обо мне думаете?

Стрѐв хотел что-то сказать, но не решался и смотрел на нее отчаянным взглядом. Лоб его сморщился, красные губы оттопырились. Он почему-то напомнил мне испуганную морскую свинку.

— Значит, все-таки «нет», родная?

Она уже изнемогла и лишь устало махнула рукой.

— Мастерская твоя. Все здесь твое. Если хочешь привезти его сюда, как я могу этому препятствовать?

Улыбка внезапно озарила его круглое лицо.

— Ты согласна? Я так и знал! Родная моя!

Она вдруг овладела собой и бросила на него взгляд, полный муки. Потом прижала обе руки к сердцу, словно стараясь утишить его биение.

— О Дирк, за всю мою жизнь я никогда ни о чем не просила тебя.

— Ты же знаешь, нет ничего на свете, чего бы я для тебя не сделал.

— Умоляю тебя, не приводи сюда Стрикленда. Кого хочешь, только не его. Приведи вора, пропойцу, первого попавшегося бродягу с улицы, и я обещаю тебе с радостью ходить за ним. Только не Стрикленда, заклинаю тебя, Дирк.

— Но почему?

— Я боюсь его. Он приводит меня в ужас. Он причинит нам страшное зло. Я это знаю. Чувствую. Если ты приведешь его, это добром не кончится.

— Что за безумие!

— Нет, нет! Я знаю, что говорю. Что-то ужасное случится с нами.

— Из-за того, что мы сделаем доброе дело?

Она прерывисто дышала, ужас исказил ее лицо. Я не знал, какие мысли проносились у нее в голове, но чувствовал, что какой-то безликий страх заставил ее потерять самообладание. А ведь обычно она была так спокойна и сдержанна; ее смятение было непостижимо. Стрѐв некоторое время смотрел на нее, оцепенев от изумления.

— Ты моя жена, и ты мне дороже всех на свете. Ни один человек не переступит этого порога без твоего согласия.

Миссис Стрёв на минуту закрыла глаза. Мне показалось, что она теряет сознание. Я не знал, что она такая невропатка, и чувствовал глухое раздражение. Затем опять послышался голос Стрёва, как-то странно прорезавший тишину:

— Разве ты не была в великой беде, когда тебе протянули руку помощи? И ты еще помнишь, как много это значит. Неужели ты не хотела бы, если тебе представляется случай, вызволить из беды другого человека?

Это были самые обыкновенные слова; правда, на мой слух они звучали несколько назидательно, так что я едва сдержал улыбку. Действие их поразило меня. Бланш Стрёв вздрогнула и долгим взглядом в упор посмотрела на мужа. Он уставился в пол и, как мне показалось, смешался. Щеки ее слегка заалели, но тут же страшная мертвенная бледность проступила на лице; казалось, вся кровь застыла в ее жилах, даже руки у нее побледнели. Она задрожала. Тишина в мастерской стала плотной, почти осязаемой. Я был окончательно сбит с толку.

— Привези Стрикленда, Дирк. Я сделаю для него все, что в моих силах.

— Родная моя,— улыбнулся он и протянул к ней руки, но она отстранилась.

— Я не люблю нежностей на людях, Дирк. Это глупо.

Она опять была прежней Бланш, и никто не сказал бы, что минуту назад ее потрясло такое страшное волнение.

Глава двадцать шестая

На следующий день мы перевезли Стрикленда. Понадобилось немало настойчивости и еще больше терпения, чтобы побудить его к этому, но он действительно был очень болен и не имел сил сопротивляться мольбам Стрёва и моей решительности. Мы одели его, причем он все время слабым голосом чертыхался, свели с лестницы, усадили в кеб и доставили в мастерскую Стрёва. Стрикленд так изнемог от всех этих перипетий, что без

возражений позволил уложить себя в постель. Он прохворал месяца полтора. Бывали дни, когда нам казалось, что он не проживет и нескольких часов, и я убежден, что выкарабкался он только благодаря необычному упорству Стрёва.

Я в жизни не видывал более трудного пациента. Он не был ни требователен, ни капризен, напротив — никогда не жаловался, ничего не спрашивал и почти все время молчал; но его как будто злили наши заботливые попечения. На вопрос, как он себя чувствует и не нужно ли ему чего-нибудь, он отвечал насмешками или бранью. Я его просто возненавидел и, как только он оказался вне опасности, напрямик ему об этом заявил.

— Убирайтесь к черту, — был его ответ. Вот и все.

Дирк Стрёв окончательно забросил работу и ходил за Стриклендом как преданная нянька. Он удивительно ловко опраивал ему постель и с хитростью, какой я никогда бы не заподозрил в нем, заставлял принимать лекарства. Никакие труды и хлопоты его не останавливали. Хотя средств у него хватало на безбедную жизнь вдвоем с женой, но никаких излишеств он себе, конечно, позволить не мог; теперь же он сумасбродно расточал деньги на всевозможные деликатесы, которые могли бы возбудить капризный аппетит Стрикленда. Никогда я не забуду, с какой терпеливой деликатностью уговаривал он его побольше есть. Грубости, которые тот говорил ему в ответ, никогда не выводили Дирка из себя; угрюмой злобы он старался не замечать; если его задирали, только посмеивался. Когда Стрикленд начал поправляться, его хорошее настроение выражалось в насмешках над Стрёвом, и тот нарочно дурачился, чтобы повеселить его, украдкой бросая на меня радостные взгляды: вот, мол, дело пошло на поправку! Стрёв был великолепен.

Но еще больше меня удивляла Бланш. Она себя зарекомендовала не только способной, но и преданной сиделкой. Трудно было поверить, что она так яростно противилась желанию мужа водворить больного Стрикленда в их мастерскую. Она пожелала ухаживать за больным наравне с Дирком. Устроила постель так, чтобы менять простыни, не тревожа Стрикленда. Умывала его. Когда я подивился ее сноровке, она улыбнулась своей милой, тихой улыбкой и сказала, что ей пришлось одно

время работать в больнице. Ни словом, ни жестом не выказала она своей отчаянной ненависти к Стрикленду. Она мало говорила с ним, но угадывала все его желания. В течение двух недель его даже ночью нельзя было оставлять одного, и она дежурила возле его постели по очереди с мужем. О чем она думала, часами сидя около него в темноте? На Стрикленда было страшно смотреть: он лежал, уставившись воспаленными глазами в пустоту; еще более худой, чем обычно, с всклокоченной рыжей бородой; от болезни его неестественно блестящие глаза казались еще огромнее.

— Говорит он когда-нибудь с вами по ночам? — спросил я однажды.

— Никогда.

— Вы по-прежнему его не терпите?

— Больше, чем когда-либо.

Она взглянула на меня своими ясными глазами. Лицо ее было безмятежно, и как-то не верилось, что эта женщина способна на бурный взрыв ненависти, свидетелем которого я был.

— А поблагодарил он вас хоть однажды за все, что вы для него сделали?

— Нет, — улыбнулась она.

— Страшный человек!

— И отвратительный.

Стрёв, конечно, был в восторге и не знал, как благодарить жену за ту чистосердечную готовность, с которой она приняла на свои плечи это бремя. Его смущало лишь то, как относились друг к другу Стрикленд и Бланш.

— Ты понимаешь, они часами не обмениваются ни единым словом.

Как-то раз — Стрикленду было уже настолько лучше, что через денек-другой он собирался встать с постели, — мы все сидели в мастерской. Дирк что-то рассказывал мне, миссис Стрёв шила; мне показалось, что она чинит рубашку Стрикленда. Стрикленд лежал на спине и ни слова не говорил. Случайно я подметил, что его глаза с насмешкой и любопытством устремлены на Бланш Стрёв. Почувствовав его взгляд, она, в свою очередь, подняла на него глаза, и несколько секунд они в упор смотрели друг на друга. Мне было не совсем ясно, что выражал ее взор. В нем была странная растерянность и, бог весть почему, смятение. Но тут Стрикленд

отвел глаза и снова праздно уставился в потолок, она же всё продолжала смотреть на него с непонятным и загадочным выражением.

Через несколько дней Стрикленд начал ходить по комнате. От него остались только кожа да кости, одежда болталась на нем как на вешалке. Взлохмаченная рыжая борода, отросшие волосы, необычно крупные черты лица, заострившиеся от болезни, придавали ему странный вид — странный настолько, что он уже не был отталкивающим. В самой несуразности этого человека проглядывало какое-то монументальное величие. Я не знаю, как точно передать впечатление, которое он на меня производил. Не то чтобы его насквозь проникала духовность, хотя телесная оболочка и казалась прозрачной, — слишком уже была в глаза чувственность, написанная на его лице; быть может, то, что я сейчас скажу, смешно, но это была одухотворенная чувственность. От Стрикленда веяло первобытностью, точно и в нем была заложена частица тех темных сил, которые греки воплощали в образах получеловека-полуживотного — сатира, фавна. Мне пришел на ум Марсий, поплатившийся своей кожей за дерзостную попытку состязаться в пении с Аполлоном. Стрикленд вынашивал в своем сердце причудливые гармонии, невиданные образы, и я предвидел, что его ждет конец в муках и отчаянии. «Он одержим дьяволом, — снова думал я, — но этот дьявол не дух зла, ибо он — первобытная сила, существовавшая прежде добра и зла».

Стрикленд был еще слишком слаб, чтобы писать, и молча сидел в мастерской, предаваясь бог весть каким грезам, или читал. Я видел у него книги самые неожиданные: стихи Малларме — он читал их, как читают дети, беззвучно шевеля губами, и я недоумевал, какие чувства порождают в нем эти изысканные каденции и темные строки; в другой раз я застал его углубившимся в детективный роман Габорио. Меня забавляла мысль, что в выборе книг сказываются противоречивые свойства его необыкновенной натуры. Интересно было и то, что, даже ослабев телом, он ни в чем себе не потакал. Стрём любил комфорт, и в мастерской стояли два мягких глубоких кресла и большой диван. Стрикленд к ним даже не подходил, и не из показного стоицизма — как-то раз я застал его там совсем одного сидящего на трехног-
ом стуле, — а просто потому, что он не нуждался в

удобстве и любому креслу предпочитал кухонный табурет. Меня это раздражало, я никогда не видел человека более равнодушного к окружающей обстановке.

Глава двадцать седьмая

Прошло две или три недели. Однажды утром, когда моя работа вдруг застопорилась, я решил дать себе отдых и отправился в Лувр. Бродя по залам, я разглядывал хорошо знакомые картины и тешил свою фантазию чувствами, которые они во мне пробуждали. В одном из переходов я вдруг увидел Стрёва. Я улыбнулся, ибо его кругленькая особа неизменно вызывала улыбку, но, подойдя ближе, заметил, что вид у него, против обыкновения, понурый. Чем-то очень удрученный, Стрёв тем не менее был смешон, как человек, неожиданно упавший в воду: только что спасенный от смерти, он насквозь промок, еще не оправился от испуга, но понимает свое дурацкое положение. Его круглые голубые глаза тревожно блеснули за очками.

— Стрёв,—окликнул я его.

Он вздрогнул, затем улыбнулся, но какой-то горестной улыбкой.

— Что это вы, сэр, вдруг вздумали бездельничать? — весело осведомился я.

— Я давно не был в Лувре. И вот решил посмотреть, нет ли чего-нибудь нового.

— Но ведь ты говорил, что должен на этой неделе закончить картину?

— Стрикленд работает в моей мастерской.

— Ну и что с того?

— Я сам ему предложил. Он еще слишком слаб, чтобы вернуться домой. Я думал, мы будем работать вдвоем. В Латинском квартале многие так работают. Мне казалось, что это очень славно получится. Я всегда думал: как хорошо перемолвиться словом с товарищем, когда устанешь от работы.

Он говорил медленно, с запинками, глядя на меня своими добрыми, глуповатыми глазами. Они были полны слез.

— Я тебя что-то не понимаю.

— Стрикленд не может работать, когда в мастерской еще кто-то есть.

— А тебе какое дело, черт возьми! Ведь это же твоя мастерская! — Стрёв бросил на меня жалобный взгляд. Губы его дрожали.

— В чем дело, объясни,—потребовал я.

Он молчал, весь красный. Потом с несчастным видом уставился на какую-то картину.

— Он не позволил мне писать. Сказал, чтобы я убирался.

— Да почему ты-то не сказал ему, чтобы он убирался ко всем чертям?

— Он меня выгнал. Не драться же мне с ним. Швырнул мне вслед мою шляпу и заперся.

Я готов был убить Стрикленда, но злился и на себя, так как, глядя на беднягу Стрёва, едва удерживался от смеха.

— А что на это сказала твоя жена?

— Она ушла за покупками.

— А ее-то он впустит?

— Не знаю.

Я оторопело уставился на Дирка. Он стоял, точно провинившийся школьник перед учителем.

— Хочешь, я сейчас пойду и выгоню Стрикленда?

Он слегка вздрогнул, и его лоснящееся красное лицо стало еще краснее.

— Нет. Ты лучше не вмешивайся.

Он кивнул мне и ушел. Я понял, что почему-то он не хочет обсуждать эту историю, но почему — мне было неясно.

Глава двадцать восьмая

Неделю спустя все выяснилось. На скорую руку пообедав в ресторане, я вернулся домой и сел читать в своей маленькой гостиной. Часов около десяти вечера в передней раздался надтреснутый звон колокольчика. Я открыл дверь. Передо мной стоял Стрёв.

— Можно к тебе?

На полутемной лестнице я толком не разглядел его, но в голосе его было что-то странное. Не зная я, что он трезвенник, я бы подумал, что он пьян. Я провел его в гостиную и усадил в кресло.

— Слава богу, наконец-то я тебя застал! — воскликнул он.

— А в чем дело? — спросил я, удивленный такой горячностью.

Только сейчас я его разглядел. Всегда очень тщательно одетый, Дирк выглядел растерзанным и даже неопрятным. Я улыбнулся, решив, что он выпил лишнего, и уже хотел над ним подшутить!

— Я не знал куда деваться, — выпалил он. — Я уже приходил сюда, но тебя не было дома.

— Я сегодня поздно обедал.

Теперь я понял, что не хмель привел Дирка в такое состояние. Лицо его, обычно такое розовое, пошло багровыми пятнами. Руки тряслись.

— Что с тобой? — спросил я.

— От меня ушла жена.

Он с трудом выговорил эти слова, задохнулся, и слезы потекли по его круглым щекам. Я не знал, что сказать. Первая моя мысль была, что ее терпение лопнуло, и, возмущенная циническим поведением Стрикленда, она потребовала, чтобы Дирк выгнал его. Я знал, на какие вспышки она способна, несмотря на свое внешнее спокойствие. И если Стрёв не согласился на ее требование, она могла выбежать из мастерской, клянясь никогда больше не возвращаться. Впрочем, бедняга был в таком отчаянии, что я даже не улыбнулся.

— Да не убивайся ты так, дружище. Она вернется. Нельзя же всерьез принимать слова, которые женщина говорит в запальчивости.

— Ты не понимаешь... Она влюбилась в Стрикленда.

— Что-о?! — Я был ошеломлен, но едва смысл его слов дошел до меня, как я понял, что это вздор. — Какую чепуху ты несешь. Уж не приревновал ли ты ее к Стрикленду? — Я готов был рассмеяться. — Ты знаешь не хуже меня, что она его не выносит.

— Ничего ты не понимаешь, — простонал он.

— Ты истеричный осел, — нетерпеливо крикнул я. — Пойдем-ка, я напою тебя виски с содовой, и у тебя легче станет на душе.

Мне подумалось, что по той или иной причине — а ведь один бог знает, как изобретателен человек по части самоистязания, — Дирк забрал себе в голову, что его жене нравится Стрикленд, и, со своей удивительной

способностью высказываться не к месту, он оскорбил ее, а она, чтобы ему отплатить, притворилась, будто его подозрения основательны.

— Вот что,— сказал я,— пойдем сейчас к тебе. Раз уж ты заварил кашу, так ты ее и расхлебывай. Твоя жена, по-моему, женщина незлопамятная.

— Но как же я туда пойду?— устало отозвался Дирк.— Ведь они там. Я им оставил мастерскую.

— Значит, не жена ушла от тебя, а ты ушел от жены?

— Ради бога, не говори так!

Я все еще не принимал его слова всерьез, ни на минуту не веря тому, что он сказал. Однако Дирк был вне себя от горя.

— Ты ведь пришел поделиться со мной, так расскажи все по порядку.

— Сегодня я почувствовал, что больше не выдержу. Я сказал Стрикленду, что, по-моему, он уже вполне здоров и может возвратиться домой. Мастерская нужна мне самому.

— Кроме Стрикленда, на свете, верно, нет человека, которому нужно было бы это говорить,— заметил я.— Ну и что же он?

— Он усмехнулся. Ты же знаешь его манеру усмехаться так, что другой чувствует себя набитым дураком. И сказал, что уйдет немедленно. Он начал собирать свои вещи— помнишь, я взял из его комнаты все, что могло ему понадобиться. Потом спросил у Бланш бумаги и веревку.

Стрѐв запнулся, он прерывисто дышал и, казалось, был близок к обмороку. Признаться, я не это ожидал от него услышать.

— Бланш, очень бледная, все ему принесла. Он не сказал ни слова. Стал что-то насвистывать и увязал вещи. На нас не обращал никакого внимания. А глаза— насмешливые. Ты не можешь себе представить, как у меня было тяжело на сердце. Мне казалось, сейчас случится что-то страшное, и я жалел, что заговорил с ним. Он оглянулся, стал искать шляпу. Тут она сказала: «Дирк, я ухожу со Стриклендом. Я не могу больше жить с тобой». Я хотел заговорить, но слова не шли у меня с языка. Стрикленд молчал. Только насвистывал, словно все это его не касалось.

Стрѣв опять запынулся и вытер пот с лица. Я молчал. Теперь я уже верил ему и был потрясен, но все равно ничего не понимал.

Затем он рассказал мне—голос у него при этом срывался и по щекам текли слезы,—как он бросился к жене, хотел обнять ее, но она отшатнулась, умоляя не прикасаться к ней. Он заклинал ее не уходить. Говорил, как страстно ее любит, старался воскресить в ее памяти счастливые дни и то обожание, которым он окружал ее, твердил, что не сердится на нее и ни в чем ее не упрекает.

— Пожалуйста, Дирк, дай мне спокойно уйти,—сказала она наконец.—Разве ты не понимаешь, что я люблю Стрикленда? Я пойду за ним куда угодно.

— Но ведь ты никогда не будешь счастлива с ним. Останься ради своего же блага. Ты не знаешь, что тебя ждет.

— Это твоя вина. Ты настоял на том, чтобы привести его сюда.

Тогда он бросился к Стрикленду.

— Сжальтесь над ней,—умолял он.— Не допускайте ее до этого безумия.

— Она вольна поступать как ей заблагорассудится,—отвечал Стрикленд.—Я не принуждаю ее идти со мной.

— Мой выбор сделан,—глухим голосом сказала Бланш.

Оскорбительное спокойствие Стрикленда отняло у Дирка последнее самообладание. В слепой ярости, уже не понимая, что делает, он бросился на Стрикленда. Стрикленд, захваченный врасплох, покачнулся, но он был очень силен, даже после болезни, и Дирк в мгновение ока—как это случилось, он не понял,—очутился на полу.

— Смешной вы человечиска,—сказал Стрикленд.

Стрѣв поднялся. Жена его все это время оставалась спокойной, и его унижение стало еще нестерпимее оттого, что он оказался смешным в ее глазах. Очки соскочили у него во время борьбы, и он беспомощно озирался вокруг. Она подняла их и молча подала ему. Внезапно он почувствовал всю глубину своего несчастья и, сознавая, как он смешон и жалок, все же заплакал в голос. Он закрыл лицо руками. Те двое молча смотрели на него и не двигались с места.

— Любимая моя,—простонал он наконец,—как ты можешь быть такой жестокой!

— Я ничего не могу с собой поделать, Дирк,—отвечала она.

— Я боготворил тебя, как никто никогда не боготворил женщину. Если я в чем-нибудь провинился перед тобой, почему ты не сказала, я бы загладил свою вину. Я делал для тебя все, что мог.

Она не отвечала, лицо у нее стало каменное, он видел, что только докучает ей. Она надела пальто, шляпу и двинулась к двери. Дирк понял: еще мгновение — и она уйдет. Он ринулся к ней, схватил ее руки, упал перед нею на колени; чувство собственного достоинства окончательно его оставило.

— Не уходи, моя родная. Я не могу жить без тебя! Я покончу с собой! Если я чем-нибудь тебя обидел, умоляю тебя, прости! Дай мне возможность заслужить прощение. Я сделаю все, все, чтобы ты была счастлива!

— Встань, Дирк! Не строй из себя шута.

Шатаясь, он поднялся, но все не имел сил отпустить ее.

— Куда ты пойдешь! — торопливо заговорил он. — Ты не представляешь себе, как живет Стрикленд. Ты не можешь там жить. Это было бы ужасно.

— Если мне это все равно, то чего же тебе волноваться?

— Подожди минуту. Я должен сказать... Ты не можешь мне запретить...

— Зачем? Я решилась. Что бы ты ни сказал, я не переменю своего решения.

Он всхлипнул и, словно унимая боль, схватился рукою за сердце.

— Я не прошу тебя перерешать, но только выслушай меня. Это моя последняя просьба. Не отказывай мне.

Она остановилась и посмотрела на него своим задумчивым взглядом, теперь таким отчужденным и холодным, отошла от двери и встала у шкафа.

— Я тебя слушаю.

Стрёв сделал неимоверное усилие, чтобы взять себя в руки.

— Будь же хоть немного благоразумной. Ты не можешь жить воздухом. У Стрикленда гроша нет за душой.

— Я знаю.

— Ты будешь терпеть страшные лишения. Знаешь, почему он так долго не поправлялся? Он ведь голодал невесть сколько времени.

— Я буду зарабатывать для него.

— Чем?

— Не знаю. Что-нибудь придумаю.

Страшная мысль промелькнула в голове у бедняги, он вздрогнул.

— Ты, наверно, с ума сошла. Что с тобою делается?

Она пожала плечами.

— Мне можно теперь идти?

— погоди еще секунду.

Он обвел взглядом мастерскую. Он любил ее, потому что присутствие Бланш делало все вокруг приветливым и уютным; на мгновение закрыл глаза, снова открыл их и посмотрел на жену так, словно хотел навеки запечатлеть в душе ее облик. Потом взялся за шляпу.

— Оставайся. Уйду я.

— Ты?

Она опешила и ничего не понимала.

— Я не могу допустить, чтобы ты жила на этом грязном чердаке. В конце концов этот дом так же твой, как и мой. Тебе здесь будет лучше. Хоть от самых страшных лишений ты будешь избавлена.

Он открыл шкаф и достал небольшую пачку денег.

— Я дам тебе половину того, что у меня есть.

Он положил деньги на стол. Стрикленд и Бланш молчали.

— Я попрошу тебя уложить мои вещи и передать их консьержке. Завтра я приду за ними.— Он сделал попытку улыбнуться.— Прощай, моя дорогая. Спасибо тебе за все счастье, которое ты дала мне.

Он вышел и прикрыл за собою дверь. Мне вдруг ясно представилось, как после его ухода Стрикленд бросил на стол свою шляпу, сел и закурил папиросу.

Глава двадцать девятая

Я довольно долго молчал, размышляя о том, что рассказал мне Стрѐв. Нелегко мне было снести такое малодушие, и он это заметил.

— Ты не хуже меня знаешь, как живет Стрикленд,—сказал он дрожащим голосом.—Я не мог допустить, чтобы и она жила в таких условиях... просто не мог.

— Это твое дело,—отвечал я.

— Как бы ты поступил на моем месте?

— Она знала, на что идет. Если бы ей и пришлось страдать от известных неудобств, ее воля.

— Да, но ты не любишь ее.

— А ты все еще ее любишь?

— О, больше прежнего! Стрикленд не из тех людей, что могут сделать женщину счастливой. Долго это не продлится. Пусть она знает, что я никогда не покину ее.

— Как понимать твои слова? Ты готов взять ее обратно?

— Я бы ни на секунду не задумался. Да и я буду ей тогда всего нужнее. Страшно подумать—она останется одна, униженная, сломленная, и вдруг ей некуда будет деваться!

Он даже не чувствовал себя оскорбленным. А я, естественно, возмущался его малодушием. Вероятно, он догадался, о чем я думаю, так как сказал:

— Я и не мог надеяться, что она будет любить меня так же, как я ее. Я шут. Женщины таких не любят. Я всегда это знал. Не вправе я обвинять ее за то, что она полюбила Стрикленда.

— Ты начисто лишен самолюбия, это редчайшее свойство.

— Я люблю ее куда больше, чем самого себя. Мне кажется, самолюбие примешивается к любви, только когда ты больше любишь самого себя. Ведь женатые мужчины сплошь и рядом увлекаются другими женщинами; а потом все проходит, они возвращаются в семью, и люди считают это вполне естественным. Почему с женщинами должно быть по-другому?

— Рассуждение довольно логичное,—рассмеялся я,—но большинство мужчин иначе устроено, они не могут простить, и этим все сказано.

Я говорил и в то же время ломал себе голову над внезапностью случившегося. Неужели Стрёв ничего не подозревал? Мне вспомнилось странное выражение, однажды промелькнувшее в глазах Бланш Стрёв, может быть, она уже смутно понимала тогда, что роковое чувство зарождается в ее сердце.

— Ну, а до сегодняшнего дня ты не замечал, что между ними что-то есть? — спросил я.

Стрёв не ответил. Он взял со стола карандаш и машинально рисовал на промокательной бумаге какую-то женскую головку.

— Скажи прямо, если тебе неприятны мои вопросы.

— Нет, мне легче говорить... Ох, если бы ты знал, какие страшные муки терзали меня. — Он отшвырнул карандаш. — Да, я знал об этом уже две недели. Знал раньше, чем узнала она.

— Почему же, скажи на милость, ты не выставил Стрикленда за дверь?

— Я не верил. Мне это казалось неправдоподобным. Она его терпеть не могла. Более того — невероятным. Я считал, что это просто ревность. Понимаешь ли, я всегда был ревнив, но приучил себя не подавать виду! Я ревновал ее ко всем нашим знакомым мужчинам, ревновал и к тебе. Я знал, что она не любит меня так, как я люблю ее. Иначе и быть не могло. Но она позволяла мне любить себя, и этого мне было довольно для счастья. Я заставлял себя на долгие часы уходить из дому, чтобы оставить их одних; так я себя наказывал за недостойные подозрения, а когда я возвращался, я видел, что им это неприятно... вернее, ей. Стрикленду было все равно, дома я или нет. Бланш содрогалась, когда я подходил поцеловать ее. Когда я наконец убедился, я не знал, что делать. Устроить сцену? Да они бы только посмеялись надо мной. И вот мне подумалось: может быть, если держать язык за зубами и делать вид, что ничего не замечаешь, то все как-нибудь образуется. А его я решил выжить спокойно, без всяких ссор. Ох, если бы ты знал, как я мучился!

Затем Дирк повторил свой рассказ о том, как он просил Стрикленда уехать. Он выбрал подходящую минуту и постарался высказать эту просьбу как бы между прочим; да только не совладал со своим голосом и сам почувствовал, что в слова, которые должны были звучать легко и дружелюбно, вкралась горечь ревности. Он никак не ожидал, что Стрикленд тотчас же начнет собираться, и, уж конечно, не думал, что Бланш решит уйти вместе с ним. Я видел, как он жалеет теперь, что не сдержался и заговорил со Стриклендом. Мучения ревности он предпочитал мучениям разлуки.

— Я хотел убить его и только разыграл из себя шута. Он долго сидел молча, прежде чем произнести то, что я ожидал от него услышать.

— Если бы я не поторопился, может, все и обошлось бы. Нельзя быть таким нетерпеливым. О, бедная моя девочка, до чего я ее довел!

Я только пожал плечами. Бланш Стрёв была мне не симпатична, но сказать то, что я о ней думаю, значило бы причинить ему новую боль.

Он дошел до той степени возбуждения, когда человек говорит и уже не может остановиться. Без конца возвращался он к пресловутой сцене. То вспоминал что-то, чего еще не успел мне сообщить, то пускался в рассуждения о том, что ему следовало бы ей сказать, и затем опять принимался жаловаться на свою слепоту. Сожалел, что поступил так, а не этак. Между тем давно уже спустилась ночь, и я устал не меньше его самого.

— Что ж ты намерен делать дальше? — спросил я наконец.

— Что делать? Буду дожидаться, пока она не пришлет за мной.

— Почему тебе не уехать, хотя бы ненадолго?

— Нет, нет, я могу понадобиться ей и должен быть под рукой.

Это был совсем потерянный человек. Он не в силах был собраться с мыслями. Когда я сказал, что пора ему лечь в постель, он возразил, что все равно не уснет. Он хотел уйти и до рассвета бродить по улицам. Его, безусловно, нельзя было оставлять одного. Наконец мне удалось уговорить его переночевать у меня, и я уложил его в свою кровать. В гостиной у меня стоял диван, на котором я отлично мог выспаться. Дирк был уже вконец измучен и не имел сил мне противиться. Чтобы заставить его забыться хоть на несколько часов, я дал ему изрядную дозу веронала. И лучшей услуги, пожалуй, нельзя было оказать бедняге.

Глава тридцатая

Мой диван оказался не слишком удобным ложем, и я не столько спал, сколько думал о Стрёве. Поступок Бланш меня не очень-то озадачил: я считал, что это не

что иное, как зов плоти. Она, вероятно, никогда по-настоящему не любила Дирка, и то, что я принял за любовь, было лишь чисто женским откликом на заботу и ласку, который женщины нередко принимают за любовь. Это пассивное чувство, оно способно обратиться на любой объект, как виноградная лоза способна обвить любое дерево. Людская мудрость воздаст должное этой способности, ибо как иначе объяснить, что девушку насильно выдают замуж за человека, который захотел ее, считая, что любовь придет сама собой. Такого рода чувство составляется из приятного ощущения благополучия, гордости собственности, из удовольствия сознавать себя желанной, из радости домоводства. И «духовным» женщины называют его только из тщеславия. Это чувство беззащитно против страсти. Я подозревал, что к неистовой ненависти Бланш Стрёв к Стрикленду с первых же дней примешивался некий элемент полового влечения. Но кто я, чтобы тщиться разгадать запутанные тайны пола? Возможно, что страсть Дирка возбуждала ее, не давая удовлетворения, и она возненавидела Стрикленда, почувствовав, что он может дать ей то, чего она алчет. Наверное, она с полной искренностью восставала против желания мужа привезти его к ним; Стрикленд пугал ее, а почему, она и сама не знала, но предчувствовала несчастье. Ее ужас перед Стриклендом, так ее волновавшим, вероятно, был ужасом перед самой собою. Внешность у Стрикленда была странная и грубая, его глаза смотрели равнодушно, а рот свидетельствовал о чувственности. Он был рослым, сильным мужчиной, вероятно необузданным в страсти, и не исключено, что и она почуяла в нем темную стихию, натолкнувшую меня на мысль о диких доисторических существах, которые хоть и не утратили еще первобытной связи с землей, но уже обладали и собственным разумом. Если он взволновал ее, она неизбежно должна была полюбить его или возненавидеть. Она возненавидела.

Да и ежедневное близкое общение с ним, когда он был болен, тоже, должно быть, странно ее возбуждало. Она кормила его, поддерживая его голову, а потом заботливо вытирала его чувственные губы и огненную бороду. Она мыла его руки, поросшие жесткой щетиной, и, вытирая их, чувствовала, что, несмотря на болезнь, они сильны и мускулисты. У него были длинные пальцы, чуткие, созидающие пальцы художника, и они пробуж-

дали в ее мозгу тревожные мысли. Он спал очень спокойно, не двигаясь, точно мертвый, и был похож на дикого зверя, отдыхающего после долгой охоты, а она сидела подле него, гадая, какие видения посещают его во сне. Может быть, ему снилась нимфа, мчащаяся по лесам Греции, и сатир, неотступно преследующий ее? Она неслась, быстроногая, испуганная, но расстояние между ними все сокращалось, его горячее дыхание уже обжигало ей шею, и все-таки она молча стремилась вперед, и сатир также молча преследовал ее, а когда он наконец ее настиг, кто знает, в ужасе или в упоении забилося ее сердце?

Жестокий голод снедал Бланш Стрёв. Может быть, она еще ненавидела Стрикленда, но только он один мог утолить этот голод, и все, что было до этих дней, больше не имело для нее значения. Она уже не была женщиной со сложным характером, доброй и вспыльчивой, деликатной и бездумной. Она была менадой. Она была вся — желание.

Но, может быть, это лишь поэтические домыслы, может быть, ей просто наскучил муж и она сошлась со Стриклендом из бессердечного любопытства? Даже не питая к нему горячей любви, уступила его желанию, потому что была праздной и похотливой, а потом уже запуталась в сетях собственного коварства? Откуда мне знать, какие мысли и чувства таились за холодным взглядом этих серых глаз, под чистым безмятежным лбом?

Человек — существо столь переменчивое, что о нем ничего наверное знать нельзя, и все же поступку Бланш Стрёв нетрудно было подыскать правдоподобное объяснение. Что же касается Стрикленда, то тут, сколько я ни ломал себе голову, я все равно ничего не понимал. То, что он сделал, прямо противоречило моему представлению о нем. Мне не казалось странным, что он так жестоко обманул доверие друга и, не задумываясь, причинил страшное горе человеку, только бы удовлетворить свою прихоть. Такова была его натура. О благодарности он не имел ни малейшего понятия. Он не знал сострадания. Чувства, обычные для каждого из нас, ему были несвойственны, и винить его за это было так же нелепо, как винить тигра за свирепую жестокость. Но самая прихоть — вот что было непостижимо.

Я не мог поверить, что Стрикленд влюбился в Бланш Стрёв. И не верил, что он вообще способен любить. Любовь—это забота и нежность, а Стрикленд не знал нежности ни к себе, ни к другим; в любви есть милосердие, желание защитить любимое существо, стремление сделать добро, обрадовать,—если это и не самоотречение, то, во всяком случае, удивительно хорошо замаскированный эгоизм,—но есть в ней и некоторая робость. Нет, в Стрикленде ничего этого не было. Любовь—всепоглощающее чувство. Она отрешает человека от самого себя, и даже завзятый ясновидец хоть и знает, что так оно будет, но реально не в состоянии себе представить, что его любовь пройдет. Любовь облекает в плоть и кровь иллюзию, и человек, отдавая себе отчет в том, что это иллюзия, все же любит ее больше действительности. Она делает его больше, чем он есть, и в то же время меньше. Он перестает быть самим собою. Он уже не личность, а предмет, орудие для достижения цели, чуждой его «я». Любви всегда присуща доля сентиментальности, но Стрикленд меньше, чем кто-либо, был подвержен этому недугу. Я не верил, что Стрикленд может подчиниться чьей-то воле, никакого ига он бы не потерпел. Я знал, что он вырвет из сердца, может быть, со страшной мукой, которая обессилит и обескровит его, все, что станет между ним и тем непонятным влечением, которое не давало ему покоя ни днем, ни ночью. Если мне удалось воссоздать образ Стрикленда во всей его сложности, то я возьму на себя смелость сказать еще и это: Стрикленд, казалось мне, слишком велик для любви и в то же время ее не стоит.

Впрочем, представление о страсти у каждого складывается на основе его собственных симпатий и антипатий и, следовательно, у всех разное. Такой человек, как Стрикленд, должен был любить на свой лад. И потому копаться в его чувствах бессмысленно.

Глава тридцать первая

На следующий день, несмотря на все мои уговоры, Стрёв ушел от меня. Я предложил сходить за его чемоданом в мастерскую, но он хотел во что бы то ни стало идти сам. По-моему, он надеялся, что они позабыли собрать его вещи и ему представится случай еще раз

повидать жену и, кто знает, может быть, убедить ее к нему вернуться. Но он нашел все свои пожитки внизу, в комнате консьержки, которая сказала ему, что Бланш нет дома. Вероятно, он не устоял перед соблазном поделиться с нею своим горем. Он рассказывал о нем всем встречным и поперечным; он ждал сочувствия, но над ним только подсмеивались.

Дирк вел себя из рук вон глупо. Зная, в какое время его жена ходит за покупками, и не имея сил так долго не видаться с нею, он однажды подстерг ее на улице. Она не хотела говорить с ним, но он настаивал, чтобы она хоть выслушала его. Он бормотал какие-то непонятные извинения за все, чем мог когда-либо огорчить ее, говорил, как преданно ее любит, умолял вернуться к нему. Она не отвечала и шла, не оглядываясь, все быстрее и быстрее. Я словно видел, как он едва поспевает за ней на своих толстеньких ножках. Задышавшись от быстрой ходьбы, он говорил о том, как он несчастен, заклинал ее сжалиться над ним, обещал делать все, что она пожелает, лишь бы она его простила. Он умолял ее уехать с ним куда-нибудь далеко, предостерегал, что она скоро наскучит Стрикленду. Когда он рассказал мне об этой безобразной сцене, я вышел из себя. До такой степени утратить рассудок и чувство собственного достоинства! Он сделал решительно все, чтобы добиться презрения жены, ибо нет жестокости более страшной, чем жестокость женщины к мужчине, который любит ее, но которого она не любит; в ней не остается больше ни доброты, ни терпимости, одно только безумное раздражение. Бланш Стрёв внезапно остановилась и наотмашь ударила мужа по лицу. Затем, пользуясь его растерянностью, убежала наверх, в мастерскую. И все это молча, без единого слова.

Рассказывая об этом, Стрёв схватился за щеку, словно еще чувствуя боль от удара; при этом в глазах его стояла душераздирающая тоска и забавное недоумение. Он был похож на побитого школьника, и я, от души жалея его, едва удерживался от смеха.

Затем он стал ежедневно бродить возле лавок, в которых она делала покупки, и, стоя за углом или на другой стороне улицы, смотрел, как она проходит мимо. Заговаривать с нею он больше не отваживался, но старался вложить во взгляд своих круглых глаз всю мольбу, переполнявшую его сердце. Он, кажется, наде-

ялся, что вид его страданий смягчит ее. Она его попросту не замечала. Даже не потрудилась поискать другую дорогу или изменить время своего хождения по лавкам. В ее равнодушии была немалая доля жестокости; может быть, ей даже нравилось мучить его. Я не понимал, за что она его возненавидела.

Я упрасивал Стрёва образумиться. Нельзя же быть такой тряпкой!

— Все это тебя до добра не доведет,— говорил я.— Лучше бы ты хорошенько отколотил ее. Тогда бы она перестала тебя презирать.

Я советовал ему уехать на время домой. Он часто рассказывал мне о тихом городке на севере Голландии, где и сейчас жили его родители, люди очень скромные. Отец его был плотник. Их опрятный старый домишко из красного кирпича стоял на берегу заброшенного канала. Улицы там были широкие и безлюдные. Уже двести лет городок умирал, но дома еще сохраняли величавую простоту доброго старого времени. В них некогда жили в покое и довольстве богатые купцы, посылавшие свои товары в далекую Индию, и обветшалые здания, казалось, были еще проникнуты ароматом тех счастливых дней. Берегом канала можно было выйти в зеленеющие поля, где там и сям стояли ветряные мельницы и белые с черным коровы лениво пощипывали траву. Мне казалось, что в этих краях, полных воспоминаний детства, Дирк Стрёв сумеет позабыть о своем несчастье. Но он не хотел уезжать.

— Я должен быть здесь на случай, если понадобится ей,— твердил он.— Вдруг случится что-нибудь ужасное, а меня здесь не будет.

— А что, по-твоему, должно случиться?

— Не знаю, но мне страшно.

Я пожал плечами.

Несмотря на все свое горе, Дирк Стрёв оставался комической фигурой. Если бы он хоть немножко похудел и осунулся, он, наверно, возбуждал бы жалость. Но ничего подобного с ним не случилось. Он был по-прежнему кругл, как шар, и его налитые красные щеки блестели, точно спелые яблоки. Своей щеголеватой опрятности Дирк тоже не утратил и ходил, как обычно, в изящном черном костюме и в котелке, который был ему маловат и потому сидел на голове как-то лихо и весело. Дирк уже успел обзавестись брюшком, которое

ничуть не уменьшалось от всех его горестей. Он теперь больше чем когда-либо походил на преуспевающего коммивояжера. Очень печально, когда внешность человека находится в таком несоответствии с его душой. В данном случае страсть Ромео пылала в теле сэра Тоби Белча. У Дирка было нежное, великодушное сердце и повадки шута, безошибочное чувство красоты и умение писать только пошлые картинки, удивительная душевная деликатность и вульгарные манеры. Он проявлял немало такта в чужих делах, но в своих собственных отличался удивительной бестактностью. Да, жестокую шутку сыграла старуха природа, когда соединила в одном человеке столь противоречивые качества и столкнула его лицом к лицу с беспощадной и равнодушной вселенной.

Глава тридцать вторая

Я не видел Стрикленда уже больше месяца. Он был мне отвратителен, и при случае я с удовольствием высказал бы ему свое о нем мнение: однако разыскивать его с этой целью мне казалось излишним. Я всегда побаивался выступать в качестве поборника нравственности, ибо в этой роли обязательно становишься самодовольным, а человеку, не лишенному чувства юмора, это не совсем приятно. Если я уж рискую выставить себя в смешном виде, то лишь из-за чего-то очень мне дорогого. А Стрикленду была свойственна язвительная прямота, которая заставляла меня избегать всего хотя бы чуть-чуть похожего на позу. Но однажды вечером, идя по улице Клиши мимо излюбленного Стриклендом кафе, куда я теперь не заглядывал, я нос к носу столкнулся с ним. Стрикленд был не один, а с Бланш Стрёв, и они направлялись к столику в углу, где он обычно сидел.

— Где вы, черт вас возьми, пропадали столько времени? Я уж думал, вы уехали.

Судя по сердечному тону, Стрикленд догадывался о моем нежелании с ним разговаривать. Впрочем, с ним особых церемоний разводить не приходилось.

— Нет,—сухо возразил я,—никуда я не уезжал.

— Почему же вы сюда не заглядывали?

— В Париже много кафе, где можно посидеть от скуки часок-другой.

Бланш подала мне руку и пожелала доброго вечера. Я почему-то был убежден, что она очень изменилась; но на ней было то же изящное и скромное серое платье, в котором я привык видеть ее, и лоб у нее был такой же чистый, и глаза такие же безмятежные, как в ту пору, когда она хлопотала по хозяйству в доме Стрёва.

— Пойдемте сыграем партию в шахматы,—предложил Стрикленд.

Не знаю почему, но я не сумел отказаться и угрюмо пошел за ним к его постоянному столику. Стрикленд велел принести доску и фигуры. Они оба вели себя так, словно ничего не произошло, и я почувствовал, что было бы глупо мне держаться по-другому. Миссис Стрёв невозмутимо наблюдала за нашей игрой. Она молчала, но она и всегда была молчалива. Я взглянул на ее губы. Может быть, по ним мне удастся прочесть, что она чувствует? Я следил, не промелькнет ли в ее глазах тень страха или горечи, смотрел на ее лоб: может быть, хоть одна мимолетная черточка будет свидетельствовать о скрытом волнении. Ее лицо было ничего не говорящей маской. Мирно сложенные руки покоились на коленях. Я уже знал, что она женщина больших страстей, а судя по тому страшному удару, который она нанесла Дирку, так беззаветно ей преданному, способна и на стремительный порыв и на отчаянную жестокость. Она ушла из-под надежного крова от доброго мужа, поставила крест на обеспеченной жизни, всем рискнула для переходящего—этого она не могла не знать—сердечного приключения. Если же вспомнить, что она была рачительной хозяйкой и примерно вела свой дом, тем замечательней покажется ее безрассудство, готовность жить в нужде и лишениях. Видимо, у этой женщины была очень сложная натура, едва ли не трагически противоречившая ее повадкам смиренницы.

Эта встреча взбудоражила меня, и мое воображение лихорадочно работало, покуда я старался сосредоточиться на игре. Я всегда очень старался победить Стрикленда, так как он был из тех игроков, что презируют побежденного противника; от его нескрываемого торжества поражение становилось еще неприятнее. Но надо отдать ему справедливость—собственный проигрыш он сносил вполне добродушно. Препротивный победитель, он был симпатичным побежденным. Те, кто считает, что характер человека всего отчетливее

проступает в игре, могут сделать отсюда довольно тонкие выводы.

По окончании игры я подозвал кельнера, заплатил за выпитое и откланялся. Наша встреча прошла совсем неинтересно. Ни одно слово не дало пищи моей фантазии, и какие бы предположения я ни строил, ничто их не подтверждало. Я терялся в догадках. Как складывается их жизнь? Много бы я дал, чтобы бесплотным духом проникнуть в стены мастерской и послушать, о чем говорят эти двое. Но моему воображению не за что было зацепиться.

Глава тридцать третья

Дня через два ко мне явился Дирк Стрёв.

— Говорят, ты видел Бланш,—выпалил он.

— С чего ты взял?

— Мне говорил один человек, он видел тебя с ними в кафе. Почему ты мне ничего не сказал?

— Не хотел тебя расстраивать.

— Пустое. Ты же знаешь, я хочу все, все знать о ней, каждую мелочь.

Я приготовился отвечать на его вопросы.

— Как она выглядит?

— Ничуть не изменилась.

— По-твоему, она счастлива?

Я пожал плечами.

— Что я могу тебе сказать? Мы сидели в кафе, играли в шахматы. Я с нею и словом не перемолвился.

— Да разве по лицу не видно?

Я покачал головой. Мне оставалось только повторить, что ни словом, ни жестом она не выдала своих чувств. Ему, Дирку, лучше меня известно ее удивительное самообладание.

Он стиснул руки.

— О-о, я так боюсь! Я уверен, случится что-то страшное, и я не в силах этому помешать.

— Но что именно?—осведомился я.

— Не знаю,—простонал он, сжимая голову руками.—Я предвижу ужасную катастрофу.

Стрёв и всегда-то легко приходил в волнение, но сейчас он был положительно вне себя и никаких резонов не слушал. Я думал, что Бланш скоро станет невтерпеж

со Стриклендом. Неправду говорят, будто что посеешь, то и пожнешь. Люди часто делают все от них зависящее, чтобы навлечь на себя беду, но потом каким-то образом умудряются избежать последствий своего безумия. Поссорившись со Стриклендом, Бланш, конечно, оставит его и вернется к мужу, который в своем смирении только и ждет возможности все простить и забыть. Признаться, ни симпатии, ни сострадания она мне не внушала.

— Да, но ты не любишь ее,—повторял Стрёв.

— А почему надо полагать, что она несчастна? Насколько мне известно, эта парочка премило устроилась.

Стрёв посмотрел на меня скорбными глазами.

— Тебе все это, разумеется, безразлично, а для меня это важно, бесконечно важно.

Мне сделалось совестно за свою легкомысленную резкость.

— Можешь ты исполнить одну мою просьбу? — сказал Дирк.

— Охотно.

— Напиши Бланш от моего имени.

— А почему ты сам не можешь написать?

— Я уже не раз писал ей. Но ответа мне ждать не приходится. Она, видно, даже не читает моих писем.

— Ты забываешь о женском любопытстве. Неужели ты думаешь, она устоит против соблазна?

— Да, поскольку он исходил от меня.

Я взглянул на него. Он опустил глаза. Его ответ показался мне до боли унижительным. Дирк знал, что он настолько ей безразличен, что она даже не вскрывает его писем.

— И ты веришь, что она со временем к тебе вернется? — спросил я.

— Пусть она знает, что, если ей станет уж совсем плохо, она может смело на меня рассчитывать.

Я взял листок бумаги.

— Скажи точнее, что я должен писать?

И я написал:

«Дорогая миссис Стрёв.

Дирк просит меня сказать, что в любое время, когда бы он вам ни понадобился, он будет счастлив возможностью быть вам полезным. Он не питает к вам недобрых чувств

из-за того, что случилось. Его любовь неизменна. Вы всегда застанете его по нижеследующему адресу...»

Глава тридцать четвертая

Хотя я не хуже Стрёва знал, что связь Стрикленда и Бланш добром не кончится, я все же не предвидел столь трагической развязки. Настало лето, душное и знойное, даже ночь не приносила отдыха перенапряженным нервам. Раскаленные солнцем улицы, казалось, отдавали назад весь дневной жар, и пешеходы еле волочили ноги. Я очень давно не видел Стрикленда. Занятый другим, я вовсе перестал о нем думать. Дирк наскучил мне своими тщетными lamentациями, и я избегал его. Нехорошая это была история, и я больше не собирался забивать ею себе голову.

Как-то утром я сидел в пижаме и работал. Мысли мои блуждали далеко, я думал о солнечных заливах Бретани, о свежем морском ветре. На столе возле меня стоял кофейник, в котором консьержка принесла мне традиционное *café au lait*¹, и остатки недоеденного печенья. Я слышал, как за стеной консьержка спускает воду после моей утренней ванны. Зазвенел звонок. Она открыла дверь, и раздался голос Стрёва, спрашивающий, дома ли я. Не вставая с места, я крикнул ему: «Входи». Он ворвался в комнату и бросился ко мне.

— Она покончила с собой,— хрипло проговорил он.

— Что ты хочешь сказать?— крикнул я, пораженный.

Стрёв шевелил губами, но ни один звук больше не слетал с них. Затем он стал что-то лопотать, как помешанный. Сердце у меня заколотилось, и, сам не зная почему, я вдруг обозлился.

— Да возьми же себя в руки! Что ты такое несешь?

Он делал отчаянные жесты, но слова у него по-прежнему не выговаривались. Он точно лишился языка. Не знаю, что на меня нашло, но я схватил его за плечи и встряхнул. Вспоминая об этом, я, конечно, досажую на себя, но последние бессонные ночи, видимо, расшатали мои нервы сильнее, чем я думал.

¹ Кофе с молоком (франц.).

— Дай мне сесть,—задыхаясь, проговорил он наконец.

Я налил стакан вина и хотел подать ему, но мне пришлось поить его, как ребенка, держа стакан у самых его губ. Он с трудом сделал первый глоток, и несколько капель пролилось на его манишку.

— Кто покончил с собой?

Не знаю, почему я задал этот вопрос, мне ведь и так было понятно, о ком он говорит.

Он сделал усилие, чтобы овладеть собой.

— Вчера вечером они поссорились. Он ушел от нее.

— Она умерла?

— Нет, ее увезли в больницу.

— Так что ж ты мне толкуешь? — крикнул я. — Почему ты говоришь, что она покончила с собой?

— Не сердись на меня... Я ничего не могу сказать, когда ты со мною так...

Я крепко сжал руки, сиюсь сдержаться себя, и даже попытался улыбнуться.

— Извини. Я тебя не тороплю. Успокойся и расскажи все по порядку.

Круглые голубые глаза Дирка были полны ужаса, стекла очков делали их взгляд еще страшнее.

— Сегодня утром консьержка поднялась наверх, чтобы передать письмо, ей не открыли на звонок. Изнутри слышались стоны. Дверь оказалась незапертой, и она вошла. Бланш лежала на кровати, а на столе стояла бутылка с щавелевой кислотой.

Стрёв закрыл лицо руками и, всхлипывая, раскачивался взад и вперед.

— Она была в сознании?

— Да. Ох, если бы ты знал, как она мучилась! Я этого не вынесу! Не вынесу!

Он кричал в голос.

— Черт тебя возьми, тебе и выносить-то нечего. Это ей надо вынести.

— Как ты жесток!

— Что же дальше?

— Они послали за доктором и за мной, дали знать в полицию. Я давно уже сунул консьержке двадцать франков и просил послать за мной, если что случится,

Он перевел дыхание, и я понял, как трудно ему продолжать.

— Когда я пришел, она не хотела говорить со мной. Велела им меня прогнать. Я клялся, что все простил ей, но она не слушала. Она пыталась биться головой о стену. Доктор сказал, что мне нельзя оставаться с нею. Она все твердила «Уведите его!» Я вышел из спальни и стал ждать в мастерской. Когда приехала карета и они уложили ее на носилки, мне велели уйти в кухню, чтобы она не знала, что я здесь.

Покуда я одевался — Стрёв хотел, чтобы я немедленно отправился с ним в больницу, — он говорил, что ему удалось устроить для Бланш отдельную палату и таким образом хотя бы оградить ее от больничной сутолоки. По дороге он объяснил мне, зачем я ему нужен. Если она опять не пожелает впустить его, то, может быть, впустит меня. Он умолял меня снова сказать ей, что он любит ее по-прежнему, не станет ни в чем упрекать ее и хочет только одного — помочь ей. Он ничего не требует и никогда не станет принуждать ее к нему вернуться. Она будет совершенно свободна.

Но когда мы пришли в больницу — это было мрачное, угрюмое здание, от одного вида которого делалось скверно на душе, — и после бесконечных расспросов и хождений по лестницам и коридорам добрались наконец до лечащего врача, он объявил нам, что больная слишком слаба и сегодня никого принять не может. Для врача, маленького, бородатого человечка в белом халате и с грубоватыми манерами, случай с Бланш был самым обыкновенным, а взволнованные родственники — докучливыми просителями, с которыми надо обходиться покруче. Да и что тут могло показаться ему из ряда вон выходящим? Истерическая женщина, поссорившись с любовником, приняла яд: это бывает нередко. Сначала он подумал, что Дирк — виновник несчастья, и был с ним незаслуженно груб. Когда я объяснил, что он муж, готовый все простить, врач посмотрел на него любопытным, испытующим взглядом. Мне показалось, что в этом взгляде промелькнула еще и насмешка. Дирк являл собою классический тип обманутого мужа. Врач слегка пожал плечами.

— В настоящую минуту опасности нет, — ответил он на наши расспросы. — Но мы не знаем, сколько она выпила кислоты. Не исключено, что она отделается испугом. Женщины часто пытаются покончить с собой из-за любви, но обычно так, чтобы в этом не преуспеть.

Как правило, это жест, которым они хотят испугать или разжалобить любовника.

В тоне его слышалось нескрываемое презрение. Бланш Стрёв явно была для него только единицей, которую предстояло внести в число лиц, покушавшихся на самоубийство в текущем году в городе Париже. На долгие разговоры с нами у него не было времени, и он назначил нам час, когда прийти завтра: если больной станет лучше, он разрешит мужу повидать ее.

Глава тридцать пятая

Не знаю, как мы прожили этот день. Стрёв ни на минуту не мог остаться один, и я из кожи лез, пытаюсь развлечь его. Я потащил его в Лувр, и он делал вид, что смотрит картины, но я знал, что мысленно он там, у жены. Я заставлял его есть и после завтрака насильно уложил в постель, но он не мог уснуть. Он охотно согласился пожить несколько дней у меня. Я совал ему книги, но, пробежав глазами страницу-другую, он бессмысленно уставлялся в пространство. Вечером мы сыграли неисчислимое множество партий в пикет, и он, чтобы мои старания не пропали зря, храбро притворялся заинтересованным. Кончилось тем, что я дал ему снотворного, и он впал в тревожное забытие.

На следующий день в больнице к нам вышла сиделка, ухаживавшая за Бланш, и сказала, что больной немного лучше; по нашей просьбе сиделка пошла узнать, не хочет ли она видеть мужа. Мы слышали голоса за дверью. Наконец сиделка вернулась и объявила, что больная отказывается принять кого бы то ни было. Мы сказали, что если она не хочет видеть Дирка, то, может быть, согласится принять меня, но и на это последовал отказ. Губы Дирка дрожали.

— Я не вправе настаивать, — сказала сиделка. — Больная слишком слаба. Возможно, что через день-два она передумает.

— Может быть, она все-таки хочет кого-нибудь видеть? — тихо, почти шепотом спросил Дирк.

— Она говорит, что у нее только одно желание — пусть ее оставят в покое.

Руки Дирка как-то странно дергались, словно они ничего общего не имели с его телом.

— Пожалуйста, скажите ей, что если она хочет видеть одного человека, то я приведу его. Я хочу только, чтобы она была счастлива.

Сиделка взглянула на него своими спокойными, добрыми глазами, которые видели всю земную боль и горечь, но оставались безмятежными, ибо перед ними стояло видение иного, безгрешного мира.

— Я скажу это ей, когда она немного успокоится.

Дирк, изнемогая от сострадания, умолял ее спросить Бланш сейчас же.

— Может быть, от этого ей станет лучше. Заклинаю вас, спросите ее.

По лицу сиделки пробежала слабая, жалостливая улыбка; она повернулась и пошла к Бланш. Я слышал ее приглушенный голос, и потом другой, незнакомый мне голос ответил:

— Нет. Нет. Нет!

Выйдя к нам, сиделка покачала головой.

— Неужели это она говорила? — спросил я. Я не узнал ее голоса.

— Голосовые связки больной, видимо, сильно обожжены.

Дирк чуть слышно вскрикнул в отчаянии. Я велел ему выйти и подождать меня внизу, мне хотелось остаться с глазу на глаз с сиделкой. Он не спросил, зачем мне это нужно, и покорно вышел. Он утратил остатки воли и стал похож на послушного ребенка.

— Объяснила она вам, почему она это сделала? — спросил я.

— Нет. Она не хочет говорить. Она лежит на спине, не шевелясь иногда целыми часами. И плачет. Ее подушка все время мокрая. Она слишком слаба, чтобы пользоваться платком, и слезы льются у нее по щекам.

Меня словно кольнуло в сердце. В ту минуту я готов был убить Стрикленда, и, помнится, голос у меня дрожал, когда я прощался с сиделкой.

Дирк Стрём ждал меня на лестнице. Он, казалось, ничего вокруг не видел и не заметил моего приближения, покуда я не тронул его за рукав. По улице мы шли молча. Я старался представить себе, что могло толкнуть бедняжку на этот страшный шаг? Я полагал, что Стрикленду все уже известно. К нему, наверно, приходили из полиции снимать допрос. Где он сейчас? Возможно, вернулся на старый чердак, служивший ему мастерской.

Странно, что она не пожелала видеть его. Или она боялась послать за ним, зная, что он откажется прийти? В какую же бездну жестокости заглянула она, если после этого отказывалась жить.

Глава тридцать шестая

Следующая неделя была ужасна. Стрёв дважды в день ходил в больницу справляться о жене, которая по-прежнему не желала его видеть. Первое время он приходил оттуда довольный и воспрянувший духом, так как дело, видимо, шло на поправку, а затем в отчаянии, так как осложнение, которого врач все время опасался, отняло надежду на благополучный исход. Сиделка сочувствовала его горю, но ей нечего было сказать ему в утешение. Бедная женщина лежала неподвижно и отказывалась говорить; глаза ее, устремленные в одну точку, казалось, уже видели смерть. Теперь это был вопрос двух-трех дней, не более. И когда Стрёв пришел ко мне поздно вечером, я понял, что она умерла. Он был совершенно обессилен. От его обычной говорливости не осталось и следа. Он молча опустил на диван. Я оставил его в покое, так как знал, что здесь слова утешения бесполезны. Боясь, что он сочтет меня бессердечным, я не решался читать и с трубкой в зубах сидел у окна, покуда он не нашел в себе силы заговорить со мной.

— Ты был так добр ко мне,—сказал он наконец.—Все были так добры...

— Глупости,—отвечал я не без смущения.

— В больнице мне сказали, чтобы я подождал. Дали мне стул, и я сел в коридоре у ее дверей. Когда она была уже без памяти, они меня впустили. У нее рот и подбородок были обожжены. Ужасно, ее прелестный подбородок—весь израненный. Она умерла совсем спокойно, я даже не знал, что она мертва, покуда сиделка не сказала мне.

Он был слишком утомлен, чтобы плакать. В полной прострации он лежал на спине, точно в теле его не осталось уже ни капли сил, и вскоре я заметил, что он уснул. Впервые по-настоящему уснул за целую неделю. Природа, временами столь жестокая, иногда бывает милосердна. Я накрыл его пледом и потушил свет.

Утром, когда я проснулся, он все еще спал. Он даже не переменял положения, и очки в золотой оправе по-прежнему сидели у него на носу.

Глава тридцать седьмая

Бланш Стрёв умерла при таких обстоятельствах, что нам пришлось пройти через множество отвратительных формальностей, прежде чем мы получили разрешение ее похоронить. Дирк и я вдвоем тащились за гробом в карете, но обратно ехали быстрее, так как возница на дрогах, покачивавшийся впереди нас, нахлестывал лошадей, казалось, спеша стряхнуть с себя даже самое воспоминание о покойнице. Страшное и незабываемое зрелище!

Я тоже чувствовал неодолимое желание выбросить из головы всю эту мрачную историю. Меня уже тяготила трагедия, собственно говоря, непосредственно меня не касавшаяся, и, делая вид перед самим собой, что я стараюсь для Дирка, я с облегчением заговорил о другом.

— Не думаешь ли ты на время уехать?— сказал я.— Право же, тебе сейчас лучше побыть вдали от Парижа.

Он не отвечал, но я безжалостно настаивал.

— Есть у тебя какие-нибудь планы на ближайшее будущее?

— Нет.

— Ты должен вернуться к жизни. Почему бы тебе не поехать в Италию и не начать снова работать?

Он опять промолчал, но мне на выручку пришел наш возница. На мгновение придержав лошадей, он перегнулся с козел и что-то сказал—что именно, я не разобрал—и высунулся из окошка кареты, чтобы слышать: он спрашивал, куда нас везти.

— Погодите минутку,— отвечал я.— Я бы хотел, чтобы мы вместе позавтракали,— обратился я к Дирку.— Я велю ему свезти нас на площадь Пигаль.

— Нет, я пойду в мастерскую.

— Хочешь, я пойду с тобой?

— Нет, я лучше пойду один.

— Хорошо.

Я крикнул кучеру адрес, и мы опять продолжали свой путь в молчании. Дирк не был у себя в мастерской с того злосчастного утра, когда Бланш отвезли в больницу. Я был рад, что он хочет остаться один, и, проводив его до дверей, с чувством облегчения с ним распрощался. Я снова наслаждался парижскими улицами и радовался, глядя на снующую взад и вперед толпу. День выдался ясный, солнечный, и радость жизни бурлила во мне. Я ничего не мог с собой поделывать. Стрёв и его беда вылетели у меня из головы. Я хотел радоваться.

Глава тридцать восьмая

Я не видел его почти целую неделю. Но наконец под вечер, часов около семи, он зашел за мною и потащил меня обедать. Он был в глубоком трауре, котелок его обвивала черная лента, и даже носовой платок был оторочен черной каймой. Глядя на этот скорбный наряд, можно было подумать, что внезапная катастрофа разом унесла всех его родных и даже какого-нибудь двоюродного дядюшки у него не осталось на свете. Его кругленькая фигурка и толстые красные щеки смешно контрастировали с траурной одеждой. Жестокая участь — даже на беспредельное горе Дирка ложился налет шутовства!

Он объявил мне, что решил уехать, только не в Италию, как я советовал, а в Голландию.

— Завтра я уезжаю. Скорей всего мы никогда больше не увидимся.

Я попытался что-то возразить, но он слабо улыбнулся.

— Я пять лет не был дома. Мне казалось, что все это отошло далеко-далеко. Я так оторвался от родных краев, что меня пугала мысль съездить туда даже на время, а теперь я вижу, что это единственное мое пристанище.

Он был измучен, подавлен и мыслями то и дело возвращался к своей нежной, любящей матери. Годами он терпеливо сносил свою смехотворность, но теперь она, казалось, придавливала его к земле. Последний удар, нанесенный изменою Бланш, отнял у него ту живость нрава, которая ему помогала весело с этим мириться.

Больше он уже не мог смеяться заодно с теми, что смеялись над ним. Он стал парией. Он рассказывал мне о своем детстве в чистеньком кирпичном домике и о страсти матери к опрятности и порядку. Кухня ее была истинным чудом белизны и блеска. Нигде ни пылинки, и все на своем месте. Аккуратность ее переходила в манию. Я как живую видел эту румяную хлопотливую старушку, что всю жизнь с утра и до поздней ночи пеклась о том, чтобы домик ее сиял чистотой и нарядностью. Отец Дирка, рослый, сухощавый старик с руками, заскорузлыми от неустанного труда, скупой на слова, по вечерам читал вслух газеты, а его жена и дочь (теперь она была замужем за капитаном рыболовецкой шхуны), чтобы не терять времени даром, шили. Ничего никогда не случалось в этом городке, отброшенном назад цивилизацией, и год сменялся годом, покуда не приходила смерть, как друг, несущий отдых тем, что усердно потрудились.

— Мой отец хотел, чтобы я тоже стал плотником. В пяти поколениях переходило у нас это ремесло от отца к сыну. Может быть, в этом мудрость жизни: идти по стопам отца, не оглядываясь ни направо, ни налево. Маленьким мальчиком я говорил, что женюсь на дочке соседа-шорника. У девочки были голубые глаза и косички, белые, как лен. При ней все в моем доме блестело бы, как стеклышко, и наш сын перенял бы мое ремесло.

Стрёв вздохнул и умолк. Мысли его унеслись к тому, что могло бы быть, и благополучие этой жизни, которым он некогда пренебрег, исполнило тоской его сердце.

— Жизнь груба и жестока. Никто не знает, зачем мы здесь и куда мы уйдем. Смирение подобает нам. Мы должны ценить красоту покоя. Должны идти по жизни смиренно и тихо, чтобы судьба не заметила нас. И любви мы должны искать у простых, немудрящих людей. Их неведение лучше, чем все наше знание. Нам надо жить тихо, довольствоваться скромным своим уголком, быть кроткими и добрыми, как они. Вот и вся мудрость жизни.

Я считал, что это говорит в нем его сломленный дух, и восстал против такого самоуничижения. Но вслух сказал другое:

— А как ты напал на мысль сделаться художником?

Он пожал плечами.

— У меня обнаружили способности к рисованию. В школе я получал награды за этот предмет. Бедная матушка очень гордилась моим талантом и однажды подарила мне ящик с акварельными красками. Она носила мои наброски к пастору, к доктору и судье. Они-то и послали меня в Амстердам экзаменоваться в школу живописи. Я выдержал экзамен. Бедняжка, как она была горда! Сердце у нее разрывалось при мысли о разлуке со мной, но она силилась не показать своего горя. Она так радовалась, что ее сын будет художником. Отец с матерью берегли каждый грош и прикопили довольно денег, чтобы мне прожить в Амстердаме, а когда была выставлена моя первая картина, они все приехали,—отец, мать и сестра: мать смотрела на нее и плакала.—Его добрые глаза увлажнились.—И теперь нет такой стены в нашем домишке, на которой не висела бы моя картина в красивой золотой раме.

Лицо Дирка на мгновение засветилось тихой радостью. Я вспомнил его холодные жанровые сценки — живописных крестьян под кипарисами или оливами. Как странно они должны выглядеть в своих аляповатых рамах на стене крестьянского домика.

— Добрая душа, она думала, что невесть как облагодетельствовала сына, сделав из него художника, но, может, лучше бы я покорился воле отца и был бы теперь просто-напросто честным плотником.

— Ну, а сейчас, когда ты знаешь, что дает человеку искусство, ты бы мог пойти по другой дороге? Мог бы отказаться от того упоения, которое испытывал благодаря ему?

— Выше искусства ничего нет на свете,—помолчав, ответил Дирк.

Он долго в задумчивости смотрел на меня, наконец сказал:

— Ты знаешь, я виделся со Стриклендом.

— Ты?

Я был поражен. Мне казалось, что Стрёву невыносимо будет его видеть. Он слабо улыбнулся:

— Ты же сам говорил, что я лишен чувства гордости.

— Что ты имеешь в виду?

И он рассказал мне удивительную историю.

Когда мы расстались после похорон бедной Бланш, Стрѣв с тяжелым сердцем вошел в дом. Смутное стремление к самомучительству гнало его в мастерскую, хотя он и содрогался при мысли о страданиях, которые его ждут. Он едва втащился по лестнице, ноги отказывались ему служить, и, прежде чем войти, долго стоял у дверей, собираясь с силами. Ему было дурно. Он едва не бросился за мною, чтобы умолить меня вернуться; ему все казалось, что в мастерской кто-то есть. Он вспомнил, как часто стоял перед дверью мастерской, чтобы отдышаться после подъема на крутую лестницу, и как от нетерпеливого желания поскорее увидеть Бланш у него снова захватывало дух. Видеть ее—это было счастье, никогда не утихавшее, и, даже выходя из дому на какие-нибудь полчаса, он рвался к встрече так, словно они не виделись целый месяц. Вдруг ему стало казаться, что она не умерла. Все, что случилось, только сон, страшный сон, сейчас он повернет ключ, войдет и увидит ее склоненной над столом в грациозной позе женщины с *Venedicité* Шардена, всегда представлявшейся ему образцом прелести. Он быстро вынул из кармана ключ, отпер дверь и вошел.

Мастерская не имела запущенного вида. Аккуратность была одной из тех черт, которые так пленяли его в жене; он с молоком матери впитал любовь к той радости, которую дают чистота и порядок, и когда заметил, что Бланш инстинктивно кладет каждый предмет на отведенное ему место, то теплое и благодарное чувство поднялось в его сердце. В спальне все было так, словно она только что вышла оттуда: на туалетном столике лежали две щетки и между ними изящная гребенка; кто-то застелил постель, на которой Бланш провела свою последнюю ночь дома, и на подушке, в вышитом конверте, лежала ее ночная сорочка. Невозможно было поверить, что она уже никогда не войдет в эту комнату.

У Дирка пересохло в горле, и он пошел в кухню напиться воды. Здесь тоже все было в полном порядке. Над плитой на полке стояли тщательно вымытые тарелки, из которых она и Стрикленд ели в последний вечер перед ссорой. Ножи и вилки были убраны в стол. Под колпаком лежали остатки сыра, в жестяной коробо-

ке — горбушка хлеба. Она покупала продукты ежедневно и ровно столько, сколько нужно, так что со дня на день у нее в хозяйстве ничего не оставалось. Из протокола, составленного полицией, Стрѐв знал, что Стрикленд ушел из дому тотчас после обеда, и дрожь охватила его при мысли, что Бланш достало силы все вымыть и убрать, как обычно. Эта методичность лиш- ний раз доказывала, как обдуманно она действовала. Ее самообладание было страшно. Острая боль внезапно пронзила его, ноги у него подкосились. Он доплелся до спальни, бросился на постель и стал звать: «Бланш! Бланш!»

Мысль о ее страданиях была ему нестерпима. Он вдруг ясно увидел, как она стоит в кухне — кухня у них была крошечная, — моет тарелки, стаканы, вилки, ложки, до блеска чистит ножи, затем все расставляет по местам, моет раковину и, встряхнув полотенце, вешает его сушиться — оно все еще висит здесь, истрепанный серый лоскут, — и оглядывается кругом, все ли в порядке. Он видел, как она спускает засученные рукава, снимает фартук — вот он на гвозде за дверью, — достает пузырек со щавелевой кислотой и идет в спальню.

Не в силах терпеть эту муку, он вскочил с кровати и бросился вон из спальни. Вошел в мастерскую. Там было темно, так как кто-то задернул занавески на огромном окне. Стрѐв торопливо раздвинул их, и рыдания сдавили ему горло при первом же взгляде на комнату, в которой он был так счастлив. И здесь тоже все осталось без перемен. Стрикленд был равнодушен к тому, что его окружало, и жил в чужой мастерской, ровно ничего не меняя в ней. Обстановка у Стрѐва была продуманно артистичной, в соответствии с его представлением о том, как должен жить художник. На стенах там и сям старинная парча, на рояле — кусок дивного поблекшего шелка. В одном углу копия Венеры Милосской, в другом — Венеры Медицейской. Две итальянские горки с дельфтским фаянсом, несколько барельефов. Была здесь в прекрасной золоченой раме и копия с веласкесова «Иннокентия X», сделанная Стрѐвом в Риме, и множество его собственных картин, повешенных так, чтобы производить наибольший эффект, тоже в великолепных рамах. Стрѐв всегда очень гордился своим вкусом. Он страстно любил романтическую атмосферу мастерской художника, и хотя сейчас вид всех этих

вещей был ему как нож в сердце, он машинально чуть-чуть передвинул столик Louis XV, принадлежавший к лучшим его сокровищам. Вдруг он заметил холст, повернутый лицом к стене и по размерам больший, чем те холсты, которыми он обычно пользовался. Дирк подошел и повернул его. На холсте была изображена нагая женщина. Сердце его учащенно забилося, он мигом понял, что это работа Стрикленда. Он отшвырнул картину — какого черта Стрикленд ее здесь оставил? — но от его резкого движения она упала на пол лицом вниз. Неважно, чья это работа. Дирк все равно не мог оставить ее валяться в пыли и поднял, но тут его одолело любопытство. Чтобы получше рассмотреть картину, он поставил ее на мольберт и отошел на несколько шагов.

У него сперло дыхание. Картина изображала женщину, лежавшую на диване; одна рука ее была закинута за голову, другая спокойно лежала вдоль тела; одно колено чуть согнуто, другая нога вытянута. Классическая поза. Все поплыло перед глазами Стрёва. Это была Бланш. Отчаяние, ревность и ярость душили его, он стал громко кричать что-то нечленораздельное; сжимал кулаки и грозил невидимому врагу. Потом опять кричал не своим голосом. Он был вне себя. Это было уж слишком, этого он снести не мог. Он стал оглядываться по сторонам, ища, чем бы искромсать, изрезать картину, уничтожить ее сию же минуту, но ничего подходящего ему под руку не попадалось; он рылся в своих инструментах, и тоже тщетно, он сходил с ума. Наконец он нашел то, что искал, большой шпатель, и с ликующим криком схватил его. Размахивая им, словно кинжалом, он ринулся к картине.

Рассказывая, Стрёв снова пришел в неописуемое волнение и, схватив подвернувшийся под руку столовый нож, взмахнул им. Потом занес руку, как для удара, но тотчас разжал ее, и нож со стуком упал на пол. Стрёв посмотрел на меня с виноватой улыбкой и замолчал.

— Продолжай, — сказал я.

— Не знаю, что на меня нашло. Я уже совсем собирался продырявить картину, как вдруг я увидел ее.

— Кого ее?

— Картину. Это было подлинное произведение искусства. Я не мог к ней прикоснуться. Я испугался.

Он опять замолчал и смотрел на меня с открытым ртом, его голубые глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит.

— Это была удивительная, дивная картина. Меня охватил благоговейный трепет. Еще секунда — и я бы совершил ужаснейшее преступление. Я хотел лучше разглядеть ее и споткнулся о шпатель. Ужасно!

В какой-то мере я заразился волнением Стрёва. Странное действие произвел на меня его рассказ. Мне вдруг почудилось, что я перенесся в мир, где смещены все ценности, и я стоял недоумеая, словно чужеземец, в стране, где люди совсем по-иному, совсем непривычно реагируют на самые простые явления. Стрёв пытался рассказывать мне о картине, но речь его была бессвязна, и мне приходилось догадываться, что он имеет в виду. Стрикленд разорвал путы, связывавшие его. Он нашел не себя, как принято говорить, но свою новую душу, насыщенную силами, о которых никто не подозревал. Это было не только дерзкое упрощение линий, которое так полно и неповторимо выявляло личность художника, не только живопись, хотя тело было написано с такой проникновенной чувственностью, которая уже граничила с чудом; это было не только торжество плоти, хотя вы реально ощущали вес этого распростертого тела; нет, стриклендова картина была пронизана духовностью, по-новому понятым трагизмом, который вел воображение по неведомым тропам в пустынные просторы, где прорезают мглу только вечные звезды и где душа, сбросив все покровы, трепетно приступает к разгадкам новых тайн.

Я впал в риторику, потому что и Стрёв был риторичен. (Кто не знает, что в волнении человек выражается, словно герой романа.) Он пытался выразить чувства, ранее ему неизвестные, не смог втиснуть их в будничные слова и уподобился мистику, который тщится описать несказанное. Одно только стало мне ясно из его речей: люди говорят о красоте беззаботно, они употребляют это слово так небрежно, что оно теряет свою силу, и предмет, который оно должно осмыслить, деля свое имя с тысячью пошлых понятий, оказывается лишенным своего величия. Словом «прекрасное» люди обозначают платье, собаку, проповедь, а очутившись лицом к лицу с Прекрасным, не умеют его распознать. Они стараются фальшивым пафосом прикрыть свои ничтожные мысли,

и это притупляет их восприимчивость. Подобно шарлатану, фальсифицирующему тот подъем духа, который он некогда чувствовал в себе, они злоупотребляют своими душевными силами и утрачивают их. Но Стрёв, этот вечный шут с искренней и честной душой, также искренне и честно любил и понимал искусство. Для него искусство значило то же, что значит бог для верующего, и когда он видел его, ему делалось страшно.

— Что ж ты сказал Стрикленду, когда встретился с ним?

— Предложил ему поехать со мною в Голландию.

Я опешил и с дурацким видом уставился на Стрёва.

— Мы оба любили Бланш. В доме моей матери для него нашлась бы комнатка. Мне казалось, что соседство простых бедных людей принесет успокоение его душе. И еще я думал, что он научится у них многим полезным вещам.

— Что же он сказал?

— Улыбнулся и, кажется, подумал, что я дурак. А потом заявил, что «ерундить» ему неохота.

Я бы предпочел, чтоб Стрикленд сформулировал свой отказ в других выражениях.

— Он отдал мне портрет Бланш.

Я удивился, зачем Стрикленд это сделал, но не сказал ни слова. Мы оба довольно долго молчали.

— А как ты распорядился своими вещами?— спросил я наконец.

— Позвал еврея-скупщика, и он неплохо заплатил мне на круг. Картины я увезу с собой. Кроме них, у меня сейчас ничего не осталось, разве что чемодан с одеждой да несколько книг.

— Хорошо, что ты едешь домой.

Я понимал, что единственное спасение для него—порвать с прошлым. Быть может, его горе, сейчас еще нестерпимое, со временем уляжется и благодатное забвение поможет ему сызнова взвалить на себя бремя жизни. Он молод и через несколько лет с грустью, не лишенной известной сладости, будет вспоминать о своем несчастье. Раньше или позже он женится на доброй голландке и будет счастлив. Я улыбнулся при мысли о бесчисленном множестве плохих картин, которые он успеет написать до конца своей жизни.

На следующий день я проводил его в Амстердам.

Занятый своими собственными делами, я целый месяц не встречал никого, кто бы мог напомнить мне об этой прискорбной истории, и постепенно она выветрилась у меня из головы. Но в один прекрасный день, когда я спешил куда-то, на улице со мною поравнялся Стрикленд. Вид его напомнил мне об ужасе, который я так охотно забыл, и я внезапно почувствовал отвращение к виновнику всего этого. Кивнув ему — не поклониться было бы ребячеством, — я ускорил шаг, но через минуту почувствовал, что меня трогают за плечо.

— Вы очень торопитесь? — добродушно осведомился Стрикленд.

Характерная его черта: он сердечно обходился с теми, кто не желал с ним встречаться, а мой холодный кивок не оставлял в том ни малейшего сомнения.

— Да, — сухо ответил я.

— Я немного провожу вас, — сказал он.

— Зачем?

— Чтобы насладиться вашим обществом.

Я смолчал, и он тоже молча пошел рядом со мною. Так мы шли, наверное, с четверть мили. Положение становилось комическим. Но мы как раз оказались возле магазина канцелярских товаров, и я решил: может же мне понадобится бумага. Это был хороший предлог, чтобы отделаться от него.

— Мне сюда, — сказал я, — всего хорошего.

— Я вас подожду.

Я пожал плечами и вошел в магазин. Но тут же подумал, что французская бумага никуда не годится и что, раз уж моя хитрость не удалась, не стоит покупать ненужные вещи. Я спросил что-то, чего мне заведомо не могли дать, и вышел на улицу.

— Ну как, купили то, что хотели?

— Нет.

Мы опять молча зашагали вперед и вышли на площадь, в которую вливалось несколько улиц. Я остановился и спросил:

— Вам куда?

— Туда, куда и вам, — улыбнулся он.

— Я иду домой.

— Я найду к вам выкурить трубку.

— По-моему, вам следовало бы подождать приглашения,— холодно отвечал я.

— Конечно, будь у меня надежда получить его.

— Видите вы вон ту стену?— спросил я.

— Вижу.

— В таком случае, я полагаю, вы должны видеть и то, что я не желаю вашего общества.

— Признаюсь, я уже подозревал это.

Я не выдержал и фыркнул. Беда моя в том, что я не умею ненавидеть людей, которые заставляют меня смеяться. Но я тут же взял себя в руки.

— Вы гнусный тип. Более мерзкой скотины я, по счастью, в жизни еще не встречал. Зачем вам нужен человек, который не терпит и презирает вас?

— А почему вы, голубчик мой, полагаете, что я интересуюсь вашим мнением обо мне?

— Черт возьми,— сказал я злобно, ибо у меня уже мелькнула мысль, что доводы, которые я привел, не делают мне чести,—я просто вас знать не желаю.

— Боитесь, как бы я вас не испортил?

Откровенно говоря, я почувствовал себя смешным. Он искоса смотрел на меня с сардонической улыбкой, и мне под этим взглядом стало не по себе.

— Вам, видно, сейчас туго приходится,— нахально заметил я.

— Я был бы отъявленным болваном, если бы надеялся взять у вас взаймы.

— Видно, здорово вас скрутило, если уж вы начинаете лстыть.

Он осклабился:

— А все равно я вам нравлюсь, потому что нет-нет да и даю вам повод сострить.

Я закусил губу, чтобы не расхохотаться. Он высказал роковую истину. Мне нравятся люди пусть дурные, но которые за словом в карман не лезут. Я уже ясно почувствовал, что только усилием воли могу поддерживать в себе ненависть к Стрикленду. Я сокрушался о своей моральной неустойчивости, но знал, что мое порицание Стрикленда смахивает на позу, и уж если я это знал, то он, со своим безошибочным чутьем, знал и подавно. Конечно, он подсмеивался надо мной. Я не стал возражать ему и попытался спасти свое достоинство гробовым молчанием и пожатием плеч.

Мы подошли к дому, в котором я жил. Я не просил его войти и стал молча подниматься по лестнице. Он шел за мной по пятам. Он был у меня в первый раз, но даже не взглянул на убранство комнаты, хотя я потратил немало труда на то, чтобы сделать ее приятной для глаз. На столе стояла коробка с табаком, он тотчас же набил свою трубку и сел не в одно из удобных кресел, а на единственный стул, да и то боком.

— Если вы уж решили устраиваться здесь как дома, почему бы вам не сесть в кресло?— раздраженно спросил я.

— А почему вы так заботитесь о моем удобстве?

— Не о вашем, а о своем. Когда кто-нибудь сидит на неудобном стуле, мне самому становится неудобно.

Он фыркнул, но не двинулся с места и молча продолжал курить, не замечая меня, и, видимо, погруженный в свои мысли. Я недоумевал, зачем он пришел сюда.

Писатель, покуда долголетняя привычка не притупит его чувствительности, сам робеет перед инстинктом, внушающим ему столь жгучий интерес к странностям человеческой натуры, что он не в состоянии осудить их и от них отвернуться. То артистическое удовольствие, которое он получает от созерцания зла, его самого немного пугает. Впрочем, честность заставляет его признать, что он не столько осуждает иные недостойные поступки, сколько жаждет доискаться их причин. Подлец, которого писатель создал и наделил логически развитым и завершенным характером, влечет его наперекор требованиям законности и порядка. По-моему, Шекспир придумывал Яго с бóльшим смаком, нежели Дездемону, точно сотканную из лунного света. Возможно, что создавая образы мошенников и негодяев, писатель стремится удовлетворить инстинкты, заложенные в нем природой, но обычаями и законами цивилизованного мира оттесненные в таинственную область подсознательного. Облекая в плоть и кровь создания своей фантазии, он тем самым как бы дарует отдельную жизнь той части своего «я», которая иначе не может себя выразить. Его радость—это радость освобождения. Писатель скорее призван знать, чем судить.

Стрикленд внушал мне неподдельный ужас и наряду с этим холодное любопытство. Он меня озадачивал, и в то же время я жаждал узнать мотивы его поступков, а также отношение к трагедии, которую он навязал людям, приютившим и пригревшим его. И я смело вонзил скальпель.

— Стрёв сказал мне, что картина, которую вы писали с его жены,—лучшая из всех ваших работ.

Стрикленд вынул трубку из рта, в глазах его промелькнула улыбка.

— Да, писать ее было забавно.

— Почему вы отдали ему картину?

— Я ее закончил, так на что она мне?

— Вы знаете, что Стрёв едва ее не загубил?

— Она мне не слишком удалась.

Он помолчал, затем вынул трубку из рта и усмехнулся.

— А вы знаете, что этот пузан приходил ко мне?

— Неужто вас не тронуло то, что он вам предложил?

— Нет. По-моему, это было глупо и сентиментально.

— Вы, видимо, забыли, что разрушили его жизнь,—сказал я.

Он в задумчивости тербил свою бороду.

— Он очень плохой художник.

— Но очень хороший человек.

— И отличный повар,—насмешливо присовокупил Стрикленд.

В его бездушии было что-то нечеловеческое, и я отнюдь не собирался деликатничать с ним.

— А скажите, я спрашиваю из чистого любопытства, чувствовали вы хоть малейшие угрызения совести после смерти Бланш Стрёв?

Я внимательно следил за выражением его лица, но оно оставалось бесстрастным.

— Чего мне, собственно, угрызаться?

— Сейчас я приведу вам ряд фактов. Вы умирали, и Дирк Стрёв перевез вас к себе. Он ходил за вами, как родная мать. Принес вам в жертву свое время, удобства, деньги. Он вырвал вас из когтей смерти.

Стрикленд пожал плечами.

— Бедняга обожает делать что-нибудь для других. В этом его жизнь.

— Предположим, что вы не были обязаны ему благодарностью, но разве вы были обязаны уводить от него жену? До вашего появления они были счастливы. Почему вы не могли оставить их в покое?

— А почему вы думаете, что они были счастливы?

— Это было очевидно.

— До чего же у вас проницательный ум! По-вашему, она была в состоянии простить ему то, что он для нее сделал?

— Что вы хотите сказать?

— Известно вам, как он на ней женился?

Я покачал головой.

— Она была гувернанткой в семье какого-то римского князя, и сын хозяина совратил ее. Она думала, что он на ней женится, а ее выгнали на улицу. Она была беременна и пыталась покончить с собой. Стрёв ее подобрал и женился на ней.

— Вполне в его духе. Я в жизни не видывал человека с таким мягким сердцем.

Я нередко удивлялся, что могло соединить этих столь несхожих людей, но подобное объяснение мне никогда в голову не приходило. Так вот причина необычной любви Дирка к жене. В его отношении к ней было нечто большее, чем страсть. И, помнится, в ее сдержанности мне всегда чудилось что-то такое, чему я не мог подыскать определения; только сейчас я понял: это было не просто желание скрыть позорную тайну. Ее спокойствие напоминало затишье, воцарившееся на острове, над которым пронесся ураган. Ее веселость была веселостью отчаяния. Стрикленд вывел меня из задумчивости замечанием, поразительным по своему цинизму.

— Женщина может простить мужчине зло, которое он причинил ей, но жертв, которые он ей принес, она не прощает.

— Зато вам не грозит опасность остаться непощенным.

Чуть заметная улыбка тронула его губы.

— Вы всегда готовы пожертвовать своими принципами ради красного словца,— сказал он.

— Что же случилось с ребенком?

— Ребенок родился мертвым три или четыре месяца спустя после их женитьбы.

Тут я спросил о том, что всегда было для меня самым непонятным.

— А почему, скажите на милость, вы заинтересовались Бланш Стрёв?

Он не отвечал так долго, что я уже собирался повторить свой вопрос.

— Откуда я знаю?—проговорил он наконец.— Она меня терпеть не могла. Это было забавно.

— Понимаю.

Стрикленд вдруг разозлился.— Черт подери, я ее хотел.

Но он тут же овладел собой и с улыбкой взглянул на меня.

— Сначала она была в ужасе.

— Вы ей сказали?

— Зачем? Она и так знала. Я ей слова не говорил. Она меня боялась. В конце концов я взял ее.

По тому, как он это сказал, я понял, до чего неистово было его желание. И невольно содрогнулся. Вся жизнь этого человека была беспощадным отрешением от материального, и, видимо, тело временами жестоко мстило духу. И в случае с Бланш сатир возобладал в нем, и, беспомощный в тисках инстинкта, могучего, как первобытные силы природы, он уже не мог противиться своему влечению, ибо в душе его не осталось места ни для благоразумия, ни для благодарности.

— Но зачем вам вздумалось уводить ее от мужа?—поинтересовался я.

— Я этого не хотел,—отвечал он, нахмурясь.— Когда она сказала, что уйдет со мной, я удивился не меньше Стрёва. Я ей сказал, что, когда она мне надоест, ей придется собирать свои манатки, и она ответила, что идет на это.—Он сделал паузу.—У нее было дивное тело, а мне хотелось писать обнаженную натуру. После того как я закончил портрет, она уже меня не интересовала.

— А ведь она всем сердцем любила вас.

Он вскочил и зашагал по комнате.

— Я в любви не нуждаюсь. У меня на нее нет времени. Любовь—это слабость. Но я мужчина и, случается, хочу женщину. Удовлетворив свою страсть, я уже думаю о другом. Я не могу побороть свое желание, но я его ненавижу: оно держит в оковах мой дух. Я мечтаю о времени, когда у меня не будет никаких желаний и я смогу целиком отдаться работе. Женщины ничего не умеют, только любить, любви они при-

дают бог знает какое значение. Им хочется уверить нас, что любовь—главное в жизни. Но любовь—это малость. Я знаю вожделение. Оно естественно и здорово, а любовь—это болезнь. Женщины существуют для моего удовольствия, но я не терплю их дурацких претензий быть помощниками, друзьями, товарищами.

Я никогда не слышал, чтобы Стрикленд подряд говорил так много и с таким страстным негодованием. Но, впрочем, я сейчас, как и раньше, не пытаюсь воспроизвести точные его слова; лексикон его был беден, дар красноречия у него начисто отсутствовал, так что его мысли приходилось конструировать из междометий, выражения лица, жестов и отрывочных восклицаний.

— Вам бы жить в эпоху, когда женщины были рабынями, а мужчины рабовладельцами,—сказал я.

— Да, я просто нормальный мужчина.

Невозможно было не рассмеяться этому замечанию, сделанному с полной серьезностью; но он, шагая из угла в угол, точно зверь в клетке; все силился хоть относительно связно выразить то, что было у него на душе.

Если женщина любит вас, она не уgomонится, пока не завладеет вашей душой. Она слаба и потому неистово жаждет полновластия. На меньшее она не согласна. Так как умишко у нее с куриный носок, то абстрактное для нее непостижимо, и она его ненавидит. Она занята житейскими мелочами, все идеальное вызывает ее ревность. Душа мужчины уносится в высочайшие сферы мироздания, а она старается втиснуть ее в приходо-расходную книжку. Помните мою жену? Бланш очень скоро пустилась на те же штуки. С потрясающим терпением готовилась она заарканить и связать меня. Ей надо было низвести меня до своего уровня; она обо мне ничего знать не хотела, хотела только, чтобы я целиком принадлежал ей. И ведь готова была исполнить любое мое желание, кроме одного—отвязаться от меня.

Я довольно долго молчал.

— А как, по-вашему, что она должна была сделать после того, как вы ее бросили?

— Она могла вернуться к Стрёву,—сердито отвечал он.—Стрёв готов был принять ее.

— Возмутительное рассуждение,—отвечал я.— Впрочем, толковать с вами о таких вещах—все равно что расписывать красоту заката слепорожденному.

Он остановился и посмотрел мне в лицо с презрительным недоумением.— Неужто вам и вправду не все равно, жива или умерла Бланш Стрёв?

Я задумался, ибо во что бы то ни стало хотел честно ответить на этот вопрос.

— Наверное, я черствый человек, потому что ее смерть не слишком меня огорчает. Жизнь сулила ей много хорошего. И ужасно, что все это с такой бессмысленной жестокостью отнято у нее, что же касается меня, то, к стыду моему, ее трагедия оставляет меня сравнительно спокойным.

— Взгляды у вас смелые, а отстаивать их смелости не хватает. Жизнь не имеет цены. Бланш Стрёв покончила с собой не потому, что я бросил ее, а потому, что она была женщина вздорная и неуравновешенная. Но хватит говорить о ней, не такая уж она важная персона. Пойдемте, я покажу вам свои картины.

Он говорил со мной как с ребенком, внимание которого надо отвлечь. Я был зол, но больше на себя, чем на него. Мне все вспоминалась счастливая жизнь четы Стрёв в уютной мастерской на Монмартре, их отзывчивость, доброта и гостеприимство. Жестоко, что безжалостный случай все это разрушил. Но самое жестокое— что ничего не изменилось. Жизнь шла своим чередом, и мимолетное несчастье ни в чьем сердце не оставило следа. Я думал, что Дирк, человек скорее пылких, чем глубоких чувств, скоро позабудет свое горе, но Бланш... один бог знает, какие радужные грезы посещали ее в юности, Бланш—зачем она жила на свете? Все это было так бессмысленно и глупо.

Стрикленд отыскал свою шляпу и стоял, выжидательно глядя на меня.

— Вы идете?

— Почему вы держитесь за знакомство со мною?—спросил я.— Вы же знаете, что я ненавижу и презираю вас.

Он добродушно ухмыльнулся.

— Вы злитесь только из-за того, что мне наплевать, какого вы обо мне мнения.

Я почувствовал, как кровь прилила у меня к лицу от гнева. Нет, этот человек не в состоянии понять, что его безжалостный эгоизм вызывает ненависть. Я жаждал пробить броню этого полнейшего безразличия. Но, увы,

зерно истины все-таки было в его словах. Ведь мы, скорей всего бессознательно, свою власть над другими измеряем тем, как они относятся к нашему мнению о них, и начинаем ненавидеть тех, которые не поддаются нашему влиянию. Для человеческой гордости нет обиды жесточе. Но я не хотел показать, что слова Стрикленда меня задел.

— Дозволено ли человеку полностью пренебрегать другими людьми?—спросил я не столько его, сколько самого себя.—Человек в каждой мелочи зависит от других. Попытка жить только собою и для себя заведомо обречена на неудачу. Рано или поздно старым, усталым и больным вы приползете обратно в стадо. И когда ваше сердце будет жаждать покоя и сочувствия, вам станет стыдно. Вы ищете невозможного. Повторяю, рано или поздно человек в вас затоскует по узам, связывающим его с человечеством.

— Пойдемте посмотреть мои картины.

— Вы когда-нибудь думаете о смерти?

— Зачем? Она того не стоит.

Я смотрел на него в удивлении. Он стоял передо мной неподвижно, в глазах его мелькнула насмешка, и, несмотря на все это, я вдруг прозрел в нем пламенный, мученический дух, устремленный к цели более высокой, чем все то, что сковано плотью. На мгновение я стал свидетелем поисков неизреченного. Я смотрел на этого человека в обшарпанном костюме, с большим носом, горящими глазами, с рыжей бородой и всклокоченными волосами и, странным образом, видел перед собою не эту оболочку, а бесплотный дух.

— Что ж, пойдем посмотрим ваши картины,—сказал я.

Глава сорок вторая

Не знаю, почему Стрикленду вдруг вздумалось показать их мне. Но я очень обрадовался. Человек открывается в своих трудах. В светском общении он показывает себя таким, каким хочет казаться, и правильно судить о нем вы можете лишь по мелким и бессознательным его поступкам да произвольно меняющемуся выражению лица. Присвоивши себе ту или иную маску, человек со

временем так привыкает к ней, что и вправду становится тем, чем сначала хотел казаться. Но в своей книге или в своей картине он наг и беззащитен. Его претензии только подчеркивают его пустоту. Деревяшка и есть деревяшка. Никакими потугами на оригинальность не скрыть посредственности. Зоркий ценитель даже в эскизе усматривает сокровенные душевные глубины художника, его создавшего.

Не скрою, что я волновался, взбираясь по нескончаемой лестнице в мансарду Стрикленда. Мне чудилось, что я на пороге удивительного открытия. Войдя наконец в его комнату, я с любопытством огляделся. Она показалась мне меньше и голее, чем прежде. «Интересно,— подумал я,— что сказали бы о ней мои знакомые художники, работающие в огромных мастерских и убежденные, что они не могут творить, если окружающая обстановка им не по вкусу».

— Станьте вон там.— Стрикленд показал мне точку, с которой, как он считал, картины представляли в наиболее выгодном освещении.

— Вы, наверно, предпочитаете, чтобы я молчал?— осведомился я.

— Конечно, черт вас возьми, можете попридержать свой язык.

Он ставил картину на мольберт, давал мне посмотреть на нее минуты две, затем снимал и ставил другую. Он показал мне, наверно, холстов тридцать. Это были плоды его работы за шесть лет, то есть с тех пор, как он начал писать. Он не продал ни одной картины. Холсты были разной величины. Меньшие—натюрморты, покрупнее—пейзажи. Было у него штук шесть портретов.

— Вот и все,—объявил он наконец.

Мне бы очень хотелось сказать, что я сразу распознал их красоту и необычайное своеобразие. Теперь когда я снова видел многие из них, а с другими ознакомился по репродукциям, я не могу не удивляться, что с первого взгляда испытал горькое разочарование. Нервная дрожь—воздействие подлинного искусства—не потрясла меня. Картины Стрикленда привели меня в замешательство, и я не могу простить себе, что мне даже в голову не пришло купить хотя бы одну из них. Я упустил счастливый случай. Большинство их попало в музеи, остальные украшают коллекции богатых мецена-

тов. Я стараюсь подыскать для себя оправдание. Мне все-таки кажется, что у меня хороший вкус, только ему недостает оригинальности. В живописи я мало что смыслю и всегда иду по дорожке, проложенной для меня другими. В ту пору я преклонялся перед импрессионистами. Я мечтал приобрести творения Сислея и Дега и приходил в восторг от Манэ. Его «Олимпия» казалась мне шедевром новейших времен, а «Завтрак на траве» трогал меня до глубины души. Я воображал, что эти произведения — последнее слово в живописи.

Не буду описывать картины, которые показывал мне Стрикленд. Такие описания всегда наводят скуку, а кроме того, его картины знакомы решительно всем, кто интересуется живописью. Теперь, после того как искусство Стрикленда оказало столь грандиозное воздействие на современную живопись и неведомая область, в которую он проник одним из первых, уже, так сказать, нанесена на карту, всякий, впервые видящий его картину, внутренне подготовлен к ней, я же никогда ничего подобного не видел. Прежде всего я был поражен тем, что мне показалось топорной техникой. Привыкнув к рисунку старых мастеров и убежденный, что Энгр был величайшим рисовальщиком нового времени, я решил, что Стрикленд рисует из рук вон плохо. О том, что упрощение — его цель, я не догадывался. Помню, как меня раздражало, что круглое блюдо в одном из натюрмортов было неправильной формы и на нем лежали кособокие апельсины. Лица на портретах он делал больше натуральной величины, и это производило отталкивающее впечатление. Я воспринимал их как карикатуры. Написаны они были в совершенно новой для меня манере. Пейзажи еще сильнее меня озадачили. Два или три из них изображали лес в Фонтенбло, остальные — улицы Парижа; на первый взгляд они казались нарисованными пьяным извозчиком. Я просто ошалел. Нестерпимо кричащие краски, и все в целом какой-то дурацкий, непонятный фарс. Вспоминая об этом, я еще больше поражаюсь чутью Стрёва. Он с первого взгляда понял, что здесь речь шла о революции в искусстве, и почти еще в зародыше признал гения, перед которым позднее преклонился весь мир.

Растерянный и сбитый с толку, я тем не менее был потрясен. Даже при моем колоссальном невежестве я почувствовал, что здесь тщится проявить себя великая

сила. Все мое существо пришло в волнение. Я ясно ощущал, что эти картины говорят мне о чем-то очень для меня важном, но о чем именно, я еще не знал. Они казались мне уродливыми, но в них была какая-то великая и нераскрытая тайна, что-то странно дразнящее и волнующее. Чувства, которые они во мне возбуждали, я не умел проанализировать: слова тут были бессильны. Мне начинало казаться, что Стрикленд в материальных вещах смутно провидел какую-то духовную сущность, сущность до того необычную, что он мог лишь в неясных символах намекать о ней. Точно среди хаоса вселенной он отыскал новую форму и в безмерной душевной тоске неумело пытался ее воссоздать. Я видел мученический дух, алчущий выразить себя и таким образом найти освобождение.

Я обернулся к Стрикленду.

— Мне кажется, вы избрали неправильный способ выражения.

— Что за околесицу вы несете?

— Вы, видимо, стараетесь что-то сказать — что именно, я не знаю, но сомневаюсь, можно ли это высказать средствами живописи.

Я ошибся, полагая, что картины Стрикленда дадут мне ключ к пониманию его странной личности. На деле они только заставили меня еще больше ему удивляться. Теперь я уже вовсе ничего не понимал. Единственное, что мне уяснилось, — но, может быть, и это была игра воображения, — что он жаждал освободиться от какой-то силы, завладевшей им. А какая это была сила и что значило освобождение от нее, оставалось туманным. Каждый из нас одинок в этом мире. Каждый заключен в медной башне и может общаться со своими собратьями лишь через посредство знаков. Но знаки не одни для всех, а потому их смысл темен и неверен. Мы отчаянно стремимся поделиться с другими сокровищами нашего сердца, но они не знают, как принять их, и потому мы одиноко бредем по жизни, бок о бок со своими спутниками, но не заодно с ними, не понимая их и не понятые ими. Мы похожи на людей, что живут в чужой стране, почти не зная ее языка; им хочется высказать много прекрасных, глубоких мыслей, но они обречены произносить лишь штампованные фразы из разговорника. В мозгу их бурлят идеи одна интересней другой, а ска-

зять эти люди могут разве что: «Тетушка нашего садовника позабыла дома свой зонтик».

Итак, основное, что я вынес из картин Стрикленда,—неимоверное усилие выразить какое-то состояние души; в этом усилии, думал я, и следует искать объяснения тому, что так меня поразило. Краски и формы, несомненно, имели для Стрикленда значение, ему самому не вполне понятное. Он испытывал неодолимую потребность выразить то, что чувствовал, и единственно с этой целью создавал цвет и форму. Он, не колеблясь, упрощал, даже извращал и цвет, и форму, если это приближало его к тому неведомому, что он искал. Факты ничего не значили для него, ибо под грудой пустых случайностей он видел лишь то, что считал важным. Казалось, он познал душу вселенной и обязан был выразить ее. Пусть эти картины с первого взгляда смущали и озадачивали, но и волновали они до глубины души. И вот, сам не знаю отчего, я вдруг почувствовал, совсем уж неожиданно, жгучее сострадание к Стрикленду.

— Теперь я, кажется, знаю, почему вы поддались своему чувству к Бланш Стрёв,—сказал я.

— Почему?

— Мужество покинуло вас. Ваша телесная слабость сообщилась вашей душе. Я не знаю, какая тоска грызет вас, толкает вас на опасные одинокие поиски того, что должно изгнать демона, терзающего вашу душу. Помоему, вы вечный странник, стремящийся поклониться святыне, которой, возможно, и не существует. К какой непостижимой нирване вы стремитесь? Я не знаю. Да и вы, вероятно, не знаете. Может быть, вы ищете Правды и Свободы, и на мгновение вам почудилось, что любовь принесет вам вожаденное освобождение? Ваш утомленный дух искал, думается мне, покоя в объятиях женщины, но, не найдя его, вы эту женщину возненавидели. Вы были к ней беспощадны, потому что вы беспощадны к самому себе. Вы убили ее из страха, так как все еще дрожали перед опасностью, которой только что избегли.

Он холодно улыбнулся и потеревил свою бороду.

— Ну и сентиментальны же вы, дружище.

Через неделю я случайно услышал, что Стрикленд отправился в Марсель. Больше я никогда его не видел.

Глава сорок третья

То, что я написал о Стрикленде, конечно, никого удовлетворить не может, задним числом я вполне отдаю себе в этом отчет. Я пересказал кое-какие события, совершившиеся на моих глазах, но они остались темными, ибо я не знаю первопричин этих событий. Самое странное из случившегося — решение Стрикленда стать художником — в моем пересказе выглядит простой причудой; между тем он, разумеется, неспроста принял такое решение, хотя что именно его на это толкнуло, я не знаю. Из собственных его слов мне ничего не уяснилось. Если бы я писал роман, а не просто перечислял известные мне факты из жизни незаурядного человека, я бы придумал уйму всевозможных объяснений для этого душевного переворота. Наверно, я рассказал бы о неудержимом влечении Стрикленда к живописи, в детстве подавленном волей отца или же принесенном в жертву необходимости зарабатывать свой хлеб; я бы изобразил, как гневно он относился к требованиям жизни; обрисовав борьбу между его страстью к искусству и профессией биржевого маклера, я бы мог даже привлечь на его сторону симпатии читателя. Я сделал бы из него весьма внушительную фигуру. Возможно, что кто-нибудь даже увидел бы в нем нового Прометея, и оказалось бы, что я создал современную версию о герое во имя блага человечества, обречшего себя всем мукам прометеева проклятия. А это неизменно захватывающий сюжет.

С таким же успехом я мог бы сыскать мотивы его поступка в семейной жизни. Тут к моим услугам имелся бы добрый десяток вариантов. Например, скрытый дар пробивается наружу благодаря знакомству с писателями и художниками, в обществе которых вращается его жена; или: неудовлетворенный семейным кругом, он углубляется в себя; и еще: любовная история раздувает в пламя маленький огонек, который, в моем изображении, сначала бы едва-едва тлел в его душе. В таком случае миссис Стрикленд мне, вероятно, пришлось бы обрисовать совсем по-другому. Не церемонясь с фактами, я бы сделал ее брюзгливой, надоедливой женщиной или ханжой, не понимающей духовных запросов мужа. Брак их я бы изобразил как нескончаемую цепь мучений, разорвать которую можно только бегством. Я бы, наверно, расписал яркими красками его терпеливое отноше-

ние к душевно чуждой ему жене и жалость, которая долго не позволяла ему сбросить тяжкое ярмо. О детях, пожалуй, упоминать бы и вовсе не следовало.

Не менее эффектно было бы свести Стрикленда со стариком художником, которого либо нужда, либо жажда наживы некогда заставили отказаться от своего призвания. Видя в Стрикленде возможности, им самим некогда упущенные, старик уговаривает его покончить с прежней жизнью и всецело предаться священной тирании искусства. Этот старый человек, добившийся богатства и высокого положения в свете, который пытается в другом пережить все, на что у него самого не достало мужества, хотя он и признавал, что искусство — это лучшая доля, должен быть дан слегка иронически.

Факты куда менее значительны. Стрикленд прямо со школьной скамьи поступил в контору биржевого маклера, не испытывая при этом никаких моральных терзаний. До женитьбы он жил, как все молодые люди его круга; понемножку играл на бирже во время Дерби или Оксфордских и Кембриджских игр, случалось, терял два-три соверена. В свободное время он занимался боксом, а на камине у него стояла фотография миссис Лангтри и Мери Андерсон. Он читал «Панч» и «Спортингтаймс». Ходил на танцы в Гемпстед.

То, что я потерял Стрикленда из виду на довольно долгий срок, особого значения не имеет. Годы, которые он провел в борьбе за овладение трудным искусством кисти, были достаточно однообразны, а то, чем ему приходилось заниматься, чтобы заработать себе на жизнь, вряд ли представляло хоть какой-нибудь интерес. Рассказывать об этом — значило бы рассказывать о событиях в жизни других людей. Да к тому же эти события не наложили отпечатка на характер Стрикленда. Он видел много сцен, которые могли бы послужить великолепным материалом для плутовского романа о современном Париже, но ничем этим не заинтересовался и, судя по его разговорам, не вынес ровно никаких впечатлений из своей парижской жизни. Возможно, что, приехав сюда, он был уже слишком стар и потому неподатлив колдовству большого города. Самое странное, что, вопреки всему этому, он казался мне не только практичным, но и сухо деловитым человеком. Жизнь его в те годы, несомненно, была полна романтики, но он не подозревал об этом. Для того чтобы почувствовать

романтику, надо, вероятно, быть немного актером и уметь, отрешившись от самого себя, наблюдать за своими действиями с глубокой заинтересованностью, но в то же время как бы и со стороны. Стрикленд был абсолютно не способен на такое раздвоение. Я в жизни не встречал человека, менее занятого собой. К несчастью, я не могу описать тот тернистый путь, идя по которому, он сумел покорить себе свое искусство. Если бы я показал, как неустрашимо он переносил неудачи, как мужественно не поддавался отчаянию, как упорно вел борьбу с сомнением — заклятым врагом художника, я вызвал бы симпатию к человеку, который — я это понимаю — покажется весьма несимпатичным. Но мне тут не за что зацепиться. Я никогда не видел Стрикленда за работой, как, вероятно, никто не видел. Тайны своей борьбы он хранил про себя. Если в полном одиночестве своей мастерской он и единоборствовал с ангелом господним, то ни одна живая душа не знала о его страданиях.

Теперь, когда речь пойдет о его связи с Бланш Стрёв, я с огорчением вижу, что в моем распоряжении нет ничего, кроме отрывочных, не связанных между собою фактов. Чтобы придать слитность своему рассказу, я должен был бы объяснить, как и почему их союз завершился трагедией, но я ничего не знаю об их жизни в течение этих трех месяцев. Не знаю, как они проводили время и о чем разговаривали. В сутках двадцать четыре часа, а вершины своей чувство достигает лишь в редкие минуты. Я могу только воображать, что они делали все остальные часы. Покуда было светло и Бланш еще не выбивалась из сил, он, вероятно, писал ее, а она сердилась, видя, как он углублен в работу. Она существовала для него только как модель, а не как любовница. Но затем оставались еще долгие часы, и они жили бок о бок в полном молчании. Ее это, наверно, пугало. Говоря, что своим уходом к нему Бланш как бы мстила Дирку Стрёву, пришедшему ей на помощь в трагическую минуту жизни, Стрикленд давал повод ко многим страшным догадкам. Но я надеюсь, что он ошибся. Иначе это было бы слишком печально. Хотя кто может разобраться во всех мельчайших движениях человеческого сердца? Разумеется, не тот, кто ждет от него только благопристойных и нормальных чувств. Когда Бланш поняла, что несмотря на мгновения страсти, Стрикленд

остается чужим ей, она, должно быть, впала в отчаяние, и тут, когда ей уяснилось, что она для него не личность, а только орудие наслаждения, она стала делать жалкие усилия, чтобы привязать его к себе. Она окружала его комфортом, не замечая, что комфорт ничего не значит для этого человека. Она изощрялась, готовя ему лакомые кушанья, и не замечала, что он совершенно равнодушен к еде. Она боялась оставить его одного, преследовала его своим вниманием и, когда его страсть утихала, старалась снова возбудить ее, ибо только в эти мгновения могла питать иллюзию, что он принадлежит ей. Возможно, она умом и понимала, что цепи, которыми она его опутывала, будили в нем только инстинкт разрушения — так, когда видишь зеркальное стекло в окне, руки чешутся запустить в него камнем, — но ее сердце не внимало голосу разума, и она все шла по пути, который — тут она не заблуждалась — был для нее роковым. Должно быть, она была очень несчастна. Но слепая любовь заставила ее верить в то, во что ей хотелось верить, да и обожала она Стрикленда так, что ей казалось невозможным, чтобы он не платил ей любовью.

Беда в том, что мой рассказ о Стрикленде грешит большими недостатками, чем неполное знание фактов из его жизни. Я много написал о его отношениях с женщинами, потому что эти отношения очень бросались в глаза, а между тем им принадлежало весьма скромное место в его жизни. И право же, издевка судьбы, что для женщин, приближавшихся к нему, они оборачивались трагедией. По-настоящему его жизнь состояла из мечты и титанического труда.

Тут-то и начинается литературная неправда. Любовь, как правило, — только один из эпизодов в жизни человека, в романах же ей отводится первое место, и это не соответствует жизненной правде. Мало найдется мужчин, для которых любовь — самое важное на свете, и это по большей части неинтересные мужчины; их презирают даже женщины, для которых любовь превышает всего. Преклонение льстит женщинам, волнует их, и все же они не могут отделаться от чувства, что мужчины, все на свете забывающие из-за любви — убогие создания. Даже в краткие периоды, когда мужчина страстно любит, он занят еще и другими делами, отвлекающими его от любимой. Внимание одного сосредоточено на работе, которая дает ему средства к жизни; другой

увлекается спортом или искусством. Большинство мужчин развивает свою деятельность в различных областях; они способны всецело сосредоточиваться на том, что их в данную минуту занимает, и досаждают, если одно перебивает другое. В любви разница между мужчиной и женщиной в том, что женщина любит весь день напролет, а мужчина — только урывками.

В жизни Стрикленда желание занимало очень мало места. Для него оно было чем-то второстепенным и докучным. Душа его рвалась в иные пределы. Он знал буйную страсть, и желание временами терзало его плоть, требуя неистовых оргий чувственности, но он ненавидел этот инстинкт, отнимавший у него власть над самим собою. Мне кажется, Стрикленд ненавидел и ту, что должна была делить с ним вакханалию страсти. Овладев собою, он испытывал отвращение к женщине, которой только что наслаждался. Мысли его уносились в горние страны, и женщина внушала ему ужас, какой может внушить пестрокрылому мотыльку, порхающему с цветка на цветок, неприглядная куколка, из которой он, торжествуя, возник. Мне думается, искусство — это проявление полового инстинкта. Одно и то же чувство заставляет усиленно биться человеческое сердце при виде красивой женщины, Неаполитанского залива в лунном свете и тичианова «Положения во гроб». Вполне возможно, что Стрикленд ненавидел нормальное проявление полового инстинкта, оно казалось ему низменным по сравнению со счастьем художественного творчества. Мне самому странно, что, описав человека жестокого, эгоистичного, грубого и чувственного, я в конце концов прихожу к выводу, что он был подлинным идеалистом. Но факты — упрямая вещь.

Он жил беднее любого батрака. И работал тяжелее, нимало не интересуясь тем, что большинство людей считают украшением жизни. К деньгам он был равнодушен, к славе тоже. Но не стоит воздавать ему хвалу за то, что он противостоял искушению и не шел ни на один из тех компромиссов с обществом, на которые мы все так охотно идем. Он не знал искушения. Ему ни разу даже не пришла на ум возможность компромисса. В Париже он жил более одиноко, чем отшельник в Фивейской пустыне. Он ничего не требовал от людей, разве чтобы они оставили его в покое. Стремясь к одной лишь цели, он для ее достижения готов был пожертвовать не только

собою — на это способны многие, — но и другими. Он был визионер и одержимый.

Да, Стрикленд был плохой человек, но и великий тоже.

Глава сорок четвертая

Немалое значение имеют взгляды художника на искусство, и потому я считаю нужным сказать здесь несколько слов о том, как Стрикленд относился к великим мастерам прошлого. Многого я, конечно, не знаю. Стрикленд был не слишком словоохотлив и то, что ему хотелось сказать, не умел облечь в точные слова, запоминающиеся слушателю. Он не был остроумен. Юмор его, как видно из предыдущего — конечно, если мне хоть в какой-то мере удалось воспроизвести его манеру говорить, — носил сардонический характер. Острил он грубо. Он иногда заставлял собеседника смеяться тем, что говорил правду, но этот вид юмора действителен только в силу своей необычности: если бы мы чаще слышали правду, никто бы не смеялся.

Стрикленд, я бы сказал, был от природы не слишком умен, и его взгляды на искусство не отличались оригинальностью. Я никогда не слышал, чтобы он говорил о художниках, работы которых были в известной мере родственны его работам, например о Сезанне или Ван-Гоге; я даже не уверен, что он когда-нибудь видел их произведения. Импрессионистами он особенно не интересовался. Технику их он признавал, но я склонен думать, что импрессионистическая манера казалась ему пошлой. Однажды, когда Стрёв на все лады прославлял Моне, он заметил: «Я предпочитаю Винтергальтера». Впрочем, он, вероятно, сказал это, чтобы позлить Стрёва, и конечно, достиг цели.

Мне очень жаль, что я не могу привести какие-нибудь из ряда вон выдающиеся суждения Стрикленда о старых мастерах. В характере этого человека столько странностей, что возмутительные высказывания о старших собратях могли бы эффектно завершить его портрет. Мне бы очень хотелось навязать ему какие-нибудь фантастические теории относительно его предшественников, но, увы, я должен признаться, что его взгляды мало чем отличались от общепринятых. Я подозреваю,

что он не знал Эль Греко, но к Веласкесу относился с каким-то нетерпеливым восторгом. Шарден его восхищал, а Рембрандт приводил в экстаз. Он говорил о впечатлении, которое на него производит Рембрандт, с такой откровенной грубостью, что я не решаюсь повторить его слова. Но вот что было уже совсем неожиданно, так это его живой интерес к Брейгелю-старшему. В то время я почти не знал этого художника, а Стрикленд не умел выражать свои мысли. Я запомнил то, что он говорил о нем, только потому, что это ровно ничего не объясняло.

— Этот настоящий,— заявил Стрикленд.— Бьюсь об заклад, что с него семь потов сходило, когда он писал.

Позднее, увидев в Вене картины Питера Брейгеля, я, кажется, понял, что в нем привлекало Стрикленда. Брейгелю тоже виделся какой-то особый мир, его самого удивлявший. Я тогда хотел написать о нем и сделал ряд заметок в своей записной книжке, но потом потерял ее, и в воспоминании у меня осталось только чувство, вызванное его картинами. Люди представлялись ему уродливыми и комичными, и он был зол на них за то, что они уродливы и комичны; жизнь — смешением комических и подлых поступков, достойных только смеха, но горько было ему над этим смеяться. Мне всегда казалось, что Брейгель средствами одного искусства тщится выразить то, что лучше поддалось бы выражению средствами другого, может быть, поэтому-то и смутно тянуло к нему Стрикленда. Видно, оба они хотели в живопись вложить идеи, бывшие более под стать литературе.

Стрикленду в то время было около сорока семи лет.

Глава сорок пятая

Выше я уже говорил, что, если бы не случайный мой приезд на Таити, я бы никогда не написал этой книги. Дело в том, что после долгих скитаний на Таити очутился Чарлз Стрикленд и там создал картины, на которых главным образом и зиждется его слава. Я думаю, что ни одному художнику не суждено полностью воплотить мечту, властвующую над ним, и Стрикленд, вконец измученный своей борьбой с техникой, сде-

лал, быть может, меньше, чем другие, чтобы воплотить видение, вечно стоявшее перед его духовным взором, но на Таити обстоятельства ему благоприятствовали. В этом новом мире он нашел много элементов, необходимых для того, чтобы его вдохновение стало плодотворным. Последние картины Стрикленда уже дают некоторое представление о том, что он искал. Они являются какой-то новой и странной пищей для нашей фантазии. Словно в этом далеком крае дух его, до той поры бестелесно бродивший по свету в поисках приюта, обрел наконец плоть и кровь. Выражаясь тривиально, Стрикленд здесь нашел себя.

Казалось бы, что, приехав на этот отдаленный остров, я должен был немедленно вспомнить о Стрикленде, в свое время так сильно меня интересовавшем, но я весь ушел в работу, кроме нее ни о чем не думал и лишь несколько дней спустя вспомнил о том, что его имя связано с Таити. Впрочем, я видел его пятнадцать лет назад, и уже девять прошло с тех пор, как он умер. Кроме того, впечатления от Таити вытеснили из моей головы даже дела, я все еще не мог прийти в себя. Помнится, в первое утро я проснулся чуть свет и вышел на веранду отеля. Нигде ни живой души. Я отправился в кухню, но она была заперта, на скамейке возле двери спал мальчик-туземец. Надежду позавтракать пока что приходилось оставить, и я пошел вниз, к морю. Китайцы уже раскладывали товар в своих лавчонках. Предрасветное небо было бледно, и над лагуной стояла прозрачная тишина. В десяти милях от берега высился остров Муреа, хранивший свою тайну, словно твердыня святого Грааля.

Я все еще не верил своим глазам. Дни, прошедшие со времени моего отплытия из Веллингтона, были так необычны, так непохожи на все другие дни. Веллингтон — чистенький, совсем английский городок, точь-в-точь такой, как все портовые городки Южной Англии. В море три дня бушевал шторм. Серые, рваные тучи тянулись по небу друг за дружкой. Затем ветер стих, море успокоилось, стало синим. Тихий океан пустынное других морей, просторы его кажутся безграничными, а самое заурядное плавание по нему отдает приключением. Воздух, который мы вдыхаем, это эликсир, подготавливающий к неожиданному и неизведанному.

Лишь раз в жизни дано смертному испытать чувство, что он вплывает в золотое царство фантазии,— когда взору его открываются берега Таити. Вы видите еще и соседний остров Муреа, каменное диво, таинственно вздымающееся среди водной пустыни. Со своими зубчатыми очертаниями он точно Монсерат Тихого океана, и вам начинает казаться, что полинезийские рыцари свершают там диковинные обряды, охраняя недобрую тайну. Красота этого острова раскрывается по мере приближения к нему, когда становятся отчетливо видны восхитительные изломы его вершин, но он бережно хранит свою тайну и, стоит вам поравняться с ним, весь как бы съеживается, замыкается в скалистую, неприступную суровость. И если б он исчез, куда вы ищите проход между рифами, и перед вами простерлась бы лишь синяя пустыня океана, то и в этом, кажется, не было бы ничего удивительного.

Таити—высокий зеленый остров, с полосами более темной зелени, в которых вы угадываете молчаливые долины; в их темной таинственной глубине журчат и плещутся студёные потоки, и чувствуешь, что жизнь в этих тенистых долах с незапамятных времен шла по одним и тем же незапамятным путям. В таком чувстве есть печаль и страх. Но это мимолетное впечатление лишь обостряет радость минуты. Так на миг промелькнет печаль в глазах шутника, когда веселые сотрапезники до упаду смеются над его остротами,—рот его улыбается, шутки становятся веселее, но одиночество его еще нестерпимее. Таити улыбается, приветствуя вас; этот остров—как обворожительная женщина, что расточает свою прелесть и красоту, и нет на свете ничего милее гавани Папее. Шхуны, стоящие на якоре у причала, сияют чистотой, городок, что тянется вдоль бухты, бел и наряден, а тамаринды, полыхающие под синью неба, яростны, словно крик страсти. Дух захватывает от того, как они чувственны в своем бесстыдном неистовстве. Встречать пароход на пристань высыпает веселая, жизнерадостная толпа; она шумит, радуется, жестикулирует. Это море коричневых лиц. Точно все цвета радуги волнуются и колышутся здесь под лазурным, блистающим небом. Суматоха все время отчаянная—при разгрузке багажа, при таможенном досмотре, и кажется, что все улыбаются вам. Солнце печет нестерпимо. Пестрота ослепляет.

Глава сорок шестая

В первые же дни моего пребывания на Таити я свел знакомство с капитаном Николсом. Однажды утром, когда я завтракал на веранде, он вошел и представился мне. Прослышав, что я интересуюсь Чарлзом Стриклендом, капитан Николс явился поговорить со мной. На Таити судачат не хуже, чем в английской деревне, и слух о том, что я раза два или три спросил относительно картин Стрикленда, распространился с молниеносной быстротой. Я поинтересовался, завтракал ли капитан.

— Да,— отвечал он,— я рано пью кофе, но от глоточка виски не откажусь.

Я кликнул боя-китайца.

— А может, не стоит пить спозаранку?— сказал капитан.

— Ну, это уж вы спрашивайте вашу печень,— отвечал я.

— Собственно, я трезвенник,— заметил капитан, наливая себе добрых полстакана канадского виски.

Смеясь, он показывал желтые поломанные зубы. Капитан был очень худой человек, среднего роста, с седой шевелюрой и седыми топорщившимися усами. Он явно не брился уже два дня. Лицо его, коричневое от постоянного пребывания на солнце, было изборождено морщинами, а голубые глазки смотрели удивительно плутовато. Они бегали быстро-быстро, следя за каждым моим движением, и придавали капитану изрядно жуликоватый вид, хотя в настоящую минуту он был, можно сказать, сама доброжелательность. Его костюм цвета хаки выглядел весьма неопрятным, а руки очень нуждались в воде и мыле.

— Я хорошо знал Стрикленда,— начал он, закулив сигару, которую я ему предложил, и поудобнее устраиваясь в кресле.— Благодаря мне он и попал на эти острова.

— Где вы с ним повстречались?— спросил я.

— В Марселе.

— Что вы там делали?

Он заискивающе улыбнулся.

— Гм, я там, собственно, сидел без работы.

Судя по виду моего нового приятеля, он и теперь находился не в лучшем положении; я уже приготовился поддержать это приятное знакомство. Такие шалопаи,

как правило, вознаграждают нас за мелкие моральные издержки, которые несешь, общаясь с ними. Они легко сближаются, разговорчивы. Заносчивость чужда им, а предложение выпить—вернейший путь к их сердцу. Вам нет нужды завоевывать их расположение, и за то, что вы будете внимательно слушать их рассказы, они заплатят вам не только доверием, но и благодарностью.

Для них первейшее удовольствие в жизни—почесать язык и заодно щегольнуть своей образованностью, и надо признать, по большей части они превосходные рассказчики. Излишество их жизненного опыта приятно уравнивается живостью воображения. Простакими их, конечно, не назовешь, но они уважают закон, когда он опирается на силу. Играть с ними в покер—рискованное занятие, но их сноровка придает дополнительную своеобразную прелесть этой лучшей в мире игре. Я хорошо узнал капитана Николса за время своего пребывания на Таити, и это знакомство, безусловно, обогатило меня. Сигары и виски, за которые я платил (от коктейля он, как заядлый трезвенник, раз и навсегда отказался), так же как и те несколько долларов, которые капитан взял у меня взаймы с видом, ясно говорившим, что он делает мне величайшее одолжение, отнюдь не эквивалентны тому, что я от него получил: он развлекал меня. Я остался его должником и не вправе отделаться от него двумя словами.

Не знаю, почему капитану Николсу пришлось уехать из Англии. Он об этом старательно умалчивал, а задавать вопросы людям его склада—заведомая бестактность. Он намекал на какую-то беду, незаслуженно его постигшую, и вообще считал себя жертвой несправедливости. Я полагал, что речь идет о мошенничестве или о насилии, и охотно поддакивал ему: да, судейские чиновники в старой Англии—отчаянные формалисты. Зато как это хорошо, что, несмотря на все неприятности, испытанные им в родной стране, он остался пламенным патриотом. Он неоднократно заявлял, что Англия—лучшая страна в мире, и живо чувствовал свое превосходство над американцами и жителями колоний, италияшками, голландцами и канаками.

Но счастливым капитан все-таки не был. Он страдал от дурного пищеварения и то и дело глотал таблетки пепсина; по утрам у него не было аппетита, что,

впрочем, не ухудшало его настроения. У него имелись и другие основания роптать на жизнь. Восемь лет назад он опрометчиво женился. Есть люди, которым милосердное провидение предрекало холостяцкое житье, но они из своенравия или по случайному стечению обстоятельств нарушают его волю. Нет на свете ничего более жалкого, чем женатый холостяк. А капитан Николс был женатым холостяком. Я знал его жену, ей было лет двадцать восемь—впрочем, она принадлежала к тому типу женщин, возраст которых не определишь; такой она была, вероятно, в двадцать лет и в сорок тоже едва ли выглядела старше. Мне казалось, что она вся как-то стянута. Ее плоское лицо с узкими губами было стянуто, кожа плотно обтягивала кости, рот кривился в натянутой улыбке, волосы были стянуты в тугий узел, платье сидело в обтяжку, а белое полотно, из которого оно было сшито, выглядело как черная бумазья. Я никак не мог понять, почему капитан Николс на ней женился, а женившись, почему от нее не удрал. Впрочем, кто знает, может быть, он не раз пытался это сделать: меланхолия же его именно тем и объяснялась, что все эти попытки терпели крушение. Как бы далеко он ни уходил, в какое бы укромное местечко ни забивался, миссис Николс, неумолимая, как судьба, и беспощадная, как совесть, немедленно настигала его. Он не мог избавиться от нее, как причина не может избавиться от следствия.

Мошенник, артист, а может быть, и джентльмен не принадлежит ни к какому классу. Его не проймешь нахальной бесцеремонностью бродяги и не смутишь чопорным этикетом королевского двора. Но миссис Николс принадлежала к сословию, так сказать, ниже среднего. Папаша ее был полисменом—и я уверен, весьма расторопным. Не знаю, чем она привязала к себе капитана, но не думаю, чтобы узами любви. Я от нее слова не слышал, но не исключено, что в домашней обстановке это была весьма говорливая особа. Так или иначе, но капитан Николс смертельно ее боялся. Иногда мы с ним сидели на террасе отеля, и он вдруг замечал, что она проходит по улице. Она его не окликала, ни словом, ни жестом не показывала, что видит его, а невозмутимо шагала туда и обратно. Странное беспокойство овладевало тогда капитаном: он начинал смотреть на часы и вздыхать.

— Ну, мне пора,—говорил он наконец.

И тут уже ничем нельзя было удержать его, даже стаканом виски. А ведь он неустрашимо встречал ураганы, тайфуны и, вооруженный одним только револьвером, не задумываясь, вступил бы в драку с десятком безоружных негров. Случалось, что миссис Николс посылала за ним свою дочь, бледную, сердитую девочку лет семи.

— Тебя мама зовет,—говорила она плаксивым голосом.

— Иду, иду, деточка,—отвечал капитан Николс.

Он вскакивал и шел за дочерью. Прекрасный пример торжества духа над материей, а следовательно, в отступлении, которое я себе позволил, по крайней мере имеется мораль.

Глава сорок седьмая

Я постарался придать некоторую слитность отрывочным рассказам капитана Николса о Стрикленде, которые и перескажу сейчас по возможности последовательно. Они познакомились зимой того же года, когда я в последний раз видел Стрикленда в Париже. Как он жил эти месяцы после нашей встречи, я не знаю, но, видно, ему пришлось очень круто, так как Николс встретился с ним в ночлежном доме. В Марселе в то время была всеобщая забастовка, и Стрикленд, оставшись без денег, не мог заработать даже те гроши, которые были ему необходимы, чтобы душа не рассталась с телом.

Монастырский ночлежный дом в Марселе — это большое мрачное здание, где бедняки и безработные получали право одну неделю пользоваться койкой, если у них были в порядке документы и они могли доказать монахам, что не являются беспаспортными бродягами. Капитан Николс тотчас же заметил Стрикленда, выделявшегося своим ростом и оригинальной наружностью в толпе возле дверей ночлежки; они ждали молча: кто шагал взад и вперед, кто стоял, прислонившись к стене; многие сидели на обочине дороги, спустив ноги в канаву. Когда их наконец впустили в контору, капитан услышал, что проверявший документы монах обратился к Стрикленду по-английски. Но капитану не удалось заговорить с ним: как только их впустили в общую комнату, туда тотчас же явился монах с громадной

Библией и с кафедры, стоявшей в конце помещения, начал проповедь, которую эти несчастные должны были слушать в оплату за то, что их здесь приютили. Капитан и Стрикленд были назначены в разные спальни, а в пять часов утра, когда дюжий монах объявил подъем и капитан заправлял свою койку и умывался, Стрикленд уже исчез. Капитан около часу пробродил по улицам, дрожа от холода, а потом отправился на площадь Виктора Желю, где обычно собирались безработные матросы. Там он опять увидел Стрикленда, дремлющего у пьедестала памятника. Он разбудил его пинком.— Пошли, браток, завтракать!

— Иди ко всем чертям,— отвечал Стрикленд.

Я узнал лаконичный стиль Стрикленда и решил, что свидетельству капитана Николса можно верить.

— Сидишь на мели?— спросил капитан.

— Проваливай,— сказал Стрикленд.

— Пойдем со мной, я тебе раздобуду завтрак.

Поколебавшись секунду-другую, Стрикленд встал, и они пошли в столовую «Ломоть хлеба», где голодным и вправду давали по куску хлеба с условием, что он будет съеден на месте: «навынос» хлеб не выдавался. Оттуда они двинулись в «Ложку супа», там в одиннадцать утра и в четыре дня бедняки получали по тарелке жидкой соленой похлебки. Столовые эти находились в разных концах города, так что только вконец изголодавшийся человек мог соблазниться таким завтраком. С этого началась своеобразная дружба Чарлза Стрикленда и капитана Николса.

Они провели в Марселе друг с другом месяца четыре. Жизнь их текла без всяких приключений, если под приключением понимать неожиданные и яркие происшествия, ибо они с утра до вечера были заняты поисками заработка, которого хватило бы на оплату койки в ночлежном доме и на кусок хлеба, достаточный, чтобы заглушить муки голода. Мне бы очень хотелось воспроизвести здесь те характерные и красочные картины, которые развертывались передо мною в передаче капитана Николса. Оба они такого навидались за время своей жизни «на дне» большого портового города, что из этого получилась бы преинтересная книжка, а разговоры действующих лиц в рассказе капитана Николса могли бы послужить отличным материалом для составления полного словаря блатного языка. Но, к сожалению, я могу

привести здесь лишь отдельные эпизоды. Начнем с того, что это было примитивное, грубое, но не унылое существование. И Марсель, который я знал, Марсель оживленный и солнечный, с комфортабельными гостиницами и ресторанами, наполненными сытой толпой, стал казаться мне банальным и серым. Я завидовал людям, которые собственными глазами видели все то, что я только слышал из уст капитана Николса.

После того как двери ночлежного дома закрылись перед ними, они оба решили прибегнуть к гостеприимству некоего Строптивного Билла. Это был хозяин матросской харчевни, рыжий мулат с тяжеленными кулаками, который давал приют и пищу безработным матросам и сам же подыскивал им места. Стрикленд и Николс прожили у него, наверно, с месяц, спали на полу вместе с другими матросами — шведами, неграми, бразильцами — в двух совершенно пустых комнатах, отведенных хозяином для своих постояльцев, и каждый день отправлялись вместе с ним на площадь Виктора Желю, куда приходили капитаны пароходов в поисках рабочей силы. Строптивный Билл был женат на толстой, обрюзгшей американке, бог весть каким образом дошедшей до такой степени падения, и его постояльцам вменялось в обязанность поочередно помогать ей по хозяйству. Капитан Николс считал, что Стрикленд ловко увильнул от этой работы, написав портрет Билла. Последний не только уплатил за холст, краски и кисти, но еще дал Стрикленду в придачу фунт контрабандного табаку. Полагаю, что эта картина и по сей день украшает гостиную полуразрушенного домишки неподалеку от набережной и теперь наверняка стоит полторы тысячи фунтов. Стрикленд мечтал поступить на какое-нибудь судно, идущее к берегам Австралии или Новой Зеландии, и уже оттуда пробраться на Самоа или на Таити. Почему Стрикленда потянуло в Южные моря, не знаю, но, помнится, ему давно представлялся остров, зеленый и солнечный, среди моря, более синего, чем моря северных широт. Он, наверно, и привязался к капитану Николсу потому, что тот знал эти дальние края. Мысль отправиться именно на Таити тоже исходила от Николса.

— Таити ведь принадлежит французам, — пояснил мне капитан, — а французы не такие чертовские формалисты, как англичане. Я понял, что он имеет в виду.

У Стрикленда не было нужных бумаг, но подобные пустяки Билла не смущали, когда можно было хорошо подработать (он забирал у матросов, которых устраивал на корабль, жалование за весь первый месяц). Итак, он снабдил Стрикленда документами одного английского кочегара, весьма кстати умершего у него в харчевне. Но оба они, и капитан Николс, и Стрикленд, рвались на восток, а работа, как назло, представлялась только на пароходах, идущих на запад. Стрикленд дважды отказался от места на судах, отправляющихся в Соединенные Штаты, и в третий раз—на угольщике, идущем в Ньюкасл. Строптивый Билл не терпел упрямства, из-за которого мог остаться внакладе, и без всяких церемоний вышвырнул обоих из своего заведения. Они снова сели на мель.

Еда у Строптивного Билла не отличалась роскошеством, из-за стола его нахлебники вставали почти такими же голодными, как и садились за него, и все-таки Стрикленд и Николс в течение нескольких дней с нежностью вспоминали об этих обедах. «Ложка супа» и ночлежный дом были закрыты для них, и они поддерживали свое существование только тем, на что расщедрился «Ломоть хлеба». Спали они где придется, в товарных вагонах на запасных путях или под повозками у пакгауза, но холод стоял лютый, и, продремав часа два, они начинали бегать по улицам. Больше всего оба страдали без табаку, и капитан отправлялся «на охоту» к пивному заведению—подбирать окурки папирос и сигар, брошенные вечерними посетителями.

— Я бог знает чем набивал свою трубку,—заметил капитан, меланхолически пожимая плечами, и взял из ящика, который я ему пододвинул, сразу две сигары: одну он сунул в рот, другую в карман.

Временами им удавалось зашибить немножко денег. Когда приходил почтовый пароход, они работали по его разгрузке, так как капитан Николс ухитрился завязать знакомство с боцманом. Иногда они хитростью проникали на бак английского парохода, и команда угощала земляков сытным завтраком. При этом они рисковали наткнуться на корабельное начальство и кубарем скатиться по трапу да еще получить пинок вдогонку.

— Ну, да пинок в зад—беда небольшая, если брюхо полно,—заметил капитан Николс,—и лично я на это

дело не обижался. Начальству положено наблюдать за дисциплиной.

Я живо представил себе, как капитан Николс вверх тормашками летит по узенькому трапу и, будучи истым англичанином, восхищается дисциплиной английского торгового флота.

Чаще всего они промышляли на рыбном рынке, а как-то раз получили по франку за погрузку на товарную платформу неисчислимого количества ящиков с апельсинами, сваленных у причала. Однажды им сильно повезло: знакомый «хозяин» взял подряд на покраску судна, которое прибыло с Мадагаскара, обогнув мыс Доброй Надежды, и они несколько дней кряду провисели в люльке, нанося слой краски на его заржавленные борта. Положение это, безусловно, должно было вызвать сардонические реплики Стрикленда. Я спросил Николса, как вел себя Стрикленд во время всех этих испытаний.

— Ни разу не слышал, чтобы он хоть выругался,— отвечал капитан.— Иногда он, конечно, хмурился, но, если у нас с утра до вечера маковой росинки во рту не бывало и нечем было заплатить китаезе за ночлег, он только посмеивался.

Меня это не удивило. Стрикленд никогда не падал духом от неблагоприятных обстоятельств, но было ли то следствием невозмутимости характера или гордости, судить не берусь.

«Головой китаезы» портовый сброд прозвал грязный притон на улице Бутери; его содержал одноглазый китаец, и там за шесть су можно было получить койку, а за три выпастись на полу. Здесь оба они завели себе друзей среди таких же горемык и, когда у них не было ни гроша, а на дворе стояла стужа, не стесняясь, брали у них взаймы несколько су из случайно заработанного франка, чтобы оплатить ночлег. Эти бродяги, не задумываясь, делились последним грошом с такими же, как они. В Марсельский порт стекались люди со всего света, но различие национальностей не служило помехой доброй дружбе, все они чувствовали себя свободными гражданами единой страны—великой страны кокаина.

— Но зато рассвирепевший Стрикленд бывал страшен,—задумчиво процедил капитан Николс.— Как-то раз мы зашли в логово Строптивного Билла, и он спросил у Чарли документы, которыми когда-то ссудил его.

— А ну, возьми, попробуй! — сказал Чарли.

Строптивый Билл был рыжим детиной, но вид Чарли ему не понравился, и он стал на все лады честить его. А когда Билл ругался, его, право же, небезынтересно было послушать. Чарли терпел-терпел, а затем шагнул вперед и сказал: «Вон отсюда, скотина!» Тут важно не что он сказал, а как сказал! Билл ни слова ему не ответил, пожелтел весь и смотался так быстро, точно спешил на свидание.

В передаче капитана Николса Стрикленд обозвал Билла вовсе не «скотиной», но, поскольку эта книга предназначена для семейного чтения, я, в ущерб точности, решил вложить в уста Стрикленда слова, принятые в семейном кругу.

Но не таков был Строптивый Билл, чтобы стерпеть унижение от простого матроса. Его власть зависела от престижа, и прошел слух, что он поклялся прикончить Стрикленда.

Однажды вечером капитан Николс и Стрикленд сидели в кабачке на улице Бутери. Это узкая улица, застроенная одноэтажными домишками, — по одной комнате в каждом, похожими не то на ярмарочные балаганы, не то на клетки в зверинце. У каждой двери там стоят женщины. Одни, лениво прислонившись к косяку, мурлычут какую-то песенку, хриплыми голосами зазывают прохожих, другие молча читают. Есть здесь француженки, итальянки, испанки, японки и темнокожие. Есть худые и толстые. Густой слой белил, подведенные брови, ярко-красные губы не скрывают следов, оставленных временем и развратом. Некоторые из этих женщин одеты в черные рубашки и телесного цвета чулки; на других короткие муслиновые платья, как у девочек, а крашенные волосы завиты в мелкие кудряшки. Через открытую дверь виднеется пол, выложенный красными изразцами, широкая деревянная кровать, кувшин и таз на маленьком столике. Пестрая толпа слоняется по улице — индийцы-матросы, белокурые северяне со шведской шхуны, японцы с военного корабля, английские моряки, испанцы, щеголеватые молодые люди с французского крейсера, негры с американских торговых судов.

Днем улица Бутери грязна и убога, но по ночам, освещенная только лампами в окнах хибарок, она красива какой-то зловещей красотой. Омерзительная

похоть, пронизывающая воздух, гнетет и давит, и тем не менее есть что-то таинственное в этой картине, что-то тревожное и захватывающее. Все здесь насыщено первобытной силой; она внушает отвращение и в то же время очаровывает. Могучим потоком снесены условности цивилизации, и люди на этой улице стоят лицом к лицу с сумрачной действительностью. Атмосфера напряженная и трагическая.

В кабачке, где сидели Стрикленд и Николс, пианола громко отбарабанивала танцы. По стенам за столиками расселись пьяные в дым матросы и несколько человек солдат; посредине, сбившись в кучу, танцевали пары. Бородатые загорелые моряки с большими мозолистыми руками крепко прижимали к себе девиц, на которых не было ничего, кроме рубашки. Случалось, что два матроса вставали из-за столика и шли танцевать в обнимку. Шум стоял оглушительный. Посетители пели, ругались, хохотали. Когда какой-нибудь мужчина долгим поцелуем впивался в сидящую у него на коленях девицу, английские матросы оглушительно мяукали. Воздух был тяжелый от пыли, поднимаемой сапогами мужчин, и сизый от табачного дыма. Жара стояла отчаянная. Женщина, сидевшая за стойкой, кормила грудью ребенка. Кельнер, низкорослый парень с прыщавым лицом, носился взад и вперед с подносом, уставленным кружками пива.

Вскоре туда явился Строптивый Билл в сопровождении двух дюжих негров; с первого взгляда можно было определить, что он уже основательно хлебнул. Он тотчас же стал напрашиваться на скандал. Толкнул столик, за которым сидело трое солдат, и опрокинул кружку пива. Началась свара, хозяин вышел и предложил Биллу убраться вон. Малый он был здоровенный, скандалов в своем заведении не терпел, и Билл заколебался. Связываться с кабатчиком не имело смысла, полиция всегда была на его стороне; итак, Билл крепко выругался и пошел к двери. Но тут ему на глаза попался Стрикленд. Ни слова не говоря, он ринулся к его столику и плюнул ему в лицо. Стрикленд швырнул в него пивной кружкой. Танцующие остановились. На мгновение воцарилась полная тишина, но когда Строптивый Билл бросился на Стрикленда, всех до одного охватила жажда драки, и началась свалка. Столы опрокидывались, осколки летели на пол. Шум поднялся адский. Женщины врассыпную бросились на улицу и за стойку. Прохожие вбежали и

вмешивались в потасовку. Теперь уже слышались проклятия на всех языках, удары, вопли; посреди комнаты в яростный клубок сцепилось человек десять матросов. Откуда ни возьмись явилась полиция, и все, кто мог, постарались улизнуть. Когда зал был очищен, на полу без сознания остался лежать Строптивный Билл с глубокой раной на голове. Капитан Николс выволок на улицу Стрикленда, рука у него была ранена, лицо и изодранная одежда — в крови; Николсу разбили нос.

— Лучше тебе смотаться из Марсея, куда Билл не вышел из больницы, — сказал он Стрикленду, когда они уже добрались до «Головы китаезы» и по мере возможности приводили себя в порядок.

— Это, пожалуй, почище петушиного боя, — заметил Стрикленд.

При этих словах мне сразу представилась его сардоническая улыбка.

Капитан Николс был в тревоге. Он хорошо знал мстительность Строптивного Билла. Стрикленд дважды одолел мулата, а когда Билл трезв, с ним лучше не связываться. Он теперь будет действовать исподтишка. Торопиться он не станет, но в одну прекрасную ночь Стрикленд получит удар ножом в спину, а через день-два тело неизвестного бродяги будет выловлено из грязной воды в гавани. На следующий день капитан отправился на разведку к дому Строптивного Билла. Он еще лежал в больнице, но жена, которая ходила его навещать, сказала, что он поклялся убить Стрикленда, как только вернется домой. Прошла целая неделя.

— Я всегда говорил, — задумчиво продолжал капитан Николс, — что если ты уж дал тумака, то пусть это будет основательный тумак. Тогда у тебя по крайней мере хватит времени поразмыслить о том, что делать дальше.

Но Стрикленду вдруг повезло. В бюро по найму матросов поступила заявка — на пароход, идущий в Австралию, срочно требовался кочегар, так как прежний в приступе белой горячки бросился в море возле Гибралтара.

— Беги скорей в гавань и подписывай контракт, — сказал капитан Николс. — Бумаги у тебя, слава богу, есть.

Стрикленд последовал его совету, и больше они не виделись. Пароход простоял в гавани всего шесть часов,

и вечером, когда он уже рассекал студеные волны, капитан увидел на востоке исчезающий дымок.

Я старательно изложил все слышанное от капитана потому, что меня привлек контраст между этими событиями и той жизнью, которой при мне жил Стрикленд на Эшлигарден, занятый биржевыми операциями. Но, с другой стороны, я знаю, что капитан Николс — отъявленный враль и, возможно, в его рассказе нет ни слова правды. Я бы не удивился, узнав, что он никогда в жизни не видел Стрикленда и что все его описания Марсея вычитаны из иллюстрированных журналов.

Глава сорок восьмая

На этом я предполагал закончить свою книгу. Сперва мне хотелось описать последние годы Стрикленда на Таити и его страшную кончину, а затем обратиться вспять и познакомить читателей с тем, что мне было известно о его первых шагах как художника. И не потому, что так мне заблагорассудилось, а потому, что я сознательно хотел расстаться со Стриклендом в пору, когда он с душою, полной смутных грез, покидал континент для неведомого острова, давно уже дразнившего его воображение. Мне нравилось, что этот человек в сорок семь лет, то есть в возрасте, когда другие живут налаженной, размеренной жизнью, пустился на поиски нового света. Я уже видел серое море, вспененное мистралем, и пароход; с борта его Стрикленд смотрит, как скрываются вдали берега Франции, на которые ему не суждено вернуться; и я думал, что много все-таки бесстрашия было в его сердце. Я хотел, чтобы конец моей книги был оптимистическим. Как это подчеркнуло бы нестигаемую силу человеческой души! Но ничего у меня не вышло. Не знаю почему, повесть моя не желала строиться, и после нескольких неудачных попыток я отказался от этого замысла, начал, как положено, книгу с начала и решил рассказать читателю только то, что я знал о жизни Стрикленда, последовательно излагая факты.

Но в моем распоряжении были лишь самые отрывочные сведения. Я оказался в положении биолога, которому по одной кости предстоит не только восстановить внешний вид доисторического животного, но и его

жизненный уклад. Стрикленд не произвел сильного впечатления на людей, которые соприкасались с ним на Таити. Для них он был просто бродяга без гроша за душой, отличавшийся от других бродяг разве тем, что он малевал какие-то чудные картины. И лишь через несколько лет после его смерти, когда на остров из Парижа и Берлина съехались агенты крупных торговцев картинами в надежде, что там еще можно будет разыскать кое-что из творений Стрикленда, они стали догадываться, что среди них жил человек весьма недюжинный. Тут их осенило, что они за медный грош могли купить полотна, которые стоили теперь огромных денег, и они очень сокрушались об упущенных возможностях. Среди жителей Папеэте, знавших Стрикленда, был один французский еврей по имени Коэн, у которого случайно оказалась картина Стрикленда. Маленький старичок с добродушными глазками и приветливой улыбкой, наполовину торговец, наполовину моряк, он курсировал на собственной шхуне между Паумоту и Маркизскими островами, привозя туда всевозможные товары и взамен забирая копру, перламутр и жемчуг. Мне сказали, что он собирается недорого продать большую черную жемчужину, и я пошел к нему; когда же выяснилось, что жемчужина мне все равно не по карману, я заговорил с ним о Стрикленде. Старик хорошо знал его.

— Я, видите ли, интересовался им, потому что он был художник. У нас на островах художник — редкость, и я очень его жалел за то, что он так слаб в своем ремесле. Я первый дал ему работу. У меня есть плантация на полуострове, и туда требовался надсмотрщик. От туземцев ведь работы не добьешься, если над ними нет белого надсмотрщика. Я ему сказал: «У вас останется куча времени, чтобы писать картины, и денег немножко подработаете». Я знал, что он голодает, и предложил ему хорошее жалованье.

— Не думаю, чтобы он был хорошим надсмотрщиком,— улыбнулся я.

— Я смотрел на это сквозь пальцы, потому что всегда любил художников. Это ведь у нас в крови. Но он прослужил у меня всего два или три месяца и ушел, как только заработал денег на холст и краски. Он восхищался здешнею природой, и его опять потянуло бродяжничать. Но я иногда продолжал с ним встречаться. Он изредка наведывался в Папеэте и по

нескольку дней жил там, а потом, если ему удавалось достать у кого-нибудь денег, опять исчезал. В один из таких наездов он пришел ко мне и попросил займы двести франков. Вид у него был такой, словно он не ел целую неделю, и у меня не хватило духу ему отказать. На этих деньгах я, конечно, поставил крест. И вдруг через год он является и приносит мне картину. Он словом не обмолвился о долге, а только сказал: «Вот вам вид вашей плантации, я его написал для вас». Я взглянул на нее и не знал, что сказать, но, конечно, поблагодарил, а когда он ушел, я показал ее жене.

— Что же это была за картина? — спросил я.

— Лучше не спрашивайте. Я в ней ровно ничего не понял, так как отродясь подобного не видывал. «Что нам с ней делать?» — сказал я жене. «О том, чтобы ее повесить, нечего и думать, — отвечала она, — люди будут смеяться над нами». Она снесла картину на чердак, где у нас лежала пропасть всякого хлама, потому что моя жена не в состоянии выбросить ни одной вещи. Это ее мания. Можете себе представить мое изумление, когда перед самой войной брат написал мне из Парижа: «Не знаешь ли ты чего-нибудь об английском художнике, который жил на Таити? Оказалось, что он гений и его картины идут по очень высокой цене. Постарайся разыскать что-нибудь из его вещей и пришли мне. Можно хорошо заработать». Я спрашиваю жену, как насчет картины, которую мне подарил Стрикленд? Может, она все еще на чердаке? «Конечно, на чердаке, — говорит жена, — ты же знаешь, что я никогда ничего не выбрасываю, это моя мания». Мы с ней полезли на чердак и среди бог знает какого хлама, накопившегося за тридцать лет нашей жизни в этом доме, разыскали картину. Я опять смотрю на нее и говорю: «Ну кто бы мог подумать, что надсмотрщик с моей плантации, которому я дал займы двести франков, окажется гением? Скажи на милость, что хорошего в этой картине?» — «Не знаю, — отвечала она, — на нашу плантацию это несколько не похоже, и кокосовых пальм с синими листьями я никогда не видала. Но они там все с ума посходили в Париже, и, может, твоему брату удастся продать ее за двести франков, которые тебе задолжал Стрикленд». Сказано — сделано. Мы запаковали и отправили картину. В скором времени пришло письмо от брата. И что же, вы думаете, он написал? «Получив твою карти-

ну, я сначала решил, что тебе вздумалось надо мной подшутить. Я бы лично не дал за нее и того, что стоила пересылка. Я даже боялся показать ее тому человеку, который надоумил меня послать тебе запрос. Можешь себе представить, как я был удивлен, когда он объявил, что это замечательное произведение искусства, и предложил мне тридцать тысяч франков. Он, может быть, дал бы больше, но я, откровенно говоря, совсем обалдел и согласился, не успев даже собраться с мыслями».

И затем мсье Коэн сказал нечто совершенно очаровательное:

— Как жаль, что бедняга Стрикленд не дожил до этого дня. Воображаю его удивление, когда я бы вручил ему за его картину двадцать девять тысяч восьмисот франков.

Глава сорок девятая

Я жил в отеле «Де ла Флёр», и хозяйка его, миссис Джонсон, поведала мне печальную историю о том, как она прозвала счастливый случай. После смерти Стрикленда часть его имущества продавалась с торгов на рынке в Папезте. Миссис Джонсон отправилась на торги, потому что среди его вещей была американская печка, которую ей хотелось приобрести. В конце концов она ее и купила за двадцать семь франков.

— Там было еще штук десять картин, да только без рам,— рассказывала она,— и никто на них не лъстился. Некоторые пошли за десять франков, а большинство за пять или шесть. Подумать только, если бы я их купила, я бы теперь была богатой женщиной.

Нет, Тиаре Джонсон ни при каких обстоятельствах не стала бы богатой женщиной. Деньги текли у нее из рук. Она была дочерью туземки и английского капитана, обосновавшегося на Таити. Когда я с ней познакомился, ей было лет пятьдесят, но выглядела она старше — прежде всего из-за своих громадных размеров. Высокая и страшно толстая, она казалась бы величественной, если б ее лицо способно было выразить что-нибудь, кроме добродушия. Руки ее напоминали окорока, грудь — гигантские кочны капусты; лицо миссис Джонсон, широкое и мясистое, почему-то казалось неприлично голым, а громадные подбородки переходили один в другой — сколько их было, сказать не берусь: они утопали в

ее бюсте. Она с утра до вечера ходила в розовом капоте и широкополой соломенной шляпе. Но когда она распускала свои темные, длинные и вьющиеся волосы, а делала она это нередко, потому что они составляли предмет ее гордости, то ими нельзя было не залюбоваться, и глаза у нее все еще оставались молодыми и задорными. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь смеялся заразительнее, чем она. Смех ее, начавшись с низких раскатов где-то в горле, становился все громче и громче, причем сотрясалось все ее огромное тело. Превыше всего на свете она ставила веселую шутку, стакан вина и красивого мужчину. Знакомство с нею было истинным удовольствием.

Лучшая повариха на острове, Тиаре обожала вкусно покушать. С утра до поздней ночи восседала она в кухне на низеньком стуле, вокруг нее сустились повар-китаец и три девушки-туземки, а она отдавала приказания, весело болтала со всеми и пробовала пикантные кушанья собственного изобретения. Если ей хотелось почтить кого-нибудь из друзей, она собственноручно стряпала обед. Гостеприимство ее не знало границ, и не было человека на острове, который ушел бы без обеда из отеля «Де ла Флёр», пока в ее кладовой были хоть какие-нибудь припасы. Тиаре никогда не выгоняла своих постояльцев, не плативших по счетам, надеясь, что со временем дела их поправятся и они отдадут свой долг. Один из них попал в беду, и она в течение многих месяцев ничего с него не спрашивала за стол и квартиру, а когда в китайской прачечной отказались бесплатно стирать ему, она стала отдавать в стирку его белье вместе со своим. «Нельзя же, чтоб бедный малый разгуливал в грязных рубашках»,— говорила Тиаре, а поскольку он был мужчина—мужчины же должны курить,—то она ежедневно выдавала ему по франку на папиросы. При этом она была с ним ничуть не менее обходительна, чем с другими постояльцами.

Годы и тучность сделали ее неспособной к любви, но она с живейшим интересом вникала в любовные дела молодежи. Любовь, по ее убеждению, была естественнейшим занятием для мужчин и женщин, и в этой области она всегда охотно давала советы и указания на основе своего обширного опыта.

— Мне еще пятнадцати не было, когда отец узнал, что у меня есть возлюбленный, третий помощник

капитана с «Тропической птицы». Настоящий красавчик.— Она вздохнула. Говорят, женщины всегда с нежностью вспоминают своего первого возлюбленного,— но всегда ли им удастся вспомнить, кто был первым?

— Мой отец был умный человек.

— И что же он сделал?— полюбопытствовал я.

— Сначала избил меня до полусмерти, а потом выдал за капитана Джонсона. Я не противилась. Конечно, он был старше меня, но тоже красавец собою.

Тиаре— отец назвал ее по имени душистого белого цветка (таитяне говорят, что если человек хоть раз услышит его аромат, то непременно вернется на Таити, как бы далеко он ни уехал),— Тиаре хорошо помнила Стрикленда.

— Иногда он заглядывал к нам, а кроме того, я часто видела его на улицах Папеете. Я так его жалела— тощий, всегда без денег. Бывало, стоит мне услышать, что он в городе, и я сейчас же посылала боя звать его обедать. Раз-другой я даже раздобыла для него работу, но он как-то ни к чему не мог прилепиться. Пройдет немного времени, его опять уже тянет в лес—и он исчезает.

Стрикленд добрался до Таити через полгода после того, как покинул Марсель. Проезд свой он заработал матросской службой на судне, совершавшем рейсы между Оклендом и Сан-Франциско, и высадился на берег с этюдником, мольбертом и дюжиной холстов. В кармане у него было несколько фунтов стерлингов, заработанных в Сиднее. Высадившись на Таити, он, видимо, сразу почувствовал себя дома. Стрикленд поселился у туземцев в маленьком домишке за городом.

По словам Тиаре, он как-то сказал ей:

— Я мыл палубу, и вдруг один матрос говорит мне: «Вот и пришли!» Я поднял глаза, увидел очертания острова и мигом понял— это то самое место, которое я искал всю жизнь. Когда мы подошли ближе, мне показалось, что я узнаю его. Мне и теперь случается видеть уголки, как будто давно знакомые. Я готов голову дать на отсечение, что когда-то уже жил здесь.

— Это случается,— заметила Тиаре,— я знавала людей, которые сходили на берег на несколько часов, покуда пароход грузится, и никогда не возвращались домой. А другие приезжали сюда служить на один год и всячески поносили Таити, потом они уезжали и клялись,

что лучше повесятся, чем снова приедут сюда. А через несколько месяцев мы снова встречали их на пристани, и они говорили, что уже нигде больше не находят себе места.

Глава пятидесятая

Мне думается, что есть люди, которые родились не там, где им следовало родиться. Случайность забросила их в тот или иной край, но они всю жизнь мучаются тоской по неведомой отчизне. Они чужие в родных местах, и тенистые аллеи, знакомые им с детства, равно как и людные улицы, на которых они играли, остаются для них лишь станцией на пути. Чужаками живут они среди родичей; чужаками остаются в родных краях. Может быть, эта отчужденность и толкает их вдаль, на поиски чего-то постоянного, чего-то, что сможет привязать их к себе. Может быть, какой-то глубоко скрытый атавизм гонит этих вечных странников в края, оставленные их предками давно-давно, в доисторические времена. Случается, что человек вдруг ступает на ту землю, к которой он привязан таинственными узами. Вот наконец дом, который он искал, его тянет осесть среди природы, ранее им не виданной, среди людей, ранее не знаемых, с такой силой, точно это и есть его отчизна. Здесь, и только здесь, он находит покой.

Я рассказал Тиаре историю одного человека, с которым я познакомился в лондонской больнице Святого Фомы. Это был еврей по имени Абрагам, белокурый, плотный молодой человек, нрава робкого и скромного, но на редкость одаренный. Институт дал ему стипендию, и за пять лет учения он неизменно оставался лучшим студентом. После окончания медицинского факультета Абрагам был оставлен при больнице как хирург и терапевт. Блистательные его таланты признавались всеми. Вскоре он получил постоянную должность, будущее его было обеспечено. Если вообще можно что-нибудь с уверенностью предрекать человеку, то уж Абрагаму, конечно, можно было предречь самую блестящую карьеру. Его ждали почет и богатство. Прежде чем приступить к своим новым обязанностям, он решил взять отпуск, а так как денег у него не было, то он поступил врачом на пароход, отправлявшийся в Ливан; там не очень-то нуждались в судовом враче, но один из

главных хирургов больницы был знаком с директором пароходной линии—словом, все отлично устроилось.

Через месяц или полтора Абрагам прислал в дирекцию письмо, в котором сообщал, что никогда не вернется в больницу. Это вызвало величайшее удивление и множество самых странных слухов. Когда человек совершает какой-нибудь неожиданный поступок, таковой обычно приписывают недостойным мотивам. Но очень скоро нашелся врач, готовый занять место Абрагама, и об Абрагаме забыли. О нем не было ни слуху ни духу.

Лет примерно через десять, когда экскурсионный пароход, на котором я находился, вошел в гавань Александрии, мне вместе с другими пассажирами пришлось подвергнуться врачебному осмотру. Врач был толстый мужчина в потрепанном костюме; когда он снял шляпу, я заметил, что у него совершенно голый череп. Мне показалось, что я с ним где-то встречался. И вдруг меня осенило.

— Абрагам,—сказал я.

Он в недоумении оглянулся, узнал меня, горячо потряс мне руку. После взаимных возгласов удивления, узнав, что я собираюсь заночевать в Александрии, он пригласил меня обедать в Английский клуб. Вечером, когда мы встретились за столиком, я спросил, как он сюда попал. Должность он занимал весьма скромную и явно находился в стесненных обстоятельствах. Абрагам рассказал мне свою историю. Уходя в плавание по Средиземному морю, он был уверен, что вернется в Лондон и приступит к работе в больнице Святого Фомы. Но в одно прекрасное утро его пароход подошел к Александрии, и Абрагам с палубы увидел город, сияющий белизной, и толпу на пристани; увидел туземцев в лохмотьях, суданских негров, шумливых, жестикулирующих итальянцев и греков, важных турок в фесках, яркое солнце и синее небо. Тут что-то случилось с ним, что именно, он не мог объяснить. «Это было как удар грома,—сказал он и, не удовлетворенный таким определением, добавил:—Как откровение». Сердце его сжалось, затем возликовало—и сладостное чувство освобождения пронзило Абрагама. Ему казалось, что здесь его родина, и он тотчас же решил до конца дней своих остаться в Александрии. На судне ему особых препятствий не чинили, и через двадцать четыре часа он со всеми своими пожитками сошел на берег.

— Капитан, верно, принял вас за сумасшедшего,— смеясь, сказал я.

— Мне было все равно, что обо мне думают. Это действовал не я, а какая-то необоримая сила во мне. Я решил отправиться в скромный греческий отель и вдруг понял, что знаю, где он находится. И правда, я прямо вышел к нему и тотчас же его узнал.

— Вы бывали раньше в Александрии?

— Я до этого никогда не выезжал из Англии.

Он скоро поступил на государственную службу в Александрии, да так и остался на этой должности.

— Жалели вы когда-нибудь о своем поступке?

— Никогда, ни на одну минуту. Я зарабатываю достаточно, чтобы существовать, и я доволен. Я ничего больше не прошу у судьбы до самой смерти. И, умирая, скажу, что прекрасно прожил жизнь.

Я уехал из Александрии на следующий день и больше не думал об Абрагаме; но не так давно мне довелось обедать с другим старым приятелем, тоже врачом, неким Алеком Кармайклом, очень и очень преуспевшим в Англии. Я столкнулся с ним на улице и поспешил поздравить его с титулом баронета, который был ему пожалован за выдающиеся заслуги во время войны. В память прошлых дней мы сговорились пообедать и провести вечер вместе, причем он предложил никого больше не звать, чтобы всласть наговориться. У него был великолепный дом на улице Королевы Анны, обставленный с большим вкусом. На стенах столовой я увидел прелестного Белотто и две картины Зоффаниса, возбудившие во мне легкую зависть. Когда его жена, высокая красивая женщина в платье из золотой парчи, оставила нас вдвоем, я, смеясь, указал ему на перемены, происшедшие в его жизни с тех пор, как мы были студентами-медиками. В те времена мы считали непозволительной роскошью обед в захудалом итальянском ресторанчике на Вестминстер Бридж-роуд. Теперь Алек Кармайкл состоял в штате нескольких больниц и, надо думать, зарабатывал в год не менее десяти тысяч фунтов, а титул баронета был только первой из тех почетных наград, которые, несомненно, его ожидали.

— Да, мне жаловаться грех,— сказал он,— но самое странное, что всем этим я обязан счастливой случайности.

— Что ты имеешь в виду?

— Помнишь Абрагама? Вот перед кем открывалось блестящее будущее. В студенческие годы он во всем меня опережал. Ему доставались все награды и стипендии, на которые я метил. При нем я всегда играл вторую скрипку. Не уйди он из больницы; и он, а не я, занимал бы теперь это видное положение. Абрагам был гениальным хирургом. Никто не мог состязаться с ним. Когда его взяли в штат Святого Фомы, у меня не было никаких шансов остаться при больнице. Я бы сделался просто практикующим врачом без всякой надежды выбиться на дорогу. Но Абрагам ушел, и его место досталось мне. Это была первая удача.

— Да, ты, пожалуй, прав.

— Счастливый случай. Абрагам — чужак. Он совсем опустился, бедняга. Служит чем-то вроде санитарного врача в Александрии и зарабатывает гроши. Я слышал, что он живет с уродливой старой гречанкой, которая наплодила ему с полдюжины золотушных ребятишек. Да, ума и способностей еще недостаточно. Характер — вот самое важное. Абрагам был бесхарактерный человек.

Характер? А я-то думал, надо иметь очень сильный характер, чтобы после получасового размышления поставить крест на блестящей карьере только потому, что тебе открылся иной жизненный путь, более осмысленный и значительный. И какой же нужен характер, чтобы никогда не пожалеть об этом внезапном шаге! Но я не стал спорить, а мой приятель задумчиво продолжал:

— Конечно, с моей стороны было бы лицемерием делать вид, будто я жалею, что Абрагам так поступил. Я-то ведь на этом немало выиграл. — Он с удовольствием затянулся дорогой сигарой. — Но не будь у меня тут личной заинтересованности, я бы пожалел, что даром пропал такой талант. Черт знает что, и надо же так исковеркать себе жизнь!

Я усомнился в том, что Абрагам исковеркал себе жизнь. Разве делать то, к чему у тебя лежит душа, жить так, как ты хочешь жить, и не знать внутреннего разлада — значит исковеркать себе жизнь? И такое ли уж это счастье быть видным хирургом, зарабатывать десять тысяч фунтов в год и иметь красавицу жену? Мне думается, все определяется тем, чего ищешь в жизни, и еще тем, что ты спрашиваешь с себя и с других. Но я опять придержал язык, ибо кто я, чтобы спорить с баронетом?

Глава пятьдесят первая

Когда я рассказал эту историю Тиаре, она похвалила меня за сдержанность, и последующие несколько минут мы работали молча — лущили горох. Но затем ее взгляд, всегда бдительный в кухонных делах, отметил какое-то упущение повара-китайца, вызвавшее в ней бурю негодования. Она излила на него целый поток брани. Китаец не остался в долгу, и разгорелась отчаянная перепалка. Они кричали на туземном языке — я знал на нем не больше десятка слов, — и так, что казалось, вот-вот начнется светопреставление; но мир внезапно был восстановлен, и Тиаре протянула повару сигарету. Они оба спокойно закурили.

— А вы знаете, что это я нашла ему жену? — вдруг сказала Тиаре, и все ее необъятное лицо расплылось в улыбке.

— Повару?

— Нет, Стрикленду.

— Но он был женат.

— Он мне так и сказал, но я отвечала, что та жена в Англии, а Англия на другом конце света.

— Это верно, — согласился я.

— Он появлялся в Папееде каждые два или три месяца — словом, когда ему нужны были краски, табак и деньги, и бродил по улицам, точно бездомный пес. Я очень его жалела. У меня здесь была горничная девушка, ее звали Ата, моя дальняя родственница; родители у нее умерли, и я взяла ее жить к себе. Стрикленд иногда к нам заходил — хорошенько пообедать или сыграть с боем в шахматы. Я заметила, что она на него поглядывает, и спросила, нравится ли он ей. Она сказала, что очень даже нравится. Вы же знаете этих девчонок, они всегда готовы пойти за белым человеком.

— Разве она была туземка? — спросил я.

— Да, чистокровная туземка. Так вот, после разговора с ней я послала за Стриклендом и сказала ему: «Пора тебе остепениться, Стрикленд. В твоём возрасте уже не пристало возиться с девчонками на набережной. Это дрянные девчонки, и ничего хорошего от них ждать не приходится. Денег у тебя нет, и ни на одной службе ты больше двух месяцев не продержался. Теперь тебя уже никто не возьмет на работу. Ты говоришь, что можешь просуществовать, живя в лесу то с одной, то с другой из

местных женщин, благо они так охочи до белых мужчин, но это-то как раз белому мужчине и не подобает. А теперь слушай меня внимательно. Стрикленд...

Тиаре мешала французские слова с английскими, ибо одинаково бегло говорила на обоих языках, хотя и с певучим акцентом, не лишенным приятности. Слушая Тиаре, я думал, что так, наверно, говорила бы птица, умей она говорить по-английски.

— Как ты насчет того, чтобы жениться на Ате? Она хорошая девочка, и ей всего семнадцать лет. Она привередница, не чета другим нашим девчонкам; капитан или первый помощник, ну это еще куда ни шло, но ни один туземец к ней не прикасался. *Elle se respecte, vois-tu*¹. Эконом с «Оаху», когда был здесь в последний раз, сказал, что не видел на островах девушки красивее Аты. Ей пора обзавестись семьей, а кроме того, капитаны и первые помощники тоже ведь любят разнообразие. Я у себя долго девушек не держу. У Аты есть клочок земли возле Таравао, у самого въезда на мыс, и при нынешних ценах на копру вы вполне проживете. Там есть дом, и ты будешь писать картины сколько твоей душе угодно. Ну как? — Тиаре перевела дыхание.

— Вот тогда он мне и сказал про свою жену в Англии. «Бедный мой Стрикленд,— отвечала я,— у каждого мужчины где-нибудь есть жена, поэтому они и бегут к нам на острова. Ата — разумная девушка, и ей не нужны церемонии у мэра. Она протестантка, а протестанты, как тебе известно, смотрят на все это иначе, чем католики». Тут он сказал: «А что думает сама Ата?» — «Ата, по-моему, к тебе равнодушна,— заметила я.— За ней дело не станет. Позвать ее?» Он фыркнул как-то отрывисто и сердито, у него была такая манера, и я позвала Ату. Она знала, о чем я говорю с ним, плутовка; я краешком глаза видела, что она подслушивает, хотя она и делала вид, что гладит мою блузку. Ата подошла; она смеялась и немножко робела. Стрикленд, ни слова не говоря, смотрел на нее.

— Она была хорошенькая? — спросил я.

— Недурна. Да вы, наверно, видели ее на картинах. Стрикленд без конца ее писал, иногда в парео, а иногда и совсем голую. Да, она была очень недурна. И стряпать умела хорошо. Я сама ее выучила. Я вижу, что Стрик-

¹ Она себя уважает (франц.).

ленд задумался, и говорю: «Ата получала у меня хорошее жалованье и принакопила деньжат, да еще капитаны и первые помощники иной раз давали ей, у нее теперь не одна сотня франков». Он потеревил свою рыжую бороду и улыбнулся. «Ну как, Ата,—сказал он,—гожусь я тебе в мужья?» Она ничего не отвечала, только хихикнула. «Я же говорю, милый мой Стрикленд, что девочка к тебе равнодушна»,—настаивала я. «Я буду бить тебя»,—сказал Стрикленд, глядя на Ату. «А как иначе я узнаю, что ты меня любишь?»—ответила она.

Тиаре прервала свой рассказ, задумалась и потом сказала:

— Мой первый муж, капитан Джонсон, постоянно колотил меня. Он был настоящий мужчина. Красавец собой, высокий—шесть футов три дюйма, и пьяный никакого удержу не знал. В такие дни я ходила вся в синяках и кровоподтеках. Ох, как я плакала, когда он умер. Думала, что не переживу его. Но по-настоящему я узнала цену своей потере, только выйдя замуж за Джорджа Рейни. Чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. В жизни у меня не было большего разочарования. Рейни тоже был видный мужчина. Ростом чуть пониже капитана Джонсона и с виду крепкий. Но только с виду. Спиртного он в рот не брал. Ни разу меня не ударил. Ему бы быть миссионером. Я крутила романы с офицерами всех судов, которые входили в нашу гавань, а Джордж Рейни ничего не замечал. Под конец мне стало невтерпеж, и я развелась с ним. Зачем нужен такой муж? Ужас, как некоторые мужчины обращаются с женщинами.

Я повздыхал вместе с Тиаре, прочувствованно заметил, что мужчины спокон веков были обманщиками, и попросил продолжать рассказ о Стрикленде.

— «Ладно,—сказала я ему,—спешить некуда. Обдумай все хорошенько. У Аты чудная комнатка во флигеле. Поживи с ней хотя бы месяц и проверь, понравится ли она тебе. Столоваться можешь у меня. А через месяц, если решишь жениться на ней, прямо переезжайте в ее дом и устраивайтесь». Он согласился. Ата продолжала работать по дому, а он ел у меня, как я и обещала. Кроме того, я научила Ату готовить несколько блюд, которые он любил. Писал он в то время мало, больше бродил по горам и купался. Часто сидел на берегу, не сводя глаз с

лагуны, а под вечер ходил смотреть на остров Муреа или ловил рыбу. Любил он еще шататься в гавани и болтать с туземцами. Да, Стрикленд был славный, тихий малый. Каждый вечер после обеда они с Атой уходили во флигель. Я видела, что его уже тянет в лес, и в конце месяца спросила, на что он решился. Он отвечал, что если Ата согласна, он готов уйти с ней. Я устроила им свадебный обед, своими руками приготовила гороховый суп, омара *à la portugaise*¹, кэрри и салат из кокосовых орехов,—кстати, вы, кажется, еще не пробовали у меня этого салата? Обязательно надо угостить вас, пока вы здесь,—и на сладкое я подала им мороженое. А сколько мы выпили шампанского и потом еще ликеров! Я уж решила устроить пир на славу. После обеда мы танцевали в гостиной. Я еще так не разжирела тогда и до смерти любила танцевать.

Роль гостиной в отеле «Де ла Флёр» выполняла небольшая комната со старым пианино и аккуратно расставленной вдоль стен мебелью красного дерева, обитой тисненым бархатом. На круглых столиках лежали альбомы фотографий, а стены были украшены увеличенными фотографическими портретами Тиаре и ее первого мужа, капитана Джонсона. И хотя Тиаре была уже стара и толста, мы как-то раз скатали брюссельский ковер, позвали девушек, кое-кого из друзей Тиаре и устроили танцы, правда, теперь под визгливые звуки граммофона. На веранде воздух был пропитан приятным ароматом Тиаре, и над нашими головами в безоблачном небе сиял Южный Крест.

Тиаре снисходительно улыбалась, вспоминая былое веселье.

— Мы танцевали до трех часов,—продолжала она свой рассказ,—и спать пошли еще очень нетрезвые. Я сказала молодым, чтоб они, пока есть дорога, ехали на моей двуколке, дальше им надо было большой путь пройти пешком. Участок Аты находился далеко в горах, в ущелье. Они выехали на рассвете, и бой, которого я послала с ними, вернулся только на следующий день.

Да, так вот женился Стрикленд.

¹ По-португальски (франц.).

Глава пятьдесят вторая

Следующие три года были, наверно, самыми счастливыми в жизни Стрикленда. Домик Аты стоял в восьми километрах от большой дороги, опоясывавшей остров, и добираться к нему надо было по извилистой тропинке, осененной кронами пышных тропических деревьев. В этом бунгало из некрашеного дерева было всего две комнатки, рядом под навесом была устроена кухня. Все убранство дома состояло из нескольких циновок, служивших постелями, да качалки на веранде. Банановые пальмы с огромными, растрепанными листьями, что похожи на изодранную одежду императрицы в изгнании, толпились вокруг. Было там еще и грушевое дерево, и множество кокосовых пальм: кокосовые орехи — главный доход этих краев. Отец Аты насадил вокруг своего участка кротоновые кусты, и они росли теперь в буйном изобилии, словно ограда из веселых праздничных огней. Перед домом высилось манговое дерево, а по краям рощи багряные цветы двух сросшихся тамариндов спорили с золотом кокосовых орехов.

Здесь жил Стрикленд, кормясь тем, что давала земля, и лишь изредка наведывался в Папезте. Возле дома его и Аты протекала речка, в которой он купался. Случалось, что в нее заходили косяки морской рыбы. Тогда туземцы сбегались на берег, вооруженные острогами, и с шумом и криком вонзали их в огромных испуганных рыб, беспорядочно стремившихся назад, в море. Иногда Стрикленд ходил на мыс; он возвращался оттуда с омаром или с полной корзиной пестроперых рыбок, которых Ата жарила в кокосовом масле. Она стряпала еще и лакомое кушанье из крупных земляных крабов, то и дело попадающихся под ноги в тех краях. В горах росли дикие апельсины, и Ата время от времени отправлялась туда с несколькими женщинами из соседней деревушки и приходила домой, сгибаясь под тяжестью зеленых, сладких, пахучих плодов. Когда поспевали кокосовые орехи, родичи Аты (у нее, как и у всех туземцев, была пропасть родни) взбирались на деревья и сбрасывали вниз огромные зрелые плоды. Они вскрывали их и раскладывали на солнце сушиться. Затем вырезали копру и набивали ею мешки, женщины взваливали их на себя и несли к скупщику, в деревню у лагуны; в обмен

они получали рис, мыло, мясные консервы и немножко денег. В деревне по случаю праздника изредка закалывали свинью, тогда гости и хозяева наедались до тошноты, плясали и распевали религиозные песнопения.

Но дом Аты стоял на отшибе, а таитяне ленивы. Они любят кататься, любят судачить, но ходить пешком — это не для них; Стрикленд и Ата месяцами жили в полном одиночестве. Он писал картины, читал, а когда становилось темно, они сидели на веранде, курили и вглядывались в ночь. Потом у Аты родился ребенок, и бабка, принимавшая его, осталась жить у них. Вскоре к бабке явилась ее внучка, а вслед за ней какой-то юнец — никто толком не знал, чей он и откуда, — но он тоже, не чинясь, поселился в доме. И все они зажили вместе.

Глава пятьдесят третья

— Tenez, voilà le Capitaine Brunot¹, — сказала однажды Тиаре, когда я пытался придать слитность тому, что она рассказала мне о Стрикленде. — Он хорошо знал Стрикленда и бывал у него в доме.

Передо мной стоял француз, уже в летах, с окладистой черной бородой, в которой виднелась проседь, с загорелым лицом и большими блестящими глазами. Одет он был в белоснежный полотняный костюм. Я обратил на него внимание еще за завтраком, и А-лин, китаец-бой, сказал мне, что он прибыл сегодня с пароходом из Паумоту. Тиаре познакомила нас, и он вручил мне визитную карточку, на которой стояло: «Рене Брюно» и пониже: «Капитан дальнего плавания». Мы сидели на маленькой веранде возле кухни, и Тиаре занималась кройкой платья для одной из горничных девушек. Капитан подсел к нам.

— Да, я был хорошо знаком со Стриклендом, — сказал он. — Я большой любитель шахмат, а Стрикленд всегда охотно играл. Я приезжал на Таити по делам раза три-четыре в год, и если мне удавалось застать его в Папезте, мы приходили играть в отель «Де ла Флёр». Когда он женился, — капитан Брюно с улыбкой пожал плечами, — enfin², когда он стал жить с девушкой,

¹ А вот и капитан Брюно (франц.).

² Здесь: то есть, словом (франц.).

которую ему подсунула Тиаре, он позвал меня к себе. Я был гостем у него на свадьбе.— Капитан взглянул на Тиаре, и они оба рассмеялись.— Приблизительно через год, зачем и почему уж не помню, я очутился в той части острова. Покончив с делами, я сказал себе: «*Voyons*, почему бы мне не навестить беднягу Стрикленда?» Я стал расспрашивать туземцев, не знают ли они чего о нем, и выяснил, что он живет в каких-нибудь пяти километрах от того места, где я был. Ну, я и отправился к нему. Никогда мне не забыть этого посещения. Я живу на атолле — это низкая полоска земли, которая окружает лагуну, и красота там значит — море и небо, изменчивые краски лагуны и стройность кокосовых пальм. Но место, где жил Стрикленд,—поистине то были райские кущи. Ах, если бы я мог описать всю прелесть этого уголка, спрятанного от мира, синее небо и пышно разросшиеся деревья! Это было какое-то пиршество красок. Воздух благоухающий и прохладный. Нет, словами нельзя описать этот рай. И там он жил, не думая о мире и миром забытый. На европейский глаз все это, наверно, выглядело убого. Дом полуразрушенный и не слишком чистый. Когда я пришел, на веранде валялись несколько туземцев. Вы же знаете, они народ общительный. Один малый лежал, вытянувшись во весь рост, и курил, на нем не было ничего, кроме парео. (Парео — это длинный лоскут красного или синего ситца с белым узором. Туземцы обвязывают его вокруг бедер так, что впереди он спускается до колен.) Девушка лет пятнадцати плела шляпу из листьев пандануса,— продолжал капитан Брюно,—какая-то старуха, сидя на корточках, курила трубку. Затем я увидел Ату. Она кормила грудью новорожденного, другой ребенок, совершенно голый, играл у ее ног. Увидев меня, она крикнула Стрикленда, и он появился в дверях. На нем тоже не было ничего, кроме парео. Право же, мне не забыть эту фигуру: всклокоченные волосы, рыжая борода, широкая волосатая грудь. Ноги у него были сбитые, все в мозолях и царапинах: я понял, что он всегда ходит босиком. Он стал настоящим туземцем. Мне он, по-видимому, обрадовался и тотчас же велел Ате зарезать к обеду цыпленка. Затем он потащил меня в дом показывать картину, над которой сейчас работал. В углу комнаты была навалена куча циновок, посредине стоял мольберт и на нем холст. Мне было жалко Стрикленда, и я купил у него по дешевке

несколько картин для себя и для своих друзей во Франции. И хотя покупал я эти картины просто из сострадания, но постепенно полюбил их. Честное слово, мне в них виделась какая-то странная красота. Все считали меня сумасшедшим, а вот вышло-то, что я был прав. Я был первым его поклонником на островах.

Он бросил злорадный взгляд на Тиаре, которая снова, охая и ахая, принялась рассказывать о том, как на распродаже стриклендова имущества она не обратила внимания на картины, а купила американскую печку за двадцать семь франков.

— И эти картины еще у вас? — любопытствовал я.

— Да, я держу их, покуда моя дочь не станет невестой. Тогда я их продам, а деньги пойдут ей в приданое.

Затем он продолжил рассказ о своем посещении Стрикленда.

— Никогда я не забуду этого вечера. Я думал пробить у него не больше часа, но он настойчиво просил меня остаться ночевать. Я колебался, мне, признаться, не очень-то нравился вид циновок, на которых мне предлагалось спать, но в конце концов согласился. Когда я строил себе дом на Паумоту, я месяцами спал на худшей постели, и над головой у меня были только ветки тропического кустарника; что же касается насекомых, то кожа у меня толстая и укусов не боится. Мы пошли на реку купаться, покуда Ата стряпала обед, а пообедав, сидели на веранде. Курили и болтали. Туземный юнец играл на концертино песенки, певшиеся в мюзик-холлах лет десять назад. Странно они звучали среди тропической ночи, за тысячи миль от цивилизованного мира. Я спросил Стрикленда, не тяготит ли его жизнь в глуши, среди всего этого народа. Нет, сказал он; ему удобно иметь модели под рукой. Вскоре туземцы, громко зевая, ушли спать, а мы с ним остались одни. Не знаю, как описать непроницаемую тишину этой ночи. На моем острове никогда не бывает такой полной тишины. У моря там стоит шорох мириадов живых существ, и крабы, шурша, копошатся в песке. По временам слышно, как где-то в лагуне прыгнула рыба или вдруг доносятся торопливые громкие всплески,—это рыбы спасаются бегством от акулы. И надо всем этим — извечный глухой шум прибоя. Но здесь ничто, ничто не нарушало тишины, и воздух был напоен ароматом белых ночных цветов. Так дивно хороша была эта ночь, что душа,

казалось, не могла больше оставаться в темнице тела. Вы ясно чувствовали: вот-вот она унесется в горние страны, и даже смерть принимала здесь обличье друга.

Тиаре вздохнула.

— Ах, если бы мне было пятнадцать лет!

Тут она увидела кошку, крадущуюся к блюду с креветками на кухонном столе, проворно запустила книжкой ей вдогонку да еще излила на негодницу целый поток брани.

— Я спросил его, счастлив ли он с Атой. «Ата не пристаёт ко мне,— отвечал Стрикленд.— Она готовит мне пищу и смотрит за своими детьми. Она делает все, что я ей велю. И дает мне то, что я спрашиваю с женщины».— «И вы никогда не жалеете о Европе? Не скучаете по огням парижских или лондонских улиц, по друзьям, по людям, вам равным, или...— *que sais-je*¹ — по театрам, газетам? Не хотите снова услышать, как омнибусы грохочут по булыжной мостовой?» Он долго молчал, потом ответил: «Я останусь здесь до самой смерти».— «Но неужто вам не бывает тоскливо, одиноко?» Он фыркнул: «*Mon pauvre ami*², вы, видно, не понимаете, что такое художник».

Капитан Брюно мягко улыбнулся, и в его темных, добрых глазах появилось странное выражение.

— Стрикленд был несправедлив ко мне: я знаю, что такое мечты. И мне являлись видения. По-своему, и я художник.

Мы умолкли, а Тиаре вытащила из своего объемистого кармана пачку папирос, дала нам по одной, и мы все трое закурили. Наконец Тиаре прервала молчание:

— Раз уж *monsieur* так интересуется Стриклендом, почему бы вам не свести его к доктору Кутра? Доктор мог бы рассказать кое-что о его болезни и смерти.

— *Volontiers*³,— отвечал капитан, глядя на меня.

Я поблагодарил. Он вынул часы.

— Уже седьмой. Мы застанем его дома, если пойдем сейчас же.

Я встал без дальнейших церемоний, и мы двинулись по дороге к докторскому дому. Он жил в предместье, но так как и отель «Де ла Флёр» находился на окраине, то

¹ Да мало ли (франц.).

² Мой бедный друг (франц.).

³ С удовольствием (франц.).

мы быстро вышли за город. Широкую дорогу осеняли перечные деревья, по обе ее стороны простирались плантации кокосовых пальм и ванили. Птицы-пираты чирикали среди пальмовых листьев. Проходя по каменному мосту, переброшенному через мелководную реку, мы остановились посмотреть на купающихся мальчишек. Они гонялись друг за дружкой, пронзительно крича и смеясь, их мокрые коричневые тела блестели на солнце.

Глава пятьдесят четвертая

Покуда мы шли, я думал о том, что в последнее время, когда я столько слышал о Стрикленде, невольно привлекло мое внимание. На этом далеком острове к нему, видимо, относились не с озлоблением, как в Англии, но, напротив, сочувственно и охотно мирились со всеми его выходками. Эти люди — туземцы и европейцы — считали его чужаком, но чужаки были им не внове. Они считали вполне естественным, что мир полон странных людей, которые совершают странные поступки. Они понимали, что человек не то, чем он хочет быть, но то, чем не может не быть. В Англии и во Франции Стрикленд был не к месту, а здесь находилось место для самых различных людей, не подходящих ни под какую мерку. Не то чтобы он на Таити стал добр, менее эгоистичен и груб, но оказался в условиях более благоприятных. Если бы он прожил здесь всю жизнь, то и считался бы не хуже людей. Здесь он получил то, чего не хотел, да и не ждал, от своих соотечественников, — доброжелательное отношение.

Я попытался объяснить капитану Брюно, почему все это удивляло меня, и он минуту-другую молчал.

— Ничего нет удивительного, — сказал он наконец, — что я доброжелательно относился к Стрикленду, ведь у нас, хотя мы, быть может, и не подозревали об этом, были общие стремления.

— Какое же, скажите на милость, могло быть общее стремление у столь различных людей, как вы и Стрикленд? — улыбаясь, спросил я.

— Красота.

— Понятие довольно широкое, — пробормотал я.

— Вы ведь знаете, что люди, одержимые любовью, становятся слепы и глухи ко всему на свете, кроме своей любви. Они так же не принадлежат себе, как рабы, прикованные к скамьям на галере. Стриклендом владела страсть, которая его тиранила не меньше, чем любовь.

— Как странно, что вы это говорите! — воскликнул я. — Я давно думал, что Стрикленд был одержим бесом.

— Его страсть была — создать красоту. Она не давала ему покоя. Гнала из страны в страну. Демон в нем был беспощаден — и Стрикленд стал вечным странником, его терзала божественная ностальгия. Есть люди, которые жаждут правды так страстно, что готовы расшатать устои мира, лишь бы добиться ее. Таков был и Стрикленд, только правду ему заменяла красота. Я чувствовал к нему лишь глубокое сострадание.

— И это тоже странно. Человек, которого Стрикленд жестоко оскорбил, однажды сказал мне, что чувствует к нему глубокую жалость. — Я немного помолчал. — Неужели вы и впрямь нашли объяснение человеку, который всегда казался мне непостижимым? Как вам пришло это в голову?

Он с улыбкой повернулся ко мне.

— Разве я вам не говорил, что и я, на свой лад, был художником? Меня снедало то же желание, что и Стрикленда. Но для него средством выражения была живопись, а для меня сама жизнь.

И капитан Брюно рассказал мне историю, которую я должен повторить на этих страницах, ибо она, хотя бы по контрасту, кое-что добавляет к моему представлению о Стрикленде. Для меня лично она имеет еще и собственную прелесть.

Капитан Брюно, бретонец по рождению, служил во французском флоте. Женившись, он вышел в отставку и поселился в своем имении, под Кампе, чтобы в тиши и покое прожить остаток своих дней, но из-за внезапного банкротства нотариуса, который вел его дела, остался без гроша. Ни капитан Брюно, ни его жена не пожелали жить нищими там, где недавно занимали видное положение в обществе. В свое время капитан плавал в Южных морях и теперь решил там искать счастья.

Несколько месяцев он прожил в Папезте, чтобы оглядеться и набраться опыта; затем на деньги, взятые займы у одного друга во Франции, купил островок из

группы Паумоту. Это была узкая полоска земли вокруг глубокой лагуны, необитаемая и заросшая кустарником да дикой гуавой. Вместе с бесстрашной молодой женщиной, своею женой, и несколькими туземцами он посадил на этот островок и принялся за постройку дома и расчистку земли под плантацию кокосовых пальм. Это было двадцать лет назад, а теперь бесплодный остров стал цветущим садом.

— Раньше это был адский труд, и мы с женой выбивались из сил. Я вставал на заре и корчевал, строил, сажал, а ночью бросался на постель и засыпал как убитый. Моя жена работала наравне со мной. Потом у нас родились дети, сын и дочь. Мы с женой обучали их всему, что знали сами. Я выписал пианино из Франции, и она стала учить их музыке и английскому языку, а я — латыни и математике. Мы все вместе читали книги по истории. Мои дети умеют управлять парусом. Плавают не хуже туземцев. Знают все о здешних краях. Деревья на моей плантации приносят щедрый урожай, и в лагуне есть перламутр. Сейчас я приехал на Таити покупать шхуну. Я могу добыть столько перламутра, что это не будет напрасным расходом, и кто знает, не удастся ли мне найти жемчуг. Там, где ничего не было, теперь все цветет. Я тоже создал красоту. Ах, вы не понимаете, что значит смотреть на высокие, крепкие деревья и думать: каждое посажено моими руками!

— Позвольте мне задать вам вопрос, который вы некогда задали Стрикленду. Неужели вы никогда не жалеете о Франции и своем старом доме в Бретани?

— Со временем, когда наша дочь выйдет замуж, а сын женится и сможет заменить меня на острове, мы с женой вернемся на родину и кончим свои дни в старом доме, где я родился.

— Вспоминая о счастливо прожитой жизни, — заметил я.

— Evidemment¹, на моем острове нет развлечений. Мы живем вдали от мира, ведь нам нужно четыре дня, чтобы добраться даже до Таити, — но мы счастливы. Мало кому дано начать работу и завершить ее. Наша жизнь простая и чистая. Мы не знаем честолюбия и гордимся только одним: тем, что пожинаем плоды своих

¹ Разумеется (франц.).

трудов. Ни злоба ни зависть не мучают нас. Ах, mon cher monsieur¹, я часто слышал разговоры о благодати труда, обычно это только пустые фразы, но для меня они полны глубочайшего смысла. Я счастливый человек.

— И вы, безусловно, это заслужили,— улыбаясь, заметил я.

— Я хотел бы так думать. Но я и сам не знаю, чем я заслужил такую жену — друга, помощницу, прекрасную возлюбленную и прекрасную мать моих детей.

Я задумался над тем, что рассказал мне капитан Брюно.

— Для того чтобы вести такую суровую жизнь и добиться такого большого успеха, вам обоим надо было обладать сильной волей и решительным характером.

— Возможно, но к этому добавилось еще и другое, иначе мы бы ничего не достигли.

— Что же именно?

Он остановился и несколько театральным жестом вытянул руку.

— Вера в бога. Без нее нам бы пропасть...

Мы как раз подошли к дому доктора Кутра.

Глава пятьдесят пятая

Доктор Кутра был старый француз, огромного роста и очень толстый. Фигура его напоминала гигантское утиное яйцо, а глаза, пронзительные, голубые и добродушные, частенько с самодовольным выражением уставлялись на его громадное брюхо. Лицо у него было румяное, волосы седые. Такие люди, как он, с первого взгляда внушают симпатию. Доктор Кутра принял нас в комнате, какую можно увидеть в любом доме провинциального французского городка; две-три полинезийские редкости странно выглядели в ней. Он потряс мою руку обеими руками — кстати сказать, огромными — и посмотрел на меня дружелюбным, хотя и очень хитрым взглядом. Здороваясь с капитаном Брюно, он учтиво осведомился о супруге и детках. Несколько минут они обменивались любезностями, затем немного посплетничали, обсудили виды на урожай копры и ванили и наконец перешли к цели моего визита.

¹ Здесь: дорогой мой (франц.).

Я перескажу своими словами то, что узнал от доктора Кутра, так как мне все равно не воссоздать его живого, образного рассказа. У доктора был низкий, звучный голос, вполне соответствовавший его мощному облику, и безусловный актерский талант. Слушать его было интереснее, чем сидеть в театре.

Как-то раз доктору Кутра пришлось поехать в Таравао к захворавшей правительнице племени; он живо описал, как эта тучная старуха возлежала на огромной кровати, куря папиросы, а вокруг нее суежилась толпа темнокожих приближенных. После того как он ее осмотрел, его пригласили в другую комнату и стали потчевать обедом: сырой рыбой, жареными бананами, цыплятами — *que sais-je*¹, излюбленными кушаньями туземцев, — и за едой он заметил заплаканную молодую девушку, которую гнали прочь от двери. Он не обратил на это особого внимания, но, когда вышел садиться в свою двуколку, чтобы ехать домой, опять увидел ее; она стояла в сторонке, и слезы градом лились по ее щекам. Он спросил какого-то малого, почему она плачет, и в ответ услышал, что она пришла с гор звать его к белому человеку, который тяжело заболел. А ей сказали, что доктора нельзя беспокоить. Тогда он подозвал девушку и спросил, чего она хочет. Она ответила, что ее послала Ата, которая раньше служила в отеле «Де ла Флёр», и что Красный болен. Девушка сунула ему в руку измятый кусок газеты, в котором оказался стофранковый билет.

— Кто такой Красный? — спросил доктор у кого-то из туземцев.

Ему объяснили, что так называют англичанина, художника, который живет с Атой в долине, километрах в семи отсюда. По описанию он узнал Стрикленда. Но в долину можно добраться только пешком, а доктору ходить пешком не подобает, поэтому-то они и отгоняли от него девушку.

— Признаюсь, — сказал доктор Кутра, обернувшись ко мне, — что меня взяло сомнение. Отмахать четырнадцать километров по горной тропинке — не слишком большое удовольствие, да и ночевать домой уж не попадешь. Вдобавок Стрикленд был мне не по нутру. Тунядец, который предпочитал жить с туземкой, чем

¹ Здесь: да мало ли чем еще (франц.).

зарабатывать свой хлеб, как все мы, грешные. Mon Dieu¹, ну откуда мне было знать, что со временем весь мир признает его гением? Я спросил девушку, неужто он так болен, что не может сам прийти ко мне. И еще спросил, что с ним такое. Она молчала. Я настаивал, пожалуй, сердито, она опустила глаза и опять расплакалась. Я пожал плечами: в конце концов мой долг идти, и я пошел за ней в прескверном настроении.

Настроение доктора, конечно, не улучшилось, когда он наконец добрался до них, весь в поту и умирая от жажды. Ата дожидалась его и пошла по тропинке ему навстречу.

— Первым делом дайте мне пить,— закричал я,— не то я сдохну от жажды. Pour l'amour de Dieu², дайте кокосовый орех.

Она кликнула какого-то мальчишку, он примчался, влез на дерево и сбросил спелый орех. Ата проткнула дырку в скорлупе, и доктор жадно припал к освежающей струйке. Затем он свернул папиросу, и настроение его улучшилось.— Ну, где же ваш Красный?

— Он в доме, рисует картину. Я не сказала ему, что вы придете. Пожалуйста, взгляните на него.

— А на что он жалуется? Если он в состоянии работать, то мог бы сам прийти в Таравао и избавить меня от этой проклятой беготни. Я полагаю, что мое время не менее дорого, чем его.

Ата промолчала и вместе с мальчиком пошла за доктором к дому. Девушка, которая привела его, уже сидела на веранде: здесь же, у стены, лежала какая-то старуха и крутила папиросы на туземный манер.

Ата указала ему дверь. Доктор, сердясь на то, что все они так странно себя ведут, вошел и увидел Стрикленда, занятого чисткой палитры. Стрикленд в одном парео стоял спиной к двери возле мольберта с картиной. Он обернулся на шум шагов и бросил на доктора неприязненный взгляд. Он был удивлен и рассержен этим вторжением. Но у доктора перехватило дыхание, ноги его приросли к полу: он во все глаза смотрел на Стрикленда. Нет, этого он не ждал. Мороз пробежал у него по коже.

— Вы входите довольно бесцеремонно,— сказал Стрикленд.— Чем могу служить?

¹ Господи (франц.).

² Ради всего святого (франц.).

Доктор уже справился с собой, но голос не сразу вернулся к нему. Всю его злость как рукой сняло, и он почувствовал — *et bien, oui je ne le nie pas*¹, — как его захлестнула жалость.

— Я доктор Кутра. Я был в Таравао, у старой правительницы, и Ата послала туда за мной.

— Ата дура. У меня, правда, были какие-то боли в суставах и небольшая лихорадка, но это пустяки и скоро пройдет. Когда кто-нибудь пойдет в Папеете, я велю купить мне хины.

— Посмотрите на себя в зеркало.

Стрикленд взглянул на него, улыбнулся и подошел к дешевенькому зеркальцу в узкой деревянной рамке, висевшему на стене.

— Ну и что?

— Разве вы не замечаете перемены в вашем лице? Не замечаете, как утолстились ваши черты и стали походить... в книгах это называется львиный лик. *Моп раувге амі*, неужели мне надо сказать вам, какая у вас страшная болезнь?

— У меня?

— Посмотрите на себя еще раз, и вы увидите ее типичные признаки.

— Вы шутите, — сказал Стрикленд.

— Я был бы счастлив, если бы мог шутить.

— Вы хотите сказать, что у меня проказа?

— К несчастью, в этом нет сомнения.

Доктор Кутра многим объявлял смертный приговор, и все же не мог победить ужаса, который его при этом охватывал. Он всякий раз чувствовал, как яростно должен приговоренный ненавидеть его, доктора, цветущего, здорового, обладающего бесценным правом — жить. Стрикленд молча смотрел на него. Лицо его, уже обезображенное страшной болезнью, не выражало ни малейшего волнения.

— Они знают? — спросил он наконец, кивнув головою в сторону тех, что сидели на веранде в непривычном, странном молчании.

— Туземцы хорошо знают признаки этой болезни, — ответил доктор. — Они боялись сказать вам.

¹ Что ж, я этого не отрицаю (*франц.*).

Стрикленд шагнул к двери и выглянул. Наверно, страшное у него было лицо, потому что на веранде все разом завопили и запричитали, а потом разразились плачем. Стрикленд молчал. Посмотрев на них несколько секунд, он вернулся в комнату.

— Как долго я, по-вашему, могу протянуть?

— Кто знает? Иногда болезнь длится двадцать лет. Это счастье, если она протекает быстро.

Стрикленд подошел к мольберту и задумчиво посмотрел на картину.—Вы проделали нелегкий путь. По справедливости, тот, кто принес важные вести, должен быть вознагражден. Возьмите эту картину. Сейчас она ничего для вас не значит, но, возможно, когда-нибудь вы обрадуетесь, что она у вас есть.

Доктор Кутра протестовал. Ему не нужно никакой платы: стофранковый билет он уже успел вернуть Ате. Но Стрикленд настаивал. Затем они вместе вышли на веранду. Туземцы плакали в голос.

— Успокойся, женщина. Вытри слезы,—сказал Стрикленд Ате.—Тебе нечего бояться. Я очень скоро оставлю тебя.

— А тебя не отнимут у меня?

В те времена на островах еще не было закона об обязательной изоляции прокаженных; они могли оставаться на свободе.

— Я уйду в горы,—сказал Стрикленд.

Тогда Ата поднялась и посмотрела ему прямо в глаза.

— Пусть другие уходят, если хотят, я тебя не оставляю. Ты мой муж, а я твоя жена. Если ты уйдешь от меня, я повешусь вон на том дереве за домом. Богом клянусь тебе.

Она говорила грозно и властно. Это была уже не покорная робкая девушка-туземка, а женщина сильная и решительная. Она стала неузнаваемой.

— Зачем тебе оставаться со мной? Ты можешь вернуться в Папеэте, там ты скоро найдешь себе другого белого мужчину. Старуха присмотрит за твоими детьми, а Тиаре охотно возьмет тебя обратно.

— Ты мой муж, а я твоя жена. Где будешь ты, там буду и я.

На мгновение силы изменили Стрикленду; слезы выступили у него на глазах и медленно покатились по

щекам. Затем он опять улыбнулся обычной своей сардонической улыбкой.

— Удивительные существа эти женщины,— сказал он доктору.— Можно обращаться с ними хуже, чем с собакой, можно бить их, пока руки не заболят, а они все-таки любят вас.— Он пожал плечами.— Одна из нелепейших выдумок христианства—будто у них есть душа.

— Что ты говоришь доктору?— подозрительно спросила Ата.— Ты не уйдешь от меня?

— Если ты хочешь, я останусь с тобой, девочка.

Ата бросилась перед ним на колени, обхватила руками его ноги и поцеловала. Стрикленд смотрел на доктора Кутра со слабой улыбкой.

— В конце концов они покоряют вас, и вы беспомощны в их руках. Белые или коричневые, все они одинаковы.

Доктор Кутра знал, что глупо говорить слова соблазна по поводу такого страшного несчастья, и молча откланялся. Стрикленд велел Танэ, мальчику, проводить его до деревни.

Доктор помолчал и, обращаясь ко мне, прибавил:

— Я ведь вам уже говорил, что Стрикленд был мне не по нутру. Я его недолюбливал. Но, когда я медленно спускался в Таравао, я с невольным восхищением думал о мужестве этого человека: так стоически перенести это страшнейшее несчастье! На прощание я сказал Танэ, что пришлю кое-какие лекарства, но я не очень надеялся, что Стрикленд будет принимать их, и еще меньше— что они принесут какую-нибудь пользу. Я также просил мальчика передать Ате, что приду, когда бы она за мной ни послала. Жизнь— жестокая штука, и природа иногда страшно глумится над своими детьми. С тяжелым сердцем вернулся я в свой уютный дом в Папееэте.

Долгое время мы все молчали.

— Но Ата не присылала за мной,— снова начал доктор,— и как-то так получилось, что я долго не был в той части острова. О Стрикленде я ничего не знал. Раз два я, правда, слышал, что Ата приходила в Папееэте покупать краски, но видеть ее мне не довелось. Прошло больше двух лет, прежде чем я снова попал в Таравао, все к той же старой правительнице. Там я спросил, не слышно ли чего о Стрикленде. Теперь все уже знали, что у него проказа. Первым из дому ушел Танэ, а вскоре старуха и ее внучка. Стрикленд с Атой и детьми остались

совершенно одни. Никто даже близко не подходил к их плантации, вы не можете себе представить, какой ужас здешние люди испытывают перед этой болезнью; в старину, если у человека обнаруживалась проказа, они просто убивали его. Только мальчишки из ближней деревни, забравшись далеко в горы, видели иногда белого человека с косматой рыжей бородой. Тогда они в страхе удирали. Случалось еще, что Ата ночью спускалась в деревню и будила лавочника, чтобы купить у него самое необходимое. Она знала, что на нее смотрят с не меньшим испугом и отвращением, чем на Стрикленда, и всячески старалась избегать встреч с людьми. Однажды женщины, случайно оказавшиеся вблизи плантации, увидели, что она стирала белье в речке, и забросали ее камнями. После этого лавочнику велено было передать ей, что, если ее еще раз застанут на речке, мужчины из деревни подожгут ее дом.

— Звери,— сказал я.

— Mais non, mon cher monsieur¹, люди— всегда люди. Страх толкает их на жестокость... Я решил навестить Стрикленда, и после осмотра больной попросил, чтобы мне дали кого-нибудь в проводники. Но никто не решался идти со мной, и я отправился один.

Когда доктор Кутра пришел на плантацию, щемящая тоска сдавила его сердце. Он дрожал, хотя и разгорячился от ходьбы. Что-то зловещее носилось в воздухе и мешало идти дальше. Словно таинственные силы преграждали ему путь. Чьи-то невидимые руки тянули его назад. Никто не приходил сюда собирать кокосовые орехи, и они гнили на земле. Запустение царило повсюду. Кустарник буйно разросся, и девственный лес, казалось, готов был вновь захватить эту полосу земли, отнятую у него ценой такого тяжелого труда. «Это обитель страдания»,— подумалось доктору. Когда он подошел к дому, нездешняя тишина поразила его; он решил, что дом покинут. Затем он увидел Ату. Она сидела на корточках под навесом, служившим им кухней, и что-то варила в котелке. Ребенок молча возился в грязи рядом с нею. Увидев доктора, она не улыбнулась.

— Я пришел взглянуть на Стрикленда,— сказал он.

— Пойду скажу ему.

¹ Вовсе нет, мой дорогой (франц.).

Она направилась к дому, вошла по ступенькам на веранду и отворила дверь. Доктор Кутра шел за нею, но помедлил, повинувшись ее знаку. Когда дверь приоткрылась, на него пахнуло тошнотворно сладким запахом, который делает нестерпимой близость прокаженного. Доктор услышал, как что-то сказала Ата, затем услышал ответ Стрикленда, но не узнал его голоса. Он звучал хрипло, слов было не разобрать. Доктор Кутра поднял брови, он понял: болезнь уже бросилась на голосовые связки. Ата опять вышла на веранду.

— Он не хочет вас видеть. Вам надо уйти.

Доктор настаивал, но Ата не впускала его. Тогда он пожал плечами и повернул обратно. Ата пошла за ним. Он чувствовал, что ей тоже хочется поскорей его спроводить.

— Значит, я ничего не могу сделать для вас?— спросил он.

— Вы можете прислать ему красок, больше он ничего не хочет.

— Он еще может работать?

— Он рисует на стенах дома.

— Какая страшная жизнь для вас, дитя мое.

Ата наконец улыбнулась, и сверхчеловеческая любовь засветилась в ее глазах. Доктор Кутра был потрясен. Благоговейное чувство охватило его. Он не нашелся, что сказать.

— Он мой муж,— сказала Ата.

— Где ваш второй ребенок?— спросил он.— Прошлый раз я видел двоих.

— Он умер. Мы похоронили его под манговым деревом.

Ата прошла с ним еще немного и сказала, что ей пора возвращаться. Доктор Кутра понял, что она боится встретить кого-нибудь из деревни. Он повторил, что, если понадобится ей, пусть она пришлет за ним, он придет тотчас же.

Глава пятьдесят шестая

Прошло еще года два, может быть, и три, ибо время на Таити течет незаметно, и нелегко вести ему счет, когда к доктору Кутра пришла весть, что Стрикленд умирает. Ата остановила почтовую повозку на дороге в

Папезте и умолила возницу заехать к доктору. Но доктора не оказалось дома, и печальная весть дошла до него только вечером. Ехать в такой поздний час было немыслимо, и доктор пустился в дорогу следующим утром на рассвете. Он доехал до Таравао и в последний раз прошел пешком семь километров до дома Аты. Тропинка заросла, по ней явно никто не ходил в последние годы. Идти было трудно. Он то шел, спотыкаясь, по высохшему руслу ручья, то продирался сквозь заросли колючего кустарника, чтобы обойти осиные гнезда, свисавшие с деревьев над его головой, ему приходилось карабкаться на скалы. Вокруг стояла мертвая тишина.

У доктора вырвался вздох облегчения, когда он наконец увидел маленький некрашенный домишко, теперь обветшавший и грязный; но и возле дома царила та же нестерпимая тишина. Он подошел поближе, и маленький мальчик, беспечно игравший на солнцепеке, испуганно шарахнулся от него,—здесь любой незнакомец был враг. Доктору показалось, однако, что ребенок следит за ним из-за ствола пальмы. Дверь на веранду стояла настежь. Он крикнул—никто не отозвался. Он вошел. Постучался, но и на этот раз ответа не было. Он нажал ручку второй двери и открыл ее. От зловония, которым пахло на него, ему сделалось дурно. Он прижал платок к носу и заставил себя войти в комнату. Она тонула в полумраке, и после яркого солнечного света он в первую минуту ничего не видел. Потом он вздрогнул. Он не понимал, где находится. Какой-то сказочный мир окружал его. Ему смутно чудился девственный лес, в котором обнаженные люди расхаживали под деревьями. Потом он понял, что это так расписаны стены.

— Mon Dieu, неужто у меня солнечный удар,—пробормотал доктор.

Легкое движение в комнате привлекло его внимание, и он увидел Ату. Она лежала на полу и тихо плакала.

— Ата,—позвал он,—Ата!

Она не подняла головы. Его опять затошнило от омерзительного запаха, и он закурил сигару. Глаза его привыкли к темноте, и страшное волнение овладело им, когда он всмотрелся в расписанные стены. Он ничего не понимал в живописи, но здесь было что-то такое, что потрясло его. От пола до потолка стены покрывала

странная и сложная по композиции живопись. Она была неопишимо чудесна и таинственна. У доктора захватило дух. Чувства, поднявшиеся в его сердце, не поддавались ни пониманию, ни анализу. Благоговейный восторг наполнил его душу, восторг человека, видящего сотворение мира. Это было нечто великое, чувственное и страстное; и в то же время это было страшно, он даже испугался. Казалось, это сделано руками человека, который проник в скрытые глубины природы и там открыл тайны — прекрасные и пугающие. Руками человека, познавшего то, что человеку познать не дозволено. Это было нечто первобытное и ужасное. Более того — нечеловеческое. Доктор невольно подумал о черной магии. Это было прекрасно и бесстыдно.

— Бог мой, он гений!

Эти слова вырвались у доктора помимо его воли.

Затем его взгляд упал на груды циновок в углу, он приблизился и увидел то страшное, изувеченное, безобразное, что когда-то было Стриклендом. Стрикленд был мертв. Доктор Кутра взял себя в руки и склонился над изуродованным трупом. Но тут же вздрогнул, сердце его на миг перестало биться от ужаса: кто-то стоял за ним! Это была Ата. Он не слышал, как она подошла. Она стояла рядом и смотрела на то же, на что смотрел он.

— Господи ты боже мой, мои нервы никуда не годятся. Вы меня до смерти напугали.— Он еще раз бросил взгляд на жалкие останки того, что было человеком, и вдруг отшатнулся.

— Он был слеп?

— Да, он ослеп уже год назад.

Глава пятьдесят седьмая

Но тут наш разговор был прерван появлением мадам Кутра. Она делала визиты и теперь вернулась домой. Мадам Кутра вплыла, как корабль на всех парусах; весьма представительная дама, высокая, дородная, с пышным бюстом, с телесами, скованными устрашающе тугим корсетом. У нее был крупный нос крючком и тройной подбородок. Держалась она очень прямо. Она ни на мгновение не поддавалась расслабляющему очарованию тропиков; напротив, была даже более деятельной, более светской и энергичной, чем можно представить

себе даму в умеренном климате. Неистощимая говорунья, она тотчас же излила на нас поток новостей и сенсаций. С ее приходом разговор, который мы только что вели, стал казаться далеким и нереальным.

Наконец доктор Кутра прервал ее.

— У меня в кабинете все еще висит картина Стрикленда. Хотите взглянуть?

— С удовольствием.

Мы поднялись, и он повел меня на веранду, вернее на галерею, окружавшую дом. Там мы постояли, любуясь буйной яркостью цветов в его саду.

— Я долго не мог отделаться от воспоминания о дивном мире на стенах стриклендова дома,— задумчиво проговорил он.

Я думал о том же. Мне казалось, что Стрикленд наконец-то полностью выразил то, что бродило в нем. Работая в тиши, зная, что это последняя возможность, он, верно, сказал все, что думал о жизни, все, что разгадал в ней. И, кто знает, может быть, в этом он все-таки обрел умиротворение. Демон, владевший им, был наконец изгнан, и вместе с завершением работы, изнурительной подготовкой к которой была вся его жизнь, покой снизошел на его исстрадавшуюся, мятежную душу. Он был готов к смерти, ибо выполнил свое предназначение.

— А что изображала эта роспись?

— Трудно сказать. Все было так странно и фантастично. Точно он видел начало света, райские кущи, Адама и Еву—*que sais-je?*¹—это был гимн красоте человеческого тела, мужского и женского, славословие природе, величавой, равнодушной, прельстительной и жестокой. Дух захватывало от ощущения бесконечности пространства и нескончаемости времени. Стрикленд написал деревья, которые я видел каждый день, кокосовые пальмы, баньяны, тамаринды, груши аллигатор,— и с тех пор вижу совсем иными, словно есть в них живой дух и тайна, которую я всякую минуту готов постичь и которая все-таки от меня ускользает. Краски тоже были хорошо знакомые мне, и в то же время другие. В них было собственное, им одним присущее значение. А эти нагие люди, мужчины и женщины! Земные и, однако, чуждые земному. В них словно бы чувствовалась глина, из которой они были сотворены, но была в них и искра

¹ Как вам объяснить? (франц.)

божества. Перед вами был человек во всей наготе своих первобытных инстинктов, и мороз продирал вас по коже, потому что это были вы сами.

Доктор Кутра пожал плечами и усмехнулся.

— Вы будете смеяться надо мной. Я материалист и вдобавок грузный, толстый мужчина — Фальстаф, что ли? Лирика не к лицу. Яставляю себя на посмеище. Но даю вам слово, никогда в жизни искусство не производило на меня никакого впечатления. *Terez*¹, то же самое чувство я испытал в Сикстинской капелле. Я благоговел перед человеком, расписавшим этот потолок. Это было гениально и грандиозно. Я чувствовал себя ничтожным червем. Но к величию Микеланджело мы подготовлены. Нельзя было быть подготовленным к тому чуду, которое явилось мне в туземной хижине, вдали от цивилизованного мира, в горном ущелье над Таравао. Микеланджело здоров и нормален. В его творениях — спокойствие величия, но здесь что-то смущало душу. Не знаю, что именно. Но мне было не по себе. Как вам объяснить это чувство? Точно сидишь у дверей комнаты, наверное зная, что в ней никого нет, и в то же время с ужасом сознаешь, что в ней все-таки кто-то есть. В таких случаях бранишь себя; ведь это пустое, нервы... и тем не менее... Минута-другая — и ты уже не можешь бороться со страхом, непостижимый ужас душит тебя. Да, скажу по правде, я не был особенно огорчен, когда узнал, что эти странные шедевры уничтожены.

— Уничтожены! — воскликнул я.

— *Mais oui*², разве вы не знали?

— Откуда мне знать? Я никогда раньше не слышал об этих вещах, но, слушая вас, надеялся, что они попали в руки какого-нибудь любителя-коллекционера. Ведь полного списка стриклендовых работ еще и поныне не существует.

— Когда он ослеп, он часами сидел в этих двух расписанных им комнатухах, незрячими глазами смотрел на свои творения и видел, может быть, больше, чем прежде, больше, чем за всю свою жизнь. Ата говорила мне, что он никогда не жаловался на судьбу, никогда не терял мужества. До самого конца дух его оставался

¹ Право (*франц.*).

² Ну да (*франц.*).

ясным и добрым. Но он взял с нее слово, что когда она похоронит его — я, кажется, не сказал вам, что своими руками вырыл для него могилу, так как никто из туземцев не решался подойти к зараженному дому, мы с ней завернули его тело в три парео, сшитых вместе, и похоронили под манговым деревом, — так вот, он взял с нее слово, что она подожжет дом и не уйдет, покуда он не сгорит дотла.

Я довольно долго молчал и думал, потом сказал:

— Значит, он до конца остался таким, как был.

— Вы полагаете? А я считал своим долгом отговорить Ату от этого безумия.

— Даже после того, что вы мне рассказали?

— Да, я ведь уже понял, что это создание гения, и думал, что мы не вправе отнять его у человечества. Но Ата меня и слушать не хотела. Она дала слово. Я ушел, не мог я, чтобы это варварское деяние совершилось на моих глазах, и уже позднее узнал, что она исполнила его волю. Облила парафином пол, панданусовые циновки и подожгла. Через полчаса от дома остались только тлеющие угольки, великого произведения искусства более не существовало.

— По-моему, Стрикленд знал, что это шедевр. Он достиг того, чего хотел. Его жизнь была завершена. Он сотворил мир и увидел, что он прекрасен. Затем из гордости и высокомерия он уничтожил его.

— Ну, да пора уже показать вам картину, — сказал доктор Кутра и пошел к двери.

— А что случилось с Атой и ее ребенком?

— Они уехали на Маркизские острова. У нее там родственники. Я слышал, что ее сын служит на какой-то шхуне. Говорят, он очень похож на отца.

У самой двери в кабинет доктор остановился.

— Это натюрморт с фруктами, — улыбаясь, сказал он. — Вы скажете, сюжет не слишком подходящий для кабинета врача, но моя жена не желает терпеть эту картину в гостиной. По ее мнению, она слишком непристойна.

— Непристойна! Но ведь это натюрморт! — в изумлении воскликнул я. Мы вошли в кабинет, и картина сразу бросилась мне в глаза. Я долго смотрел на нее. Это была груда бананов, манго, апельсинов и еще каких-то плодов; на первый взгляд вполне невинный натюрморт. На выставке постимпрессионистов беззаботный посе-

титель принял бы его за типичный, хотя и не из лучших, образец работы этой школы; но позднее эта картина всплыла бы в его памяти, он с удивлением думал бы: почему, собственно? Но запомнил бы ее уже навек.

Краски были так необычны, что словами не передашь тревожного чувства, которое они вызывали. Темно-синие, непрозрачные тона, как на изящном резном кубке из ляпис-лазури, но в дрожащем их блеске ощущался таинственный трепет жизни. Тона багряные, страшные, как сырое разложившееся мясо, они пылали чувственной страстью, воскрешавшей в памяти смутные видения Римской империи Гелиогабала; тона красные, яркие, точно ягоды остролиста, так что воображению рисовалось рождество в Англии, снег, доброе веселье и радостные возгласы детей,—но они смягчались в какой-то волшебной гамме и становились нежнее, чем пух на груди голубки. С ними соседствовали густо-желтые; в противоестественной страсти сливались они с зеленью, благоуханной, как весна, и прозрачной, как искристая вода горного источника. Какая болезненная фантазия создала эти плоды? Они выросли в полинезийском саду Гесперид. Было в них что-то странно живое, казалось, что они возникли в ту темную пору истории Земли, когда вещи еще не затвердели в неизменности форм. Они были избыточно роскошны. Тяжелы от напитавшего их аромата тропиков. Они дышали мрачной страстью. Это были заколдованные плоды, отведать их — значило бы прикоснуться бог весть к каким тайнам человеческой души, проникнуть в неприступные воздушные замки. Они набухли неожиданными опасностями и того, кто надкусил бы их, могли обратить в зверя или в бога. Все здоровое и естественное, все приверженное добру и простым радостям простых людей должно было в страхе отшатнуться от этих плодов,—и все же была в них необоримо притягательная сила: подобно плоду от древа познания добра и зла, они были чреваты всеми возможностями Неведомого. Я не выдержал и отвел глаза. Теперь я знал, что Стрикленд унес свою тайну в могилу.

— *Voyons René, mon ami*¹,—послышался громкий бодрый голос мадам Кутра.—Что вы там делаете так

¹ Послушай, Рене, друг мой (франц.).

долго? Вас ждут аперитивы. Спроси мсье, не хочет ли он рюмочку хинной Дюбоннэ.

— Volontiers, мадам,— ответил я, выходя на веранду. Чары были разрушены.

Глава пятьдесят восьмая

Пришло время моего отъезда с Таити. Согласно гостеприимному обычаю острова, все, с кем я здесь встречался, преподнесли мне подарки: корзиночки, сплетенные из листьев кокосовых пальм, циновки из пандануса, веера. Тиаре подарила мне три маленьких жемчужины и три банки желе из гуавы, сваренного ее собственными пухлыми руками. Когда почтовый пароход, по пути из Веллингтона в Сан-Франциско на сутки заходивший в Таити, дал последний гудок, призывая пассажиров на борт, Тиаре прижала меня к своей могучей груди—я точно погрузился в зыблющиеся волны,—и крепко поцеловала в губы. На глазах у нее блеснули слезы. И когда мы медленно выбирались из лагуны, осторожно лавируя между рифами, и наконец вышли в открытое море, на душе у меня было печально. Бриз все еще доносил до нас чарующие ароматы острова. Таити—дальний край, и я знал, что больше никогда не увижу его. Еще одна глава моей жизни закончилась, и я почувствовал себя ближе к неизбежной смерти.

Через месяц я был уже в Лондоне; устроив свои наиболее неотложные дела, я написал миссис Стрикленд, полагая, что ей интересно будет послушать мой рассказ о последних годах ее мужа. В последний раз я виделся с нею задолго до войны, и теперь мне пришлось разыскивать ее адрес по телефонной книге. Она назначила мне день, и я пришел в ее новый нарядный домик на Кэмпден-хилл. Ей, должно быть, было уже под шестьдесят, но она легко несла бремя своих лет, и больше пятидесяти никто бы ей не дал. Лицо ее, худое и не слишком морщинистое, принадлежало к тому типу лиц, что в старости становятся особенно благообразными. По теперешнему виду миссис Стрикленд можно было предположить, что в молодости она была очень хороша собою, чего на самом деле никогда не было. Волосы, не седые, но с проседью, она причесывала очень элегантно, и ее черное платье было сшито по последней

моды. Кто-то мне говорил, и теперь я это вспомнил, что ее сестра, миссис Мак-Эндрю, пережившая мужа всего на два года, оставила ей свое состояние; судя по дому и нарядной горничной, которая открыла мне дверь, это была сумма, вполне достаточная для пристойного существования вдовы.

В гостиной я застал еще одного гостя и, узнав, кто он, понял, что меня не без умысла пригласили именно на этот час. Миссис Стрикленд представила меня мистеру ван Буш-Тэйлору с такой очаровательной улыбкой, что казалось, она извиняется за меня перед этим почтенным американцем.

— Мы, англичане, так ужасно невежественны. Вы уж простите меня за вынужденное объяснение.— С этими словами она обернулась ко мне.— Мистер ван Буш-Тэйлор— выдающийся американский критик. Если вы не читали его книги, это большой пробел в вашем образовании, и вам следует немедленно его восполнить. Сейчас мистер Тэйлор пишет о нашем дорогом Чарли и приехал ко мне с просьбой кое в чем помочь ему.

Мистер ван Буш-Тэйлор был весьма сухопарый мужчина с большим лысым черепом, отчего его желтое лицо, изборожденное глубокими морщинами, казалось совсем маленьким. Он говорил с американским акцентом и был необыкновенно учтив и сдержан. Глядя на его ледяное спокойствие, я невольно спрашивал себя, какого черта он заинтересовался Чарлзом Стриклендом. Меня позабавила нежность, с которой миссис Стрикленд упомянула о своем муже, и покуда они оба разговаривали, я рассмотрел комнату. Миссис Стрикленд не отстала от времени. Шпалеры Морриса и строгий кретон исчезли бесследно, равно как и гравюры Эрendela, некогда украшавшие ее гостиную на Эшли-гарден. Теперь здесь сверкали яркие краски, и я задавался вопросом, знает ли миссис Стрикленд, что эти фантастические тона, предписанные модой, обязаны своим возникновением мечтам бедного художника на далеком острове в Южных морях? Она сама ответила мне на этот вопрос.

— Какие у вас изумительные подушки,— сказал мистер ван Буш-Тэйлор.

— Вам они нравятся? — улыбаясь, спросила она.— Это Бакст.

А на стенах висели цветные репродукции с лучших картин Стрикленда, выпущенные в свет неким берлинским издателем.

— Вы смотрите на мои картины,— сказала миссис Стрикленд, проследив за моим взглядом.— Оригиналы, конечно, мне недоступны, но я рада и этим копиям. Мне прислал их издатель. Это большое утешение для меня.

— Должно быть, очень приятно жить среди этих картин,— заметил мистер ван Буш-Тэйлор.

— Да, они так декоративны.

— Мое глубочайшее убеждение,— сказал мистер ван Буш-Тэйлор,— что подлинное искусство всегда декоративно.

Глаза его и миссис Стрикленд остановились на обнаженной женщине, кормящей грудью ребенка. Рядом с ней молодая девушка, стоя на коленях, протягивала цветок не видящему ее младенцу. На них смотрела старая морщинистая ведьма. Это была стриклендова версия святого семейства. Я подозревал, что моделями для этих фигур служили его таитянские домочадцы, а женщина и ребенок были Ата и ее первенец. «Но знает ли что-нибудь об этом миссис Стрикленд?» — спрашивал я себя.

Разговор продолжался, и мне оставалось только дивиться такту, с которым мистер ван Буш-Тэйлор обходил все, что могло бы смутить хозяйку, и ловкости миссис Стрикленд: не говоря ни слова лжи, она давала ему понять, что с мужем у нее всегда были наилучшие отношения. Наконец мистер ван Буш-Тэйлор поднялся и стал прощаться. Держа руку миссис Стрикленд, он рассыпался в изящнейших и изысканнейших благодарностях.

— Надеюсь, он не очень наскучил вам,— сказала она, едва только за ним закрылась дверь.— Конечно, это утомительное занятие, но я считаю себя обязанной рассказать людям о Чарли все, что могу рассказать. Быть женою гения — немалая ответственность.

Она посмотрела на меня открытым и ясным взглядом, таким же, как двадцать с лишним лет назад. «Уж не смеется ли она надо мной?» — подумал я.

— Вы, конечно, закрыли свое дело? — спросил я.

— О да, — небрежно отвечала миссис Стрикленд. — Я ведь тогда занялась этим больше от скуки, чем еще по каким-нибудь причинам, и дети уговорили меня продать контору. Они считали, что я переутомляюсь.

Миссис Стрикленд явно позабыла, что в свое время ей пришлось «унизиться» до того, чтобы зарабатывать

себе на жизнь. Безошибочный инстинкт красивой женщины говорил ей, что жить прилично только на чужой счет.

— Мои дети сейчас здесь,— сказала она.— Я подумала, что им интересно будет послушать об отце. Вы помните Роберта? Могу похвалиться. Он представлен к военному кресту.

Она открыла дверь и позвала детей. В комнату вошел высокий мужчина в хаки, но с пасторским воротником, несколько тяжеловатый, красивый, все с теми же правдивыми глазами, которые были у него в детстве. Следом шла его сестра. Ей, верно, было столько же лет, сколько ее матери, когда я с ней познакомился, и она очень на нее походила. По ее виду тоже казалось, что в детстве она была очень хорошенькой, хотя на самом деле это было не так.

— Вы их, конечно, не узнаете,— горделиво улыбаясь, заметила миссис Стрикленд.— Моя дочь теперь миссис Роналдсон. Ее муж майор артиллерии.

— Он у меня настоящий солдат,— весело сказала миссис Роналдсон.— Потому он и не пошел дальше майора.

Мне вспомнилось, как я почему-то был уверен, что она выйдет замуж за военного. Это было неизбежно. У нее все повадки «военной» дамы. Очень любезная и скромная, миссис Роналдсон не могла скрыть своего убеждения, что она не такая, как все. У Роберта манеры были непринужденные.

— Как это удачно, что я оказался в Лондоне к вашему возвращению,— сказал он.— У меня отпуск всего на три дня.

— Он всей душой рвется назад, в свою часть,— заметила его мать.

— Не скрою, что я там отлично провожу время. У меня завелось много приятелей. Это настоящая жизнь. Война, конечно, ужасная штука и так далее и тому подобное, но она выявляет в человеке все лучшее, это несомненно.

Я рассказал им все, что слышал о жизни Чарлза Стрикленда на Таити. Говорить об Ате и ее сыне я счел излишним, но во всем остальном был, по мере возможности, точен. Кончил я рассказом о страшной его смерти. Минуту-другую в комнате царило молчание. Затем Роберт Стрикленд чиркнул спичкой и закурил.

— Жернова господни мелют хоть и медленно, но верно,— внушительно сказал он.

Миссис Стрикленд и миссис Роналдсон благочестиво опустили глаза долу, они явно сочли эти слова цитатой из Священного писания. Мне показалось, что и Роберт Стрикленд разделяет это заблуждение. Сам не знаю почему, я вдруг подумал о сыне Стрикленда и Аты. Мне говорили на Таити, что он веселый, приветливый юноша. Я словно воочию увидел его на шхуне, полуголым, только в коротких штанах. День у него проходит в труде, а ночью, когда шхуна легко скользит по волнам, подгоняемая попутным ветерком, матросы собираются на верхней палубе; покада капитан с помощниками отдыхают в шезлонгах, попыхивая трубками, он неистово пляшет с другим юношей под визгливые звуки концертино. Над ним густая синева небес, звезды и, сколько глаз хватает, пустыня Тихого океана.

Цитата из Библии вертелась у меня на языке, но я попридержал его, зная, что духовные лица считают кощунством, если простые смертные забираются в их владения. Мой дядя Генри, двадцать семь лет бывший викарием в Уитстебле, в таких случаях говаривал, что дьявол всегда сумеет подыскать и обернуть в свою пользу цитату из Библии. Он еще помнил те времена, когда за шиллинг можно было купить даже не дюжину лучших устриц, а целых тринадцать штук.

TEATP



Глава первая

Дверь отворилась, Майкл Госселин поднял глаза. В комнату вошла Джулия.

— Это ты? Я тебя не задержу. Всего одну минутку. Только покончу с письмами.

— Я не спешу. Просто зашла посмотреть, какие билеты послали Деннорантам. Что тут делает этот молодой человек?

С безошибочным чутьем опытной актрисы приурочивая жест к слову, она указала движением изящной головки на комнату, через которую только что прошла.

— Это бухгалтер. Из конторы Лоренса и Хэмфри. Он здесь уже три дня.

— Выглядит очень юным.

— Он у них в учениках по контракту. Похоже, что дело свое знает. Поражен тем, как ведутся у нас бухгалтерские книги. Он не представлял себе, что можно поставить театр на деловые рельсы. Говорит, в некоторых фирмах счетные книги в таком состоянии, что поседеть можно.

Джулия улыбнулась, глядя на красивое лицо мужа, излучающее самодовольство.

— Тактичный юноша.

— Он сегодня кончает. Не взять ли его с собой перекусить на скорую руку? Он вполне хорошо воспитан.

— По-твоему, этого достаточно, чтобы приглашать его к ленчу?

Майкл не заметил легкой иронии, прозвучавшей в ее голосе.

— Если ты возражаешь, я не стану его звать. Я просто подумал, что это доставит ему большое удоволь-

ствие. Он страшно тобой восхищается. Три раза ходил на последнюю пьесу. Ему до смерти хочется познакомиться с тобой.

Майкл нажал кнопку, и через секунду на пороге появилась его секретарша.

— Письма готовы, Марджори. Какие на сегодня у меня назначены встречи?

Джулия вполуха слушала список, который читала Марджори, и от нечего делать оглядывала комнату, хотя помнила ее до мелочей. Как раз такой кабинет и должен быть у антрепренера первоклассного театра. Стены были обшиты панелями (по себестоимости) хорошим декоратором, на них висели гравюры на театральные сюжеты, выполненные Зоффани и де-Уайльдом. Кресла удобные, большие. Майкл сидел в чиппенделе¹ — подделка, но куплена в известной мебельной фирме, — его стол, с тяжелыми пузатыми ножками, тоже чиппендель, выглядел необыкновенно солидно. На столе стояли ее фотография в массивной серебряной рамке и, для симметрии, фотография Роджера, их сына. Между ними помещался великолепный серебряный чернильный прибор, который она подарила как-то Майклу в день рождения, а впереди бювар из красного сафьяна с богатым золотым узором, где Майкл держал бумагу, на случай, если ему вздумается написать письмо от руки. На бумаге был адрес: «Сиддонс-театр», на конвертах эмблема Майкла: кабанья голова, а под ней девиз: «*Nemo t impune laccessit*»². Желтые тюльпаны в серебряной вазе, выигранной Майклом на состязаниях по гольфу среди актеров, свидетельствовали о заботливости Марджори. Джулия бросила на нее задумчивый взгляд. Несмотря на коротко стриженные, обесцвеченные перекисью волосы и густо покрашенные губы, у нее был бесполой вид, отличающий идеальную секретаршу. Она проработала с Майклом пять лет, должна была вдоль и поперек изучить его за это время. Интересно, хватило у нее ума влюбиться в него?

Майкл поднялся с кресла.

— Ну, дорогая, я готов.

Марджори подала ему черную фетровую шляпу и распахнула дверь. Когда они вышли в контору, юноша, которого заметила, проходя, Джулия, обернулся и встал.

¹ Стиль английской мебели XVIII века.

² Никто не тронет меня безнаказанно (лат.).

— Разрешите познакомить вас с миссис Лэмберт,—сказал Майкл. Затем добавил с видом посла, представляющего атташе царственной особе, при дворе которой он аккредитован:

— Это тот джентльмен, который любезно согласился привести в порядок наши бухгалтерские книги.

Юноша залился ярким румянцем. На теплую улыбку Джулии, всегда бывшую у нее наготове, он ответил деревянной улыбкой. А сердечно пожав ему руку, она отметила, что ладонь его стала влажной от пота. Его смущение было трогательно. Так, верно, чувствовали себя те, кого представляли Саре Сиддонс¹. Джулия подумала, что не очень-то любезно ответила Майклу, когда он предложил позвать мальчика на ленч. Она посмотрела ему прямо в глаза своими огромными темно-кариими лучистыми глазами. Без всякого усилия, так же инстинктивно, как отмахнулась бы от докучавшей ей мухи, она вложила в голос чуть ироничное, ласковое радушие:

— Может быть, вы не откажетесь поехать с нами перекусить? Майкл привезет вас обратно после ленча.

Юноша опять покраснел, кадык на его тонкой шее судорожно дернулся.

— Это очень любезно с вашей стороны.— Он встревоженно осмотрел свой костюм.— Но я невероятно грязен.

— Вы сможете умыться и почиститься, когда приедете к нам.

Машина ждала у служебного входа: длинный черный автомобиль с хромированными деталями, сиденья обтянуты посеребренной кожей, эмблема Майкла скромно украшает дверцы. Джулия села сзади.

— Садитесь со мной. Майкл поведет машину.

Они жили на Стэнхоуп-плейс. Когда они приехали, Джулия велела дворецкому показать юноше, где он может помыть руки. Сама она поднялась в гостиную. В то время как она красила губы, появился Майкл.

— Я сказал ему, чтобы он шел сюда, как только будет готов.

— Между прочим, как его зовут?

— Понятия не имею.

— Милый, надо же нам знать. Я попрошу его расписаться в книге для посетителей.

¹ Сидонс Сара (1755—1831)— знаменитая английская актриса.

— Слишком много чести.— Майкл просил расписываться только самых почетных гостей.— Мы видим его здесь в первый и последний раз.

В этот момент молодой человек появился в дверях. В машине Джулия приложила все старания, чтобы успокоить его, но он, видно, все еще робел. Их уже ждал коктейль, Майкл разлил его по бокалам. Джулия вынула сигарету, и молодой человек зажег спичку, но рука его так сильно дрожала, что ей ни за что бы не удалось прикурить, поэтому она сжала ее своими пальцами.

«Бедный ягненок,— подумала Джулия,— верно, сегодня самый знаменательный день в его жизни. Будет на седьмом небе от счастья, когда начнет рассказывать об этом. Он станет героем в своей конторе, и все от зависти лопнут».

Язык Джулии сильно разнился, когда она говорила сама с собой и с другими людьми. С собой она не стеснялась в выражениях. Джулия с наслаждением сделала первую затяжку. Право же, если подумать, разве не удивительно, что ленч с ней и получасовой разговор придаст человеку столько важности, сделает его крупной персоной в его жалком кружке.

Юноша выдавил из себя фразу:

— Какая потрясающая комната.

Джулия одарила его очаровательной улыбкой, слегка приподняв свои прекрасные брови, что он, наверное, не раз видел на сцене.

— Я очень рада, что она вам нравится,— голос у нее был низкий и чуть хриловатый. По тону Джулии можно было подумать, что его слова сняли огромную тяжесть с ее души.— Мы в семье считаем, что у Майкла превосходный вкус.

Майкл самодовольно оглядел комнату.

— У меня такой богатый опыт. Я всегда сам придумываю интерьеры для наших пьес. Конечно, у нас есть человек для черновой работы, но идеи мои.

Они переехали в этот дом два года назад, и Майкл так же, как и Джулия, знал, что они огдали его в руки опытного декоратора, когда отправились в турне по провинции, и тот взялся полностью его подготовить к их приезду, причем бесплатно, за то, что они предоставят ему работу в театре, когда вернутся. Но к чему было сообщать эти скучные подробности человеку, даже имя которого было им неизвестно. Дом был отлично обстав-

лен, в нем удачно сочетались антиквариат и модерн, и Майкл мог с полным правом сказать, что это, вне сомнения, дом джентльмена. Однако Джулия настояла на том, чтобы спальня была такой, как она хочет, и, поскольку ее абсолютно устраивала спальня в их старом доме в Ридженс-парк, где они жили с конца войны, перевезла ее сюда всю целиком. Кровать и туалетный столик были обтянуты розовым шелком, кушетка и кресло — светло-голубым, который так любил Натье¹; над кроватью порхали пухлые позолоченные херувимы, держащие лампу под розовым абажуром, такие же пухлые позолоченные херувимы окружали гирляндой трюмо. На столе атласного дерева стояли в богатых рамах фотографии с автографами: актеры, актрисы и члены королевской фамилии. Декоратор презрительно поднял брови, но это была единственная комната в доме, где Джулия чувствовала себя по-настоящему уютно. Она писала письма за бюро из атласного дерева, сидя на позолоченном стуле.

Дворецкий объявил, что ленч подан, и они пошли вниз.

— Надеюсь, вы не останетесь голодны, — сказала Джулия. — У нас с Майклом очень плохой аппетит.

И действительно: на столе их ждали жареная камбала, котлеты со шпинатом и компот. Эта еда могла утолить законный голод, но не давала потолстеть. Кухарка, предупрежденная Марджори, что к ленчу будет еще один человек, приготовила на скорую руку жареный картофель. Он выглядел хрустящим и аппетитно пахнул. Но ел его только гость. Майкл уставился на блюдо с таким видом, словно не совсем понимал, что там лежит, затем, чуть заметно вздрогнув, очнулся от мрачной задумчивости и сказал: нет, благодарю. Они сидели за длинным и узким обеденным столом, Джулия и Майкл на торцовых концах, друг против друга, в величественных итальянских креслах, молодой человек — посредине, на не очень удобном, но гармонирующем с прочей мебелью стуле. Джулия заметила, что он посматривает на буфет, и наклонилась к нему с обаятельной улыбкой.

— Вам что-нибудь нужно?

Он покраснел.

¹ Натье, Жан Марк (1685—1766)— французский портретист.

— Нельзя ли мне ломтик хлеба?

— Конечно.

Джулия бросила на дворецкого выразительный взгляд—он в этот момент как раз наливал белое, сухое вино в бокал Майкла,—и тот вышел из комнаты.

— Мы с Майклом не едим хлеба. Джевонс сглупил, не подумав, что вам он может понадобиться.

— Разумеется, есть хлеб—это только привычка,—сказал Майкл.—Поразительно, как легко от нее отучаешься, если твердо решишь.

— Бедный ягненочек, худой, как щепка, Майкл.

— Я отказался от хлеба не потому, что боюсь потолстеть. Я не ем его, так как не вижу в этом смысла. При моем моционе я могу есть все, что хочу.

Для пятидесяти двух лет у Майкла была еще очень хорошая фигура. В молодости его густые каштановые волосы, чудесная кожа, большие синие глаза, прямой нос и маленькие уши завоевали ему славу первого красавца английской сцены. Только тонкие губы несколько портили его. Высокий—шести футов роста,—он отличался к тому же прекрасной осанкой. Столь поразительная внешность и побудила Майкла пойти на сцену, а не в армию—по стопам отца. Сейчас его каштановые волосы почти совсем поседели, и он стриг их куда короче, лицо стало шире, на нем появились морщины, кожа перестала напоминать персик, по щекам зазмеились красные жилки. Но благодаря великолепным глазам и стройной фигуре он все еще был достаточно красив. Проведя пять лет на войне, Майкл усвоил военную выправку, и, если бы вы не знали, кто он (что вряд ли было возможно, так как фотографии его по тому или другому поводу вечно появлялись в иллюстрированных газетах), вы бы приняли его за офицера высокого ранга. Он хвастал, что его вес сохранился таким, каким был в двадцать лет, и многие годы вставал в любую погоду в восемь часов утра, надевал шорты и свитер и бегал по Риджентс-парку.

— Секретарша сказала мне, что вы были на репетиции сегодня утром, мисс Лэмберт,—заметил юноша.—Вы собираетесь ставить новую пьесу?

— Отнюдь,—ответил Майкл.—Мы делаем полные сборы.

— Майкл решил, что мы немного разболтались, и назначил репетицию.

— И очень этому рад. Я обнаружил, что кое-где вкрались трюки, которых я не давал при постановке, и во многих местах актеры позволяют себе вольничать с текстом. Я очень педантичен в этих вопросах и считаю, что надо строго придерживаться авторского слова, хотя, видит бог, то, что пишут авторы в наши дни, немногого стоит.

— Если вы хотите посмотреть эту пьесу,—любезно сказала Джулия,—я уверена, Майкл даст вам билет.

— Мне бы очень хотелось пойти еще раз,—горячо сказал юноша.—Я видел спектакль уже три раза.

— Неужели?—изумленно воскликнула Джулия, хотя она прекрасно помнила, что Майкл ей об этом говорил.—Конечно, пьеска эта не так плоха, она вполне отвечает своему назначению, но я не представляю, чтобы кому-нибудь захотелось трижды смотреть ее.

— Я не столько ради пьесы, сколько ради вашей игры.

«Все-таки я вытянула из него это»,—подумала Джулия и добавила вслух:

— Когда мы читали пьесу, Майкл еще сомневался. Ему не очень понравилась моя роль. Вы знаете, по сути, это—не для ведущей актрисы. Но я решила, что сумею кое-что из нее сделать. Понятно, на репетициях вторую женскую роль пришлось сильно сократить.

— Я не хочу сказать, что мы заново переписали пьесу,—добавил Майкл,—но, поверьте, то, что вы видите сейчас на сцене, сильно отличается от того, что предложил нам автор.

— Вы играете просто изумительно,—сказал юноша. («А в нем есть свой шарм».)

— Рада, что я вам понравилась,—ответила Джулия.

— Если вы будете очень любезны с Джулией, она, возможно, подарит вам на прощанье свою фотографию.

— Правда? Подарите?

Он снова вспыхнул, его голубые глаза засияли. («А он и впрямь очень-очень мил».) Красивым юношу, пожалуй, назвать было нельзя, но у него было открытое прямодушное лицо, а застенчивость казалась даже привлекательной. Волнистые светло-каштановые волосы были тщательно приглажены, и Джулия подумала, насколько больше бы ему пошло, если бы он не пользовался бриллиантином. У него был свежий цвет лица, хорошая кожа и мелкие красивые зубы. Джулия замети-

ла с одобрением, что костюм сидит на нем хорошо и он умеет его носить. Юноша выглядел чистеньким и славным.

— Вам, верно, раньше не приходилось бывать за кулисами?—спросила она.

— Никогда. Вот почему мне до смерти хотелось получить эту работу. Вы даже не представляете, что это для меня значит!

Майкл и Джулия благожелательно ему улыбнулись. Под его восхищенными взорами они росли в собственных глазах.

— Я никогда не разрешаю посторонним присутствовать на репетиции, но, поскольку вы теперь наш бухгалтер, вы вроде бы входите в труппу, и я не прочь сделать для вас исключение, если вам захочется прийти,—сказал Майкл.

— Это чрезвычайно любезно с вашей стороны. Я еще ни разу в жизни не был на репетиции. А вы будете играть в новой пьесе, мистер Госселин?

— Нет, не думаю. Я теперь не очень-то стремлюсь играть. Почти невозможно найти роль на мое амплуа. Понимаете, в моем возрасте уже не станешь играть любовников, а авторы перестали писать роли, которые в моей юности были в каждой пьесе. То, что французы называют «резонер». Ну, вы знаете, что я имею в виду—герцог, или министр, или известный королевский адвокат, которые говорят остроумные вещи и обводят всех вокруг пальца. Не понимаю, что случилось с авторами. Похоже, они вообще разучились писать. От нас ожидают, что мы построим здание, но где кирпичи? И вы думаете, они нам благодарны? Авторы, я хочу сказать. Вы бы поразились, если бы слышали, какие условия у них хватает наглости ставить!

— Однако факт остается фактом: нам без них не обойтись,—улыбнулась Джулия.—Если пьеса плоха, ее никакая игра не спасет.

— Все дело в том, что и публика перестала по-настоящему интересоваться театром. В великие дни расцвета английской сцены люди не ходили смотреть пьесы, они ходили смотреть актеров. Не важно, что играли Кембл¹ или миссис Сиддонс. Публика шла, чтобы смотреть на их игру. И хотя я не отрицаю, если пьеса

¹ Кембл, Джон (1757—1823)—английский актер.

плоха, мы горим. Все же, когда она хороша, даже теперь зрители приходят смотреть актеров, а не пьесу.

— Я думаю, никто с этим не станет спорить,— сказала Джулия.

— Такой актрисе, как Джулия, нужно одно—произведение, где она может себя показать. Дайте ей его, и она сделает все остальное.

Джулия улыбнулась юноше очаровательной, но чуть-чуть извиняющейся улыбкой.

— Не надо принимать моего мужа слишком всерьез. Боюсь, там, где дело касается меня, он немного пристрастен.

— Если молодой человек что-нибудь в этом смыслит, он должен знать, что в области актерского искусства ты можешь все.

— Я просто остерегаюсь делать то, чего не могу. Отсюда и моя репутация.

Но тут Майкл взглянул на часы.

— Ну, юноша, нам следует ехать.

Молодой человек проглотил залпом то, что еще оставалось у него в чашке. Джулия поднялась из-за стола.

— Вы не забыли, что обещали мне фотографию?

— Думаю, у Майкла в кабинете найдется что-нибудь подходящее. Пойдемте, вместе выберем.

Джулия провела его в большую комнату позади столовой. Хотя предполагалось, что это будет кабинет Майкла—«Надо же человеку иметь место, где он может посидеть без помех и выкурить трубку»,—использовали ее главным образом как гардеробную, когда у них бывали гости. Там стояло прекрасное бюро красного дерева, на нем фотографии Георга V и королевы Марии с их личными подписями. Над камином висела старая копия портрета Кембла в роли Гамлета кисти Лоренса¹. На столике лежала груда напечатанных на машинке пьес. По стенам шли книжные полки, закрытые снизу дверцами. Открыв дверцу, Джулия вынула пачку своих последних фотографий. Протянула одну из них юноше.

— Эта, кажется, не так плоха.

— Очаровательна.

— Значит, я здесь не настолько похожа, как думала.

— Очень похожи. В точности, как в жизни.

¹ Лоренс, Томас (1769—1830)—английский живописец.

На этот раз улыбка ее была иной, чуть лукавой; Джулия опустила на миг ресницы, затем, подняв их, поглядела на юношу с тем мягким выражением глаз, которое поклонники называли ее бархатным взглядом. Она не преследовала этим никакой цели, сделала это просто механически, из инстинктивного желания нравиться. Мальчик был так молод, так робок, казалось, у него такой милый характер, и она никогда больше его не увидит, ей не хотелось, так сказать, остаться в долгу, хотелось, чтобы он вспоминал об этой встрече, как об одном из великих моментов своей жизни. Джулия снова взглянула на фотографию. Неплохо бы на самом деле выглядеть так. Фотограф посадил ее, не без ее помощи, самым выгодным образом. Нос у нее был слегка толстоват, но, благодаря искусному освещению, это совсем не заметно; ни одна морщинка не портила гладкой кожи, от взгляда ее прекрасных глаз невольно таяло сердце.

— Хорошо. Получайте эту. Вы сами видите, я не красивая и даже не хорошенькая. Коклен¹ всегда говорил, что у меня *beauté du diable*². Вы ведь понимаете по-французски?

— Для этого—достаточно.

— Я надпишу ее вам.

Джулия села за бюро и своим четким плавным почерком написала: «Искренне Ваша, Джулия Лэмберт».

Глава вторая

Когда мужчины ушли, Джулия снова пересмотрела фотографии перед тем, как положить их на место.

«Неплохо для сорока шести лет,—улыбнулась она.—Я тут похожа, не приходится спорить.—Она оглянулась в поисках зеркала, но не нашла.—Чертовы декораторы. Бедный Майкл. Чего удивляться, что он редко здесь сидит. Конечно, я никогда не была особенно фотогенична».

У Джулии вдруг возникло желание взглянуть на старые снимки. Майкл был человек деловой и аккуратный. Все ее фотографии хранились в больших картон-

¹ Коклен, Бенцо Констан (1841—1909)—французский актер.

² Бесовская красота (франц.).

ных коробках, в хронологическом порядке. Его собственные, также датированные, были в других коробках в том же шкафу.

— Когда кто-нибудь захочет написать историю нашей карьеры, весь материал будет под рукой,—говорил он.

С тем же похвальным намерением он с самого первого дня на сцене наклеивал все газетные вырезки в большие конторские книги, и их накопилась уже целая полка.

Там были детские карточки Джулии и снимки, сделанные в ранней юности; Джулия в первых своих ролях, Джулия—молодая замужняя женщина с Майклом, а затем с Роджером, тогда еще младенцем. Одна их фотография—Майкл, мужественный и неправдоподобно красивый, она сама, воплощенная нежность, и Роджер, маленький кудрявый мальчик,—имела колоссальный успех. Все иллюстрированные газеты отдали ей по целой странице; ее печатали на программках. Уменьшенная до размеров художественной открытки, она в течение многих лет продавалась в провинции. Так досадно, что, поступив в Итон, Роджер наотрез отказался фотографироваться вместе с матерью. Удивительно—не хотеть попасть в газеты!

— Люди подумают, что ты—урод или еще что-нибудь,—сказала она.—В этом нет ничего зазорного. Пойди на премьеру, посмотри, как все эти дамы и господа из общества толпятся вокруг фотографов, все эти министры, судьи и прочие. Они делают вид, будто им это ни к чему, но надо видеть, какие позы они принимают, когда им кажется, что фотограф нацелил на них объектив.

Однако Роджер стоял на своем.

На глаза Джулии попала ее фотография в роли Беатриче. Единственная шекспировская роль в ее жизни. Джулия знала, что плохо выглядит в костюмах той эпохи, хотя никогда не могла понять почему: никто лучше нее не умел носить современное платье. Она все шила себе в Париже—и для сцены, и для личного обихода; портнихи говорили, что ни от кого не получают столько заказов. Фигура у нее прелестная, все это признают: длинные ноги и, для женщины, довольно высокий рост. Жаль, что ей не выпало случая сыграть Розалинду, ей бы очень пошел мужской костюм. Разумеется, теперь уже поздно, а может, и хорошо, что она не

стала рисковать. Хотя при ее блеске, ее лукавом кокетстве и чувстве юмора она, наверное, была бы идеальна в этой роли. Критикам не очень понравилась ее Беатриче. Все дело в этом проклятом белом стихе. Ее голос, низкий, глубокий, грудной голос с такой эффектной хрипотцой, от которой в чувствительном пассаже у вас сжималось сердце, а смешные строки казались еще смешнее, совершенно не годился для белого стиха. Опять же, ее артикуляция: она всегда была настолько четка, что Джулии не приходилось нажимать, и так каждое слово слышно в последних рядах галерки; говорили, что из-за этого стихи звучат у нее, как проза. Все дело в том, думала Джулия, что она слишком современна.

Майкл начал с Шекспира. Это было еще до их знакомства. Он играл Ромео в Кембридже, и после того как, окончив университет, провел год в драматической школе, его ангажировал Бенсон¹. Майкл гастролировал по провинции и играл самые разные роли. Он скоро понял, что с Шекспиром далеко не уедешь, и если он хочет стать ведущим актером, ему надо научиться играть в современных пьесах. В Миддлпуле был театр с постоянной труппой и постоянным репертуаром, привлекавший к себе большое внимание; им заведовал некий Джеймс Лэнгтон. Проработав в труппе Бенсона три года, Майкл написал Лэнгтону, когда они собирались в очередную поездку в Миддлпул, и спросил, нельзя ли с ним повидаться. Джимми Лэнгтон, толстый, лысый, краснощекий мужчина сорока пяти лет, похожий на одного из зажиточных бургеров Рубенса, обожал театр. Он был эксцентричен, самонадеян, полон кипучей энергии, тщеславен и неотразим. Он любил играть, но его внешние данные годились для очень немногих ролей, и слава богу, так как актер он был плохой. Он не мог умерить присущую ему экспансивность, и, хотя внимательно изучал и обдумывал свою роль, все они превращались в гротеск. Он утрировал каждый жест, чрезмерно подчеркивал каждое слово. Но когда он вел репетицию с труппой—иное дело, тогда он не переносил никакой наигранности. Ухо у Джимми было идеальное,

¹ Бенсон, Франк Роберт (1858—1939)—английский актер и режиссер, посвятивший себя постановке шекспировских пьес, организатор ежегодных фестивалей на родине Шекспира— в Стратфорде-на-Эйвоне.

и хотя сам он и слова не мог произнести в нужной тональности, сразу замечал, если фальшивил кто-то другой.

— Не *будьте* естественны,—говорил он актерам.—На сцене не место этому. Здесь все—притворство. Но извольте *казаться* естественными.

Джимми выжимал из актеров все соки. Утром, с десяти до двух, шли репетиции, затем он отпускал их домой учить роли и отдохнуть перед вечерним спектаклем. Он распекал их, он кричал на них, он насмехался над ними. Он недостаточно им платил. Но если они хорошо исполняли трогательную сцену, он плакал, как ребенок, и когда смешную фразу произносили так, как ему хотелось, он хватался за бока. Если он был доволен, он прыгал по сцене на одной ножке, а когда сердился, кидал пьесу на пол и топтал ее, а по его щекам катились гневные слезы. Труппа смеялась над Джимми, ругала его и делала все, чтобы ему угодить. Он возбуждал в них покровительственный инстинкт, все они, до одного, чувствовали, что просто не могут его подвести. Они говорили, что он дерет с них три шкуры, у них и минутки нет свободной, такой жизни даже скотина не выдержит, и при этом им доставляло какое-то особое удовольствие выполнять его непомерные требования. Когда он с чувством пожимал руку старого актера, получающего семь фунтов в неделю, и говорил: «Клянусь богом, старина, ты был просто сногшибателен»,—старик чувствовал себя Чарлзом Кином¹.

Случилось так, что когда Майкл приехал в Миддлпул на встречу, о которой просил в письме, Джимми Лэнгтону как раз требовался актер на амплуа первого любовника. Он догадался, по какому поводу Майкл хочет его видеть, и пошел накануне в театр посмотреть на его игру. Майкл выступал в роли Меркуцио и не очень ему понравился, но когда тот вошел к нему в кабинет, Джимми был поражен его красотой. В коричневом сюртуке и серых брюках из легкой шерсти он, даже без грима, был так хорош, что прямо дух захватывало. У него были непринужденные манеры, и говорил он, как джентльмен. Пока Майкл излагал цель своего визита, Джимми внимательно за ним наблюдал. Если он хоть

¹ Кин, Чарлз Джефри (1811?—1868)—известный английский актер.

как-то может играть, с такой внешностью этот молодой человек далеко пойдет.

— Я видел вашего Меркуцио вчера,—сказал он.—Что вы сами о нем думаете?

— Отвратительный.

— Согласен. Сколько вам лет?

— Двадцать пять.

— Вам, наверное, говорили, что вы красивы?

— Потому-то я и пошел на сцену, а не в армию, как отец.

— Черт побери, мне бы вашу внешность, какой бы я был актер!

Кончилась встреча тем, что Майкл подписал контракт. Он пробыл у Джимми Лэнгтона два года. Вскоре он сделался любимцем труппы. Он был добродушен и отзывчив, не жалел труда, чтобы оказать услугу. Его красота произвела сенсацию в Миддлпуле, и у служебного входа вечно торчала куча девиц, поджидавших, когда он выйдет. Они писали ему любовные письма и посылали цветы. Майкл принимал их поклонение как должное, но не позволял вскружить себе голову. Он стремился к успеху и твердо решил, что не свяжет себя ничем, что может этому помешать. Джимми Лэнгтон скоро пришел к заключению, что, несмотря на настойчивость Майкла и горячее желание преуспеть, из него никогда не получится хороший актер. Спасала Майкла только красота. Голос у него был тонковат и в особо патетические моменты звучал чуть пронзительно. Это скорее было похоже на истерику, чем на бурную страсть. Но самым большим его недостатком в качестве героя-любownika было то, что он не умел изображать любовь. Он свободно вел обычный диалог, умел донести «соль» произносимых им строк, но когда доходило до признания в любви, что-то его сковывало. Он смущался, и это было видно.

— Черт вас подери, не держите девушку так, словно это мешок с картофелем!—кричал на него Джимми Лэнгтон.—Вы целуете ее с таким видом, будто боитесь заразиться простудой! Вы влюблены в нее. Вам должно казаться, будто вы таете, как воск, и если через секунду будет землетрясение и земля вас поглотит, черт с ним, с этим землетрясением!

Но все было напрасно. Несмотря на свою красоту, изящество и непринужденные манеры, Майкл оставался холодным любовником. Это не мешало Джулии стра-

стно им увлечься. Произошло это сразу же, как только Майкл присоединился к их труппе.

У самой Джулии все шло без сучка без задоринки. Родилась Джулия на Джерси, где ее отец, уроженец этого острова, практиковал в качестве ветеринара. Сестра ее матери вышла замуж за француза, торговца углем, который жил в Сен-Мало, и Джулию отправили к ней учиться в местном лицее. По-французски она говорила, как настоящая француженка. Она была прирожденная актриса, и, сколько себя помнила, ни у кого не вызывало сомнений, что она пойдет на сцену. Ее тетушка, мадам Фаллу, была «*en relations*»¹ со старой актрисой, бывшей в молодости *sociétaire*² в *Comédie Française*³. Уйдя из театра, та переселилась в Сен-Мало и жила там на небольшую пенсию, которую назначил ей один из ее любовников, когда они наконец расстались после многих лет верного внебрачного сожительства. К тому времени, когда Джулии исполнилось двенадцать, эта актриса превратилась в толстую, громогласную и деятельную старуху шестидесяти лет с лишком, больше всего на свете любившую вкусно поесть. У нее был звонкий, раскатистый смех и зычный, низкий, как у мужчины, голос. Она-то и давала Джулии первые уроки драматического искусства и научила всем приемам, которые сама в свое время узнала в *Conserwatoire*⁴. Она же рассказывала ей о Рейхенберг, выступавшей в амплуа инженеру до семидесяти лет, о Саре Бернар⁵ и ее золотом горле, о величественном Муне-Сюлли⁶ и великом Коклене. Она читала Джулии длинные отрывки из трагедий Корнеля и Расина так, как привыкла произносить их в *Comédie Française*, и следила, чтобы та разучивала их подобным же образом. Девочка прелестно декламировала полные истомы и страсти монологи Федры, подчеркивая ритм александрийского стиха и выговаривая слова так аффектированно и вместе с тем так драматично. В свое время Жанна Тэбу, должно быть, играла

¹ «В добрых отношениях» (франц.).

² Постоянный член труппы «Комеди Франсез»; здесь: актриса (франц.).

³ «Комеди Франсез» (франц.).

⁴ Высшее музыкальное и театральное училище (франц.).

⁵ Бернар, Сара (1844—1923)—знаменитая французская актриса.

⁶ Муне-Сюлли, Жан (1841—1916)—известный французский актер.

в очень нарочитой манере, но она научила Джулию превосходной артикуляции, научила ходить и держаться на сцене, научила ее не бояться собственного голоса и отшлифовала ее интуитивное умение установить нужный ритм, которое впоследствии стало одним из самых больших ее достоинств.

— Не делай паузы, если в этом нет крайней необходимости,—гремела старая актриса, колотя кулаком по столу,—но уж если сделала, тяни ее, сколько сможешь.

Когда Джулии исполнилось шестнадцать и она пошла в Королевскую академию драматического искусства на Говер-стрит, она уже знала многое из того, чему там учили. Ей пришлось избавиться от некоторых приемов, которые выглядели старомодно, и приучиться к более разговорной манере исполнения. Но она занимала первые места на всех конкурсах, в которых участвовала, и как только окончила школу, почти сразу получила, благодаря своему превосходному французскому, небольшую роль горничной в одном из лондонских театров. Какое-то время казалось, что ее знание французского языка обречет ее только на такие роли, где требуется иностранный акцент, так как следом за французской горничной она играла австрийскую официантку. Прошло два года, прежде чем ее открыл Джимми Лэнгтон. Джулия гастролировала по провинции с мелодрамой, хорошо принятой в Лондоне, в роли итальянки-авантюристки, чьи интриги в конце концов оказываются раскрытыми; она старалась, без особого успеха, изобразить сорокалетнюю женщину. Поскольку ведущая актриса, блондинка зрелого возраста, играла молодую девушку, все представление было лишено правдоподобия. Джимми дал сам себе короткий отпуск, который он проводил, посещая театр за театром, в разных городах. После окончания спектакля он пошел за кулисы познакомиться с Джулией. Джимми был достаточно известен в театральных кругах для того, чтобы его комплименты польстили ей, и когда он пригласил ее назавтра к ленчу, Джулия согласилась.

Не успели они сесть за столик, как он без обиняков приступил к делу.

— Я этой ночью и глаз не сомкнул, все думал о вас.

— Вот это сюрприз! И какие же у вас были мысли—честные или бесчестные?

Джимми пропустил мимо ушей легкомысленный ответ.

— Я участвую в этой игре уже двадцать пять лет. Я был мальчиком, вызывающим актеров на сцену, рабочим сцены, актером, режиссером, рекламным агентом, был даже критиком, черт побери. Я живу среди кулис с самого детства, с тех пор, как вышел из школы, и то, чего я не знаю о театре, и знать не стоит. Я думаю, что вы — огромный талант.

— Очень мило с вашей стороны.

— Заткнитесь. Говорить предоставьте мне. У вас идеальные данные. Подходящий рост, подходящая фигура, каучуковое лицо...

— Очень лестно.

— Еще как. Такое лицо и нужно актрисе. Лицо, которое может быть любым, даже прекрасным, лицо, на котором отражается каждая мысль, проносящаяся в уме. Такое лицо было у Дузе¹. Вчера вечером, хотя вы по-настоящему и не думали о том, что делали, время от времени слова, которые вы произносили, были просто написаны у вас на лице.

— Это ужасная роль. Там и думать-то не о чем. Вы слышали, какую ерунду я должна пороть?

— Ужасными бывают только актеры, а не роли. У вас необыкновенный голос, голос, который может перевернуть всю душу. Как вы в комических ролях — я не знаю, но готов рискнуть.

— Что вы этим хотите сказать?

— Ваше чувство ритма почти безупречно. Этому нельзя научить, должно быть, оно у вас от природы. И это куда лучше. Перехожу к сути дела. Я навел о вас справки. Вы в совершенстве говорите по-французски, поэтому вам дают роли, где нужен ломаный английский язык. На этом, знаете, далеко не уедешь.

— Это все, что я могу получить.

— Вас удовлетворит всю жизнь изображать такие персонажи? Вы застрянете на них, и публика не станет принимать вас ни в каком другом амплуа. Вы всегда будете на второстепенных ролях. Самое большое — двадцать фунтов в неделю и гибель большого таланта.

¹ Дузе, Элеонора (1859—1924) — итальянская актриса.

— Я всегда думала, что наступит день, и я получу настоящую роль.

— Когда? Вы можете прождать десять лет. Сколько вам сейчас?

— Двадцать.

— Сколько вы получаете?

— Пятнадцать фунтов в неделю.

— Неправда. Вы получаете двенадцать, и это куда больше того, что вы сейчас стоите. Вам еще всему надо учиться. Ваши жесты банальны. Вы даже не догадываетесь, что каждый жест должен что-то означать. Вы не умеете заставить публику смотреть на вас до того, как вы заговорите. Вы слишком грубо накладываете грим. С таким лицом, как у вас, чем меньше грима, тем лучше. Вы хотите стать звездой?

— Кто же не хочет?

— Переходите ко мне, и я сделаю вас величайшей актрисой Англии. Вы быстро запоминаете текст? Наверное, да, в вашем возрасте...

— Думаю, могу слово в слово запомнить любую роль через двое суток.

— Вам нужен опыт, и я—для того, чтобы вас сделать. Переходите ко мне, и вы будете иметь двадцать ролей в год. Ибсен, Шоу, Баркер, Зудерман, Хэнкин, Голсуорси. В вас есть огромное обаяние, но, судя по всему, вы еще не имеете ни малейшего представления, как им пользоваться.—Джимми засмеялся коротким смешком.—А если бы имели, эта старая карга в два счета выжила бы вас из труппы. Вы должны брать публику за горло и говорить: «Эй вы, собаки, глядите-ка на меня». Вы должны властвовать над ней. Если у человека нет таланта, никто ему его не даст, но если талант есть, можно научить им пользоваться. Говорю вам, у вас есть все задатки великой актрисы. Я еще никогда в жизни ни в чем не был так уверен.

— Я знаю, что мне не хватает опыта. Конечно, мне надо подумать о вашем предложении. Я бы не прочь перейти к вам на один сезон.

— Идите к черту. Вы воображаете, я смогу за один сезон сделать из вас актрису? Стану тянуть из себя жилы, чтобы вы дали несколько приличных представлений, а потом уехали в Лондон играть какую-нибудь ничтожную роль в коммерческой пьесе? За какого же кретина вы меня принимаете! Я подпишу с вами контракт на три

года, я буду платить вам восемь фунтов в неделю, и работать вам придется, как лошади.

— О восьми фунтах в неделю не может быть и речи. Это смешно. Такого предложения я принять не могу.

— Прекрасно можете. Это все, чего вы сейчас стоите, и все, что вы будете получать.

Джулия пробыла в театре три года и успела к этому времени многое узнать. К тому же Жанна Тэбу, не отличавшаяся строгой моралью, поделилась с ней массой полезных сведений.

— А не рассчитываете ли вы случайно, что за эти же деньги я стану спать с вами?

— О господи, неужели вы думаете, у меня есть время крутить романы с актрисами моей труппы? У меня куча куда более важных дел, детка. И вы увидите, что после четырех часов репетиций, не говоря уж об утренних представлениях, да после того, как вы сыграете вечером в спектакле так, что я буду вами доволен, у вас тоже не будет ни времени, ни желания заниматься любовью. Когда вы ляжете наконец в постель, вам одного захочется — спать.

Но тут Джимми Лэнгтон ошибся.

Глава третья

Джулия, захваченная энтузиазмом и фантастической энергией Лэнгтона, приняла предложение. Джимми начал с ней со скромных ролей, которые под его руководством она играла так, как никогда раньше. Он заинтересовал ею критиков, польстил им, сделав вид, будто это они открыли новый необыкновенный талант, и, незаметно для них самих, выудил предложение показать ее публике в роли Магды¹. Джулия имела колоссальный успех, и тогда Джимми дал ей одну за другой Нору в «Кукольном доме»², Энн в «Человек и сверхчеловек»³ и Гедду Габлер⁴. Миддлпульцы были в восторге, обнаружив в своем театре актрису, которая могла затмить любую лондонскую звезду, и, чтобы

¹ Героиня драмы Германа Зудермана (1857—1928) «Родина».

² Драма Г. Ибсена.

³ Пьеса Б. Шоу.

⁴ Героиня одноименной драмы Г. Ибсена.

увидеть ее, ломились на такие спектакли, на которые раньше ходили только из местного патриотизма. О Джулии стали упоминать в столичных газетах, и многие восторженные ценители драмы специально приезжали в Миддлпул на нее посмотреть. Они возвращались, превознося ее до небес, и два или три лондонских антрепренера послали своих представителей, чтобы они дали о ней свой отзыв. Те колебались. В драмах Шоу и Ибсена она была хороша, а какой она окажется в обычной пьесе? У антрепренеров уже был печальный опыт. Прельстившись выдающейся игрой какого-нибудь актера в одной из этих чудных пьес, они подчас заключали с ним контракт, а потом обнаруживалось, что во всех остальных пьесах он играет ничуть не лучше других.

Когда Майкл присоединился к их труппе, Джулия играла в Миддлпуле уже целый год. Джимми выпустил его в роли Марчбенкса в «Кандиде»¹. Это оказался правильный выбор, как того и следовало ожидать, ибо в этой роли красота Майкла была большим преимуществом, а отсутствие темперамента не являлось недостатком.

...Джулия протянула руку и взяла первую из картонных коробок, в которых лежали фотографии Майкла. С удобством расположившись на полу, она быстро просматривала его ранние фотографии в поисках той, которая была сделана, когда он впервые приехал в Миддлпул. Когда она наконец нашла снимок, сердце ее вдруг сжалось от острой боли. Несколько секунд Джулия боролась со слезами. Такой он тогда и был. Кандиду играла немолодая актриса, обычно выступавшая в характерных ролях или в ролях матерей и старых тетушек, и Джулия, которая была занята только по вечерам, посещала все репетиции. Она влюбилась в Майкла с первого взгляда. Джулия никогда в жизни не видела такого красавца и стала упорно добиваться его. Выждав время, Джимми поставил «Привидения»², с риском навлечь на себя гнев респектабельного Миддлпула. Майкл играл в нем юношу, Джулия — Регину. Они читали друг другу свои роли, а после репетиции вместе

¹ Пьеса Б. Шоу.

² Драма Г. Ибсена.

перекусывали—очень скромно,—чтобы их обсудить. Вскоре они стали неразлучны. Джулия не могла совладать с собой и безудержно льстила Майклу. Он не был тщеславен: зная, что красив, он выслушивал комплименты по этому поводу не то чтобы безразлично, но так, словно речь шла о прекрасном старом доме, который переходил в их семье из поколения в поколение. Было известно, что это один из лучших образчиков архитектуры своей эпохи, им гордились, о нем заботились, но в том, что он существовал, не было ничего особенного, владеть им казалось так же естественно, как дышать. Майкл был неглуп и честолюбив; он знал, что красота—пока его главный козырь, но знал также, что она недолговечна, и твердо решил стать хорошим актером, чтобы в дальнейшем опираться на кое-что еще, кроме внешних данных. Он намеревался научиться у Джимми Лэнгтона всему, чему можно, а затем уехать в Лондон.

— Если я хорошо использую обстоятельства, может быть, я найду какую-нибудь старуху, которая субсидирует меня и поможет открыть собственный театр. Это единственный способ сколотить состояние.

Джулия скоро обнаружила, что Майкл не очень-то любит тратиться, и когда они завтракали или отправлялись по воскресеньям на небольшую прогулку, не забывала вносить свою долю в их расходы. Джулия ничего не имела против этого. Ей нравилось, что он считает пенни, и, будучи сама склонна сорить деньгами, вечно запаздывая на неделю, а то и на две с квартирной платой, она восхищалась тем, что он терпеть не может влезать в долги и даже при своем скудном жаловании умудряется регулярно кое-что откладывать. Майкл хотел скопить достаточную сумму к тому времени, как переберется в Лондон, чтобы иметь возможность не хвататься за первую предложенную роль, а подождать, пока подвернется что-нибудь стоящее. Родители его жили на небольшую пенсию и должны были лишить себя самого необходимого, чтобы послать его в Кембридж. Однако отец, которому не очень-то нравилось намерение Майкла идти на сцену, был тверд.

— Если ты решил стать актером, я, по-видимому, не смогу тебе помешать,—сказал он,—но, черт подери, я настаиваю, чтобы ты получил образование, приличествующее джентльмену.

Джулия с удовлетворением узнала, что отец Майкла был полковник в отставке, на нее произвел большое впечатление рассказ об их предке, проигравшем при регентстве в карты все свое состояние, ей нравилось кольцо с печаткой, которое носил Майкл, где была выгравирована кабанья голова и девиз: «*немо me impune lacessit*».

— Мне кажется, ты больше гордишься своей семьей, чем тем, что похож на греческого бога,— нежно говорила она ему.

— Кто угодно может быть красив,— отвечал он со своей привлекательной улыбкой,— но не всякий может похвалиться добропорядочной семьей. Сказать по правде, я рад, что мой отец — джентльмен.

Джулия собралась с духом и сказала:

— А мой — ветеринар.

На секунду лицо Майкла окаменело, но он тут же справился с собой и рассмеялся.

— Конечно, это не имеет особого значения, кто у тебя отец. Я часто слышал, как мой отец вспоминал о полковом ветеринаре. Он был у них на равных с офицерами. Отец всегда говорил, что он был один из лучших людей в полку.

Джулия была рада, что Майкл окончил Кембридж. Он был в гребной команде своего колледжа, и одно время поговаривали о том, чтобы включить его в университетскую сборную.

— Я, понятно, очень этого хотел. Это бы так пригодились в дальнейшем. Можно было бы прекрасно использовать для рекламы.

Джулия не могла сказать, знает он, что она в него влюблена, или нет. Сам он никогда никаких авансов не делал. Ему нравилось ее общество, и, когда они оказывались в компании, он почти не отходил от нее. Иногда их приглашали в воскресенье в гости, на обед или на роскошный холодный ужин, и ему казалось вполне естественным, что они идут туда вместе и вместе уходят. Он целовал ее, прощаясь у двери, но так, как мог бы целовать пожилую актрису, с которой играл в «Кандиде». Майкл был сердечен, добродушен, ласков, но, как ей это ни было больно, Джулия не могла не видеть, что она для него всего лишь товарищ. Однако знала она и то, что ни в кого другого он тоже не влюблен. Любовные письма, которые ему писали, он со смехом читал ей

вслух, а когда женщины присылали ему цветы, тут же отдавал их Джулии.

— Вот идиотки,— говорил он.— Какого черта они хотят этим достичь?

— Мне кажется, об этом нетрудно догадаться,— сухо отвечала Джулия. Хотя ей было известно, что он ни во что не ставит эти знаки внимания, она все равно злилась и ревновала.

— Я был бы последним дураком, если бы связался с кем-нибудь здесь, в Миддлпуле. В большинстве это все желторотые девчонки. Не успею я и глазом моргнуть, как на меня накинется разгневанный родитель и скажет: а не хотите ли вы под венец?

Джулия пыталась узнать, не было ли у него интрижки, когда он играл в труппе Бенсона. Она постепенно выяснила, что некоторые из молодых актрис были склонны ему докучать, но он считал, что связываться с женщинами из своей труппы — страшная ошибка. Это никогда не доводит до добра.

— Ты же знаешь, какие актеры сплетники! Всем все будет известно через двадцать четыре часа. И когда начнешь что-нибудь в этом роде, никогда не скажешь заранее, чем все кончится. Нет, я не собирался рисковать.

Когда Майклу хотелось поразвлечься, он ждал, пока они не окажутся неподалеку от Лондона, мчался туда и подцеплял девчонку в ресторане «Глобус». Конечно, это было дорого и, по сути дела, не стоило затраченных денег; к тому же у Бенсона он много играл в крикет и, если представлялась возможность, в гольф, а всякие такие вещи вредны для глаз.

Джулия выдала ему наглую ложь:

— Джимми говорит, я куда лучше играла бы, если бы завела роман.

— Не верь ему. Он просто грязный старикашка. С кем? Наверное, с ним? Все равно что сказать, будто я лучше сыграл бы Марчбенкса, если бы писал стихи.

Они столько разговаривали друг с другом, что рано или поздно она должна была выяснить его взгляды на брак.

— Я думаю, актер — просто дурак, если он женится молодым. Я знаю кучу примеров, когда это совершенно загубило человеку карьеру. Особенно если он женится

на актрисе. Он делается звездой, и тогда она камнем висит у него на шее. Она хочет играть с ним, и, если у него своя труппа, он вынужден отдавать ей первые роли, а пригласи он кого-нибудь другого, она станет устраивать ему ужасные сцены. Всегда есть опасность, что у нее родится ребенок, и ей придется отказаться от превосходной роли. Она на много месяцев исчезнет с глаз публики, а ты сама знаешь, что такое публика — с глаз долой, из сердца вон. Если она не видит тебя каждый день, она вообще забывает о твоём существовании.

Замужество! Что ей было замужество? Сердце таяло у нее в груди, когда она смотрела в его глубокие ласковые глаза, она трепетала от мучительного восторга, когда любовалась его блестящими каштановыми кудрями. Что бы она ему ни отдала, если бы он попросил? Но мысль об этом ни разу не закралась в его красивую голову.

«Конечно, я ему нравлюсь,— сказала себе Джулия.— Нравлюсь больше, чем кто-либо другой, он даже восхищается мной, но я не привлекаю его как женщина».

Джулия сделала все, чтобы его соблазнить, разве что не легла к нему в постель, и то лишь по одной причине — не представлялось удобного случая. Она стала опасаться, что они чересчур хорошо узнали друг друга, вряд ли их отношения смогут теперь принять другой характер, и горько упрекала себя за то, что не довела дела до конца, когда они только познакомились. Майкл слишком искренне сейчас к ней привязан, чтобы стать ее любовником. Джулия разузнала, когда у него день рождения, и подарила ему золотой портсигар — вещь, которую ему хотелось иметь больше всего на свете. Он стоял куда дороже, чем она могла себе позволить, Майкл с улыбкой попенял ей за мотовство. Он и не догадывался, с каким экстатическим наслаждением тратила она на него деньги. Когда настал ее день рождения, Майкл преподнес ей полдюжины шелковых чулок. Джулия сразу увидела, что они неважного качества. Бедный ягненок, ему трудно было заставить себя войти в большой расход, но она была очень тронута тем, что он вообще сделал ей подарок, и чуть не расплакалась.

— Ну и чувствительная ты, крошка,— сказал Майкл, однако он был умилен — ему польстили ее слезы.

Его бережливость казалась Джулии привлекательной чертой. Майкл просто не мог сорить деньгами. Он был не то чтобы скуп, просто расчетлив. Один или два раза в ресторане ей показалось, что он недостаточно дал на чай официанту, но когда она отважилась запротестовать, он и ухом не повел. Он давал ровно десять процентов и, если у него не было мелочи и он не мог дать точной суммы, спрашивал сдачу.

«В долг не бери и займы не давай»,— цитировал он Полония.

Когда кто-либо из членов труппы, оказавшись временно на мели, пытался занять у Майкла деньги, это было пустой затеей. Но отказывал он так бесхитростно, с такой сердечностью, что на него не обижались.

— Дружище, я был бы счастлив одолжить тебе пару монет, но я и сам в кулак свищу. Не представляю, как заплачу за жилье в конце недели.

В течение первых месяцев Майкл так был занят собственными ролями, что не имел возможности заметить, какая Джулия прекрасная актриса. Он, конечно, читал отзывы в газетах, где полно было похвал по ее адресу, но читал бегло, пока не доходил до строк, посвященных лично ему. Он бывал доволен, когда его одобряли, и не расстраивался, когда его бранили. Майкл был слишком скромн, чтобы возмущаться нелестными отзывами.

— Наверное, я и вправду был ужасен,— говорил он.

Самой приятной чертой в характере Майкла было его добродушие. Он переносил все громы и молнии Джимми Лэнгтона с полной невозмутимостью. Когда после долгой репетиции у остальных актеров начинали сдавать нервы, он оставался безмятежен. С ним было просто невозможно поссориться. Однажды Майкл сидел в зрительном зале и смотрел репетицию того акта, где сам он не играл. В конце была очень сильная и трогательная сцена, в которой Джулия имела возможность показать свой талант. Пока готовили декорации для следующего акта, Джулия прошла в зал и села рядом с Майклом. Он продолжал сидеть молча, сурово глядя прямо перед собой.

Джулия удивилась: не улыбнуться ей, не бросить дружеского слова—это было на него непохоже. И тут она увидела, что он стискивает зубы, чтобы они не стучали, и что глаза его полны слез.

— Что случилось, милый?

— Не заговаривай со мной. Маленькая чертовка, ты заставила меня плакать.

— Ангел!

На глаза Джулии тоже навернулись слезы и потекли по щекам. Она была так счастлива, так польщена!

— А, пропади оно все пропадом,— всхлипнул Майкл.— Ничего не могу с собой поделать.

Он вынул из кармана платок и вытер глаза.

(«Я люблю его, люблю, люблю!»)

Майкл высморкался.

— Стало немного лучше, но, клянусь богом, ты меня потрясла.

— Неплохая сцена, правда?

— При чем тут сцена? Все дело в тебе. Ты перевернула мне всю душу. Критики правы, черт побери, ты — настоящая актриса, ничего не скажешь.

— И ты только сейчас это увидел?

— Я знал, что ты хорошо играешь, но и понятия не имел, что так хорошо. Мы все рядом с тобой ничто. Ты будешь звездой. Что бы ни стояло у тебя на пути.

— Тогда ты будешь моим партнером.

— Черта лысого это мне удастся у лондонских антрепренеров.

Джулию осенило:

— Значит, ты сам должен стать антрепренером и сделать меня исполнительницей главных ролей.

Майкл помолчал. Он был немного тугодум, и ему требовалось время, чтобы оценить по достоинству новую мысль.

— Знаешь, а это совсем неплохая идея.

За ленчем они обсудили ее поподробнее. Говорила в основном Джулия, Майкл слушал с глубоким интересом.

— Конечно, единственный способ постоянно иметь хорошие роли — это самому быть антрепренером труппы,— сказал он.

Все упиралось в деньги. Они прикинули, с чего можно начать. Майкл считал, что им надо минимум пять тысяч фунтов. Но как, скажите на милость, им раздобыть такую сумму? Конечно, некоторые из миддлпульских фабрикантов просто купаются в золоте, однако вряд ли можно ожидать, что они раскошелятся на пять тысяч фунтов, чтобы помочь двум молодым актерам, заслужив-

шим только местную славу. К тому же они ревниво относились к Лондону.

— Придется тебе поискать богатую старуху,— весело сказала Джулия.

Она лишь наполовину верила всему, что говорила, но ей было приятно обсуждать проект, который еще больше сблизил бы ее с Майклом. Однако Майкл был вполне серьезен.

— Я не думаю, что в Лондоне можно добиться успеха, пока тебя как следует не узнают. Самое верное — года три-четыре поиграть в чужих труппах; нужно разведать все ходы и выходы. Это имеет еще одно преимущество — у нас будет время познакомиться с пьесами. Безумие открывать свой театр, не имея в запасе по крайней мере трех пьес. Одна из них должна стать гвоздем сезона.

— Конечно, и нам надо непременно играть вместе, чтобы публика привыкла видеть наши имена на одной и той же афише.

— Не думаю, чтобы это имело особое значение. Главное — завоевать в Лондоне хорошую репутацию, тогда нам куда легче будет найти людей, которые финансируют наше предприятие.

Глава четвертая

Дело шло к пасхе, а Джимми Лэнгтон всегда закрывал театр на страстную неделю. Джулия не представляла, куда ей себя девать; вряд ли стоило ехать в Джерси на такое короткое время. Однажды утром она неожиданно получила письмо от миссис Госселин, матери Майкла, где говорилось, что она доставит им с полковником большое удовольствие, если приедет на недельку вместе с Майклом к ним в Челтнем. Когда она показала письмо Майклу, он просиял.

— Я попросил ее тебя пригласить. Я думал, это будет приличнее, чем просто взять тебя с собой.

— Ты — душка. Конечно, я буду очень рада поехать.

Сердце Джулии трепетало от счастья. Что могло быть восхитительней, чем провести целую неделю вместе с Майклом! И это так на него похоже: прийти на выручку, когда ему стало известно, что она не знает, что бы ей

предпринять. Но тут она увидела, что он чем-то обеспокоен.

— В чем дело?

Майкл смущенно рассмеялся.

— Понимаешь, дорогая, мой отец немного старомоден, есть вещи, которые ему уже трудно постигнуть. Конечно, я не хочу, чтобы ты лгала, но боюсь, ему покажется странным, что твой отец был ветеринар. Когда я спросил их в письме, могу ли я тебя привезти, я написал, что он был врач.

— Ну, это не имеет значения.

Джулия сразу увидела, что полковник далеко не так страшен, как она ожидала. Он был худой, невысокого роста, с морщинистым лицом и коротко подстриженными седыми волосами. В его чертах сквозило несколько подержанное благородство. Он вызывал в памяти профиль на монете, которая слишком долго находилась в обращении. Держался он любезно, но сдержанно. Он не был ни раздражителен, ни деспотичен, как боялась Джулия, знакомая с полковниками только по сцене. Она не представляла себе, как этим учтивым, довольно холодным голосом можно выкрикивать слова команды. По правде говоря, полковник Госселин вышел в отставку с почетным званием шефа полка после ничем не выдающейся службы и уже много лет довольствовался тем, что копался у себя в саду и играл в бридж в клубе. Он читал «Таймс», по воскресеньям ходил в церковь и сопровождал жену на чаепития в гости. Миссис Госселин была высокая полная пожилая женщина, куда выше мужа; при взгляде на нее чудилось, будто она все время старается съежиться. В ее лице еще сохранились следы былой привлекательности, и можно было поверить, что в молодости она была настоящая красавица. Она носила волосы на прямой пробор и закручивала их узлом на затылке. Благодаря росту и классическим чертам лица миссис Госселин показалась Джулии при первой встрече весьма внушительной, но вскоре она обнаружила, что та на редкость застенчива. Движения ее были неловки и скованны, одета она была безвкусно, со старомодной роскошью, которая совсем ей не шла. Джулия, не смущавшаяся ни при каких обстоятельствах, нашла конфузливость этой немолодой уже женщины трогательной. Миссис Госселин никогда не приходилось встречаться с актрисой, и она не знала, как себя держать в

этом затруднительном положении. Дом отнюдь не был великолепным — небольшой оштукатуренный особнячок в саду с живой изгородью из лавровых кустов. Поскольку Госселины несколько лет провели в Индии, в комнатах стояли большие медные подносы и вазы, на замысловатых резных столиках лежали индийские вышивки. Все это была дешевка, которую там продают на базарах, и приходилось только удивляться, что кто-то счел нужным везти все это домой, в Англию.

Джулия была далеко не глупа. Ей не понадобилось много времени, чтобы увидеть, что полковник, при всей его сдержанности, и миссис Госселин, при всей ее робости, критически изучают и оценивают ее. У нее мелькнула мысль, что Майкл привез ее родителям на смотрины. Зачем? Ответ мог быть только один, и когда он пришел Джулии в голову, сердце подскочило у нее в груди. Она видела: ему очень хочется, чтобы она произвела хорошее впечатление. Джулия интуитивно поняла, что должна скрыть в себе актрису и, без всякого усилия, без сознательного намерения, просто потому, что чувствовала — это должно понравиться, стала играть роль простой, скромной, простодушной девушки, всю жизнь спокойно жившей на лоне природы. Она гуляла с полковником по саду и, затаив дыхание, слушала разглагольствования о горохе и спарже; она помогала миссис Госселин поливать цветы и стирала пыль с бесчисленных безделушек, которыми была забита гостиная. Она говорила с ней о Майкле. Рассказывала, как талантливо он играет, какой пользуется популярностью, восхищалась его красотой. Джулия видела: миссис Госселин очень им гордится, и внутренний голос ей подсказал, что той понравится, если она покажет, конечно, чрезвычайно тактично, словно предпочла бы держать это в тайне и лишь нечаянно выдала себя, как она, Джулия, прямо по уши влюблена в ее сына.

— Разумеется, мы надеемся, что он добьется успеха,— сказала миссис Госселин.— Мы не очень-то были рады, когда он задумал идти на сцену; мы по обеим линиям потомственные военные, но он ни о чем другом и слышать не хотел.

— Да, конечно, я понимаю, о чем вы говорите.

— Я знаю, сейчас все иначе, чем в дни моей молодости, но ведь он все же настоящий джентльмен.

— О, теперь, знаете, на сцену идут самые порядочные люди. Теперь не то, что в старые времена.

— Вероятно, да. Я так рада, что он привез вас к нам. Я немного волновалась. Я думала, вы будете накрашены и... возможно, несколько вульгарны. Ни одна живая душа не догадалась бы, что вы—актриса.

(«Еще бы, черт побери. Никто бы так не сыграл сельскую барышню, как я это делаю вот уже два дня».)

Полковник начал отпускать по ее адресу шуточки и даже иногда игриво дергал ее за ухо.

— Право, полковник, вы не должны со мной флиртовать!—воскликала она, кидая на него очаровательный плутовской взгляд.—Только потому, что я—актриса, вы думаете, можно позволить себе со мной вольности!

— Джордж, Джордж,—улыбалась миссис Госселин. Затем, обращаясь к Джулии, добавляла:—Он всегда был любитель поухаживать.

(«Черт возьми, все идет как по маслу!»)

Миссис Госселин рассказывала ей об Индии, о том, как странно было, что все слуги—темнокожие, но общество там было очень приличное, только правительственные чиновники и военные, однако дома все же лучше, и она была очень рада, когда приехала обратно в Англию.

Возвращаться они должны были в понедельник, на второй день пасхи, потому что уже был назначен спектакль, и накануне вечером после ужина полковник сказал, что ему надо пойти в кабинет написать несколько писем; через несколько минут миссис Госселин тоже поднялась с места—пошла поговорить с кухаркой. Когда они остались одни, Майкл закурил, стоя у камина.

— Боюсь, здесь было не очень-то весело. Надеюсь, ты не слишком скучала?

— Здесь было божественно.

— Ты имела колоссальный успех у родителей. Ты им страшно понравилась.

«Господи, я достаточно потрудились для этого»,—подумала Джулия, но вслух она сказала:

— Откуда ты знаешь?

— Вижу. Отец говорит, ты—настоящая леди, ни капли не похожа на актрису, а мать утверждает, что ты очень благоразумна.

Джулия опустила глаза, словно похвалы эти были слишком преувеличены. Майкл пересек комнату и стал

перед ней. У нее вдруг мелькнула мысль, что он сейчас похож на красивого молодого лакея, который просит взять его на службу. Он был непривычно взволнован. Сердце чуть не выскакивало у нее из груди.

— Джулия, дорогая, ты выйдешь за меня замуж?

Всю эту неделю она спрашивала себя, сделает ли он ей предложение, но теперь, когда это наконец свершилось, она почувствовала себя странно смущенной.

— Майкл!

— Я не хочу сказать: немедленно. Когда мы станем на ноги, продвинемся хотя бы на один шаг по пути к успеху. Я знаю, на сцене мне с тобой не тягаться, но вместе мы легче добьемся победы, а когда откроем собственный театр, из нас выйдет неплохая упряжка. Ты ведь знаешь, что ты мне ужасно нравишься. Я хочу сказать, ни одна девушка и в подметки тебе не годится.

(«Дурак несчастный! Ну чего он городит всю эту чепуху?! Неужели не понимает, что я до смерти хочу за него выйти? Почему он не целует меня? Ну почему? Почему? Хватит у меня духу сказать, что я просто больна от любви к нему?»)

— Майкл, ты так красив. Кто может тебе отказать?

— Дорогая!

(«Я лучше встану. Он не догадается сесть. Господи, сколько раз Джимми заставлял его репетировать эту сцену!»)

Джулия встала на ноги и подняла к нему лицо. Он заключил ее в объятия и поцеловал.

— Я должен сказать матери.

Он отстранился от Джулии и пошел к двери.

— Мама, мама!

Через секунду полковник и миссис Госселин вошли в комнату. На лицах было счастливое ожидание.

(«Черт подери, это все было подстроено!»)

— Мама, отец, мы обручились.

Миссис Госселин заплакала. Своей неловкой тяжелой поступью подошла к Джулии, обняла ее и поцеловала сквозь слезы. Полковник горячо пожал сыну руку и, высвободив Джулию из объятий жены, тоже ее поцеловал. Он был глубоко растроган. Все эти изъятия чувств действовали на Джулию, и, хотя она счастливо улыбалась, у нее по щекам заструились слезы. Майкл сочувственно наблюдал эту умильную сцену.

— Как вы смотрите, не открыть ли нам бутылочку шампанского, чтобы отметить это событие? — спросил он. — Похоже, что мама и Джулия совсем расстроились.

— За дам, благослови их господь, — сказал полковник, когда бокалы были наполнены.

Глава пятая

Теперь Джулия держала в руках фотографию, где она была снята в подвенечном платье.

«Господи, ну и пугало!»

Они решили сохранить помолвку в тайне, и Джулия сказала о ней только Джимми Лэнгтону, двум или трем девушкам в труппе и своей костюмерше. Она брала с них слово молчать и удивлялась, каким образом через двое суток все в театре обо всем знали. Джулия была на седьмом небе от счастья. Она любила Майкла еще более страстно, чем раньше, и с радостью выскочила бы за него немедленно, но его благоразумие оказалось сильнее. Что они такое? Двое провинциальных актеров. Начинать завоевание Лондона в качестве соединенной узами брака пары — значило ставить на карту возможность достичь успеха. Джулия намекнула так прозрачно, как смогла, яснее некуда, что вполне готова стать его любовницей, но на это он не пошел. Он был слишком порядочен, чтобы воспользоваться ее любовью.

— «Ты б не была мне так мила, не будь мне честь милее!»¹ — процитировал он.

Майкл был уверен, что, когда они поженятся, они будут горько сожалеть, что стали жить как муж и жена еще до свадьбы. Джулия гордилась его принципами. Он был внимателен, ласков, нежен, но довольно скоро стал смотреть на нее как на что-то привычное, само собой разумеющееся; по его манере, дружеской, но немного небрежной, можно было подумать, будто они женаты уже много лет. Однако с присущей ему добротой он снисходительно и даже благосклонно принимал все знаки ее любви. Джулия обожала сидеть, прижавшись к

¹ Из стихотворения Ричарда Лавлейса (1618—1658) «Лукасте, уходя на войну».

Майклу—его рука обнимает ее за талию, ее щека прижата к его щеке,—а уж если она могла приникнуть алчным ртом к его довольно-таки тонким губам, это было поистине райским блаженством. И хотя Майкл, когда они сидели вот так, предпочитал обсуждать роли, которые они играли, или планы на будущее, она все равно была счастлива. Ей никогда не надоедало восхищаться его красотой. Было сладостно чувствовать, когда она говорила ему, какой точеный у него нос, как прекрасны его кудрявые каштановые волосы, что рука Майкла чуть крепче сжимает ей талию, видеть нежность в его глазах.

— Любимая, я стану тщеславен, как павлин.

— Но ведь просто глупо отрицать, что ты божественно хорош.

Джулия на самом деле так думала и говорила об этом, потому что это доставляло ей удовольствие, но не только потому—она знала, что и он с удовольствием слушает ее комплименты. Майкл относился к ней с нежностью и восхищением, ему было легко с ней, он ей доверял, но Джулия прекрасно знала, что он в нее не влюблен. Она утешала себя тем, что он любит ее так, как может, и думала, что, когда они поженятся, ее страсть пробудит в нем ответную страсть. А пока она призвала на помощь весь свой такт и проявляла максимальную сдержанность. Она знала, что не может позволить себе ему докучать. Знала, что не должна быть ему в тягость, что он никогда не должен чувствовать, будто обязан чем-то поступаться ради нее. Майкл мог оставить ее ради игры в гольф или завтрака со случайным знакомым—она никогда не показывала ему даже намеком, что ей это неприятно. И, подозревая, что ее сценический успех усиливает его чувство, Джулия трудилась, как каторжная, чтобы хорошо играть.

На второй год их помолвки в Миддлпул приехал американский антрепренер, выискивавший новые таланты и прослышавший про труппу Джимми Лэнгтона. Он был очарован Майклом. Он послал ему за кулисы записку с приглашением зайти к нему в гостиницу на следующий день. Майкл, еле живой от волнения, показал записку Джулии; означать это могло только одно: ему хотят предложить ангажемент. У Джулии упало сердце, но она сделала вид, что она в таком же восторге, как он, и на следующий день пошла вместе с ним. Она

осталась в холле, а Майкл отправился беседовать с великим человеком.

— Пожелай мне удачи,—шепнул он, подходя к кабине лифта.—Это слишком хорошо, чтобы можно было поверить.

Джулия сидела в кожаном кресле и всем сердцем желала, чтобы антрепренер предложил Майклу такую роль, которую он отвергнет, или жалованье, принять которое Майкл сочтет ниже своего достоинства. Или, наоборот, попросит Майкла прочесть роль, на которую хочет его пригласить, и увидит, что она ему не по зубам. Но когда полчаса спустя Майкл спустился в холл, Джулия поняла по его сияющим глазам и легкой походке, что контракт заключен. На какой-то миг Джулии показалось, будто ей сейчас станет дурно, и, пытаясь выдавить на губах счастливую улыбку, она почувствовала, что мышцы не повинуются ей.

— Все в порядке. Он говорит, это чертовски хорошая роль — молодого парнишки, девятнадцати лет. Восемь или девять недель в Нью-Йорке, затем гастроли по стране. Сорок недель, как одна, в труппе Джона Дру¹. Двести пятьдесят долларов в неделю.

— Любимый, я так за тебя рада.

Было ясно, что он ухватился за предложение обеими руками. Мысль о том, чтобы отказаться, даже не пришла ему в голову.

«А я... я,—думала она,—если бы мне посулили тысячу долларов в неделю, я бы не поехала, чтобы не разлучаться с ним».

Джулия была в отчаянии. Она ничем не сможет ему помешать. Надо притворяться, будто она на седьмом небе от счастья. Майкл был слишком возбужден, чтобы сидеть на месте, и они вышли на людную улицу.

— Это редкая удача. Конечно, в Америке все дорого, но я постараюсь тратить от силы пятьдесят долларов в неделю; говорят, американцы очень гостеприимны, и я смогу угощаться на даровщинку. Не вижу, почему бы мне не скопить за сорок недель восемь тысяч долларов, а это тысяча шестьсот фунтов.

(«Он не любит меня. Ему на меня плевать. Я его ненавижу. Я готова его убить. Черт побери этого американца!»)

¹ Дру, Джон (1853—1927)—американский актер.

— А если он оставит меня на второй год, я буду получать триста долларов в неделю. Это значит, что за два года я скоплю большую часть нужных нам четырех тысяч фунтов. Почти достаточно, чтобы начать дело.

— На второй год?!— На какой-то миг Джулия перестала владеть собой, и в голосе ее послышались слезы.— Ты хочешь сказать, что уедешь на два года?

— Ну, летом я, понятно, вернусь. Они оплачивают мне обратный проезд, и я поеду домой, чтобы поменьше тратиться.

— Не знаю, как я тут буду без тебя!

Она произнесла эти слова весело, даже небрежно, словно из одной вежливости.

— Мы с тобой великолепно проведем время летом, и, знаешь, год, даже два пролетят в мгновение ока.

Майкл шел куда глаза глядят, но Джулия все время незаметно направляла его к известной ей цели, и как раз в этот момент они оказались перед дверьми театра. Джулия остановилась.

— Пока. Мне надо заскочить повидать Джимми. Лицо Майкла омрачилось.

— Неужели ты хочешь меня бросить? Мне же не с кем поговорить. Я думал, мы зайдем куда-нибудь, перекусим перед спектаклем.

— Мне ужасно жаль. Джимми меня ждет, а ты сам знаешь, какой он.

Майкл улыбнулся ей своей милой, добродушной улыбкой.

— Ну, тогда иди. Я не буду таить на тебя зла за то, что ты подвела меня раз в жизни.

Он направился дальше, а Джулия вошла в театр через служебный вход. Джимми Лэнгтон устроил себе в мансарде крошечную квартирку, попасть в которую можно было через балкон первого яруса. Джулия позвонила у двери. Открыл ей сам Джимми. Он был удивлен, но рад.

— Хелло, Джулия, входи.

Она прошла мимо него, не говоря ни слова, и лишь когда оказалась в его захлавленной, усеянной листами рукописей, книгами и просто мусором гостиной, обернулась и посмотрела ему в лицо. Зубы ее были стиснуты, брови нахмурены, глаза метали молнии.

— Дьявол!

Одним движением она подскочила к нему, схватила обеими руками за растянутый ворот рубахи и встряхнула. Джимми попытался высвободиться, но она была сильная, к тому же разъярена.

— Прекрати!

— Дьявол, свинья, грязная, подлая скотина!

Джимми размахнулся и отпустил ей пощечину. Джулия инстинктивно выпустила его и прижала руку к лицу, так как ударил он больно. Джулия заплакала.

— Негодяй! Шелудивый пес! Бить женщину!

— Это ты говори кому-нибудь другому, милочка. Ты разве не знаешь, что, если меня ударят, пусть даже и женщина, я ударю в ответ?

— Я вас не трогала.

— Ты чуть не задушила меня.

— Вы это заслужили. О господи, да я готова вас убить.

— Ну-ка, сядь, цыпочка, и я дам тебе капельку виски, чтобы ты пришла в себя. А потом все мне расскажешь.

Джулия оглянулась в поисках кресла, куда бы она могла сесть.

— Господи, настоящий свинушник. Почему вы не пригласите поденщицу, чтобы она здесь убрала?

Сердитым жестом она скинула на пол книги с кресла, бросилась в него и расплакалась, теперь уже всерьез. Джимми налил ей порядочную дозу виски, добавил каплю содовой и заставил выпить.

— Ну, а теперь объясни, по какому поводу вся эта сцена из «Тоски»?¹

— Майкл уезжает в Америку.

— Да?

Она вывернулась из-под руки, обнимавшей ее за плечи.

— Как вы могли? Как вы могли?

— Я тут совершенно ни при чем.

— Ложь. Вы, верно, не знаете даже, что этот мерзкий антрепренер в Миддлпуле? Это ваша работа, нечего и сомневаться. Вы сделали это нарочно, чтобы нас разлучить.

¹ Опера Джакомо Пуччини (1858—1924), итальянского композитора.

— Душечка, ты несправедлива ко мне. По правде говоря, я сказал, что он может забрать у меня любого члена труппы, кроме Майкла Госселина.

Джулия не видела выражения его глаз при этих словах, иначе она спросила бы себя, почему у него такой довольный вид, словно ему удалось сыграть с кем-то очень хорошую шутку.

— Даже меня?—спросила она.

— Я знал, что актрисы ему не нужны. У них и своих хватает. Им нужны актеры, которые умеют носить костюмы и не плюют в гостиную на пол.

— О, Джимми, не отпускайте Майкла. Я этого не переживу.

— Как я могу ему помешать? Его контракт со мной истекает в конце нынешнего сезона. Это приглашение—большая удача для него.

— Но я его люблю. Я хочу его. А вдруг он в Америке кого-нибудь увидит? Вдруг какая-нибудь богатая наследница увлечется им?

— Если любовь к тебе его не остановит, что ж, скатертью дорожка, сказал бы я.

Его слова вновь привели Джулию в ярость.

— Поганый евнух, что вы знаете о любви?!

— Ох уж эти мне женщины,—вздыхнул Джимми.—Если пытаешься лечь с ними в постель, они называют тебя грязным старикашкой, если нет—поганым евнухом...

— Ах, вы не понимаете! Он так потрясающе красив, они станут влюбляться в него одна за другой, а он так легко поддается лести. За два года многое может случиться.

— За два года?

— Если его хорошо примут, он останется еще на год.

— Ну, насчет этого можешь не волноваться. Он вернется в конце первого же сезона, и вернется навсегда. Этот антрепренер видел его только в «Кандиде». Единственная роль, в которой он более или менее сносен. Помани мое слово, не пройдет и месяца, как они обнаружат, что совершили невыгодную сделку. Его ждет провал.

— Что вы понимаете в актерах!

— Все.

— Я бы с радостью выцарапала вам глаза.

— Предупреждаю, если ты попробуешь меня тронуть, на этот раз не отделаешься легким шлепком, такую получишь затрещину, что неделю сесть не сможешь.

— О господи, и не сомневаюсь. И вы называете себя джентльменом?

— Только когда я пьян.

Джулия хихикнула, и Джимми понял, что худшее осталось позади.

— Ты знаешь не хуже меня, что на сцене ему до тебя далеко. Говорю тебе: ты будешь величайшей актрисой после миссис Кендел¹. Зачем тебе связывать себя с человеком, который всегда будет камнем у тебя на шее? Вы хотите иметь собственный театр, он будет претендовать на роль твоего партнера. Майкл никогда не станет хорошим актером.

— У него есть внешность. Я могу вытащить его.

— От скромности ты не умрешь. Но тут ты ошибаешься. Если ты хочешь добиться успеха, ты не можешь позволить себе иметь партнера, который не дотягивает до тебя.

— Мне наплевать. Я скорее выйду замуж за него и потерплю провал, чем за кого-нибудь другого, чтобы добиться успеха.

— Ты девственница?

Джулия снова хихикнула.

— Это вас не касается, но, представьте, да.

— Так я и думал. Ну, если это тебе не так важно, почему бы вам с ним не отправиться на пару недель в Париж, когда мы закроемся? Он не отплывет в Америку раньше августа. Может, тогда утихомиришься!

— Он не хочет. Он не такой человек. Он джентльмен.

— Даже высшие классы производят себе подобных.

— Ах, вы не понимаете! — надменно проговорила Джулия.

— Спорю, что и ты — тоже.

Джулия не снизила до ответа. Она действительно была очень несчастна.

— Я не могу без него жить, говорю вам. Что мне с собой делать, когда он уедет?

— Оставаться у меня. Я ангажирую тебя еще на год. У меня есть для тебя куча новых ролей, и я приглядел

¹ Кендел, Мэдж (1849—1935)—английская актриса.

актера на амплуа первого любовника. Не актер, а находка. Ты не согласишься, насколько легче играть с партнером, когда есть отдача. Я буду платить тебе двенадцать фунтов в неделю.

Джулия подошла к нему и испытующе посмотрела в глаза.

— И вы все это подстроили, чтобы заставить меня пробывать у вас еще сезон? Разбили мне сердце, разрушили всю мою жизнь только ради того, чтобы удержать в своем паршивом театре?!

— Клянусь, что нет. Ты мне нравишься, я восхищаюсь тобой. И за последние два года дела у нас идут как никогда. Но, черт подери, такой подлости я бы не совершил.

— Лгун, грязный лгун!

— Клянусь, это чистая правда.

— Докажите это тогда! — горячо сказала она.

— Как я могу доказать? Ты сама знаешь, я действительно порядочный человек.

— Дайте мне пятнадцать фунтов в неделю, и я вам поверю.

— Пятнадцать фунтов в неделю! Тебе известно, какие у нас сборы. Я не могу. А, ладно... Но мне придется добавлять три фунта из собственного кармана.

— Не моя печаль!

Глава шестая

После двух недель репетиций Майкла сняли с роли, на которую его ангажировали, и три или четыре недели он ждал, пока ему подыщут что-нибудь еще. Начал он в пьесе, которая не продержалась в Нью-Йорке и месяца. Труппу послали в турне, но спектакль принимали все хуже и хуже, и его пришлось изъять из репертуара. После очередного перерыва Майклу предложили роль в исторической пьесе, где его красота предстала в таком выгодном свете, что никто не заметил, какой он посредственный актер; в этой роли он и закончил сезон. О возобновлении контракта не было и речи. Приглашавший его антрепренер говорил весьма язвительно:

— Я бы много отдал, чтобы сквитаться с этим типом, Лэнгтоном, сукин он сын! Он знал, что делает, когда подсовывал мне этого истукана.

Джулия регулярно писала Майклу толстые письма, полные любви и сплетен, а он отвечал раз в неделю четким, аккуратным почерком, каждый раз четыре страницы, не больше не меньше. Он неизменно подписывался «любящий тебя...», но в остальном его послания носили скорее информационный характер. При всем том Джулия ожидала каждого письма со страстным нетерпением и без конца его перечитывала. Тон у Майкла был бодрый, но хотя он почти ничего не говорил о театре, упоминал только, что роли ему предложили дрянные, а пьесы, в которых пришлось играть, ниже всякой критики, в театральном мире быстро все узнают, и Джулия слышала, что успеха он не имел.

«Конечно, это с моей стороны свинство,— думала она,— но я так рада!»

Когда Майкл сообщил день приезда, Джулия не помнила себя от счастья. Она заставила Джимми так построить программу, чтобы она смогла поехать в Ливерпуль встретить Майкла.

— Если корабль придет поздно, я, возможно, останусь на ночь,— сказала она Джимми.

Он иронически улыбнулся.

— Ты, видно, думаешь, что в суматохе возвращения домой тебе удастся его совратить?

— Ну и свинья же вы!

— Брось, душенька. Мой тебе совет: подпой его, запрись с ним в комнате и скажи, что не выпустишь, пока он тебя не обесчестит.

Но когда Джулия собралась ехать, Джимми проводил ее до станции. Подсаживая в вагон, похлопал по руке:

— Волнуешься, дорогая?

— Ах, Джимми, милый, я безумно счастлива и до смерти боюсь.

— Ну, желаю тебе удачи. И не забывай: он тебя не стоит. Ты молода, хороша собой, и ты — лучшая актриса Англии.

После отхода поезда Джимми направился в станционный буфет и заказал виски с содовой. «Как безумен род людской»¹, — вздохнул он. А Джулия в это время стояла в пустом купе и глядела в зеркало.

«Рот слишком велик, лицо слишком тяжелое, нос слишком толстый. Слава богу, у меня красивые глаза и

¹ Шекспир, Вильям. «Сон в летнюю ночь».

красивые ноги. Не чересчур ли я накрашена? Майкл не любит грима вне сцены. Но я жутко выгляжу без румян и помады. Ресницы у меня что надо. А, черт побери, не такая уж я уродина».

Не зная до последнего момента, отпустит ли ее Джимми, Джулия не предупредила Майкла, что встретит его. Он был удивлен и откровенно рад. Его прекрасные глаза сияли.

— Ты стал еще красивее,— сказала Джулия.

— Ах, не болтай глупостей,— засмеялся он, обнимая ее.— Ты ведь можешь задержаться до вечера?

— Я могу задержаться до завтрашнего утра. Я заказала две комнаты в «Адельфи», чтобы мы могли вволю поболтать.

— А не слишком «Адельфи» роскошно для нас?

— Ну, не каждый же день ты возвращаешься из Америки. Плевать на расходы.

— Мотовочка, вот ты кто. Я не знал, когда мы войдем в док, поэтому написал домой, что сообщу телеграммой время приезда. Телеграфирую, что приеду завтра.

Когда они оказались в отеле, Майкл по приглашению Джулии пришел в ее комнату, чтобы поговорить без помех. Она села к нему на колени, обвила его шею рукой, прижалась щекой к щеке.

— Ах, как приятно снова быть дома,— вздохнула она.

— Можешь мне этого не говорить,— отозвался он, не догадавшись, что она имеет в виду его объятия, а не Англию.

— Я тебе все еще нравлюсь?

— Еще как!

Она горячо поцеловала его.

— Ты не представляешь, как я по тебе скучала!

— Я полностью провалился в Америке,— сказал Майкл.— Не хотел тебе об этом писать, чтобы зря не расстраивать. Они считали, что я никуда не похужу.

— Майкл!— вскричала она, словно не могла этому поверить.

— Думаю, я для них слишком типичный англичанин. Я им больше не нужен. Я так и предполагал, но все же для проформы спросил, собираются ли они продлить контракт, и они ответили: нет, ни за какие деньги.

Джулия молчала. Вид у нее был озабоченный, но сердце громко билось от радости.

— Но мне все равно, честно. Мне не понравилась Америка. Конечно, спорить не приходится, это удар по самолюбию, но что мне остается? Улыбнуться, и все. Как-нибудь переживем. Если бы ты знала, с какими типами там приходилось якшаться! Да по сравнению с некоторыми из них Джимми Лэнгтон — настоящий джентльмен. Даже если бы они попросили меня остаться, я бы отказался.

Хотя Майкл делал хорошую мину при плохой игре, Джулия видела, что он глубоко уязвлен. С чем только, должно быть, ему не приходилось мириться! Ей было ужасно его жаль, но, ах, какое она испытывала колоссальное облегчение.

— Какие у тебя теперь планы? — спокойно спросила она.

— Ну, побуду какое-то время дома и все как следует обдумаю. А потом поеду в Лондон, посмотрю, не удастся ли получить роль.

Она знала, что предлагать ему вернуться в Миддлпул было бесполезно. Джимми Лэнгтон его не возьмет.

— Ты, вероятно, не захочешь поехать со мной?

Джулия не верила собственным ушам.

— Я? Любимый, ты же знаешь, что я с тобой — хоть на край света.

— Твой контракт кончается в конце этого сезона, и, если ты намерена чего-то достичь, пора уже завоевывать Лондон. Я сэкономил в Америке каждый шиллинг. Они называли меня скупердям, но я и ухом не вел. Привез домой около полутора тысяч фунтов.

— Как это тебе удалось, ради всего святого?

— Ну, я не очень-то раскошеливался, — радостно улыбнулся он. — Конечно, театр на это не откроешь, но на то, чтобы жениться, хватит; я хочу сказать, нам будет на что опереться, если мы не получим сразу ангажемента или потом окажемся временно без работы.

Джулии понадобилось несколько секунд, чтобы осознать его слова.

— Ты хочешь сказать — пожениться сейчас?

— Конечно, это рискованно, когда у нас нет ничего в перспективе, но иногда стоит пойти и на риск.

Джулия взяла его лицо в ладони и прижалась губами к его губам. Затем от всего сердца вздохнула.

— Любимый, ты замечательный, и ты красив, как греческий бог, но ты — самый большой глупец, какого я знала в жизни.

Вечером они пошли в театр, а за ужином заказали бутылку шампанского, чтобы отпраздновать их воссоединение и поднять тост за счастливое будущее. Когда Майкл проводил Джулию до дверей ее комнаты, она подставила ему щеку.

— Ты хочешь, чтобы я пожелал тебе доброй ночи в коридоре? Может, я зайду к тебе на минуту?

— Лучше нет, любимый,—ответила она со спокойным достоинством.

Джулия ощущала себя высокородной девицей, которая должна блюсти все традиции своей знатной и древней фамилии; ее чистота была бесценной жемчужиной. Она также видела, что производит на редкость хорошее впечатление. Майкл был настоящий джентльмен, и, черт подери, ей приличествовало вести себя настоящей леди. Джулия была так довольна разыгранной ею мизансценой, что, войдя в комнату и, пожалуй, излишне громко защелкнув дверь, она гордо прошла взад-вперед, милостиво кивая направо и налево своим раболепным вассалам. Она протянула лилейную руку для поцелуя трепещущему старому мажордому (в детстве он часто качал ее на колене), и, когда он прижался к ней бледными губами, она почувствовала, как на нее что-то капнуло. Слеза.

Глава седьмая

Первый год их брака был бы очень бурным, если бы не ровный характер Майкла. Лишь радость, когда он получал хорошую роль, лихорадка во время премьеры или возбуждение после вечеринки, на которой он выпил несколько бокалов шампанского, были способны обратить практический ум Майкла к любви. Никакая лесть, никакие соблазны не могли его совратить, если на следующий день его ждала деловая встреча, для которой требовалась свежая голова, или предстоял раунд в гольф, для которого был нужен верный глаз. Джулия закатывала ему безумные сцены. Она ревновала его к

приятелям по артистическому клубу, к играм, которые уводили его от нее, к официальным завтракам, которые он не пропускал под тем предлогом, что необходимо заводить знакомства среди людей, которые могут им пригодиться. Ее приводило в ярость, что, когда она доходила до истерического припадка, он сидел совершенно спокойно, скрестив на коленях руки, с добродушной улыбкой на красивом лице, словно все это просто забавно.

— Ты же не думаешь, что я бегаю за другими женщинами? — спрашивал он.

— Почему я знаю? Слепому видно, что на меня тебе наплевать.

— Тебе прекрасно известно, что ты для меня единственная женщина на свете.

— О боже!

— Я не понимаю, чего ты хочешь.

— Я хочу любви. Я думала, что вышла за самого красивого мужчину в Англии, а я вышла за портновский манекен.

— Не говори глупостей. Я — обыкновенный нормальный англичанин, а не итальянский шарманщик.

Джулия величаво расхаживала взад-вперед по комнате. У них была небольшая квартирка на Бэкингемгейт, и развернуться там было негде, но Джулия старалась как могла. Она вздымала руки к небесам.

— Я могла бы быть кривой и горбатой. Мне могло бы быть пятьдесят. Неужели я настолько непривлекательна? Так унижительно вымаливать твою любовь. Ах, как я несчастна!

— А это был удачный жест, дорогая. Словно ты посылаешь вперед крикетный мяч. Запомни его.

Она бросала на него презрительный взгляд.

— Единственное, о чем ты способен думать. У меня разрывается сердце, а ты говоришь о каком-то случайном жесте.

Но он видел по выражению ее лица, что она откладывала его в памяти, и знал: когда представится случай, она воспользуется им.

— В конце концов любовь еще не все. Она хороша в положенное время и в положенном месте. Мы неплохо развлекались во время медового месяца, на то он и предназначен, а теперь пора браться за работу.

Им повезло. Оба они умудрились получить вполне приличные роли в пьесе, которая имела успех. У Джулии

была одна сильная сцена, всегда вызывавшая бурные аплодисменты; удивительная красота Майкла произвела своего рода сенсацию. Майкл с его корректной предприимчивостью, с его веселым добродушием создал им прекрасную рекламу, фотографии их обоих стали появляться в иллюстрированных газетах. Их часто приглашали на званые вечера, и Майкл, несмотря на свою бережливость, не колеблясь, тратил деньги на прием людей, которые могли оказаться им полезны. Джулию прямо поражала его щедрость в этих случаях. Антрепренер театра, в котором они играли, предложил Джулии главную роль в следующей пьесе, и, хотя там не было ничего подходящего для Майкла и ей очень хотелось отказаться, он ей этого не разрешил. Он сказал, что они не могут позволить чувствам мешать делу. А вскоре и Майкл получил роль в исторической пьесе.

Они оба играли, когда разразилась война. К гордости и отчаянию Джулии Майкл тут же записался в добровольцы, но с помощью одного из старых отцовских сослуживцев, который был важной персоной в Военном министерстве, ему очень скоро присвоили офицерское звание. Когда Майкл отправился во Францию, Джулия горько сожалела о всех тех упреках, которыми она так часто осыпала его, и решила, если он будет убит, покончить с собой. Она хотела стать сестрой милосердия и тоже поехать на фронт—по крайней мере станет ходить по одной земле с ним; но Майкл объяснил, что ее патриотический долг—продолжать выступления, и она была не в силах отказать ему в просьбе, которая могла оказаться последней. Майкл от души наслаждался войной. Он пользовался большой популярностью в полковом клубе, и старые кадровые офицеры приняли его как своего, несмотря на то, что он был актером. Казалось, будто семья потомственных военных, из которой он вышел, поставила на нем свою печать, так что он инстинктивно стал держаться и даже думать, как профессиональный офицер. Майкл был тактичен, умел себя вести и искусно пускал в ход свои связи, он просто неминуемо должен был попасть в свиту какого-нибудь генерала. Он проявил себя хорошим организатором и последние три года войны провел в ставке главнокомандующего. Вернулся Майкл майором с крестом и орденом Почетного легиона.

Тем временем Джулия сыграла ряд крупных ролей и была признана лучшей актрисой младшего поколения. Театр во время войны процветал, и Джулия немало выгадывала тем, что играла в спектаклях, которые долго не сходили со сцены. Жалованье возросло, и с помощью разумных советов Майкла она умудрилась, хотя и с трудом, выжимать из антрепренеров по восемьдесят фунтов в неделю. Майкл приезжал в Англию в отпуск, и Джулия бывала безумно счастлива. Хотя он не был бы в большей безопасности, занимаясь он разведением овец в Новой Зеландии, Джулия вела себя так, будто те коротенькие периоды, что он с ней проводил,— последние дни, которыми ему суждено наслаждаться в этом мире, будто он только что вырвался из кошмара окопной жизни. Она была с ним нежна, заботлива и нетребовательна.

А незадолго до конца войны Джулия его разлюбила. Она была в то время беременна. По мнению Майкла, заводить тогда ребенка было довольно опрометчиво, но Джулии было уже под тридцать, и она решила, что если они вообще хотят иметь детей, то откладывать больше нельзя. Ее положение в театре настолько упрочилось, что она могла позволить себе исчезнуть со сцены на несколько месяцев, и притом, что Майкла могли в любой момент убить,— конечно, он говорил, что ему абсолютно ничего не грозит, но он просто успокаивал ее, даже генералов и тех убивали,— удержать ее в жизни мог только его ребенок. Роды предстояли в конце года. Джулия ждала следующего отпуска Майкла как никогда раньше. Чувствовала она себя прекрасно, но немного растерянно и беспомощно, страшно тосковала по его объятиям, ей так нужны были его защита и покровительство. Майкл приехал. Он был удивительно красив в своей хорошо скроенной форме с нашивками штабиста и короной на погонах. Он загорел и в результате лишений, которые испытывал в ставке, довольно сильно пополнил. Коротко стриженный, с бравой выправкой и беспечным видом, он выглядел военным до кончиков ногтей. Настроение у него было великолепное, и не только потому, что он выбрался на несколько дней домой,— уже был виден конец войны. Майкл намеревался уйти из армии как можно скорее. Что толку иметь хоть какие-то связи, если не использовать их? Так много молодых актеров покинули сцену— кто из патриотизма, кто по-

тому, что оставшиеся дома патриоты сделали их жизнь невыносимой, кто по призыву, — что главные роли попали в руки людей или непригодных для военной службы, или уволенных из армии по ранению. Обстановка была на редкость благоприятная, и Майкл понимал, что если не будет терять времени, он сможет выбирать роли по своему усмотрению. А когда он вновь напомним о себе публике, они начнут присматривать театр и при той репутации, которой добилась Джулия, без риска начнут собственное дело.

Они проговорили обо всем этом за полночь, а потом легли в постель. Джулия страстно прильнула к нему, он ее обнял. После трех месяцев воздержания Майкл был настроен на любовный лад.

— Ты моя милая женушка, — прошептал он.

Он прижался губами к ее губам. И вдруг Джулию охватило смутное отвращение. Она еле удержалась, чтобы его не оттолкнуть. Раньше ей казалось, что его тело, его юное прекрасное тело пахнет цветами и медом, она жадно вдыхала этот сладостный аромат, такие вот ощущения и приковывали ее к Майклу, но теперь каким-то таинственным образом Майкл утратил свое очарование. Джулия осознала, что он потерял аромат юности и стал просто мужчиной. Она почувствовала легкую тошноту. Она не могла ответить на его пыл, больше всего ей хотелось, чтобы он поскорее удовлетворил желание, перевернулся на другой бок и уснул. Джулия долго лежала без сна. Она была в смятении. Сердце ее щемило, она знала, что лишилась чего-то очень дорогого, ей было себя жаль, она готова была заплакать, но в то же время ее переполняло торжество; казалось, она мстит ему за свои прошлые, такие горькие муки. Она была свободна от уз, которые привязывали ее к Майклу, и ликовала. Теперь она будет с ним на равных. Джулия вытянула ноги и облегченно вздохнула: «Господи, как прекрасно быть самой себе хозяйкой».

Они позавтракали в спальне, Джулия — в постели, Майкл — за маленьким столиком рядом. Она всматривалась в него, в то время как он читал газету, острым, оценивающим взглядом. Неужели каких-то три месяца могли так его изменить? А может быть, все годы она смотрела на Майкла глазами, которые впервые увидели его, когда он вышел в Миддлпуле на сцену во всем великолепии юности и красоты и поразил ее любовью,

как смертельной болезнью? Майкл все еще был удивительно хорош собой. В конце концов ему всего тридцать шесть, но юность осталась позади; с коротко стриженной головой, обветренной кожей, легкими морщинками, уже начинающими бороздить его гладкий лоб и появляться у уголков глаз, он был — решительно и бесповоротно — мужчиной. Он утратил свою щенячью грацию, жесты его стали однообразны. Взятые в отдельности, это были мелочи, но, собранные вместе, они абсолютно все меняли. Майкл постарел.

Они по-прежнему жили в квартирке, снятой, когда они только приехали в Лондон. Хотя последнее время Джулия очень неплохо зарабатывала, казалось, нет смысла переезжать, пока Майкл находится в действующей армии. Однако теперь, когда они ожидали ребенка, квартира, безусловно, была слишком мала. Джулия присмотрела дом в Риджентс-парке, который очень ей понравился. Она хотела заблаговременно там обосноваться и ждать родов.

Дом выходил окнами в сад. Над бельэтажем, где помещались гостиная и столовая, были две спальни, а на втором этаже еще две комнаты, которые можно было использовать как дневную и ночную детские. Майклу все очень понравилось, даже цена показалась ему умеренной. Джулия за последние четыре года зарабатывала настолько больше него, что предложила меблировать дом за свой счет. Они стояли в одной из двух спален.

— Я могу перевезти для своей спальни то, что у нас есть, — сказала она. — А для тебя куплю хороший гарнитур у Мейпла.

— Я бы не стал входить в большие расходы на мою комнату, — улыбнулся он, — вряд ли я часто стану ею пользоваться.

Майкл любил спать с ней в одной постели. Не будучи страстным, он был нежен, и ему доставляло животное наслаждение чувствовать ее рядом с собой. Много лет это было ее величайшей радостью. Сейчас мысль об этом привела ее в раздражение.

— О, я не уверена, что мы сможем позволить себе эти глупости, пока не родится ребенок. До тех пор тебе придется спать одному.

— Я об этом не подумал. Если ты считаешь, что для малыша так лучше...

Майкл демобилизовался буквально в тот же день, как кончилась война, и сразу получил ангажемент. Он вернулся на сцену куда лучшим актером, чем раньше. Беспечные замашки, приобретенные им в армии, были на сцене весьма эффектны. Непринужденный, спортивный, всегда веселый малый, с легкой улыбкой и сердечным смехом, он хорошо подходил для салонных пьес. Его высокий голос придавал особую пикантность фривольной реплике, и, хотя серьезная страсть по-прежнему выглядела у него неубедительно, он мог предложить руку и сердце словно в шутку, объясниться с таким видом, будто сам над собой смеется, и так провести задорную любовную сцену, что публика была в восторге. Майкл никогда и не пытался играть никого, кроме самого себя. Он специализировался на ролях жуиров, богатых повес, джентльменов-игроков, гвардейцев и славных молодых бездельников. Антрепренеры любили его. Майкл усердно работал и подчинялся указаниям. Главное для него было получить роль, а какую — не имело особого значения. Он упорно добивался жалования, которого, считал, заслуживает, но, если ему это не удавалось, предпочитал согласиться на меньшее, чем сидеть без работы.

Майкл тщательно продумал свои планы. Зимой, сразу после конца войны, разразилась эпидемия инфлюэнцы. Родители Майкла умерли. Он получил в наследство около четырех тысяч фунтов, что вместе с его сбережениями и деньгами Джулии составило почти семь тысяч. Однако плата за театральное помещение чудовищно подскочила, жалование актерам и рабочим сцены также возросло, и для того, чтобы открыть собственный театр, требовалось теперь куда больше денег. Суммы, которой до войны с избытком могло хватить, теперь было далеко не достаточно. Оставалось одно — заинтересовать богатого человека, который вошел бы с ними в пай, чтобы один или два неудачных спектакля не выбили их из седла. Говорили, что всегда можно найти простофилю, который выпишет чек на кругленькую сумму для постановки новой пьесы, но когда вы переходили от слов к делу, обнаруживалось, что главную роль в этой пьесе должна играть какая-нибудь красотка, которой он покровительствует, и деньги будут даны только при

этом условии. Много лет назад Майкл и Джулия часто шутили насчет того, что какая-нибудь богатая старуха влюбится в Майкла и поможет ему открыть свой театр, но они уже давно поняли, что молодому актеру, у которого жена — актриса и он ей верен, никакой такой богатой старухи не отыскать. И все же они нашли женщину с деньгами, причем отнюдь не старуху, но интересовалась она не Майклом, а Джулией.

Долли де Фриз была вдова. Эта низенькая, тучная, несколько мужеподобная женщина с красивым орлиным носом, красивыми темными глазами, неумейной энергией, экспансивная и вместе с тем неуверенная в себе обожала театр. Когда Джулия и Майкл решили попытать счастья в Лондоне, Джимми Лэнгтон, к которому она порой приходила на выручку, когда казалось, что ему придется закрыть театр, дал к ней рекомендательное письмо с просьбой по возможности им помочь. Миссис де Фриз уже видела Джулию в Миддлпуле. Она устроила несколько званых вечеров, чтобы познакомить молодых актеров с антрепренерами, и пригласила их в свой великолепный дом возле Гилдфорда, где они окунулись в роскошь, которая никогда им не снилась. Майкл ей совсем не понравился. Джулия восхищалась цветами, которые Долли де Фриз присылала к ней на квартиру и в уборную театра, была в восторге от ее подарков: сумочек, несессеров, бус из полудрагоценных камней, брошей, но никак не показывала, что догадывается, чем вызвана щедрость Долли, и принимала ее исключительно как дань своему таланту. Когда Майкл ушел на войну, Долли настаивала на том, чтобы Джулия переехала к ней, в ее дом на Монтегью-сквер, но Джулия, пылко поблагодарив, отказалась, причем в такой тактичной форме, что Долли, вздохнув и уронив слезу, не могла не восхищаться ею еще сильнее. Когда родился Роджер, Джулия пригласила Долли быть его крестной матерью.

Некоторое время Майкл подумывал, не обратиться ли к Долли. Но он был достаточно проницателен и понимал, что даже если бы она и сделала что-то для Джулии, она ничего не сделает для него. А Джулия наотрез отказалась прибегать к ее помощи.

— Она и так была к нам очень добра, право, я не могу еще что-то у нее кланчить, и будет так неприятно, если она откажет.

— Игра стоит свеч, а она, если и потеряет на этом кое-что, даже не почувствует. Я уверен, что ты могла бы ее уломать, если бы захотела.

Джулия ничуть в этом не сомневалась. Майкл так наивен в некоторых вещах; она не считала нужным указывать ему на очевидные факты.

Но Майкл был не из тех, кто легко отступает от того, что задумал. Госселины ехали в Гилдфорд, чтобы провести субботу и воскресенье у Долли, в новой машине, которую Джулия подарила Майклу ко дню рождения. Был прекрасный, теплый вечер, Майкл только недавно купил преимущественное право на постановку трех пьес, которые им обоим понравились, и слышал о здании театра, которое можно было снять на приемлемых условиях. Все было готово, чтобы начать дело, не хватало одного—денег. Майкл уговаривал Джулию воспользоваться предстоящим визитом.

— Сам попроси, если тебе так хочется,—нетерпеливо сказала Джулия.—Говорю тебе: я просить не стану.

— Мне она не даст. А ты можешь из нее веревки вить.

— Мы с тобой уже хорошо знаем, при каких условиях финансируют пьесы. Или человек хочет получить славу, пусть даже плохую, или он в кого-нибудь влюблен. Куча людей болтает об искусстве, но редко увидишь, чтобы они платили за него чистоганом, если не надеются извлечь из этого что-нибудь для самих себя.

— Что ж, предоставим Долли всю славу, какую она захочет.

— Ей нужно совсем другое.

— Что ты имеешь в виду?

— А ты не догадываешься?

Только тут его осенило. Майкл был так изумлен, что сбавил скорость. Неужели Джулия права? Он всегда считал, что не нравится Долли, а уж предполагать, что она в него влюблена,—это ему и в голову не могло прийти. Конечно, Джулия—женщина проницательная, ничего не пропустит, но она так ревнива, крошка, ей вечно кажется, будто женщины вешаются ему на шею. Спору нет, Долли подарила ему к рождеству запонки, но он-то полагал, она просто не хочет, чтобы он был в обиде,—ведь Джулии она подарила брошь, которая стоит не меньше двухсот фунтов. Должно быть, это было сделано для отвода глаз. Ну, он может, положив руку на

сердце, сказать, что никогда не подавал ей надежд. Джулия хихикнула:

— Нет, милый, она влюблена, но не в тебя.

Майкл смутился. И как это Джулия всегда угадывает, о чем он думает? Да, от нее ничего не скроешь.

— Тогда зачем ты навела меня на эту мысль? Выражайся, ради всего святого, так, чтобы тебя можно было понять.

Это Джулия и сделала.

— В жизни не слышал такой чепухи!—воскликнул Майкл.—У тебя просто грязное воображение, Джулия.

— Брось, милый.

— Нет, я не верю ни единому твоему слову. В конце концов у меня тоже есть глаза. Неужели я бы ничего не заметил?

Джулия еще никогда не видела его таким рассерженным.

— И даже если это правда, я думаю, ты сумеешь за себя постоять. Это один шанс на тысячу, просто безумие его пропустить.

— Клавдио и Изабелла в «Мера за меру»¹.

— Подло так говорить, Джулия. Я все же джентльмен.

«Nemo me impune lacessit».

Остаток пути прошел в грозном молчании.

Миссис де Фриз не спала и поджидала их.

— Я не хотела ложиться, пока не увижу вас,—сказала она, заключая Джулию в объятия и целуя в обе щеки. Майклу она едва пожала руку.

Джулия с удовольствием провалялась все утро в постели, просматривая воскресные газеты. Она начинала с театральных новостей, затем переходила к светской хронике, затем к женской странице и, наконец, скользила взглядом по заголовкам остальных статей. Рецензии на книги она не удостоивала вниманием, ей было вообще непонятно, зачем на них тратят так много места. Майкл, спавший в соседней комнате, заглянул пожелать ей доброго утра и вышел в сад. Вскоре раздался негромкий стук в дверь, вошла Долли. Ее большие черные глаза сияли. Она села на край кровати и взяла Джулию за руку.

¹ Комедия Вильяма Шекспира.

— Дорогая, я разговаривала с Майклом. Я хочу финансировать ваш театр.

У Джулии громко забилося сердце.

— О, Майкл не должен был вас просить. Я не хочу. Вы и так уже столько для нас сделали.

Долли наклонилась и поцеловала Джулию в губы. Голос ее был ниже, чем обычно, и слегка дрожал.

— Ах, моя любовь, разве вы не знаете, что я сделала бы для вас все на свете! Это будет так замечательно, это так сблизит нас, и я буду так вами горда!

Они услышали, что по коридору, насвистывая, идет Майкл; когда он вошел в комнату и Долли обернулась к нему, ее глаза были полны слез.

— Я ей рассказала.

Майкл не мог сдержать радости.

— Вот это женщина!—Он присел на кровать с другой стороны и взял Джулию за руку, которую только что отпустила Долли.—Ну, что скажешь, Джулия?

Она задумчиво взглянула на него.

— Vous l'avez voulu, Georges Dandin»¹.

— Что это?

— Мольер.

Как только был подписан договор товарищества и Майкл снял помещение на осенний сезон, он нанял агента по рекламе. В газеты были посланы краткие извещения об открытии нового театра. Майкл вместе с агентом приготовил интервью для Джулии и для себя самого, которые они дадут прессе. В еженедельных газетах появились их фотографии—поодиночке, вдвоем и вместе с Роджером,—они взяли семейный тон и старались выжать из него все что можно. Они еще не решили, которой из трех пьес лучше начать. И вот как-то днем, когда Джулия сидела у себя в спальне и читала роман, вошел Майкл с рукописью в руке.

— Послушай, я хочу, чтобы ты просмотрела эту пьесу. Агент только что прислал ее. По-моему, ее ждет сногсшибательный успех. Но ответ надо дать сразу.

Джулия отложила роман.

— Я сейчас за нее возьмусь.

— Я буду внизу. Передай, когда кончишь, я приду, и мы с тобой ее обсудим. Там для тебя изумительная роль.

¹ «Ты этого хотел, Жорж Данден» (франц.).

Джулия читала быстро, лишь проглядывая те сцены, которые ее не интересовали, уделяя все внимание роли героини,—ведь ее, естественно, будет играть она. Окончив, она дернула колокольчик и попросила служанку (которая была также ее костюмершей) сказать Майклу, что она его ждет.

— Ну, что ты думаешь?

— Пьеса хорошая. Она должна иметь успех.

Он услышал в ее голосе некоторое сомнение.

— В чем же тогда вопрос? Твоя роль замечательная. Такие вещи ты умеешь делать лучше всех. Много комедийных сцен, и чувств хоть отбавляй.

— Роль чудесная, я не спору; меня смущает мужская роль.

— Она тоже совсем неплоха.

— Да, но ему пятьдесят, и если ты сыграешь его моложе, пропадет самая соль. А роль пожилого человека тебе ни к чему.

— Да я и не собирался его играть. На нее годится только один актер, Монт Вернон. И мы заполучим его. А я буду играть Джорджа.

— Но это такая крошечная роль. Зачем она тебе?

— А почему нет?

— Я думала, мы откроем собственный театр для того, чтобы оба могли выступать в главных ролях.

— Ну, мне на это наплевать. Если в пьесе есть стоящая роль для тебя, меня нечего принимать в расчет. Может быть, в следующей пьесе больше повезет.

Джулия откинулась в кресле, и слезы потекли у нее по щекам.

— Ах, какая я свинья!

Майкл улыбнулся. Его улыбка была так же обаятельна, как прежде. Он подошел и опустился рядом с ней на колени, обнял.

— Что с тобой сегодня, старушка?

Глядя на него теперь, Джулия никак не могла понять, что вызывало в ней раньше такую безумную страсть. Теперь мысль об интимных отношениях с ним возбуждала в ней тошноту. К счастью, Майклу очень понравилась спальня, которую она для него обставила. Постель никогда не была для него на первом месте, и он испытал даже облегчение, увидев, что Джулия больше не предъявляет к нему никаких претензий. Он удовлетворенно думал, что рождение ребенка успокоило ее, он на это и

надеялся, и лишь сожалел, что они не завели его гораздо раньше. Раза два он пытался, больше из любезности, чем по иной причине, возобновить их супружеские отношения, но Джулия выдвигала тот или иной предлог: она устала, не очень хорошо себя чувствует, у нее завтра два выступления, не считая утренней примерки костюмов. Майкл принял это с полнейшим спокойствием. С Джулией теперь было куда легче ладить, она не устраивала больше сцен, и он чувствовал себя счастливее, чем прежде. У него на редкость удачный брак; когда он глядел на другие пары, он не мог не видеть, как ему повезло. «Джулия славная женщина и умна, как сто чертей, с ней можно поговорить обо всем на свете. Лучший товарищ, какой у меня был, клянусь вам. Да, я не стыжусь признаться, что скорее проведу с ней день наедине, чем сыграю раунд в гольф».

Джулия с удивлением обнаружила, что стала жалеть Майкла с тех пор, как разлюбила его. Она была добрая женщина и понимала, каким это будет для него жестоким ударом по самолюбию, если он хотя бы заподозрит, как мало сейчас значит для нее. Она продолжала ему льстить. Джулия заметила, что он уже вполне спокойно выслушивает дифирамбы своему точеному носу и прекрасным глазам. Она посмеивалась про себя, видя, как он глотает самую грубую лесть. Больше она не боялась хватить через край. Взгляд ее все чаще останавливался на его тонких губах. Они делались все тоньше — к тому времени, когда он состарится, рот его превратится в узкую холодную щель. Бережливость Майкла, которая в молодости казалась забавной, даже трогательной чертой, теперь внушала ей отвращение. Когда люди попадали в беду, а с актерами это бывает нередко, они могли надеяться на сочувствие и хорошие слова, но никак не на звонкую монету. Он считал себя чертовски щедрым, когда расставался с гинеей, а пятифунтовый билет был для него пределом мотовства. Скоро он обнаружил, что Джулия тратит на хозяйство много денег, и, сказав, что хочет избавить ее от хлопот, взял бразды правления в свои руки. После этого ничто не пропадало зря. Каждый пенни был на учете. Джулия не понимала, почему прислуга их не бросает. Видимо, потому, что Майкл был с ними мил. Своим сердечным, приветливым, дружеским обращением он добивался того, что все они стремились ему угодить, и кухарка

разделяла его удовлетворение, когда находила мясника, который продавал на пенс с фунта дешевле, чем все остальные. Джулия не могла удержаться от смеха, думая, какая пропасть лежит между ним, с его страстью к экономии в жизни, и теми бесшабашными мотами, которых он так хорошо изображает на сцене. Она была уверена, что Майкл не способен на широкий жест, и вот вам, пожалуйста, словно ничего не может быть естественней, он готов отойти в сторону, чтобы дать ей хороший шанс. Джулия была так глубоко растрогана, что не могла говорить. Она горько упрекала себя за те дурные мысли, которые все последнее время возникали у нее в голове.

Глава девятая

Они поставили эту пьесу, и она имела успех. После того они ставили новые пьесы год за годом. Майкл вел театр тем же методом и с той же бережливостью, что и дом, извлекая каждое пенни из тех спектаклей, которые имели успех, когда же спектакль проваливался, что, естественно, порой случалось, потери их бывали сравнительно невелики. Майкл льстил себя мыслью, что во всем Лондоне не найдется театра, где бы так мало тратили на постановки. Он проявлял великую изобретательность, преобразая старые декорации в новые, а используя на все лады мебель, которую он постепенно собрал на складе, не должен был тратить на прокат. Они завоевали репутацию смелого и инициативного театра, так как Майкл был готов пойти на риск и поставить пьесу неизвестного автора, чтобы иметь возможность платить высокие отчисления известным. Он выискивал актеров, которые не имели случая создать себе имя и не претендовали поэтому на высокую оплату. И сделал несколько очень удачных находок.

Когда прошло три года, положение их настолько упрочилось, что Майкл смог взять в банке ссуду, чтобы арендовать только что построенное театральное помещение. После длительных дебатов они решили назвать его «Сиддонс-театр». Пьеса, которой они открыли тот сезон, потерпела фиаско, то же произошло и со следующей. Джулия испугалась и пришла в уныние. Она решила, что новый театр неудачливый, что она надоела

публике. Вот тогда-то Майкл оказался на высоте. Он был невозмутим.

— В нашем деле всякое бывает, сегодня хорошо, а завтра плохо. Ты—лучшая актриса в Англии. В труппе есть всего три человека, которые приносят деньги в кассу независимо от пьесы, и ты—одна из них. Ну, было у нас два провала. А следующая пьеса пойдет на ура, и мы с лихвой возместим все убытки.

Как только Майкл твердо почувствовал себя на ногах, он попробовал откупиться от Долли де Фриз, но она и слушать его не хотела, а его холодность ничуть не трогала ее. Наконец-то Майкл встретил достойного противника. Долли не видела никаких оснований вынимать свой вклад из предприятия, которое, судя по всему, процветает и участие в котором позволяет ей быть в тесном контакте с Джулией. И вот теперь, набравшись мужества, он снова попытался избавиться от нее. Долли с негодованием отказалась покинуть их в беде, и Майкл в результате махнул рукой. Он утешался тем, что Долли, наверное, оставит своему крестнику Роджеру кругленькую сумму. У нее не было никого, кроме племянников в Южной Африке, а при взгляде на Долли сразу было видно, что у нее высокое кровяное давление. А пока что Майкла вполне устраивало иметь загородный дом возле Гилдфорда, куда можно было приехать в любое время. Это избавляло от расходов на собственную дачу. Третья пьеса имела большой успех, и Майкл, естественно, напомнил Джулии свои слова—теперь она видит, что он был прав. Майкл говорил так, будто вся заслуга принадлежит ему одному. Джулия чуть было не пожелала, чтобы эта пьеса тоже провалилась, как и две предыдущие,—так ей хотелось хоть немного сбить с него спесь. Майкл чересчур высокого мнения о себе. Конечно, нельзя отрицать, что он в своем роде умен, нет, скорее, хитер и практичен, но далеко не так умен, как он воображает. Не было такой вещи на свете, в которой бы он не разбирался лучше других—по его собственному мнению.

Мало-помалу Майкл все реже стал появляться на сцене. Его куда больше привлекала административная деятельность.

— Я хочу поставить наш театр на такие же деловые рельсы, на каких стоит любая фирма в Сити,—говорил он.

Майкл считал, что с большей пользой потратит вечер, если, в то время как Джулия выступает, будет посещать периферийные театры в поисках талантов. У него была записная книжка, куда он вносил имена всех актеров, которые, как ему казалось, подавали надежды. Затем Майкл взялся за режиссуру. Его всегда возмущало, что режиссеры требуют такие большие деньги за постановку спектакля, а в последнее время кое-кто из них даже претендовал на долю со сборов. Наконец выпал случай, когда два режиссера, которые больше всего нравились Джулии, были заняты, а единственный оставшийся из тех, кому она доверяла, не мог уделить им все свое время.

— Я бы не прочь сам попытать счастья,—сказал Майкл.

Джулия колебалась. Майкл не отличался фантазией, идеи его были банальны. Она не была уверена, что актеры станут слушать его указания. Но режиссер, которого они могли заполучить, потребовал такой несусветный гонорар, что им оставалось одно—дать Майклу попробовать свои силы. Он справился куда лучше, чем она ожидала. Он был добросовестен, внимателен, скрупулезен. Он не жалел труда. И, к своему изумлению, Джулия увидела, что он извлекает из нее больше, чем любой другой режиссер. Он знал, на что она способна, и, знакомый с каждой ее интонацией, каждым выражением ее чудесных глаз, каждым движением ее грациозного тела, мог преподать ей советы, которые помогли ей создать одну из своих лучших ролей. С актерами труппы он был взыскателен, но дружелюбен. Когда у них начинали сдавать нервы, его добродушие, его искренняя доброжелательность сглаживали все острые углы. После этого спектакля у них уже не возникал вопрос о том, кто будет ставить их пьесы. Авторы любили Майкла, так как, не обладая творческим воображением, он был вынужден предоставлять пьесам говорить самим за себя, и часто, не вполне уверенный в том, что именно хотел сказать автор, он должен был выслушивать их указания.

Джулия стала богатой женщиной. Она не могла не признать, что Майкл так же осмотрителен с ее деньгами, как со своими собственными. Он следил за ее вложениями и, когда ему удавалось выгодно продать ее акции, был доволен не меньше, чем если бы они принадлежали ему самому. Он положил ей очень большой оклад и с

гордостью заявлял, что она — самая высокооплачиваемая актриса в Лондоне, но, когда играл сам, никогда не назначал себе больше того, что, по его мнению, стоила его роль, а ставя пьесу, записывал в статью расхода гонорар, который они дали бы второразрядному режиссеру. За дом и образование Роджера они платили пополам. Роджера записали в Итон через неделю после рождения. Нельзя было отрицать, что Майкл щепетильно честен и справедлив. Когда Джулия осознала, насколько она богаче его, она захотела взять все издержки на себя.

— Не вижу для этого никаких оснований, — сказал Майкл. — До тех пор, пока я смогу вносить свою долю, я буду это делать. Ты получаешь больше меня потому, что стоишь дороже. Я назначаю тебе такую плату потому, что ты зарабатываешь ее.

Можно было только восхищаться его самоотречением, тем, как он жертвовал собой ради нее. Если у него и были раньше честолюбивые планы относительно себя самого, он отказался от них, чтобы способствовать ее карьере. Даже Долли, не любившая его, признавала его бескорыстие. Какая-то непонятная стыдливость мешала Джулии худо говорить о нем с Долли, но Долли, при ее проницательном уме, уже давно разглядела, как невероятно Майкл раздражает свою жену, и считала долгом время от времени напоминать, насколько он ей полезен. Все его хвалили. Идеальный муж. Джулии казалось, что никто, кроме нее, не представляет, каково жить с мужем, который так чудовищно тщеславен. Его самодовольный вид, когда он выигрывал у своего противника в гольф или брал над кем-нибудь верх при сделке, совершенно выводил ее из себя. Майкл упивался своей ловкостью. Он был зануда, жуткий зануда! Он всегда все рассказывал Джулии, делился замыслами, возникавшими у него. Это было очень приятно в те времена, когда находиться рядом с ним доставляло ей наслаждение, но уже многие годы его прозаичность была ей невыносима. Что бы Майкл ни описывал, он входил в мельчайшие подробности. И он кичился не только своей деловой хваткой — с возрастом он стал невероятно кичиться своей внешностью. В молодости его красота казалась Майклу чем-то само собой разумеющимся, теперь же он начал обращать на нее большое внимание и не жалел никаких трудов, чтобы уберечь то, что от нее осталось. Это превратилось

у него в навязчивую идею. Он чрезвычайно заботился о своей фигуре; не брал в рот ничего, что грозило бы ему прибавкой веса, и не забывал про моцион. Когда ему показалось, что он начинает лысеть, он тут же обратился к врачу-специалисту, и Джулия не сомневалась, что если бы он мог сохранить это в тайне, он пошел бы на пластическую операцию и подтянул кожу лица. Он взял обыкновение сидеть немного задрав вверх подбородок, чтобы не так были видны морщины на шее, и держался неестественно прямо, чтобы не отвисал живот. Он не мог пройти мимо зеркала, не взглянув в него. Он всячески напрашивался на комплименты и сиял от удовольствия, когда ему удавалось добиться их. Хлебом его не корми—только скажи, как он хорош. Джулия горько усмехалась, думая, что сама приучила к этому Майкла. В течение многих лет она твердила ему, как он прекрасен, и теперь он просто не может жить без лести. Это была его ахиллесова пята. Безработной актрисе достаточно было сказать ему в глаза, что он неправдоподобно красив, как ему начинало казаться, будто она подходит для той роли, на которую ему нужен человек. В течение многих лет, насколько Джулии было известно, Майкл не имел дела с женщинами, но, перевалив за сорок пять, он стал заводить легкие интрижки. Джулия подозревала, что ни к чему серьезному они не приводили. Он был осторожен, и нужно ему было по-настоящему только одно—чтобы им восхищались. Джулия слышала, что, когда его дамы становились слишком настойчивы, он использовал жену как предлог, чтобы от них избавиться. Или он не мог рисковать тем, что она будет оскорблена в своих чувствах, или она подозревала что-то, или устраивала сцены ревности—не одно, так другое,—но, «пожалуй, будет лучше, если их дружба кончится».

— И что они находят в нем?—воскликнула Джулия, обращаясь к пустой комнате.

Она взяла наугад десяток его последних фотографий и пересмотрела их одну за другой. Пожала плечами.

— Что ж, не мне их винить. Я тоже влюбилась в него. Конечно, тогда он был красивее.

Джулии взгрустнулось при мысли, как сильно она любила его. Ей казалось, что жизнь обманула ее, потому что ее любовь умерла. Она вздохнула.

— И у меня так болит спина,—сказала она.

В дверь постучали.

— Войдите,— сказала Джулия.

Вошла Эви.

— Вы не собираетесь лечь отдохнуть, мисс Лэмберт?— Она увидела, что Джулия сидит на полу, окруженная кучей фотографий.— Что это вы такое делаете?

— Смотрю сны.— Джулия подняла две фотографии.— «Взгляни сюда— вот два изображения»¹.

На одной Майкл был снят в роли Меркуцио, во всей сияющей красе своей юности, на другой— в своей последней роли: белый цилиндр, визитка, полевой бинокль через плечо. У него был невероятно самодовольный вид.

Эви шмыгнула носом.

— Потерянного не воротишь.

— Я думала о прошлом, и у меня теперь страшная хандра.

— Нечего удивляться. Коли начинаешь думать о прошлом, значит, у тебя уже нет будущего.

— Заткнись, старая корова,— сказала Джулия: она могла быть очень вульгарной.

— Ну хватит, пошли, не то вечером вы ни на что не будете годны. Я приберу весь этот разгром.

Эви была горничная и костюмерша Джулии. Она появилась у нее в Миддлпуле и приехала вместе с ней в родной Лондон— она была кокни². Тощая, угловатая, немолодая, с испитым лицом и рыжими, вечно растрепанными волосами, которые не мешало помыть; у нее не хватало спереди двух зубов, но, несмотря на неоднократное предложение Джулии дать ей деньги на новые зубы, Эви не желала их вставлять.

— Сколько я ем, для того и моих зубов много. Только мешать будет, коли напихаешь себе полон рот слоновьих клыков.

Майкл уже давно хотел, чтобы Джулия завела себе горничную, чья внешность больше соответствовала бы их положению, и пытался убедить Эви, что две должности слишком трудны для нее, но Эви и слышать ничего не желала.

¹ Шекспир, Вильям. «Гамлет».

² Кокни— уроженец Ист-Энда (рабочий квартал Лондона); речь кокни отличается особым, нелитературным произношением и грамматическими неправильностями.

— Говорите что хотите, мистер Госселин, а только пока у меня есть здоровье да силы, никто другой не будет прислуживать мисс Лэмберт.

— Мы все стареем. Эви, мы все уже немолоды.

Эви, шмыгнув носом, утерла его пальцем.

— Пока мисс Лэмберт достаточно молода, чтобы играть женщин двадцати пяти лет, я тоже достаточно молода, чтобы одевать ее в театре и прислуживать ей дома,—Эви кинула на него проницательный взгляд.— И зачем это вам надо платить два жалованья—такую кучу денег!—когда вы имеете всю работу заодно?

Майкл добродушно рассмеялся:

— В этом что-то есть, Эви, милочка.

...Эви выпроводила Джулию из комнаты и погнала ее наверх. Когда не было дневного спектакля, Джулия обычно ложилась поспать часа на два перед вечерним, а затем делала легкий массаж. Она разделась и скользнула в постель.

— Черт подери, грелка совершенно остыла.

Джулия взглянула на стоявшие на камине часы. Ничего удивительного, грелка прождала ее чуть не час. Вот уж не думала, что так долго пробыла в комнате Майкла, разглядывая фотографии и перебирая в памяти прошлое.

«Сорок шесть. Сорок шесть. Сорок шесть. Я уйду со сцены в шестьдесят. В пятьдесят восемь—турне по Южной Африке и Австралии. Майкл говорит, там можно изрядно набить карман. Сыграю все свои старые роли. Конечно, даже в шестьдесят я смогу играть сорокапятилетних. Но откуда их взять? Проклятые драматурги!»

Стараясь припомнить пьесу, в которой была бы хорошая роль для женщины сорока пяти лет, Джулия уснула. Спала она крепко и проснулась только, когда пришла массажистка. Эви принесла вечернюю газету, и, пока Джулии массировали длинные стройные ноги и плоский живот, она, надев очки, читала те самые театральные новости, что и утром, ту же светскую хронику и страничку для женщин. Вскоре в комнату вошел Майкл и присел к ней на кровать.

— Ну, как его зовут?—спросила Джулия.

— Кого?

— Мальчика, которого мы пригласили к ленчу.

— Понятия не имею. Я отвез его в театр и думать о нем забыл.

Мисс Филиппс, массажистке, нравился Майкл. С ним тебя не ждут никакие неожиданности. Он всегда говорит одно и то же, и знаешь, что отвечать. И нисколько не задается. А красив!.. Даже трудно поверить!

— Ну, мисс Филиппс, сгоняем жирок?

— Ах, мистер Госселин, да на мисс Лэмберт нет и унции жира. Просто чудо, как она сохраняет фигуру.

— Жаль, что вы не можете массировать меня, мисс Филиппс. Может быть, согнали бы и с меня лишек.

— Что вы такое говорите, мистер Госселин! Да у вас фигура двадцатилетнего юноши. Не представляю, как вы этого добиваетесь, честное слово, не представляю.

— «Скромный образ жизни, высокий образ мыслей»¹.

Джулия не обращала внимания на их болтовню, но ответ мисс Филиппс достиг ее слуха:

— Конечно, нет ничего лучше массажа, я всегда это говорю, но нужно следить и за диетой, с этим не приходится спорить.

«Диета,— подумала Джулия.— Когда мне стукнет шестьдесят, я дам себе волю. Буду есть столько хлеба с маслом, сколько захочу, буду есть горячие булочки на завтрак, картофель на ленч и картофель на обед. И пиво. Господи, как я люблю пиво! Гороховый суп, суп с томатом, пудинг с патокой и вишневый пирог. Сливки, сливки, сливки. И, да поможет мне бог, никогда в жизни больше не прикаснусь к шпинату».

Когда массаж был окончен, Эви принесла Джулии чашку чаю, ломтик ветчины, с которого было срезано сало, и кусочек поджаренного хлеба. Джулия встала с постели, оделась и поехала с Майклом в театр. Она любила приезжать туда за час до начала спектакля. Майкл пошел обедать в клуб. Эви еще раньше приехала в кэбе, и, когда Джулия вошла в свою уборную, там уже все было готово. Джулия снова разделась и надела халат. Сядясь перед туалетным столиком, чтобы наложить грим, Джулия заметила в вазе свежие цветы.

— Цветы? От кого? От миссис де Фриз?

Долли всегда присылала ей огромные букеты к премьере, к сотому спектаклю и к двухсотому, если он

¹ Цицерон. «Из писем к близким».

бывал, а в промежутках, всякий раз, когда заказывала цветы для своего дома, отправляла часть их Джулии.

— Нет, мисс.

— Лорд Чарлз?

Лорд Чарлз Тэмерли был самый давний и самый верный поклонник Джулии; проходя мимо цветочного магазина, он обычно заходил туда и выбирал для Джулии розы.

— Там есть карточка,—сказала Эви.

Джулия взглянула на нее. Мистер Томас Феннел. Тэвисток-сквер.

— Ну и название. Кто бы это мог быть, как ты думаешь, Эви?

— Верно, какой-нибудь бедняга, которого ваша роковая красота стукнула обухом по голове.

— Стоят не меньше фунта. Тэвисток-сквер звучит не очень-то роскошно. Чего доброго, неделю сидел без обеда, чтобы их купить.

— Вот уж не думаю.

Джулия наложила на лицо грим.

— Ты чертовски не романтична, Эви. Раз я не хористка, ты не понимаешь, почему мне присылают цветы. А ноги у меня, видит бог, получше, чем у большинства этих дев.

— Идите вы со своими ногами,—сказала Эви.

— А я тебе скажу, очень даже недурно, когда мне в мои годы присылают цветы. Значит, я еще ничего.

— Ну, посмотрел бы он на вас сейчас, ни в жисть бы не прислал, я их брата знаю,—сказала Эви.

— Иди к черту!

Но когда Джулия кончила гримироваться и Эви надела ей чулки и туфли, Джулия воспользовалась теми несколькими минутами, что у нее оставались, чтобы присесть к бюро и написать своим четким почерком благодарственную записку мистеру Томасу Феннелу за его великолепные цветы. Джулия была вежлива от природы, а кроме того взяла себе за правило отвечать на все письма поклонников ее таланта. Таким образом она поддерживала контакт со зрителями. Надписав конверт, Джулия кинула карточку в мусорную корзину и стала надевать костюм, который требовался для первого акта. Мальчик, вызывающий актеров на сцену, постучал в дверь уборной:

— На выход, пожалуйста.

Эти слова все еще вызывали у Джулии глубокое волнение, хотя один бог знает, сколько раз она их слышала. Они подбадривали ее, как тонизирующий напиток. Жизнь получала смысл. Джулии предстояло перейти из мира притворства в мир реальности.

Глава одиннадцатая

На следующий день Джулию пригласил к ленчу Чарлз Тэмерли. Его отец, маркиз Деннорант, женился на богатой наследнице, и Чарлзу досталось от родителей значительное состояние. Джулия часто бывала у него на приемах, которые он любил устраивать в своем особняке на Хилл-стрит. В глубине души она питала глубочайшее презрение к важным дамам и благородным господам, с которыми встречалась у него, ведь сама она зарабатывала хлеб собственным трудом и была художником в своем деле, но она понимала, что может завести там полезные связи. Благодаря им газеты писали о великолепных премьерах в «Сиддонс-театре», и когда Джулия фотографировалась на загородных приемах среди кучи аристократов, она знала, что это хорошая реклама. Были одна-две первые актрисы моложе ее, которым не очень-то нравилось, что она зовет по крайней мере трех герцогинь по имени. Это не огорчало Джулию. Джулия не была блестящей собеседницей, но глаза ее так сияли, слушала она с таким внимательным видом, что, как только она научилась жаргону светского общества, с ней никому не было скучно. У Джулии был большой подражательный дар, который она обычно сдерживала, считая, что это может повредить игре на сцене, но в этих кругах она обратила его в свою пользу и приобрела репутацию остроумной женщины. Ей было приятно нравиться им, этим праздным, элегантным дамам, но она смеялась про себя над тем, что их ослепляет ее романтический ореол. Интересно, что бы они подумали, если бы узнали, как в действительности прозаична жизнь преуспевающей актрисы, какого она требует неустанного труда, какой постоянной заботы о себе, насколько необходимо вести при этом монотонный, размеренный образ жизни! Но Джулия давала им благожелательные советы, как лучше употреблять косметику, и позво-

ляла копировать фасоны своих платьев. Одевалась она всегда великолепно. Майкл, наивно полагавший, что она покупает свои туалеты за бесценок, даже не представлял, сколько она в действительности тратит на них.

Джулия имела репутацию добропорядочной женщины в обоих своих мирах. Никто не сомневался, что ее брак с Майклом—примерный брак. Она считалась образцом супружеской верности. В то же время многие люди в кругу Чарлза Тэмерли были убеждены, что она—его любовница. Но эта связь, полагали они, тянется так долго, что стала вполне респектабельной, и когда их обоих приглашали на конец недели в один и тот же загородный дом, многие снисходительные хозяйки помещали их в соседних комнатах. Слухи об их связи распустила в свое время леди Чарлз Тэмерли, с которой Чарлз Тэмерли давно уже не жил, но в действительности в этом не было ни слова правды. Единственным основанием для этого служило то, что Чарлз вот уже двадцать лет был безумно влюблен в Джулию и, бесспорно, разошлись супруги Тэмерли, и так не очень между собой ладившие, из-за нее. Забавно, что свела Джулию и Чарлза сама леди Чарлз. Они трое случайно оказались на вилле Долли де Фриз, когда Джулия, в то время молоденькая актриса, имела в Лондоне свой первый успех. Был большой прием, и ей все уделяли усиленное внимание. Леди Чарлз, тогда женщина лет за тридцать, с репутацией красавицы, хотя, кроме глаз, у нее не было ни одной красивой черты, и она умудрялась производить эффектное впечатление лишь благодаря дерзкой оригинальности своей внешности, перегнулась через стол с милостивой улыбкой:

— О мисс Лэмберт, я, кажется, знала вашего батюшку, я тоже с Джерси. Он был врач, не правда ли? Он часто приходил в наш дом.

У Джулии засосало под ложечкой. Теперь она вспомнила, кто была леди Чарлз до замужества, и увидела приготовленную ей ловушку. Она залилась смехом.

— Вовсе нет,—ответила она.—Он был ветеринар. Он ходил к вам принимать роды у сук. В доме ими кишмя кишело.

Леди Чарлз не нашлась сразу, что сказать.

— Моя мать очень любила собак,—ответила она наконец.

Джулия радовалась, что на приеме не было Майкла. Бедный ягненочек, это страшно задело бы его гордость. Он всегда называл ее отца «доктор Ламбёр», произнося имя на французский лад, и когда, вскоре после войны, он умер и мать Джулии переехала к сестре на Сен-Мало, стал называть тещу «мадам де Ламбер». В начале ее карьеры все это еще как-то трогало Джулию, но теперь, когда она твердо стала на ноги и утвердила свою репутацию большой актрисы, она по-иному смотрела на вещи. Она была склонна, особенно среди «сильных мира сего», подчеркивать, что ее отец — всего-навсего ветеринар. Она сама не могла бы объяснить почему, но чувствовала, что ставит их этим на место.

Чарлз Тэмерли догадался, что его жена хотела намеренно унижить молодую актрису, и рассердившись, лез из кожи вон, чтобы быть с ней любезным. Он попросил разрешения нанести ей визит и преподнес чудесные цветы.

Ему было тогда около сорока. Изящное тело венчала маленькая головка, с не очень красивыми, но весьма аристократическими чертами лица. Он казался чрезвычайно хорошо воспитанным, что соответствовало действительности, и отличался утонченными манерами. Лорд Чарлз был ценителем всех видов искусства. Он покупал современную живопись и собирал старинную мебель. Он очень любил музыку и был на редкость хорошо начитан. Сперва ему было просто забавно приходить в крошечную квартиру на Бэкингем-плейс-роуд, где жили двое молодых актеров. Он видел, что они бедны, и ему приятно щекотало нервы знакомство с — как он наивно полагал — настоящей богемой. Он приходил к ним несколько раз, и для него было настоящим приключением, когда его пригласили на ленч, который им подавало форменное пугало по имени Эви, служившее у них горничной. Лорд Чарлз не обращал особого внимания на Майкла, который, несмотря на свою бьющую в глаза красоту, казался ему довольно заурядным молодым человеком, но Джулия покорила его. У нее были темперамент, характер и кипучая энергия, с которыми ему еще не приходилось сталкиваться. Несколько раз лорд Чарлз ходил в театр смотреть Джулию и сравнивал ее исполнение с игрой великих актрис мира, которых он видел в свое время. Ему казалось, что у нее очень яркая индивидуальность.

Ее обаяние было бесспорно. Его сердце затрепетало от восторга, когда он внезапно понял, как она талантлива.

«Вторая Сиддонс, возможно, больше, чем Эллен Терри»¹.

В те дни Джулия не считала нужным ложиться днем в постель, она была сильна, как лошадь, и никогда не уставала, и они часто гуляли вместе с лордом Чарлзом в парке. Она чувствовала, что ему хочется видеть в ней дитя природы. Джулии это вполне подходило. Ей не надо было прилагать усилий, чтобы казаться искренней, открытой и девически восторженной. Чарлз водил ее в Национальную галерею, в музей Тейта² и Британский музей, и она испытывала от этого почти такое удовольствие, какое выказывала. Лорд Тэмерли любил делиться сведениями, Джулия была рада их получать. У нее была цепкая память, и она очень много от него узнала. Если впоследствии она могла рассуждать о Прусте³ и Сезанне⁴ в самом избранном обществе так, что все поражались ее высокой культуре, обязана этим она была лорду Чарлзу. Джулия поняла, что он влюбился в нее, еще до того как он сам это осознал. Ей казалось это довольно забавным. С ее точки зрения, лорд Чарлз был пожилой мужчина, и она думала о нем, как о добром старом дядюшке. В то время Джулия еще была без ума от Майкла. Когда Чарлз догадался, что любит ее, его манера обращения с ней немного изменилась, он стал стеснительным и часто, оставаясь с ней наедине, молчал.

«Бедный ягненок,— сказала она себе,— он такой большой джентльмен, что просто не знает, как ему себя вести».

Сама-то она уже давно решила, какой ей держаться линии поведения, когда он откроется ей в любви, что рано или поздно обязательно должно было произойти. Одно она даст ему понять без обиняков: пусть не воображает, раз он лорд, а она — актриса, что ему стоит только поманить и она прыгнет к нему в постель. Если он попробует с ней такие штучки, она разыграет

¹ Терри, Эллен Алисия (1848—1928)—английская актриса.

² Музей классической и современной живописи в Лондоне.

³ Пруст, Марсель (1871—1922)—французский писатель.

⁴ Сезанн, Поль (1839—1906)—французский живописец.

оскорбленную добродетель и, вытянув вперед руку—роскошный жест, которому ее научила Жанна Тэбу,—укажет ему пальцем на дверь. С другой стороны, если он будет скован, не сможет выдать из себя путного слова от смущения и расстройства чувств, она и сама будет робка и трепетна, слезы в голосе и все в этом духе; она скажет, что ей и в голову не приходило, какие он испытывает к ней чувства, и—нет, нет, это невозможно, это разобьет Майклу сердце. Они хорошо выплачутся вместе, и потом все будет как надо. Чарлз прекрасно воспитан и не станет ей надоедать, если она раз и навсегда вобьет ему в голову, что дело не горит.

Но когда объяснение наконец произошло, все было совсем не так, как ожидала Джулия. Они с Чарлзом гуляли в Сент-Джеймс-парке, любовались пеликанами и обсуждали—по ассоциации,—будет ли она в воскресенье вечером играть Милламант¹. Затем они вернулись домой к Джулии выпить по чашечке чаю. Съели пополам сдобную лепешку. Вскоре лорд Чарлз поднялся, чтобы уйти. Он вынул из кармана миниатюру и протянул Джулии.

— Портрет Клэрон. Это актриса восемнадцатого века, у нее было много ваших достоинств.

Джулия взглянула на хорошенькое умное личико, окаймленное пудреными буклями, и подумала, настоящие ли бриллианты на рамке или стразы.

— О, Чарлз, это слишком дорогая вещь. Как мило с вашей стороны!

— Я так и думал, что она вам понравится. Это—нечто вроде прощального подарка.

— Вы уезжаете?

Джулия была удивлена, он ничего ей об этом не говорил. Лорд Чарлз взглянул на нее с легкой улыбкой.

— Нет. Но я намерен больше не встречаться с вами.

— Почему?

— Я думаю, вы сами это знаете не хуже меня.

И тут Джулия совершила позорный поступок. Она села и с минуту молча смотрела на миниатюру. Выдержав идеальную паузу, она подняла глаза, пока они не встретились с глазами Чарлза. Она могла вызвать слезы

¹ Героиня комедии «Пути светской жизни» У. Конгрива (1670—1729), английского комедиографа.

по собственному желанию, это был один из ее самых эффектных трюков, и теперь, хотя она не издала ни звука, ни всхлипа, слезы заструились у нее по лицу. Рот чуть-чуть приоткрыт, глаза, как у обиженного ребенка,—все вместе создавало на редкость трогательную картину. Лорд Чарлз не мог этого вынести; его черты исказила гримаса боли. Когда он заговорил, голос его был хриплым от обуревавших его чувств:

— Вы любите Майкла, так ведь?

Джулия чуть заметно кивнула. Сжала губы, словно пытаясь овладеть собой, но слезы по-прежнему катились у нее по щекам.

— У меня нет никаких шансов?

Он подождал ответа, но она лишь подняла руку ко рту и стала кусать ногти, по-прежнему глядя на него полными слез глазами.

— Вы не представляете, какая для меня мука видеть вас. Вы хотите, чтобы я продолжал с вами встречаться?

Она снова чуть заметно кивнула.

— Клара устраивает мне сцены. Она догадалась, что я в вас влюблен. Простой здравый смысл требует, чтобы мы расстались.

На этот раз Джулия слегка покачала головой. Всклипнула. Откинулась в кресле и отвернулась. Вся ее поза говорила о том, сколь глубока ее скорбь. Кто бы мог устоять? Чарлз сделал шаг вперед и, опустившись на колени, заключил сломенное горем, безутешное существо в свои объятия.

— Улыбнитесь, ради всего святого. Я не могу этого вынести. О Джулия, Джулия!.. Я так вас люблю, я не могу допустить, чтобы из-за меня вы страдали. Я на все согласен. Я не буду ни на что претендовать.

Джулия повернула к нему залитое слезами лицо («Господи, ну и видок сейчас у меня!») и протянула ему губы. Он нежно ее поцеловал. Поцеловал в первый и единственный раз.

— Я не хочу терять вас,—глухим от слез голосом произнесла она.

— Любимая! Любимая!

— И все будет, как раньше?

— В точности.

Она глубоко и удовлетворенно вздохнула и минуты две оставалась в его объятиях. Когда лорд Чарлз ушел, Джулия встала с кресла и посмотрела в зеркало. «Сукина

ты дочь», — сказала она самой себе. Но тут же засмеялась, словно ей вовсе не стыдно, и пошла в ванную комнату вымыть лицо и глаза. Она была в приподнятом настроении. Услышав, что пришел Майкл, она его позвала:

— Майкл, посмотри, какую миниатюру подарил мне только что Чарлз. Она на каминной полочке. Это настоящие драгоценные камни или подделка?

Когда леди Чарлз оставила мужа, Джулия несколько встревожилась: та грозила подать в суд на развод, и Джулии не очень-то улыбалась мысль появиться в роли соотечественницы. Недели две-три она сильно нервничала. Она решила ничего не рассказывать Майклу без крайней необходимости, и слава богу, так как впоследствии выяснилось, что угрозы леди Чарлз преследовали единственную цель: заставить ни в чем не повинного супруга назначить ей как можно более солидное содержание. Джулия удивительно ловко управлялась с Чарлзом. Им было ясно без слов, что при ее любви к Майклу ни о каких интимных отношениях не может быть и речи, но в остальном он был для нее всем: ее другом, ее советчиком, ее наперсником, человеком, к помощи которого она всегда могла обратиться в случае необходимости, который утешит ее при любой неприятности. Джулии стало немного трудней, когда Чарлз, с присущей ему чуткостью, увидел, что она больше не любит Майкла; пришлось призвать на помощь весь свой такт. Конечно, она, не задумываясь, без особых угрызений совести сделала бы его любовницей. Будь он, скажем, актером и люби ее так давно и сильно, она бы легла с ним в постель просто из дружеских чувств; но с Чарлзом это было невозможно. Джулия относилась к нему с большой нежностью, но он был так элегантен, так воспитан, так культурен, она просто не могла представить его в роли любовника. Все равно что лечь в постель с *objet d'art*¹. Даже его любовь к театру вызывала в ней легкое презрение. В конце концов она была творцом, а он — всего-навсего зрителем. Чарлз хотел, чтобы она ушла к нему от Майкла. Они купят в Сорренто, на берегу Неаполитанского залива, виллу с огромным садом, заведут шхуну и будут проводить долгие дни на прекрасном темно-

¹ Предметом искусства (франц.).

красном море. Любовь, красота и искусство вдали от мира.

«Чертов дурак,— думала Джулия.— Как будто я откажусь от своей карьеры, чтобы похоронить себя в какой-то дыре».

Джулия сумела убедить Чарлза, что она слишком многим обязана Майклу, к тому же у нее ребенок; не может же она допустить, чтобы его юная жизнь омрачилась сознанием того, что его мать — дурная женщина. Апельсиновые деревья — это, конечно, прекрасно, но на его великолепной вилле у нее не будет и минуты душевного покоя от мысли, что Майкл несчастен, а за ее ребенком присматривают чужие люди. Нельзя думать только о себе, ведь правда? О других тоже надо подумать. Джулия была так прелестна, так женственна! Иногда она спрашивала Чарлза, почему он не разведется и не женится на какой-нибудь милой девушке. Ей невыносима мысль, что из-за нее он зря тратит свою жизнь. Чарлз отвечал, что она единственная, кого он любит и будет любить до конца своих дней.

— Ах, это так печально,— говорила Джулия.

Тем не менее она всегда была начеку, и если ей чудилось, что какая-то женщина собирается подцепить Чарлза на крючок, Джулия делала все, чтобы испортить ей игру. Если опасность казалась особенно велика, Джулия не останавливалась перед сценой ревности. Они уже давно пришли к соглашению, конечно, не прямо, а при помощи осторожных намеков и отдаленных иносказаний, со всем тактом, которого можно было ждать от лорда Чарлза при его воспитанности, и от Джулии, при ее добром сердце, что если с Майклом что-нибудь случится, они так или иначе избавятся от леди Чарлз и соединятся узами брака. Но у Майкла было идеальное здоровье.

В этот день Джулия получила огромное удовольствие от ленча на Хилл-стрит. Был большой прием. Джулия никогда не потворствовала Чарлзу в его стремлении приглашать к себе актеров и драматургов, с которыми он где-нибудь случайно встретился, и сегодня она была единственной из гостей, кто когда-либо сам зарабатывал себе на жизнь. Она сидела между старым, толстым, лысым и словоохотливым членом кабинета министров,

который лез из кожи вон, чтобы ее занять, и молодым герцогом Уэстри, который был похож на младшего конюха и гордился тем, что знает французское аргю лучше любого француза. Услышав, что Джулия говорит по-французски, он потребовал, чтобы она беседовала с ним только на этом языке. После ленча ее уговорили декламировать отрывок из «Федры» так, как это делают в «Комеди Франсез», и так, как его произнес бы английский студент, занимающийся в Королевской академии драматического искусства. Джулия заставила общество сильно смеяться и ушла с приема упоенная успехом. Был прекрасный погожий день, и Джулия решила пройти пешком от Хилл-стрит до Стэнхоуп-плейс. Когда она пробиравалась сквозь толпу на Оксфорд-стрит, многие ее узнавали, и, хотя она смотрела прямо перед собой, она ощущала на себе их взгляды.

«Черт знает что. Никуда нельзя пойти, чтобы на тебя не пялили глаза».

Джулия замедлила шаг. День, действительно, был прекрасный.

Она открыла дверь дома своим ключом и, войдя в холл, услышала телефонный звонок. Машинально сняла трубку.

— Да?

Обычно она меняла голос, отвечая на звонки, но сегодня забыла.

— Мисс Лэмберт?

— Я не знаю, дома ли она. Кто говорит? — спросила она на этот раз так, как говорят кокни. Но первое односложное словечко выдало ее. В трубке послышался смехок.

— Я только хотел поблагодарить вас за записку. Вы зря беспокоились. С вашей стороны было так любезно пригласить меня к ленчу, и мне захотелось послать вам несколько цветков.

Звук его голоса, не говоря о словах, объяснил ей, кто ее собеседник. Это был тот краснеющий юноша, имени которого она так и не узнала. Даже теперь, хотя она видела его карточку, она не могла вспомнить. Она запомнила только то, что он живет на Тэвисток-сквер.

— Очень мило с вашей стороны, — ответила она своим голосом.

— Вы, наверное, не захотите выпить со мной чашечку чаю как-нибудь на днях?

Ну и наглость! Да она не пойдет пить чай и с герцогиней! Он разговаривает с ней, как с какой-нибудь хористочкой. Смех, да и только.

— Почему бы и нет?

— Правда? — в голосе зазвучало волнение. («А у него приятный голос».) — Когда?

Ей совсем не хотелось сейчас ложиться отдыхать.

— Сегодня.

— О'кей. Я отпрошусь из конторы пораньше. В половине пятого вас устроит? Тэвисток-сквер, 138.

С его стороны было очень мило пригласить ее к себе. Он мог назвать какое-нибудь модное место, где все бы на нее таращились. Значит, дело не в том, что ему просто хочется показаться рядом с ней.

На Тэвисток-сквер Джулия поехала в такси. Она была довольна собой. Всегда приятно сделать доброе дело. С каким удовольствием он будет потом рассказывать жене и детям, что сама Джулия Лэмберт приезжала к нему на чай, когда он еще был мелким клерком в бухгалтерской конторе. Она была так проста, так естественна. Слушая ее болтовню, никто бы не догадался, что она — величайшая актриса Англии. А если они ему не поверят, он покажет им ее фотографию, подписанную: «Искренне Ваша, Джулия Лэмберт». Он скажет со смехом, что, конечно, если бы он не был таким желторотым мальчишкой, он бы никогда не осмелился ее пригласить.

Когда Джулия подъехала к дому и отпустила такси, она вдруг подумала, что так и не вспомнила его имени и когда ей откроют дверь, не будет знать, кого попросить. Но, подойдя к двери, увидела, что там не один звонок, а целых восемь, четыре ряда по два звонка, и рядом с каждым приколата карточка или клочок бумаги с именем. Это был старый особняк, разделенный на квартиры. Джулия без особой надежды стала читать имена — вдруг какое-нибудь из них покажется ей знакомым, — как тут дверь распахнулась, и он собственной персоной возник перед ней.

— Я видел, как вы подъехали, и побежал вниз. Простите, я живу на четвертом этаже. Надеюсь, вас это не затруднит?

— Конечно, нет.

Джулия стала подниматься по голой лестнице. Она немного запыхалась, когда добралась до последней площадки. Юноша легко прыгал со ступеньки на ступеньку—как козленок, подумала она,—и Джулии не хотелось просить его идти помедленнее. Комната, в которую он ее провел, была довольно большая, но бедно обставленная—выцветшие обои, старая мебель с вытертой обшивкой. На столе стояла тарелка с кексами, две чайные чашки, сахарница и молочник. Фаянсовая посуда была из самых дешевых.

— Присядьте, пожалуйста,—сказал он.—Вода уже кипит. Одну минутку. Газовая горелка в ванной комнате.

Он вышел, и она осмотрелась кругом.

«Ах ты, ягненок! Видно, беден, как церковная мышь».

Комната напомнила Джулии многие меблированные комнаты, в которых ей приходилось жить, когда она впервые попала на сцену. Она заметила трогательные попытки скрыть тот факт, что жилище это было и гостиной, и столовой, и спальней одновременно. Диван у стены, очевидно, ночью служил ему ложем. Джулия точно скинула с плеч два десятка лет. В воображении она вернулась к дням своей молодости. Как весело жилось в таких комнатах, с каким удовольствием они поглощали самые фантастические блюда, снедь, принесенную в бумажных кулках, или зажаренную на газовой горелке яичницу с беконом!.. Вошел хозяин, неся коричневый чайник с кипятком. Джулия съела квадратное бисквитное пирожное, облитое розовой глазурью. Она не позволяла себе такой роскоши уже много лет. Цейлонский чай, очень крепкий, с сахаром и молоком, вернул ее к тем дням, о которых она, казалось, давно забыла. Она снова была молодой, малоизвестной, стремящейся к успеху актрисой. Восхитительное чувство. Оно требовало какого-то жеста, но Джулии пришел на ум лишь один, она сняла шляпу и встряхнула головой.

Они завели разговор. Юноша казался робким, куда более робким, чем по телефону; что ж, нечему удивляться, теперь, когда она здесь, он, естественно, смущен, очень волнуется, и Джулия решила, что ей надо его ободрить. Он рассказал ей, что родители его живут в Хайгейте, его отец—поверенный в делах, раньше он жил вместе с ними, но захотел быть сам себе хозяином и

сейчас, в последний год учения, отделился от семьи и снял эту крошечную квартирку. Он готовится к последнему экзамену. Они заговорили о театре. Он смотрел Джулию во всех ее ролях, с тех пор как ему исполнилось двенадцать лет. Он рассказал, что стоял однажды после дневного спектакля у служебного входа, и, когда она вышла, попросил ее расписаться в его книге автографов. Да, юноша очень мил: эти голубые глаза и светло-каштановые волосы! Как жаль, что он их прилизывает. И такая белая кожа и яркий румянец на скулах; интересно, нет ли у него чохотки? Дешевый костюм сидит хорошо, он умеет носить вещи, ей это нравится; и он выглядит неправдоподобным чистюлей.

Джулия спросила, почему он поселился на Тэвисток-сквере. Это недалеко от центра, объяснил он, и тут есть деревья. Так приятно глядеть в окно. Джулия поднялась взглянуть; это хороший предлог, чтобы встать, а потом она наденет шляпу и попрощается с ним.

— Да, очаровательно. Добрый старый Лондон; сразу делается весело на душе.

Юноша стоял рядом с ней, и при этих словах Джулия обернулась. Он обнял ее за талию и поцеловал в губы. Ни одна женщина на свете не удивилась бы так. Джулия не верила сама себе и стояла как вкопанная. У него были мягкие губы, и вокруг него витал аромат юности — довольно приятный аромат. Но то, что он делал, не лезло ни в какие ворота. Он раздвигал ей губы кончиком языка и обнимал ее теперь уже двумя руками. Джулия не рассердилась, но и не чувствовала желания рассмеяться, она сама не знала, что чувствует. Она видела, что он нежно тянет ее куда-то — его губы все еще прижаты к ее губам, — ощущала явственно жар его тела, словно там, внутри, была печка — вот удивительно! — а затем обнаружила, что лежит на диване, а он рядом с ней и целует ее рот, шею, щеки, глаза. У Джулии непонятно почему сжалось сердце, она взяла его голову обеими руками и поцеловала в губы.

Через некоторое время она стояла у камина перед зеркалом и приводила себя в порядок.

— Погляди на мои волосы!

Он протянул ей гребень, и она провела им по волосам. Затем надела шляпу. Он стоял позади нее, и она

увидела над своим плечом его нетерпеливые голубые глаза, в которых сейчас мерцала легкая усмешка.

— А я-то думала, ты такой застенчивый мальчик,— сказала она его отражению.

Он коротко засмеялся.

— Когда я снова тебя увижу?— спросил он.

— А ты хочешь меня снова видеть?

— Еще как!

Мысли быстро проносились в ее голове. Это все было слишком нелепо; конечно, она не собиралась больше с ним встречаться, достаточно глупо было сегодня позволить ему вести себя таким образом, но, пожалуй, лучше спустить все на тормозах. Он может стать назойливым, если сказать, что этот эпизод не будет иметь продолжения.

— Я на днях позвоню.

— Поклянись.

— Честное слово.

— Не откладывай надолго.

Он настоял на том, чтобы проводить ее вниз и посадить в такси. Джулия хотела спуститься одна, взглянуть на карточки у звонков. «Должна же я, по крайней мере, знать его имя».

Но он не дал ей этой возможности. Когда такси отъехало, Джулия втиснулась в угол сиденья и чуть не захлебнулась от смеха.

«Изнасилована, голубушка. Самым натуральным образом. В мои-то годы! И даже без всяких там «с вашего позволения». Словно я—обыкновенная потаскушка. Комедия восемнадцатого века, вот что это такое. Я могла быть горничной. В кринолине с этими смешными пышными штуками—как они называются, черт побери?—которые они носили, чтобы подчеркнуть бедра, в передничке и косынке на шее». И, припомнив с пятого на десятое Фаркера¹ и Голдсмита², она начала воображаемый диалог: «Фи, сэр, как не стыдно воспользоваться неопытностью простой сельской девушки! Что скажет миссис Эбигейл, камеристка ее светлости, когда узнает, что брат ее светлости похитил у меня самое дорогое

¹ Фаркер, Джордж (1677—1707)—англо-ирландский драматург.

² Голдсмит, Оливер (1728—1774)—английский писатель.

сокровище, каким владеет девушка моего положения,—лишил меня невинности».

Когда Джулия вернулась домой, массажистка уже ждала ее. Мисс Филиппс болтала с Эви.

— Куда это вас носило, мисс Лэмберт?—спросила Эви.—И когда вы теперь отдохнете, хотела бы я знать!

— К черту отдых!

Джулия сбросила платье и белье, с размаху расшвыряла его по комнате. Затем, абсолютно голая, вскочила на кровать, постояла на ней минуту, как Венера, рожденная из пены, затем кинулась на постель и вытянулась в струнку.

— Что на вас нашло?—спросила Эви.

— Мне хорошо.

— Ну, кабы я вела себя так, люди сказали бы, что яхватила лишку.

Мисс Филиппс начала массировать Джулии ноги. Она терла ее несильно, чтобы дать отдых телу, а не утомить его.

— Когда вы сейчас, как вихрь, ворвались в комнату,—сказала она,—я подумала, что вы помолодели на двадцать лет.

— Ах, оставьте эти разговоры для мистера Госселина, мисс Филиппс!—сказала Джулия, затем добавила, словно сама тому удивляясь:—Я чувствую себя, как годовалый младенец.

То же самое было позднее в театре. Ее партнер Арчи Декстер зашел к ней в уборную о чем-то спросить. Джулия только кончила гримироваться. На его лице отразилось изумление.

— Привет, Джулия. Что это с тобой сегодня? Ты выглядишь грандиозно. Да тебе ни за что не дать больше двадцати пяти!

— Когда сыну шестнадцать, бесполезно притворяться, будто ты так уж молода. Мне сорок, и пусть хоть весь свет знает об этом.

— Что ты сделала с глазами? Я еще не видел, чтобы они так у тебя сияли.

Джулия давно не чувствовала себя в таком ударе. Комедия под названием «Пуховка», которая шла в тот вечер, не сходила со сцены уже много недель, но сегодня Джулия играла так, словно была премьеры. Ее исполнение было блестящим. Публика смеялась как никогда. В Джулии всегда было большое актерское обаяние,

но сегодня казалось, что его лучи осязаемо пронизывают весь зрительный зал. Майкл случайно оказался в театре на последних двух актах и после спектакля пришел к ней в уборную.

— Ты знаешь, суфлер говорит, мы кончили на девять минут позже обычного,—так много смеялась публика,—сказал он.

— Семь вызовов. Я думала, они никогда не разойдутся.

— Ну, вини в этом только себя, дорогая. Во всем мире нет актрисы, которая смогла бы сыграть так, как ты сегодня.

— Сказать по правде, я и сама получала удовольствие. Господи, я такая голодная! Что у нас на ужин?

— Рубец с луком.

— Великолепно! — Джулия обвила Майкла руками и поцеловала. — Обожаю рубец с луком. Ах, Майкл, если ты меня любишь, если в твоём твердокаменном сердце есть хоть искорка нежности ко мне, ты разрешишь мне выпить бутылку пива.

— Джулия!

— Только сегодня. Я не так часто прошу тебя что-нибудь для меня сделать.

— Ну что ж, после того, как ты провела этот спектакль, я, наверное, не смогу сказать «нет», но, клянусь богом, уж я прослежу, чтобы мисс Филиппс не оставила на тебе завтра живого места.

Глава двенадцатая

Когда Джулия легла в постель и вытянула ноги, чтобы ощутить приятное тепло грелки, она с удовольствием окинула взглядом свою розово-голубую спальню с позолоченными херувимчиками на туалете и удовлетворенно вздохнула. Настоящий будуар мадам де Помпадур. Она погасила свет, но спать ей не хотелось. С какой радостью она отправилась бы сейчас к Квэгу потанцевать, но не с Майклом, а с Людовиком XV, или Людовиком Баварским, или Альфредом де Мюссе. Клэрон и Bal de l'Opéra¹. Она вспомнила миниатюру, которую когда-то подарил ей Чарлз. Вот как она сегодня

¹ Бал в Оперном театре (франц.).

себя чувствовала. У нее уже целую вечность не было такого приключения. Последний раз нечто подобное случилось восемь лет назад. Ей бы, конечно, следовало стыдиться этого эпизода, и как она потом была напугана! Все так, но, что греха таить, она не могла вспоминать о нем без смеха.

Произошло все тоже случайно. Джулия играла много недель без перерыва, и ей необходимо было отдохнуть. Пьеса переставала привлекать публику, и они уже собирались начать репетиции новой, как Майклу удалось сдать помещение театра на шесть недель французской труппе. Это позволяло Джулии уехать. Долли сняла в Канне дом на весь сезон, и Джулия могла погостить у нее. Выехала она как раз накануне пасхи. Поезда были так переполнены, что она не смогла достать купе в спальном вагоне, но в железнодорожном бюро компании Кука ей сказали, чтоб она не беспокоилась — при пересадке в Париже ее будет ждать спальное место. К ее крайнему смятению, на вокзале в Париже, судя по всему, ничего об этом не знали, и *chef de train*¹ сказал ей, что спальные места заняты все до одного, разве что ей повезет и кто-нибудь в последний момент опоздает. Джулии совсем не улыбалась мысль просидеть всю ночь в углу купе вагона первого класса, и она пошла в вокзальный ресторан обедать, весьма всем этим взволнованная. Ей дали столик на двоих, и вскоре какой-то мужчина занял свободное кресло. Джулия не обратила на него никакого внимания. Через некоторое время к ней подошел *chef de train* и сказал, что, к величайшему сожалению, ничем не может ей помочь. Джулия устроила ему сцену, но все было напрасно. Когда тот ушел, сосед Джулии обратился к ней. Хотя он бегло говорил по-французски, она поняла по его акценту, что он не француз. В ответ на его вежливые расспросы она поведала ему всю историю и поделилась с ним своим мнением о компании Кука, французской железнодорожной компании и всем человеческом роде. Он выслушал ее очень сочувственно и сказал, что после обеда сам пройдет по составу и посмотрит, нельзя ли что-нибудь организовать. Чего только не сделает проводник за хорошие чаевые!

— Я страшно устала, — вздохнула Джулия, — и с радостью отдам пятьсот франков за спальное купе.

¹ Начальник поезда; главный кондуктор (франц.).

Между ними завязался разговор. Собеседник сказал ей, что он атташе испанского посольства в Париже и едет в Канн на пасху. Хотя Джулия проговорила с ним уже с четверть часа, она не потрудилась как следует его рассмотреть. Теперь она заметила, что у него черная курчавая бородка и черные курчавые усы. Бородка росла очень странно: пониже уголков губ были два голые пятна, что придавало ему курьезный вид. Эта бородка, черные волосы, тяжелые полуопущенные веки и довольно длинный нос напоминали ей кого-то, но кого? Вдруг она вспомнила и так удивилась, что, не удержавшись, воскликнула:

— Знаете, я никак не могла понять, кого вы мне напоминаете. Вы удивительно похожи на тициановский портрет Франциска I, который я видела в Лувре.

— С этими его поросячьими глазками?

— Нет, глаза у вас большие. Я думаю, тут все дело в бороде.

Джулия внимательно всмотрелась в него: кожа под глазами гладкая, без морщин, сиреневатого оттенка. Он еще совсем молод, просто борода старит его; вряд ли ему больше тридцати. Интересно, вдруг он какой-нибудь испанский гранд? Одет он не очень элегантно, но с иностранцами никогда ничего не поймешь, и не очень хорошо скроенный костюм может стоить кучу денег. Галстук, хотя и довольно кричащий, был явно куплен у Шарвье. Когда им подали кофе, он попросил разрешения угостить ее ликером.

— Очень любезно с вашей стороны. Может быть, я тогда лучше буду спать.

Он предложил ей сигарету. Портсигар у него был серебряный, что несколько обескуражило Джулию, но, когда он его закрыл, она увидела на уголке крышки золотую коронку. Верно, какой-нибудь граф или почище того. Серебряный портсигар с золотой короной — в этом есть свой шик. Жаль, что ему приходится носить современное платье. Если бы его одеть как Франциска I, он выглядел бы весьма аристократично. Джулия решила быть с ним как можно любезней.

— Я, пожалуй, лучше признаюсь вам, — сказал он немного погодя, — я знаю, кто вы. И разрешите добавить, что я очень восхищаюсь вами.

Джулия одарила его долгим взглядом своих чудесных глаз.

- Вы видели мою игру?
- Да. Я был в Лондоне в прошлом месяце.
- Занятная пьеска, не правда ли?
- Только благодаря вам.

Когда к ним подошел официант со счетом, ей пришлось настоять на том, чтобы расплатиться за свой обед. Испанец проводил ее до купе и сказал, что пойдет по вагонам, может быть, ему удастся найти для нее спальное место. Через четверть часа он вернулся с проводником и сказал, что нашел купе, пусть она даст проводнику свои вещи, и он проводит ее туда. Джулия была в восторге. Испанец кинул шляпу на сиденье, с которого она встала, и она пошла следом за ним по проходу. Когда они добрались до купе, испанец велел проводнику отнести чемодан и сумку, лежавшие в сетке, в тот вагон, где была мадам.

— Неужели вы отдали мне собственное место? — вскричала Джулия.

— Единственное, которое я мог найти во всем составе.

— Нет, я и слышать об этом не хочу.

— *Alles*¹, — сказал испанец проводнику.

— Нет, нет...

Незнакомец кивнул проводнику, и тот забрал вещи.

— Это не имеет значения. Я могу спать где угодно, но я бы и глаз не сомкнул от мысли, что такая великая актриса будет вынуждена провести ночь с тремя чужими людьми.

Джулия продолжала протестовать, но не слишком рьяно. Это так мило, так любезно с его стороны! Она не знает, как его и благодарить. Испанец не позволил ей даже отдать разницу за билет. Он умолял ее, чуть не со слезами на глазах, оказать ему честь, приняв от него этот пустяковый подарок. У нее был с собой только дорожный несессер с кремами для лица, ночной сорочкой и принадлежностями для вечернего туалета, и испанец положил его на столик. Его единственная просьба — разрешить у нее посидеть, пока ей не захочется лечь, и выкурить одну-две сигареты. Джулии трудно было ему отказать. Постель уже была приготовлена, и они сели поверх одеяла. Через несколько минут появился проводник с бутылкой шампанского и двумя бокалами. Недур-

¹ Идите (франц.).

ное приключеньице! Джулия искренне наслаждалась. Удивительно любезно с его стороны. Да, эти иностранцы знают, как надо вести себя с большой актрисой! С Сарой Бернар такие вещи, верно, случались каждый день. А Сиддонс! Когда она входила в гостиную, все вставали, словно вошла сама королева.

Испанец отпустил ей комплимент по поводу того, как прекрасно она говорит по-французски. Родилась на острове Джерси, а образование получила во Франции? Тогда понятно. Но почему она решила играть на английской сцене, а не на французской? Она завоевала бы не меньшую славу, чем Дузе. Она и в самом деле напоминает ему Дузе: те же великолепные глаза и белая кожа, та же эмоциональность и потрясающая естественность в игре.

Когда они наполовину опорожнили бутылку с шампанским, Джулия сказала, что уже очень поздно.

— Право, я думаю, мне пора ложиться.

— Ухожу.

Он встал и поцеловал ей руку. Когда он вышел, Джулия заперла дверь в купе и разделась. Погасив все лампы, кроме той, что была у нее над головой, она принялась читать. Через несколько минут раздался стук в дверь.

— Да?

— Мне страшно неловко вас беспокоить. Я оставил в туалете зубную щетку. Можно мне войти?

— Я уже легла.

— Я не могу спать, пока не вычищу зубы.

«А он по крайней мере чистоплотен».

Пожав плечами, Джулия протянула руку к двери и открыла задвижку. При создавшихся обстоятельствах просто глупо изображать из себя слишком большую скромницу. Испанец вошел в купе, заглянул в туалет и через секунду вышел, размахивая зубной щеткой. Джулия заметила ее, когда сама чистила зубы, но решила, что ее оставил человек из соседнего купе. В те времена на два купе был один туалет. Джулия перехватила взгляд испанца, брошенный на бутылку с шампанским.

— Меня ужасно мучит жажда, вы не возражаете, если я выпью бокал?

На какую-то долю секунды Джулия задержалась с ответом. Шампанское было его, купе — тоже. Что ж, назвался груздем — полезай в кузов.

— Конечно, нет.

Он налил себе шампанского, закурил сигарету и присел на край постели. Она чуть посторонилась, чтобы ему было свободнее. Он держался абсолютно естественно.

— Вы не смогли бы заснуть в том купе,— сказал он,— один из попутчиков ужасно сопит. Уж лучше бы храпел. Тогда можно было бы его разбудить.

— Мне очень неловко.

— О, неважно. На худой конец свернусь калачиком в проходе у вашей двери.

«Не ожидает же он, что я приглашу его спать здесь, со мной,— сказала себе Джулия.— Уж не подстроил ли он все это специально? Ничего не выйдет, голубчик». Затем произнесла вслух:

— Очень романтично, конечно, но не очень удобно.

— Вы очаровательная женщина!

А все же хорошо, что у нее нарядная ночная сорочка и она еще не успела намазать лицо кремом. По правде говоря, она даже не потрудилась стереть косметику. Губы у нее были пунцовые, и она знала, что, освещенная лишь лампочкой для чтения за головой, она выглядит очень даже неплохо. Но ответила она иронически:

— Если вы решили, что я соглашусь с вами переспать за то, что уступили мне свое купе, вы ошибаетесь.

— Воля ваша. Но почему бы нет?

— Я не из тех «очаровательных» женщин, за которую вы меня приняли.

— А какая вы женщина?

— Верная жена и нежная мать.

Он вздохнул.

— Ну что ж, тогда спокойной ночи.

Он раздавил в пепельнице окурок и поднес к губам ее руку. Поцеловал ладонь. Медленно провел губами от запястья до плеча. Джулию охватило странное чувство. Борода слегка щекотала ей кожу. Затем он наклонился и поцеловал ее в губы. От его бороды исходил какой-то своеобразный душистый запах. Джулия не могла понять, противен он ей или приятен. Удивительно, если подумать, ее еще ни разу в жизни не целовал бородатый мужчина. В этом есть что-то не совсем пристойное. Щелкнул выключатель, свет погас.

Он ушел лишь тогда, когда узкая полоска между неплотно закрытыми занавесками возвестила, что настало утро. Джулия была совершенно разбита, морально и физически.

«Я буду выглядеть форменной развалиной, когда приеду в Канн».

И так рисковать! Он мог ее убить или украсть ее жемчужное ожерелье. Джулию бросало то в жар, то в холод от мысли, какой опасности она подвергалась. И он тоже едет в Канн. А вдруг он станет претендовать там на ее знакомство! Как она объяснит, кто он, своим друзьям? Она была уверена, что Долли он не понравится. Еще попробует ее шантажировать... А что ей делать, если ему вздумается повторить сегодняшний опыт? Он страстен, в этом сомневаться не приходится. Он спросил, где она остановится, и, хотя она не сказала ему, выяснить это при желании не составит труда. В таком месте, как Канн, вряд ли удастся избежать встречи. Вдруг он окажется назойлив? Если он так влюблен в нее, как говорит, он от нее не отвяжется, это ясно. И с этими иностранцами ничего нельзя сказать заранее, еще станет устраивать ей публичные сцены. Утешало ее одно: он сказал, что едет только на пасху; она притворится, будто очень устала и хочет первое время спокойно побыть на вилле.

«Как я могла так сглупить!»

Долли, конечно, придет ее встречать, и если испанец будет настолько бестактен и подойдет к ней прощаться, она скажет Долли, что он уступил ей свое купе. В этом нет ничего такого. Всегда лучше придерживаться правды... насколько это возможно. Но в Канне на платформе была куча народу, и Джулия вышла со станции и села в машину Долли, даже не увидев испанца.

— Я никого не приглашала на сегодня,— сказала Долли.— Я думала, вы устали, и хотела побыть наедине с вами хотя бы один день.

Джулия нежно стиснула ей плечо.

Чудеснее и быть не может. Будем сидеть на вилле, мазать лицо кремами и сплетничать, сколько душе угодно.

Но на следующий день они были приглашены к ленчу, а до этого должны были встретиться с пригласившими их в баре на рю Круазет и выпить вместе коктейли. Когда они вышли из машины, Долли задержалась, чтобы дать шоферу указания, куда за ними заехать, и Джулия поджидала ее. Вдруг сердце подскочило у нее в груди: прямо к ним направлялся вчерашний испанец; с одной стороны, держа его под руку, шла молодая

женщина, с другой он вел девочку. Отворачиваться было поздно. Долли присоединилась к ней, надо было перейти на другую сторону улицы. Испанец подошел вплотную, кинул на нее безразличный взгляд и, оживленно беседуя со своей спутницей, проследовал дальше. Джулия поняла, что он так же мало жаждет видеть ее, как она — его. Женщина и девочка были, очевидно, его жена и дочь, с которыми он хотел провести в Канне пасху. Какое облегчение! Теперь она может безбоязненно наслаждаться жизнью. Но, идя за Долли к бару, Джулия подумала, какие все же скоты эти мужчины! С них просто нельзя спускать глаз. Стыд и срам, имея такую очаровательную жену и прелестную дочурку, заводить в поезде случайное знакомство! Должно же у них быть хоть какое-то чувство пристойности!

Однако с течением времени негодование Джулии поостыло, и она даже с удовольствием думала об этом приключении. В конце концов они неплохо позабавились. Иногда она позволяла себе предаваться мечтам и перебирать в памяти все подробности этой единственной в своем роде ночи. Любовник он был великолепно, ничего не скажешь. Будет о чем вспомнить, когда она постареет. Все дело в бороде — она так странно щекотала ей лицо — и в этом душном запахе, который отталкивал и одновременно привлекал ее. Еще несколько лет Джулия высматривала мужчин с бородами; у нее было чувство, что если бы один из них приволокнулся за ней, она была бы просто не в силах ему отказать. Но бороды вышли из моды, и слава богу, потому что при виде бородатого мужчины у Джулии подгибались колени; к тому же ни один из бородачей, которых она все же изредка встречала, не делал ей никаких авансов. Интересно все же, кто он, этот испанец. Джулия видела его через несколько дней после приезда в казино — он играл в *chemin de fer*¹ — и спросила о нем двух-трех знакомых. Но никто из них не был с ним знаком, и он так и остался в ее памяти и в ее крови безымянным. Забавное совпадение — как зовут юношу, столь удивившего ее сегодня днем, Джулия тоже не знала.

«Если бы я представляла, что они намерены позволить себе со мной вольности, я бы по крайней мере заранее попросила у них визитные карточки».

С этой мыслью она благополучно уснула.

¹ «Шмэн-де-фер» — азартная карточная игра (франц.).

Глава тринадцатая

Прошло несколько дней, и однажды утром, когда Джулия лежала в постели и читала новую пьесу, ей позвонили по внутреннему телефону из цокольного этажа и спросили, не поговорит ли она с мистером Феннелом. Имя ей было незнакомо, и она уже было сказала «нет», как ей пришло в голову, не тот ли это юноша из ее приключения. Любопытство побудило ее сказать, чтобы их соединили. Джулия сразу узнала его голос.

— Ты обещала позвонить,— сказал он.— Мне надоело ждать, и я звоню сам.

— Я была ужасно занята все это время.

— Когда я тебя увижу?

— Когда у меня будет свободная минутка.

— Как насчет сегодня?

— У меня дневной спектакль.

— Приходи после него выпить чаю.

Она улыбнулась. («Нет, малыш, второй раз ты меня на ту же удочку не поймашь».)

— Не получится,— сказала она.— Я всегда остаюсь в театре, отдыхаю у себя в уборной до вечернего представления.

— А мне нельзя зайти в то время, как ты отдыхаешь?

Какую-то секунду она колебалась. Пожалуй, это будет лучше всего. При Эви, которая без конца входит в уборную, в ожидании мисс Филиппс ни о каких глупостях не может быть и речи. Удобный случай дружки—мальчик так мил!—но твердо сказать ему, что продолжения не будет. В нескольких удачно подобранных словах она объяснит ему, что это—безрассудство и он весьма ее обяжет, если вычеркнет из памяти весь этот эпизод.

— Хорошо. Приходи в полшестого, я угощу тебя чашкой чаю.

Три часа, которые она проводила у себя в уборной между дневным и вечерним спектаклями, были самым любимым временем в ее загруженном дне. Остальные члены труппы уходили из театра, оставались лишь Эви, готовая удовлетворить все ее желания, и швейцар, следивший, чтобы никто не нарушил ее покоя. Уборная казалась Джулии каютой корабля. Весь остальной мир оставался где-то далеко-далеко, и Джулия наслаждалась

своим уединением. Она словно попадала в магический круг, который делал ее еще свободней. Она дремала, читала или, улегшись на мягкий удобный диван, позволяла мыслям блуждать без определенной цели. Думала о роли, которую ей предстояло играть, и о своих прошлых ролях. Думала о своем сыне Роджере. Приятные полумечты-полувоспоминания неторопливо проходили у нее в уме, как влюбленные в зеленом лесу. Джулия любила французскую поэзию и иногда читала вслух Верлена.

Ровно в половине шестого Эви подала ей карточку. «Мистер Томас Феннел»,—прочитала она.

— Проводи его сюда и принеси чай.

Джулия еще утром решила, как она будет с ним держаться. Любезно, но сухо. Проявит дружеский интерес к его работе, спросит насчет экзамена. Затем расскажет о Роджере. Роджеру было семнадцать, через год он поступит в Кембридж. Она постарается исподволь внушить юноше, что по своему возрасту годится ему в матери. Она будет вести себя так, словно между ними никогда ничего не было, и он уйдет, чтобы никогда больше ее не видеть, иначе как при свете рампы, почти поверив, что все это было плодом его фантазии. Но когда Джулия взглянула на него, такого хрупкого, с чахоточным румянцем и голубыми глазами, такого юного и прелестного, сердце ее пронзила внезапная боль. Эви вышла и закрыла дверь. Джулия лежала на диване; она протянула ему руку с милостивой улыбкой мадам Рекамье¹, но он кинулся рядом с ней на колени и страстно приник к ее губам. Джулия ничего не могла с собой поделать, она обвила его шею руками и так же страстно вернула ему поцелуй.

(«Господи, где мои благие намерения? Неужели я в него влюбилась?»)

— Сядь, ради бога. Эви сейчас принесет чай.

— Скажи, чтобы она нам не мешала.

— Что ты имеешь в виду?

Но что он имел в виду, было более чем очевидно. Сердце ее учащенно забилося.

— Это смешно. Я не могу. Может зайти Майкл.

— Я тебя хочу.

¹ Рекамье, Жюли (1777—1849)—знаменитая французская красавица, хозяйка блестящего парижского салона во времена Директории и Консульства, где собирались известные писатели тех дней.

— И что подумает Эви? Просто идиотизм так рисковать. Нет, нет, нет.

В дверь постучали, вошла Эви с чаем. Джулия велела ей придвинуть столик к дивану и поставить кресло для молодого человека с другой стороны. Она задерживала Эви ненужным разговором и чувствовала на себе его взгляд. Его глаза быстро следовали за ее жестами, следили за выражением ее лица, она избегала их, но все равно ощущала нетерпение, горящее в них, и пыл его желаний. Джулия была взволнована. Ей казалось, что голос ее звучит неестественно. («Какого черта! Что это со мной? Я еле дышу!»)

Когда Эви подошла к дверям, юноша сделал движение, которое было так безотчетно, что Джулия уловила его не столько зрением, сколько чувствами, и, не удержавшись, взглянула на него. Его лицо совсем побелело.

— О Эви,— сказала Джулия,— этот джентльмен хочет поговорить со мной о пьесе. Последи, чтобы нам не мешали. Я позвоню, когда ты мне понадобишься.

— Хорошо, мисс.

Эви вышла и закрыла за собой дверь.

(«Я просто дура. Последняя дура».)

Но он уже отодвинул столик и стоял возле нее на коленях, она уже была в его объятиях.

...Джулия отослала его незадолго до прихода мисс Филиппс и, когда он ушел, позвонила Эви.

— Хорошая пьеса? — спросила Эви.

— Какая пьеса?

— О которой он говорил с вами.

— Он неглуп. Конечно, еще очень молод...

Эви смотрела на туалетный столик. Джулия любила, чтобы ее вещи всегда были на своем месте, и если вдруг не находила баночки с кремом или краски для ресниц, устраивала скандал.

— Где ваш гребень?

Он причесывался ее гребнем и нечаянно положил его на чайный столик. Увидев его там, Эви с минуту задумчиво на него глядела.

— Как, ради всего святого, он сюда попал? — беззаботно вскричала Джулия.

— Вот и я об этом думаю.

У Джулии душа ушла в пятки. Конечно, заниматься такими вещами в театре, в своей уборной, просто

безумие. Да тут даже нет ключа в двери. Эви держит его у себя. А все же риск придает всему этому особую пикантность. Приятно было думать, что она способна до такой степени потерять голову. Так или иначе, теперь они назначили свидание. Том — она спросила, как его зовут дома, и он сказал «Томас», но у нее не поворачивался язык так его называть, — Том хотел пригласить ее куда-нибудь на ужин, чтобы они могли потанцевать, а Майкл уезжал на днях в Кембридж на репетицию нескольких одноактных пьес, написанных студентами, так что у них будет куча времени.

— Ты сможешь вернуться рано утром, когда станут развозить молоко.

— А как насчет спектакля на следующий день?

— Какое это имеет значение?

Джулия не разрешила ему зайти за ней в театр, и, когда она вошла в выбранный ими ресторан, Том ждал ее в холле. При виде Джулии лицо его засветилось.

— Уже так поздно. Я испугался, что ты совсем не придешь.

— Мне очень жаль. Ко мне зашли после спектакля разные скучные люди, и я никак не могла отделаться от них.

Это была неправда. Весь вечер Джулия волновалась, как девушка, идущая на первый бал. Она тысячу раз повторяла себе, что это просто нелепо. Но когда она сняла сценический грим и снова нарядилась, чтобы идти на ужин, результаты не удовлетворили ее. Она наложила голубые тени на веки и снова их стерла, нарядила щеки и вымыла их, затем попробовала другой оттенок.

— Что это вы такое делаете? — спросила Эви.

— Пытаюсь выглядеть на двадцать, дурочка.

— Ну, коли вы сейчас не перестанете, будете выглядеть на все свои сорок шесть.

Джулия еще не видела Тома в смокинге. Мальчик сиял, как медная пуговица. Среднего роста, он выглядел высоким из-за своей худобы. Джулию тронуло, что хотя ему хотелось казаться человеком бывалым и светским, когда дошло до заказа, он оробел перед официантом. Они пошли танцевать. Танцевал он неважно, но и в неловкости его ей чудилось своеобразное очарование. Джулию узнавали, и она чувствовала, что он купается в

отраженных лучах ее славы. Молодая пара, закончив танец, подошла к их столику поздороваться. Когда они отошли, Том спросил:

— Это не леди и лорд Деннорант?

— Да, я знаю Джорджа еще с тех пор, как он учился в Итоне.

Он следил за ними взглядом.

— Ее девичье имя — леди Сесили Лоустон, да?

— Не помню. Разве?

Для нее это не представляло интереса. Через несколько минут мимо них прошла другая пара.

— Посмотри, леди Лепар.

— Кто это?

— Разве ты не помнишь, у них был большой прием в их загородном доме в Чeshire несколько недель назад; присутствовал сам принц Уэльский. Об этом еще писали в «Наблюдателе».

А-а, вот откуда он черпает все свои сведения! Бедный крошка! Он читал об этих титулованных господах в газетах и изредка, в ресторане или театре, видел их во плоти. Конечно, он трепетал от восторга. Романтика. Если бы он только знал, какие они все зануды. Это невинное увлечение людьми, чьи фотографии помещают в иллюстрированных газетах, делало его невероятно простодушным в ее глазах, и она нежно посмотрела на него через стол.

— Ты приглашал когда-нибудь актрису в ресторан?

Он пунцово покраснел.

— Никогда.

Джулии было очень неприятно, что он платит по счету, она подозревала, что сумма равняется его недельному заработку, но не хотела ранить его гордость, предложив заплатить самой. Она спросила мимоходом, который час, и он привычно взглянул на запястье.

— Ой, я забыл надеть часы.

Она испытующе посмотрела на него.

— А ты случайно не заложил их?

Он снова покраснел.

— Нет. Я очень спешил, когда одевался.

Достаточно было взглянуть на его галстук, чтобы увидеть, что это не так. Он ей лгал. Он отнес в заклад часы, чтобы пригласить ее на ужин. В горле у Джулии застрял комок. Она была готова, не сходя с места, сжать

Тома в объятиях и целовать его голубые глаза. Она обожала его.

— Давай уйдем,— сказала Джулия.

Они взяли такси и отправились в его квартиру на Тэвисток-сквер.

Глава четырнадцатая

На следующий день Джулия пошла к Картье и купила часы, чтобы послать их Тому вместо тех, которые он заложил, а две или три недели спустя, узнав, что у него день рождения, купила ему золотой потсигар.

— Ты знаешь, это вещь, о которой я мечтал всю свою жизнь.

Джулии показалось, что у него в глазах слезы. Он страстно ее поцеловал.

Затем, то под одним предлогом, то под другим, Джулия подарила ему булавку для галстука, жемчужные запонки и пуговицы для жилета. Ей доставляло острую радость делать ему подарки.

— Так ужасно, что я ничего не могу тебе подарить,— сказал он.

— Подари мне часы, которые ты заложил, чтобы пригласить меня на ужин,— попросила она.

Это были небольшие золотые часы, не дороже десяти фунтов, но ей нравилось иногда их надевать.

После ночи, которую они провели вместе вслед за ужином в ресторане, Джулия наконец призналась себе, что влюблена. Это открытие ее потрясло. И все равно она была на седьмом небе от счастья.

«А ведь я думала, что уже никогда не влюблюсь. Конечно, долго это не протянется. Но почему бы мне не порадоваться, пока можно?»

Джулия решила, что постарается снова пригласить его на Стэнхоуп-плейс. Вскоре ей представилась такая возможность.

— Ты помнишь этого своего молодого бухгалтера?— сказала она Майклу.— Его зовут Том Феннел. Я встретила его на днях на званом ужине и предложила прийти к нам в следующее воскресенье. Нам не хватает одного мужчины.

— Ты думаешь, он подойдет?

У них ожидался грандиозный прием. Потому она и позвала Тома. Ему доставит удовольствие познакомиться с людьми, которых он знал только по фотографиям в газетах. Джулия уже увидела, что он немного сноб. Что ж, тем лучше, все фешенебельное общество будет к его услугам. Джулия была проницательная, она прекрасно понимала, что Том не влюблен в нее. Роман с ней льстил его тщеславию. Он был чрезвычайно пылок и наслаждался любовной игрой. Из отдельных намеков, из рассказов, которые она постепенно вытягивала из него, Джулия узнала, что с семнадцати лет у него уже было очень много женщин. Главным для него был сам акт, с кем — не имело особого значения. Он считал это самым большим удовольствием на свете. И Джулия понимала, почему он пользуется таким успехом. Была своя привлекательность в его худобе — буквально кожа да кости, вот почему на нем так хорошо сидит костюм, — свое очарование в его чистоте и свежести. Он казался таким трогательным. А его застенчивость в сочетании с бесстыдством была просто неотразима. Как ни странно, женщинам льстит, когда на них смотрят с одной мыслью — повалить поскорей на кровать.

«Да, секс эпил — вот чем он берет».

Джулия понимала, что своей миловидностью он обязан лишь молодости. С возрастом он высохнет, станет костлявым, изможденным и морщинистым; его прелестный румянец сделается багровым, нежная кожа — дряблой и пожелтелой, но чувство, что его прелесть так недолговечна, лишь усиливало нежность Джулии. Том вызывал в ней непонятное сострадание. Он всегда, как это свойственно юности, был в приподнятом настроении, и Джулия впитывала его веселость с такой же жадностью, как котенок лакает молоко. Но развлекать он не умел. Когда Джулия рассказывала что-нибудь забавное, он смеялся, но сам ничего забавного рассказать не мог. Ее не смущало то, что он скучноват. Напротив, действовало успокаивающе на нервы. У нее еще никогда не было так легко на сердце, как в его обществе, а блеска и остроумия у нее с избытком хватало на двоих.

Все окружающие продолжали твердить Джулии, что она выглядит на десять лет моложе и никогда еще она не играла так хорошо. Джулия знала, что это правда, и знала — почему. Но ей следует быть осмотрительной. Нельзя терять головы. Чарлз Тэмерли всегда говорил,

что актрисе не так нужен ум, как благоразумие, наверное, он прав. Быть может, она и неумна, но чувства ее начеку, и она доверяет им. Чувства подсказывали Джулии, что она не должна признаваться Тому в своей любви. Она постаралась дать ему понять, что не имеет никаких притязаний, он сам себе хозяин. Она держалась так, словно все происходящее между ними — пустяк, которому ни он, ни она не придают особого значения. Но она делала все, чтобы привязать его к себе. Том любил приемы, и Джулия брала его с собой на приемы. Она заставила Долли и Чарлза Тэмерли звать его к ленчу. Том любил танцевать, и Джулия доставала ему приглашения на балы. Ради него она тоже шла туда на часок и видела, какое ему доставляет удовольствие то, что она пользуется таким огромным успехом. Джулия знала, что у него кружится голова в присутствии важных персон, — и знакомила его со всякими именитыми людьми. К счастью, Майклу он очень нравился. Майкл любил поговорить, а Том был прекрасным слушателем. Он превосходно знал свое дело. Однажды Майкл сказал ей:

— Толковый парень Том. Съел собаку на подходящем налоге. Научил меня, как сэкономить две-три сотни фунтов с годового дохода, когда буду платить налог в следующий раз.

Майкл, посещавший в поисках новых талантов чужие театры в самом Лондоне или пригородах, часто брал Тома по вечерам с собой; после спектакля они заезжали за Джулией и ужинали втроем. Время от времени Майкл звал Тома в воскресенье на партию гольфа и, если они не были никуда приглашены, привозил к ним обедать.

— Приятно, когда в доме молодежь, — говорил он, — не дает самому тебе заржаветь.

Том всячески старался быть полезен. Играл с Майклом в трик-трак, раскладывал с Джулией пасьянсы, и, когда они заводили граммофон, был тут как тут, чтобы менять пластинки.

— Он будет хорошим товарищем Роджеру, — сказал Майкл. — У Тома есть голова на плечах, к тому же он старше Роджера. Окажет на него хорошее влияние. Почему бы тебе не пригласить его пожить у нас во время отпуска?

(«К счастью, я хорошая актриса».)

Но Джулии понадобилось значительное усилие, чтобы голос звучал не слишком радостно, а лицо не выдавало восторга, от которого неистово билось сердце.

— Неплохая идея,— ответила она.— Я приглашу его, если хочешь.

Театр не закрывался до конца августа, и Майкл снял дом в Тэплоу, чтобы они могли провести там самые жаркие дни лета. Джулия ездила в город на спектакли, Майкл — когда его призывали дела, но будни до вечера, а воскресенье целый день они оставались за городом. Тому полагалось две недели отпуска, и он с готовностью принял их приглашение.

Как-то раз Джулия заметила, что Том непривычно молчалив. Он казался бледен, всегдашняя жизнерадостность покинула его. Она поняла, что у него что-то случилось, но он не пожелал говорить ей, в чем дело, сказал только, что у него неприятности. Наконец Джулия вынудила его признаться, что он влез в долги и кредиторы настойчиво требуют, чтобы он расплатился. Жизнь, в которую Джулия втянула Тома, была ему не по карману; стыдясь своего дешевого костюма на великосветских приемах, куда она его брала, он заказал себе новые у дорогого портного. Он поставил деньги на лошадь в надежде выиграть и рассчитаться с долгами, а лошадь пришла последней. Для Джулии его долг — сто двадцать пять фунтов — был чепуховой суммой, и ей казалось нелепым, чтобы такой пустяк мог кого-нибудь расстроить. Она тут же сказала, что даст ему эти деньги.

— Нет, я не могу. Я не могу брать деньги у женщины.

Том покраснел до корней волос; ему стало стыдно от одной только мысли. Джулия приложила все свое искусство, применила все уловки, чтобы уговорить его. Она приводила ему разумные доводы, притворялась, будто обижена, даже пустила в ход слезы, и, наконец, Том согласился, так и быть, взять у нее эти деньги взаймы. На следующий день Джулия послала ему в письме два банковских билета по сто фунтов. Том позвонил и сказал, что она прислала гороздо больше, чем нужно.

— О, я знаю, люди никогда не признаются, сколько они задолжали,— сказала она со смехом.— Я уверена, что ты должен больше, чем мне сказал.

— Честное слово, нет. Я бы не стал тебе лгать ни за что на свете.

— Тогда держи остаток у себя, на всякий случай. Мне неприятно, что тебе приходится расплачиваться в ресторане. И за такси, и за прочее.

— О нет, право, не могу. Это так унижительно.

— Какая ерунда! Ты же знаешь, у меня столько денег, что мне девать их некуда. Неужели тебе трудно доставить мне удовольствие и позволить вызволить тебя из беды?

— Это ужасно мило с твоей стороны. Ты не представляешь, как ты меня выручила. Не знаю, как тебя и благодарить.

Однако голос у него был встревоженный. Бедный ягненок, не может выйти из плена условностей. Но Джулия говорила правду, она еще никогда не испытывала такого наслаждения, как сейчас, давая ему деньги; это вызывало в ней неожиданный взрыв чувств. И у нее был в уме еще один проект, который она надеялась привести в исполнение за те две недели, что Том проведет у них в Тэплоу. Прошло то время, когда убогость его комнаты на Тэвисток-сквер казалась ей очаровательной, а скромная меблировка умиляла. Раз или два Джулия встречала на лестнице людей, и ей показалось, что они как-то странно на нее смотрят. К Тому приходила убирать и готовить завтрак грязная, неряшливая поденщица, и у Джулии было чувство, что та догадывается об их отношениях и шпионит за ней. Однажды, когда Джулия была у Тома, кто-то повернул ручку двери, а когда она вышла, поденщица протирала перила лестницы и бросила на Джулию хмурый взгляд. Джулии был противен затхлый запах прокисшей пищи, стоявший на лестнице, и ее острый глаз скоро увидел, что комната Тома отнюдь не блещет чистотой. Выцветшие пыльные занавеси, вытертый ковер, дешевая мебель—все это внушало ей отвращение. Случилось так, что Майкл, все время выискивающий способ выгодно вложить деньги, купил несколько гаражей неподалеку от Стэнхоуп-плейс—раньше там были конюшни. Он решил, что, сдавая часть из них, он окупит те, которые были нужны им самим. Над гаражами был ряд комнат. Майкл сделал из них две квартирки, одну—для их шофера, другую—для сдачи внаем. Она все еще стояла пустая, и Джулия предложила Тому ее снять. Это будет замечательно. Она сможет забегать к нему на часок, когда он будет возвращаться из конторы, иногда ей удастся

заходить после спектакля, и никто ничего не узнает. Никто им не будет мешать. Они будут совершенно свободны. Джулия говорила Тому, как интересно будет обставлять комнаты; у них на Стэнхоуп-плейс куча ненужных вещей, он просто обяжет ее, взяв их «на хранение». Чего не хватит, они купят с ним вместе. Тома очень соблазняла мысль иметь собственную квартиру, но о чем было мечтать — плата, пусть и невысокая, была ему не по средствам. Джулия об этом знала. Знала она и то, что, предложи она платить из своего кармана, он с негодованием откажется. Но ей казалось, что в течение праздных двух недель на берегу реки в их роскошном загородном доме она сумеет превозмочь его колебания. Она видела, как прельщает Тома ее предложение, и не сомневалась, что найдет какой-нибудь способ убедить его, что, согласившись, он на самом деле окажет ей услугу.

«Людам не нужен резон, чтобы сделать то, что они хотят,— рассуждала Джулия,— им нужно оправдание».

Джулия с волнением ждала Тома в Тэплоу. Как приятно будет гулять с ним утром у реки, а днем вместе сидеть в саду! Приедет Роджер, и Джулия твердо решила, что между нею и Томом не будет никаких глупостей, этого требует простое приличие. Но как божественно быть рядом с ним чуть не весь день! Когда у нее будут дневные спектакли, Том сможет развлекаться чем-нибудь с Роджером.

Однако все вышло совсем не так, как она ожидала. Джулии и в голову не могло прийти, что Роджер и Том так подружатся. Между ними было пять лет разницы, и Джулия полагала — хотя, по правде говоря, она вообще об этом не задумывалась, — что Том будет смотреть на Роджера, как на ребенка, очень милого, конечно, но с которым обращаются соответственно его возрасту — он у всех на побегушках, и его можно отослать поиграть, когда он надоест. Роджеру только исполнилось семнадцать. Это был миловидный юноша с рыжеватыми волосами и синими глазами, но на этом и кончались его привлекательные черты. Он не унаследовал ни живости и выразительности лица матери, ни классической красоты отца. Джулия была несколько разочарована, он не оправдал ее надежд. В детстве, когда она постоянно фотографировалась с ним вместе, он был прелестен.

Теперь он сделался слишком флегматичным, и у него всегда был серьезный вид. Пожалуй, единственное, чем он мог теперь похвастать, это волосы и зубы. Джулия, само собой, очень любила его, но считала скучноватым. Когда она оставалась с ним вдвоем, время тянулось необыкновенно долго. Джулия проявляла живой интерес к вещам, которые, по ее мнению, должны были его занимать — крикету и тому подобному, но у ее сына не находилось, что сказать по этому поводу. Джулия опасалась, что он не очень умен.

— Конечно, он еще мальчик, — оптимистически говорила она, — возможно, с возрастом он разовьется.

С того времени, как Роджер пошел в подготовительную школу, Джулия мало его видела. Во время каникул она все вечера бывала занята в театре, и он уходил куда-нибудь с отцом или друзьями, по воскресеньям они с Майклом играли в гольф. Случалось, если Джулию приглашали к ленчу, она не виделась с ним несколько дней подряд, не считая двух-трех минут утром, когда он заходил к ней в комнату пожелать доброго утра. Жаль, что он не мог навсегда остаться прелестным маленьким мальчиком, который тихо, не мешая, играл в ее комнате и, обвив мать ручонкой за шею, улыбался на фотографиях прямо в объектив. Время от времени Джулия ездила повидать его в Итон и пила с ним чай. Ей польстило, когда она увидела в его комнате несколько своих фотографий. Она прекрасно сознавала, что ее приезд в Итон вызывал всеобщее волнение, и мистер Брэкенбридж, старший надзиратель того пансиона, где жил Роджер, считал своим долгом быть с нею чрезвычайно любезным. Когда кончилось полугодие, Джулия и Майкл уже переехали в Тэплоу, и Роджер явился прямо туда. Джулия пылко расцеловала его. Роджер не проявил восторга оттого, что он наконец дома, как она ожидала. Держался он довольно небрежно. Казалось, он вдруг повзрослел не по летам.

Роджер сразу же объявил Джулии, что желает покинуть Итон на рождество. Он получил там все, что мог, и теперь намерен поехать в Вену на несколько месяцев поучить немецкий, перед тем как поступить в Кембридж. Майкл хотел, чтобы он стал военным, но против этого Роджер решительно воспротивился. Он еще не решил, кем быть. И Майкла и Джулию чуть не с

самого рождения сына мучил страх, что вдруг он вздумает пойти на сцену, но, по-видимому, Роджер не имел ни малейшей склонности к театру.

— Так или иначе, толку бы из него все равно не вышло,— сказала Джулия.

Роджер жил в Тэплоу сам по себе. С утра уходил на реку, валялся с книгой в саду. На день рождения Джулия подарила ему быстроходный дорожный велосипед, и теперь он разъезжал на нем по проселочным дорогам с головокружительной скоростью.

— Одно утешение,— говорила Джулия,— что с ним никаких хлопот. Он вполне способен сам себя занять.

По воскресеньям из города к ним наезжала куча людей—актеры, актрисы, какой-нибудь случайный писатель и кое-кто из их более именитых друзей. Джулию это развлекало, и она знала, что люди любят ездить к ним в гости. В первое воскресенье после приезда Роджера к ним нахлынула целая толпа. Роджер был очень вежлив с гостями. Выполнял обязанности сына хозяина дома как настоящий светский человек. Но Джулии показалось, что внутренне он отчужден, словно играет роль, которой не может целиком отдаться. У нее было неуютное чувство, что он не принимает всех этих людей такими, какие они есть, но хладнокровно судит их со стороны. У Джулии создалось впечатление, что сын не смотрит на них всерьез.

Они договорились с Томом, что он приедет в следующую субботу, и Джулия привезла его в своей машине после спектакля. Стояла лунная ночь, и в такой час дороги были пусты. Это была волшебная поездка. Джулия хотела бы, чтобы она длилась вечно. Она прильнула к нему, время от времени он целовал ее в темноте.

— Ты счастлив?—спросила она.

— Абсолютно.

Майкл и Роджер уже легли, но в столовой их ждал ужин. Безмолвный дом вызывал в них ощущение, будто они забрались туда без разрешения хозяев. Словно они—два странника, которые проникли из ночного мрака в чужое жилище и нашли там приготовленную для них роскошную трапезу. Было в этом что-то от сказок «Тысяча и одной ночи». Джулия показала Тому его комнату, рядом с комнатой Роджера, и пошла спать. На следующее утро она проснулась поздно. Был прекрас-

ный день. Джулия никого не пригласила из города, чтобы весь день провести вместе с Томом. Когда она оденется, они пойдут с ним на реку. Джулия позавтракала, приняла ванну. Надела легкое белое платье, которое подходило для прогулки и очень ей шло, и широкополую шляпу из красной соломки, бросавшую теплый отсвет на лицо. Почти совсем не накружилась. Джулия поглядела в зеркало и довольно улыбнулась. Она и, правда, выглядела очень хорошенькой и молодой. Беспечной походкой Джулия направилась в сад. На лужайке, спускавшейся к самой воде, она увидела Майкла в окружении воскресных газет. Он был один.

— Я думала, ты пошел поиграть в гольф.

— Нет, пошли мальчишки. Я решил, им будет приятней, если я отпущу их одних,— он улыбнулся своей дружелюбной улыбкой.— Они для меня чересчур активны. В восемь утра они уже купались и, как только проглотили завтрак, унеслись в машине Роджера играть в гольф.

— Я рада, что они подружились.

Джулия сказала это искренне. Она была немного разочарована, что не смогла погулять с Томом у реки, но ей очень хотелось, чтобы он понравился Роджеру, у нее было подозрение, что Роджер весьма разборчив в своих симпатиях и антипатиях. В конце концов Том пробудет у них еще целых две недели.

— Не скрою от тебя, рядом с ними я чувствую себя настоящим стариком,— заметил Майкл.

— Какая ерунда! Ты куда красивее, чем любой из них, и прекрасно это знаешь, мой любимый.

Майкл выдвинул подбородок и втянул живот.

Мальчишки вернулись к самому ленчу.

— Простите за опоздание,— сказал Роджер.— Была чертова куча народу, приходилось ждать у каждой метки для меча. Мы загнали шары в лунки, сделав равное число ударов.

Они были «чертовски» голодны, возбуждены и очень довольны собой.

— Как здорово, что сегодня нет гостей,— сказал Роджер.— Я боялся, что пожалует вся шайка-лейка и нам придется вести себя пай-мальчиками.

— Я решила, что не мешает отдохнуть,— сказала Джулия.

Роджер взглянул на нее.

— Тебе это не повредит, мамочка. У тебя очень утомленный вид.

(«Ну и глаз, черт побери. Нет, нельзя показывать, что меня это трогает. Слава богу, я умею играть».)

Она весело засмеялась.

— Я не спала всю ночь, ломала себе голову, как тебе избавиться от прыщей.

— Да, ужасная гадость. Том говорит, у него тоже были.

Джулия перевела глаза на Тома. В открытой на груди тенниске, с растрепанными волосами, уже немного подзагоревший, он казался невероятно юным. Не старше Роджера, по правде говоря.

— А у него облезает нос,— продолжал со смехом Роджер.— Вот будет пугало!

Джулия ощутила легкое беспокойство. Казалось, Том скинул несколько лет и стал ровесником Роджеру не только по годам. Они болтали чепуху. Уплетали за обе щеки и осушили по нескольку кружек пива, и Майкл, который, как всегда, пил и ел очень умеренно, смотрел на них с улыбкой. Он радовался их юности и хорошему настроению. Он напоминал Джулии старого пса, который, чуть помахивая хвостом, лежит на солнце и наблюдает за возней двух щенят. Кофе пили на лужайке. Было так приятно сидеть в тени, любуясь рекой. Том выглядел очень стройным и грациозным в длинных белых брюках. Джулия никогда раньше не видела, что он курит трубку. Ее это почему-то умилило. Но Роджер стал подсмеиваться над ним.

— Ты почему куришь — потому что это тебе нравится или чтобы тебя считали взрослым?

— Заткнись,— сказал Том.

— Ты кончил кофе?

— Да.

— Тогда пошли на реку.

Том нерешительно взглянул на Джулию. Роджер это заметил.

— О, все в порядке, о моих почтенных родителях можешь не беспокоиться. У них есть воскресные газеты. Мама подарила мне недавно гоночный ялик.

(«Спокойно, спокойно... Держи себя в руках. Ну и дура я была, что подарила ему гоночный ялик!»)

— Хорошо,— сказала она со снисходительной улыбкой,— идите на реку, только не свалитесь в воду.

— Ничего не случится, если и свалимся. К чаю вернемся. Папа, теннисный корт размечен? Мы хотели поиграть после чая.

— Пожалуй, твой отец сможет кого-нибудь найти, сыграете два против двух.

— А, не беспокойтесь, одиночная игра еще интереснее, да и лучше разомнемся,—и, обращаясь к Тому:—Кто первый добежит до сарая для лодок?

Том вскочил на ноги и бросился бежать, Роджер—вдогонку. Майкл взял одну из газет и принялся искать очки.

— Они хорошо поладили, правда?

— По-видимому.

— Я боялся, Роджеру будет здесь скучно с нами. Хорошо, что теперь у него есть компания.

— Тебе не кажется, что Роджер ни с кем, кроме себя, не считается?

— Это ты насчет тенниса? Да мне, по правде говоря, все равно, играть или нет. Вполне естественно, что мальчикам хочется поиграть вдвоем. С их точки зрения, я старик и только испорчу им игру. В конце концов главное—чтобы им было хорошо.

Джулия почувствовала угрызения совести. Майкл был прозаичен, прижимист, самодоволен, но он необычайно добр и уж совсем не эгоист! Он не знает зависти. Ему доставляет удовольствие—если это только не стоит денег—делать других счастливыми. Майкл был для Джулии раскрытой книгой. Спору нет, все его мысли банальны; с другой стороны, ни одна из них не бывает постыдна. Ее выводило из себя, что при всех его достоинствах, вместо того чтобы вызывать в ней любовь, Майкл вызывал такую мучительную скуку.

— Насколько ты лучше меня, моя лапушка,—сказала она.

Майкл улыбнулся своей милой дружелюбной улыбкой и покачал головой.

— Нет, дорогая, у меня был замечательный профиль, но у тебя есть огромный талант.

Джулия засмеялась. Это даже забавно—разговаривать с человеком, который никогда не догадывается, о чем идет речь. Но что имеют в виду, когда говорят об актерском таланте?

Джулия часто спрашивала себя, что именно поставило ее на голову выше других современных актеров.

В первые годы ее карьеры у нее были недоброжелатели. Ее сравнивали — и не в ее пользу — с той или иной актрисой, пользовавшейся благосклонностью публики. Но уже давно никто не оспаривал у нее пальмы первенства. Конечно, известность ее была не так велика, как у кинозвезд. Джулия попытала удачи в кино, но не имела успеха; ее лицо, такое подвижное и выразительное на сцене, на экране почему-то проигрывало, и после первой же пробы она, с одобрения Майкла, отвергала все предложения, которые получала время от времени. Играть в кино? Это ниже ее достоинства. Ее позиция сделала Джулии прекрасную рекламу. Джулия не завидовала кинозвездам: они появлялись и исчезали, она оставалась. Когда выпадал случай, она ходила смотреть игру других ведущих актрис Лондона. Джулия не скупилась на похвалы и хвалила от чистого сердца. Иногда чужая игра казалась ей настолько хорошей, что она искренно не понимала, почему люди поднимают такой шум вокруг нее, Джулии. Она прекрасно знала, какой высокой репутацией пользуется у публики, но сама была о себе достаточно скромного мнения. Джулию всегда удивляло, что люди восторгаются какой-нибудь ее интонацией или жестом, которые приходят к ней так естественно, что ей кажется просто невозможным сыграть иначе. Критики восхищались ее разносторонностью. Особенно хвалили способность Джулии войти в образ. Не то чтобы она сознательно кого-нибудь наблюдала и копировала, просто когда она бралась за новую роль, на нее неизвестно откуда мощной волной набегали смутные воспоминания, и она обнаруживала, что знает о своей новой героине множество вещей, о которых раньше и не подозревала. У Джулии часто возникал в памяти кто-нибудь из знакомых или даже случайный человек, которого она видела на улице или на приеме. Она сочетала эти воспоминания с собственной индивидуальностью, и так создавался характер, основанный на реальной жизни, но обогащенный ее опытом, ее владением актерской техникой и личным обаянием. Люди думали, что она играет только те два-три часа, что находится на сцене; они не знали, что олицетворяемый ею персонаж подспудно жил в ней весь день; и когда она, казалось бы, увлеченно с кем-нибудь беседовала, и когда занималась каким-нибудь делом. Джулии часто казалось, что в ней сочета-

ются два лица: популярная актриса, всеобщая любимица, женщина, которая одевается лучше всех в Лондоне, но это — лишь иллюзия, и героиня, которую она изображает каждый вечер, и это — ее истинная субстанция.

«Будь я проклята, если я знаю, что такое актерский талант, — говорила она себе, — но зато я знаю другое: я бы отдала все, что имею, за восемнадцать лет».

Однако это была неправда. Если бы ей представилась возможность вернуться назад в юность, еще не известно, пожелала бы она это сделать. Скорее нет. И не популярность, даже если хотите — слава, была ей дорога, не ее власть над зрителями и не та искренняя любовь, которую они к ней питали, и уж, конечно, не деньги, которые принес ей талант; нет, ее опьяняло другое — та неведомая сила, которую она ощущала в себе, ее власть над материалом. Она могла получить роль, и даже не очень хорошую роль, с глупым текстом, и благодаря своим личным качествам, благодаря своему искусству, благодаря владению актерским ремеслом, на котором она собаку съела, вдохнуть в нее жизнь. Тут ей не было равных. Иногда Джулия чувствовала себя божеством.

«И к тому же, — засмеялась она, — Тома не было бы еще на свете».

В конце концов, только естественно, что ему нравится возиться с Роджером. Ведь они почти ровесники. Они принадлежат к одному поколению. Сегодня первый день его отпуска, пусть повеселятся, впереди еще целых две недели. Тому скоро надоест проводить время с семнадцатилетним мальчишкой. Роджер очень мил, но скучен, материнская любовь не ослепляет ее. Нужно следить за собой и ни в коем случае не показывать, что она сердится. Джулия с самого начала решила, что не будет предъявлять к Тому никаких требований; если он почувствует, что чем-либо ей обязан, это может оказаться для нее роковым.

— Майкл, почему бы тебе не предложить вторую квартиру над гаражом Тому? Теперь, когда он сдал последний экзамен и получил звание бухгалтера-эксперта, ему просто неприлично жить в той его меблированной комнате.

— Неплохая мысль. Я у него спрошу.

— Сэкономим на плате агенту по сдаче внаем. Поможет ему обставиться. У нас стоит без дела куча

старой мебели. Пусть лучше Том ею пользуется, чем она будет просто гнить на чердаке.

Том и Роджер вернулись к чаю, проглотили кучу бутербродов и дотемна играли в теннис. После обеда они засели за домино. Джулия разыграла блестящую сцену — молодая мать с нежностью следит за сыном и его юным другом. Спать она легла рано. Вскоре мальчики тоже поднялись наверх. Их комнаты были расположены прямо над ее спальней. Она слышала, как Роджер зашел к Тому. Они принялись болтать; окна и у нее и у них были открыты, до нее доносились их оживленные голоса. О чем, ради всего святого, они могли столько говорить?! Она ни разу не видела ни одного из них таким разговорчивым. Через некоторое время раздался голос Майкла:

— А ну, марш в постель, мальчики! Болтать будете завтра.

Они засмеялись.

— Хорошо, папочка! — закричал Роджер.

— Ну и болтуны вы!

Снова послышался голос Роджера:

— Спокойной ночи, старина.

И сердечный ответ Тома:

— Спокойной ночи, дружище.

«Идиоты!» — гневно вскричала про себя Джулия.

На следующее утро, в то время как она завтракала в постели, к ней зашел Майкл.

— Мальчики уехали в Хантерком играть в гольф. Они намерены сыграть два раунда и спросили, обязательно ли им возвращаться к ленчу. Я ответил, что нет.

— Не скажу, чтобы я была в восторге оттого, что Том смотрит на наш дом, как на гостиницу, — заметила Джулия.

— Милая, они же мальчишки. Право, пусть развлекаются как хотят.

Значит, сегодня она вообще не увидит Тома — между пятью и шестью ей надо выезжать, если она хочет попасть в театр вовремя. Майклу хорошо, отчего ему не быть добрым... Джулия была обижена. Ей хотелось плакать. Он, должно быть, совершенно к ней равнодушен — теперь она думала о Томе, — а она-то решила, что сегодня будет иначе, чем вчера. Она проснулась с твердым намерением быть терпимой и принимать вещи такими, каковы они есть, но ей и в голову не приходило, что ее ждет такое разочарование.

— Газеты уже принесли? — хмуро спросила Джулия. В город она уехала разъяренная.

Следующий день был немногим лучше. Мальчики решили не играть в гольф, зато с утра до вечера сражались в теннис. Их неумная энергия страшно раздражала Джулию. В шортах, с голыми ногами, в спортивной рубашке Том казался не старше шестнадцати лет. Так как они купались по три-четыре раза в день, он не мог прилизывать волосы, и, стоило им высохнуть, они закручивались непослушными кольцами. От этого он казался еще моложе и, увы, еще прелестней. Сердце Джулии терзала мука. Ей казалось, что его манера вести себя странно изменилась; постоянно находясь в обществе Роджера, он потерял облик светского человека, который так следит за своей внешностью, так разборчив в том, что ему надеть, и снова стал неряшливым подростком. Ни намеком, ни взглядом он не выдавал, что он — ее любовник; он относился к ней так, как приличествует относиться к матери своего приятеля. Каждым замечанием, проказами, даже самой своей вежливостью он заставлял ее чувствовать, что она принадлежит к другому поколению. В его обращении к ней не было и следа рыцарственной галантности, которую молодой человек должен проявлять по отношению к обворожительной женщине; такую снисходительную доброжелательность скорее пристало выказывать незамужней старой тетушке.

Джулию возмущало, что Том послушно идет на поводу у мальчишки моложе себя. Это говорило о бесхарактерности. Но она не винила его; она винила Роджера. Его эгоизм вызывал в ней отвращение. Все это прекрасно — толковать, что он еще молод. Его безразличие ко всему, кроме собственного удовольствия, говорит о безудержном себялюбии. Он бестактен и невнимателен. Он ведет себя так, словно и дом, и прислуга, и мать, и отец существуют лишь для его удобства. У Джулии уже не раз сорвалось бы резкое слово, но она не осмеливалась при Томе читать Роджеру нотации. Незавидная роль. К тому же стоило побранить Роджера, у него сразу делался глубоко обиженный вид, глаза — как у раненого олененка, и вы чувствовали, что были жестоки и несправедливы к нему. Это доводило Джулию до иступления. Джулия и сама так умеда, это выражение глаз Роджер унаследовал от нее, она тысячу раз пользовалась

им на сцене с соответствующим эффектом и знала, что оно ровно ничего не значит, но когда оно появлялось в глазах сына, это страшно расстраивало ее. Даже мысль об этом вызвала в ней нежность. Столь внезапная перемена чувств открывала Джулии правду — она ревновала Тома к Роджеру, безумно ревновала.

Это открытие ее потрясло; она не знала, смеяться ей или сгорать со стыда. Несколько минут она размышляла.

«Ну, я тебе обедню испорчу».

Уж теперь воскресенье пройдет совсем иначе, чем в прошлый раз. К счастью, Том — сноб. «Женщина привлекает к себе мужчин, играя на своем очаровании, и удерживает их возле себя, играя на их пороках», — пробормотала Джулия и подумала: интересно, сама она придумала этот афоризм или припомнила его из какой-нибудь пьесы.

Джулия позвонила кое-кому. Пригласила на конец недели Деннорантов, Чарлза Тэмерли — тот гостил в Хенли у сэра Мейхью Брейнстона, министра финансов. Он принял приглашение приехать и пообещал привезти сэра Мейхью с собой. Чтобы их развлечь — Джулия знала, что аристократы вовсе не интересуются друг другом, когда окунаются, как они воображают, в богему, — она позвала своего партнера по сцене Арчи Декстера и его хорошенькую жену, игравшую под своим девичьим именем — Грейс Хардуил. Джулия не сомневалась, что, если на горизонте появятся маркиза и маркиз, в обществе которых он сможет вращаться, и член кабинета, на которого ему захочется произвести впечатление, Том не пойдет кататься на яlike или играть в гольф. На таком приеме Роджер займет подобающее ему место школьника, на которого никто не обращает внимания, а Том увидит, какой она может быть блестящей, если пожелает. Предвкушая свое торжество, Джулия смогла стойко перенести оставшиеся дни. Она почти не видела Тома и Роджера, а когда у нее бывали утренние спектакли, не видела их совсем. Если они не играли в теннис или гольф, то носились по окрестностям в машине Роджера.

Джулия привезла Деннорантов после спектакля. Роджер лег спать, но Майкл и Том ждали их к ужину. Это был чудесный ужин. Слуги тоже уже легли, и они сами себя обслуживали. Джулия заметила, как Том старается, чтобы у Деннорантов было все, что им нужно,

с какой готовностью вскакивает, чтобы им услужить. Его вежливость казалась чуть ли не назойливой. Денноранты были скромной молодой парой, им и в голову не приходило, что их титул может иметь хоть какое-то значение, и Джордж Деннорант порядком смутился, когда Том забрал у него грязную тарелку и протянул ему чистую для следующего блюда.

«Думаю, завтра Роджеру не с кем будет играть в гольф»,— сказала себе Джулия.

Они просидели за разговорами до трех часов, и Джулия заметила, что, когда Том желал ей спокойной ночи, глаза его сияли, но от любви или шампанского—этого она не могла сказать. Он сжал ей руку.

— Чудесный вечер!—воскликнул он.

Было уже позднее утро, когда Джулия в платье из органди¹ вышла в сад во всем блеске своей красоты. Роджер сидел в шезлонге с книгой в руках.

— Читаешь?—спросила Джулия, поднимая действительно прекрасные брови.—Почему вы не играете в гольф?

У Роджера был надутый вид.

— Том говорит, что слишком жарко.

— Да?—отозвалась она с очаровательной улыбкой.—А я испугалась, что ты счел своим долгом остаться, чтобы занять моих гостей. Будет куча народу, мы вполне сможем без тебя обойтись. Где все остальные?

— Не знаю. Том ухлестывает за Сесили Деннорант.

— Она очень хорошенькая.

— Похоже, сегодня будет жуткая скука.

— Надеюсь, Том этого не скажет,—проговорила Джулия с таким видом, словно это ее сильно беспокоит.

Роджер ничего не ответил.

День прошел в точности так, как ожидала Джулия. Правда, она мало видела Тома, но Роджер видел его еще меньше. Том очень понравился Деннорантам; он объяснил им, каким образом избежать огромного подоходного налога, который им приходилось платить. Он почти-тельно слушал министра финансов, в то время как тот рассуждал о театре, и Арчи Декстера, когда тот излагал свои взгляды на политическую ситуацию. Джулия еще никогда не была в таком ударе. Арчи Декстер обладал живым умом, неисчерпаемым запасом театральных исто-

¹ Батист жесткой выделки.

рий и удивительным даром их рассказывать, и во время ленча они с Джулией напару заставили весь стол хохотать, а после чая, когда игроки в теннис устали, Джулию уговорили (нельзя сказать, чтобы она сильно сопротивлялась) доставить всем удовольствие своей пародией на Глэдис Купер, Констанс Колье и Герти Лоренс. Однако Джулия не забыла, что Чарлз Тэмерли—ее преданный и бескорыстный воздыхатель, и улучила минутку в сумерки, чтобы погулять с ним вдвоем. С Чарлзом она не старалась быть ни веселой, ни остроумной, с ним она была мечтательна и нежна. На сердце у Джулии было тоскливо, несмотря на блестящий спектакль, который она играла весь день; когда вздохами, печальными взглядами и недомолвками она дала Чарлзу понять, что жизнь ее пуста и, несмотря на свою успешную карьеру, она не может не чувствовать, что упустила нечто очень важное, она была почти искренна. Как часто она вспоминает о вилле в Сорренто, на берегу Неаполитанского залива... Прекрасная мечта. Возможно, там ее ждало настоящее счастье, стоило лишь руку протянуть. Она сделала глупость. Что все ее сценические триумфы? Иллюзия. *Pagliacci*¹. Люди не понимают, насколько это верно. *Vesti lagiubba*² и прочее. Она так одинока. Естественно, не было необходимости говорить Чарлзу, что сердце ее тоскует не из-за утеранных возможностей, а из-за того, что некий молодой человек предпочитает играть в гольф с ее сыном, а не заниматься любовью с ней.

А потом Джулия и Арчи Декстер сговорились и после обеда, когда все собрались в гостиной, без предупреждения, начав с нескольких ничего не значащих слов, устроили друг другу ужасную сцену ревности, словно были любовниками. В первый момент остальные не догадались, что это шутка, но вскоре их взаимные обвинения стали столь чудовищны и непристойны, что потонули во всеобщем хохоте. Затем они разыграли экспромтом, как подвыпивший джентльмен подбирает уличную девку-француженку на Джермин-стрит. После этого с невозмутимой серьезностью изобразили, как миссис Элвинг из «Привидений» пытается соблазнить пастора Мэндерса. Их небольшая аудитория покатыва-

¹ Шутовство (итал.).

² Буквально: сменная одежда; здесь маскарад (итал.).

лась со смеху. Закончили они «номером», который часто показывали на театральных приемах и отшлифовали его до блеска. Это был кусок из чеховской пьесы; весь текст шел по-английски, но в особо патетических местах они переходили на тарабарщину, звучащую совсем как русский язык. Джулия призвала на помощь весь свой трагедийный талант, но произносила реплики с таким шутовским пафосом, что это производило неотразимо комический эффект. Джулия вложила в исполнение искреннюю душевную муку, но с присущим ей живым чувством юмора сама же над ней подсмеивалась. Зрители хохотали до упаду, держались за бока, стонали от неудержимого смеха. Быть может, это было ее лучшее представление, Джулия играла для Тома, и только для него.

— Я видел Сару Бернар и Режан¹, — сказал министр финансов. — Я видел Дузе и Эллен Терри, видел миссис Кендел. «Nunc Dimittis»². Сподобился.

Джулия, сияющая, кинулась в кресло и одним глотком осушила бокал шампанского.

«Черт меня побери, если я не испортила Роджеру обедню», — подумала она.

Но, несмотря на все это, когда она спустилась на следующее утро к завтраку, мальчики уже ушли играть в гольф. Майкл успел отвезти Деннорантов в город. Джулия чувствовала себя усталой. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы весело болтать, когда Роджер и Том пришли к ленчу. Днем они втроем отправились на реку, но у Джулии было чувство, что они взяли ее с собой не потому, что им хотелось, а потому, что не сумели этого избежать. Она подавила вздох, когда подумала, как ждала отпуска Тома. Теперь она считала дни, оставшиеся до его конца. Она испытала облегчение, когда села наконец в машину, чтобы ехать в Лондон. Джулия не сердилась на Тома, но была глубоко уязвлена; сердилась она на себя за то, что потеряла над собой власть. Однако, когда Джулия вошла в театр, она почувствовала, что стряхнула это наваждение, как дурной сон, от которого пробуждаешься утром. Здесь, в своей уборной, она вновь стала себе хозяйкой, и все события повседневной жизни утратили важность.

¹ Режан, Габриэль (1857—1920) — французская актриса.

² «Ныне отпускаеши» (лат.).

Ей ничто не страшно, пока в ее власти есть такая возможность обрести свободу.

Так прошла вторая неделя. Майкл, Роджер и Том наслаждались жизнью. Они купались, играли в теннис и гольф, слонялись у реки. Осталось четыре дня. Осталось три дня.

(«Ну, теперь уж я дотерплю до конца. Все изменится, когда мы вернемся в Лондон. Нельзя показывать, как я несчастна. Нужно делать вид, что все в порядке».)

— Повезло нам, отхватили такой кусок хорошей погоды,— сказал Майкл.— А Том пользовался успехом, правда? Жаль, что он не может остаться еще на недельку.

— Да, ужасно жаль.

— Я думаю, Роджеру хорошо иметь такого товарища. Абсолютно нормальный, чистый английский юноша.

— О, да, абсолютно. («Ну и дурак! Ну и дурак!»)

— Прямо удовольствие глядеть, как они едят.

— О, да, аппетит у них завидный. («Господи, хоть бы они подавились!»)

Том должен был возвращаться в Лондон с ранним поездом в понедельник утром. Декстеры, у которых был загородный дом в Борн-энде, пригласили их всех в воскресенье на ленч. Ехать туда собирались на моторной лодке. Теперь, когда отпуск Тома закончился, Джулия была рада, что ни разу ничем не выдала своего раздражения. Она была уверена, что Том даже не догадывается, какую боль он ей причинил. Надо быть снисходительной; в конце концов, он — всего только мальчик, и если уж ставить точки над «i», она годится ему в матери. Конечно, печально, что она потеряла из-за него голову, но что поделаешь, слезами горю не поможешь, она с самого начала сказала себе, что он не должен чувствовать, будто она как-то на него притязает. В воскресенье они никого не ждали к ужину. Джулии хотелось побыть вдвоем с Томом в этот последний вечер. Конечно, это невозможно, но, во всяком случае, они смогут погулять вместе в саду.

«Интересно, он заметил, что ни разу меня не поцеловал с тех пор, как сюда приехал?»

Можно было бы покататься на ялике. Как божественно будет хоть несколько мгновений побыть в его объятиях, это вознаградило бы ее за все.

У Декстеров собрались в основном актеры. Грейс Хардуил, жена Арчи, играла в музыкальной комедии,

и там была целая куча хорошеньких девушек, танцевавших в оперетте, в которой Грейс тогда пела. Джулия с большой естественностью изображала примадонну, которая ничего из себя не строит. Она очаровательно улыбалась девицам с обесцвеченным перекистью перманентом, зарабатывающим в хоре три фунта в неделю. У многих гостей были с собой фотоаппараты, и она любезно позволяла себя снимать. Она восторженно аплодировала, когда Грейс исполнила свою знаменитую арию под аккомпанемент самого композитора. Она громче всех смеялась, когда комедийная «старуха», изобразила ее, Джулию, в одной из самых известных ролей. Было очень весело, шумно и беззаботно. Джулия искренно наслаждалась, но когда пробило семь, без сожаления собралась уезжать. В то время как она горячо благодарила хозяев дома за приятный вечер, к ней подошел Роджер.

— Послушай, мам, тут собралась компания, едут в Мейднхед ужинать и потанцевать и зовут нас с Томом. Ты ведь не возражаешь?

Кровь прихлынула к щекам Джулии. Она не могла совладать с собой, и голос ее прозвучал довольно резко.

— А как вы вернетесь?

— Не беспокойся, все будет в порядке. Кто-нибудь нас подкинет.

Джулия беспомощно взглянула на сына. Ей нечего было возразить.

— Будет страшно весело, мама. Том безумно хочет поехать.

Ее сердце упало. Лишь с величайшим трудом ей удалось овладеть собой и не закатить ему сцену.

— Хорошо, милый. Только не возвращайся слишком поздно. Помни, что Тому вставать чуть свет.

В это время Том сам к ним подошел и услышал ее последние слова.

— Вы действительно ничего не имеете против? — спросил он.

— Конечно, нет. Надеюсь, вы хорошо проведете там время.

Она весело улыбнулась, но глаза ее сверкали холодным блеском.

— А я рад, что мальчишки уехали, — сказал Майкл, сядя в лодку. — Мы уже целую вечность не были с тобой вдвоем.

Джулия стиснула зубы, чтобы не взорваться и не попросить его попридержать свой дурацкий язык. Ее душила черная ярость. Это было последней каплей. Том не замечал ее все две недели, он даже не был элементарно вежлив, а она — она вела себя, как ангел. Какая женщина проявила бы столько терпения? Любая другая на ее месте велела бы ему убираться вон, если он не знает, что такое простое приличие. Эгоист, дурак, грубиян — вот что он такое. Жаль, что он уезжает завтра сам. С каким удовольствием она выставила бы его за дверь со всеми его пожитками! Как он осмелился так с ней обращаться, этот ничтожный маленький клерк?! Поэты, члены кабинета министров, пэры Англии с радостью отменили бы самую важную встречу, лишь бы поужинать с ней, а он бросил ее и отправился танцевать с кучей крашенных блондинок, которые совершенно не умеют играть. Ясно, что он глуп как пробка. Что уж тут говорить о благодарности. За последнюю тряпку, которая надета на нем, плачено ее деньгами. А этот портсигар, которым он так гордится, разве не она подарила его? А кольцо? Ну, нет, это ему даром не пройдет, она с ним сквитается. И она даже знает как. Она знает его самое уязвимое место, знает, как ранить его всего больней. Уж она сумеет задеть его за живое! Джулии стало немного полегче, когда она принялась в подробностях придумывать план мести. Ей не терпелось поскорее привести его в исполнение, и не успели они вернуться домой, как она поднялась к себе в спальню. Вынула из сумочки четыре купюры по фунту стерлингов и одну — на десять шиллингов. Написала короткую записку:

«Дорогой Том.

Вкладываю деньги, которые надо оставить слугам, так как не увижу тебя утром. Три фунта дай дворецкому, фунт — горничной, которая чистила и отглаживала тебе костюмы, десять шиллингов — шоферу.

Джулия».

Она позвала Эви и велела, чтобы горничная, которая разбудит Тома завтра утром, передала ему конверт. Когда Джулия спустилась к ужину, она чувствовала себя гораздо лучше. Пока они ели, вела с Майклом оживленный разговор, потом они сели играть в безик. Даже если бы она целую неделю ломала себе голову, как сильней уколоть Тома, она не придумала бы ничего лучшего.

Но уснуть Джулия не смогла. Она лежала в постели и ждала возвращения Роджера и Тома. Ей пришла в голову мысль, прогнавшая весь ее сон. Возможно, Том поймет, как он мерзко себя вел. Если он хоть на секунду об этом задумается, он увидит, как он ее огорчил; быть может, он пожалеет об этом, и когда они вернутся и Роджер пожелает ему доброй ночи, он прокрадется к ней в комнату. Если Том это сделает, она ему все простит. Письмо, наверное, лежит в буфетной, ей будет нетрудно спуститься тихонько вниз и забрать его. Наконец подъехала машина. Джулия включила свет, чтобы взглянуть на часы. Три часа. Она слышала, как юноши поднялись наверх и разошлись по своим комнатам. Джулия ждала. Зажгла ночник у кровати, чтобы Тому было видно, когда он откроет дверь. Она притворится, что спит, а когда он подойдет к ней на цыпочках, медленно откроет глаза и улыбнется ему. Джулия ждала. В тишине ночи она услышала, как он лег в постель; щелкнул выключатель. С минуту она глядела прямо перед собой, затем, пожав плечами, открыла ящичек в тумбочке возле кровати и взяла из пузырька две таблетки снотворного.

«Если я не усну, я сойду с ума».

Глава пятнадцатая

Когда Джулия проснулась, был двенадцатый час. Среди писем она нашла одно, которое не пришло по почте. Она узнала аккуратный, четкий почерк Тома и вскрыла конверт. Там не было ничего, кроме четырех фунтов и десяти шиллингов. Джулия почувствовала легкую дурноту. Она и сама не знала, какого ждала ответа на свое снисходительное письмо и оскорбительный подарок. Ей не пришло в голову, что он может просто его вернуть. Джулия была вчера встревожена и расстроена, она хотела его унижить, сделать ему больно, но теперь испугалась, что зашла слишком далеко.

«Надеюсь все же, что он дал прислуге на чай», — пробормотала она, чтобы себя подбодрить. Джулия пожалала плечами. «Ничего, опомнится, ему не вредно узнать, что я тоже не всегда сахар».

Но весь день она оставалась в задумчивости. Когда Джулия приехала вечером в театр, ее ждал там пакет.

Как только она взглянула на обратный адрес, она поняла, что в нем. Эви спросила, вскрыть ли пакет.

— Не надо.

Но не успела Джулия остаться одна, как сама его вскрыла. Там лежала булавка для галстука, и пуговицы для жилета, и жемчужные запонки, и часы, и золотой портсигар — гордость Тома. Все до одной вещи, которые она ему подарила. И никакого письма. Ни слова объяснения. Сердце ее упало, она заметила, что вся дрожит.

«Какая я была идиотка! Почему не сдержалась?!»

Каждый удар сердца причинял Джулии боль. Она не в состоянии выйти на сцену, когда ее терзает такая адская мука. Она будет ужасно играть. Чего бы ей это ни стоило, она должна с ним поговорить. В его доме был телефон с отводом к нему в комнату. Джулия набрала номер. К счастью, Том был дома.

— Том!

— Да?

Он немного помолчал перед тем, как ответить, и голос его звучал раздраженно.

— Что все это значит? Почему ты прислал мне все эти вещи?

— Ты получила утром деньги?

— Да. Я абсолютно ничего не понимаю. Я тебя обидела?

— О, нет, — ответил он. — Мне, конечно, очень приятно, чтобы со мной обращались, как с содержанкой. Мне, конечно, приятно, когда мне бросают в лицо упрек, что даже чаевые и те я не могу сам заплатить. Удивительно еще, что ты не вложила в конверт деньги на билет третьего класса до Лондона.

Хотя Джулия чуть не плакала от боли и тревоги и с трудом могла говорить, она невольно улыбнулась. Ну и глупыш!

— Неужели ты думаешь, что я хотела тебя оскорбить? Ты достаточно хорошо меня знаешь и должен понимать, что это мне и в голову не могло прийти.

— Тем хуже. («Будь я проклята», — подумала Джулия.) Мне не надо было брать у тебя эти подарки, мне не надо было занимать у тебя деньги.

— Не понимаю, о чем ты говоришь. Все это — какое-то ужасное недоразумение. Зайди за мной после спектакля, и мы во всем разберемся. Я все тебе объясню.

— Я иду обедать к родителям и останусь у них ночевать.

— Тогда завтра.

— Завтра я занят.

— Я должна увидеться с тобой, Том. Мы слишком много значили друг для друга, чтобы вот так расстаться. Как ты можешь осуждать меня, не выслушав? Это несправедливо — наказывать человека, когда он ни в чем не виноват.

— Я думаю, будет гораздо лучше, если мы перестанем встречаться.

Джулия совсем потеряла голову.

— Но я люблю тебя, Том. Я тебя люблю. Разреши мне еще раз увидеть тебя, и если ты по-прежнему будешь сердиться на меня, что ж, будем считать, что дело кончено.

Его молчание тянулось до бесконечности. Наконец, он ответил:

— Хорошо, я зайду во вторник после дневного спектакля.

— Не думай обо мне слишком плохо, Том.

Что бы там ни было, он придет. Джулия снова завернула присланные им вещи и спрятала их туда, где их не увидит Эви. Она разделась, накинула старый розовый халат и начала гримироваться. Настроение у нее было ужасное: она впервые призналась Тому в своей любви. Ее грызло, что пришлось унижительно умолять его, чтобы он к ней пришел. До сих пор он искал ее общества. Было невыносимо думать, что их роли переменились.

Джулия очень плохо играла на дневном представлении во вторник. Стояла страшная жара, публика принимала спектакль вяло. Джулии было все равно. Ее сердце терзали дурные предчувствия. Что ей до того, как идет пьеса! («И какого черта им вообще надо в театре в такой день?») Она была рада, когда представление окончилось.

— Я жду мистера Феннела, — сказала она Эви. — Я не хочу, чтобы меня беспокоили, пока он будет у меня.

Эви не ответила. Джулия взглянула на нее: у Эви был очень хмурый вид.

(«Ну ее к черту. Плевать мне, что она там думает!»)

Том уже должен был к этому времени прийти: шел шестой час. Он не мог не прийти, ведь он же обещал.

Джулия надела халат, не тот старый халат, в котором обычно гримировалась, а мужской, из темно-вишневого шелка. Эви все еще возилась, прибирая ее вещи.

— Ради бога, Эви, перестань суетиться. Я хочу побыть одна.

Эви не отвечала. Она продолжала методично расставлять на туалетном столике предметы в том порядке, в каком Джулия всегда желала их там видеть.

— Черт подери, ты почему не отвечаешь, когда я с тобой говорю?

Эви обернулась и посмотрела на Джулию. Задумчиво подтерла пальцем нос. «Может, вы и великая актриса, но...»

— Убирайся к черту!

Сняв сценический грим, Джулия совсем не стала краситься, лишь чуть-чуть подсинила под глазами. У нее была гладкая, белая кожа, и без губной помады и румян она выглядела бледной и изнуренной. В мужском халате она казалась беспомощной, хрупкой и вместе с тем элегантной. На сердце у нее было тяжело, ее снедала тревога, но, взглянув в зеркало, она пробормотала: «Мими в последнем акте «Богемы». Сама не замечая того, она раза два кашлянула, словно у нее чахотка. Джулия погасила яркий свет у туалетного столика и прилегла на диван. Вскоре в дверь постучали, и Эви доложила о мистере Феннеле. Джулия протянула ему белую худую руку.

— Прости, я лежу, мне что-то нездоровится. Возьми себе стул. Очень мило, что ты пришел.

— Нездоровится? Что с тобой?

— О, ничего страшного,— бескровные губы шевельнулись в вымученной улыбке.— Просто не очень хорошо спала последние две-три ночи.

Джулия обратила к Тому свои прекрасные глаза и несколько минут пристально смотрела на него в молчании. Вид у него был хмурый, но ей показалось, что он испуган.

— Я жду, что ты объяснишь мне, в чем моя вина. Что ты имеешь против меня?— сказала Джулия наконец тихим голосом.

Она заметила, что голос ее чуть дрожал, но вполне естественно. («Господи, да я, кажется, испугана»).

— Нет смысла к этому возвращаться. Я хотел сказать тебе единственную вещь: боюсь, я не смогу сразу

выплатить тебе те двести фунтов, что я должен, у меня их просто нет, но постепенно я все отдам. Мне очень неприятно просить у тебя отсрочку, но нет другого выхода.

Джулия приподнялась и приложила обе руки к своему разбитому сердцу.

— Я не понимаю. Я две ночи пролежала без сна, все думала, в чем дело. Я боялась, что сойду с ума. Я пыталась понять. И не могу. Не могу. («В какой пьесе я это говорила?»)

— Не можешь? Ты все прекрасно понимаешь. Ты рассердилась на меня и решила меня наказать. И сделала это. Ты расквиталась со мной как надо! Ты не могла придумать лучшего способа выразить свое презрение.

— Но почему бы мне было тебя наказывать? За что? Почему я должна была на тебя сердиться?

— За то, что я поехал в Мейднхед с Роджером на эту вечеринку, а тебе хотелось, чтобы я вернулся домой.

— Но я же сама сказала, чтобы вы ехали. Я пожелала вам хорошо провести время.

— Да, конечно, но твои глаза сверкали от ярости. У меня не было особой охоты туда ехать, но Роджеру уж так загорелось. Я говорил ему, что нам лучше вернуться и поужинать с тобой и Майклом, но он сказал — вы будете только рады сбыть нас с рук, и я решил не поднимать из-за этого шума. А когда я увидел, что ты разозлилась, уже было поздно идти на попятную.

— Я вовсе не разозлилась. Не представляю, как это могло прийти тебе в голову. Вполне естественно, что вам хотелось пойти на вечеринку. Неужели ты думаешь, я такая свинья, чтобы быть недовольной, если ты поразвлечешься в свой отпуск? Мой бедный ягненочек, я боялась только одного — что тебе будет там скучно. Я так мечтала, чтобы ты весело провел время!

— Тогда почему ты написала мне эту записку и вложила эти деньги? Это было так оскорбительно.

Голос Джулии сорвался. Губы задрожали, она не могла совладать со своим лицом. Том смущенно отвернулся — сам того не желая, он был тронут.

— Мне было невыносимо думать, что ты выкинешь свои деньги на мою прислугу. Я знаю, что ты не так уж богат и потратил кучу денег на чаевые, когда играл в гольф. Я презираю женщин, которые идут куда-нибудь с молодым человеком и позволяют ему за себя платить.

Форменные эгоистки. Я поступила с тобой так, как поступила бы с Роджером. Я никак не думала, что задену твое самолюбие.

— Покайся!

— Честное слово. Господи, неужели после всех этих месяцев ты так плохо меня знаешь! Если бы то, что ты подумал, было правдой, какой я тогда должна быть подлой, жестокой, жалкой женщиной, какой хамкой, какой бессердечной вульгарной бабой! Ты такой меня считаешь, да?

Трудный вопрос.

— Ну, да неважно. Все равно, мне не следовало принимать от тебя дорогие подарки и брать займы деньги. Это поставило меня в ужасное положение. Почему я думал, что ты меня презираешь? Да потому, что сам чувствую — ты имеешь на это право. Я действительно не могу позволить себе водиться с людьми, которые настолько меня богаче. Я был дурак, думая, что могу. Мне было очень весело и интересно, я великолепно проводил время, но теперь с этим покончено. Больше мы видаться не будем.

Джулия глубоко вздохнула.

— Тебе просто на меня наплевать. Вот что все это означает.

— Это несправедливо.

— Ты для меня — все на свете. Ты сам это знаешь. Я так одинока. Твоя дружба так много значит для меня. Я окружена паразитами и прихлебателями, а тебе от меня ничего не надо. Я чувствовала, что могу на тебя положиться. Мне было так с тобой хорошо. Ты — единственный, с кем я могла быть сама собой. Разве ты не понимаешь, какое для меня удовольствие хоть немного тебе помочь? Я не ради тебя дарила эти мелочи, а ради себя; я была так счастлива, видя, что ты пользуешься вещами, которые я купила. Если бы я что-нибудь для тебя значила, тебя бы это не унижало, ты был бы тронут.

Джулия снова посмотрела на него долгим взглядом. Ей и всегда нетрудно было заплакать, а сейчас она чувствовала себя такой несчастной, что для этого не требовалось даже малейшего усилия. Том еще ни разу не видел ее плачущей. Она умела плакать не всхлипывая, — прекрасные глаза широко открыты, лицо почти неподвижно, и по нему катятся большие тяжелые слезы. Ее оцепенение, почти полная неподвижность трагиче-

ской позы производили удивительно волнующий эффект. Джулия не плакала так с тех пор, как играла в «Раненом сердце». Господи, как эта пьеса выматывала ее! Джулия не глядела на Тома, она глядела прямо перед собой; она обезумела от боли. Но что это? Другое, внутреннее ее «я» прекрасно понимало, что она делает. Это «я» разделяло ее боль и одновременно наблюдало, как она ее выражает. Уголком глаза Джулия увидела, как Том побледнел, ощутила, как внезапная мука пронзила его до глубины души, почувствовала, что его плоть и кровь просто не в состоянии выдержать ее страдания.

— Джулия!

Голос изменил ему. Она медленно перевела на него подернутые влагой глаза. Перед ним была не плачущая женщина, перед ним была вся скорбь человеческого рода, неизмеримое, безутешное горе — вечный удел людей. Том кинулся на колени и привлек ее в свои объятия. Он был потрясен.

— Любимая! Любимая!

Джулия не двигалась. Казалось, она не осознает, что он тут, рядом. Том целовал ее плачущие глаза, искал губами ее губы. Она отдала их Тому, словно была беспомощна перед ним, словно она не понимает, что с ней, и утратила всю свою волю. Почти незаметным движением Джулия прижалась к нему всем телом, руки ее словно ненароком обвились вокруг его шеи. Она лежала в объятиях Тома не то чтобы совсем мертвая, но так, будто все ее силы, вся энергия оставили ее. Он чувствовал во рту соленый вкус ее слез. Наконец, утомленная, все еще обвивая его мягкими руками, Джулия откинулась на диван. Том прильнул к ее губам.

Глядя на нее четверть часа спустя, такую спокойную и веселую, лишь немного покрасневшуюся, никто бы не догадался, что совсем недавно она так горько плакала. Они выпили оба по бокалу виски с содовой, выкурили по сигарете и с нежностью смотрели сейчас друг на друга.

«Он — душа», — подумала Джулия.

Ей пришло в голову, что она может доставить Тому удовольствие.

— Сегодня на спектакле будут герцог и герцогиня Рикби, потом мы пойдем вместе ужинать в «Савой». Ты, наверное, не пожелаешь разделить с нами компанию? Я без кавалера.

— Если ты этого хочешь, пойду с удовольствием.

Румянец, сгустившийся у него на щеках, явственно сказал ей о том, как он взволнован возможностью встретиться с такими высокопоставленными особами. Джулия не стала говорить ему, что чета Рикби готова отправиться куда угодно, лишь бы угоститься за чужой счет. Том взял обратно ее подарки; смущенно, правда, но взял. Когда он ушел, Джулия присела к туалетному столику и посмотрела на себя в зеркало.

«Как удачно, что у меня не распухают от слез глаза,—сказала она. Она немного помассировала веки.—И все равно, до чего мужчины глупы!»

Джулия была счастлива. Теперь все будет хорошо. Она заполучила Тома обратно.

Но где-то в самых тайниках души, она чувствовала к Тому хоть и слабое, но презрение за то, что ей удалось так легко его провести.

Глава шестнадцатая

Ссора, каким-то непонятным образом, сломав разделявший их барьер, сблизила Джулию и Тома еще больше. Том не так сильно сопротивлялся, как она ожидала, когда она снова подняла вопрос о квартире. Казалось, после их примирения, взяв обратно ее подарки и согласившись забыть о долге, он сделался глух к угрызениям совести. Как увлекательно было обставлять квартиру! Жена шофера убирала ее и готовила Тому завтрак. У Джулии были свои ключи, и иногда она заходила туда и сидела в гостиной, поджидая Тома из конторы. Раза три в неделю они ужинали где-нибудь вместе, танцевали и возвращались на такси к нему. Эта осень была для Джулии очень счастливой. Пьеса, которая тогда шла, имела успех. Джулия чувствовала себя энергичной и молодой. Роджер должен был приехать к рождеству, но дома он собирался провести всего две недели, а затем поехать в Вену. Джулия понимала, что он опять завладеет Томом, и решила не расстраиваться по этому поводу. Юность естественно тяготеет к юности, и нет никаких причин волноваться, если в течение нескольких дней мальчики будут так поглощены друг другом, что Том и думать забудет о ней. Теперь она крепко держала его. Он гордился тем, что он ее любовник, это придавало ему уверенности в себе. Ему

льстило быть так близко знакомым со многими более или менее высокопоставленными особами, а это было для него возможно только через нее. Тому страшно хотелось вступить в хороший клуб, и Джулия подготавливала для этого почву. Чарлз никогда ни в чем ей не отказывал, и она не сомневалась, что если взяться за дело тактично, она уговорит его, и он предложит Тома в члены одного из своих клубов. Тратить свободно деньги также было для Тома новым и восхитительным ощущением; Джулия потворствовала его расточительности. Она вбила себе в голову, что он привыкнет к такому образу жизни и поймет, что без нее ему просто не обойтись.

«Понятно, это не может длиться вечно,—убеждала она себя,—но когда все кончится, ему будет о чем вспомнить. И это так много ему даст! Это сделает из него настоящего мужчину».

Но хотя Джулия говорила себе, что их связь не может длиться вечно, на самом деле она не понимала, почему бы и нет. Со временем Том повзрослеет и постареет, и разница между ними не будет такой уж большой. Через десять—пятнадцать лет он не будет так молод, а она стареть не собирается. Им было очень хорошо вместе. Мужчины—рабы привычек, это помогает женщинам их удерживать. Джулия не чувствовала себя старше его и на день, и конечно же, сам он и не вспоминает о разнице их лет. Правда, был один момент, когда ее охватило по этому поводу некоторое беспокойство. Том причесывался у туалетного столика. Джулия, в чем мать родила, лежала на его постели в позе тициановской Венеры, которую как-то видела в одном загородном доме. Она чувствовала, что представляет собой прелестную картину, и, абсолютно убежденная в этом, не меняла положения. Она была счастлива и удовлетворена.

«Как в настоящем любовном романе»,—думала она, и быстрая легкая улыбка порхала на ее губах.

Том заметил ее отражение в зеркале, повернулся и, не говоря ни слова, быстрым движением натянул на нее простыню. Хотя она одарила его нежной улыбкой, внутри у нее все перевернулось. В чем дело—он боится, что она простудится, или, по присущей всем англичанам стыдливости, шокирован ее наготой? А вдруг теперь, когда его юношеское вождение удовлетворено, ему просто противно глядеть на ее стареющее тело? Вернув-

шись домой, Джулия вновь разделась догола перед трюмо и подвергла себя внимательному осмотру. Она решила не щадить себя. Она посмотрела на шею — никаких следов ее возраста, особенно если держать повыше подбородок. Грудь у нее маленькая и упругая, совсем девичья. Живот плоский, бедра неширокие, жира на них самая малость, да и у кого его нет; можно приказать мисс Филиппс, чтобы она согнала его совсем. Никто не скажет, что у нее нехороши ноги: длинные, стройные, прекрасной формы. Джулия провела руками по всему телу; кожа как атлас, ни пятнышка, ни шрама. Конечно, под глазами уже прорезалось несколько морщинок, но нужно очень пристально вглядываться, чтобы их заметить; говорят, существует пластическая операция, при помощи которой можно от них избавиться, надо будет разузнать. К счастью, она совсем не седеет, как хорошо ни покрасишь волосы, от крашенных волос грубеет лицо; у нее они до сих пор сохранили свой сочный темно-каштановый цвет. Зубы тоже в полном порядке.

«Излишняя скромность, вот что это было, только и всего».

Однако с того дня Джулия старалась держать себя соответственно понятиям Тома о благопристойности.

У Джулии была такая прочная репутация, что она считала: ей нечего бояться показываться с Томом в публичных местах. Для нее было внове посещать ночные клубы, она наслаждалась этими вылазками, и хотя никто лучше нее не знал, что, где бы она ни появилась, она привлекает к себе внимание, Джулии и в голову не приходило, что такая перемена в ее привычках может вызвать в городе толки. Имея за спиной двадцать лет супружеской верности — Джулия, естественно, не принимала в расчет испанца, такой инцидент мог произойти с кем угодно, — она была убеждена, что никто и на миг не вообразит, будто у нее роман с мальчиком, который годится ей в сыновья. Она не подумала, что сам Том не всегда ведет себя достаточно осмотрительно. Она не подумала также, что ее собственные глаза, когда они с Томом танцуют, выдают ее с головой. Джулия считала, что она — выше подозрений, ей было невдомек, что о ней уже начинают судачить.

Когда сплетни достигли ушей Долли де Фриз, та только расхохоталась. По просьбе Джулии она приглашала Тома к себе на приемы и раза два звала в свой

загородный дом на уик-энд, но она никогда не обращала на него внимания. Славный мальчик, удобный телохранитель для Джулии, когда Майкл занят, но абсолютный нуль. Один из тех людей, которых никто не замечает, чьего лица не можешь вспомнить на следующий день. Человек, которого зовут в последний момент на обед, если не хватает кавалера. Джулия со смехом называла его «мой поклонник» или «мой воздыхатель»; вряд ли она говорила бы о нем так спокойно, так откровенно, если бы между ними что-нибудь было. К тому же Долли знала, что для Джулии существуют только двое мужчин — Майкл и Чарлз Тэмерли. Но, конечно, странно — всю жизнь заботиться о своей репутации и вдруг зачастить в ночные клубы. Три-четыре раза в неделю, не реже. Долли редко видела Джулию в последнее время и, сказать по правде, была несколько задета ее невниманием. У Долли было много друзей в театральном мире, и она стала осторожно их расспрашивать. Ей крайне не понравилось то, что она услышала. Она не знала, что и думать. Одно было очевидно: Джулия не подозревает, какие вещи о ней говорят. Кто-то должен ей об этом сказать. У самой Долли не хватит на это смелости. Даже после стольких лет знакомства Долли ее немного побаивалась. Джулия была женщина уравновешенная, и, хотя язык ее частенько бывал резким и даже грубым, мало что могло вывести ее из себя. Однако было в ней что-то, пресекающее всякую фамильярность; казалось, если зайдешь с ней слишком далеко, горько потом раскаешься. Но надо же что-то сделать! Целых две недели Долли тревожно обдумывала этот вопрос. Она постаралась забыть о своей уязвленной гордости и рассматривать его только с точки зрения того, что полезно или вредно для репутации самой Джулии. Наконец она пришла к заключению, что поговорить с Джулией должен Майкл. Долли он никогда не нравился, но в конце концов он муж, ее долг рассказать ему, чтобы он пресек то, что происходит, неважно даже — что.

Долли позвонила Майклу и условилась встретиться с ним в театре. Майкл любил Долли не больше, чем она его, хотя и по другой причине, и, услышав, что она хочет его видеть, чертыхнулся. Его бесило, что ему так и не удалось убедить ее продать свой пай, и любое ее предложение он считал недопустимым вмешательством.

Но когда Долли провели к нему в кабинет, он встретил ее с распростертыми объятиями и поцеловал в обе щеки.

— Располагайтесь поудобнее, будьте как дома. Заглянули посмотреть, продолжает ли фирма загребать для вас дивиденды?

Долли де Фриз уже стукнуло шестьдесят. Она сильно растолстела, и ее лицо с крупным носом и полными красными губами казалось больше натуральной величины. Было что-то неуловимо мужское в покрое ее черного атласного платья, но на шее у нее висела двойная нитка жемчуга, на поясе сверкала бриллиантовая пряжка, другая красовалась на шляпе. Коротко стриженные волосы были выкрашены в густой рыжий цвет. Губы и ногти были пунцовые. Говорила она громко, низким гортанным голосом; когда приходила в возбуждение, слова обгоняли друг друга и обнаруживался еле заметный акцент кокни.

— Майкл, меня очень расстраивает Джулия.

Майкл—как всегда, безупречный джентльмен—слегка поднял брови и сжал тонкие губы. Он не собирался обсуждать свою жену даже с Долли.

— Мне кажется, она заходит слишком далеко. Не понимаю, что на нее нашло. Все эти вечеринки, на которые она зачастила... Ночные клубы и всякое такое... В конце концов она уже не так молода, она может переутомиться.

— Ерунда. Она здорова, как лошадь, и прекрасно себя чувствует. Она уже давно не выглядела так молодо. Неужели вам жалко, если она немного повеселится, когда закончит свою работу? Роль, которую она сейчас играет, не забирает ее всю целиком, я очень рад, что ее еще хватает на развлечения, это показывает, сколько в ней жизненной силы.

— Она никогда раньше не увлекалась такими вещами. Странно, право, что она вдруг полюбила танцевать допоздна, да еще в ужасной духоте.

— Для нее это единственная физическая разрядка. Нельзя же ожидать, что она наденет шорты и побежит вместе со мной по парку.

— Я думаю, вам следует знать, что о ней уже начинают чесать языки. Это сильно вредит ее репутации.

— Что вы хотите этим сказать, черт подери?

— Ну, что просто нелепо в ее годы ходить повсюду с молоденьким мальчиком. Это, естественно, бросается всем в глаза.

С минуту Майкл глядел на Долли недоуменным взглядом, когда же до него дошел наконец смысл ее слов, он разразился громким смехом.

— С Томом? Не говорите глупостей, Долли.

— Это не глупости. Я знаю, о чем говорю. Когда женщина пользуется такой известностью, как Джулия, и ее все время видят с одним и тем же мужчиной, люди начинают болтать.

— Но Том такой же друг мне, как и ей. Вы прекрасно знаете, что я не могу водить Джулию на танцы. Мне нужно вставать каждое утро ровно в восемь, чтобы успеть перед работой сделать свой моцион. Полагаю, я как-никак научился разбираться в людях, пробыв в театре тридцать лет. Том — типичный английский юноша, чистый, честный, даже можно сказать — в своем роде джентльмен. Я не спорю, он обожает Джулию, мальчики его возраста часто думают, что они влюблены в женщину старше себя; вряд ли это причинит ему вред, напротив, только пойдет на пользу. Но вообразить, что Джулия способна смотреть на него всерьез... Бедная моя Долли, не смешите меня!

— Он надоедлив, скучен, вульгарен, и он сноб.

— Ну если он таков, не кажется ли вам тем более странным, чтобы Джулия могла им увлечься?

— Только женщина знает, на что способна другая женщина.

— Неплохая реплика, Долли. Мы закажем вам следующую пьесу. Давайте выясним все до конца. Вы можете положить руку на сердце утверждать, что у Джулии роман с Томом?

Долли взглянула Майклу в лицо. В ее глазах была мука. Хотя сперва она только смеялась, слушая, что ей рассказывают о Джулии, она была не в состоянии полностью подавить сомнения, все больше обуревавшие ее. Ей вспоминались десятки мелких подробностей, на которые она в свое время не обращала внимания, но которые, если хладнокровно на них посмотреть, выглядели очень и очень подозрительно. Она не думала, что можно так терзаться. Доказательства? У нее не было никаких доказательств, лишь интуиция, которая никогда не обманывала ее. Долли хотелось ответить «да», это

желание казалось неудержимым, но Долли пересилила себя. Она не могла предать Джулию. Вдруг этот дурак Майкл пойдет и все ей выложит? Джулия больше никогда в жизни не станет с ней разговаривать. Вдруг установит за Джулией слежку и поймает ее на месте преступления?! Кто знает, что может случиться, если она, Долли, скажет ему правду.

— Нет, не могу.

Слезы переполнили глаза Долли и покатались по массивным щекам. Майкл видел, что она страдает. Он считал ее комичной, но понимал, что горе ее неподдельно и, будучи по натуре добрым, принялся ее утешать:

— Ну, вот видите. Вы же знаете, как хорошо Джулия к вам относится, право, не надо ревновать ее к другим друзьям.

— Бог свидетель, мне ничего для нее не жалко,— всхлипнула Долли.— Она так изменилась ко мне за последнее время. Стала так холодна. Я всегда была ей верным другом, Майкл.

— Да, дорогая, я в этом не сомневаюсь.

— «Служи я небесам хоть вполтину с таким усердием, как служил монарху...»¹

— Ну, полно, полно, не так уж все плохо, как кажется. Вы знаете, я не из тех людей, что обсуждают свою жену с другими. Я всегда считал это ужасно дурным тоном. Но, честно говоря, вам неизвестно о Джулии самого главного. Физическая любовь для нее ничто. Когда мы только поженились — другое дело. И могу вам признаться — ведь все это было так давно, — что мне тогда нелегко пришлось. Я не хочу сказать, что она была нимфоманкой или что-нибудь в этом роде, но порой она бывала немного утомительной. Постель, конечно, вещь по-своему неплохая, но в жизни существует еще многое другое. К счастью, после рождения Роджера она совершенно переменилась. Стала куда более уравновешенной. Все ее инстинкты ушли в игру. Вы читали Фрейда, Долли, как он это называет, когда так происходит?

— Ах, Майкл, что мне до Фрейда!

— Сублимация, вот как. Я часто думаю: потому-то она и стала такой великолепной актрисой. Актерская игра — такое дело, которое требует всего твоего време-

¹ Шекспир, Вильям. «Генрих VIII».

ни, и если хочешь чего-нибудь достичь, надо отдавать себя целиком. Меня просто возмущает наша публика: думают, что актеры и актрисы черт знает чем занимаются. Да у нас для этого просто нет времени.

Слова Майкла так рассердили Долли, что помогли взять себя в руки.

— Но, Майкл, пусть мы с вами и знаем, что Джулия не совершает ничего дурного, то, что она повсюду разгуливает с этим жалким мальчишкой, очень вредит ее репутации. В конце концов примерная супружеская жизнь была одним из ваших самых верных козырей. Все вас уважали. Зрителям было приятно думать о том, какая вы преданная и дружная пара.

— Но мы такие и есть, черт побери!

Долли начала терять терпение.

— Говорю вам, по городу ходят сплетни. Вы же не глупы. Неужели вы не понимаете, что иначе и быть не может. Я хочу сказать, если бы она заводила один скандальный роман за другим, никто бы теперь и внимания не обратил, но после примерного поведения в течение стольких лет вдруг так сорваться... Естественно, начались пересуды. Это может повредить театру.

Майкл кинул на нее быстрый взгляд.

— Я понимаю, о чем вы толкуете, Долли. В ваших словах, пожалуй, что-то есть, и при создавшихся обстоятельствах вы имеете полное право так говорить. Вы так нам помогли, когда мы начинали, мне крайне неприятно теперь вас подводить. Знаете, что я предлагаю? Я откуплю у вас пай.

— Откупите у меня пай?

Долли выпрямилась. Ее лицо, еще минуту назад искаженное горем и тревогой, окаменело. Она была объята негодованием. А Майкл вкрадчиво продолжал:

— Я вижу, куда вы клоните. Если Джулия будет болтаться черт знает где целыми ночами, это скажется на ее исполнении. С этим не приходится спорить. У Джулии есть забавные поклонницы. На дневные спектакли приходит куча старых дам, потому что они считают ее такой милой добропорядочной женщиной. Не могу отрицать—если ей начнут перемывать косточки, это может отразиться на сборах. Я знаю Джулию достаточно хорошо; она не допустит никакого вмеша-

тельства в свою жизнь. Я ее муж и должен с этим мириться. Вы — нет. Я не стану вас порицать, если вы захотите выйти из предприятия, пока оно еще на мази.

Долли насторожилась. Она была далеко не глупа и в деловых вопросах вполне могла потягаться с Майклом. Гнев вернул ей самообладание.

— Я думала, что после стольких лет знакомства, Майкл, вы знаете меня лучше. Я считала своим долгом вас предупредить, но меня не испугаешь превратностями судьбы. Я не из тех, кто бежит с тонущего корабля. Осмелюсь сказать, я скорее могу позволить себе потерять деньги, чем вы.

Долли с большим удовольствием наблюдала, как у Майкла вытянулось лицо. Она знала, как много значат для него деньги, и надеялась, что ее слова крепко засядут у него в голове. Майкл быстро овладел собой.

— Что ж, подумайте еще, Долли.

Она взяла сумочку, и они расстались со взаимными заверениями в любви и пожеланиями удачи.

— Старая ведьма,— произнес Майкл, когда за Долли закрылась дверь.

— Старый осел,— произнесла Долли, спускаясь в лифте.

Но когда она села в свой великолепный и очень дорогой лимузин и вернулась к себе на Монтегью-сквер, она не смогла сдержать горьких и жгучих слез. Долли чувствовала себя старой, одинокой, несчастной. Она отчаянно ревновала.

Глава семнадцатая

Майкл гордился своим чувством юмора. Вечером в воскресенье, на следующий день после разговора с Долли, он вошел в комнату Джулии в то время, как она одевалась. Они собирались в кино после раннего ужина.

— Кто идет, кроме Чарлза? — спросил он.

— Я не смогла никого найти и позвала Тома.

— Прекрасно. Я хотел его видеть.

Майкл засмеялся при мысли о шутке, которую он для них припас. Джулия с удовольствием предвкушала ожидающий их вечер. В кино она сядет между Чарлзом и Томом, и тот не выпустит ее руки, в то время как она

будет вполголоса болтать с Чарлзом. Дорогой Чарлз, как мило с его стороны столько лет так преданно ее любить; она в лепешку расшибется, чтобы быть ему приятной. Чарлз и Том приехали вместе. Том в первый раз надел новый смокинг, и они с Джулией обменялись украдкой взглядом; в его глазах было удовольствие, в ее — восхищение.

— Ага, попался, молодой человек,—весело сказал Майкл, потирая руки,—а знаешь, что я о тебе слышал? Я слышал, что ты компрометируешь мою жену.

Том испуганно взглянул на него и залился краской. Привычка краснеть страшно его угнетала, но отучиться от нее он не мог.

— О, господи!—воскликнула весело Джулия.—Как чудесно! Всю жизнь мечтала, чтобы кто-нибудь меня скомпрометировал! Кто тебе рассказал, Майкл?

— Сорока на хвосте принесла,—лукаво ответил он.

— Что ж, Том, если Майкл со мной разведется, знаешь, тебе придется жениться на мне.

Чарлз улыбнулся добрыми грустными глазами.

— Что вы такое натворили, Том?—спросил он.

Чарлз держался нарочито серьезно; Майкл, которого забавляло явное смущение Тома, шутливо; Джулия, хотя внешне разделяла их веселье, была настороже.

— Оказывается, юный распутник водит Джулию по ночным клубам, в то время как ей давно пора «бай-бай».

Джулия завопила от восторга.

— Ну как, Том, признаемся или будем начисто все отрицать?

— И знаете, что я сказал этой сороке,—прервал ее Майкл,—я сказал: до тех пор, пока Джулия не тащит меня в ночные клубы...

Джулия перестала прислушиваться к его словам. Долли, подумала она и, как ни странно, употребила те же самые два слова, что и Майкл. Объявили, что ужин подан, и их веселая болтовня обратилась к другим предметам. Но хотя Джулия принимала в ней живейшее участие, хотя, судя по ее виду, она уделяла гостям все свое внимание и даже с величайшим интересом выслушала одну из театральных историй Майкла, которую слышала по меньшей мере двадцать раз, все это время она вела про себя оживленную беседу с Долли. Долли все больше и больше съезживалась от страха, пока Джулия говорила ей, что именно она о ней думает.

«Вы, старая корова,—сказала она Долли.— Кто вам позволил совать нос в мои дела? Молчите. Не пытайтесь оправдываться. Я знаю слово в слово, что вы сказали Майклу. Этому нет оправдания. Я думала, вы мне друг. Думала—я могу на вас положиться. Ну, теперь конец. Больше я вас знать не хочу. Ни за что. Думаете, мне очень нужны ваши вонючие деньги? И не пытайтесь говорить, что не имели в виду ничего дурного. Да что бы вы были, если бы не я, хотела бы я знать? Если вы хоть кому-нибудь известны, если что-то и представляете собой, так только потому, что случайно знакомы со мной. Благодаря кому все эти годы ваши приемы имели такой успех? Думаете, люди приходили любоваться на вас? Они приходили посмотреть на меня. Все. Конец».

По правде сказать, это был скорее монолог, чем диалог.

Позже, в кино, она сидела рядом с Томом, как и собиралась, и держала его за руку, но рука казалась на редкость безжизненной. Как рыбий плавник. Видно, его встревожили слова Майкла, и теперь он сидит и думает о них. Как бы улучшить минутку и остаться с ним наедине? Она сумела бы его успокоить. В конце концов никто, кроме нее, не выпутался бы из положения с таким блеском. Апломб— вот точное слово. Интересно все-таки, что именно Долли сказала Майклу. Надо будет узнать. Майкла спрашивать не годится, еще подумает, что она придала какое-то значение его словам; надо узнать у самой Долли. Пожалуй, не стоит ссориться с ней. Джулия улыбнулась при мысли, какую сцену она разыграет с Долли. Она будет со старой коровой сама нежность, она подластится к ней и выпросит все, та и не догадается, как она, Джулия, на нее сердита. Любопытно все-таки... Ее прямо мороз по коже пробрал при мысли, что о ней болтают. В конце концов, если она не может поступать как хочет, кто тогда может? Ее личная жизнь никого не касается. Однако, если люди начнут над ней смеяться, хорошего будет мало. Интересно, что выкинет Майкл, если узнает правду? Не очень-то ему удобно будет с ней развестись и оставаться ее антрепренером. Самое умное с его стороны было бы закрыть глаза, но в некоторых отношениях Майкл— человек странный: нет-нет да и вспоминает, что его родитель— полковник, и начинает изображать из себя бог весть что. Он вполне может вдруг сказать: пропади оно

все пропадом, я должен поступить как джентльмен. Мужчины такие дураки, они способны наплевать в собственный колодец. Конечно, она не очень-то и расстроится. Поедет на гастроли в Америку на год или два, пока скандал не затихнет, а потом найдет себе нового антрепренера. Но это такая доука! И потом, у них есть Роджер, об этом тоже нельзя забывать; он так станет переживать, бедный ягненок, все это будет для него так унижительно. Нечего закрывать глаза: она будет крайне глупо выглядеть, разводясь в ее возрасте из-за мальчишки двадцати трех лет. Конечно, замуж она за Тома не выйдет, на это у нее достанет ума. А Чарлз женится на ней? Джулия обернулась и посмотрела в полумраке на его аристократический профиль. Он безумно любит ее уже много лет, он — один из тех великодушных галантных идиотов, которых женщины запросто обводят вокруг пальца; возможно, он не откажется выступить в суде в роли соотечественника при расторжении брака вместо Тома. Это был бы прекрасный выход. Леди Чарлз Тэмерли. Звучит неплохо. Возможно, она и правда была несколько безрассудна. Она всегда следила, чтобы ее никто не заметил, когда шла к Тому, но ее мог увидеть кто-нибудь из шоферов по пути туда или обратно и вообразить невесту что. У таких людей всегда только непристойности на уме. Что до ночных клубов, она с радостью ходила бы с Томом в тихие местечки, где бы их никто не увидел, но он не хотел. Он любил, чтобы была куча народу, ему нравилось вращаться среди элегантных людей, на них посмотреть и себя показать. Он хотел, чтобы их видели вместе.

«Черт подери! — сказала себе Джулия. — Черт подери! Черт подери!»

Да, вечер в кино оказался далеко не таким приятным, как она ожидала.

Глава восемнадцатая

На следующий день Джулия позвонила Долли по ее личному аппарату.

— Милочка, я не видела вас тысячу лет. Что вы подделывали все это время?

— Да ничего особенного.

Голос Долли был холоден.

— Послушайте, завтра возвращается Роджер. Вы знаете, он совсем бросает Итон. Я пошлю утром за ним машину и хочу, чтобы вы приехали к ленчу. Я никого не зову. Только вы и я, Майкл и Роджер.

— Я уже приглашена на завтра к ленчу.

За двадцать лет Долли ни разу не была занята, если Джулия хотела ее видеть. Голос на другом конце провода казался враждебным.

— Долли, как вы можете быть такой злючкой? Роджер будет ужасно разочарован. Его первый день дома; к тому же я сама хочу вас видеть. Я уже целую вечность не видела вас и страшно соскучилась. Вы не можете отложить вашу встречу? Один только раз, милочка, и мы с вами всласть поболтаем после ленча вдвоем, лишь вы да я.

Когда Джулия чего-нибудь хотела, ей просто невыносимо было отказать; никто не мог вложить столько нежности в голос, быть такой обаятельной, такой неотразимой. Наступило молчание, и Джулия поняла, что Долли борется со своими оскорбленными чувствами.

— Хорошо, дорогая, я как-нибудь ухитрюсь это уладить.

— Милочка! — но, дав отбой, Джулия процедила сквозь зубы: «Старая корова!»

Долли приехала. Роджер вежливо выслушал, что он сильно вырос, и со своей серьезной улыбкой отвечал как положено на все то, что она считала уместным сказать мальчику его лет. Роджер ставил Джулию в тупик. Хотя сам он говорил мало, он, казалось, внимательно слушал все, что говорили другие, и все же ее не оставляло странное чувство, будто голова его занята собственными мыслями. Казалось, он наблюдает за ними со стороны с тем же любопытством, с каким мог бы наблюдать за зверями в зоопарке. Это вызывало в ней легкую тревогу. При первом удобном случае Джулия произнесла реплику, которую заранее приготовила ради Долли:

— Роджер, милый, твой несчастный отец занят сегодня вечером. У меня есть два билета в «Палладиум» на второе представление, и Том звал тебя обедать в Кафе-Ройял.

— Да? — секундное молчание. — Ладно.

Джулия повернулась к Долли.

— Так хорошо, что у нас есть Том. Можно всюду пускать с ним Роджера. Они большие друзья.

Майкл бросил на Долли многозначительный взгляд. В глазах у него заплясали чертики.

— Том — очень приличный молодой человек. Он не даст Роджеру набедокурить, — сказал он.

— Мне кажется, Роджеру интереснее общаться со своими друзьями по Итону, — отозвалась Долли.

«Старая корова, — думала Джулия, — старая корова!»

После ленча она позвала Долли к себе в комнату.

— Мне надо отдохнуть. Я лягу, а вы мне расскажете все новости. Хорошенько посплетничать, вот чего я хочу.

Она нежно обвила рукой массивную талию Долли и повела ее наверх. Какое-то время они болтали о том о сем: о нарядах, прислуге, косметике; позлословили об общих знакомых; затем Джулия, облокотившись на руку, доверительно посмотрела Долли в глаза.

— Долли, мне надо с вами кое о чем поговорить. Мне нужен совет, а вы — единственный человек на свете, к кому я обращаюсь за советом. Я знаю, что вам я могу доверять.

— Ну, конечно, дорогая.

— Оказывается, обо мне пошли гадкие сплетни. Кто-то сказал Майклу, что в городе болтают обо мне и бедном Томе Феннеле.

Хотя глаза ее хранили все то же обворожительное и трогательное выражение, перед которым — она это знала — Долли не могла устоять, Джулия внимательно следила за ней. Напрасно: Долли не вздрогнула, на лице не шевельнулся ни один мускул.

— Кто рассказал Майклу?

— Понятия не имею. Он не говорит. Сами знаете, какой он, когда ему вздумается изображать из себя джентльмена.

Ей только показалось или лицо Долли действительно стало менее напряженным?

— Мне нужна правда, Долли.

— Я так рада, что вы обратились ко мне, дорогая. Я терпеть не могу вмешиваться, куда меня не просят, если бы вы сами не затеяли этот разговор, ничто не заставило бы меня его начать.

— Милочка, кому, как не мне, знать, какой вы верный друг.

Долли скинула туфли и уселась поудобнее в кресле, затрепавшем под ее тяжестью. Джулия не спускала с нее глаз.

— Люди злы, для вас это не тайна. Вы всегда вели такой спокойный образ жизни. Так редко выезжали и то лишь с Майклом или Чарлзом Тэмерли. Чарлз — другая статья: всем известно, что он вздыхает по вас тысячу лет. Естественно, все удивились, что вы вдруг, ни с того ни с сего, начали разгуливать по развеселым местам с клерком фирмы, которая ведет ваши бухгалтерские книги.

— Ну, это не совсем так. Том не клерк. Отец купил ему пай в деле. Он — младший компаньон.

— Да, и получает четыреста фунтов в год.

— Откуда вы знаете? — быстро спросила Джулия.

На этот раз Джулия была уверена в том, что Долли смутилась.

— Вы уговорили меня обратиться к его фирме по поводу подоходного налога. Один из главных компаньонов мне и сказал. Немного странно, что на такие деньги он в состоянии платить за квартиру, одеваться так, как он одевается, и водить вас в ночные клубы.

— Возможно, он получает денежную помощь от отца.

— Его отец — стряпчий в северной части Лондона. Вы прекрасно понимаете, что, если он купил ему пай в фирме, он не станет помогать ему наличными деньгами.

— Может быть, вы вообразили, будто я его содер-
жу? — сказала Джулия со звонким смехом.

— Я ничего не воображаю, дорогая. Но люди — да.

Джулии не понравились ни слова, произнесенные Долли, ни то, как она их произнесла. Но она никак не выдала своей тревоги.

— Какая нелепость! Том — друг Роджера. Конечно, я с ним выезжаю. Я почувствовала, что мне надо встряхнуться. Я устала от однообразия, только и знаешь — театр и забота о самой себе. Это не жизнь. В конце концов, когда мне и повеселиться, как не сейчас? Я старею, Долли, что уж отрицать. Вы знаете, что такое Майкл. Конечно, он душка, но такая зануда!

— Не больше, чем был все эти годы, — сказала Долли ледяным тоном.

— Мне кажется, я—последняя, кого можно обвинить в шашнях с мальчиком на двадцать лет моложе меня.

— На двадцать пять,—поправила Долли.—Мне бы тоже так казалось. К сожалению, ваш Том не очень-то осторожен.

— Что вы хотите этим сказать?

— Ну, он обещал Эвис Крайтон, что получит для нее роль в вашей новой пьесе.

— Что еще за Эвис Крайтон?

— О, одна моя знакомая молодая актриса. Хорошенькая, как картинка.

— Он просто глупый мальчишка. Верно, надеется уломать Майкла. Вы же знаете, как Майкл любит молодежь.

— Он говорит, что может вас заставить сделать все, что хочет. Он говорит—вы пляшете под его дудку.

К счастью, Джулия была хорошая актриса. На миг сердце ее остановилось. Как он мог так сказать? Дурак. Несчастный дурак! Но она тут же овладела собой и весело рассмеялась:

— Какая чепуха! Да я не верю ни единому слову.

— Он очень заурядный, вульгарный молодой человек. Вы так с ним носитесь, ничего удивительного, если это вскружило ему голову.

Джулия, добродушно улыбаясь, посмотрела на Долли невинным взглядом.

— Но, милочка, надеюсь, вы не думаете, что Том—мой любовник?

— Если и нет, я единственная, кто так не думает.

— Но вы думаете или нет?

Долли молчала. С минуту они, не отводя глаз, смотрели друг на друга; в сердце каждой из них горела черная ненависть, но Джулия по-прежнему улыбалась.

— Если вы поклянетесь, что это не так, конечно, я вам поверю.

Голос Джулии сделался тихим, торжественным, в нем звучала неподдельная искренность.

— Я еще ни разу вам не солгала, Долли, и уже слишком стара, чтобы начинать. Я даю вам честное слово, что Том никогда не был мне никем, кроме друга

— Вы снимаете тяжесть с моей души.

Джулия знала, что Долли ей не верит, и Долли это было известно. Долли продолжала:

— Но в таком случае, Джулия, дорогая, ради самой себя будьте благоразумны. Не разгуливайте повсюду с этим молодым человеком. Бросьте его.

— Не могу. Это будет равносильно признанию, что люди были правы, когда злословили о нас. Моя совесть чиста. Я могу позволить себе высоко держать голову. Я стала бы презирать себя, если бы руководствовалась в своих поступках тем, что кто-то что-то обо мне думает.

Долли сунула ноги обратно в туфли и, достав из сумочки помаду, накрасила губы.

— Что ж, дорогая, вы не ребенок и знаете, что делаете.

Расстались они холодно.

Однако две или три оброненные Долли фразы явились для Джулии очень неприятной неожиданностью. Они не выходили у нее из головы. Хоть кого приведет в замешательство, если слухи о нем так близки к истине. Но какое все это имеет значение? У миллиона женщин есть любовники, и это никого не волнует. Она же актриса. Никто не ожидает от актрисы, чтобы она была образцом добропорядочности.

«Это все моя проклятая благопристойность. Она всему причина».

Джулия приобрела репутацию исключительно добродетельной женщины, которой не грозит злословие, а теперь было похоже, что ее репутация — тюремная стена, которую она сама вокруг себя воздвигла. Но это бы еще полбеды. Что имел в виду Том, когда говорил, что она пляшет под его дудку? Это глубоко уязвило Джулию. Дурачок. Как он осмелился?! С этим она тоже не знала, что предпринять. Ей бы хотелось отругать его, но что толку? Он все равно не сознается. Джулии оставалось одно — молчать. Она слишком далеко зашла: снявши голову, по волосам не плачут; приходится принимать все таким, как оно есть. Ни к чему закрывать глаза на правду: Том ее не любит, он стал ее любовником потому, что это льстит его тщеславию, что это открывает ему доступ ко многим приятным вещам и потому, что, по крайней мере в его собственных глазах, это дает ему своего рода положение.

«Если бы я не была дурой, я бы бросила его.— Джулия сердито засмеялась.— Легко сказать! Я его люблю».

И вот что самое странное: заглянув в свое сердце, она увидела, что возмущается нанесенной ей обидой не Джулия Лэмберт—женщина; той было все равно. Ее уязвила обида, нанесенная Джулии Лэмберт—актрисе. Она часто чувствовала, что ее талант—критики называли его «гений», но это было слишком громкое слово, лучше сказать, ее дар—не она сама и не часть ее, а что-то вне ее, что пользовалось ею, Джулией Лэмберт, для самовыражения. Это была неведомая ей духовная субстанция, озарение, которое, казалось, нисходило на нее свыше и посредством нее, Джулии, свершало то, на что сама Джулия была неспособна. Она была обыкновенная, довольно привлекательная стареющая женщина. У ее дара не было ни внешней формы, ни возраста. Это был дух, который играл на ней, как скрипач на скрипке. Пренебрежение к нему, к этому духу, вот что больше всего ее оскорбило.

Джулия попыталась уснуть. Она так привыкла спать днем, что стоило ей лечь, сразу же засыпала, но сегодня она беспокойно ворочалась с боку на бок, а сон все не шел. Наконец Джулия взглянула на часы. Том часто возвращался с работы после пяти. Она страстно томилась по нему, в его объятиях был покой, когда она была рядом с ним, все остальное не имело значения. Джулия набрала его номер.

— Алло! Да! Кто говорит?

Джулия в панике прижала трубку к уху. Это был голос Роджера. Она дала отбой.

Глава девятнадцатая

Ночью Джулия тоже почти не спала. Она все еще лежала без сна, когда услышала, что вернулся Роджер, и, повернув выключатель, увидела, что было четыре часа. Она нахмурилась. Утром он с грохотом сбежал по ступеням, в то время как она еще только собиралась вставать.

— Можно войти, мамочка?

— Входи.

Он все еще был в пижаме и халате. Она улыбнулась ему: он выглядел таким свежим, таким юным.

— Ты очень поздно вернулся вчера.

— Не очень. Около часа.

— Врунишка! Я поглядела на часы. Было четыре утра.

— Ну, четыре так четыре,—весело согласился он.

— Что вы делали до такого времени, ради всего святого?

— Поехали после спектакля в одно место ужинать. Танцевали.

— С кем?

— С двумя девушками, которых мы там встретили. Том знал их раньше.

— Как их зовут?

— Одну Джил, другую Джун. Фамилий их я не знаю. Джун — актриса. Она спросила, не смогу ли я устроить ее дублершей в твоей следующей пьесе.

Во всяком случае, ни одна из них не была Эвис Крайтон. Это имя не покидало мыслей Джулии с той минуты, как Долли упомянула его.

— Но ведь такие места закрываются не в четыре утра.

— Да. Мы вернулись к Тому. Том взял с меня слово, что я тебе не скажу. Он думал, ты страшно рассердишься.

— Ну, чтобы я рассердилась, нужна причина поважней. Обещаю, что и словом ему не обмолвлюсь.

— Если кто и виноват, так только я. Я зашел к нему вчера днем, и мы обо всем сговорились. Вся эта ерунда насчет любви, которую слышишь на спектаклях и читаешь в книгах... Мне скоро восемнадцать. Я решил, надо самому попробовать, что это такое.

Джулия села в постели и, широко раскрыв глаза, посмотрела на Роджера вопросительным взглядом.

— Роджер, ради всего святого, о чем ты толкуешь? Он был, как всегда, сдержан и серьезен.

— Том сказал, что он знает двух девчонок, с которыми можно поладить. Он сам с ними обеими уже переспал. Они живут вместе. Ну, мы позвонили им и предложили встретиться после спектакля. Том сказал им, что я — девственник, пусть кидают жребий, кому я достанусь. Когда

мы вернулись к нему в квартиру, он пошел в спальню с Джил, а мне оставил гостиную и Джун.

На какой-то миг мысль о Томе была вытеснена ее тревогой за Роджера.

— И знаешь, мам, ничего в этом нет особенного. Не понимаю, чего вокруг этого поднимают такой шум.

У Джулии сжало горло. Глаза наполнились слезами, они потоком хлынули по щекам.

— Мапочка, что с тобой? Почему ты плачешь?

— Но ты же еще совсем мальчик!

Роджер подошел к ней и, присев на край постели, крепко обнял.

— Ну что ты, мамочка! Ну, не плачь. Если бы я знал, что ты расстроишься, я бы не стал ничего тебе рассказывать. В конце концов, рано или поздно это должно было случиться.

— Но так скоро... Так скоро! Я чувствую себя теперь совсем старухой.

— Ты—старуха?! Только не ты, мамочка. «Над ней не властны годы. Не прискучит ее разнообразие вовек»¹.

Джулия засмеялась сквозь слезы.

— Глупыш ты, Роджер. Думаешь, Клеопатре понравилось бы то, что сказал о ней этот старый осел? Ты бы мог еще немного подождать.

— И хорошо, что этого не сделал. Теперь я все знаю. По правде говоря, все это довольно противно.

Джулия глубоко вздохнула. Ее обрадовало, что он так нежно ее обнимает, но было ужасно жалко себя.

— Ты не сердись на меня, дорогая? — спросил он.

— Сержусь? Нет. Но уж если это должно было случиться, я бы предпочла, чтобы не так прозаично. Ты говоришь об этом, точно о любопытном научном эксперименте, и только.

— Так оно и было, в своем роде.

Джулия слегка улыбнулась сыну.

— И ты на самом деле думаешь, что это и есть любовь?

— Ну, большинство так считает, разве нет?

— Нет, вовсе нет. Любовь—это боль и мука, стыд, восторг, рай и ад, чувство, что ты живешь в сто раз

¹ Шекспир Вильям «Цезарь и Клеопатра».

напряженной, чем обычно, и невыразимая тоска, свобода и рабство, умиротворение и тревога.

В неподвижности, с которой он ее слушал, было что-то, заставившее Джулию украдкой взглянуть на сына. В глазах Роджера было странное выражение. Она не могла его прочесть. Казалось, он прислушивается к звукам, долетающим до него издалека.

— Звучит не особенно весело,— пробормотал Роджер.

Джулия сжала его лицо, с такой нежной кожей, обеими ладонями и поцеловала в губы.

— Глупая я, да? Я все еще вижу в тебе того малыша, которого когда-то держала на руках.

В его глазах зажегся лукавый огонек.

— Чему ты смеешься, мартышка?

— Чертовски хорошая была фотография, да?

Джулия не могла удержаться от смеха.

— Поросенок. Грязный поросенок.

— Послушай, как насчет Джун? Есть для нее надежда получить роль дублерши?

— Скажи, пусть как-нибудь зайдет ко мне.

Но когда Роджер ушел, Джулия вздохнула. Она была подавлена. Она чувствовала себя очень одиноко. Жизнь ее всегда была так заполнена и так интересна, что у нее просто не хватало времени заниматься сыном. Она, конечно, страшно волновалась, когда он подхватывал коклюш или свинку, но вообще-то ребенок он был здоровый и обычно не особенно занимал ее мысли. Однако сын вседа был к ее услугам, если на нее находила охота с ним повозиться. Джулия часто думала, как будет приятно, когда он вырастет и сможет разделять ее интересы. Мысль о том, что она потеряла его, никогда по-настоящему не обладая им, была для Джулии ударом. Когда она подумала о девице, укравшей у нее сына, губы Джулии сжались.

«Дублерша! Подумать только! Ну и ну!»

Джулия так была поглощена своей болью, что почти не чувствовала горя из-за измены Тома. Джулия и раньше не сомневалась, что он ей неверен. В его возрасте, с его темпераментом, при том, что сама она была связана выступлениями и всевозможными встречами, к которым ее обязывало положение, он, несомненно,

не упускал возможности удовлетворять свои желания. Джулия на все закрывала глаза. Она хотела немного — оставаться в неведении. Сейчас впервые ей пришлось столкнуться лицом к лицу с реальным фактом.

«Придется примириться с этим, — вздохнула она. В ее уме одна мысль обгоняла другую. — Все равно что лгать и не подозревать, что лжешь, вот что самое фатальное. Все же лучше знать, что ты дурак, чем быть дураком и не знать этого».

Глава двадцатая

На рождество Том уехал к родителям в Истбурн. У Джулии было два выступления в «день подарков»¹, поэтому они остались в городе и пошли в «Савой» на грандиозную встречу Нового года, устроенную Долли де Фриз. Через несколько дней Роджер отправлялся в Вену. Пока он был в Лондоне, Джулия почти не видела Тома. Она не расспрашивала Роджера, что они делают, когда носят вместе по городу, — не хотела знать; она старалась не думать и отвлекала свои мысли, отправляясь на одну вечеринку за другой. И с ней всегда была ее работа. Стоило Джулии войти в театр, как ее боль, ее унижение, ее ревность утихали. Словно на дне баночки с гримом она находила другое существо, которое не задевали никакие мирские тревоги. Это давало Джулии ощущение силы, чувство торжества. Имея под рукой такое прибежище, она может выдержать все что угодно.

В день отъезда Роджера Том позвонил ей из конторы.

— Ты что-нибудь делаешь сегодня вечером? Не пойти ли нам кутнуть?

— Не могу. Занята.

Это была неправда, но губы сами за нее ответили.

— Да? А как насчет завтра?

Если бы Том выразил разочарование, если бы попросил отменить встречу, на которую, она сказала, идет, у Джулии достало бы сил порвать с ним без лишних слов. Его безразличие сразило ее.

— Завтра? Хорошо.

— О'кей. Захвачу тебя из театра после спектакля. Пока.

¹ Второй день рождества, когда слуги, посыльные и т. п. получают подарки.

Джулия была уже готова и ждала его, когда Том вошел к ней в уборную. Она была в страшной тревоге. Когда Том увидел ее, лицо его озарилось, и не успела Эви выйти из комнаты, как он привлек Джулию к себе и пылко поцеловал.

— Вот так-то лучше,—засмеялся он.

Глядя на него, такого юного, свежего, жизнерадостного, душа нараспашку, нельзя было поверить, что он причиняет ей жестокие муки. Нельзя было поверить, что он обманывает ее. Том даже не заметил, что они не виделись почти две недели. Это было совершенно ясно.

(«О боже, если бы я могла послать его ко всем чертям!»)

Но Джулия взглянула на него с веселой улыбкой в своих прекрасных глазах.

— Куда мы идем?

— Я заказал столик у Квэга. У них в программе новый номер. Какой-то американский фокусник. Говорят — первый класс.

Весь ужин Джулия оживленно болтала. Рассказывала Тому о приемах, на которых она была, и о театральных вечеринках, на которые не могла не пойти. Создавалось впечатление, будто они не виделись так долго только потому, что она, Джулия, была занята. Ее обескураживало то, что он воспринимал это как должное. Том был рад ей, это не вызывало сомнений; он с интересом слушал ее рассказы о ее делах и людях, с которыми она встречалась, но не вызывало сомнения и то, что он несколько по ней не скучал. Чтобы увидеть, как Том это примет, Джулия сказала ему, что получила приглашение поехать с их пьесой на гастроли в Нью-Йорк. Сообщила, какие ей предлагают условия.

— Но это же чудесно! — воскликнул Том, и глаза его заблестели. — Это же верняк. Ты ничего не теряешь и можешь заработать кучу денег.

— Да, все так, но мне не очень-то хочется покидать Лондон.

— Почему, ради всего святого? Да я бы на твоём месте ухватился за их предложение обеими руками. Пьеса уже давно не сходит со сцены, чего доброго, к пасхе театр совсем перестанут посещать, и если ты хочешь завоевать Америку, лучшего случая не найдешь.

— Не вижу, почему бы ей не идти все лето. К тому же я не люблю новых людей. Предпочитаю оставаться с друзьями.

— По-моему, это глупо. Твои друзья прекрасно без тебя проживут. И ты здорово проведешь время в Нью-Йорке.

Ее звонкий смех звучал вполне убедительно.

— Можно подумать, ты просто мечтаешь от меня избавиться.

— Конечно же, я буду чертовски по тебе скучать. Но ведь мы расстанемся всего на несколько месяцев. Если бы мне представилась такая возможность, уж я бы ее не упустил.

Когда они кончили ужинать и швейцар вызвал им такси, Том дал адрес своей квартиры, словно это разумелось само собой. В такси он обвил рукой ее талию и поцеловал, и позднее, когда она лежала в его объятиях на небольшой односпальной кровати, Джулия почувствовала, что вся та боль, которая терзала ее последние две недели,—недорогая цена за счастливый покой, наполнивший теперь ее сердце.

Джулия продолжала ходить с Томом в модные рестораны и ночные кабаре. Если людям нравится думать, что Том ее любовник, пускай, ей это безразлично. Но все чаще, когда Джулии хотелось куда-нибудь с ним пойти, Том оказывался занят. Среди ее аристократических друзей распространился слух, что Том Феннел может дать толковый совет, как сократить подоходный налог. Денноранты пригласили его на уик-энд в свой загородный дом, и он встретил там кучу их приятелей, которые были рады воспользоваться его профессиональными познаниями. Том начал получать приглашения от неизвестных Джулии персон. Общие знакомые могли сказать ей:

— Вы ведь знаете Тома Феннела? Очень неглуп, правда? Я слышал, он помог Джиллианам сэкономить на подоходном налоге несколько сот фунтов.

Джулии все это сильно не нравилось. Раньше попасть к кому-нибудь в гости Том мог только через нее. Похоже, что теперь он вполне способен обойтись без ее помощи. Том был любезен и скромен, очень хорошо одевался и всегда имел свежий и аккуратный вид, располагающий к нему людей; к тому же мог помочь им

сберечь деньги. Джулия достаточно хорошо изучила тот мирок, куда он стремился проникнуть, и понимала, что он скоро создаст себе там прочное положение. Джулия была не очень высокого мнения о нравственности женщин, которых он там встретит, и могла назвать не одну титулованную особу, которая будет рада его подцепить. Единственное, что ее утешало: все они были скупы — снега зимой не выпросишь. Долли сказала, что он получает четыреста фунтов в год; на такие деньги в этих кругах не проживешь.

Джулия решительно отказалась от поездки в Америку еще до того, как говорила об этом с Томом; зрительный зал каждый день был переполнен. Но вот неожиданно во всех театрах Лондона начался необъяснимый застой — публика почти совсем перестала их посещать, что немедленно сказалось на сборах. Похоже, спектакль действительно не продержится дольше пасхи. У них была в запасе новая пьеса, на которую они возлагали большие надежды. Называлась она «Нынешние времена», и они намеревались открыть ею осенний сезон. В ней была великолепная роль для Джулии и то преимущество, что и Майклу тоже нашлась роль в его амплуа. Такие пьесы не выходят из репертуара по году. Майклу не очень-то улыбалась мысль ставить ее в мае, когда впереди лето, но иного выхода, видимо, не было, и он начал подбирать для нее актерский состав.

Как-то днем во время антракта Эви принесла Джулии записку. Она с удивлением узнала почерк Роджера.

«Дорогая мама!

Разреши представить тебе мисс Джун Денвер, о которой я тебе говорил. Ей страшно хочется попасть в «Сиддонс-театр», и она будет счастлива, если ты возьмешь ее в дублерши даже на самую маленькую роль».

Джулия улыбнулась официальному тону записки; ее позабавило, что ее сын уже такой взрослый, даже пытается составить протекцию своим подружкам. И тут она вдруг вспомнила, кто такая эта Джун Денвер. Джун и Джил. Та самая девица, которая совратила бедного Роджера. Джулия нахмурилась. Любопытно все же взглянуть на нее.

— Джордж еще не ушел?

Джордж был их привратник. Эви кивнула и открыла дверь.

— Джордж!

Он вошел.

— Та дама, что принесла письмо, сейчас здесь?

— Да, мисс.

— Скажите ей, что я приму ее после спектакля.

В последнем действии Джулия появлялась в вечернем платье с треном; платье было очень роскошное и выгодно подчеркивало ее прекрасную фигуру. В темных волосах сверкала бриллиантовая диадема, на руках — бриллиантовые браслеты. Как и требовалось по роли, поистине величественный вид. Джулия приняла Джун Денвер сразу же, как закончились вызовы. Она умела в мгновение ока переходить с подмостков в обычную жизнь, но сейчас без всякого усилия со своей стороны Джулия продолжала изображать надменную, холодную, величавую, хотя и учтивую героиню пьесы.

— Я и так заставила вас долго ждать и подумала, что не буду откладывать нашу встречу, потом переоденусь.

Карминные губы Джулии улыбались улыбкой королевы, ее снисходительный тон держал на почтительном расстоянии. Она с первого взгляда поняла, что представляет собой девушка, которая вошла в ее уборную. Молоденькая, с кукольным личиком и курносый носиком, сильно и не очень-то искусно накрашенная.

«Ноги слишком коротки, — подумала Джулия, — весьма заурядная девица».

На ней, видимо, было ее парадное платье, и тот же взгляд рассказал о нем Джулии все.

(«Шафтсбери-авеню. Распродажа по сниженным ценам».)

Бедняжка страшно нервничала. Джулия указала ей на стул и предложила сигарету.

— Спички рядом с вами.

Когда девушка попыталась зажечь спичку, Джулия увидела, что руки у нее дрожат. Первая сломалась, второй пришлось три раза чиркнуть по коробку, прежде чем она вспыхнула.

(«Если бы Роджер видел ее сейчас! Дешевые румяна, дешевая помада, и до смерти напугана. Веселая девчушка, так он о ней думал».)

— Вы давно на сцене, мисс... Простите, я забыла ваше имя.

— Джун Денвер.— В горле девушки пересохло, она с трудом могла говорить. Сигарета ее погасла, и она беспомощно держала ее в руке.— Два года,— ответила она на вопрос Джулии.

— Сколько вам лет?

— Девятнадцать.

(«Врешь. Добрых двадцать два».)

— Вы знакомы с моим сыном?

— Да.

— Он только что окончил Итон. Уехал в Вену изучать немецкий язык. Конечно, он еще очень молод, но мы с его отцом решили, что ему будет полезно провести несколько месяцев за границей, прежде чем поступать в Кембридж. А в каких амплуа вы выступали? Ваша сигарета погасла. Возьмите другую.

— О, неважно, спасибо. Я играла в провинции. Но мне страшно хочется играть в Лондоне.

Отчаяние придало ей храбрости, и она произнесла небольшую речь, явно заготовленную заранее:

— Я невероятно восхищаюсь вами, мисс Лэмберт. Я всегда говорила, что вы—величайшая актриса английской сцены. Я научилась у вас больше, чем за все годы, что провела в Королевской академии драматического искусства. Мечта моей жизни—играть в вашем театре, мисс Лэмберт. Если бы вы смогли дать мне хоть самую маленькую роль! Это величайший шанс, о котором только можно мечтать.

— Снимите, пожалуйста, шляпу.

Джун Денвер сняла дешевенькую шляпку и быстрым движением тряхнула своими коротко стриженными кудряшками.

— Красивые волосы,—сказала Джулия.

Все с той же чуть надменной, но беспредельно приветливой улыбкой, улыбкой королевы, которую та дарует подданным во время торжественных процессий, Джулия пристально глядела на Джун. Она ничего не говорила. Она помнила афоризм Жанны Тэбу: «Не делай паузы, если в этом нет крайней необходимости, но уж если сделала, тяни ее сколько сможешь». Джулия, казалось, слышала, как громко бьется сердце девушки,

видела, как та съеживается в своей купленной на распродаже одежде, съеживается в собственной коже.

— Что навело вас на мысль попросить у моего сына рекомендательное письмо?

Джун так покраснела, что это было видно даже под румянами, и, прежде чем ответить, проглотила комок в горле:

— Я встретила его у одного своего приятеля и сказала ему, как я вами восхищаюсь, а он сказал, что, возможно, у вас найдется что-нибудь для меня в следующей пьесе.

— Я сейчас перебираю в уме все роли.

— Я и не мечтаю о роли. Если бы я могла быть дублершей... Я хочу сказать, это дало бы мне возможность посещать репетиции и изучить вашу технику. Это уже само по себе школа. Все так говорят.

(«Дурочка, пытается мне польстить. Словно я сама этого не знаю. А какого черта я буду ее учить?»)

— Очень мило с вашей стороны так на это смотреть. Я самая обыкновенная женщина, поверьте. Публика так ко мне добра, так добра... Вы — хорошенькая девушка. И молоденькая. Юность прекрасна. Мы всегда старались предоставить молодежи возможность себя показать. В конце концов мы не вечны, и мы считаем своим долгом перед публикой готовить смену, которая займет наше место, когда придет срок.

Джулия произнесла эти слова своим прекрасно поставленным голосом так просто, что Джун Денвер воспрянула духом. Ей удалось обвести старуху, место дублерши у нее в кармане! Том Феннел сказал, если она не будет дурой, то знакомство с Роджером вполне может к чему-нибудь привести.

— Ну, это случится еще не скоро, мисс Лэмберт,— сказала она, и ее глазки, хорошенькие темные глазки, засверкали.

(«Тут ты права, голубушка, еще как права. Поспору, сыграю лучше тебя даже в семьдесят».)

— Я должна подумать. Я еще не знаю, какие дублеры понадобятся нам для следующей пьесы.

— Поговаривают, что Эвис Крайтон будет играть девушку. Я могла бы дублировать ее.

Эвис Крайтон. На лице Джулии не дрогнул ни один мускул; никто бы не догадался, что это имя для нее что-нибудь значит.

— Мой муж упоминал о ней, но еще ничего не решено. Я ее совсем не знаю. Она талантлива?

— Думаю, что да. Я была вместе с ней в театральной школе.

— И говорят, хорошенькая, как картинка.— Поднявшись, чтобы показать, что аудиенция окончена, Джулия сбросила с себя королевский вид. Она изменила тон и в одну секунду стала славной, добродушной актрисой, которая с радостью окажет дружескую услугу, если это в ее силах.— Ну, милочка, оставьте мне ваше имя и адрес, и если что-нибудь появится, я вам сообщу.

— Вы не забудете про меня, мисс Лэмберт?

— Нет, милочка, обещаю, что нет. Было так приятно с вами познакомиться. Вы славная девочка. Найдете сами выход? До свиданья.

«Черта лысого она получит что-нибудь в моем театре,— подумала Джулия, когда та ушла.— Грязная шлюха, совратить моего сыночка! Бедный ягненочек. Стыд и срам, да и только; таких надо карать по всей строгости закона».

Снимая свое великолепное платье, Джулия посмотрела в зеркало. Взгляд у нее был жесткий, губы кривила ироническая усмешка. Она обратилась к своему отражению:

— И могу сказать тебе, подруга, есть еще один человек, который не будет у нас играть ни в «Нынешних временах», ни вообще. Это Эвис Крайтон.

Глава двадцать первая

Но неделю спустя Майкл упомянул ее имя.

— Послушай, ты слышала о девушке, которую зовут Эвис Крайтон?

— Никогда.

— Говорят, она очень неплоха. Леди и все такое прочее. Ее отец из военных. Я подумал, не подойдет ли она на роль Онор.

— Как ты о ней узнал?

— От Тома. Он знаком с ней. Говорит, у нее есть галант. Через неделю будет выступать в воскресном театре. Том считает, что стоит на нее посмотреть.

— Что ж, пойди и посмотри.

— Я собирался поехать на уик-энд в Сэндуич поиграть в гольф. Тебе очень не хочется идти? Пьеса наверняка дрянь, но ты сможешь сказать, стоит ли давать ей читать роль. Том составит тебе компанию.

Сердце Джулии неистово билось.

— Разумеется, я пойду.

В воскресенье она позвонила Тому и пригласила его зайти к ним перекусить перед театром. Том появился раньше, чем Джулия была готова.

— Я задержалась или ты поспешил? — спросила она, входя в гостиную.

Джулия увидела, что Том с трудом сдерживает нетерпение. Он нервничал и сидел как на иголках.

— Третий звонок ровно в восемь, — ответил он. — Терпеть не могу приходить в театр после начала спектакля.

Его возбуждение сказало Джулии все, что она хотела знать. Она не стала торопиться, когда пила свой коктейль.

— Как зовут актрису, которую мы идем смотреть? — спросила она.

— Эвис Крайтон. Мне страшно хочется услышать о ней твое мнение. Я думаю, что она — находка. Она знает, что ты сегодня придешь, и страшно волнуется, но я сказал ей, что для этого нет оснований. Ты сама знаешь, что такое воскресные спектакли: репетиции наспех и все такое; я сказал ей, что ты это понимаешь и примешь все в расчет.

В течение обеда Том беспрестанно посматривал на часы. Джулия занимала его великосветской беседой. Она говорила то на одну тему, то на другую, хотя Том еле слушал. Как только ему удалось, он опять перевел разговор на Эвис Крайтон.

— Конечно, я ей об этом и не заикнулся, но, по-моему, она подойдет для Онор. — Он уже прочел «Нынешние времена», как читал все пьесы, которые ставились у них в театре, еще до постановки. — Она просто создана для этой роли. Ей пришлось побороться, чтобы встать на ноги, и, конечно, это для нее замечательный шанс. Она невероятно тобой восхищается и страшно хочет сыграть вместе с тобой.

— Ничего удивительного. Это значит — пробыть на сцене не меньше года и показаться куче антрепренеров.

— Она—очень светлая блондинка; как раз то, что нужно: будет хорошо оттенять тебя.

— Ну, при помощи перекиси водорода блондинок на сцене хоть пруд пруди.

— Но она—натуральная блондинка.

— Да? Я сегодня получила от Роджера большое письмо. Похоже, он прекрасно проводит время.

Том сразу потерял интерес к разговору. Поглядел на часы. Когда подали кофе, Джулия сказала, что его нельзя пить. Она велела сварить другой, свежий.

— О, Джулия, право, не стоит. Мы опоздаем.

— Какое это имеет значение, даже если мы пропустим несколько минут?

В голосе Тома зазвучало страдание:

— Я обещал, что мы придем вовремя. У нее очень хорошая сцена почти в самом начале.

— Мне очень жаль, но, не выпив кофе, я идти не могу.

Пока они его ждали, Джулия поддерживала оживленный разговор. Том едва отвечал и нетерпеливо поглядывал на дверь. Когда наконец принесли кофе, Джулия пила его со сводящей с ума медлительностью. К тому времени, как они сели в машину, Том был в состоянии холодного бешенства и просидел всю дорогу с надутой физиономией, не глядя на нее. Джулия была вполне довольна собой. Они подъехали к театру за две минуты до поднятия занавеса, и когда Джулия появилась в зале, раздались аплодисменты. Прося извинить ее за беспокойство, Джулия пробралась на свое место в середине партера. Слабая улыбка выражала признательность за аплодисменты, которыми публика приветствовала ее на редкость своевременное появление, а опущенные глаза скромно отрицали, что они имеют к ней хоть какое-то отношение.

Поднялся занавес, и после короткой вступительной сценки появились две девушки, одна—очень хорошенькая и молоденькая, другая—не такая молоденькая и некрасивая. Через минуту Джулия повернулась к Тому.

— Которая из них Эвис Крайтон—молодая или та, что постарше?

— Молодая.

— Да, конечно же, ты ведь говорил, что она блондинка.

Джулия взглянула на него. Лицо Тома больше не хмурилось, на губах играла счастливая улыбка. Джулия обратила все внимание на сцену. Эвис Крайтон была очень хороша собой, с этим не приходилось спорить, с прелестными золотистыми волосами, выразительными голубыми глазами и маленьким прямым носиком, но Джулии не нравился такой тип женщин.

«Преснятина,— сказала она себе.— Так, хористочка».

Несколько минут она очень внимательно следила за ее игрой, затем с легким вздохом откинулась в кресле.

«Абсолютно не умеет играть» — таков был ее приговор.

Когда опустился занавес, Том с жадным интересом повернулся к ней. Плохого настроения как не бывало.

— Что ты о ней думаешь?

— Хорошенькая, как картинка.

— Это я и сам знаю. Я спрашиваю о ее игре. Ты согласна со мной — она талантлива?

— Да, у нее есть способности.

— Ты не можешь пойти за кулисы и сказать ей это? Это очень ее подбодрит.

— Я?

Он просто не понимает, о чем просит. Неслыханно! Она, Джулия Лэмберт, пойдет за кулисы поздравлять какую-то третьеразрядную актрисочку!

— Я обещал, что приведу тебя после второго акта. Ну же, Джулия, будь человеком! Это доставит ей такую радость.

(«Дурак! Чертов дурак! Хорошо, я и через это пройду».)

— Конечно, если ты думаешь, что это что-нибудь для нее значит, я — с удовольствием.

После второго акта они прошли через сцену за кулисы, и Том провел Джулию в уборную Эвис Крайтон. Она делила ее с той некрасивой девушкой, с которой появилась в первом акте. Том представил их друг другу. Эвис несколько аффектированно протянула Джулии вялую руку.

— Я так рада познакомиться с вами, мисс Лэмберт. Простите за беспорядок. Что толку было убирать здесь на какой-то один вечер.

Она отнюдь не нервничала. Напротив, казалась достаточно уверенной в себе.

«Прошла огонь и воду. Корыстная. Изображает передо мной полковничью дочь».

— Так любезно с вашей стороны было зайти ко мне. Боюсь, пьеса не очень интересная, но, когда начинаешь, приходится брать, что дают. Я долго колебалась, когда мне прислали ее почитать, но мне понравилась роль.

— Ваше исполнение прелестно,— сказала Джулия.

— Вы очень добры! Конечно, если бы было больше репетиций... Вам мне особенно хотелось показать, что я могу.

— Ну, знаете, я уже не первый год на сцене. Я всегда считала, если у человека есть талант, он проявит его в любых условиях. Вам не кажется?

— Я понимаю, что вы имеете в виду. Конечно, мне не хватает опыта, я не отрицаю, но главное—удачный случай. Я чувствую, что могу играть. Только бы получить роль, которая мне по зубам.

Эвис замолчала, предоставляя Джулии возможность сказать, что в их новой пьесе есть как раз такая роль, но Джулия продолжала с улыбкой молча глядеть на нее. Джулию забавляло, что та обращается с ней как жена сквайра, желающая быть любезной с женой викария.

— Вы давно в театре?—спросила она, наконец.—Странно, что я никогда о вас не слышала.

— Ну, какое-то время я выступала в ревю, но почувствовала, что впустую трачу время. Весь прошлый сезон я была в турне. Мне бы не хотелось снова уезжать из Лондона.

— В Лондоне актеров больше, чем ролей,—сказала Джулия.

— О, без сомнения. Попасть на сцену почти безнадежно, если не имеешь поддержки. Я слышала, вы скоро ставите новую пьесу.

— Да.

Джулия продолжала улыбаться мало сказать сладко—прямо приторно.

— Если бы для меня нашлась там роль, я была бы счастлива сыграть с вами. Мне очень жаль, что мистер Госселин не смог сегодня прийти.

— Я расскажу ему о вас.

— Вы правда думаете, что у меня есть шансы?—Сквозь всю ее самоуверенность, сквозь манеры хозяйки загородного поместья, которую она решила разыграть, чтобы произвести впечатление на Джулию, проглянула жгучая тревога.— Ах, если бы вы замолвили за меня словечко!

Джулия кинула на нее задумчивый взгляд.

— Я следую советам мужа чаще, чем он моим,— улыбнулась она.

Когда она выходила из уборной Эвис Крайтон — той пора уже было переодеваться к третьему акту, — Джулия поймала вопросительный взгляд, брошенный на Тома, в то время как она прощалась. Джулия была уверена, хотя не заметила никакого движения, что он чуть качнул головой. Все чувства ее в тот момент были обострены, и она перевела немой диалог в слова:

«Пойдешь ужинать со мной после спектакля?»

«Нет, будь оно все проклято, не могу. Надо проводить ее домой».

Третий акт Джулия слушала с суровым видом. И вполне естественно — пьеса была серьезная. Когда спектакль окончился и бледный взволнованный автор произнес с бесконечными паузами и запинками несколько положенных слов, Том спросил, где бы ей хотелось поужинать.

— Поедем домой и поговорим,— сказала Джулия.— Если ты голоден, на кухне наверняка что-нибудь найдется поесть.

— Ты имеешь в виду Стэнхоуп-плейс?

— Да.

— Хорошо.

Джулия почувствовала, что у него отлегло от сердца: он боялся, как бы она не поехала к нему. В машине Том молчал, и Джулия знала, почему. Она догадалась, что где-то устраивается вечеринка, на которую идет Эвис Крайтон, и Тому хочется быть там. Когда они подъехали к дому, там было темно и тихо. Слуги уже спали. Джулия предложила, чтобы они спустились вниз, в кухню, и раздобыли себе какой-нибудь еды.

— Я не голоден, но, может быть, ты хочешь есть,— сказал Том.— Выпью виски с содовой и лягу спать. У меня завтра трудный день в конторе.

— Хорошо, принеси мне тоже в гостиную. Я зажгу свет.

Когда Том вошел, Джулия пудрилась и красила губы перед зеркалом и перестала только, когда он налил виски и сел. Тогда она обернулась. Том выглядел таким молодым, таким неправдоподобно прелестным в своем великолепно сшитом костюме, когда сидел вот так, утонув в большом кресле, что вся горечь этого вечера, вся жгучая ревность, снедавшая ее последние дни, внезапно исчезли, растворились в ее страстной любви к нему. Джулия села на ручку кресла и нежно провела рукой по его волосам. Он отпрянул с сердитым жестом.

— Не делай этого,— сказал он.— Терпеть не могу, когда мне треплют волосы.

Словно острый нож вонзился Джулии в сердце. Том еще никогда не говорил с ней таким тоном. Но она беспечно рассмеялась и, взяв со столика бокал с виски, которое он ей налил, села в кресло напротив. Его слова и жест были произвольны, Том даже сам слегка смутился. Он не глядел ей в глаза, лицо снова стало хмурым. Это был решающий момент. Несколько минут они молчали. Каждый удар сердца причинял Джулии боль. Наконец она заставила себя заговорить.

— Скажи мне,— сказала, улыбаясь,— ты спал с Эвис Крайтон?

— Конечно, нет! — вскричал он.

— Почему же? Она хорошенькая.

— Она не из таких. Я ее уважаю.

Лицо Джулии не выдало ни одного из охвативших ее чувств. Никто бы не догадался по ее тону, что речь идет о самом главном для нее — так она могла бы говорить о падении империй и смерти королей.

— Ты знаешь, что бы я сказала? Я бы сказала, что ты в нее безумно влюблен.

Том все еще избегал ее взгляда.

— Ты с ней случайно не помолвлен?

— Нет.

Теперь он глядел на нее, но взгляд его был враждебным.

— Ты просил ее выйти за тебя замуж?

— Как я могу?! Я, последняя дрянь!..

Он говорил с таким пылом, что Джулия даже удивилась.

— О чем, ради всего святого, ты болтаешь?

— Зачем играть в прятки? Как я могу предложить руку приличной девушке? Кто я? Мужчина, живущий на содержании, и — видит бог! — тебе это известно лучше, чем кому-нибудь другому.

— Не болтай глупостей. Столько шума из-за несчастных нескольких подарков.

— Мне не следовало их брать. Я с самого начала знал, что это дурно. Все делалось так постепенно, я и сам не понимал, что происходит, пока не увяз по самую шею. Мне не по карману жизнь, в которую ты меня втравила. Я не знал, как выйти из положения. Пришлось взять деньги у тебя.

— Почему бы и нет? В конце концов я очень богата.

— Будь проклято твое богатство!

Том держал в руке бокал с виски и, поддавшись внезапному порыву, швырнул его в камин. Бокал разбился на мелкие осколки.

— Ну, разбивать счастливый семейный очаг все же не стоит, — улыбнулась Джулия.

— Прости. Я не хотел. — Том снова кинулся в кресло и отвернулся от нее. — Я стыжусь самого себя! Потерял к себе всякое уважение. Думаешь, это приятно?

Джулия промолчала. Она не нашлась, что сказать.

— Казалось вполне естественным помочь тебе, когда ты попал в беду. Для меня это было удовольствие.

— О, ты поступала всегда с таким тактом! Ты уверила меня, что я чуть ли не оказываю тебе услугу, когда разрешаю платить мои долги. Ты облегчила мне возможность стать подлецом.

— Мне очень жаль, если ты так думаешь.

Голос ее зазвучал колко. Джулия начала сердиться.

— Тебе не о чем жалеть. Ты хотела меня, и ты меня купила. Если я оказался настолько низок, что позволил себя купить, тем хуже для меня.

— И давно ты так чувствуешь?

— С самого начала.

— Это неправда.

Джулия знала, что пробудило в нем угрызения совести — любовь к чистой, как он полагал, девушке. Бедный дурачок! Неужели он не понимает, что Эвис Крайтон ляжет в постель хоть со вторым помощником режиссера, если решит, что тот даст ей роль.

— Если ты влюбился в Эвис Крайтон, почему не сказал мне об этом?

Том поглядел на нее жалкими глазами и ничего не ответил.

— Неужели ты боялся, что я помешаю ей принять участие в нашей новой пьесе? Ты бы мог уже достаточно хорошо меня знать и понимать, что я не позволю чувствам мешать делу.

Том не верил своим ушам.

— Что ты имеешь в виду?

— Я думаю, что Эвис — находка. Я собираюсь сказать Майклу, что она нам вполне подойдет.

— О Джулия, ты — молодчина! Я и не представлял, что ты такая замечательная женщина!

— Спросил бы меня, я бы тебе сказала.

Том облегченно вздохнул.

— Моя дорогая! Я так к тебе привязан.

— Я знаю, я тоже. С тобой так весело всюду ходить, и ты так великолепно держишься и одет со вкусом, любая женщина может тобой гордиться. Мне нравилось с тобой спать, и мне казалось, что тебе тоже нравится со мной спать, но надо смотреть фактам в лицо: я никогда не была в тебя влюблена, как и ты — в меня. Я знала, что рано или поздно наша связь должна кончиться. Ты должен был когда-нибудь влюбиться, и это, естественно, положило бы всему конец. И теперь это произошло, да?

— Да.

Джулия сама хотела это услышать от него, но боль, которую причинило ей это короткое слово, была ужасна. Однако она дружелюбно улыбнулась.

— Мы с тобой очень неплохо проводили время, но тебе не кажется, что пора прикрыть лавочку?

Джулия говорила таким естественным, даже шутивым тоном, что никто не заподозрил бы, какая невыносимая мука разрывает ей сердце. Она ждала ответа со страхом, вызывающим дурноту.

— Мне ужасно жаль, Джулия, но я должен вернуть себе чувство самоуважения. — Том взглянул на нее встревоженными глазами. — Ты не сердись на меня?

— За что? За то, что ты перенес свои ветреные чувства с меня на Эвис Крайтон? — Ее глаза заискрились лукавым смехом. — Конечно, нет, милый. В конце концов актерской братии ты не изменил.

— Я так благодарен тебе за все, что ты для меня сделала. Не думай, что нет.

— Полно, малыш, не болтай чепухи. Ничего я не сделала для тебя.— Джулия поднялась.— Ну, теперь тебе и правда пора ложиться. У тебя завтра тяжелый день в конторе, а я устала как собака.

У Тома гора с плеч свалилась. И все же что-то скребло у него на сердце, его озадачивал тон Джулии, такой благожелательный и вместе с тем чуть-чуть иронический; у него было смутное чувство, будто его оставили в дураках. Он подошел к Джулии, чтобы поцеловать ее на ночь. Какую-то долю секунды она колебалась, затем с дружеской улыбкой подставила по очереди обе щеки.

— Ты ведь знаешь дорогу к себе в комнату? — Она прикрыла рот рукой, чтобы скрыть тщательно продуманный зевок.— Ах, я так хочу спать!

Когда Том вышел, Джулия погасила свет и подошла к окну. Осторожно посмотрела наружу через занавески. Хлопнула входная дверь, и на улице появился Том. Оглянулся по сторонам. Джулия догадалась, что он ищет такси. Видимо, его не было, и Том зашагал пешком по направлению к парку. Она знала, что он торопится на вечеринку, где была Эвис Крайтон, чтобы сообщить ей радостные новости. Джулия упала в кресло. Она играла весь вечер, играла, как никогда, и сейчас чувствовала себя совершенно измученной. Слезы — слезы, которых на этот раз никто не видел, — покатились у нее по щекам. Ах, она так несчастна! Лишь одно помогало ей вынести горе — жгучее презрение, которое она не могла не испытывать к глупому мальчишке: предпочел ей третьеразрядную актрисочку, которая даже не представляет, что такое настоящая игра! Это было нелепо. Эвис Крайтон не знает, куда ей девать руки; да что там, она даже ходить по сцене еще не умеет.

«Если бы у меня осталось чувство юмора, я бы смеялась до упаду,— всхлипнула Джулия.— Ничего смешнее я не видела».

Интересно, как поведет себя Том? В конце квартала надо платить за квартиру. Почти вся мебель принадлежит ей. Вряд ли ему захочется возвращаться в свою жалкую комнату на Тэвисток-сквер. Джулия подумала,

что при ее помощи Том завел много новых друзей. Он держался с ними умно, старался быть им полезным; они его не оставят. Но водить Эвис всюду, куда ей захочется, ему будет не так-то легко. Милая крошка весьма меркантильна, Джулия не сомневалась, что она и думать о нем забудет, как только его деньги иссякнут. Надо быть дураком, чтобы попасться на ее удочку. Тоже мне праведница! Любому ясно, что она использовала его, чтобы получить роль в «Сиддонс-театре», и, как только добьется своего, выставит его за дверь. При этой мысли Джулия вздрогнула. Она обещала Тому взять Эвис Крайтон в «Нынешние времена» потому, что это хорошо вписывалось в мизансцену, которую она разыгрывала, но она не придавала никакого значения своему обещанию. У нее всегда был в запасе Майкл, чтобы воспротивиться этому.

— Черт подери, она получит эту роль,—громко произнесла Джулия. Она мстительно засмеялась.— Видит бог, я женщина незлобивая, но всему есть предел.

Будет так приятно отплатить Тому и Эвис Крайтон той же монетой. Джулия продолжала сидеть, не зажигая света; она обдумывала, как это лучше сделать. Однако время от времени она вновь принималась плакать, так как из глубины подсознания всплывали картины, которые были для нее пыткой. Она вспоминала стройное, юное тело Тома, прижавшееся к ней, его жаркую наготу, неповторимый вкус его губ, застенчивую и вместе с тем лукавую улыбку, запах его кудрявых волос.

«Дура, дура, зачем я не промолчала! Пора мне уже его знать. Это — очередное увлечение. Оно бы прошло, и он снова вернулся бы ко мне».

Джулия была полумертвой от усталости. Она поднялась к себе в спальню. Проглотила снотворное. Легла в постель.

Глава двадцать вторая

Но проснулась она рано, в шесть утра, и принялась думать о Томе. Повторила про себя все, что она сказала ему, и все, что он сказал ей. Она была измучена и несчастна. Утешало ее лишь сознание, что она провела всю сцену их разрыва с беззаботной веселостью и Том вряд ли мог догадаться, какую он нанес ей рану.

Весь день Джулия была не в состоянии думать ни о чем другом и сердилась на себя за то, что она не в силах выкинуть Тома из головы. Ей было бы легче, если бы она могла поделиться своим горем с другом. Ах, если бы кто-нибудь ее утешил, сказал, что Том не стоит ее волнений, заверил, что он безобразно с ней поступил. Как правило, Джулия рассказывала о своих неприятностях Чарлзу или Долли. Конечно, Чарлз посочувствует ей от всего сердца, но это будет для него страшным ударом, в конце концов он безумно любит ее вот уже двадцать лет, и просто жестоко говорить ему, что она отдала самому заурядному мальчишке сокровище, за которое он, Чарлз, пожертвовал бы десятью годами жизни. Она была для Чарлза кумиром, бессердечно с ее стороны свергать этот кумир с пьедестала. Мысль о том, что Чарлз Тэмерли, такой аристократичный, такой образованный, такой элегантный, любит ее все с той же преданностью, несомненно, пошла Джулии на пользу. Долли, конечно, была бы в восторге, если бы Джулия доверилась ей. Они редко виделись последнее время, но Джулия знала, что стоит ей позвонить — и Долли мигом прибежит. Долли страшно возмутится и сойдет с ума от ревности, когда Джулия сама чистосердечно ей во всем признается; хотя Долли и так подозревает правду. Но она так обрадуется, что все кончено, она простит. С каким удовольствием они станут костить Тома! Разумеется, признаваться, что Том дал ей отставку, удовольствие маленькое, а Долли не проведешь, она и не подумает поверить, если наврать ей, будто Джулия сама бросила его. Джулии хотелось хорошенько выплакаться, а с какой стати плакать, если ты своими руками разорвала связь. Для Долли это очко в ее пользу, при всем ее сочувствии она всего-навсего человек — вполне естественно, если она порадуется в глубине души, что с Джулии немного сбили спесь. Долли всегда боготворила ее. Джулия не была намерена обнаруживать перед ней свое слабое место.

«Похоже, что единственный, к кому я могу сейчас пойти, — Майкл, — усмехнулась Джулия. — Но, пожалуй, все же не стоит».

Она в точности представила себе, что он скажет:

«Дорогая, право же, это не очень удобно — рассказывать мне такие истории. Черт подери, ты ставишь меня в

крайне неловкое положение. Я лщу себя мыслью, что достаточно широко смотрю на вещи. Пусть я актер, но в конечном счете я джентльмен, и... ну... ну, я хочу сказать... я хочу сказать, это такой дурной тон».

Майкл вернулся домой только днем, и когда он зашел в комнату Джулии, она отдыхала. Он рассказал, как провел уик-энд и с каким результатом сыграл в гольф. Играл он очень хорошо, некоторые из его ударов были просто великолепны, и он описал их во всех подробностях.

— Между прочим, как эта девушка, которую ты ходила смотреть вчера вечером, ничего? Будет из нее толк?

— Ты знаешь, да. Очень хорошенькая. Ты сразу влюбишься.

— Дорогая, в моем возрасте! А играть она может?

— Она, конечно, неопытна. Но мне кажется, в ней что-то есть.

— Что ж, надо ее вызвать и внимательно к ней присмотреться. Как с ней связаться?

— У Тома есть ее адрес.

— Пойду ему позвоню.

Майкл снял трубку и набрал номер Тома. Том был дома, и Майкл записал адрес в блокнот.

Пауза — Том что-то ему говорил.

— Вот оно что, старина... Мне очень жаль это слышать. Да, не повезло.

— В чем дело? — спросила Джулия.

Майкл сделал ей знак молчать.

— Ну, я на тебя нажимать не буду. Не беспокойся. Я уверен, мы сможем прийти к какому-нибудь соглашению, которое тебя устроит. — Майкл прикрыл рукой трубку и обернулся к Джулии. — Звать его к обеду?

— Как хочешь.

— Джулия спрашивает, не придешь ли ты к нам пообедать в воскресенье. Да? Очень жаль. Ну, пока, старина.

Майкл положил трубку.

— У него свидание. Что, молодой негодяй закрутил романчик с этой девицей?

— Уверяет, что нет. Говорит, что уважает ее. У нее отец полковник.

— О, так она леди?

— Одно не обязательно вытекает из другого,— отозвалась Джулия ледяным тоном.— О чем вы с ним толковали?

— Том сказал, что ему снизили жалованье. Тяжелые времена. Хочет отказаться от квартиры.— У Джулии вдруг кольнуло в сердце.— Я сказал ему, пусть не тревожится. Пусть живет бесплатно до лучших времен.

— Не понимаю этого твоего бескорыстия. В конце концов у вас чисто деловое соглашение.

— Ну, ему и без того не повезло, а он еще так молод. И знаешь, он нам полезен: когда не хватает кавалера к обеду, стоит его позвать, и он тут как тут, и так удобно иметь кого-нибудь под рукой, когда хочется поиграть в гольф. Каких-то двадцать пять фунтов в квартал.

— Ты— последний человек на свете, от которого я ждала бы, что он станет раздавать свои деньги направо и налево.

— О, не волнуйся. Что потеряю на одном, выиграю на другом, у разбитого корыта сидеть не буду.

Пришла массажистка и положила конец разговору. Джулия была рада, что приближается время идти в театр,— скорее пройдет этот злосчастный день. Когда она вернется, опять примет снотворное и получит несколько часов забвения. Ей казалось, что через несколько дней худшее останется позади, боль притупится; сейчас самое главное — как-то пережить эти дни. Нужно чем-то отвлечь себя. Вечером она велела дворецкому позвонить Чарлзу Тэмрли, узнать, не пойдет ли он с ней завтра на ленч к Ритцу.

Во время ленча Чарлз был на редкость мил. По его облику, его манерам было видно, что он принадлежит совсем к другому миру, и Джулии вдруг стал омерзителен тот круг, в котором она вращалась из-за Тома весь последний год. Чарлз говорил о политике, об искусстве, о книгах, и на душу Джулии снизошел покой. Том был наваждением, пагубным, как оказалось, но она избавится от него. Ее настроение поднялось. Джулии не хотелось оставаться одной, она знала, что, если пойдет после ленча домой, все равно не уснет, поэтому спросила Чарлза, не сведет ли он ее в Национальную галерею. Она не могла доставить ему большего удовольствия: он

любил говорить о картинах и говорил о них хорошо. Это вернуло их к старым временам, когда Джулия добилась своего первого успеха в Лондоне и они гуляли вместе в парке или бродили по музеям. На следующий день у Джулии был дневной спектакль, на завтра после этого она была куда-то приглашена, но, расставаясь, они с Чарлзом договорились опять встретиться в пятницу и после ленча пойти в галерею Тейта.

Несколько дней спустя Майкл сообщил Джулии, что пригласил для участия в новой пьесе Эвис Крайтон.

— По внешности она прекрасно подходит к роли, в этом нет никаких сомнений, она будет хорошо оттенять тебя. Беру ее на основании твоих слов.

На следующее утро ей позвонили из цокольного этажа и сказали, что на проводе мистер Феннел. Джулии показалось, что у нее остановилось сердце.

— Соедините меня с ним.

— Джулия, я хотел тебе сказать: Майкл пригласил Эвис.

— Да, я знаю.

— Он сказал, что берет ее по твоей рекомендации. Ты молодец!

Джулия—сердце ее теперь билось с частотой ста ударов в минуту—постаралась овладеть своим голосом.

— Ах, не болтай чепухи,—весело засмеялась она.— Я же тебе говорила, что все будет в порядке.

— Я страшно рад, что все уладилось. Она взяла роль, судя о ней только по тому, что я ей рассказывал. Обычно она не соглашается, пока не прочитает всю пьесу.

Хорошо, что он не видел в ту минуту лица Джулии. Ей бы хотелось едко ответить ему, что, когда они приглашают третьеразрядную актрису, они не имеют обыкновения давать ей для ознакомления всю пьесу, но вместо этого она произнесла чуть ли не извиняющимся тоном:

— Ну, я думаю, роль ей понравится. Как по-твоему? Это очень хорошая роль.

— И знаешь, уж Эвис выжмет из нее все что можно. Я уверен, о ней заговорят.

Джулия еле дух перевела.

— Это будет чудесно. Я имею в виду, это поможет ей выплыть на поверхность.

— Да, я тоже ей говорил. Послушай, когда мы встретимся?

— Я тебе позвоню, ладно? Такая досада, у меня куча приглашений на все эти дни...

— Ты ведь не собираешься бросить меня только потому...

Джулия засмеялась низким, хрипловатым смехом, тем самым смехом, который так восхищал зрителей.

— Ну, не будь дурачком. О боже, у меня переливается ванна. До свидания, милый.

Джулия положила трубку. Звук его голоса! Боль в сердце была невыносимой. Сидя на постели, Джулия качалась от муки взад-вперед.

«Что мне делать? Что мне делать?»

Она надеялась, что сумеет справиться с собой, и вот этот короткий дурацкий разговор показал, как она ошибалась—она по-прежнему его любит. Она хочет его. Она тоскует по нем. Она не может без него жить.

«Я никогда себя не переборю»,—простонала Джулия.

И снова единственным прибежищем для нее был театр. По иронии судьбы главная сцена пьесы, в которой она тогда играла, сцена, которой вся пьеса была обязана своим успехом, изображала расставание любовников. Спору нет, расставались они из чувства долга, и в пьесе Джулия приносила свою любовь, свои мечты о счастье и все, что было ей дорого, на алтарь чести. Эта сцена сразу привлекла Джулию. Она всегда была в ней очень трогательна. А сейчас Джулия вложила в нее всю муку души; не у героини ее разбивалось сердце, оно разбивалось на глазах у зрителей у самой Джулии. В жизни она пыталась подавить страсть, которая—она сама это знала—была смешна и недостойна ее, она ожесточала себя, чтобы как можно меньше думать о злосчастном юноше, который вызвал в ней такую бурю; но когда она играла эту сцену, Джулия отпускала вожжи и давала себе волю. Она была в отчаянии от своей потери, и та любовь, которую она изливала на партнера, была страстная, всепоглощающая любовь, которую она по-прежнему испытывала к Тому. Перспектива пустой жизни, перед которой стояла героиня пьесы, это перспектива ее собственной жизни. Джулии казалось, что никогда еще она не играла так великолепно. Хоть это ее утешало.

«Господи, ради того, чтобы так играть, стоит и помучиться».

Никогда еще она до такой степени не вкладывала в роль самое себя.

Однажды вечером, неделю или две спустя, когда Джулия вернулась после конца спектакля в уборную, вымотанная столь бурным проявлением чувств, но торжествующая, так как вызывали ее без конца, она неожиданно обнаружила у себя Майкла.

— Привет. Ты был в зале?

— Да.

— Но ты же был в театре несколько дней назад.

— Да, я смотрю спектакль с начала до конца вот уже четвертый вечер подряд.

Джулия принялась раздеваться. Майкл поднялся с кресла и стал шагать взад-вперед по комнате. Джулия взглянула на него: он хмурился.

— В чем дело?

— Это я и хотел бы узнать.

Джулия вздрогнула. У нее пронеслась мысль, что он опять услышал какие-нибудь разговоры о Томе.

— Куда запропастилась Эви, черт ее подери? — спросила она.

— Я попросил ее выйти. Я хочу тебе кое-что сказать, Джулия. И не устраивай мне истерики. Тебе придется выслушать меня.

У Джулии побежали по спине мурашки.

— Ну ладно, выкладывай.

— До меня кое-что дошло, и я решил сам разобраться, что происходит. Сперва я думал, что это случайность. Вот почему я молчал, пока окончательно не убедился. Что с тобой, Джулия?

— Со мной?

— Да. Почему ты так отвратительно играешь?

— Что? — вот уж чего она не ожидала. В ее глазах засверкали молнии. — Дурак несчастный, да я в жизни не играла лучше!

— Ерунда. Ты играешь чертовски плохо.

Джулия вздохнула с облегчением — слава богу, речь не о Томе, но слова Майкла были так смехотворны, что, как ни была Джулия сердита, она невольно рассмеялась.

— Ты просто идиот, ты сам не понимаешь, что городишь. Чего я не знаю об актерском мастерстве, того и знать не надо. А что знаешь ты? Только то, чему я тебя

научила. Если из тебя и вышел толк, так лишь благодаря мне. В конце концов, чтобы узнать, каков пудинг, надо его отведать: судят по результатам. Ты слышал, сколько раз меня сегодня вызывали? За все время, что идет пьеса, она не имела такого успеха.

— Все это мне известно. Публика — куча ослов. Если ты вопишь, визжишь и размахиваешь руками, всегда найдутся дураки, которые будут орать до хрипоты. Так, как играла ты эти последние дни, играют бродячие актеры. Фальшиво от начала до конца.

— Фальшиво? Но я прочувствовала каждое слово!

— Мне неважно, что ты чувствовала. Ты утрировала, ты переигрывала, не было момента, чтобы ты звучала убедительно. Такой бездарной игры я не видел за всю свою жизнь.

— Свинья чертова! Как ты смеешь так со мной говорить?! Сам ты бездарь!

Взмахнув рукой. Джулия закатила ему звонкую пощечину. Майкл улыбнулся.

— Можешь меня бить, можешь меня ругать, можешь вопить, как сумасшедшая, но факт остается фактом — твоя игра никуда не годится. Я не намерен начинать репетиции «Нынешних времен», пока ты не придешь в форму.

— Тогда найди кого-нибудь, кто исполнит эту роль лучше меня.

— Не болтай глупости, Джулия. Сам я, возможно, и не очень хороший актер и никогда этого о себе не думал, но хорошую игру от плохой отличить могу. И больше того — нет такого, чего бы я не знал о тебе. В субботу я повешу извещение о том, что мы закрываемся, и хочу, чтобы ты сразу же уехала за границу. Мы выпустим «Нынешние времена» осенью.

Спокойный, решительный тон Майкла утихомирил Джулию. Действительно, когда речь шла об ее игре, Майкл знал о ней все.

— Это правда, что я плохо играла?

— Чудовищно.

Джулия задумалась. Она поняла, что произошло. Она не сумела сдержать свои эмоции, она выражала свои чувства. По спине у Джулии опять побежали мурашки. Это было серьезно. Разбитое сердце и прочее — все это прекрасно, но если это отражается на ее искусстве... Нет,

нет, нет. Дело принимает совсем другой оборот! Ее игра важней любого романа на свете.

— Я постараюсь взять себя в руки.

— Что толку насиловать себя? Ты очень устала. Это моя вина. Я давно уже должен был заставить тебя уехать в отпуск. Тебе необходимо как следует отдохнуть.

— А как же театр?

— Если мне не удастся сдать помещение, я возобновлю какую-нибудь из старых пьес, в которых у меня есть роль. Например, «Сердца — козыри». Ты всегда терпеть ее не могла.

— Все говорят, что сезон будет очень неудачный. От старой пьесы многого не дождешься. Если я не буду участвовать, ты ничего не заработаешь.

— Неважно. Главное — твое здоровье.

— О боже! — вскричала Джулия. — Не будь так великодушен. Я не могу этого вынести.

Неожиданно она разразилась бурными рыданиями.

— Любимая!

Майкл обнял ее, усадил на диван, сел рядом. Она отчаянно прильнула к нему.

— Ты так добр ко мне, Майкл. Я ненавижу себя. Я — скотина, я — потаскуха, я — чертова сука, я — дрянь до мозга костей!..

— Вполне возможно, — улыбнулся Майкл, — но факт остается фактом: ты очень хорошая актриса.

— Не представляю, как у тебя хватает на меня терпения. Я так мерзко с тобой обращаюсь. Ты такой замечательный, а я бессердечно принимаю все твои жертвы.

— Полно, милая, не говори вещей, о которых сама будешь жалеть. Смотри, как бы я потом не поставил их тебе в строку.

Нежность Майкла растрогала Джулию, и она горько корила себя за то, что так плохо относилась к нему все эти годы.

— Слава богу, у меня есть ты. Что бы я без тебя делала?

— Тебе не придется быть без меня.

Майкл крепко ее обнимал, и хотя Джулия все еще всхлипывала, ей стало полегче.

— Прости, что я так грубо говорила сейчас с тобой.

— Ну что ты, любимая.

— Ты правда думаешь, что я — плохая актриса?

— Дузе в подметки тебе не годится.

— Ты честно так считаешь? Дай мне твой носовой платок. Ты никогда не видел Сары Бернар?

— Нет.

— Она играла очень аффектированно.

Они посидели немного молча, и постепенно у Джулии стало спокойнее на душе. Сердце ее захлестнула волна любви к Майклу.

— Ты все еще самый красивый мужчина в Англии,— тихонько проговорила она наконец.— Никто меня в этом не переубедит.

Она почувствовала, что он втянул живот и выдвинул подбородок, и на этот раз ей это показалось умильным.

— Ты прав. Я совершенно вымоталась. У меня ужасное настроение. Меня словно выпотрошили. Мне действительно надо уехать, только это и поможет мне.

Глава двадцать третья

Джулия была рада, что решила уехать. Возможность оставить позади терзавшую ее муку помогла ей легче ее переносить. Были повешены афиши о новом спектакле, Майкл набрал актеров для пьесы, которую он решил возобновить, и начал репетиции. Джулии было интересно смотреть из первых рядов партера, как другая актриса репетирует роль, которую раньше играла она сама. С первого дня, как Джулия пошла на сцену, она не могла без глубокого волнения сидеть в темном зале на покрытом чехлом кресле и наблюдать, как актеры постепенно лепят образы своих героев, и сейчас, после стольких лет, она все еще испытывала тот же трепет. Даже просто находиться в театре служило ей успокоением. Глядя на репетиции, она отдыхала и к вечернему спектаклю, когда ей надо было выступать самой, была вполне свежа. Джулия поняла, что все, сказанное Майклом, верно, и взяла себя в руки. Отодвинув свои личные переживания на задний план и став хозяйкой своего персонажа, она опять стала играть с привычной виртуозностью. Ее игра перестала быть средством, при помощи которого она давала выход собственному отчаянию, и вновь сделалась проявлением ее творческого начала. Она добилась прежнего господства над матери-

алом, при помощи которого выражала себя. Это опьяняло Джулию, давало ей ощущение могущества и свободы.

Но победа доставалась Джулии нелегко, и вне театра она была апатична и уныла. Она утратила свою кипучую энергию. Ее обуяло непривычное смирение. У нее появилось чувство, что ее счастливая пора миновала. Она со вздохом говорила себе, что больше никому не нужна. Майкл предложил ей поехать в Вену, да ей и самой хотелось быть поближе к Роджеру, но она покачала головой:

— Я только помешаю ему.

Джулия боялась, что будет сыну в тягость. Он получает удовольствие от своей жизни в Вене, зачем стоять у него на пути. Джулии была невыносима мысль, что он сочтет для себя докучной обязанностью водить ее по разным местам и время от времени приглашать на обед или ленч. Вполне естественно, что ему интереснее с ровесниками-друзьями, которых он там завел.

Джулия решила погостить у матери. Миссис Лэмберт—«мадам де Ламбёр», как упорно называл ее Майкл,—уже много лет жила со своей сестрой, мадам Фаллу, на острове Сен-Мало. Каждый год она проводила несколько дней в Лондоне у Джулии, но в этом году не приехала, так как у нее было неважно со здоровьем. Она была уже стара—ей давно перевалило за семьдесят,—и Джулия знала, что она будет счастлива, если дочь приедет к ней надолго. Кому в Вене нужна английская актриса? Там она будет никто. А в Сен-Мало она окажется важной персоной, и двум старушкам доставит большое удовольствие хвастаться ею перед своими друзьями: «*Ma fille, la plus grande actrice d'Angleterre*»¹ и прочее.

Бедняжки так стары, жить им осталось совсем недолго, а влачат такое тоскливое, монотонное существование. Конечно, ей будет смертельно скучно, но зато какая радость для них! Джулия признавалась себе, что, возможно, на своем блестящем и триумфальном жизненном пути она несколько пренебрегала матерью. Теперь она все ей возместит. Она приложит все усилия, чтобы быть очаровательной. Ее теперешняя нежность к Майклу и не оставляющее ее чувство, что она многие годы была к нему несправедлива, переполняли ее искренним раска-

¹ Моя дочь, величайшая английская актриса (франц.).

янием. Она была эгоистка и деспот, но постарается искупить свою вину. Ей хотелось принести себя в жертву, и она написала матери, что обязательно придет к ней погостить.

Джулия сумела самым естественным образом не встречаться с Томом до последнего дня. Заключительное представление пьесы, в которой она играла, было за день до отъезда. Поезд уходил вечером. Том пришел попрощаться с ней около шести. В доме, кроме Майкла, был Чарлз Тэмерли и несколько друзей, так что ей даже на минуту не грозило остаться с Томом наедине. Джулии оказалось совсем нетрудно разговаривать с ним самым непринужденным тоном. Она боялась, что при взгляде на Тома испытает жгучую муку, но почувствовала в сердце лишь тупую боль. Время и место отъезда Джулии хранились в тайне, другими словами — их представитель, поддерживающий связь с прессой, позвонил всего в несколько газет, и когда Джулия с Майклом прибыли на вокзал, там было лишь с десятков газетчиков, среди них три фоторепортера. Джулия сказала им несколько любезных слов. Майкл добавил к ним еще несколько своих, затем их представитель отвел газетчиков в сторону и коротко сообщил о дальнейших планах Джулии. Тем временем при свете блицвспышек фоторепортеры запечатлевали Джулию и Майкла: идущих по перрону под руку, обменивающихся прощальным поцелуем — и последний кадр: Джулия, наполовину высунувшись из окна вагона, протягивает руку Майклу, который стоит на перроне.

— Ну и надоела мне вся эта публика, — сказала Джулия. — Никуда от них не спрячешься.

— Не представляю, как они пронюхали, что ты уезжаешь.

Небольшая толпа, собравшаяся на платформе, стояла на почтительном расстоянии. Подошел их пресспредставитель и сказал Майклу, что репортерам хватит материала на целый столбец. Поезд тронулся.

Джулия отказалась взять с собой Эви. У нее было чувство, что ей надо полностью оторваться от старой жизни, если она хочет вновь обрести былую безмятежность. Эви будет не ко двору в этом французском доме. Мадам Фаллу, тетушка Кэрри, выйдя за француза совсем молоденькой девушкой, сейчас, в старости, с большей легкостью говорила по-французски, чем по-английски.

Она вдовела уже много лет, ее единственный сын был убит во время войны. Она жила в высоком узком каменном доме на вершине холма, и когда вы переступали его порог, вас охватывал покой прошлого столетия. За полвека здесь ничто не изменилось. Гостиная была обставлена гарнитуром в стиле Людовика XV, стоявшим в чехлах, которые снимались раз в месяц, чтобы почистить шелковую обивку. Хрустальная люстра была обернута кисеей — не дай бог мухи засидят. Перед камином стоял экран из искусно расположенных между двумя стеклами павлиньих перьев. Хотя комнатой никогда не пользовались, тетушка Кэрри каждый день собственноручно вытирала в ней пыль. В столовой стены были обшиты деревянными панелями, мебель тоже стояла в чехлах. На буфете красовались серебряная *èpergne*¹, серебряный кофейник, серебряный заварочный чайник и серебряный поднос. Тетушка Кэрри и мать Джулии, миссис Лэмберт, проводили дни в длинной узкой комнате с мебелью в стиле ампир. На стенах в овальных рамах висели писанные маслом портреты тетушки Кэрри, ее покойного мужа, родителей ее мужа, и пастель, изображающая их убитого сына ребенком. Здесь стояли их шкатулки для рукоделия, здесь они читали газеты — католическую «Ла Круа», «Ревю де Де-Монд» и местную ежедневную газету, здесь играли в домино по вечерам, кроме среды, когда к обеду приходили *Abbe*² и *Commandant La Garde*³, отставной офицер, здесь же они и ели, но когда приехала Джулия, они решили, что будет удобнее есть в столовой.

Тетушка Кэрри все еще носила траур по мужу и сыну. Лишь в редкие, особенно теплые дни она снимала небольшую черную шаль, которую сама себе вывязывала тамбуром. Миссис Лэмберт тоже ходила в черном, но когда к обеду приходили господин аббат и майор, она накидывала на плечи белую кружевную шаль, подаренную ей Джулией. После обеда они вчетвером играли в *plafond*⁴ со ставкой два су за сотню. Миссис Лэмберт, много лет прожившая на Джерси и до сих пор ездившая

¹ Ваза для середины обеденного стола, обычно из нескольких отделений, ярусов (франц.).

² Аббат (франц.).

³ Майор гвардии (франц.).

⁴ Плафон — карточная игра (франц.).

в Лондон, знала все о большом свете и говорила, что теперь многие играют в бридж-контракт, но майор возражал, что это годится для американцев, его же вполне удовлетворяет *plafond*, а аббат добавлял, что он лично очень сожалеет о висте, который совсем забыли в последнее время. Ничего не поделаешь, люди редко бывают довольны тем, что они имеют, им подавай все новое да новое, и так без конца. Каждое рождество Джулия посылала матери и тетке дорогие подарки, но они никогда не пускали их в ход. Они с гордостью показывали подарки приятельницам — все эти чудесные вещи, которые прибывали из Лондона, — а затем заворачивали в папиросную бумагу и прятали в шкаф. Джулия предложила матери автомобиль, но та отказалась. Они так редко и недалеко выходили, что вполне могли проделать свой путь пешком; шофер станет воровать бензин; если он будет питаться вне дома, это их разорит, если в доме — выведет из душевного равновесия Аннет. Аннет была их кухарка, экономка и горничная. Она прослужила у тетушки Кэрри тридцать пять лет. Черную работу делала ее племянница Анжель; но та была еще молода, ей не исполнилось и сорока, вряд ли удобно, чтобы в доме все время находился мужчина.

Джулию поместили в ту же комнату, где она жила девочкой, когда ее прислали к тетушке Кэрри на воспитание. Это вызвало в ней какое-то особенно сентиментальное настроение; по правде говоря, несколько минут она была на грани слез. Но Джулия очень легко втянулась в их образ жизни. Выйдя замуж, тетушка Кэрри приняла католическую веру, и когда миссис Лэмберт потеряла мужа и навсегда поселилась в Сен-Мало, она под влиянием аббата в надлежащее время сделала то же. Обе старые дамы были очень набожны. Каждое утро они ходили к мессе, а по воскресениям — еще и к торжественной мессе. Но, кроме церкви, они не бывали почти нигде. Изредка наносили визит какой-нибудь соседке, которая лишилась одного из своих близких или, наоборот, отмечала помолвку внучки. Они читали одни и те же газеты и один и тот же журнал, без конца что-то шили с благотворительной целью, играли в домино и слушали подаренный им Джулией радиоприемник. Хотя аббат и майор обедали у них раз в неделю много лет подряд, каждую среду старушки приходили в страшное волнение. Майор, с присущей военным прямоотой, как они полагали, мог, не

колеблясь, сказать, если бы какое-нибудь блюдо пришлось ему не по вкусу, и даже аббат, хоть и настоящий святой, имел свои склонности и предубеждения. Например, ему очень нравилась камбала, но он не желал ее есть, если она не была поджарена на сливочном масле, а при тех ценах на масло, которые стояли после войны, это сущее разорение. Утром в среду тетушка Кэрри брала ключи от винного погреба и собственноручно вынимала бутылку кларета. То, что в ней оставалось после гостей, они с сестрой приканчивали к концу недели.

Старушки принялись опекать Джулию. Пичкали ее ячменным отваром и страшно волновались, как бы ее где-нибудь не продуло. По правде говоря, значительная часть их жизни была занята тем, что они избегали сквозняков. Они заставляли Джулию лежать на диване и заботливо следили за тем, чтобы она прикрывала при этом ноги. Они урезонивали Джулию по поводу ее одежды. Эти шелковые чулки такие тонкие, что сквозь них все видно! А что она носит под платьем? Тетушка Кэрри не удивится, если узнает, что ничего, кроме сорочки.

— Она и сорочки не носит,— сказала миссис Лэмберт.

— Что же тогда на ней надето?

— Трусики,— сказала Джулия.

— И, вероятно, *soutien-gorge*¹.

— Конечно, нет,— колко возразила Джулия.

— Значит, племянница, ты совсем голая под платьем?

— Практически — да.

— *C'est de la folie*²,— воскликнула тетушка Кэрри.

— *C'est vraiment pas raisonnable, ma fille*³,— согласилась миссис Лэмберт.

— И хоть я не ханжа,— добавила тетушка Кэрри,— я должна сказать, что это просто неприлично.

Джулия продемонстрировала им все свои наряды, и в первую же среду после ее прибытия начался спор по поводу того, что ей надеть к обеду. Тетушка Кэрри и миссис Лэмберт чуть не поссорились друг с другом. Миссис Лэмберт считала, что раз Джулия привезла

¹ Бюстгальтер (франц.).

² Ну, это безумие (франц.).

³ Это действительно неразумно, дочь моя (франц.).

вечерние платья, ей и следует надеть одно из них, а тетушка Кэрри полагала это вовсе не обязательным.

— Когда я приезжала к тебе в Джерси и к обеду приходили джентльмены, мне помнится, ты надевала нарядный капот.

— О да, это прекрасно бы подошло.

Обе старые дамы с надеждой посмотрели на Джулию. Она покачала головой.

— Я скорее надену саван.

Тетушка Кэрри носила по средам черное платье с высоким воротничком, сшитое из тяжелого шелка, и нитку гагата, а миссис Лэмберт — такое же платье, с белой кружевной шалью и стразовым ожерельем. Майор, низенький крепыш с лицом как печеное яблоко, седыми волосами, подстриженными *en brosse*¹, и внушительными усами, выкрашенными в иссиня-черный цвет, был весьма галантен и, хотя ему давно перевалило за семьдесят, во время обеда пожимал Джулии под столом ножку, а когда они выходили из столовой, воспользовался случаем ущипнуть ее за зад.

«Секс эпил», — пробормотала про себя Джулия, с величественным видом следуя за старыми дамами в гостиную.

Они носились с Джулией не потому, что она была великая актриса, а потому, что ей нездоровилось и она нуждалась в отдыхе. К своему великому изумлению, Джулия довольно скоро обнаружила, что они не только не гордятся ее известностью, а, напротив, стесняются. Куда там хвалиться ею перед знакомыми — они даже не звали ее с собой, когда наносили визиты. Тетушка Кэрри привезла из Англии обычай пить в пять часов чай и твердо его придерживалась. Однажды, вскоре после приезда Джулии, они пригласили к чаю нескольких дам, и за завтраком миссис Лэмберт обратилась к Джулии со следующими словами:

— Дорогая моя, у нас в Сен-Мало есть несколько очень хороших приятельниц, но, понятно, они все еще смотрят на нас, как на чужаков, хотя мы прожили здесь уже столько лет, и нам не хотелось бы делать ничего, что показалось бы им эксцентричным. Естественно, мы не просим тебя лгать, но, если это не будет абсолютно необходимо, тетя Кэрри считает, тебе лучше не говорить, что ты — актриса.

¹ Бобриком (франц.).

Джулия была поражена, но чувство юмора восторжествовало, и она чуть не расхохоталась.

— Если кто-нибудь из наших приятельниц спросит, кто твой муж, сказать, что он занимается коммерцией, не значит погрешить против истины?

— Ни в коей мере.— Джулия позволила себе улыбнуться.

— Мы, конечно, знаем, что английские актрисы отличаются от французских,— добавила тетушка Кэрри от доброго сердца.— Почти у каждой французской актрисы обязательно есть любовник.

— Боже, боже,— сказала Джулия.

Лондонская жизнь—со всеми треволнениями, триумфами и горестями—отодвинулась далеко-далеко. Скоро Джулия обнаружила, что может с полной безмятежностью думать о Томе и своей любви к нему. Она поняла, что ранено было больше ее самолюбие, чем сердце. Каждый день в Сен-Мало был похож на другой. Единственное, что заставляло ее вспоминать Лондон, были прибывающие по понедельникам воскресные газеты. Джулия забирала всю пачку и читала их до самого вечера. В этот день у нее было немного тревожно на душе. Она уходила на крепостные валы и глядела на острова, усеивающие залив. Серые облака заставляли ее тосковать по серому небу Англии. Но к утру вторника она вновь погружалась в покой провинциальной жизни. Джулия много читала: романы, английские и французские, которые покупала в местном магазине, и своего любимого Верлена. В его стихах была нежная меланхолия, которая, казалось ей, подходит к этому серому бретонскому городку, печальным старым каменным домам и тихим, крутым, извилистым улочкам. Мирные привычки двух старых дам, рутина их бедной событиями жизни, безмятежная болтовня возбуждали в Джулии жалость. Ничего не случалось с ними за долгие годы, ничего уже не случится до самой их смерти, и как мало значило их существование! Самое странное, что они вполне им удовлетворены. Им была неведома злоба, неведома зависть. Они достигли свободы от общественных уз, которую Джулия ощущала, стоя у рампы и кланяясь в ответ на аплодисменты восторженной публики. Иногда ей казалось, что эта свобода—самое драгоценное из всего, чем она обладает. В ней она была рождена гордостью, в них—смирением. В обоих случа-

ях она давала один неоценимый результат: независимость духа, только у них она была более надежной. От Майкла приходили раз в неделю короткие деловые письма, где он сообщал, каковы сборы и как он готовится к постановке следующей пьесы, но Чарлз Тэмерли писал каждый день. Он передавал Джулии все светские новости, рассказывал своим очаровательным культурным языком о картинах, которые видел, и книгах, которые прочел. Его письма были полны нежных иносказаний и шутиливой эрудиции. Он философствовал без педантизма. Он писал, что обожает ее. Это были самые прекрасные любовные письма, какие Джулия получала в жизни, и ради будущих поколений она решила их сохранить. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь их опубликует, и люди станут ходить в Национальную галерею, чтобы посмотреть на ее портрет, тот, что написал Мак-Эвой¹, и со вздохом вспоминать о романтической любовной истории, героиней которой была она.

Чарлз удивительно поддержал ее в первые две недели ее утраты, Джулия не представляла, что бы она делала без него. Он всегда был к ее услугам. Его беседа, унося Джулию совсем в иной мир, успокаивала ей нервы. Душа Джулии была замарана грязью, и она отмывалась в чистом источнике его духа. Какой покой снисходил на нее, когда она бродила с Чарлзом по картинным галереям... У Джулии имелись все основания быть ему благодарной. Она думала о долгих годах его поклонения. Он ждал ее вот уже двадцать с лишним лет. Она была не очень-то к нему благосклонна. Обладание ею дало бы ему такое счастье, а от нее, право, ничего не убудет. Почему она так долго отказывала ему? Возможно, потому, что он был беспредельно ей предан, его самозабвенная любовь — так почтительна и робка; возможно, только потому, что ей хотелось сохранить в его уме тот идеал, который сам он создал столько лет назад. Право, это глупо, а она — просто эгоистка. Джулию охватил возвышенный восторг при мелькнувшей у нее внезапно мысли, что теперь наконец она сможет вознаградить его за всю его нежность, бескорыстие и постоянство. Джулией все еще владело вызванное в ней добротой Майкла чувство, что она его недостойна, все еще мучало раскаяние за то, что все эти годы она была нетерпима по отношению к нему. Желание пожертво-

¹ Мак-Эвой (1878—1927) — английский портретист.

вать собой, с которым она покидала Англию, по-прежнему горело в ее груди ярким пламенем. Джулия подумала, что Чарлз — отличный объект для его осуществления. Она засмеялась, ласково и участливо, представив, как он будет поражен, когда поймет ее намерение; в первый миг он просто не поверит себе, но потом — какое блаженство, какой экстаз! Любовь, которую он сдерживал столько лет, прорвет все преграды и затопит ее мощным потоком. Сердце Джулии переполнилось при мысли о его бесконечной благодарности. И все же ему будет трудно поверить, что фортуна наконец улыбнулась ему; когда все останется позади и она будет лежать в его объятиях, она прижмется к нему и нежно шепнет: «Стоило ждать столько лет?» — «Ты, как Елена, дала мне бессмертье поцелуем»¹. Разве неудивительно даровать своему ближнему столько счастья?

«Я напишу ему перед самым отъездом из Сен-Мало», — решила Джулия.

Весна перешла в лето, и к концу июля наступило время ехать в Париж, надо было позаботиться о своих туалетах. Майкл хотел открыть сезон в первых числах сентября, и репетиции новой пьесы должны были начаться в августе. Джулия взяла пьесу с собой в Сен-Мало, намереваясь на досуге выучить роль, но та обстановка, в которой она жила, сделала это невозможным. Времени у нее было предостаточно, но в этом сером, суровом, хотя и уютном городке, в постоянном общении с двумя старыми дамами, интересы которых ограничивались приходскими и домашними делами, пьеса, как ни была хороша, не могла увлечь Джулию.

«Мне давно пора возвращаться, — сказала она себе. — Что будет, если я в результате решу, что театр не стоит всего того шума, который вокруг него поднимают?»

Джулия распрощалась с матерью и тетушкой Кэрри. Они были очень к ней добры, но она подозревала, что они не будут слишком сожалеть об ее отъезде, который позволит им вернуться к привычной жизни. К тому же они успокоятся, что им больше не будет грозить эксцентричная выходка, которую всегда можно ожидать от актрисы, не надо будет больше опасаться неблагоприятных комментариев дам Сен-Мало.

¹ Перефразированная строка из «Трагической истории доктора Фауста» К. Марло: «Елена, дай бессмертье поцелуем».

Джулия приехала в Париж днем и, когда ее провели в апартаменты в отеле «Ритц», удовлетворенно вздохнула. Какое удовольствие опять окунуться в роскошь! Несколько друзей прислали ей цветы. Джулия приняла ванну и переделалась. Чарли Деверил, всегда шивший для нее и уже давно ставший ее другом, зашел, чтобы повести ее обедать в «Буа».

— Я чудесно провела время,— сказала ему Джулия,— и, конечно, мой приезд доставил большую радость старым дамам, но у меня появилось ощущение, что еще один день— и я умру со скуки.

Поездка по Елисейским полям в этот прелестный вечер наполнила ее восторгом. Как приятно было вдыхать запах бензина! Автомобили, такси, звуки клаксонов, каштаны, уличные огни, толпа, снующая по тротуарам и сидящая за столиками у кафе,— что может быть чудесней? А когда они вошли в «Шато де Мадрид», где было так весело, так цивилизованно и так дорого, как приятно было снова увидеть элегантных, умело подкрашенных женщин и загорелых мужчин в смокингах.

— Я чувствую себя, как королева, вернувшаяся из изгнания.

Джулия провела в Париже несколько счастливых дней, выбирая себе туалеты и делая первые примерки. Она наслаждалась каждой минутой. Однако она была женщина с характером и когда принимала решение, выполняла его. Прежде чем уехать в Лондон, она послала Чарлзу коротенькое письмо. Он был в Гудвуде и Каузе и должен был задержаться на сутки в Лондоне по пути в Зальцбург.

«Чарлз, милый.

Как замечательно, что я скоро вас снова увижу. В среду я буду свободна. Пообедаем вместе. Вы все еще любите меня?

Ваша Джулия».

Опуская конверт в ящик, она пробормотала: «Bis dat qui cito dat»¹. Это была избитая латинская цитата, которую всегда произносил Майкл, когда в ответ на просьбу о пожертвовании на благотворительные цели посылал с обратной же почтой ровно половину той суммы, которую от него ждали.

¹ «Кто скоро даст, тот дважды даст» (лат.)—изречение Сенеки.

Утром в среду Джулия сделала массаж и завилась. Она никак не могла решить¹, какое платье надеть к обеду: из пестрой органди, очень нарядное и весеннее, приводящее на ум боттичеллевскую «Весну»¹, или одно из белых атласных, подчеркивающих ее стройную девичью фигуру и очень целомудренное, но пока принимала ванну, остановилась на белом атласном: оно должно было послужить тонким намеком на то, что приносимая ею жертва была своего рода искуплением за ее длительную неблагодарность к Майклу. Джулия не надела никаких драгоценностей, кроме нитки жемчуга и бриллиантового браслета; на том же пальце, где было обручальное кольцо, сверкал бриллиантовый перстень. Ей хотелось напудриться пудрой цвета загара, это молодило ее и очень ей шло, но, вспомнив, что ей предстоит, она отказалась от этой мысли. Не могла же она, как актер, чернящийся с ног до головы, чтобы играть Отелло, покрыть всю себя искусственным заггаром. Как всегда пунктуальная, Джулия спустилась в холл в ту самую минуту, как швейцар распахнул входную дверь перед Чарлзом Тэмерли. Джулия приветствовала его взглядом, в который вложила нежность, лукавое очарование и интимность. Чарлз носил теперь свои поредевшие волосы довольно длинно, с годами его интеллигентное, аристократическое лицо несколько обвисло, он немного горбился, и костюм выглядел так, словно его давно не касался утюг.

«В странном мире мы живем,—подумала Джулия.—Актеры из кожи вон лезут, чтобы быть похожими на джентльменов, а джентльмены делают все возможное, чтобы выглядеть, как актеры».

Не было сомнения, что она произвела надлежащий эффект. Чарлз подкинул ей великолепную реплику, как раз то, что нужно для начала.

— Почему вы так прелестны сегодня? — спросил он.

— Потому что я предвкушаю наше с вами свидание.

Своими прекрасными выразительными глазами Джулия глубоко заглянула в глаза Чарлза. Слегка приоткрыла губы, как на портрете леди Гамильтон кис-

¹ Боттичелли, Сандро (1445—1510)—флорентийский живописец.

ти Ромни¹,—это придавало ей такой обольстительный вид.

Обедали они в «Савое». Метрдотель дал им столик у прохода, так что их было превосходно видно. Хотя предполагалось, что все порядочные люди за городом, ресторан был переполнен. Джулия улыбалась и кивала направо и налево, приветствуя друзей. У Чарлза было что ей рассказать, Джулия слушала его с неослабным интересом.

— Вы самый лучший собеседник на свете, Чарлз,—сказала она ему.

Пришли они в ресторан поздно, обедали не торопясь, и к тому времени, как Чарлз кончал бренди, начали собираться посетители к ужину.

— Господи боже мой, неужели уже окончились спектакли?—сказал он, взглянув на часы.—Как быстро летит время, когда я с вами. Как вы думаете, они уже хотят избавиться от нас?

— Не имею ни малейшего желания ложиться спать.

— Майкл, вероятно, скоро будет дома?

— Вероятно.

— Почему бы нам не поехать ко мне и не поболтать еще?

Вот это называется понять намек!

— С удовольствием,—ответила Джулия, вкладывая в свою интонацию стыдливый румянец, который, как она чувствовала, так хорошо выглядел бы сейчас на ее щеках.

Они сели в машину и поехали на Хилл-стрит. Чарлз провел Джулию к себе в кабинет. Он находился на первом этаже. Двустворчатые, до самого пола окна, выходящие в крошечный садик, были распахнуты настежь. Они сели на диван.

— Погасите верхний свет и впустите в комнату ночь,—сказала Джулия. И процитировала строчку из «Венецианского купца»:— «В такую ночь, когда лобзал деревья нежный ветер...»

Чарлз выключил все лампы, кроме одной, затененной абажуром, и когда он снова сел, Джулия прильнула к нему. Он обнял ее за талию, она положила ему голову на плечо.

¹ Ромни, Джордж (1734—1802)—английский портретист.

— Божественно,— прошептала она.

— Я страшно тосковал по вас все это время.

— Успели набедокурить?

— Да. Купил рисунок Энгра¹ и заплатил за него кучу денег. Обязательно покажу его вам, прежде чем вы уйдете.

— Не забудьте. Где вы его повесили?

С первой минуты, как они вошли в дом, Джулия задавала себе вопрос: где должно произойти оболение — в кабинете или наверху.

— У себя в спальне,— ответил Чарлз.

«И правда, там будет куда удобнее»,— подумала Джулия.

Она засмеялась в кулак при мысли, что бедняга Чарлз не додумался ни до чего лучшего, чтобы завлечь ее к себе в постель. Ну и глупы эти мужчины! Слишком уж они решительны, вот в чем беда. Сердце Джулии пронзила мгновенная боль—она вспомнила о Томе. К черту Тома! Чарлз такой душа, и она не отступит от своего решения наградить его за многолетнюю преданность.

— Вы были мне замечательным другом, Чарлз,— сказала она своим грудным, чуть хриловатым голосом. Она повернулась к нему так, что ее лицо оказалось рядом с его лицом, губы—опять, как у леди Гамильтон,— чуть приоткрыты.— Боюсь, я не всегда была достаточно с вами ласкова.

Джулия выглядела такой пленительно податливой—спелый персик, который нельзя не сорвать,— что поцелуй казался неизбежным. Тогда она обволакивает его шею своими белыми нежными руками и... Но Чарлз только улыбнулся.

— Не говорите так. Вы всегда были божественны. («Он боится, бедный ягненок!»)

— Меня никто никогда не любил так, как вы. Он слегка прижал ее к себе.

— Я и сейчас люблю вас. Вы сами это знаете. Вы—единственная женщина в моей жизни.

Поскольку Чарлз не принял предложенные ему губы, Джулия чуть отвернулась. Посмотрела задумчиво на

¹ Энгр, Жан Огюст Доминик (1780—1867)— французский художник-классицист.

электрический камин. Жаль, что он не зажжен. В этой мизансцене камин был бы очень кстати.

— Наша жизнь могла бы быть совсем иной, если бы мы тогда сбежали вдвоем из Лондона. Хей-хоу!

Джулия никогда не знала, что означает это восклицание, хотя его очень часто употребляли в пьесах, но, произнесенное со вздохом, оно всегда звучало очень печально.

— Англия потеряла бы свою величайшую актрису. Теперь я понимаю, каким я был ужасным эгоистом, когда предлагал вам покинуть театр.

— Успех еще не все. Я иногда спрашиваю себя, уж не упустила ли я величайшую ценность ради того, чтобы удовлетворить свое глупое мелкое тщеславие. В конце концов любовь—единственное, ради чего стоит жить.

Джулия снова посмотрела на него. Глаза ее, полные неги, были прекрасны, как никогда.

— Знаете, если бы я снова была молода, я думаю, я сказала бы: увези меня.

Ее рука скользнула вниз, нашла его руку. Чарлз грациозно ее пожал.

— О, дорогая...

— Я так часто думаю об этой вилле нашей мечты! Оливковые деревья, олеандры и лазурное море. Мир и покой. Порой меня ужасают монотонность, скука и вульгарность моей жизни. Вы предлагали мне Красоту. Я знаю, теперь уже поздно; я сама не понимала тогда, как вы мне дороги, я и не помышляла, что с годами вы будете все больше и больше значить для меня.

— Блаженство слышать это от вас, любимая. Это вознаграждает меня за многое.

— Я бы сделала для вас все на свете. Я была эгоистка. Я погубила вашу жизнь, ибо сама не ведала, что творю.

Низкий голос Джулии дрожал, она откинула голову, ее шея вздымалась, как белая колонна. Декольте открывало—и изрядно—ее маленькую упругую грудь; Джулия прижала к ней руки.

— Вы не должны так говорить, вы не должны так думать,—мягко ответил Чарлз.—Вы всегда были само совершенство. Другой вас мне не надо. Ах, дорогая, жизнь так коротка, любовь так преходяща. Трагедия в том, что иногда мы достигаем желаемого. Когда я оглядываюсь сейчас назад, я вижу, что вы были мудрее, чем я. «Какие мифы из тенистых рощ...» Вы помните, как

там дальше? «Ты, юноша прекрасный, никогда не бросишь петь, как лавр не сбросит листьев; любовник смелый, ты не стиснешь в страсти возлюбленной своей—но не беда: она неувядаема, и счастье с тобой, пока ты вечен и неистов».

(«Ну и идиотство!»)

— Какие прелестные строки,—вдохнула Джулия.—Возможно, вы и правы. Хей-хоу!

Чарлз продолжал читать наизусть. Эту его привычку Джулия всегда находила несколько утомительной.

— «Ах, счастлива весенняя листва, которая не знает увяданья, и счастлив тот, чья музыка нова и так же бесконечна, как свиданье»¹.

Но сейчас это давало ей возможность подумать. Джулия уставилась немигающим взором на незажженный камин, словно замороженная совершенной красотой стихов. Чарлз просто ничего не понял, это видно невооруженным глазом. И чему тут удивляться. Она была глуха к его страстным мольбам в течение двадцати лет, вполне естественно, если он решил, что все его упования тщетны. Все равно что покорить Эверест. Если бы эти стойкие альпинисты, так долго и безуспешно пытавшиеся добраться до его вершины, вдруг обнаруживали пологую лестницу, которая туда ведет, они бы просто не поверили своим глазам; они бы подумали, что перед ними ловушка. Джулия почувствовала, что надо поставить точки хоть над несколькими «i». Она должна, так сказать, подать руку помощи усталому пилигриму.

— Уже поздно,—мягко сказала она.—Покажите мне новый рисунок, и я поеду домой.

Чарлз встал, и она протянула ему обе руки, чтобы он помог ей подняться с дивана. Они пошли наверх. Пижама и халат Чарлза лежали аккуратно сложенные на стуле.

— Как вы, холостяки, хорошо устрояетесь. Такая уютная, симпатичная спальня.

Чарлз снял оправленный в рамку рисунок со стены и поднес его к свету, чтобы Джулия могла лучше его рассмотреть. Это был сделанный карандашом портрет полноватой женщины в чепчике и платье с низким вырезом и рукавами с буфами. Женщина показалась Джулии некрасивой, платье—смешным.

¹ «Ода греческой вазе» английского поэта-романтика Джона Китса (1795—1821). Пер. О. Чухонцева.

— Восхитительно! — вскричала она.

— Я знал, что вам понравится. Хороший рисунок, верно?

— Поразительный.

Чарлз повесил картинку обратно на гвоздь. Когда он снова обернулся к Джулии, она стояла у кровати, как черкешенка-полонянка, которую главный евнух привел на обозрение великому визирю; в ее позе была прелесть нерешительность — казалось, она вот-вот отпрянет назад — и вместе с тем ожидание непорочной девы, стоящей на пороге своего королевства. Джулия испустила томный вздох.

— Дорогой, это был такой замечательный вечер. Я еще никогда не чувствовала себя такой близкой вам.

Джулия медленно подняла руки из-за спины и с тем поразительным чувством ритма, которое было даровано ей природой, протянула их вперед, вверх ладонями, словно держала невидимое взору роскошное блюдо, а на блюде — свое, отданное ему сердце. Ее прекрасные глаза были нежны и покорны, на губах порхала робкая улыбка: она сдавалась.

Джулия увидела, что лицо Чарлза застыло. Теперь-то он наконец понял, и еще как!

(«Боже, я ему не нужна! Это все было блефом».)

В первый момент это открытие совершенно ее потрясло.

(«Господи, как мне из этого выпутаться? Какой идиоткой я, верно, выгляжу!»)

Джулия чуть не потеряла равновесие, и душевное и физическое. Надо было что-то придумать, да побыстрей. Чарлз стоял перед ней, глядя на нее с плохо скрытым замешательством. Джулия была в панике. Что ей делать с этими держащими роскошное блюдо руками? Видит бог, они невелики, но сейчас они казались ей окороками, висящими на крюке в колбасной лавке. И что ему сказать? С каждой секундой ее поза и вся ситуация становились все более невыносимы.

(«Дрянь, паршивая дрянь! Так дурачить меня все эти годы!»)

Джулия приняла единственно возможное решение. Она сохранила свою позу. Считая про себя, чтобы не спешить, она соединила ладони и, сцепив пальцы и откинув голову назад, очень медленно подняла руки к

шее. Эта поза была так же прелестна, как и прежняя, и она подсказала Джулии нужные слова. Ее глубокий полновзвучный голос слегка дрожал от избытка чувств.

— Когда я думаю о нашем прошлом, я радуюсь, что нам не в чем себя упрекнуть. Горечь жизни не в том, что мы смертны, а в том, что умирает любовь. («Что-то в этом роде произносилось в какой-то пьесе»). Если бы мы стали любовниками, я бы вам давным-давно надоела, и что бы нам теперь осталось? Только сожалеть о своей слабости. Повторите эту строчку из Шелли — «...она неувядаема...», — которую вы мне только что читали.

— Из Китса, — поправил он, — «...она неувядаема, и счастье...»

— Вот, вот. И дальше.

Ей надо было выиграть время.

— «...с тобой, пока ты вечен и неистов».

Джулия раскинула руки в стороны широким жестом и встряхнула кудрями. То самое, что ей надо.

— И это правда. Какие бы мы были глупцы, если бы, поддавшись минутному безумию, лишили себя величайшего счастья, которое принесла нам дружба. Нам нечего стыдиться. Мы чисты. Мы можем ходить с поднятой головой и всему свету честно глядеть в глаза.

Джулия нутром чувствовала, что эта реплика — под занавес, и, подкрепляя слова жестом, высоко держа голову, отступила к двери и распахнула ее настежь.

Сила ее таланта была так велика, что она сохранила настроение мизансцены до нижней ступеньки лестницы. Там она сбросила его и, обернувшись к Чарлзу, идущему за ней по пятам, сказала донельзя просто:

— Мою накидку.

— Машина ждет, — сказал он, закутывая ее. — Я отвечаю вас домой.

— Нет, разрешите мне уехать одной. Я хочу запечатлеть этот вечер в своем сердце. Поцелуйте меня на прощание.

Она протянула ему губы. Чарлз поцеловал их, Джулия, подавив рыдание, вырвалась от него и, одним движением растворив входную дверь, побежала к ожидавшему ее автомобилю.

Когда она добралась домой и очутилась в собственной спальне, она издала хриплый вопль облегчения.

«Дура чертова. Так попасться. Слава богу, я благополучно выпуталась. Он такой осел, что, верно, даже не додумался, куда я клоню». Но его застывшая улыбка все же приводила ее в смущение. «Ну, может, он и заподозрил, что тут нечисто, точно-то он знать не мог, а уж потом и совсем убедился, что ошибся. Господи, что я несла! Но все сошло в наилучшем виде, он все проглотил. Хорошо, что я вовремя спохватилась. Еще минута, и я бы скинула платье. Тут было бы не до шуток».

Джулия захихикала. Конечно, ситуация была унижительная, она оказалась в дурацком положении, но если у тебя есть хоть какое-то чувство юмора, во всем найдешь свою смешную сторону. Как жаль, что никому нельзя ничего рассказать! Пусть даже она выставила бы себя на посмеище, это такая великолепная история. Смириться она не могла с одним — с тем, что поверила всей этой комедии о нетленной любви, которую он разыгрывал столько лет. Конечно, это была только поза, ему нравилось выступать в роли верного воздыхателя, и, по-видимому, меньше всего он хотел, чтобы его верность была вознаграждена.

«Обвел меня вокруг пальца, втер очки, замазал глаза!»

Но тут Джулии пришла в голову мысль, стершая улыбку с ее лица. Если мужчина отвергает авансы, которые делает ему женщина, она склонна приходить к одному из двух заключений: или он гомосексуалист, или импотент. Джулия задумчиво зажгла сигарету. Она спрашивала себя, не использовал ли ее Чарлз как ширму для прикрытия иных склонностей. Она покачала головой. Нет, уж на это кто-нибудь ей да намекнул бы. После войны в обществе практически не говорили ни о чем другом. А вот импотентом он вполне мог быть. Она подсчитала его годы. Бедный Чарлз! Джулия снова улыбнулась. Если таково положение вещей, не она, а он оказался в неловком и даже смешном положении. Он, должно быть, до смерти перепугался, бедный ягненок. Ясно, это не из тех вещей, в которых мужчина охотно признается женщине, особенно если он безумно в нее влюблен. Чем больше Джулия об этом думала, тем более вероятным казалось ей это объяснение. Она почувствовала к Чарлзу прямо-таки материнскую жалость.

«Я знаю, что я сделаю,— сказала она, начиная раздеваться.— Я пошлю ему завтра большой букет белых лилий».

Глава двадцать пятая

На следующее утро Джулия некоторое время пролежала в постели, прежде чем позвонить. Она думала. Вспоминая свое вчерашнее приключение, она похвалила себя за то, что проявила такое присутствие духа. Сказать, что она вырвала победу из рук поражения, было бы преувеличением, но как стратегический маневр отход ее был мастерским. При всем том у нее на сердце кошки скребли. Могло быть еще одно объяснение странному поведению Чарлза. Вполне возможно, что она не соблазнила его просто потому, что больше не была соблазнительна. Джулия вдруг подумала об этом ночью. Тогда она тут же выбросила эту мысль из головы: нет, это невероятно; однако приходилось признать, что утром она показалась куда серьезней. Джулия позвонила. Поскольку Майкл часто заходил к ней в комнату, когда она завтракала в постели, Эви, раздвинув занавески, обычно подавала ей зеркальце, гребень, помаду и пудреницу. Сегодня, вместо того чтобы провести гребнем по волосам и почти не глядя обмахнуть лицо пуховкой, Джулия не пожалела труда. Она тщательно подкрасила губы, подрумянилась, привела в порядок волосы.

— Говоря бесстрастно и беспристрастно,— сказала она, все еще глядя в зеркало, в то время как Эви ставила на постель поднос с завтраком,— как по-твоему, Эви, я — красивая женщина?

— Я должна знать, как это мне отойдется, прежде чем отвечать на такой вопрос.

— Ах ты, чертовка! — вскричала Джулия.

— Ну, знаете, ведь красавицей вас не назовешь.

— Ни одна великая актриса не была красавицей.

— Ну, как вы вырядитесь в пух и прах, вроде как вчера вечером, да еще свет будет сзади, так и похуже вас найдутся.

(«Черта лысого это мне вчера помогло!»)

— Мне вот что интересно: если я вдруг очень захочу закрутить роман с мужчиной, как ты думаешь, я смогу?

— Зная, что такое мужчины, я бы не удивилась. А с кем вы сейчас хотите закрутить?

— Ни с кем. Я говорила вообще.

Эви шмыгнула носом.

— Не шмыгай носом. Если у тебя насморк, высморкайся.

Джулия медленно ела крутое яйцо. Ее голова была занята одной мыслью. Она посмотрела на Эви. Старое пугало, но — кто знает?..

— А к тебе когда-нибудь приставали на улице, Эви?

— Ко мне? Пусть бы попробовали!

— Сказать по правде, я бы тоже хотела, чтобы кто-нибудь попробовал. Женщины вечно рассказывают, как мужчины преследуют их на улице, а если они останавливаются у витрины, подходят и стараются перехватить их взгляд. Иногда от них очень трудно отделаться.

— Мерзость, вот как я это называю.

— Ну, не знаю, по-моему, скорее лестно. И понимаешь, странно, но меня никто никогда не преследовал. Не помню, чтобы кто-нибудь когда-нибудь пытался ко мне приставать.

— Прогуляйтесь как-нибудь вечером по Эдвардс-роуд. Не отвяжетесь.

— И что мне тогда делать?

— Позвать полисмена, — мрачно ответила Эви.

— Я знаю одну девушку, так она стояла у витрины шляпного магазина на Бонд-стрит, и к ней подошел мужчина и спросил, не хочется ли ей купить шляпку. Очень, ответила она, и они вошли внутрь. Она выбрала себе шляпку, дала продавцу свое имя и адрес, и мужчина тут же расплатился наличными. Тогда она сказала ему: «Большое спасибо», — и вышла, пока он дожидался сдачи.

— Это она вам так сказала. — Эви скептически шмыгнула носом, затем с удивлением поглядела на Джулию. — К чему вы все это клоните?

— Да ни к чему. Просто я подумала, почему это мужчины ко мне не пристают. Вроде бы «секс эпила» во мне достаточно.

А вдруг его и правда нет? Джулия решила проверить это на опыте.

В тот же день, после того как она отдохнула, Джулия встала, нарядилась немного сильнее, чем обычно, и, не

позвав Эви, надела платье не совсем уж простое, но и не дорогое на вид и широкополую шляпу из красной соломки.

«Я не хочу быть похожей на уличную девку,— сказала она себе, глядя в зеркало.— С другой стороны, слишком respectable вид тоже на подойдет».

Она на цыпочках спустилась по лестнице, чтобы ее никто не услышал, тихонько прикрыла за собой входную дверь. Джулия немного нервничала, но волнение это было ей приятно; она чувствовала: то, что она затеяла, не лезет ни в какие ворота. Джулия пересекла Конотсквер и вышла на Эдвард-роуд. Было около пяти часов дня. Сплошной лентой тянулись автобусы, такси, грузовики, мимо них, с риском для жизни, прокладывали себе путь велосипедисты. Тротуары были забиты людьми. Джулия медленно двинулась в северном направлении. Сперва она шла, глядя прямо перед собой, не оборачиваясь ни направо, ни налево, но вскоре поняла, что так она ничего не добьется. Надо смотреть на людей, если хочешь, чтобы они смотрели на тебя. Два или три раза, увидев, что перед витриной стоит несколько человек, Джулия тоже останавливалась, но никто из них не обращал на нее никакого внимания. Она двигалась дальше. Прохожие обгоняли ее, шли навстречу. Казалось, все они куда-то спешат. Ее никто не замечал. Увидев одинокого мужчину, приближающегося к ней, Джулия смело посмотрела ему прямо в глаза, но он прошел мимо с каменным лицом. Может быть, у нее слишком суровое выражение? На губах Джулии загорелась легкая улыбка. Двое или трое мужчин подумали, что она улыбается им, и быстро отвели глаза. Джулия оглянулась на одного из них, он тоже оглянулся, но тут же ускорил шаг. Джулия почувствовала себя уязвленной и решила не глазеть больше по сторонам. Она шла все дальше и дальше. Ей часто приходилось слышать, что лондонская толпа самая приличная в мире, но в данном случае — это уж чересчур!

«На улицах Парижа, Рима или Берлина такое было бы невозможно», — подумала Джулия.

Джулия решила дойти до Мэрилибоун-роуд и повернуть обратно. Слишком унижительно возвращаться домой, когда на тебя ни разу никто даже не взглянул. Джулия шла так медленно, что прохожие иногда ее задевали. Это вывело ее из себя.

«Надо было пойти на Оксфорд-стрит,—подумала она.— Эта дура Эви! На Эдвард-роуд толку не будет».

Внезапно сердце Джулии торжествующе подпрыгнуло. Она поймала взгляд какого-то молодого человека, и ей показалось, что она заметила в нем огонек. Молодой человек прошел мимо, и она с трудом удержалась, чтобы не оглянуться. Джулия вздрогнула, так как через минуту он ее обогнал— на этот раз он уставился прямо на нее. Джулия скромно опустила ресницы. Он отстал на несколько шагов, но она чувствовала, что он следует за ней по пятам. Все в порядке. Джулия остановилась перед витриной, молодой человек— тоже. Теперь она знала, как себя вести. Джулия сделала вид, будто всецело поглощена товарами, выставленными на витрине, но, прежде чем двинуться дальше, сверкнула на него своими слегка улыбающимися глазами. Молодой человек был невысок, в сером костюме и мягкой коричневой шляпе. Клерк или продавец скорее всего. Если бы Джулии предложили выбрать мужчину, который бы к ней пристал, она вряд ли остановила бы свой выбор на этом человеке, но что поделаешь, на безрыбье и рак рыба— пристать к ней собирался именно он. Джулия забыла про усталость. Ну, а что теперь? Конечно, она не собирается заходить слишком далеко, но все же любопытно, какой будет его следующий шаг. Что он ей скажет? Джулия была в приятном возбуждении, у нее прямо камень с души свалился. Она медленно шла вперед, молодой человек— за ней. Джулия остановилась у витрины, на этот раз он остановился прямо позади нее. Ее сердце неистово билось. Похоже, что ее ждет настоящее приключение.

«Куда он меня поведет? В гостиницу? Вряд ли, это ему не по карману. Скорее, в кино. Вот будет забавно!»

Джулия посмотрела ему прямо в лицо, ее губы слегка улыбались. Молодой человек снял шляпу.

— Мисс Лэмберт, если не ошибаюсь?

Она так и подскочила. Сказать по правде, она была захвачена врасплох и так растерялась, что даже не подумала это отрицать.

— Мне показалось, что я сразу узнал вас, вот почему я вернулся, чтобы убедиться наверняка. Я сказал себе: я буду не я, если это не Джулия Лэмберт. А тут мне совсем подвезло— вы остановились у витрины, и я смог вас разглядеть. Я почему только сомневался? Что встретил

вас тут, на Эдвард-роуд. Не очень-то подходящее место для чистой публики. Вы понимаете, что я хочу сказать?

Дело было еще более нечисто, чем он думал. Однако, раз он догадался, кто она, это теперь не имеет значения. И как она не подумала, что рано или поздно ее обязательно узнают. Судя по манере говорить, молодой человек — кокни; у него было бледное одутловатое лицо, но Джулия улыбнулась ему веселой дружеской улыбкой. Пусть не подумает, что она задирает нос.

— Простите, что я заговорил с вами, когда мы незнакомы и вообще, но я не мог упустить эту возможность. Не дадите ли вы мне ваш автограф?

У Джулии перехватило дыхание. И ради этого он следовал за ней целых десять минут! Быть не может. Это просто предлог, чтобы с ней заговорить. Что ж, она ему подыграет.

— С удовольствием. Но не могу же я писать на улице. Люди начнут пялить глаза.

— Верно. Слушайте, я как раз шел пить чай. В кондитерскую Лайонза, на следующем углу. Почему бы вам тоже не зайти выпить чашечку чаю?

Что ж, все идет как по маслу. Когда они выпьют чай, он, вероятно, пригласит ее в кино.

— Хорошо, — сказала Джулия.

Они двинулись по улице и вскоре подошли к кондитерской, сели за столик.

— Две чашки чаю, пожалуйста, мисс, — сказал молодой человек официантке и обратился к Джулии: — Может быть, съедите чего-нибудь? — И когда Джулия отказалась, добавил: — И одну ячменную лепешку, мисс.

Теперь Джулия могла как следует его рассмотреть. Низкий и коренастый, с прилизанными черными волосами, он был, однако, недурен, особенно хороши ей показались глаза; однако зубы у него были плохие, а бледная кожа придавала лицу нездоровый вид. Держался он довольно развязно, что не особенно-то нравилось Джулии, но как она разумно рассудила, вряд ли можно ожидать особой скромности от человека, который пристает к женщинам на Эдвард-роуд.

— Давайте прежде всего напишем этот автограф, э? «Не отходя от кассы» — вот мой девиз.

Он вынул из кармана перо, а из пухлого бумажника карточку.

— Карточка нашей фирмы,— сказал он.— Ничего, сойдет.

Джулии казалось глупым, что он все еще продолжает ломать комедию, но она благодушно расписалась на обратной стороне карточки.

— Вы собираете автографы? — спросила она с легкой усмешкой.

— Я? Нет. Чушь это, я так считаю. Моя невеста собирает. У нее уже есть Чарли Чаплин, Дуглас Фербенкс и бог весть кто еще. Хотите посмотреть на ее фото?

Молодой человек извлек из бумажника моментальный снимок девицы довольно дерзкого вида, показывающей все свои зубы в ослепительной кинематографической улыбке.

— Хорошенькая,— сказала Джулия.

— Еще бы! Идем с ней сегодня в кино. Вот удивится, когда я ей покажу ваш автограф. Как я вас узнал на улице, так перво-наперво сказал себе: умру, а достану для Гвен автограф Джулии Лэмберт. Мы с ней поженимся в августе, когда у меня будет отпуск, поедem на остров Уайт на медовый месяц. Ну и повеселюсь я сегодня. Она ни в жисть не поверит, что мы с вами пили чай, а тут я покажу ей автограф. Ясно?

Джулия вежливо слушала его, но улыбка с ее лица исчезла.

— Боюсь, мне пора идти,— сказала она.— Я и так задержалась.

— У меня и самого немного времени. Раз я иду на свидание, хочу уйти из магазина минута в минуту.

Официантка принесла чек вместе с чаем, и, вставая из-за стола, Джулия вынула шиллинг.

— Это еще к чему? Неужто думаете, я дам вам платить? Я вас пригласил.

— Очень любезно с вашей стороны.

— Но я вам вот что скажу: разрешите мне привести мою невесту как-нибудь к вам в уборную. Просто поздоровайтесь с ней, и все. Она с ума сойдет от радости. Будет рассказывать всем встречным и поперечным до самой смерти.

За последние минуты обращение Джулии делалось все холодней, а сейчас, хотя все еще любезное, казалось чуть ли не высокомерным.

— Я очень сожалею, но мы не пускаем посторонних людей за кулисы.

— Простите. Вы не в обиде, что я спросил, нет? Я хочу сказать, я ведь не для себя.

— Ничуть. Я вполне вас понимаю.

Джулия подозвала такси, медленно ползущее вдоль обочины, и подала руку молодому человеку.

— До свидания, мисс Лэмберт. Всего хорошего, желаю успеха и все такое. Спасибо за автограф.

Джулия сидела в уголке такси вне себя от ярости.

«Вульгарная скотина. Пропади он пропадом вместе со своей... невестой! Какая наглость! Спросить, нельзя ли привести ее за кулисы, и к кому? Ко мне!»

Дома она сразу поднялась к себе в комнату. Сорвала шляпу с головы и в сердцах швырнула ее на кровать. Подошла стремительно к туалетному столику и пристально посмотрела на себя в зеркало.

— Старуха, старуха,— пробормотала она.— С какой стороны ни посмотришь: у меня абсолютно нет «секс эпила». Невероятно, да? Противоречит здравому смыслу? Но как же иначе все это объяснить? Я вышагиваю из конца в конец всю Эдвард-роуд, и одетая, как надо для роли, и хоть бы один мужчина на меня взглянул, кроме этого мерзкого продавца, которому понадобился для его барышни мой автограф. Это нелепо. Бесполье ублюдки! Не представляю, куда катится Англия. Британская империя, ха!

Последние слова были произнесены с таким презрением, которое могло бы испепелить весь кабинет министров. Джулия начала подкреплять слова жестами.

— Смешно предполагать, что я достигла бы своего положения, если бы во мне не было «секс эпила». Почему люди приходят в театр смотреть на актрису? Да потому, что им хотелось бы с ней переспать. Думаете, публика ходила бы три месяца подряд на эту дрянную пьесу, да так, что в зале яблоку упасть негде, если бы у меня не было «секс эпила»? Что такое, в конце концов, этот «секс эпил»?

Джулия приостановилась, задумчиво посмотрела на свое отражение.

«Бесспорно, я могу изобразить «секс эпил». Я могу изобразить все».

Джулия принялась перебирать в памяти актрис, которые пользовались скандальной славой секс-бомб.

Особенно хорошо она помнила одну из них, Лидию Мейн, которую всегда ангажировали на ампула обольстительниц-«вамп». Актриса она была неважная, но в определенных ролях производила огромный эффект. Джулия всегда прекрасно подражала, и вот она принялась копировать Лидию Мейн. Веки ее опустились, сладострастно прикрыли глаза, тело под платьем начало извиваться волнообразным движением. Взгляд стал соблазнительно бесстыдным, как у Лидии, змеившиеся жесты — манящими. Она заговорила, как и та, слегка растягивая слова, отчего каждая ее фраза казалась чуть непристойной.

— Ах, мой дорогой, я так часто слышу подобные вещи. Я не хочу вносить раздор в вашу семью. Почему мужчины не могут оставить меня в покое?

Это была безжалостная карикатура. Джулия не знала пощады. Ей стало так смешно, что она расхохоталась.

«Что ж, одно не вызывает сомнений: может, у меня и нет «секс эпила», но кто увидел бы, как я копирую Лидию Мейн, не нашел бы его потом и у нее».

У Джулии стало куда легче на душе.

Глава двадцать шестая

Начались репетиции и отвлекли растревоженные мысли Джулии в другую сторону. Старая пьеса, которую Майкл поставил, когда Джулия уезжала за границу, давала весьма средние сборы, но он предпочитал, чем закрывать театр, не снимать ее с репертуара, пока не будет готов их новый спектакль «Нынешние времена». Поскольку сам он два раза в неделю выступал днем, Майкл решил, что они не будут репетировать до упаду. У них был впереди целый месяц.

Хотя Джулия уже много лет играла в театре, репетиции по-прежнему приводили ее в радостный трепет, а на первой репетиции она так волновалась, что чуть не заболела. Это было началом нового приключения. Она в это время совсем не ощущала себя ведущей актрисой театра, ей было тревожно и весело, словно она вновь молоденькая девушка, исполняющая свою первую крошечную роль. И вместе с тем она испытывала восхитительное чувство собственного могущества. Ей вновь предоставлялась возможность его проявить.

В одиннадцать часов Джулия поднялась на сцену. Актеры празднично стояли кто где. Джулия расцеловалась с теми актрисами и пожала руки тем актерам, с которыми была знакома, Майкл учтиво представил ей тех, кого она не знала. Джулия сердечно приветствовала Эвис Крайтон. Сказала ей, какая она хорошенькая и как ей, Джулии, нравится ее новая шляпка, поведала о тех костюмах, которые выбрала для нее в Париже.

— Вы видели Тома в последнее время?

— Нет. Он уехал в отпуск.

— Ах, так? Славный мальчик, правда?

— Душка.

Обе женщины улыбнулись, глядя в глаза друг другу, Джулия внимательно следила за Эвис, когда та читала свою роль, вслушивалась в ее интонации. Она хмуро улыбнулась. Конечно, другого она и не ждала. Эвис была из тех актрис, которые абсолютно уверены в себе с первой репетиции. Она и не догадывалась, что ей предстоит. Том теперь ничего не значил для Джулии, но с Эвис она собиралась свести счеты и сведет. Потаскушка!

Пьеса была современной версией «Второй миссис Тэнкори»¹, но поскольку у нового поколения были и нравы другие, автор сделал из нее комедию. В нее были введены некоторые старые персонажи, во втором акте появлялся, уже дряхлым стариком, Обри Тэнкори. После смерти Пола он женился в третий раз. Миссис Кортельон решила вознаградить его за злосчастный второй брак; сама она превратилась к этому времени в сварливую и высокомерную старую даму. Элин, его дочь, и Хью Ардейл решили забыть прошлое — кто старое помянет, тому глаз вон — и заключили супружеский союз; казалось, трагическая смерть Пола стерла воспоминания об его экстрабрачных отношениях. Хью в этой пьесе был бригадный генерал в отставке, который играл в гольф и сетовал по поводу упадка Британской империи («Черт побери, сэр, была бы на то моя воля, я поставил бы всех этих проклятых социалистов к стенке»), а Элин, теперь уже далеко не молодая, превратилась из жеманной барышни в веселую, современную, злую на язык женщину. Персонажа, которого играл Майкл, звали Роберт Хамфри. Подобно Обри из пьесы Пинеро, он был

¹ Пьеса Пинеро, Артура Уинга (1855—1934), английского драматурга.

вдовец и жил с единственной дочерью. В течение многих лет он был консулом в Китае; разбогатев, вышел в отставку и поселился в поместье, оставленном ему в наследство, неподалеку от того места, где по-прежнему жили Тэнкори. Его дочь Онор (на роль которой как раз и взяли Эвис Крайтон) изучала медицину с целью практиковать в Индии. Растеряв всех старых друзей за много лет пребывания за границей и не заведя новых, Роберт Хамфри знакомится в Лондоне с известной дамой полусвета по имени миссис Мартен. Это была женщина того же пошиба, что Пола, но менее разборчивая; она «работала» летний и зимний сезон в Канне, а в промежутках жила в квартирке на Элбе-марл-стрит, где принимала офицеров бригады его величества. Она хорошо играла в бридж и еще лучше в гольф. Роль прекрасно подходила Джулии.

Автор почти не отходил от старого текста. Онор объявляет мистеру Хамфри, что отказывается от медицинской карьеры, так как она только что обручилась с молодым гвардейцем, сыном Элин, и до своего замужества собирается жить с отцом. В некотором замешательстве тот открывает ей свое намерение жениться на миссис Мартен. Онор принимает сообщение с полным спокойствием.

«Ты, конечно, знаешь, что она шлюха?» — хладнокровно произносит она.

Отец, еще более смущенный, говорит о несчастной жизни миссис Мартен и о том, как он хочет вознаградить ее за страдания.

«Ах, не болтай чепухи,— отвечает ему дочь,— это великолепная работа, если только можешь ее иметь».

Сын Элин был одним из бесчисленных любовников миссис Мартен, точно так же, как муж Элин был в свое время любовником Полы Тэнкори. Когда Роберт Хамфри привозит свою новую жену в загородное поместье и этот факт обнаруживается, они решают, что следует сообщить обо всем Онор. К их ужасу, она и бровью не повела: ей уже было об этом известно.

«Я была страшно рада, когда узнала,— сказала она своей мачехе.— Понимаете, душечка, теперь вы можете сказать мне, хорош ли он в постели».

Это была лучшая мизансцена Эвис Крайтон: она продолжалась целых десять минут, и Майкл с самого начала понял, как она важна и эффектна. Холодная,

сухая, миловидная Эвис — то самое, что здесь нужно. Но после нескольких репетиций Майкл стал подозревать, что ничего, кроме этого, она дать не сможет и решил посоветоваться с Джулией.

— Как, по-твоему, Эвис?

— Трудно сказать. Еще слишком рано.

— Я расстроен из-за нее. Ты говорила, она актриса. Пока я этого не вижу.

— Да это готовая роль. Ее просто невозможно испортить.

— Ты знаешь не хуже меня, что нет такой вещи, как готовая роль. Как бы роль ни была хороша, ее надо сыграть, из нее надо извлечь все, что в ней заложено. Может быть, лучше расстаться с Эвис, пока не поздно, и взять вместо нее кого-нибудь другого?

— Это не так просто. Я все же думаю, надо дать ей возможность себя показать.

— Она так неуклюжа, ее жесты так бессмысленны!

Джулия задумалась. У нее были все основания желать, чтобы Эвис осталась в числе исполнителей пьесы. Она уже достаточно ее изучила и была уверена, что если ее уволить, она скажет Тому, будто Джулия сделала это из ревности. Том ее любит и поверит каждому ее слову. Еще, чего доброго, подумает, что Джулия преднамеренно нанесла ей оскорбление в отместку за его уход. Нет, нет, Эвис должна остаться. Она должна исполнить свою роль и провалить ее. Том должен собственными глазами увидеть, какая она никудышная актриса. Они с Эвис думали, будто пьеса поможет ей «выплыть на поверхность». Дураки! Пьеса утопит ее.

— Ты же умелый режиссер, Майкл. Я уверена, ты сумеешь ее натаскать, если постарайшься.

— В том-то и беда: она совсем не слушает указаний. Я объясняю ей, как надо произнести реплику, и — нате вам! — она опять говорит ее на свой лад. Ты не поверишь, но иногда у меня создается впечатление, что она воображает, будто все знает лучше меня.

— Ты ее нервируешь. Когда ты велишь ей что-нибудь сделать, она пугается и просто перестает соображать.

— Господи, да с кем легче работать, чем со мной! Я ни разу не сказал ей ни одного резкого слова.

Джулия нежно улыбнулась ему.

— И ты хочешь уверить меня, будто не догадываешься, что с ней?

— Нет. А что?

Майкл глядел на Джулию недоумевающим взглядом.

— Брось притворяться, милый. Она по уши в тебя влюблена.

— В меня? Да я думал, она помолвлена с Томом. Глупости. Твои вечные фантазии.

— Но это же видно невооруженным глазом. В конце концов, она не первая жертва твоей роковой красоты и, думаю, не последняя.

— Видит бог, я не хочу подкладывать свинью бедняге Тому.

— Ты-то в чем виноват?

— Так как же, по-твоему, мне поступить?

— Будь с ней ласков. Она еще так молода, бедняжка. Ей нужна рука помощи. Если бы ты прошел несколько раз роль только с ней одной, я уверена, вы сотворили бы чудеса. Почему бы тебе как-нибудь не пригласить ее к ленчу и не поговорить наедине?

Джулия увидела, что глаза Майкла чуть заблестели, на губах появилась тень улыбки: он обдумывал ее слова.

— Конечно, главное — чтобы пьеса прошла как можно лучше.

— Я понимаю, что для тебя это обуза, но ради пьесы... Право, стоит того.

— Ты же знаешь, Джулия, я ни за что на свете не хотел бы тебя расстраивать. Я бы с удовольствием выставил ее и взял кого-нибудь другого.

— Я думаю, это будет большой ошибкой. Я убеждена, что, если ты поработаешь с Эвис как следует, она прекрасно сыграет.

Майкл прошелся раза два взад-вперед по комнате. Казалось, он рассматривает вопрос со всех сторон.

— Что ж, моя работа в том и заключается, чтобы заставить каждого исполнителя играть как можно лучше. И в каждом конкретном случае приходится искать самый правильный подход.

Майкл выдвинул подбородок и втянул живот. Выпрямил спину. Джулия поняла, что Эвис Крайтон останется в труппе. На следующий день на репетиции Майкл отвел Эвис в сторонку и долго с ней говорил. По его манере Джулия в точности знала, что именно, и,

поглядывая искоса, вскоре заметила, как Эвис Крайтон улыбнулась и кивнула головой. Майкл пригласил ее на ленч. Джулия, успокоенная, углубилась в собственную роль.

Глава двадцать седьмая

Репетиции шли уже две недели, когда Роджер вернулся из Австрии. Он провел несколько недель на Коринфском озере и собирался пробыть в Лондоне день-два, а затем ехать к друзьям в Шотландию. Майкл должен был пообедать пораньше и уйти в театр, и встречала Роджера одна Джулия. Когда она одевалась, Эви, шмыгая, по обыкновению, носом, заметила, что уж она так старается, так старается выглядеть покрасивее, словно идет на свидание. Джулии хотелось, чтобы Роджер ею гордился, и действительно, она выглядела молоденькой и хорошенькой в своем летнем платье, когда ходила взад-вперед по платформе. Можно было подумать — и напрасно, — что она не замечает взглядов, обращенных на нее. Роджер, проведя месяц на солнце, сильно загорел, но от прыщей так и не избавился и казался еще более худым, чем когда уезжал из Лондона на Новый год. Джулия обняла его с преувеличенной нежностью. Он слегка улыбнулся.

Обежать они должны были вдвоем. Джулия спросила, куда он хочет потом пойти: в театр или в кино. Роджер ответил, что предпочел бы остаться дома.

— Чудесно, — сказала она, — посидим с тобой, поболтаем.

У нее и правда был один предмет на уме, который Майкл просил ее обсудить с Роджером, если предоставится такая возможность. Совсем скоро он поступит в Кембридж, пора уже было решать, чем он хочет заняться. Майкл боялся, как бы он не потратил там попусту время, а потом пошел служить в маклерскую контору или еще, чего доброго, на сцену. Считая, что Джулия сумеет сделать это тактичнее и что она имеет больше влияния на сына, Майкл настоятельно просил ее нарисовать Роджеру, какие блестящие возможности откроются перед ним, если он пойдет на дипломатическую службу или займется юриспруденцией. Джулия была уверена, что на протяжении двух-трех часов разговора сумеет

навести Роджера на эту важную тему. За обедом она пыталась расспросить сына о Вене, но он отмалчивался.

— Ну что я делал? То, что делают все остальные. Осматривал достопримечательности и усердно изучал немецкий. Шатался по пивным. Часто бывал в опере.

Джулия спросила себя, не было ли у него там интрижек.

— Во всяком случае, невесты ты себе там не завел,— сказала она, надеясь вызвать его на откровенность.

Роджер кинул на нее задумчивый, чуть иронический взгляд. Можно было подумать, что он разгадал, что у нее на уме. Странно: родной сын, а ей с ним не по себе.

— Нет,— ответил он,— я был слишком занят, чтобы тратить время на такие вещи.

— Ты, верно, перебивал во всех театрах.

— Ходил раза два-три.

— Ничего не видел, что могло бы нам пригодиться?

— Знаешь, я совершенно забыл об этом.

Слова его могли показаться весьма нелюбезными, если бы не сопровождалась улыбкой, а улыбка у него была премилая. Джулия снова с удивлением подумала, как это вышло, что сын унаследовал так мало от красоты отца и очарования матери. Рыжие волосы были хороши, но светлые ресницы лишали лицо выразительности. Один бог знает, как он умудрился при таких родителях иметь неуклюжую, даже грузноватую фигуру. Ему исполнилось восемнадцать, пора бы уже ему стать стройнее. Он казался немного апатичным, в нем не было ни капли ее бьющей через край энергии и искрящейся жизнерадостности. Джулия представляла, как живо и ярко она рассказывала бы о пребывании в Вене, проведи она там полгода. Даже из поездки на Сен-Мало к матери и тетушке Кэрри она состряпала такую историю, что люди плакали от хохота. Они говорили, что ее рассказ ничуть не хуже любой пьесы, а сама Джулия скромно полагала, что он куда лучше большинства из них. Она расписала свое пребывание в Сен-Мало Роджеру. Он слушал ее со своей медленной спокойной улыбкой, но у Джулии возникло неловкое чувство, что ему все это кажется не таким забавным, как ей. Джулия вздохнула про себя. Бедный ягненочек, у него, видно, совсем нет чувства юмора. Роджер сделал какое-то замечание, позволившее Джулии заговорить о «Нынешних временах». Она изложила ему сюжет пьесы, объяснила, как она мыслит себе

свою роль, обрисовала занятых в ней актеров и декорации. В конце обеда ей вдруг пришло в голову, что она говорит только о своем. Как это вышло? У нее zakралось подозрение, что Роджер сознательно направил разговор в эту сторону, чтобы избежать расспросов о себе и собственных делах. Нет, вряд ли. Он для этого недостаточно умен. Позднее, когда они сидели в гостиной, курили и слушали радио, Джулия умудрилась наконец задать ему самым естественным тоном приготовленный заранее вопрос:

— Ты уже решил, кем ты хочешь быть?

— Нет еще. А что—это спешно?

— Ты знаешь, я сама в этом ничего не смыслю, но твой отец говорит, что если ты намерен быть адвокатом, тебе надо изучать в Кембридже юриспруденцию. С другой стороны, если тебе больше по вкусу дипломатическая служба, надо браться за современные языки.

Роджер так долго глядел на нее с привычной спокойной задумчивостью, что Джулии с трудом удалось удержать на лице шутливое, беспечное и вместе с тем нежное выражение.

— Если бы я верил в бога, я стал бы священником,—сказал наконец Роджер.

— Священником?

Джулия подумала, что она ослышалась. Ее охватило острое чувство неловкости. Но его ответ проник в сознание, и, словно при вспышке молнии, она увидела сына кардиналом, в окружении подобострастных прелатов, обитающих в роскошном палаццо в Риме, где по стенам висят великолепные картины, затем—в образе святого в митре и вышитой золотом ризе, милостиво раздающим хлеб беднякам. Она увидела себя в парчовом платье и жемчужном ожерелье. Мать Борджиа.

— Это годилось для шестнадцатого века,—сказала она.—Ты немножко опоздал.

— Да. Ты права.

— Не представляю, как это пришло тебе в голову.—Роджер не ответил. Джулия была вынуждена продолжать сама.—Ты счастлив?

— Вполне,—улыбнулся он.

— Чего же ты хочешь?

Он опять поглядел на мать приводящим ее в замешательство взглядом. Трудно было сказать, говорит ли он

на самом деле всерьез, потому что в глазах у него поблескивали огоньки.

— Правды.

— Что, ради всего святого, ты имеешь в виду?

— Понимаешь, я прожил всю жизнь в атмосфере притворства. Я хочу добраться до истинной сути вещей. Вам с отцом не вредит тот воздух, которым вы дышите, вы и не знаете другого и думаете, что это воздух райских кущ. Я в нем задыхаюсь.

Джулия внимательно слушала, стараясь понять, о чем говорит сын.

— Мы — актеры, преуспевающие актеры, вот почему мы смогли окружить тебя роскошью с первого дня твоей жизни. Тебе хватит одной руки, чтобы сосчитать по пальцам, сколько актеров отправляли своих детей в Итон.

— Я благодарен вам за все, что вы для меня сделали.

— Тогда за что же ты нас упрекаешь?

— Я не упрекаю вас. Вы дали мне все что могли. К несчастью, вы отняли у меня веру.

— Мы никогда не вмешивались в твою веру. Я знаю, мы не религиозны. Мы актеры, и после восьми спектаклей в неделю хочешь хотя бы в воскресенье быть свободным. Я, естественно, ожидала, что всем этим займутся в школе.

Роджер помолчал. Можно было подумать, что ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы продолжать.

— Однажды — мне было тогда четырнадцать, я был еще совсем мальчишкой — я стоял за кулисами и смотрел, как ты играла. Это была, наверное, очень хорошая сцена, твои слова звучали так искренно, так трогательно, что я не удержался и заплакал. Все во мне горело, не знаю, как тебе это лучше объяснить. Я чувствовал необыкновенный душевный подъем. Мне было так жаль тебя, я был готов на любой подвиг. Мне казалось, я никогда больше не смогу совершить подлость или учинить что-нибудь тайком. И надо же было тебе подойти к заднику сцены, как раз к тому месту, где я стоял. Ты повернулась спиной к залу — слезы все еще струились у тебя по лицу — и самым будничным голосом сказала режиссеру: «Что этот чертов осветитель делает с софитами? Я велела ему не включать синий». А затем, не переводя дыхания, снова повернулась к зрителям с громким криком, исторгнутым душевной болью, и продолжала сцену.

— Но, милый, это и есть игра. Если бы актриса испытывала все те эмоции, которые она изображает, она бы просто разорвала в клочья свое сердце. Я хорошо помню эту сцену. Она всегда вызывала оглушительные аплодисменты. В жизни не слышала, чтобы так хлопали.

— Да, я был, наверное, глуп, что попался на твою удочку. Я верил: ты думаешь то, что говоришь. Когда я понял, что это одно притворство, во мне что-то надломилось. С тех пор я перестал тебе верить. Во всем. Один раз меня оставили в дураках; я твердо решил, что больше одурачить себя не позволю.

Джулия улыбнулась ему прелестной обезоруживающей улыбкой.

— Милый, тебе не кажется, что ты болтаешь чепуху?

— А тебе, конечно, это кажется. Для тебя нет разницы между правдой и выдумкой. Ты всегда играешь. Эта привычка — твоя вторая натура. Ты играешь, когда принимаешь гостей. Ты играешь перед слугами, перед отцом, передо мной. Передо мной ты играешь роль нежной, снисходительной, знаменитой матери. Ты не существуешь. Ты — это только бесчисленные роли, которые ты исполняла. Я часто спрашиваю себя: была ли ты когда-нибудь сама собой или с самого начала служила лишь средством воплощения в жизнь всех тех персонажей, которые ты изображала. Когда ты заходишь в пустую комнату, мне иногда хочется внезапно распахнуть дверь туда, но я ни разу не решился на это — боюсь, что никого там не найду.

Джулия быстро взглянула на сына. Ее била дрожь, от слов Роджера ей стало жутко. Она слушала внимательно, даже с некоторым волнением: он был так серьезен. Она поняла, что он пытается выразить то, что гнетет его много лет. Никогда в жизни еще Роджер не говорил с ней так долго.

— Значит, по-твоему, я просто подделка? Или шарлатан?

— Не совсем. Потому что это и есть ты. Подделка для тебя правда. Как маргарин — масло для людей, которые не пробовали настоящего масла.

У Джулии возникло ощущение, что она в чем-то виновата. Королева в «Гамлете»: «Готов твое я сердце растерзать, когда бы можно в грудь твою проникнуть». Мысли ее отвлеклись. («Да, наверное, я уже слишком стара, чтобы сыграть Гамлета. Сиддонс и Сара Бернар

его играли. Таких ног, как у меня, не было ни у одного актера, которых я видела в этой роли. Надо спросить Чарлза, как он думает. Да, но там тоже этот проклятый белый стих. Глупо не написать «Гамлета» прозой. Конечно, я могла бы сыграть его по-французски в Comédie Française. Вот был бы номер!»)

Она увидела себя в черном камзоле и длинных шелковых чулках. «Увы, бедный Йорик». Но Джулия тут же очнулась.

— Ну, про отца ты вряд ли можешь сказать, что он не существует. Вот уже двадцать лет он играет самого себя. («Майкл подошел бы для роли короля, не во Франции, конечно, а если бы мы рискнули поставить «Гамлета» в Лондоне».)

— Бедный отец. Я полагаю, дело он свое знает, но он не больно-то умен. И слишком занят тем, чтобы оставаться самым красивым мужчиной в Англии.

— Не очень это хорошо с твоей стороны так говорить о своем отце.

— Я сказал тебе что-нибудь, чего ты не знаешь? — возмущенно спросил Роджер.

Джулии хотелось улыбнуться, но она продолжала хранить вид оскорбленного достоинства.

— Наши слабости, а не наши достоинства делают нас дорогими нашим близким, — сказала она.

— Из какой это пьесы?

Джулия с трудом удержалась от раздраженного жеста. Слова сами собой слетели с ее губ, но, произнеся их, она вспомнила, что они действительно из какой-то пьесы. Поросенок! Они были так уместны здесь.

— Ты жесток, — грустно сказала Джулия. Она все больше ощущала себя королевой Гертрудой. — Ты совсем меня не любишь.

— Я бы любил, если бы мог тебя найти. Но где ты? Если содрать с тебя твой эксгибиционизм, забрать твое мастерство, снять, как снимают шелуху с луковицы, слой за слоем притворство, неискренность, избитые цитаты из старых ролей и обрывки поддельных чувств, доберешься ли наконец до твоей души? — Роджер посмотрел на нее серьезно и печально, затем слегка улыбнулся. — Но ты мне очень нравишься.

— Ты веришь, что я тебя люблю?

— Да. По-своему.

На лице Джулии внезапно отразилось волнение.

— Если бы ты только знал, как я страдала, когда ты болел. Не представляю, что бы со мной было, если бы ты умер.

— Ты продемонстрировала бы великолепное исполнение роли осиротевшей матери у гроба своего единственного сына.

— Ну, для великолепного исполнения мне нужно хоть несколько репетиций,— отпарировала она.— Ты не понимаешь одного: актерская игра не жизнь, это искусство, искусство же — то, что ты сам творишь. Настоящее горе уродливо; задача актера представить его не только правдиво, но и красиво. Если бы я действительно умирала, как умираю в полдюжине пьес, думаешь, меня заботило бы, достаточно ли изящны мои жесты и слышны ли мои бессвязные слова в последнем ряду галерки? Коль это подделка, то не больше, чем соната Бетховена, и я такой же шарлатан, как пианист, который играет ее. Жестоко говорить, что я тебя не люблю. Я привязана к тебе. Тебя одного я только и любила в жизни.

— Нет, ты была привязана ко мне, когда я был малышом и ты могла со мной фотографироваться. Получался прелестный снимок, который служил превосходной рекламой. Но с тех пор ты не очень много обо мне беспокоилась. Я, скорее, был для тебя обузой. Ты всегда была рада видеть меня, но тебя вполне устраивало, что я могу сам себя занять и тебе не надо тратить на меня время. Я тебя не виню: у тебя никогда не было времени ни на кого, кроме самой себя.

Джулия начала терять терпение. Роджер был слишком близок к истине, чтобы это доставляло ей удовольствие.

— Ты забываешь, что дети довольно надоедливы.

— И шумны,— улыбнулся он.— Но тогда зачем же притворяться, что ты не можешь разлучаться со мной? Это тоже игра.

— Мне очень тяжело все это слышать. У меня такое чувство, будто я не выполнила своего долга перед тобой.

— Это неверно. Ты была очень хорошей матерью. Ты сделала то, за что я всегда буду тебе благодарен: ты оставила меня в покое.

— Не понимаю все же, чего ты хочешь.

— Я тебе сказал: правды.

— Но где ты ее найдешь?

— Не знаю. Возможно, ее вообще нет. Я еще молод и невежествен. Возможно, в Кембридже, читая книги, встречаясь с людьми, я выясню, где ее надо искать. Если окажется, что она только в религии, я пропал.

Джулия обеспокоилась. То, что говорил Роджер, не проникало по-настоящему в ее сознание, его слова нанизывались в строки, и важен был не смысл их, а «доходили» они или нет, но Джулия ощущала его глубокое волнение. Конечно, ему всего восемнадцать, было бы глупо принимать его слишком всерьез, она невольно думала, что он набрался этого у кого-нибудь из друзей и во всем этом много позы. А у кого есть собственные представления и кто не позирует, хоть самую чуточку? Но, вполне возможно, сейчас он ощущает все, о чем говорит, и с ее стороны будет нехорошо отнестись к его словам слишком легко.

— Теперь мне ясно, что ты имеешь в виду,— сказала она.— Мое самое большое желание— чтобы ты был счастлив. С отцом я управляюсь— поступай как хочешь. Ты должен сам искать спасения своей души, это я понимаю. Но, может быть, твои мысли просто вызваны плохим самочувствием и склонностью к меланхолии? Ты был совсем один в Вене и, наверное, слишком много читал. Конечно, мы с отцом принадлежим к другому поколению и вряд ли во многом сумеем тебе помочь. Почему бы тебе не обсудить все эти вещи с кем-нибудь из ровесников? С Томом, например?

— С Томом? С этим несчастным снобом? Его единственная мечта в жизни— стать джентльменом, и он не видит, что чем больше он старается, тем меньше у него на это шансов.

— А я думала, он тебе нравится. Прошлым летом в Тэплоу ты бегал за ним, как собачонка.

— Я ничего не имею против него. И он был мне полезен. Он рассказал мне кучу вещей, которые я хотел знать. Но я считаю его глупым и ничтожным.

Джулия вспомнила, какую безумную ревность вызывала в ней их дружба. Даже обидно, сколько муки она приняла зря.

— Ты порвала с ним, да?— неожиданно спросил Роджер.

Джулия чуть не подскочила.

— Более или менее.

— И правильно сделала. Он тебе не пара.

Роджер глядел на Джулию спокойными задумчивыми глазами, и ей чуть не стало дурно от страха: а вдруг он знает, что Том был ее любовником. Невозможно, говорила она себе, ей внушает это нечистая совесть. В Тэплоу между ними ничего не было. Невероятно, чтобы до ушей сына дошли какие-нибудь мерзкие слухи; и все же выражение его лица неуловимо говорило о том, что он знает. Джулии стало стыдно.

— Я пригласила Тома в Тэплоу только потому, что думала—тебе будет приятно иметь товарища твоего возраста.

— Мне и было приятно.

В глазах Роджера вспыхнули насмешливые огоньки. Джулия была в отчаянии. Ей бы хотелось спросить его, что его забавляет, но она не осмеливалась. Джулия была оскорблена в лучших чувствах. Она бы заплакала, но Роджер только рассмеется. И что она может ему сказать? Он не верит ни единому ее слову. Игра! С ней никогда этого не бывало, но на этот раз Джулия не смогла найти выхода из положения. Она столкнулась с чем-то, чего она не знала, чем-то таинственным и пугающим. Может, это и есть правда? И тут она услышала, что к дому подъехала машина.

— Твой отец!—воскликнула Джулия.

Какое облегчение! Вся эта сцена была невыносима, благодарение богу, приезд Майкла положил ей конец. Через минуту в комнату стремительно вошел Майкл—подбородок выдвинут, живот втянут—невероятно красивый для своих пятидесяти с лишним лет, и с радушной улыбкой протянул руку—как мужчина мужчине—своему единственному сыну, вернувшемуся домой после шестимесячной отлучки.

Глава двадцать восьмая

Через три дня Роджер уехал в Шотландию. Джулия приложила всю свою изобретательность, чтобы больше не оставаться надолго с ним наедине. Когда они случайно оказывались вместе на несколько минут, они говорили о посторонних вещах. В глубине души Джулия была рада, что он уезжает. Она не могла выкинуть из ума тот странный разговор, который произошел в день его возвращения. Особенно встревожили Джулию его слова

о том, что, если она войдет в пустую комнату и кто-нибудь неожиданно откроет туда дверь, там никого не окажется. Ей было от этого не по себе.

«Я никогда не считала себя сногшибательной красавицей, но в одном мне никто не отказывал — в моем собственном «я». Если я могу сыграть сто различных ролей на сто различных ладов, нелепо говорить, что у меня нет своего лица, индивидуальности. Я могу это сделать потому, что я — чертовски хорошая актриса».

Джулия попыталась вспомнить, что происходит, когда она входит одна в пустую комнату.

«Но я никогда не бываю одна, даже в пустой комнате. Рядом всегда Майкл, или Эви, или Чарлз, или зрители, не во плоти, конечно, а духовно. Надо поговорить о Роджере с Чарлзом»...

К сожалению, Чарлза Тэмерли не было в городе. Однако он скоро должен был вернуться — к генеральной репетиции и премьере; за двадцать лет он ни разу не пропустил этих событий, а после генеральной репетиции они всегда вместе ужинали. Майкл задержится в театре, занятый освещением и всем прочим, и они с Чарлзом будут одни. Они смогут как следует поговорить.

Джулия готовила свою роль. Она не то чтобы сознательно лепила персонаж, который должна была играть. У нее был дар влезть, так сказать, в шкуру своей героини, она начинала думать ее мыслями и чувствовать ее чувствами. Интуиция подсказывала Джулии сотни мелких штрихов, которые потом поражали зрителей своей правдивостью, но когда Джулию спрашивали, откуда она их взяла, она не могла ответить. Теперь ей хотелось показать, что миссис Мартен, которая любила гольф и была своей в мужской компании, при всем ее кураже и кажущейся беззаботности по сути — респектабельная женщина из средних слоев общества, страстно мечтающая о замужестве, которое позволит ей твердо стоять на ногах.

Майкл никогда не разрешал, чтобы на генеральную репетицию приходила толпа народу, а на этот раз, желая поразить публику во время премьеры, пустил в зал, кроме Чарлза, только тех людей — фотографа и костюмеров, — присутствие которых было абсолютно необходимо. Джулия играла вполсилы. Она не собиралась выкладываться и давать все, что она может, до премьеры. Сейчас достаточно, если ее исполнение будет просто

профессионально. Под опытным руководством Майкла все шло без сучка без задоринки, и в десять вечера Джулия и Чарлз уже сидели в зале «Савоя». Первый вопрос, который она ему задала, касался Эвис Крайтон.

— Совсем недурна и на редкость хорошенькая. Во втором акте она прелестно выглядела в этом платье.

— Я не хочу надевать на премьеру то платье, в котором была сегодня. Чарли Деверил сшил мне другое.

Чарлз не видел злорадного огонька, который сверкнул при этом в ее глазах, а если бы и видел, не понял бы, что он значит. Майкл, последовав совету Джулии, не пожалел усилий, чтобы натаскать Эвис. Он репетировал с ней одной у себя в кабинете и вложил в нее каждую интонацию, каждый жест. У Джулии были все основания полагать, что он к тому же несколько раз приглашал ее к ленчу и возил ужинать. Все это дало свои результаты — Эвис играла на редкость хорошо. Майкл потирал руки.

— Я ею очень доволен. Уверен, что она будет иметь успех. Я уже подумываю, не заключить ли с ней постоянный контракт.

— Я бы пока не стала, — сказала Джулия. — Во всяком случае, подожди до премьеры. Никогда нельзя быть уверенным в том, как пойдет спектакль, пока не прокартишь его на публике.

— Она милая девушка и настоящая леди.

— «Милая девушка», вероятно, потому, что она от тебя без ума, а «настоящая леди» — так как отвергает твои ухаживания, пока ты не подпишешь с ней контракта?

— Ну, дорогая, не болтай глупостей. Да я ей в отцы гожусь!

Но при этом Майкл самодовольно улыбнулся. Джулия прекрасно знала, что все его ухаживания сводились к пожиманию ручек да одному-двум поцелуям в такси, но она знала также, что ему льстят ее подозрения в супружеской неверности.

Удовлетворив аппетит с соответствующей оглядкой на интересы своей фигуры, Джулия приступила к предмету, который был у нее на уме.

— Чарлз, милый, я хочу поговорить с вами о Роджере.

— О да, он на днях вернулся. Как он поживает?

— Ах, милый, случилась ужасная вещь. Он стал страшным резонером, не знаю, как с ним и быть.

Джулия изобразила — в своей интерпретации — разговор с сыном. Опустила одну-две подробности, которые ей казалось неуместным упоминать, но в целом рассказ ее был точен.

— Самое трагическое в том, что у него абсолютно нет чувства юмора,— закончила она.

— Ну, в конце концов ему всего восемнадцать.

— Вы представить себе не можете, я просто онемела от изумления, когда он все это мне выложил. Я чувствовала себя в точности как Валаам, когда его ослица завязала светскую беседу.

Джулия весело взглянула на него, но Чарлз даже не улыбнулся. Ее слова не показались ему такими уж смешными.

— Не представляю, где он всего этого набрался. Нелепо думать, будто он своим умом дошел до этих глупостей.

— А вам не кажется, что мальчики этого возраста думают гораздо больше, чем представляем себе мы, старшее поколение? Своего рода духовное возмужание. Результаты, к которым оно приводит, часто бывают удивительными.

— Таить такие мысли все эти годы и даже словечком себя не выдать! В этом есть что-то вероломное. Он ведь обвиняет меня.— Джулия засмеялась.— Сказать по правде, когда Роджер говорил со мной, я чувствовала себя матерью Гамлета.— Затем, почти без паузы: — Интересно, я уже слишком стара, чтобы играть в «Гамлете»?

— Роль Гертруды не слишком выигрышная.

Джулия откровенно расхохоталась.

— Ну и дурачок вы, Чарлз. Я вовсе не собираюсь играть королеву. Я бы хотела сыграть Гамлета.

— А вы считаете, что это подходит женщине?

— Миссис Сиддонс играла его, и Сара Бернар. Это бы скрепило печатью мою карьеру. Вы понимаете, что я хочу сказать? Конечно, там есть своя трудность — белый стих.

— Я слышал, как некоторые актеры читают его,— не отличишь от прозы.

— Да, но это все же не одно и то же, не так ли?

— Вы были милы с Роджером?

Джулию удивило, что Чарлз вернулся к старой теме так внезапно, но она сказала с улыбкой:

— Обворожительна.

— Трудно относиться спокойно ко всем глупостям молодежи; они сообщают, что дважды два — четыре, будто это для нас новость, и разочарованы, если мы не разделяем их удивления по поводу того, что курица несет яйца. В их тирадах полно ерунды, и все же там не только ерунда. Мы должны им сочувствовать, должны стараться их понять. Мы должны помнить, что многое нужно забыть и многому научиться, когда впервые лицом к лицу сталкиваешься с жизнью. Не так это легко — отказаться от своих идеалов, и жестокие факты нашего повседневного бытия — горькие пилюли. Душевные конфликты юности бывают очень жестоки, и мы так мало можем сделать, чтобы как-то помочь.

— Неужели вы действительно думаете, будто во всей этой чепухе, которую нес Роджер, хоть что-то есть? Я полагаю, это бредни; он наслушался их в Вене. Лучше бы мы его туда не отпускали.

— Возможно, вы и правы. Возможно, года через два он перестанет витать в облаках и стремиться к небесной славе, примирится с цепями. А возможно, найдет то, чего ищет, если не в религии, так в искусстве.

— Мне бы страшно не хотелось, чтобы Роджер пошел на сцену, если вы это имеете в виду.

— Нет, вряд ли это ему понравится.

— И само собой, он не может быть драматургом, у него совсем нет чувства юмора.

— Да, пожалуй, дипломатическая служба подошла бы Роджеру больше всего. Там это стало бы преимуществом.

— Так что вы мне советуете?

— Ничего. Не трогайте его. Это, вероятно, самое лучшее, что вы для него можете сделать.

— Но я не могу не волноваться.

— Для этого нет никаких оснований. Вы считали, что родили гадкого утенка; кто знает — настанет день, и он превратится в белокрылого лебедя.

Чарлз разочаровал Джулию, она хотела от него совсем другого. Она надеялась встретить у него сочувствие.

«Он стареет, бедняжка, — думала она. — Стал хуже разбираться в вещах и людях; он, наверное, уже много лет импотент. И как это я раньше не догадалась?»

Джулия спросила, который час.

— Пожалуй, мне пора идти. Надо как следует выспаться этой ночью.

Спала Джулия хорошо и проснулась с ощущением душевного подъема. Вечером премьеры. Она с радостным волнением вспомнила, что, когда она после репетиции уходила вчера из театра, у касс начали собираться люди, и сейчас, в десять часов утра, там, вероятно, уже стоят длинные очереди.

«Им повезло сегодня с погодой».

В прежние, такие далекие теперь времена Джулия невыносимо нервничала перед премьерой. Уже с утра ее начинало подташнивать, и по мере того как день склонялся к вечеру, она приходила в такое состояние, что начинала подумывать, не оставить ли ей театр. Но сейчас, пройдя через это тяжелое испытание столько раз, Джулия в какой-то степени закалилась. В первую половину дня она чувствовала себя счастливой и чуть-чуть взволнованной, лишь под вечер ей делалось немного не по себе. Она становилась молчаливой и просила оставить ее одну. Она становилась также раздражительной, и Майкл знал по горькому опыту, что в это время лучше не попадаться ей на глаза. Руки и ноги у нее холодели, а когда Джулия приезжала в театр, они превращались в ледышки. И все же тревожное ожидание, томившее ее, было ей даже приятно.

Утро у нее было свободно — ехать в театр на прогон всего спектакля без костюмов надо было лишь в полдень, поэтому встала она поздно. Майкл не появился к ленчу, так как должен был еще повозиться с декорациями, и Джулия ела одна. Затем легла и проспала, не просыпаясь, целый час. Она намеревалась отдохнуть до самого спектакля. Мисс Филиппс придет в шесть, сделает ей легкий массаж; к семи Джулия хотела снова быть в театре. Но, проснувшись, она почувствовала себя такой свежей и отдохнувшей, что ей показалось скучно лежать в постели: она решила пойти погулять. Был прекрасный солнечный день. Так как городской пейзаж она предпочитала загородному и дома ей нравились больше, чем деревья, Джулия не пошла в парк, а стала медленно прогуливаться по соседним улицам, пустынным в это время года, глядя от нечего делать на особняки и думая, насколько их собственный нравятся ей больше. У нее было спокойно и легко на душе. Наконец Джулия решила, что, пожалуй, пора возвращаться. Только она

подошла к углу Стэнхоупплейс, как услышала голос, звавший ее по имени, не узнать который она не могла.

— Джулия!

Она обернулась, и Том, расплывшись в улыбке, догнал ее. Джулия не видела его еще после возвращения из Франции. Он был весьма элегантен, в нарядном сером костюме и коричневой шляпе. Лицо покрывал густой загар.

— Я думала, тебя нет в Лондоне.

— Вернулся в понедельник. Не звонил, так как знал, что ты занята на последних репетициях. Я сегодня буду в театре. Майкл дал мне кресло в партере.

— Прекрасно.

Не вызывало сомнений, что он очень рад ее видеть. Он сиял, глаза его блестели. Джулия с удовлетворением отметила, что встреча с Томом не всколыхнула никаких чувств в ее душе. И в то время, как они продолжали разговор, задавалась про себя вопросом, что в нем раньше так глубоко волновало ее.

— С чего, ради всего святого, ты вздумала бродить одна по городу?

— Вышла подышать. Как раз собиралась возвращаться и выпить чаю.

— Пойдем выпьем чаю у меня.

Его квартира была за углом. Том заметил Джулию, когда подходил к своим дверям.

— Ты так рано вернулся с работы?

— Сейчас в конторе не особенно много дел. Знаешь, один из компаньонов умер около двух месяцев назад, и у меня увеличился пай. А это значит — мне все же удастся не расставаться с квартирой. Майкл вел себя на редкость порядочно, сказал, что я могу не платить до лучших времен. Мне ужасно не хотелось уезжать отсюда. Заходи. Я с удовольствием приготавливаю тебе чашку чаю.

Том болтал так оживленно, что Джулии стало смешно. Слушая его, никому бы и в голову не пришло, что между ними когда-нибудь что-нибудь было. В нем не заметно было ни малейшего смущения.

— Хорошо. Но у меня есть всего одна минута.

— О'кей.

Они свернули к его дому, Джулия первой пошла по узкой лестнице наверх.

— Проходи дальше, в гостиную, а я поставлю воду на огонь.

Джулия вошла в комнату и села. Огляделась. В этих стенах разыгралась трагедия ее жизни. Здесь ничего не изменилось. Ее фотография стояла на старом месте, но на каминной полке появилась еще одна — большой снимок Эвис Крайтон. На ней было написано: «Тому от Эвис». Чтобы увидеть все это, Джулии хватило одного взгляда. Комната казалась ей декорацией, в которой она когда-то давно играла; была знакома, но ничего больше не значила для нее. Любовь, которая снедала ее, ревность, которую она подавляла, иступленный восторг поражения — все это было не более реально, чем любая из ее бесчисленных прошлых ролей. Джулия наслаждалась своим равнодушием. Вошел Том — в руках его была подаренная ею скатерть — и аккуратно расставил чайный сервиз, который тоже подарила она. Джулия и сама не понимала, почему при мысли, что он так вот бездумно пользуется всеми ее подарками, ее начал разбирать смех. Том принес чай, и они выпили его, сидя бок о бок на диване. Он продолжал рассказывать ей, насколько улучшилось его положение. Как всегда, стараясь быть любезным, он признался, что больший пай в фирме ему дали за то, что он привлек туда много новых клиентов, а это ему удалось только благодаря ей, Джулии. Рассказал, как провел отпуск. Джулии было ясно, что Том даже не подозревает, какие жгучие страдания он некогда ей причинял. От этого ей тоже захотелось рассмеяться.

— Я слышал, тебя ждет сегодня колоссальный успех.

— Неплохо бы, правда?

— Эвис говорит, вы оба, ты и Майкл, замечательно относитесь к ней. Смотри, как бы она тебя не обошла.

Том хотел ее подразнить, но Джулия спросила себя, уж не обмолвилась ли ему Эвис, что надеется на это.

— Вы обручены?

— Нет. Эвис нужна свобода. Она говорит, что помолвка помешает ее карьере.

— Чему? — Слово само собой сорвалось у Джулии с губ, но она тут же поправилась: — Ах, да, ясно.

— Естественно, я не хочу стоять у нее на пути. Вдруг после сегодняшней премьеры она получит приглашение

в Америку? Конечно, я понимаю, ничто не должно помешать ей его принять.

Ее карьера! Джулия улыбнулась про себя.

— Знаешь, я и вправду думаю: ты — молодец, что так ведешь себя по отношению к Эвис.

— Почему?

— Ну, тебе самой известно, что такое женщины.

Говоря это, Том обнял ее за талию и поцеловал. Джулия рассмеялась ему в лицо.

— Ну и забавный ты мальчик!

— Можёт, позанимаемся немного любовью?

— Не болтай глупостей.

— Что в этом глупого? Тебе не кажется, что мы и так слишком долго были в разводе?

— Я за полный развод. И как же Эвис?

— Ну, это другое. Пойдем, а?

— У тебя совсем выскочило из памяти, что у меня сегодня премьера?

— У нас еще куча времени.

Том привлек ее к себе и снова нежно поцеловал. Джулия глядела на него насмешливыми глазами. Внезапно решила:

— Хорошо.

Они поднялись и пошли в спальню. Джулия сняла шляпу и сбросила платье. Том обнял ее, как обнимал раньше. Он целовал ее закрытые глаза и маленькие груди, которыми она так гордилась. Джулия отдала ему свое тело — пусть делает с ним что хочет, — но душу ее это не затрагивало. Она возвращала ему поцелуи из дружелюбия, но поймала себя на том, что думает о роли, которую ей сегодня предстоит играть. В ней словно сочетались две женщины: любовница в объятиях своего возлюбленного и актриса, которая уже видела мысленным взором огромный полутемный зал и слышала взрывы аплодисментов при своем появлении. Когда немного позднее они лежали рядом друг с другом, ее голова на его руке, Джулия настолько забыла о Томе, что чуть не вздрогнула, когда он прервал затянувшееся молчание.

— Ты меня совсем не любишь больше?

Она слегка прижала его к себе.

— Конечно, люблю, милый. Души не чаю.

— Ты сегодня такая странная.

Джулия поняла, что он разочарован. Бедняжка, она вовсе не хочет его обижать. Право же, он очень милый.

— Я сама не своя, когда у меня впереди премьера. Не обращай внимания.

Окончательно убедившись, что ей ни жарко ни холодно от того, существует Том или нет, Джулия невольно почувствовала к нему жалость. Она ласково погладила его по щеке.

— Леденчик мой. («Интересно, не забыл ли Майкл послать тем, кто стоит в очереди, горячий чай? Стоит это недорого, а зрители так это ценят».) Знаешь, мне и правда пора. Мисс Филиппс придет ровно в шесть. Эвис с ума сойдет. Она и так, верно, голову себе ломает, что со мной стряслось.

Джулия весело болтала все время, пока одевалась. Она видела, не глядя на Тома, что он не в своей тарелке. Джулия надела шляпу, затем сжала его лицо обеими руками и дружески поцеловала.

— До свидания, мой ягненочек. Надеюсь, ты хорошо проведешь вечер.

— Ни пуха ни пера.

Он неловко улыбнулся. Она догадалась, что он не может ее понять. Джулия выскользнула из квартиры, и, если бы она не была ведущей английской актрисой и женщиной, которой далеко за сорок, она бы проскакала на одной ножке до самого дома. Она была страшно довольна. Джулия открыла парадную дверь своим ключом и захлопнула ее за собой.

«А в словах Роджера, пожалуй, что-то есть. Любовь и вправду не стоит всего того шума, который вокруг нее поднимают».

Глава двадцать девятая

Четыре часа спустя все было уже позади. Пьесу прекрасно принимали с самого начала; публика, самый бомонд, несмотря на неподходящее время года, была рада после летнего перерыва вновь очутиться в театре, и ей нетрудно было угодить. Это было удачным началом театрального сезона. Каждый акт завершался бурными аплодисментами. После окончания спектакля было больше десяти вызовов. На последние два Джулия выходила

одна, и даже она была поражена горячим приемом. Прерывающимся от волнения голосом она произнесла несколько слов,—приготовленных заранее,—которых требовал этот торжественный случай. Затем на сцену вышла вся труппа, и оркестр заиграл национальный гимн. Джулия, довольная, взволнованная, счастливая, вернулась к себе в уборную. Никогда еще она не была так уверена в своем могуществе. Никогда еще не играла с таким блеском, разнообразием и изобретательностью. Пьеса кончалась длинным монологом, в котором Джулия—удалившаяся на покой проститутка—клемит легкомыслие, никчемность и аморальность того круга бездельников, в который она попала благодаря замужеству. Монолог занимал в тексте целые две страницы, и вряд ли в Англии нашлась бы еще актриса, которая могла бы удержать внимание публики в течение такого долгого времени. Благодаря своему тончайшему чувству ритма, богатому оттенками прекрасному голосу, мастерскому владению всей палитрой чувств, Джулия сумела, при ее блестящей актерской технике, сотворить чудо—превратить свой монолог в захватывающий, эффектный, чуть не зримый кульминационный пункт всей пьесы. Самые острые сюжетные ситуации не могли быть столь волнующими, никакая, самая неожиданная развязка—столь поразительной. Все актеры играли превосходно, за одним исключением—Эвис Крайтон.

Направляясь в уборную, Джулия весело мурлыкала что-то себе под нос.

Майкл зашел почти вслед за ней.

— Что ж, победа за нами,—сказал он и, обняв Джулию, поцеловал ее.—Господи, как ты играла!

— Ты и сам был очень хорош, милый.

— Ну, такую роль я могу сыграть, стоя на голове,—ответил он беззаботно, как всегда скромный в отношении собственных возможностей.—Ты слышала, какая тишина была в зале во время твоего последнего монолога? Критики будут сражены.

— Ну, ты знаешь, что такое критики. Все внимание чертовой пьесе и три строчки под конец—мне.

— Ты—величайшая актриса Англии, любимая, но, клянусь богом, ты—ведьма.

Джулия широко открыла глаза, на ее лице было самое простодушное удивление.

— Что ты хочешь этим сказать, Майкл?

— Не изображай из себя невинность. Ты прекрасно знаешь. Старого воробья на мякине не проведешь.

Его глаза весело поблескивали, и Джулии было очень трудно удержаться от смеха.

— Я невинна, как новорожденный младенец.

— Брось. Если кто-нибудь когда-нибудь подставлял другому ножку, так это ты сегодня — Эвис. Я не мог на тебя сердиться, ты так красиво это сделала.

Тут уж Джулия была не в состоянии скрыть легкую улыбку. Похвала всегда приятна артисту. Единственная большая мизансцена Эвис была во втором акте. Кроме нее, в ней участвовала Джулия, и Майкл поставил сцену так, что все внимание зрителей должно было сосредоточиться на девушке. Это соответствовало и намерению драматурга. Джулия, как всегда, следовала на репетициях всем указаниям Майкла. Чтобы оттенить цвет глаз и подчеркнуть белокурые волосы Эвис, они одели ее в бледно-голубое платье. Для контраста Джулия выбрала себе желтое платье подходящего оттенка. В нем она и выступала на генеральной репетиции. Но одновременно с желтым Джулия заказала себе другое, из сверкающей серебряной парчи, и, к удивлению Майкла и ужасу Эвис, в нем она и появилась на премьере во втором акте. Его блеск и то, как оно отражало свет, отвлекало внимание зрителей. Голубое платье Эвис выглядело рядом с ним линиялой тряпкой. Когда они подошли к главной мизансцене, Джулия вынула откуда-то — как фокусник вынимает из шляпы кролика — большой платок из пунцового шифона и стала им играть. Она помахивала им, она расправляла его у себя на коленях, словно хотела получше рассмотреть, сворачивала его жгутом, вытирала им лоб, изящно сморкалась в него. Зрители, как замороженные, не могли оторвать глаз от красного лоскута. Джулия уходила в глубину сцены, так что, отвечая на ее реплики, Эвис приходилось обращаться к залу спиной, а когда они сидели вместе на диване, взяла девушку за руку, словно бы повинаясь внутреннему порыву, совершенно естественным, как казалось зрителям, движением и, откинувшись назад, вынудила Эвис повернуться в профиль к публике. Джулия еще на репетициях заметила, что в профиль Эвис немного похожа на овцу. Автор вложил в уста Эвис строки, которые были так забавны, что на первой репетиции все

актеры покатались со смеху. Но сейчас Джулия не дала залу осознать, как они смешны, и тут же кинула ей ответную реплику; зрители, желая услышать ее, подавили свой смех. Сцена, задуманная как чисто комическая, приобрела сардонический оттенок, и персонаж, которого играла Эвис, стал выглядеть одиозным. Эвис, не слыша ожидаемого смеха, от неопытности испугалась и потеряла над собой контроль, голос ее зазвучал жестко, жесты стали неловкими. Джулия отобрала у Эвис мизансцену и сыграла ее с поразительной виртуозностью. Но ее последний удар был случаен. Эвис должна была произнести длинную речь, и Джулия нервно скомкала свой платочек; этот жест почти автоматически повлек за собой соответствующее выражение: она поглядела на Эвис встревоженными глазами, и две тяжелые слезы покатались по ее щекам. Вы чувствовали, что она сгорает со стыда за ветреную девицу, вы видели ее боль из-за того, что все ее скромные идеалы, ее жажда честной, добродетельной жизни осмеиваются столь жестоко. Весь эпизод продолжался не больше минуты, но за эту минуту Джулия сумела при помощи слез и муки, написанной на лице, показать все горести жалкой женской доли. С Эвис было покончено навсегда.

— А я, дурак, еще хотел подписать с ней контракт,— сказал Майкл.

— Почему бы и не подписать...

— Когда ты имеешь против нее зуб? Да ни за что. Ах ты, гадкая девчонка,— так ревновать! Неужели ты думаешь, Эвис что-нибудь для меня значит? Могла бы уже знать, что для меня нет на свете никого, кроме тебя.

Майкл вообразил, что Джулия сыграла свою злую шутку с Эвис в отместку за довольно бурный флирт, который он с ней завел, хотя, конечно, сочувствовал Эвис—ей чертовски не повезло!—не мог не быть польщенным.

— Ах ты, старый осел,— улыбнулась Джулия, слово в слово читая его мысли и смеясь про себя над его заблуждением.— В конце концов ты—самый красивый мужчина в Лондоне.

— Полно, полно. Но что скажет автор? Эта мартышка бог весть что мнит о себе, а то, что ты сегодня сыграла, и рядом не лежит с тем, что он написал.

— А, предоставь его мне! Я все улажу.

Послышался стук, и—легко на помине—в дверях возник автор собственной персоной. С восторженным

криком Джулия подбежала к нему, обвила его шею руками и поцеловала в обе щеки.

— Вы довольны?

— Похоже, что пьеса имела успех,—ответил он довольно холодно.

— Дорогой мой, она не сойдет со сцены и через год.—Джулия положила ладони ему на плечи и пристально посмотрела в лицо.—Но вы гадкий, гадкий человек!

— Я?

— Вы едва не погубили мое выступление. Когда я дошла до этого местечка во втором акте и вдруг поняла, что вы имели в виду, я чуть не растерялась. Вы же знали, что это за сцена, вы—автор, почему же вы позволили нам репетировать ее так, будто в ней нет ничего, кроме того, что лежит на поверхности? Мы только актеры, вы не можете ожидать от нас, чтобы мы... чтобы мы постигли всю вашу тонкость и глубину. Это лучшая мизансцена в пьесе, а я чуть было не испортила ее. Никто, кроме вас, не написал бы ничего подобного. Ваша пьеса великолепна, но в этой сцене виден не просто талант, в ней виден гений!

Автор покраснел. Джулия глядела на него с благоговением. Он чувствовал себя смущенным, счастливым и гордым.

(«Через сутки этот олух будет воображать, что он и впрямь именно так все и задумал».)

Майкл сиял.

— Зайдемте ко мне, выпьем по бокальчику виски с содовой. Не сомневаюсь, что вам нужно подкрепиться после всех этих переживаний.

В то время, как они выходили из комнаты, вошел Том. Его лицо горело от возбуждения.

— Дорогая, это было великолепно! Ты поразительна! Черт, вот это спектакль!

— Тебе понравилось? Эвис была хороша, правда?

— Эвис? Ужасна.

— Милый, что ты хочешь этим сказать? Мне она показалась обворожительной.

— Да от нее осталось одно мокрое место! Во втором акте она даже не выглядела хорошенькой. («Карьера Эвис!») Послушай, что ты делаешь вечером?

— Долли устраивает прием в нашу честь.

— Ты не можешь как-нибудь от него отделаться и пойти ужинать со мной? Я с ума по тебе схожу.

— Что за чепуха! Не могу же я подложить Долли такую свинью.

— Ну пожалуйста!

В его глазах горел огонь. Джулия видела, что никогда еще не вызывала в нем такого желания, и порадовалась своему триумфу. Но она решительно покачала головой. В коридоре послышался шум множества голосов: они оба знали, что в уборную, обгоняя друг друга, спешат друзья, чтобы поздравить ее.

— Черт их всех подери! Как мне хочется тебя поцеловать! Я позвоню утром.

Дверь распахнулась, и Долли, толстая, потная, бурлящая энтузиазмом, ворвалась в уборную во главе толпы, забившей комнату так, что в ней нечем стало дышать. Джулия подставляла щеки для поцелуев всем подряд. Среди прочих присутствующих там были три или четыре известные актрисы, и они тоже не скупились на похвалы. Джулия выдала прекрасное исполнение неподдельной скромности. Теперь уже и коридор был забит людьми, которые хотели взглянуть на нее хоть одним глазком. Долли пришлось локтями прокладывать себе дорогу к выходу.

— Постарайтесь прийти не очень поздно,— сказала она Джулии.— Вечер должен быть изумительным.

— Приду сразу же, как смогу.

Наконец удалось избавиться от последних посетителей, и Джулия, раздевшись, принялась снимать грим. Вошел Майкл в халате.

— Послушай, Джулия, придется тебе идти к Долли без меня. Мне надо повидаться с газетчиками, и я не успею управиться. Ну и наплету я им!

— Ладно.

— Меня уже ждут. Увидимся утром.

Майкл вышел, в комнате осталась одна Эви. На стуле лежало платье, которое Джулия собиралась надеть на прием. Джулия намазала лицо очищающим кремом.

— Эви, завтра утром мне будет звонить мистер Феннел. Скажи ему, пожалуйста, что меня нет дома.

Эви поймала в зеркале взгляд Джулии.

— А если он позвонит снова?

— Мне очень жаль обижать бедного ягненочка, но почему-то кажется, что все ближайшее время я буду очень занята.

Эви громко шмыгнула носом и подтерла его указательным пальцем. Отвратительная привычка!

— Понятно,— сухо сказала она.

— Я всегда говорила, что ты не так глупа, как кажешься. Зачем тут это платье?

— Это? Вы же говорили, что наденете его на прием.

— Убери его. Я не могу идти на прием без мистера Госселина.

— С каких это пор?

— Заткнись, старая карга. Позвони туда и скажи, что у меня ужасно разболелась голова и я вынуждена была уехать домой и лечь, а мистер Госселин придет попозже, если сможет.

— Прием устроен в вашу честь. Неужели вы так подведете несчастную старуху?

Джулия топнула ногой.

— Я не хочу идти на прием и не пойду!

— Дома пусто, вам нечего будет есть.

— Я не собираюсь ехать домой. Я поеду ужинать в ресторан.

— С кем?

— Одна.

Эви изумленно взглянула на нее.

— Но пьеса имела успех, так ведь?

— Да. Все было прекрасно. Я на седьмом небе от счастья. Мне очень хорошо. Я хочу быть одна и полностью этим насладиться. Позвони к Баркли и скажи, чтобы мне оставили столик на одного в малом зале. Они поймут.

— Что с вами такое?

— У меня в жизни больше не будет подобной минуты. Я ни с кем не намерена ее делить.

Сняв грим, Джулия не накрасила губы, не подрумянилась. Снова надела коричневый костюм, в котором пришла в театр, и ту же шляпу. Это была фетровая шляпа с полями, и Джулия низко надвинула ее, чтобы получше прикрыть лицо. Одевшись, посмотрела в зеркало.

— Я похожа на портниху со швейной фабрики, которую бросил муж,—и кто его обвинит? Не думаю, чтоб меня узнали.

Эви ходила звонить к служебному входу, и, когда она вернулась, Джулия спросила, много ли народу поджидает ее на улице.

— Сотни три.

— Черт! — Джулию охватило внезапное желание никого не видеть и ни с кем не встречаться. Захотелось хоть на один час скрыться от своей славы. — Попроси пожарника, чтобы выпустил меня с парадного входа. Я возьму такси, а как только я уеду, скажешь людям, что ждать бесполезно.

— Один бог знает, с чем только мне не приходится мириться, — туманно произнесла Эви.

— Ах ты, старая корова!

Джулия взяла лицо Эви обеими руками и поцеловала ее в испытые щеки, затем выскользнула тихонько из комнаты на сцену, а оттуда — через пожарный ход в темный зал.

Незатейливый маскарадный костюм Джулии, по-видимому, оказался достаточным, потому что, когда она вошла в малый зал у Баркли, который особенно любила, метрдотель не сразу ее узнал.

— У вас не найдется уголка, куда бы вы могли меня сунуть? — неуверенно произнесла Джулия.

Ее голос и вторично брошенный взгляд сказали ему, кто она.

— Ваш столик ждет вас, мисс Лэмберт. Нам передали, что вы будете одни. — Джулия кивнула, и он провел ее к столику в углу зала. — Я слышал, что вы имели большой успех сегодня, мисс Лэмберт.

Хорошие вести не лежат на месте!

— Что будем заказывать?

Метрдотель был удивлен тем, что Джулия ужинала одна, но единственное чувство, которое он считал уместным показывать клиентам, было удовольствие, которое он испытывал, видя их.

— Я очень устала, Анджело.

— Немного икры для начала, мадам, или устрицы?

— Устрицы, Анджело, только жирные.

— Я собственноручно их отберу, мисс Лэмберт, а потом?

Джулия глубоко вздохнула — наконец-то она могла с чистой совестью заказать то, о чем мечтала с самого конца второго акта. Она чувствовала, что заслужила

хорошее угощение, чтобы отпраздновать свой триумф, и собиралась в кои-то веки забыть о благоразумии.

— Бифштекс с луком, Анджело, жареный картофель и бутылку басса¹. Принесите его в серебряной кружке с крышкой.

Джулия не ела жареного картофеля, пожалуй, лет десять. Но этот день стоил того. Ей удалось утвердить свою власть над публикой, дав представление, которое она не могла назвать иначе как блестящим, свести старые счеты, одним остроумным ходом избавившись от Эвис и показав Тому, какого он сваял дурака, и — это было самое главное — доказать себе, что она свободна от раздражавших и подавлявших ее пут. Везет так уж везет. Мысли ее на миг задержались на Эвис.

— Дурочка, захотела сунуть мне палку в колеса. Ладно, завтра я позволю публике посмеяться.

Принесли устрицы; Джулия лакомилась ими с наслаждением. Она съела два куса черного хлеба с маслом с восхитительным чувством, что губит свою бессмертную душу, и отпила большой глоток из высокой пивной кружки.

— «О пиво, славное пиво!»² — пробормотала Джулия.

Она представляла, как вытянулось бы у Майкла лицо, если бы он узнал, что она делает. Бедный Майкл! Воображает, будто она испортила мизансцену Эвис из-за того, что он проявил слишком большое внимание к этой блондиночке. Право, жалость берет, когда подумаешь, как глупы мужчины. Говорят, женщины тщеславны; да они просто сама скромность по сравнению с мужчинами. Джулия не могла без смеха думать о Томе. Он хотел ее сегодня днем и еще больше — сегодня вечером. Только подумать, что он значит теперь для нее не больше, чем один из рабочих сцены. Как замечательно чувствовать, что твое сердце принадлежит тебе одной, это вселяет такую веру в себя.

Зал, в котором она сидела, был соединен тремя арочными проходами с большим залом ресторана. Среди наполнявшей его толпы, несомненно, были люди, виде-

¹ Сорт пива.

² Начало стихотворения «Пиво» Чарлза С. Коверли (1831—1884), английского поэта.

шие ее сегодня в театре. Вот бы удивились они, узнай, что тихая женщина, лицо которой наполовину скрыто полями фетровой шляпы, за столиком в уголке соседней комнаты,— Джулия Лэмберт. Было так приятно сидеть тут незамечаемой и неизвестной, это давало сладостное ощущение независимости. Теперь посетители ресторана были актерами, разыгрывающими перед ней пьесу, а она — зрителем. Джулия видела их мельком, когда они проходили мимо арок: молодые мужчины и молодые женщины; молодые мужчины и немолодые женщины; мужчины с лысиной, с брюшком; старые греховодницы, отчаянно цепляющиеся за раскрашенную личину юности, надетую ими на себя. Одни были влюблены, другие равнодушны, третьи — сгорали от ревности.

Подали бифштекс. Он был приготовлен точно по ее вкусу, с подрумяненным хрустящим луком. Джулия ела жареный картофель, деликатно держа его пальцами, смакуя каждый ломтик, с таким видом, словно хотела воскликнуть: «Остановись, мгновение, ты прекрасно!»

«Что такое любовь по сравнению с бифштексом?» — спросила себя Джулия. Как восхитительно было сидеть одной и бесцельно переходить мыслями с предмета на предмет. Джулия вновь подумала о Томе и пожалала в душе плечами. «Это было забавное приключение и кое-что мне дало».

Несомненно, в будущем она извлечет из него пользу. Фигуры танцоров,двигающихся мимо полукруглых проходов, напоминали ей сцену из пьесы, и Джулия вновь подумала о том, что впервые пришло ей в голову, когда она гостила на Сен-Мало. Та мука, которая терзала ее, когда Том ее бросил, привела ей на память «Федру» Расина¹, которую она разучивала в ранней юности с Жанной Тэбу. Джулия перечитала трагедию. Страдания, поразившие супругу Тезея, были те же, что поразили и ее. Джулия не могла не видеть удивительного сходства между своей и ее судьбой. Эта роль была создана для нее; уж кому, как не ей, знать, что такое быть отвергнутой юношей намного моложе тебя, когда ты его любишь. Вот это было бы представление! Теперь Джулия понимала, почему весной играла так плохо, что

¹ Согласно греческой мифологии, Федра, дочь критского царя Миноса, супруга Тезея, оклеветала перед Тезеем своего пасынка Ипполита, который отверг ее любовь, и после его насильственной смерти повесилась.

Майкл предпочел снять пьесу и закрыть театр. Это произошло из-за того, что она на самом деле испытывала те чувства, которые должна была изображать. От этого мало проку. Сыграть чувства можно только после того, как преодолешь их. Джулия вспомнила слова Чарлза, как-то сказавшего ей, что поэзия проистекает из чувств, которые понимаешь тогда, когда они позади, и становишься безмятежен. Она ничего не смыслит в поэзии, но в актерской игре дело обстоит именно так.

«Неглупо со стороны бедняжки Чарлза дойти до такой оригинальной мысли. Вот как неверно поспешно судить о людях. Думаешь, что аристократы — куча кретинов, и вдруг один из них выдаст такое, что прямо дух захватывает, так это чертовски хорошо».

Но Джулия всегда считала, что Расин совершает большую ошибку, выводя свою героиню на сцену лишь в третьем акте.

«Конечно, я такой нелепости не потерплю, если возьмусь за эту роль. Пол-акта, чтобы подготовить мое появление, если хотите, но и этого более чем достаточно».

И правда, что ей мешает заказать кому-нибудь из драматургов вариант на эту тему, в прозе или в стихах, только чтобы строчки были короткие. С такими стихами она бы справилась, и с большим эффектом. Неплохая идея, спору нет, и она знает, какой костюм надела бы: не эту развевающуюся хламиду, которой обматывала себя Сара Бернар, а короткую греческую тунику, какую она видела однажды на барельефе, когда ходила с Чарлзом в Британский музей.

«Ну, не забавно ли? Идешь во все эти музеи и галереи и думаешь: ну и скучища, а потом, когда меньше всего этого ждешь, обнаруживаешь, что можешь использовать какую-нибудь вещь, которую ты там увидел. Это доказывает, что живопись и все эти музеи — не совсем пустая трата времени».

Конечно, с ее ногами только и надевать тунику, но удастся ли в ней выглядеть трагически? Джулия две-три минуты серьезно обдумывала этот вопрос. Когда она будет изнывать от тоски по равнодушному Ипполиту (Джулия хихикнула, представив себе Тома в его костюмах с Сэвил-роу, замаскированного под юного греческого охотника), удастся ли ей добиться соответствующего эффекта без кучи тряпок? Эта трудность лишь подстег-

нула ее. Но тут Джулии пришла в голову мысль, от которой настроение ее сразу упало.

«Все это прекрасно, но где взять хорошего драматурга? У Сары был Сарду¹, у Дузе — Д'Аннунцио². А кто есть у меня? «У королевы Шотландии прекрасный сын, а я — смоковница бесплодная»³.

Однако Джулия не допустила, чтобы эта печальная мысль надолго лишила ее безмятежности. Душевный подъем был так велик, что она чувствовала себя способной создавать драматургов из ничего, как Девкалион создавал людей из камней, валявшихся на поле⁴.

«О какой это ерунде толковал на днях Роджер? А бедный Чарлз еще так серьезно отнесся к этому. Глупый маленький резонер, вот он кто».

Джулия протянула руку к большому залу. Там притушили огни, и с ее места он еще больше напоминал подмостки, где разыгрывается представление.

«Весь мир — театр, в нем женщины, мужчины — все актеры»⁵. Но то, что я вижу через эту арку, всего-навсего иллюзия, лишь мы, артисты, реальны в этом мире. Вот в чем ответ Роджеру. Все люди — наше сырье. Мы вносим смысл в их существование. Мы берем их глупые мелкие чувства и преобразуем их в произведения искусства, мы создаем из них красоту, их жизненное назначение — быть зрителями, которые нужны нам для самовыражения. Они инструменты, на которых мы играем, а для чего нужен инструмент, если на нем некому играть?»

Эта мысль развеселила Джулию, и несколько минут она с удовольствием смаковала ее; собственный ум казался ей удивительно ясным.

«Роджер утверждает, что мы не существуем. Как раз наоборот, только мы и существуем. Они тени, мы вкладываем в них телесное содержание. Мы — символы

¹ Сарду, Викторьен (1831—1908) — французский драматург.

² Д'Аннунцио, Габриэль (1863—1938) — итальянский писатель.

³ Перефразированные слова королевы Елизаветы I, приведенные в «Мемуарах сэра Джеймса Мелвилла», деятеля эпохи Реформации.

⁴ Девкалион в греческой мифологии — сын Прометея, супруг Пирры, вместе с нею спасся на ковчеге во время потопа, который должен был по воле Зевса погубить греховный род человеческий. Ковчег после потопа остановился на горе Парнас. Новый род людской возник из брошенных по воле оракула Девкалионом и Пиррою за спину камней.

⁵ Шекспир, Вильям. «Как вам это нравится».

всей этой беспорядочной, бесцельной борьбы, которая называется жизнью, а только символ реален. Говорят: игра — притворство. Это притворство и есть единственная реальность».

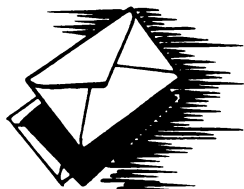
Так Джулия своим умом додумалась до платоновской теории «идей». Это преисполнило ее торжества. Джулия ощутила, как ее внезапно залила горячая волна симпатии к этой огромной безымянной толпе, к публике, которая существует лишь затем, чтобы дать ей возможность выразить себя. Вдали от всех, на вершине своей славы, она рассматривала кишаций у ее ног, далеко внизу, людской муравейник. У нее было удивительное чувство свободы от всех земных уз, и это наполняло ее таким экстазом, что все остальное по сравнению с ним не имело цены. Джулия ощущала себя душой, витающей в райских кущах.

К ней подошел метрдотель и спросил с учтивой улыбкой:

— Все в порядке, мисс Лэмберт?

— Все великолепно. Знаете, просто удивительно, какие разные у людей вкусы. Миссис Сиддонс обожала отбивные котлеты; я в этом на нее ни капельки не похожа, я обожаю бифштекс.

РАССКАЗЫ



РЫЖИЙ

Шкипер сунул руку в карман брюк и с трудом — он был толст, а карманы у него были не сбоку, а спереди — вытащил большие серебряные часы. Взглянув на них, он перевел взгляд на заходящее солнце.

Канак-рулевой посмотрел на него, но ничего не сказал. Шкипер не отрывал глаз от острова, к которому они приближались. Белая линия пены обозначала риф. Он знал, что в нем должен быть проход, достаточно широкий для его судна, и полагал, что увидит его, как только они подойдут немного поближе.

До наступления темноты оставалось около часа. Лагуна была глубокой и удобной для якорной стоянки. Старейшина деревни, которую он уже мог разглядеть среди кокосовых пальм, был приятелем его помощника, и ночь на берегу обещала быть приятной.

Подошел помощник, и шкипер обернулся к нему.

— Захватим с собой бутылку спиртного и пригласим девочек потанцевать.

— Я не вижу прохода, — сказал помощник.

Это был канак, красивый, смуглый парень, склонный к полноте и несколько напоминавший кого-то из последних римских императоров. Но лицо у него было тонкое, с правильными чертами.

— Я точно знаю, что проход здесь, — сказал шкипер, глядя в бинокль. — Не пойму, куда он девался. Пусть кто-нибудь из ребят посмотрит с мачты.

Помощник шкипера позвал одного из матросов и отдал ему приказание. Шкипер следил, как матрос взбирается на мачту, и стал ждать, что он скажет. Но канак лишь крикнул, что он не видит ничего, кроме

сплошной линии пены. Шкипер, говоривший на языке самоа не хуже туземцев, крепко выругался.

— Пусть сидит там? — спросил помощник.

— Да что проку! — ответил шкипер. — Этот болван все равно ни черта не видит. Будь я там, наверху, я бы уж нашел проход как пить дать!

Он со злостью посмотрел на тонкую мачту. Хорошо туземцам, которые всю жизнь лезят по кокосовым пальмам! Он же тяжел и тучен.

— Слезай! — крикнул он. — Толку от тебя, как от козла молока. Придется идти вдоль рифа, пока не отыщем проход.

Его семидесятитонная парусная шхуна имела вспомогательный двигатель и, если не было встречного ветра, шла со скоростью четырех-пяти узлов. Это была изрядно потрепанная посудина. Когда-то, очень давно, она была окрашена белой краской, но сейчас стала грязной, облезлой, покрылась пятнами. Она насквозь пропахла керосином и копррой, составлявшей ее обычный груз.

Они находились в ста футах от рифа, и шкипер велел рулевому идти вдоль него, пока не достигнут прохода. Пройдя около двух миль, он понял, что проскочил его. Тогда он повернул шхуну и вновь медленно повел ее вдоль рифа. Полоса пены все тянулась, не прерываясь, а солнце стояло уже совсем низко. Проклиная тупость своей команды, шкипер скрепя сердце решил ждать до утра.

— Поворачивай! — приказал он. — Здесь нельзя бросать якорь.

Они отошли подальше в море, и вскоре стемнело. Они бросили якорь. Когда убрали парус, шхуну стало сильно качать. В Апии предсказывали, что когда-нибудь она перевернется вверх дном, и даже хозяин ее, американский немец, владелец одного из крупнейших магазинов в порту, говорил, что ни за какие деньги не согласился бы выйти на ней в море.

Кок-китаец, в белых, очень грязных и изодранных штанах и в тонкой белой рубашке, доложил, что ужин готов. Когда шкипер спустился в каюту, механик уже сидел за столом. Это был долговязый человек с худой шеей, в синем комбинезоне и тельняшке. Худые руки его были татуированы от локтя до самой кисти.

— Чертовски досадно проводить ночь в море,— сказал шкипер.

Механик ничего не ответил, и ужин продолжался в молчании. Каюта освещалась тусклой керосиновой лампой. После абрикосовых консервов, завершавших ужин, китаец принес чаю. Шкипер закурил сигару и поднялся на палубу. Теперь темная масса острова едва выделялась на фоне ночного неба. Ярко горели звезды. Лишь неумолчный шум прибоя нарушал тишину. Шкипер, усевшись в шезлонг, лениво курил. Вскоре на палубу поднялись трое или четверо матросов и уселись поодаль. У одного было банджо, у другого концертино. Они заиграли, и один из них запел. Странно звучал туземный напев, исполняемый на этих инструментах. Потом под звуки песни двое других матросов стали танцевать. Это был танец варваров, дикий, первобытный, быстрый, с резкими движениями рук, ног, с судорожными подергиваниями всего тела. В нем была чувственность, даже похоть, но без всякой страсти. Он был откровенно животный, причудливый, но без тайн, до такой степени непосредственный, что его можно было даже назвать детским.

Наконец, утомившись, матросы растянулись тут же на палубе и заснули. Все стихло.

Шкипер тяжело поднялся с шезлонга и пошел вниз по трапу. Войдя к себе в каюту, он разделся и лег. От ночной духоты он слегка задыхался.

Наутро, когда над безмятежным морем забрезжил рассвет, они увидели чуть дальше к востоку тот самый проход, который никак не могли разглядеть накануне вечером. Шхуна вошла в лагуну. На поверхности воды не было ни малейшей ряби. Глубоко внизу, между кораллами, сновали разноцветные рыбки.

Поставив судно на якорь, шкипер позавтракал и вышел на палубу. В безоблачном небе сияло солнце, но в воздухе еще ощущалась благодатная утренняя прохлада. Было воскресенье, кругом царили покой и тишина, словно сама природа отдыхала, и от этого шкипер тоже почувствовал себя необыкновенно спокойно и хорошо. Он сидел, с ленивым удовлетворением оглядывая лесистый берег. Затем губы его тронула слабая улыбка, и он швырнул окурок сигары в воду.

— Пора и на берег,—сказал он.—Шлюпку!

Он неуклюже спустился по трапу в лодку, и гребцы доставили его в маленькую бухту.

Здесь пальмы спускались к самой воде, не рядами, но все же в каком-то строгом порядке. Они напоминали кордебалет из старых дев, легкомысленных, несмотря на возраст, застывших в манерных позах, полных жеманной грации былых времен..

Шкипер медленно пошел между ними по едва заметной в густой траве извилистой тропинке. Вскоре она вывела его к речке. Через нее был перекинут мостик, вернее, не мостик, а десяток пальмовых стволов, уложенных впритык и опирающихся концами на развилки, вбитые в дно ручья. Надо было пройти по круглым гладким бревнам, узким и скользким, не имея никакой опоры для рук. Это требовало храбрости и сноровки.

Шкипер остановился в нерешительности. Но на другом берегу среди деревьев виднелась постройка европейского типа. Это заставило его решиться, и он осторожно ступил на первое бревно. Он тщательно примеривался, куда ставить ногу, и в тех местах, где был стык стволов разной толщины, с трудом удерживал равновесие. Со вздохом облегчения добрался он до последнего ствола и наконец почувствовал под ногами твердую почву. Поглощенный трудностями переправы, он не заметил, что за ним наблюдают, и с удивлением услышал обращенные к нему слова:

— Надо иметь крепкие нервы, чтобы ходить по таким мосткам, да еще без привычки.

Шкипер поднял голову и увидел перед собой человека. Очевидно, тот вышел из дома, уже ранее замеченного им.

— Я видел, что вы не сразу решились,—улыбаясь, сказал незнакомец.—Думал, вы вот-вот свалитесь.

— Как бы не так,—ответил шкипер, который вновь обрел уверенность в себе.

— Мне и самому случалось падать здесь. Помню, как-то вечером я возвращался с охоты и упал в воду в чем был, вместе с ружьем. Теперь я беру мальчика, чтобы он носил ружье.

Это был уже немолодой человек с седеющей бородкой и с худощавым лицом. На нем была рубашка без

рукавов и парусиновые брюки, но не было ни носков, ни ботинок. По-английски он говорил с легким иностранным акцентом.

— Вы Нейлсон? — спросил шкипер.

— Он самый.

— Слышал о вас. Так и думал, что вы живете в этих краях.

Шкипер последовал за Нейлсоном в маленькое бунгало и тяжело опустился в предложенное ему кресло. Пока Нейлсон ходил за виски и стаканами, он оглядел комнату.

Она поразила его. Он никогда не видел такой массы книг. Все четыре стены, от пола до потолка, занимали полки, тесно уставленные книгами. Был здесь и рояль, заваленный нотами, и большой стол с разбросанными по нему книгами и журналами.

Вид комнаты привел шкипера в смущение. Но он вспомнил, что Нейлсон слывет чудаком. Никто о нем ничего толком не знал, хотя прожил он на островах уже много лет. Однако те, кому приходилось встречаться с ним, в один голос утверждали, что он человек со странностями. По национальности он был швед.

— У вас тут уйма книг, — сказал шкипер Нейлсону, когда тот вернулся.

— Ну что ж, от них вреда нет, — ответил Нейлсон с улыбкой.

— И вы их все прочли? — полюбопытствовал шкипер.

— Большую часть.

— Я и сам люблю почитать. Регулярно получаю «Сатердей ивнинг пост».

Нейлсон налил своему гостю стакан неразбавленного виски и угостил его сигарой. Шкипер счел своим долгом сообщить ему некоторые сведения о себе.

— Я прибыл вчера вечером, но не нашел прохода. Пришлось бросить якорь в море. Мне эта стоянка не знакома, но хозяева приказали мне доставить сюда кое-какой груз. Для Грэя. Вы слышали про такого?

— Да, у него магазин недалеко отсюда.

— Ну так вот, ему нужны консервы, а у него взамен имеется копра. Вот они и решили, что, чем стоять без дела в Апии, лучше мне отправиться сюда. Я обычно

хожу между Апией и Паго-Паго, но у них там сейчас оспа, вся жизнь замерла.

Он отпил виски и закурил сигару. Шкипер по натуре был молчалив, но что-то в Нейлсоне нервировало его и заставляло говорить. Швед смотрел на него большими черными глазами, в которых мелькала легкая усмешка.

— У вас тут славный уголок.

— Да, я немало постарался.

— Ваши деревья, надо думать, дают большой доход. Они у вас хороши, а копра сейчас в цене. У меня у самого была когда-то маленькая плантация на Уполу, да пришлось ее продать.

Шкипер вновь оглядел комнату, заставленную книгами, непонятными и, казалось, враждебными ему.

— А вам тут, должно быть, скучновато,— сказал он.

— Ничего, я привык. Я ведь здесь уже двадцать пять лет.

Не зная, что еще сказать, шкипер молча курил. Нейлсону, по всей видимости, не хотелось нарушать молчание. Он задумчиво рассматривал своего гостя. Это был высокий человек, более шести футов ростом, очень полный. У него было заплывшее жиром лицо, красное и все в пятнах, а щеки покрывала сеть фиолетовых жилок. Глаза были налиты кровью, шея терялась в складках жира. Он был совершенно лыс, если не считать длинной курчавой и почти белой бахромы волос на затылке; высокий блестящий лоб, вместо того чтобы создавать видимость ума, придавал ему, напротив, необыкновенно глупый вид. На нем была голубая фланелевая рубашка, открывавшая заросшую рыжими волосами грудь, и изрядно потрепанные синие шерстяные брюки.

Гость сидел на стуле в тяжелой некрасивой позе, выпятив большой живот и широко расставив толстые ноги. Тело его утратило всякую гибкость. Нейлсон лениво задал себе вопрос, как же выглядел этот человек в молодости. Было почти невозможно представить себе, чтобы эта туша была когда-то резвым мальчишкой.

Шкипер допил свое виски, и Нейлсон пододвинул к нему бутылку.

— Угощайтесь.

Шкипер наклонился и взял бутылку своей огромной ручищей.

— А вы как попали в эти края? — спросил он.

— Я приехал на острова из-за своего здоровья. У меня было неважно с легкими, и доктора сказали, что я не проживу и года. Как видите, они ошиблись.

— Я хотел спросить, как вышло, что вы поселились именно здесь?

— Я человек сентиментальный.

— А!..

Нейлсон видел, что шкипер не имеет ни малейшего понятия о том, что он этим хотел сказать, и в его черных глазах блеснул насмешливый огонек. Но, может быть, именно потому, что шкипер был так неотесан и туп, ему шутки ради захотелось продолжить разговор.

— Когда вы шли по мосткам, вы так боялись свалиться, что вряд ли что замечали вокруг, а ведь это место считается очень красивым.

— У вас здесь славный домишко.

— Ну, его-то здесь как раз не было, когда я сюда приехал. Здесь стояла круглая туземная хижина на сваях, с остроконечной крышей, под огромным деревом с красными цветами, окруженная, как изгородью, кротоновыми кустами с желтыми, красными, золотистыми листьями. А дальше повсюду росли кокосовые пальмы, грациозные, тщеславные, как женщины. Они стояли у самой воды и целыми днями любовались своим отражением.

Я тогда был еще молод — боже мой, ведь это было четверть века назад! — и я хотел насладиться всей красотой мира за то короткое время, что мне осталось до смерти. Когда я впервые попал сюда, у меня дух захватило, и я думал, что заплачу. Я в жизни не видел такой красоты. Мне было всего двадцать пять лет, и я храбрился — умирать мне не хотелось. И мне почему-то показалось, что самая красота этого места поможет мне примириться с судьбой... Когда я приехал сюда, я почувствовал, что все мое прошлое куда-то исчезло — Стокгольм и Стокгольмский университет, и затем Бонн, как будто это была чья-то чужая жизнь; как будто я только сейчас постиг ту реальность жизни, о которой так много говорят наши доктора философии — между прочим, я и сам доктор философии. «Один год, — сказал я себе, — мне остался один год. Я проведу его здесь, а потом я готов умереть».

Как мы глупы, сентиментальны, мелодраматичны, когда нам двадцать пять лет, но, если б не это, может быть, тогда к пятидесяти годам мы не были бы такими умудренными... Пейте, мой друг, пейте! Не обращайтесь внимания на мою болтовню.

Он жестом указал на бутылку, и шкипер допил свой стакан.

— А вы-то сами ничего не пьете? — спросил он, беря бутылку.

— Я трезвенник, — улыбнулся швед. — Я опьяняю себя другими, более тонкими способами. Но может быть, это просто тщеславие. Во всяком случае, эффект получается более длительный, а результаты менее пагубны.

— Говорят, в Штатах сейчас многие нюхают кокаин, — сказал шкипер.

Нейлсон только усмехнулся.

— Я редко вижу белых, и раз в жизни глоток виски, пожалуй, мне не повредит.

Он налил себе немного виски, добавил содовой и отпил из стакана.

— Наконец я понял, почему это место отличалось такой неземной красотой. Здесь на миг задержалась любовь, как перелетная птица, которая, случайно встретив корабль среди океана, садится на мачту и ненадолго складывает усталые крылья. Благоухание прекрасной страсти носилось здесь в воздухе, как аромат боярышника на лугах моей родины в мае. Мне кажется, что там, где люди сильно любили или сильно страдали, навсегда сохраняется слабый аромат чувства, как будто оно полностью не умирает, как будто эти места приобретают некую духовную значимость, которая таинственным образом отражается на тех, кто попадает туда. Жаль, что я не могу яснее это выразить, — он слегка улыбнулся, — но все равно, навряд ли вы и тогда поняли бы, что я хочу сказать.

Нейлсон помолчал.

— Может быть, это место казалось мне таким красивым, потому что здесь я пережил красивую любовь. — Он пожал плечами. — А может быть, просто моему эстетическому чувству импонировало удачное сочетание молодой любви и соответствующей оправы.

Даже человек, менее тупой, чем шкипер, был бы озадачен словами Нейлсона, потому что Нейлсон, каза-

лось, сам посмеивался над тем, что говорил. Как будто его откровенность диктовалась чувством, которое разум находил смешным. Он сам назвал себя сентиментальным, но, если к сентиментальности примешивается скепсис, из этого иногда черт знает что получается.

Нейлсон замолк на минуту и посмотрел на шкипера с внезапным любопытством, как бы силясь припомнить что-то.

— Вы знаете, мне все мерещится, что я вас уже где-то встречал,— сказал он.

— Я что-то не припоминаю,— возразил шкипер.

— Странное чувство, как будто ваше лицо мне знакомо. Я все пытаюсь вспомнить, где и когда я вас видел.

Шкипер пожал плечами.

— Уже тридцать лет, как я на островах. Где же тут упомнить всех, с кем встречался за такой срок.

Швед покачал головой.

— Знаете, иногда чувствуешь, что тебе почему-то знакомо место, где ты никогда не бывал. Вот у меня такое же ощущение, когда я смотрю на вас.— На лице его появилась странная улыбка.— А может быть, вы были начальником галеры в древнем Риме, а я рабом у весла. Так вы говорите, что прожили здесь тридцать лет?

— Тридцать, как один год.

— Не встречался ли вам человек, по прозвищу Рыжий?

— Рыжий?

— Я его знаю только под этим прозвищем. Сам я никогда не был с ним знаком и даже в глаза его не видал. И все же я представляю его себе яснее, чем многих других, например моих братьев, которых я видел ежедневно в течение многих лет. Он живет в моем воображении так же ясно, как Паоло Малатеста или Ромео. Впрочем, вы, вероятно, не читали ни Данте, ни Шекспира?

— Да вроде нет,— ответил шкипер.

Нейлсон, покуривая сигару, откинулся на спинку кресла и отсутствующим взглядом смотрел на плававший в неподвижном воздухе дым. На губах его играла улыбка, но глаза были серьезны.

Затем он взглянул на шкипера. В неимоверной тучности последнего было что-то отталкивающее. Его лицо отражало безграничное самодовольство, свойственное очень толстым людям. Это было возмутительно, это действовало Нейлсону на нервы. Однако контраст между его гостем и тем человеком, которого он мысленно представлял себе, был приятен ему.

— Похоже на то, что этот Рыжий был красавец хоть куда. Я разговаривал со многими людьми, к тому же белыми, которые знавали его в те дни, и все в один голос утверждали, что он был ослепительно красив.

Рыжим его прозвали за огненные волосы. Они вились от природы, и он носил длинную шевелюру. Должно быть, это был тот чудесный оттенок, на котором были помешаны прерафаэлиты. Не думаю, что он гордился своей шевелюрой—для этого он был слишком прост,—но, если бы и гордился, никто не осудил бы его за такое тщеславие.

Он был высокого роста, шести футов с лишним. В туземной хижине, которая здесь раньше стояла, на центральном столбе, поддерживавшем крышу, была зарубка, отмечавшая его рост. Сложен он был, как греческий бог, широкий в плечах, с узкими бедрами; в его фигуре была та мягкость линий, которую придал Пракситель своему Аполлону, и та же неуловимая женственная грация, волнующая и таинственная. Его кожа была ослепительно белая, бархатистая, как у женщины.

— У меня у самого была довольно белая кожа, когда я был мальчишкой,—сказал шкипер, и его налитые кровью глаза сощурились в усмешке.

Но Нейлсон как бы не слышал его. Он увлекся своим рассказом и не хотел, чтобы его перебивали.

— Лицо его было так же прекрасно, как и тело. У него были большие синие глаза, такие темные, что некоторые утверждали, что они черные. И в отличие от большинства рыжих—темные брови и длинные темные ресницы. Черты лица у него были абсолютно правильные, а рот похож на кровавую рану. Ему было двадцать лет.—На этом швед выдержал драматическую паузу и отпил глоток виски. Затем он продолжал:—Он был неповторим. Не было человека красивее его. Он был как

чудесный цветок на диком растении,— счастливая прихоть Природы.

Однажды Рыжий высадился в той бухте, где вы, должно быть, сегодня утром бросили якорь. Он был американским матросом и дезертировал с военного корабля в Апии. Он уговорил какого-то добросердечного туземца подвезти его на катере, шедшем из Апии в Сафоро. Здесь его ссадили на берег. Почему он дезертировал, я не знаю. Может быть, ему пришлось не по вкусу жизнь на военном корабле с ее строгостями; может быть, у него были неприятности; а может быть, просто на него подействовали Южные моря и эти романтические острова. Иногда они странно действуют на человека, он оказывается пойманным, как муха в паутину. Возможно, он был не в меру впечатлителен, и эти зеленые холмы, этот разнеживающий климат, это синее море отняли у него его силу северянина, как Далила отняла силу у Самсона. Так или иначе, ему нужно было скрыться, и он решил, что здесь можно прожить в безопасности до тех пор пока его корабль не уйдет с Самоанских островов.

На берегу лагуны была туземная хижина, и, пока Рыжий стоял здесь, не зная, куда ему направиться, из хижины вышла девушка и пригласила его войти. Он знал не более двух-трех слов на туземном языке, а она столько же по-английски. Но он отлично понял, что означали ее улыбки и приветливые жесты, и последовал за нею. Он сел на циновку, и она угостила его ломтиками ананаса.

О Рыжем я знаю только понаслышке, но девушку я сам видел через три года после их встречи. Тогда ей было всего девятнадцать лет. Вы не можете себе представить, как она была прелестна. В ней была чувственная грация и богатые краски тропического цветка. Высокая, стройная, с тонкими чертами, присутствующими ее народу, с большими глазами, похожими на тихие заводи под пальмами. Ее черные вьющиеся волосы рассыпались по спине, а голова была увенчана душистыми цветами. У нее были очаровательные руки, такие маленькие, такой прекрасной формы, что от одного взгляда на них дух захватывало.

В те дни она охотно смеялась. Улыбка у нее была такая нежная, что сердце замирало, а кожа золотилась, как пшеничное поле в солнечный день.

Боже! Как мне описать ее? Она была сказочно хороша.

И эти юные создания — ей было шестнадцать лет, а ему двадцать — влюбились друг в друга с первого взгляда. Такова истинная любовь, не та любовь, которая вырастает из взаимной симпатии, общих интересов, духовной близости, но любовь простая, первозданная. Так полюбил Адам Еву, когда он проснулся и впервые увидел ее в саду, смотрящую на него влажными глазами. Это была та любовь, которая влечет друг к другу зверей и богов. Та любовь, которая делает мир чудом. Та любовь, которая дает жизни ее внутренний смысл. Вы никогда, вероятно, не слышали об умном и циничном французском герцоге, который сказал, что из двух любовников всегда один любит, а другой только позволяет себя любить; это горькая истина, с которой большинство из нас вынуждено мириться. И очень редко бывает так, что оба любят одинаково. Тогда, наверно, само солнце останавливается, как остановилось оно, когда Иисус Навин воззвал к богу Израиля.

Даже теперь, после стольких лет, когда я вспоминаю об этих юных существах, таких прекрасных, простых, и об их любви, у меня щемит сердце. Оно сжимается так же, как это иногда бывает, когда я ночью смотрю на полную луну, сияющую в чистом небе над тихой лагуной. Созерцание идеальной красоты всегда рождает боль.

Они были детьми. Девушка была добрая, милая и нежная. О нем я ничего не знаю, но хочу думать, что по крайней мере в то время он был бесхитростным и чистосердечным. Мне хочется думать, что душа его была так же прекрасна, как его тело. Но очень возможно, что у него было не больше души, чем у населявших леса созданий, которые делали свирели из камыша и купались в горных ручьях и озерах, когда мир был еще молод и когда маленькие фавны скакали по долинам верхом на бородатых кентаврах. Беспокойная вещь — душа, и с тех пор, как человек приобрел ее, он лишился Эдема.

Да, так вот, незадолго до появления Рыжего на острове здесь разразилась эпидемия, одна из тех, которые заносит в страны Южных морей белый человек; треть обитателей острова вымерла. Девушка потеряла всех своих родных и жила у дальних родичей. Вся семья

состояла из двух древних старух, морщинистых и сгорбленных, двух женщин помоложе, мужчины и мальчика.

Рыжий пробыл у них несколько дней. Но то ли его смущала близость берега и возможность встречи с белыми, которые выдадут его убежище, то ли влюбленные не хотели, чтобы посторонние хоть на минуту лишали их радости быть вдвоем; так или иначе, однажды они оба, забрав с собой нехитрые пожитки девушки, отправились в путь по заросшей травой тропинке под кокосовыми пальмами и пришли к речке, которую вы сейчас видите. Им пришлось перейти мостик, по которому и вы переправлялись, и девушка весело смеялась над робостью Рыжего. Она довела его за руку до конца первого ствола, но тут мужество покинуло его, и ему пришлось вернуться. Он был вынужден снять с себя всю одежду, прежде чем снова рискнул ступить на мост, и девушка перенесла его вещи на голове.

Они поселились в пустой хижине, которая стояла здесь. То ли девушка имела на нее какие-либо права (права на землю на этих островах — сложная вещь), то ли хозяин хижины умер во время эпидемии, во всяком случае, никто их ни о чем не спрашивал, и они завладели хижинкой. Вся их обстановка состояла из пары циновок, на которых они спали, осколка зеркала и двух-трех мисок. Но в таком благословенном уголке этого было вполне достаточно, чтобы зажить своим домом.

Говорят, что у счастливых людей нет истории и, уж конечно, ее нет у счастливой любви. Они целыми днями ничего не делали, и все же дни казались им слишком короткими. У девушки было туземное имя, но Рыжий звал ее Салли. Он быстро научился несложному языку туземцев и часами лежал на циновке, слушая ее веселый щебет. Он был молчалив, а может быть, ум его еще не пробудился... Он беспрестанно курил сигареты, которые она делала ему из туземного табака и листьев пандана, и наблюдал, как она своими ловкими пальцами плела циновки из травы.

К ним часто заходили туземцы; они рассказывали длинные истории о былых временах, когда на острове шла война между племенами. Иногда Рыжий рыбачил на рифе и приносил корзину разноцветной рыбы. Иногда

ночью он уходил с фонарем ловить омаров. Вокруг хижины росли бананы. Салли пекла их, и это тоже было частью их скромной пищи. Салли умела делать вкуснейшие кушанья из кокосовых орехов, а хлебное дерево, росшее на берегу речки, давало им свои плоды. По праздникам закалывали поросенка и жарили мясо на горячих камнях. Они вместе купались в речке, а вечером катались на челноке по лагуне.

На закате темно-синее море окрашивалось в цвет красного вина, как море гомеровской Греции; в лагуне же оно переливалось всеми оттенками, от аквамарина до аметиста и изумруда; а лучи заходящего солнца на короткое время придавали ему вид жидкого золота. В море были кораллы всех цветов: коричневые, белые, розовые, красные, фиолетовые. Они были похожи на волшебный сад, а сновавшие в воде рыбы — на бабочек. Все это напоминало сказку. Среди зарослей кораллов встречались открытые места с белым песчаным дном и с кристально чистой водой, в которой очень хорошо было купаться.

Уже в сумерках они медленно, держась за руки, возвращались к себе по заросшей мягкой травой тропинке, освеженные и счастливые. Птицы майна наполняли кокосовые рощи своим щебетом. Наступала ночь, и огромное небо, сверкавшее золотыми звездами, казалось шире, чем небо в Европе, а легкий ветерок продувал их открытую хижину. Но и эта длинная ночь тоже казалась им слишком короткой.

Ей было шестнадцать, а ему едва минуло двадцать лет. Рассвет проникал между столбов хижины и смотрел на этих прелестных детей, спавших в объятиях друг друга. Солнце, чтобы не потревожить их, сначала пряталось за большими резными листьями бананов, а затем его золотой луч, как будто лапка ангорской кошки, лукаво трогал их лица. Они открывали сонные глаза и улыбкой встречали новый день.

Недели превращались в месяцы, прошел год. Они, казалось, любили друг друга так же — я не хочу сказать страстно, потому что в страсти всегда есть оттенок печали, примесь горечи или муки, — но так же безгранично, так же просто и естественно, как в тот день, когда они впервые встретились и поняли, что в них вселилось божество.

Я уверен, что они не допускали мысли, что их любовь может когда-нибудь иссякнуть. Разве мы не знаем, что главное в любви — это вера в то, что она будет длиться вечно. И все-таки, может быть, в Рыжем уже таилось крошечное семя будущего пресыщения, о котором ни он, ни девушка не подозревали, когда однажды туземец, приехавший со взморья, сказал им, что недалеко от берега стало на якорь английское китобойное судно.

— Вот здорово! — сказал Рыжий. — Уж не попробовать ли мне добыть у них фунта два табаку в обмен на орехи и бананы?

Сигареты из пандановых листьев, которые Салли без устали крутила ему, были крепкими и достаточно приятными на вкус, но они не удовлетворяли его; ему вдруг ужасно захотелось настоящего табаку, забористого и пахучего. Много месяцев он не курил трубки, и при одной мысли об этом у него потекли слюнки.

Можно было бы ожидать, что Салли почует недоброе и попытается его отговорить, однако любовь переполняла ее настолько, что она и подумать не могла о том, что есть такая сила на земле, которая может отнять у нее Рыжего. Они вместе отправились на холмы, набрали большую корзину диких апельсинов, зеленых, но сладких и сочных; возле хижины они нарвали бананов, кокосовых орехов, плодов хлебного дерева и манго и все это снесли на берег. Нагрузив утлый челнок, Рыжий вместе с мальчиком-туземцем, тем самым, который сообщил им о прибытии судна, поплыл за риф.

Больше Салли его никогда не видела.

На другой день мальчик вернулся один, весь в слезах. Он рассказал, что, когда они добрались до судна и Рыжий окликнул людей на борту, показался белый человек и позвал их наверх. Захватив с собой привезенные фрукты, Рыжий вывалил их на палубу. Белый человек заговорил с Рыжим, и они, как видно, о чем-то условились. Один из матросов пошел вниз и принес табаку. Рыжий тут же набил трубку и закурил. Мальчик показал, с каким удовольствием он затянулся и выпустил большой клуб дыма.

Затем они ему что-то сказали, и он вошел в каюту.

Мальчик, с любопытством наблюдая через открытую дверь, видел, как принесли бутылку и стаканы. Рыжий пил и курил.

Белые, по-видимому, задали ему какой-то вопрос, потому что он покачал головой и засмеялся. Человек, который первым заговорил с ними, тоже смеялся и снова наполнил стакан Рыжего. Они продолжали разговаривать и пить, и мальчик, устав в конце концов наблюдать зрелище, смысла которого он не мог уловить, свернулся калачиком на палубе и заснул.

Он проснулся от пинка; вскочив на ноги, он увидел, что корабль медленно выходит из лагуны. Рыжий крепко спал, сидя за столом и положив отяжелевшую голову на руки. Мальчик шагнул было к нему, чтобы разбудить его, но чья-то рука грубо схватила его за плечо, и хмурый матрос, обругав его на непонятном ему языке, указал на борт. Тогда он громко окликнул Рыжего, но в ту же секунду его схватили и швырнули в воду. Поняв, что он ничего не может сделать, он подплыл к своему челноку, дрейфовавшему неподалеку, подогнал его к рифу, влез в него и, плача, стал грести к берегу.

Объяснялось все это просто. На китобойном судне не хватало матросов — то ли они болели, то ли разбежались, — и капитан предложил Рыжему завербоваться, а когда тот отказался, напоил его и просто увез.

Салли была вне себя от горя. В течение трех дней она рыдала и билась в отчаянии. Туземцы всячески старались утешить ее, но напрасно. Она ничего не ела. А потом, совсем обессилев, погрузилась в мрачную апатию.

Долгие дни она проводила на берегу, не спуская глаз с лагуны, в тщетной надежде на то, что Рыжему как-нибудь удастся сбежать. Она часами сидела на белом песке, и слезы лились у нее по щекам, а с наступлением ночи устало брела через речку к маленькой хижине, где она когда-то была счастлива. Люди, с которыми она жила до появления Рыжего на острове, уговаривали ее возвратиться к ним, но она отказалась: она была уверена, что Рыжий вернется, и хотела, чтобы он нашел ее на том же месте, где оставил.

Четыре месяца спустя она родила мертвого ребенка, и старуха, которая пришла помочь ей при родах, осталась жить в ее хижине.

Из ее жизни ушла вся радость. Хотя с течением времени ее боль перестала быть такой невыносимой, на

смену ей пришла постоянная меланхолия. Нельзя было себе представить, что среди этого народа, чьи чувства бурны, но мимолетны, найдется женщина, способная на такую длительную страсть. Она не переставала верить, что рано или поздно Рыжий вернется. Она ждала его, и каждый раз, когда кто-нибудь шел по узкому мостику, она поднимала голову в надежде, что наконец увидит его...

Нейлсон умолк и слегка вздохнул.

— Что же с ней было дальше? — спросил шкипер.

Нейлсон горько усмехнулся.

— Через три года она сошлась с другим белым.

— Так у них обычно и бывает, — сказал шкипер с циничным смешком.

Швед бросил на него взгляд, полный ненависти. Он не знал, почему этот грубый, ожиревший человек вызывал в нем такое отвращение. Вскоре, однако, мысли его отвлеклись, и на него нахлынули воспоминания.

Они перенесли его на двадцать пять лет назад, к той поре, когда он впервые приехал на остров из Апии, надоевшей ему своим пьянством, азартными играми и грубым развратом. Он был тяжело болен и пытался привыкнуть к мысли о крушении карьеры, с которой связывал столько честолюбивых мечтаний. Отбросив всякую надежду стать когда-нибудь знаменитым, он старался заставить себя быть довольным теми немногими месяцами осторожной жизни, на которые мог рассчитывать, если будет беречь себя.

Он поселился у метиса-торговца, которому принадлежала лавка на берегу, милях в двух отсюда, на окраине туземной деревни. Однажды, бесцельно бродя по заросшим травой тропинкам среди кокосовых пальм, он наткнулся на хижину, в которой жила Салли. Красота этого уголка породила в его душе огромный, чуть ли не болезненный восторг. И тут он увидел Салли.

Более красивого создания он еще никогда не встречал, а печаль в ее великолепных черных глазах вызвала в нем странное чувство. Канаки — красивый народ, но красота их скорее напоминает красоту животных. Она пуста. Однако трагические глаза Салли хранили какую-то тайну; в них отражалась вся растерянность и горечь

израненной души. Торговец рассказал ему историю Салли, и она тронула его.

— Как по-вашему, Рыжий когда-нибудь вернется? — спросил Нейлсон.

— Какое там! Ведь команду рассчитают не раньше чем года через два, а к тому времени он забудет и думать о Салли. Уверен, что когда он проснулся и понял, что его нарочно споили и увезли, он порядком взбесился и, наверное, даже полез в драку. Но в конце концов ему пришлось смириться, а через месяц он, наверное, был рад-радешенек, что уехал с острова.

Нейлсон не мог выбросить этот рассказ из головы. Может быть, именно потому, что сам он был больной и слабый, брызжащее через край здоровье Рыжего импонировало его воображению. Будучи сам некрасив, с незначительной внешностью, он высоко ценил красоту в других. Он никогда страстно не любил и тем более никогда не был страстно любим. Почему-то взаимная привязанность этих двух юных созданий бесконечно радовала его. В ней была совершенная красота, говорящая о Вечном.

Он снова отправился к маленькой хижине у реки. У него были способности к языкам и энергичный ум, привыкший работать. Он посвятил уже немало времени изучению туземного языка. Теперь в силу старой привычки он собирал материал для научной работы по языку самоанцев.

Старуха, жившая у Салли, пригласила его войти и присесть. Она угостила его кавой и сигаретами. Она была рада, что ей есть с кем поболтать, а он, пока старуха говорила, разглядывал Салли. Она напомнила ему Психею из Неаполитанского музея. У нее были такие же четкие и чистые черты лица, и хотя она уже прошла через материнство, выглядела она как юная девушка.

Лишь после второй или третьей встречи Нейлсон слышал ее голос. Но и тогда она нарушила молчание лишь для того, чтобы спросить, не встречал ли он в Апии человека по прозвищу Рыжий. Два года прошло с его исчезновения, но было ясно, что она непрестанно думает о нем.

Вскоре Нейлсон понял, что он влюблен. Только усилием воли он заставлял себя не ходить к речке

каждый день, но, даже когда он не видел Салли, его мысли были о ней.

Сначала, считая себя обреченным, он стремился лишь видеть ее, лишь изредка слышать ее голос, и его любовь была для него источником огромного счастья. Он радовался чистоте своего чувства. Он ничего не хотел от Салли, он хотел только сплестать вокруг этой грациозной девушки узор чудесных фантазий.

Но свежий воздух, ровный климат, отдых, простая пища оказали неожиданное действие на его здоровье. У него прекратились опасные ночные скачки температуры, он стал меньше кашлять и прибавил в весе; полгода у него не было кровохарканья, и тогда он вдруг понял, что, может быть, выживет. Он тщательно изучал свою болезнь, и у него появилась надежда, что, соблюдая осторожность, он может пресечь ее развитие.

Возможность снова думать о будущем воодушевила его. Он стал строить планы. Было ясно, что ни о какой напряженной деятельности не может быть и речи; но он мог жить на островах, а его небольшого дохода, которого было бы недостаточно во всяком другом месте, здесь ему вполне хватит. Он станет выращивать кокосовые пальмы,—значит, будет чем заняться; и он выпишет свои книги и рояль; но он быстро понял, что всем этим он только пытается скрыть от себя охватившую его страсть.

Ему нужна была Салли. Он любил не только ее красоту, но и ее душу, которую смутно угадывал по выражению ее страдальческих глаз. Он опьянит ее своей страстью. Он заставит ее забыть. И, отдаваясь нахлынувшему на него чувству, он представлял себе, что сможет дать ей то счастье, которое он считал навсегда утраченным для себя и которое так чудесно обрел.

Он предложил ей жить с ним. Она отказалась. Отказ его не обескуражил — он ожидал его. Но он был уверен, что рано или поздно она уступит. Его любовь одолеет все.

Он сказал старухе о своих намерениях и не без удивления убедился, что и старуха и соседи, давно разгадав их, усиленно уговаривали Салли принять его предложение. Ведь каждая туземная женщина была рада стать хозяйкой в доме белого человека, а Нейлсон, по местным понятиям, был богат.

Торговец, у которого он жил, пошел к Салли и убеждал ее не быть дурой; такая возможность больше не представится, и теперь, когда прошло столько времени, нельзя рассчитывать, что Рыжий вернется.

Соппротивление девушки только подстегнуло Нейлсона, и то, что прежде было очень чистой любовью, превратилось в мучительную страсть. Он твердо решил смести все преграды. Он не давал Салли покоя. Наконец, сломленная его настойчивостью и то ласковыми, то сердитыми увещеваниями всех окружающих, она согласилась.

Но когда на следующий день он пришел к ней, переполненный радостным чувством, то обнаружил, что ночью она сожгла хижину, в которой когда-то жила с Рыжим. Старуха выбежала ему навстречу, сердито ругая Салли, но он отмахнулся от нее; это неважно, они построят бунгало на том месте, где стояла хижина. Европейский дом будет даже удобнее, раз он собирается выписать сюда рояль и много книг.

Так появился деревянный домик, в котором он впоследствии прожил много лет, и Салли стала его женой. Но после первых недель восторгов, когда Нейлсон удовлетворялся тем, что она давала ему, он все-таки знал мало счастья. Она покорила ему, потому что устала сопротивляться, но отдала только то, чему не придавала цены. Душа ее, которую он смутно угадывал, ускользала от него. Он знал, что она совершенно равнодушна к нему. Она все еще любила Рыжего и все время ждала его возвращения. Нейлсон знал, что, невзирая на всю его любовь, его нежность, его сочувствие и щедрость, она бросила бы его без малейшего колебания по первому знаку Рыжего. Она даже не задумалась бы о том, какое горе это ему причинит.

Для него это стало мукой; он тщетно пытался пробить непроницаемую стену, которую она воздвигла вокруг себя. К его любви примешалась горечь. Он старался растопить сердце Салли добротой, но оно оставалось таким же холодным; он притворялся равнодушным — она не замечала этого. Иногда он выходил из себя и ругал ее, и тогда она молча плакала. Иногда он думал, что сам себя обманул, сам выдумал ее душу

и что он потому не может проникнуть в святая святых ее сердца, что этого святая святых вообще не существует.

Его любовь стала тюрьмой, из которой он стремился бежать, но у него не хватало силы просто открыть дверь — большего и не требовалось — и выйти на свободу. Это было мучением, и под конец он потерял надежду и уже не чувствовал боли. Огонь его страсти выгорел, и, когда он видел, что ее взгляд на секунду задерживается на мостике, его охватывала уже не ярость, а досада. Они прожили вместе много лет, связанные узами привычки и удобства, и сейчас он с улыбкой вспоминал свою былую страсть. Она была уже старой женщиной, потому что женщины на островах старятся быстро, и он уже не любил ее, но научился относиться к ней снисходительно. Она больше не была ему нужна. Он вполне довольствовался своим роялем и книгами.

Эти мысли вызвали в Нейлсоне желание говорить.

— Когда я оглядываюсь назад и думаю о краткой, но страстной любви Рыжего и Салли, мне кажется, что, пожалуй, они должны благодарить безжалостную судьбу, которая разлучила их, когда их любовь, казалось, была еще в зените. Они страдали, да, но страдания их были красивы. Истинная трагедия любви миновала их.

— Я что-то не совсем вас понимаю, — сказал шкипер.

— Трагедия любви это не смерть и не разлука. Ведь как знать, сколько бы еще длилась их любовь. Как горько смотреть на женщину, которую когда-то любил всем сердцем, всей душой — любил так, что ни минуты не мог быть без нее, — и сознавать, что ты ничуть не был бы огорчен, если бы больше никогда ее не увидел. Трагедия любви — это равнодушие.

Но пока Нейлсон говорил, произошло нечто очень странное. Хотя он обращался к шкиперу, он говорил не с ним; он просто излагал свои мысли для себя, глядя при этом на человека, сидевшего перед ним. Но вдруг в его сознании возник образ — образ не того, кого он видел перед собой, а другого. Он как будто смотрел в кривое зеркало, которое делает человека или необычайно толстым, или ужасно длинным; только сейчас происходило как раз обратное: в отталкивающем тучном старике он вдруг на мгновение увидел образ юноши.

Он пристально взгляделся в своего гостя. Почему случайная прогулка завела его именно сюда?

У него внезапно дрогнуло сердце. Нелепое подозрение вдруг зародилось в нем. Это казалось немыслимым, а между тем...

— Как ваше имя? — спросил он резко.

Шкипер прищурился и хитро усмехнулся. На лице его появилось злорадное и отвратительно вульгарное выражение.

— Черт побери, меня уже так давно никто не называл по имени, что я и сам почти забыл его; но вот уже тридцать лет, как здесь, на островах, меня все зовут Рыжим.

Его тучное тело затряслось от тихого, почти неслышного смеха. Это было омерзительное зрелище.

Нейлсона передернуло. А Рыжего все это, видимо, очень забавляло, и от смеха в его налитых кровью глазах выступили слезы.

Нейлсон вздрогнул, потому что в эту минуту в комнату вошла женщина. Это была благообразная туземка, полная, но не тучная, очень смуглая — кожа туземцев с возрастом темнеет — и совершенно седая. На ней было свободное платье из тонкой черной ткани, сквозь которую просвечивали ее тяжелые груди. Критический момент наступил.

Женщина что-то сказала Нейлсону насчет домашних дел. Когда он отвечал ей, собственный голос показался ему неестественным, но он не был уверен, почувствовала ли она это. Женщина равнодушно посмотрела на человека, сидевшего у окна, и вышла из комнаты. Критический момент наступил — и прошел.

Нейлсон не мог выговорить ни слова. Он был потрясен. Затем он все же заставил себя сказать:

— Буду рад, если вы останетесь и перекусите со мной, чем бог послал.

— Боюсь, что не смогу, — сказал Рыжий. — Я должен разыскать этого самого Грэя. Отдам ему его товары и уеду обратно. Мне нужно завтра же быть в Апии.

— Я пошлю мальчика проводить вас.

— Вот и прекрасно.

Рыжий с трудом поднял свое грузное тело с кресла, а швед позвал одного из мальчишек, работавших на

плантации. Он объяснил ему, куда нужно идти шкиперу, и мальчик пошел через мостик. Рыжий приготовился следовать за ним.

— Не свалитесь! — сказал Нейлсон.

— Ни в жизнь!

Нейлсон следил за ним, и, когда тот исчез за кокосовыми пальмами, он продолжал неподвижно стоять у окна. Затем он тяжело опустился на стул. Неужели это и был тот человек, которого Салли любила все эти годы и которого она так отчаянно ждала. Какая чудовищная насмешка! Внезапно бешенство охватило его. Ему захотелось вскочить и крушить все вокруг. Его обманули. Они встретились наконец и не узнали друг друга. Он невесело засмеялся, и смех его, становясь все громче, напоминал истерику. Боги сыграли над ним жестокую шутку. А сейчас он уже стар...

Наконец вошла Салли и сказала, что обед готов. Он сидел напротив нее и пытался есть. Что бы она сказала, если бы знала, что толстый старик, только что сидевший здесь в кресле, был тот возлюбленный, которого она все еще помнила со всем пылом юности. Много лет назад, когда он ненавидел ее за то, что она так его мучила, ему доставило бы удовольствие сказать ей это. Он тогда хотел причинить ей боль, такую же, какую она причиняла ему, потому что его ненависть была та же любовь.

Но сейчас ему было все равно. Он безразлично пожал плечами.

— Что нужно было тому человеку? — спросила она.

Он не сразу ответил. Она тоже была старая. Толстая старая туземка. Ему уже было непонятно, почему он когда-то любил ее так безумно. Он сложил к ее ногам все сокровища своей души, а ей это было совершенно не нужно.

Зря! Все зря!

Сейчас, когда он смотрел на нее, он чувствовал только презрение. Хватит терпеть!

Он ответил:

— Это был капитан шхуны. Приехал из Апии.

— А...

— Он привез мне новости из дома. Мой старший брат очень болен, и я должен вернуться.

— Вы надолго уезжаете?

Он пожал плечами.

Новый помощник прибыл после полудня. Когда мистеру Уорбертону, резиденту, доложили, что прау¹ уже видна, он надел тропический шлем и спустился к реке. Почетный караул — восемь малорослых солдат-даяков — вытянулся в струнку при его появлении. Резидент с удовольствием отметил про себя, что вид у солдат бравый, мундиры опрятны и впору, а оружие так и сверкает. Да, ему есть чем гордиться. Стоя на пристани, он не спускал глаз с поворота реки, из-за которого через минуту стремительно вылетит лодка. В белоснежном полотняном костюме, в белых туфлях он выглядел безукоризненно. Под мышкой он держал пальмовую трость с золотым набалдашником — подарок султана, правителя Перака. Он ждал с двойственным чувством. Конечно, одному человеку не под силу управляться со всеми делами округа, а всякий раз, когда он совершает очередной объезд вверенного ему края, приходится оставлять резиденцию на попечение служащего-туземца, и это очень неудобно; но он слишком долго был здесь единственным белым, и приезд другого белого пробуждал в его душе невольные опасения. Он привык к одиночеству. Во время войны он три года не видел ни одного соотечественника; однажды его предупредили, что к нему приедет специалист по лесоводству, и предстоящая встреча с чужим человеком напугала его до крайности; он распорядился, чтобы приезжего приняли и устроили наилучшим образом, оставил записку, объясняя, что дела вынуждают его отлучиться, — и сбежал; вернулся он лишь после того, как его известили с нарочным, что гость уехал.

И вот в том месте, где река изогнулась широкой дугой, показалась прау. На веслах сидели арестанты-даяки, приговоренные к различным срокам заключения; двое конвойных ждали их на пристани, чтобы опять отвести в тюрьму. Даяки, крепкие молодцы, с детства привычные к реке, размеренно и сильно взмахивали веслами. Когда лодка подошла к берегу, из-под навеса на корме поднялся человек и шагнул на пристань. Солдаты взяли на караул.

Прау — малайская лодка.

— Наконец-то приехали! Фу, черт, насилу разогнулся. Я привез вам почту.

Вновь прибывший говорил бойко, весело. Уорбертон учтиво протянул руку:

— Мистер Купер, я полагаю?

— Ну, конечно. А вы ждали кого-нибудь еще?

Он, должно быть, шутил, но резидент не улыбнулся.

— Моя фамилия Уорбертон. Пойдемте, я покажу вам, где вы будете жить. Ваши вещи туда принесут.

Он пошел впереди Купера по узкой тропинке, и вскоре они оказались на огороженном участке, перед небольшим бунгалом.

— Я велел, насколько возможно, привести этот дом в порядок, но, конечно, чувствуется, что он много лет пустовал.

Дом был построен на сваях. Он состоял из длинной столовой, выходявшей на широкую веранду, и двух спален в глубине, разделенных коридором.

— Подходяще,— сказал Купер.

— Очевидно, вы хотите принять ванну и переодеться. Буду очень польщен, если вы сегодня отобедаете у меня. В восемь часов вам будет удобно?

— Мне во всякий час удобно.

Резидент ответил любезной, но несколько растерянной улыбкой и откланялся. Он возвратился к себе в форт. Аллан Купер произвел на него не слишком благоприятное впечатление, но мистер Уорбертон был человек справедливый и понимал, что не следует судить столь поспешно. Много ли узнаешь с одного взгляда? На вид Куперу лет тридцать. Он высок, худощав, лицо изжелта-бледное, без румянца. Оно словно все окрашено одной краской. Большой ястребиный нос, карие глаза. Когда, войдя в дом, он снял шлем и швырнул его слуге, Уорбертон подумал, что такая крупная голова с коротко стриженными каштановыми волосами как-то не очень гармонирует с безвольным подбородком. На Купере были шорты и рубашка хаки, потрепанные и в пятнах, помятый шлем давным-давно не чищен. Впрочем, подумал мистер Уорбертон, ведь молодой человек провел неделю на каботажном пароходишке, а последние двое суток пролежал на дне прау.

— Посмотрим, в каком виде он явится к обеду.

Мистер Уорбертон прошел в свою комнату, где все уже было для него приготовлено с такой тщательностью, как будто ему служил лакей-англичанин, разделся, спустился по лестнице в душ и облился холодной водой. Климату мистер Уорбертон делал одну-единственную уступку — надевал к обеду белый смокинг, в остальном же он одевался так, словно обедал в своем клубе на Пэл-Мэл: крахмальная сорочка, стоячий воротничок, шелковые носки, лакированные туфли. Рачительный хозяин, он заглянул в столовую и убедился, что там все в идеальном порядке. На столе — яркие орхидеи, серебро ослепительно сверкает. Искусно сложены салфетки. Свечи под колпачками, в серебряных подсвечниках, льют мягкий, приятный свет. Мистер Уорбертон одобритительно улыбнулся и, возвратясь в гостиную, стал ждать. Вскоре явился и гость. На нем были шорты, рубашка хаки и потрепанная куртка — тот самый наряд, в котором он вышел сегодня из лодки. Приветливая улыбка застыла на губах Уорбертона.

— Ого, каким вы франтом! — воскликнул Купер. — Я и не знал, что вы переоденетесь к обеду. Чуть было не заявился к вам в саронге¹.

— Это не имеет значения. Я понимаю, у ваших слуг сейчас много дела.

— Из-за меня, знаете, вы могли и не утруждать себя.

— Я и не утруждал себя из-за вас. Я всегда переодеваюсь к обеду.

— Даже когда обедаете один?

— В особенности когда обедаю один, — ледяным тоном ответил Уорбертон.

Он заметил насмешливые искорки в глазах Купера, и кровь бросилась ему в лицо. Мистер Уорбертон был вспыльчив, вы тотчас угадали бы это по красному воинственному лицу, по рыжим, теперь уже седеющим волосам; голубые глаза его, обычно холодные и проницательные, метали молнии, когда его охватывал приступ бешенства; но он был человек светский и, как сам полагал, справедливый. Он должен сделать все возможное, чтобы поладить с этим субъектом.

¹ Саронг — национальная мужская и женская одежда малайцев, вид юбки.

— В бытность мою в Лондоне я вращался в кругах, где переодеваться к обеду так же естественно, как принимать ванну каждое утро, иначе вас сочтут просто чудаком. И, приехав на Борнео, я не видел причины изменить этому прекрасному обычаю. Во время войны я три года не видел ни одного белого. Но не было случая, чтобы я не переоделся к обеду,— разве что был болен и вообще не обедал. Вы еще новичок в здешних краях; поверьте мне, это наилучший способ сохранить чувство собственного достоинства. Когда белый человек хоть в малой мере поддается влиянию окружающей среды, он быстро теряет уважение к себе, а коль скоро он перестанет сам уважать себя, можете быть уверены, что и туземцы очень быстро перестанут его уважать.

— Ну, если вы воображаете, что я в такую жару влезу в крахмальную рубашку и стоячий воротничок, так вы сильно ошибаетесь.

— Когда вы обедаете у себя дома, вы, разумеется, вольны одеваться как вам угодно, но в тех случаях, когда вы делаете мне честь обедать у меня, быть может, вы хотя бы из вежливости станете одеваться так, как это принято в цивилизованном обществе.

Вошли два боя-малайца в саронгах и щеголеватых белых куртках с медными пуговицами; один нес коктейли, другой—поднос с маслинами и анчоусами. Затем гость и хозяин перешли в столовую. Мистер Уорбертон гордился тем, что его повар-китаец—лучший повар на всем острове, и всячески старался, чтобы стол у него был образцовый, насколько это возможно в такой глуши. Китаец не жалел труда, изобретая самые тонкие яства, какие можно приготовить из доступных здесь продуктов.

— Не хотите ли посмотреть меню?—спросил мистер Уорбертон, передавая листок Куперу.

Меню было написано по-французски, у всех блюд—звучные, торжественные названия. За столом прислуживали те же два боя. Два других, стоя в противоположных углах столовой, огромными опахалами приводили в движение знойный воздух. Трапеза была великолепная, шампанское—выше всяких похвал.

— И вы каждый день так едите?—спросил Купер.

Уорбертон бросил небрежный взгляд на меню.

— По-моему, обед сегодня такой же, как всегда. Сам я ем очень мало, но поставил за правило, чтобы мне каждый день подавали приличный обед. Это весьма полезно: и для повара практика, и слуги приучены к порядку.

Поддерживать разговор было нелегко. Мистер Уорбертон был изысканно любезен и, может быть, чуточку злорадствовал,—его забавляло, что такая учтивость сбивает собеседника с толку. Купер пробыл в Сембулу всего несколько месяцев и почти ничего не мог рассказать Уорбертону о его знакомых в Куала-Солор.

— Кстати,—спросил Уорбертон,—вы не встречались с неким Хинерли? Он, по-моему, недавно приехал.

— Как же, знаю. Он служит в полиции. Ужасный хам.

— А мне кажется, он должен быть прекрасно воспитан. Он приходится племянником моему другу лорду Бараклафу. Только на днях я получил письмо от леди Бараклаф с просьбой повидать его.

— Да, я слышал, что он кому-то там родня. Наверно, потому и место получил. Он учился в Итоне и Оксфорде и хвастается этим на каждом шагу.

— Вы меня удивляете,—сказал мистер Уорбертон.—Все молодые люди из его рода учатся в Итоне и Оксфорде уже на протяжении нескольких веков. Я думаю, он не видит в этом ничего необыкновенного.

— По-моему, он самодовольный болван.

— А вы какую школу окончили?

— Я родился на Барбадосе. Там и учился.

— Ах, вот как.

Уорбертон ухитрился произнести это короткое замечание таким обидным тоном, что Купер весь вспыхнул. Он молчал, не находя ответа.

— Я получил несколько писем из Куала-Солор,—продолжал Уорбертон,—и у меня создалось впечатление, что молодой Хинерли пользуется там большим успехом. Говорят, он первоклассный спортсмен.

— Ну еще бы, он личность известная. Они там, в Куала-Солор, таких обожают. А я лично не вижу в первоклассных спортсменах никакого толку. Играет человек в гольф и в теннис лучше других — а что с того в конечном-то счете? Что за важность, если он ловко разбивает пирамидку на бильярде? В Англии больно много значения придают всей этой чепухе.

— Вы так полагаете? А мне всегда казалось, что первоклассные спортсмены во время войны показали себя ничуть не хуже других.

— Ну, уж если вы завели речь о войне, так тут я знаю, о чем говорю. Я был с этим Хинерли в одном полку, и можете мне поверить, люди его терпеть не могли.

— Откуда вы знаете?

— Я сам был у него под началом.

— А, так, значит, вы не дослужились до офицера?

— Черта с два я мог дослужиться. Я ведь уроженец колоний, так это называется. Я не учился в привилегированной школе, и у меня нет связей. Вот и проторчал всю эту окаянную войну рядовым.

Купер нахмурился. Ему, видно, стоило немалого труда сдержаться и не разразиться бранью. Мистер Уорбертон изучал его, прищурив свои небольшие светлые глаза, изучал — и составил окончательное о нем суждение. Переменив тему, он заговорил о новых обязанностях Купера и, едва часы пробили десять, поднялся.

— Что ж, не смею больше вас задерживать. Вы, вероятно, устали с дороги.

Они обменялись рукопожатием.

— Да, вот еще что, — сказал Купер. — Может быть, вы поможете мне найти боя? Мой прежний слуга исчез, когда я уезжал из Куала-Солор. Погрузил мои вещи в лодку и больше не показывался. Я и не знал, что его нет, пока мы не отплыли.

— Я спрошу своего старшего боя. Без сомнения, он вам кого-нибудь подыщет.

— Вот и хорошо. Вы ему просто скажите, пускай пришлет парня ко мне, я на него погляжу и, если понравится, возьму.

Светила луна, и в фонаре не было нужды. Купер направился через форт к своему бунгало.

«Понять не могу, почему мне прислали этого субъекта? — недоумевал мистер Уорбертон. — Неужели нельзя было найти кого-нибудь получше? Люди этого сорта не многого стоят».

Он прошел в сад. Форт стоял на вершине холма, а сад спускался к самой реке; здесь, на берегу, в зеленой тенистой беседке Уорбертон любил выкурить послеобеденную сигару. И нередко с реки, текущей у его ног, слышался человеческий голос — голос какого-нибудь

робкого малайца, который не осмелился бы прийти к нему при свете дня,— и слух резидента ловил произнесенную шепотом жалобу или обвинение, весть или намек; все это могло ему очень и очень пригодиться, но никогда он не узнал бы этого официальными путями. Он тяжело опустился в плетеный шезлонг. Этот Купер! Завистливый, дурно воспитанный мальчишка, заносчивый, самоуверенный и тщеславный... Но тихий вечер был так хорош, что досада мистера Уорбертона быстро улеглась. Воздух напоен был сладостным ароматом — это цвело дерево, росшее у входа в беседку,— и в сумерках неторопливо пролетали светлячки, будто мерцающие серебристые искры. По речной глади месяц разостлал светлую дорожку для легконогой возлюбленной бога Шивы, тонко вычерчены в небе силуэты пальм, растущих на том берегу. Мир и покой снизошли в душу мистера Уорбертона.

Странный он был человек и жизнь прожил необычную. В двадцать один год он получил солидное наследство, сто тысяч фунтов, и, окончив Оксфорд, предался развлечениям, какие в то время (мистеру Уорбертону недавно минуло пятьдесят четыре) были к услугам молодого человека из хорошей семьи. У него была квартира на Маунт-стрит, кабриолет, охотничий домик в Уорикшире. Он бывал повсюду, где собирались сливки общества. Красивый, щедрый, занимательный собеседник, он был заметной фигурой в лондонском свете начала девяностых годов — лондонский свет тогда еще не утратил своего блеска и был доступен лишь для избранных. Об англо-бурской войне, которая нанесла ему первый удар, никто еще и не помышлял; мировую войну, его сокрушившую, предрекали одни только заядлые пессимисты. В ту пору роль богатого молодого человека была весьма приятна, и в разгар лондонского сезона каминная доска мистера Уорбертона была завалена приглашениями на званые обеды, балы и вечера. Мистер Уорбертон с удовольствием выставлял их напоказ. Ибо мистер Уорбертон был сноб. Не робкий, застенчивый сноб, которого и самого несколько смущает почтение, испытываемое им к тем, кто стоит выше него; не тот сноб, что добивается близости известных политических деятелей или знаменитостей из мира искусства, и не тот, которого ослепляет богатство,— нет, он был самый обыкновенный, наивный, чистейшей воды сноб, с

обожанием взирающий на всякую титулованную особу. Самолюбивый и вспыльчивый, он, однако, предпочитал насмешку лорда лести простого смертного. Его имя упоминалось мельком в «Книге пэров» Бэрка, и любопытно было наблюдать, как ловко умудрялся он в разговоре ввернуть словечко о своей косвенной принадлежности к знатному роду; но ни разу ни словом он не обмолвился о добропорядочном ливерпульском фабриканте, от которого через свою мать, некую мисс Габбинс, унаследовал свое состояние. Он постоянно терзался страхом, как бы кто-нибудь из его ливерпульских родственников не заговорил с ним на регате в Коузе или на скачках в Аскоте в ту минуту, когда он будет беседовать с какой-нибудь герцогиней или даже с принцем крови.

Его слабость была столь явной, что быстро стала известна всем и каждому, но этот откровенный снобизм был чересчур нелеп, чтобы вызвать одно лишь презрение. Великие люди, перед которыми он преклонялся, смеялись над ним, однако в глубине души считали это преклонение естественным. Бедняга Уорбертон, конечно, был ужасный сноб, но, в общем, славный малый. Он всегда рад был уплатить по счету за благородного пэра без гроша в кармане, и, оказавшись на мели, вы наверняка могли перехватить у него сотню фунтов. Он угощал отличными обедами. В вист играл плохо, но не горевал о проигрыше, лишь бы партнеры принадлежали к избранным мира сего. Он был страстный игрок по натуре, и притом игрок неудачливый, но он умел проигрывать, и нельзя было не восхищаться хладнокровием, с каким он за один присест выкладывал пятьсот фунтов. Страсть к картам была в нем почти так же сильна, как страсть к титулам, и она-то и привела его к гибели. Он жил на широкую ногу, проигрывал огромные деньги. А играл он все азартнее, увлекся скачками, потом биржей. Он был в какой-то мере простодушен и оказался легкой добычей для иных беззастенчивых хищников. Не знаю, понимал ли он, что его великосветские друзья смеются над ним за его спиной; но, мне кажется, чутье подсказывало ему, что он не должен и виду подавать, будто знает счет деньгам. Он попал в лапы ростовщиков. В тридцать четыре года он был разорен.

До мозга костей проникшийся духом своего класса, он не стал колебаться и раздумывать. Когда человек его

круга промотает все свои деньги, ему остается одно: уехать в колонии. Никто не слышал, чтобы Уорбертон возроптал на судьбу. Он не жаловался на то, что некий высокородный приятель посоветовал ему пуститься в рискованную спекуляцию, не стал спрашивать денег с тех, кому давал займы; он уплатил свои долги (знал бы он, что это в нем заговорила презренная кровь ливерпульского фабриканта!) и ни у кого не просил помощи. Он, доныне не ударявший палец о палец, стал искать способы зарабатывать на жизнь. При этом он по-прежнему был весел, беззаботен, всегда в духе. Он вовсе не желал портить людям настроение рассказами о своей беде. Мистер Уорбертон был сноб, но притом он был еще и настоящий джентльмен.

Лишь об одном одолжении попросил он своих высокопоставленных друзей, с которыми водил знакомство долгие годы: о рекомендательных письмах. Тогдашний султан Сембулу, человек неглупый, взял его на службу. Вечером, в канун отплытия из Англии, он последний раз обедал в своем клубе.

— Я слышал, вы уезжаете, Уорбертон? — спросил его старый герцог Хэрифорд.

— Да, еду на Борнео.

— Боже милостивый, что это вам вздумалось?

— Просто я разорен.

— Вот как? Жаль. Ну что ж, дайте нам знать, когда вернетесь. Надеюсь, вы неплохо проведете время.

— О да. Там, знаете, отличная охота.

Герцог кивнул ему и прошел мимо. Спустя несколько часов мистер Уорбертон с борта корабля следил, как тают в тумане берега Англии и с ними все, ради чего, по его понятиям, стоило жить на свете.

С тех пор прошло двадцать лет. Он вел оживленную переписку со многими знатными дамами, и письма его были веселы и занимательны. Он по-прежнему питал пристрастие к титулованным особам и внимательно следил за каждым их шагом по светской хронике в «Таймсе» (лондонские газеты доходили к нему через полтора месяца). Он прочитывал все сообщения о рождениях, смертях и свадьбах и спешил письмом поздравить или же выразить соболезнование. По иллюстрированным изданиям он знал, как меняются лица и моды, и, наезжая время от времени в Англию, всякий раз мог возобновить старые связи, точно они и не

прерывались, и был вполне осведомлен о каждом новом человеке, который за последнее время оказался на виду. Высший свет влек его ничуть не меньше, чем в ту пору, когда он и сам был туда вхож. И ему по-прежнему казалось, что в мире нет ничего важнее.

Но мало-помалу нечто новое вошло в его жизнь. Пост, который он теперь занимал, тешил его тщеславие; он уже не был жалким льстецом, жаждущим улыбки великих мира сего, он был господин и повелитель, чье слово — закон. Ему приятно было, что у него есть личная охрана из солдат-даяков и они берут на караул при его появлении. Ему нравилось вершить судьбы своих ближних. Приятно было улаживать раздоры между вождями враждующих племен. В давние времена, когда немало хлопот доставляли охотники за черепами, он сам взялся примерно их наказывать и был весьма горд тем, что во время этой экспедиции вел себя очень недурно. Крайне тщеславный, он не мог не быть отважным, и его дерзкое хладнокровие стало притчей во языцех: рассказывали, что он один явился в укрепленное селение, где засел кровожадный пират, и потребовал, чтобы тот сдался. Он стал умелым правителем. Он был строг, справедлив и честен.

И понемногу он искренне привязался к малайцам. Его занимали их нравы и обычаи. Он никогда не уставал их слушать. Он восхищался их достоинствами и, с улыбкой пожимая плечами, прощал их грехи.

— В былые времена,— говаривал он,— узы дружбы связывали меня со многими знатнейшими людьми Англии, но никогда я не встречал более безупречных джентльменов, чем иные малайцы хорошего рода, которых я с гордостью могу назвать моими друзьями.

Ему нравились их учтивость и умение себя держать, их кротость и внезапные вспышки страстей. Безошибочное чутье подсказывало ему, как с ними обращаться. Он питал к ним неподдельную нежность. Однако ни на минуту не забывал, что сам он — англичанин и джентльмен, и не прощал тем белым, которые позволяли себе перенимать туземные обычаи. Он не шел ни на какие уступки. Он не последовал примеру многих и многих белых, берущих в жены туземок, ибо интрижки подобного рода, хотя и освященные обычаем, казались ему не только скандальными, но несовместимыми с достоинством настоящего джентльмена. Человек, которого

сам Альберт-Эдуард, принц Уэльский, называл просто по имени, разумеется, не вступит в связь с туземкой. И теперь, возвращаясь на Борнео из своих поездок в Англию, он испытывал что-то похожее на облегчение. Его друзья, как и сам он, были уже не молоды, а новое поколение видело в нем просто докучливого старика. Нынешняя Англия, казалось ему, утратила многое из того, что было ему дорого в Англии его юности. А вот Борнео не меняется. Здесь теперь его родной дом. Он останется на своем посту как можно дольше. В глубине души он надеялся, что не доживет до того времени, когда придется подать в отставку. В своем завещании он написал, что, где бы ни пришлось ему умереть, он желает, чтобы прах его перевезли в Сембулу и похоронили среди народа, который он полюбил, на берегу, куда доносится мягкий плеск реки.

Но эти свои чувства он тщательно скрывал, и, глядя на него, полного, коренастого, одетого франтом, на его энергичное, чисто выбритое лицо и седеющие волосы, никто не заподозрил бы, что он таит в душе столь глубокую и нежную привязанность.

Мистер Уорбертон досконально разбирался в том, как надлежит вести дела, и в первые дни не спускал глаз с нового помощника. Очень скоро он убедился, что Купер — работник дельный и старательный. Лишь одно можно было поставить ему в укор: он грубо обращался с туземцами.

— Малайцы робки и крайне чувствительны, — сказал ему Уорбертон. — Старайтесь обходиться с ними всегда вежливо, с терпением и кротостью, и вы скоро увидите, что это наилучший способ чего-либо от них добиться.

Купер коротко, резко рассмеялся.

— Я родился на Барбадосе, воевал в Африке. Надо думать, негров я знаю неплохо.

— Я их совсем не знаю, — сухо заметил мистер Уорбертон. — Но мы не о неграх говорим. Речь идет о малайцах.

— Да какая разница!

— Вы очень невежественны, — сказал мистер Уорбертон.

На том разговор и кончился.

В первое же воскресенье мистер Уорбертон позвал Купера обедать. Он всегда строго соблюдал этикет, и, хотя они виделись накануне в канцелярии и потом, в

шесть часов, вместе пили джин с содовой на веранде форта, он отправил боя через дорогу с церемонным письменным приглашением. Купер, правда без особой охоты, облачился в смокинг; мистер Уорбертон, хоть и довольный тем, что его желание исполнено, поглядел на молодого человека с тайным презрением: костюм плохо сшит, сорочка сидит нескладно. Однако в этот вечер он был в духе.

— Кстати,—сказал он гостю,—я говорил с моим старшим боем о том, чтобы подыскать вам слугу, и он рекомендует своего племянника. Я его видел, он производит впечатление смышленного и старательного юноши. Хотите на него взглянуть?

— Можно.

— Он здесь дожидается.

Мистер Уорбертон позвал старшего боя и велел ему прислать племянника. Через минуту появился высокий, стройный малаец лет двадцати. У него были большие темные глаза и точеный профиль. Саронг, короткая белая куртка, бархатная цвета спелой сливы феска без кисточки—все на нем было опрятно и к лицу. Звался он Аббасом. Мистер Уорбертон посмотрел на него одобрително, и взгляд, и голос его невольно смягчились, когда он обратился к юноше; по-малайски он говорил легко и свободно. С белыми мистер Уорбертон часто бывал язвителен, но в его обращении с малайцами счастливо сочетались снисходительность и дружелюбие. Он был здесь царь и бог. Но он умел, не роняя собственного достоинства, в то же время не подавлять туземцев своим величием.

— Подходит вам этот юноша?—спросил он Купера.

— Что ж, наверно, он не больший негодяй, чем все прочие.

Мистер Уорбертон объявил малайцу, что его наняли, и отпустил.

— Вам очень повезло,—заметил он Куперу.—Юноша из прекрасной семьи. Они переселились сюда из Малакки чуть ли не сто лет тому назад.

— Ну, знаете, его дело чистить мне башмаки и подать напиток, а течет в его жилах голубая кровь или еще какая-нибудь—это меня мало интересует. Мне надо, чтоб он делал, что ему велено, да поживее.

Мистер Уорбертон поджал губы, но не сказал ни слова.

Они прошли в столовую. Обед был превосходный, вино отличное. Скоро оно подействовало на обоих, и они стали беседовать не только без колкостей, но даже дружелюбно. Мистер Уорбертон любил жить в свое удовольствие, а воскресные вечера имел обыкновение проводить еще приятнее, чем будни. Он подумал, что, пожалуй, был не совсем справедлив к Куперу. Разумеется, Купер не джентльмен, но ведь это не его вина, а если узнать его поближе, может быть, он окажется славным малым. Пожалуй, все его недостатки — плод дурного воспитания. И работник он, безусловно, расторопный, добросовестный, на него можно положиться. К тому времени, как подали десерт, мистер Уорбертон преисполнился благожелательности ко всему роду человеческого.

— Сегодня первое ваше воскресенье на новом месте, и я хочу угостить вас стаканчиком совсем особенного портвейна. У меня осталось всего около двух дюжин, я берегу его для торжественных случаев.

Он отдал распоряжение, и вскоре принесли бутылку. Мистер Уорбертон следил за тем, как бой ее раскупоривал.

— Я получил его от моего старого друга Чарлза Холлингтона. У него этот портвейн хранился сорок лет, и у меня он тоже хранится уже долгие годы. Винный погреб Чарлза Холлингтона считается лучшим во всей Англии.

— Он что, торгует вином?

— Не совсем, — улыбнулся мистер Уорбертон. — Я говорю о лорде Холлингтоне из Каслрэя. Он один из самых богатых английских пэров. Мой старинный друг. Я учился в Итоне с его братом.

Подобного случая мистер Уорбертон никак не мог упустить, и он рассказал анекдот, вся соль которого, кажется, заключалась только в том, что он, Уорбертон, знаком был с одним графом. Портвейн и в самом деле был превосходный; мистер Уорбертон выпил стаканчик, потом другой. Он утратил всякую осмотрительность. Много месяцев не приходилось ему говорить с англичанином. Он пустился в воспоминания. Да, когда-то он был своим человеком среди великих людей. Слушая его, можно было подумать, что стоило ему в ту пору шепнуть словечко на ушко герцогине или в застольной беседе бросить намек ближайшему советнику монарха — и по

его подсказке послушно меняли состав кабинета и принимали важнейшие политические решения. Далекие дни Аскота, Гудвуда и Коуза ожили в его памяти. Еще стаканчик портвейна. В Йоркшире и в Шотландии каждый год устраивались грандиозные приемы — и он бывал там постоянным гостем.

— У меня служил тогда некий Формен — лучшего лакея я не видывал — и, как по-вашему, из-за чего он взял расчет? Вы ведь знаете, за столом у мажордома горничные и лакеи сидят по старшинству, согласно рангу их господ. И он заявил мне, что ему надоело ездить на балы и званые обеды, где я — единственный человек без титула. Из-за этого он всегда должен сидеть в самом конце стола, и, пока блюдо дойдет до него, все лучшие куски уже разобраны. Я рассказал об этом герцогу Хэрифорду, и он очень смеялся. «Ей-богу, сэр, — сказал он, — будь я король Англии, я сделал бы вас виконтом только для того, чтобы удружить вашему лакею». — «Возьмите его к себе, герцог, — сказал я. — У меня за всю жизнь не было лучшего слуги». — «Отлично, Уорбертон, — ответил герцог. — Если он подходит вам, значит подойдет и мне. Пришлите его».

Далее последовал рассказ о Монте-Карло, где мистер Уорбертон вместе с великим князем Федором однажды сорвал банк, а затем — о Мариенбаде. В Мариенбаде мистер Уорбертон играл в баккара с Эдуардом VII.

— Тогда он, разумеется, был еще только принцем Уэльским. Помню, он сказал мне: «Джордж, если вы прикупите к пятерке, вы спустите все до нитки». И он был прав; я думаю, он за всю свою жизнь не сказал ничего более справедливого. Удивительный это был человек. Я всегда говорил, что он величайший дипломат Европы. Но я тогда был молод и глуп, у меня не хватило ума последовать его совету. Послушайся я его, не прикупи я тогда к пятерке, я не сидел бы сейчас здесь.

Купер внимательно слушал. Его карие глубоко посаженные глаза смотрели жестко и презрительно, губы насмешливо кривились. В Куала-Солор он наслушался рассказов об Уорбертоне. Неплохой малый, говорили про него, и порядок в своем округе навел образцовый, но, господи, какой сноб! Над ним беззлобно посмеивались — трудно судить строго человека столь щедрого и доброжелательного, — и Купер уже раньше слышал историю о принце Уэльском и об игре в баккара. Но сейчас

она не показалась ему занятой. С самого начала его задело поведение резидента. Он был очень самолюбив, и его передергивало от вежливых колкостей мистера Уорбертона. У мистера Уорбертона был особый дар: на слова, которых он не одобрял, отвечать убийственным молчанием. Купер жил в Англии очень недолго и до крайности невзлюбил англичан. Пуще всего он не терпел питомцев привилегированных школ, так как всегда боялся, что они будут смотреть на него свысока. От страха, как бы другие не стали задира́ть перед ним нос, от желания опередить их, он сам уж до того задира́л нос, что все считали его нестерпимо самонадеянным.

— Ну, как ни верти, а в одном отношении война пошла нам на пользу,— сказал он наконец.— Она сокрушила власть аристократии. Бурская война уложила ее в гроб, а четырнадцатый год заколотил крышку.

— Лучшие семейства Англии обречены,— меланхолически произнес мистер Уорбертон, точно эмигрант, вздыхающий о дворе Людовика XV.— Им уже не по средствам жить в своих великолепных дворцах, и их княжеское гостеприимство скоро отойдет в область преданий.

— Туда ему и дорога!

— Мой бедный Купер, что можете вы об этом знать? Что вам «былая слава Греции и Рима блеск былой»?

Мистер Уорбертон широко повел рукою. Глаза его на мгновение затуманились—он созерцал невозвратное прошлое.

— Ну, знаете, мы по горло сыты этой чепухой. Что нам нужно, так это дельное правительство с дельными людьми во главе. Я родился в колонии, в колониях провел чуть не всю жизнь. За ваших высокородных лордов я гроша ломаного не дам. Главная беда Англии—снобизм. А для меня самое ненавистное существо на свете—сноб.

Сноб! Мистер Уорбертон побагровел, глаза его гневно вспыхнули. Всю жизнь его преследовало это слово. Знатные леди, знакомство с которыми так льстило ему в молодости, благосклонно принимали его восхищение, но даже и знатные леди бывают порою не в духе—и не раз мистеру Уорбертону бросали в лицо это ненавистное словечко. Он знал, он не мог не знать, что есть такие ужасные люди, которые называют его снобом. Какая несправедливость! Да ведь, на его взгляд, нет, греха

отвратительней снобизма. В конце концов, просто ему приятно общаться с людьми своего круга, лишь среди них он чувствует себя как дома — какой же это снобизм, скажите на милость?! Родство душ...

— Совершенно с вами согласен,— сказал он Куперу.— Сноб — это человек, который восхищается другими или презирает их только за то, что они занимают в обществе более высокое положение, чем он сам. Это вульгарнейшая черта английского буржуа.

Глаза Купера насмешливо блеснули. Он ухмыльнулся и прикрыл рот ладонью, отчего эта широкая усмешка стала еще заметнее. У мистера Уорбертона задрожали руки.

Вероятно, Купер так и не понял, как глубоко он оскорбил своего начальника. Сам очень уязвимый и обидчивый, он был до странности глух к чужим обидам.

Они вынуждены были двадцать раз на дню встречаться для коротких деловых разговоров, а в шесть часов вместе выпивали по стаканчику на веранде у мистера Уорбертона. То был испокон веков заведенный в этих краях обычай, и мистер Уорбертон ни за что не желал его нарушить. Но обедали они врозь: Купер — у себя в бунгало, Уорбертон — в форте. Закончив дневную работу, оба любили пройтись, пока не стемнело, но и гуляли они врозь. Тропинки были наперечет, джунгли со всех сторон обступали селение и плантации, и, узнав издали размашистую походку своего помощника, мистер Уорбертон предпочитал сделать крюк, лишь бы с ним не встретиться. Его давно уже раздражали дурные манеры Купера, и заносчивость, и нетерпимость; но только когда Купер провел в форте месяца три, произошел случай, после которого неприязнь резидента обратилась в жгучую ненависть.

Мистеру Уорбертону нужно было совершить инспекционную поездку по округу, и он спокойно оставил резиденцию на Купера, так как за это время окончательно уверился, что на него можно положиться. Одно плохо: он слишком резок. Честный, справедливый, усердный работник, он совершенно не понимает туземцев. Мистера Уорбертона и возмущало, и смешило, что человек, считающий себя ничуть не хуже всякого другого, столь многих людей ставит ниже себя. Он не знает снисхождения, не желает вникать в психологию туземцев, и притом он груб. Мистер Уорбертон быстро понял,

что малайцы невзлюбили Купера и боятся его. Нельзя сказать, чтобы это очень огорчило резидента. Не слишком приятно было бы, если б его помощника стали здесь уважать так же, как его самого. Тщательно все подготовив, мистер Уорбертон отправился в путь и вернулся через три недели. Тем временем прибыла почта. Первое, что бросилось в глаза Уорбертону, когда он вошел в гостиную, была гора распечатанных газет. Купер встретил его, и в дом они вошли вместе. Мистер Уорбертон обратился к одному из слуг, остававшихся дома, и, указывая на газеты, сурово спросил, что это значит.

— Это я хотел узнать подробности уолверхемптонского убийства, вот и позаимствовал ваш «Таймс»,— поспешил объяснить Купер.— Я все газеты принес обратно. Я знал, что вы не будете против.

Бледный от гнева, Уорбертон обернулся к нему.

— Нет, я против. Я решительно против!

— Прошу прощения,—невозмутимо сказал Купер.— Я просто не мог дожидаться, пока вы вернетесь.

— Странно, что вы не вскрыли заодно и моих писем.

Купер улыбнулся, нимало не смущаясь недовольством своего начальника.

— Ну, это ведь не одно и то же. Мне и в голову не пришло, что вы всерьез будете недовольны, если я просмотрю ваши газеты. В них нет ничего личного.

— Мне в высшей степени неприятно, когда кто бы то ни было читает мои газеты раньше меня.— Мистер Уорбертон подошел к заваленному газетами столу. Тут было около тридцати номеров.— Я считаю ваш поступок чрезвычайно дерзким. Все газеты перепутаны.

— Мы сейчас же приведем их в порядок,—сказал Купер, тоже подходя к столу.

— Не прикасайтесь к ним!—воскликнул мистер Уорбертон.

— Послушайте, ну что за ребячество—устраивать сцены из-за такого пустяка.

— Как вы смеете так со мной разговаривать?

— А, да подите вы к черту!—сказал Купер и выбежал вон.

Мистер Уорбертон, весь дрожа от ярости, стоял перед грудой газет. Величайшее наслаждение, какое ему еще оставалось в жизни, погубили грубые, равнодушные руки. Почти все, кто живет вдали от родины, на глухих окраинах, спешат, едва приходит почта, развернуть

газеты и хватаются прежде всего за последние номера, чтобы поскорей узнать самые свежие новости. Почти все — но не мистер Уорбертон. Он специально распорядился, чтобы на каждой бандероли, в которой ему высылали газету, проставлены были день и число, и, получив сразу большую пачку, просматривал даты и синим карандашом нумеровал бандероли. Старшему бою велено было каждое утро к чаю, который сервировался на веранде, подавать и газету, и для мистера Уорбертона это было ни с чем не сравнимое удовольствие: вскрыть обертку и за чашкой чая просмотреть утреннюю газету. В эти минуты ему казалось, что он дома, в Англии. Каждый понедельник он читал понедельничный «Таймс» полуторамесячной давности, каждый вторник — номер от вторника, и так всю неделю. По воскресеньям он читал «Обсервер». Так же, как и привычка переодеваться к обеду, это было нитью, связующей его с цивилизацией. И он гордился тем, что, сколь ни волнительны были новости, ни разу не поддавшись искушению вскрыть газету раньше положенного срока. Во время войны неизвестность подчас становилась нестерпимой, и, прочитав однажды, что началось наступление, он пережил жесточайшие муки ожидания, от которых мог бы легко себя избавить, попросту распечатав следующий номер газеты, лежавший на полке. Никогда еще мистер Уорбертон не подвергал себя более тяжкому испытанию, — но вышел из него победителем. А этот бестактный болван распечатал туго свернутые аккуратные пачки, потому что ему, видите ли, не терпелось узнать, убила ли какая-то мерзавка своего негодяя мужа.

Мистер Уорбертон послал за старшим боем и велел ему принести оберточной бумаги. Он сложил каждый номер как мог аккуратнее, заново обернул и перенумеровал. Но невеселое это было занятие.

— Никогда ему не прощу, — сказал он. — Никогда.

Старший бой, разумеется, сопровождал своего господина в поездке — мистер Уорбертон всегда брал его с собой, потому что он до тонкости изучил вкусы и привычки хозяина, а мистер Уорбертон был не из тех путешественников, которые в джунглях согласны обойтись без удобств; но теперь, возвратясь, бой успел уже поболтать с другими слугами. Он узнал, что у Купера были нелады с его боями и все, кроме Аббаса, ушли от

него. Аббас тоже хотел уйти, но дядя определил его в услужение к Куперу потому, что так велел сам резидент, и, не спросясь дяди, он боялся уйти.

— Я ему сказал, что он хорошо поступил, туан¹,—сказал старший бой Уорбертону.—Но ему там плохо. Он говорит, это нехороший дом, другие ушли, можно ему тоже уйти?

— Нет, он должен остаться. Тому туану нужны слуги. Заменяли ли тех, которые ушли?

— Нет, туан, никто не идет.

Мистер Уорбертон сдвинул брови. Купер—наглый дурак, но он занимает официальное положение, и ему подобает соответствующий штат прислуги. Недопустимо, чтобы в доме у него не было надлежащего порядка.

— Где те слуги, которые убежали от туана Купера?

— Они в деревне, туан.

— Пойди и поговори с ними сегодня же, скажи им, я надеюсь, что завтра на рассвете они вернутся в дом туана Купера.

— Они не захотят идти, туан.

— Если я велю?..

Старший бой прослужил у резидента пятнадцать лет и знал наизусть каждую нотку его голоса. Он не боялся своего туана, они через многое прошли вместе: однажды в джунглях хозяин спас ему жизнь, а один раз их лодку перевернуло на порогах, и, если бы не он, мистер Уорбертон утонул бы; но он хорошо знал, когда следует повиноваться беспрекословно.

— Я пойду в деревню,—сказал он.

Мистер Уорбертон полагал, что его помощник воспользуется первым же удобным случаем и извинится за свою грубость; но Купер, человек дурно воспитанный, не умел просить прощения, и, когда на другое утро они встретились в канцелярии, вел себя так, словно ничего не случилось. Поскольку мистер Уорбертон три недели пробыл в отъезде, им не миновать было продолжительной беседы. Покончив с делами, он отпустил Купера:

— Благодарю вас, это все.—Тот повернулся, чтобы уйти, но Уорбертон остановил его:—У вас, кажется, были неприятности с вашими слугами?

Купер зло засмеялся:

¹ Господин (малайск.).

— Они пытались меня шантажировать. У них хватило нахальства удрать — у всех, кроме этого бестолкового Аббаса, он-то понимает, что ему крупно повезло, — но я был тверд, как камень. Ну, у них и поубавилось спеси.

— Что вы имеете в виду?

— Сегодня утром все они опять были на местах — повар-китаец и прочие. И все как ни в чем не бывало; можно подумать, они у себя дома. Сообразили, надо полагать, что я не так глуп, как им казалось.

— Ничего подобного. Они вернулись по моему специальному распоряжению.

Купер слегка покраснел.

— Я просил бы не вмешиваться в мои личные дела.

— Это не ваше личное дело. Когда от вас сбегают слуги, вы оказываетесь в глупом положении. Сами вы вольны выставять себя на посмешище, сколько вам угодно, но я не могу допустить, чтобы вас поднимали на смех другие. Вы не должны оставаться без прислуги, это неприлично. Как только я услышал, что ваши бои ушли от вас, я велел им чуть свет снова быть на месте. Вот и все.

Мистер Уорбертон кивнул, давая понять, что разговор окончен. Купер не обратил на это внимания.

— А знаете, что я сделал? Я созвал их и уволил всю эту паршивую шайку. Сказал, чтоб через десять минут их духу не было в доме.

Мистер Уорбертон пожал плечами.

— Почему вы думаете, что вам удастся нанять других?

— Я велел своему секретарю об этом позаботиться.

Мистер Уорбертон минуту подумал.

— По-моему, вы вели себя очень неразумно. Впредь вам полезно помнить, что у хорошего хозяина все слуги хороши.

— Еще чему вы хотите меня учить?

— Я охотно поучил бы вас приличным манерам, но, боюсь, это будет тяжкий и неблагодарный труд, а я не имею возможности тратить время понапрасну. Я позабочусь о том, чтобы вы не остались без прислуги.

— Пожалуйста, не трудитесь. Я и сам достану себе прислугу.

Мистер Уорбертон язвительно улыбнулся. Похоже, что Купер его так же не терпит, как он — Купера, а что может быть досаднее, чем необходимость принять одолжение от ненавистного тебе человека?

— Позвольте сказать вам, что нанять здесь малайцев или китайцев вам теперь будет не легче, чем англичанина дворецкого или повара-француза. Если кто-либо и пойдет к вам в услужение, то единственно лишь по моему приказу. Угодно вам, чтобы я распорядился?

— Нет.

— Воля ваша. До свидания.

Холодно и насмешливо наблюдал мистер Уорбертон за дальнейшим ходом событий. Секретарю Купера не удалось уговорить ни одного малайца, даяка или китайца пойти на службу к такому хозяину. Аббас, единственный, кто остался ему верен, умел готовить только туземные блюда — и, как ни был неприхотлив Купер, неизменный рис в конце концов ему осточертел. У него не было водоноса, а в такую жару необходимо несколько раз в день принять ванну. Он клял Аббаса на чем свет стоит, но Аббас выслушивал его в угрюмом молчании и делал лишь то, что считал нужным. Купера бесило сознание, что малаец не уходит от него только по приказу резидента. Так продолжалось две недели, а потом в одно прекрасное утро те самые слуги, которым он дал расчет, вновь оказались на своих местах. Купер пришел в ярость, однако за это время он все-таки научился уму-разуму и, ни слова не сказав, оставил их у себя. Он примирился со своим унижением, но странности мистера Уорбертона теперь не только злили его — презрение перешло в угрюмую ненависть: ведь этот ехидный сноб сделал его посмешищем в глазах туземцев!

Теперь эти двое не поддерживали никаких неофициальных отношений друг с другом. Нарушен был освященный годами обычай — в шесть часов вечера выпивать по стаканчику вина с любым белым, оказавшимся в пределах резиденции, все равно, по душе он вам или не по душе. Каждый жил так, словно другого нет на свете. Теперь, когда Купер вполне освоился с работой, им почти не было нужды разговаривать друг с другом и по службе. Мистер Уорбертон все распоряжения передавал своему помощнику только через курьера или письменно, в строго официальной форме. Виделись они постоянно, этого никак нельзя было избежать, но за неделю не обменивались и десятком слов. Уже одно то, что они не могли не попадаться друг другу на глаза, раздражало и злило обоих. Взаимная неприязнь не давала им покоя, и

мистер Уорбертон во время вечерней прогулки только о том и думал, до чего ему ненавистен его помощник.

И, что самое ужасное, по всей вероятности, им придется вести такую жизнь один на один, в непримиримой вражде, до тех пор, пока Уорбертон не уедет в отпуск. А это будет только через три года. И у него нет оснований жаловаться высшему начальству. Купер прекрасно справляется со своими обязанностями, а время такое, что нового помощника подыскать нелегко. Правда, до резидента доходили туманные жалобы и намеки на то, что Купер чересчур резок с туземцами. Без сомнения, они недовольны. Но когда мистер Уорбертон пробовал разобраться в том или ином случае, он мог сказать только, что Купер был суров там, где не повредила бы мягкость, и черств тогда, когда сам он, Уорбертон, проявил бы участие. Однако он не делал ничего такого, за что можно было бы взыскать. Но Уорбертон не спускал с него глаз. Ненависть обостряет зрение. Он догадывался, что Купер едва ли считает туземцев людьми, хоть в обращении с ними и не выходит за рамки законности, понимая, что так он вернее досадит своему начальнику. Но, пожалуй, настанет день, когда он зайдет слишком далеко. Мистер Уорбертон хорошо знал, каким раздражительным делает человека вечная жара и как трудно после бессонной ночи сохранять самообладание. Он внутренне посмеивался. Рано или поздно Купер сам отдаст себя в его власть.

Когда это наконец случилось, мистер Уорбертон рассмеялся вслух. Купер ведал заключенными; они прокладывали дороги, строили сараи, садились на весла, когда надо было выслать лодку вверх или вниз по реке, поддерживали чистоту в форте и выполняли другие необходимые работы. Те, кто отличался хорошим поведением, иногда даже служили в доме у белых, Купер не давал им пощады. Пусть пошевеливаются! Он с наслаждением изобретал для них все новые и новые задачи; арестанты быстро понимали, что их заставляют тратить силы впустую, и делали все кое-как. Купер в наказание заставлял их работать дольше обычного. Это было против правил, и когда об этом сообщили мистеру Уорбертону, он, ни слова не сказав помощнику, немедленно распорядился, чтобы работы производились только в установленные часы; Купер, выйдя на прогулку, с

удивлением увидел, что арестанты возвращаются в тюрьму: по его приказу они должны были работать дотемна. Он спросил надзирателя, почему работу прекратили так рано, и услышал в ответ, что так велел резидент.

Купер побелел от бешенства и зашагал к форту. Мистер Уорбертон, в белоснежном полотняном костюме и аккуратном шлеме, с тростью под мышкой, как раз собирался со своими собаками на вечернюю прогулку. Он видел, как незадолго до того Купер вышел из дому и спустился к реке. Теперь он, перескакивая через две ступеньки, взбежал на веранду и подошел к Уорбертону.

— Какого дьявола вы отменили мой приказ, чтобы арестанты работали до шести? — выпалил он, вне себя от ярости.

Мистер Уорбертон широко раскрыл свои холодные голубые глаза и изобразил на лице величайшее изумление.

— В своем ли вы уме? Неужели вы до того невежественны, что даже не понимаете, насколько недопустим подобный тон в разговоре со старшим по должности?

— А, идите вы к черту. Арестанты — моя забота, и вы не имеете права вмешиваться. Я в ваши дела не суюсь — и вы в мои не суйтесь. Какого дьявола вы меня выставлете дураком? Каждая собака будет знать, что вы отменили мой приказ.

— Вы были не вправе отдать такой приказ, — по-прежнему холодно и спокойно ответил Уорбертон. — Я отменил его, потому что это тирания и жестокость. Поверьте, я неставляю вас и вполнину таким дураком, каким вы сами себяставляете.

— Вы меня сразу невзлюбили, не успел я сюда приехать. Уж как вы старались, чтобы мне стало невмоготу здесь работать, а все потому, что я не желал лизать вам пятки. Вы готовы сжить меня со свету, потому что я к вам не подлаживаюсь!

Купер кричал с пеной у рта; забыв об осторожности, он ступил на зыбкую почву. Глаза мистера Уорбертона стали совсем уж ледянными и колючими.

— Ошибаетесь. Я считал вас наглецом, но был вполне доволен тем, как вы справляетесь со своими обязанностями.

— Сноб. Проклятый сноб. Вы меня считали наглецом, потому что я не учился в Итоне. Да, да, в

Куала-Солор мне говорили, чего от вас ждать. Ха, может, вам не известно, что вся колония над вами потешается? Да я чуть не покатился со смеху, когда вы мне стали рассказывать эту вашу знаменитую историю про принца Уэльского. Господи боже мой, какой хохот стоял в клубе, когда мне про это рассказывали! Ей-богу, куда лучше быть наглецом, чем таким вот снобом!

Он угодил в самое больное место.

— Вон из моего дома! — крикнул Уорбертон. — Уходите сию же минуту, или я вас ударю!

Купер подошел к нему вплотную, взглянул прямо в глаза.

— Только тронь! — сказал он. — Ох, черт, хотел бы я поглядеть, как ты меня ударишь! Может, повторить? Сноб! Сноб!

Купер был на три дюйма выше Уорбертона, жилист, молод и силен. Мистеру Уорбертону минуло пятьдесят четыре, и он оброс жирком. Он занес кулак. Купер перехватил его руку и с силой оттолкнул его.

— Не валяйте дурака. Я ведь не джентльмен. Кулаками работать я умею.

Он хрипло захохотал и, скривив лицо в насмешливой гримасе, сбежал с веранды. Мистер Уорбертон бессильно опустился в кресло. Сердце его неистово колотилось, он горел как в лихорадке. Одну ужасную минуту ему казалось, что он вот-вот расплчется. Но вдруг до его сознания дошло, что на веранде он не один — поодаль стоял старший бой, — и он снова взял себя в руки. Бой подошел ближе и подал ему виски с содовой. Мистер Уорбертон молча выпил стакан до дна.

— Что ты хотел мне сказать? — спросил он, сially улыbnуться непослушными губами.

— Туан, этот туан-помощник — плохой человек. Аббас опять хочет от него уйти.

— Пусть немного подождет. Я напишу в Куала-Солор и попрошу, чтобы туан Купер уехал куда-нибудь в другое место.

— Туан Купер недобрый с малайцами.

— Уйди.

Слуга неслышно удалился. Мистер Уорбертон остался наедине со своими мыслями. Ему представился клуб в Куала-Солор; мужчины в светлых спортивных костюмах с наступлением темноты бросили гольф и теннис и собрались за столом у окна; они пьют виски и коктейли и

хохочут, пересказывая знаменитую историю о том, как он беседовал в Мариенбаде с принцем Уэльским. Стыд и отчаяние жгли мистера Уорбертона. Сноб! Все они считают его снобом. А он-то всегда считал их очень славными людьми, он, истинный джентльмен, неизменно держался с ними как равный, хотя они и не бог весть кто. Теперь они ему ненавистны. Но эта ненависть — ничто по сравнению с тем, как он ненавидит Купера! А ведь если бы дошло до драки, Купер просто-напросто его отколотил бы! Слезы горького унижения струились по красным пухлым щекам мистера Уорбертона. Так он просидел несколько часов, курил папиросу за папиросой и жаждал одного: умереть.

Наконец вернулся бой и спросил, угодно ли ему переодеться к обеду. Да, конечно! Он ведь всегда переодевается к обеду. Мистер Уорбертон устало поднялся со своего кресла, надел крахмальную сорочку и стоячий воротничок. Потом он сидел за нарядно убраным столом и ему, как всегда, прислуживали два боя, а два других размахивали опахалами. А там, в бунгало, в двухстах ярдах от него, поедает свой жалкий обед Купер, и на нем только и надето что саронг да рубаха. Ноги его босы, и за едой он, надо полагать, читает какой-нибудь детектив. Пообедав, мистер Уорбертон сел писать письмо. Султан как раз был в отъезде, но он писал лично и секретно его приближенному советнику, Купер прекрасно справляется со своими обязанностями, писал мистер Уорбертон, но беда в том, что у него тяжелый характер. Они никак не могут поладить, и он, Уорбертон, был бы в высшей степени признателен, если бы Купера перевели куда-нибудь в другое место.

На следующее утро он отослал письмо с нарочным. Ответ пришел через две недели, вместе с остальной ежемесячной почтой. Это была личная записка, она гласила:

«Дорогой Уорбертон!

Не хочу отвечать на Ваше письмо в официальной форме, поэтому пишу сам несколько строк. Конечно, если Вы настаиваете, я доложу о Вашей просьбе султану, но, мне кажется, с Вашей стороны было бы гораздо разумнее оставить все, как есть. Я знаю, Купер грубоват, неотесан, но он способный малый, а в годы войны ему пришлось туго, и теперь следует дать ему возможность выдвинуться.

Мне кажется, Вы склонны приписывать положению человека в обществе чересчур большое значение. Не забывайте, что времена изменились. Разумеется, это очень хорошо, когда человек еще и джентльмен, но гораздо важнее, чтобы он знал свое дело и работал, не жалея сил. Будьте немножко снисходительнее, и я уверен, что Вы с Купером отлично поладите.

Искренне Ваш Ричард Темпл»

Мистер Уорбертон выронил письмо. Не так уж трудно читать между строк. Дик Темпл, с которым они знакомы двадцать лет, Дик Темпл, выросший в прекрасной семье, считает его снобом и потому отмахнулся от его просьбы. Внезапное отчаяние овладело Уорбертоном. Тот мир, что был ему родным, отошел в прошлое, а будущее принадлежит иному, менее достойному поколению. Это поколение олицетворяет собою Купер, а Купера он ненавидит всей душой. Он потянулся за стаканом, и, едва он зашевелился, к нему подошел старший бой.

— Я не знал, что ты здесь.

Бой поднял с пола письмо в казенном конверте. А-а, вот чего он дожидался.

— Туан Купер уедет, туан?

— Нет.

— Будет беда.

Мистер Уорбертон слишком устал, и в первую минуту смысл этих слов не дошел до его сознания. Но только в первую минуту. Потом он выпрямился в кресле и посмотрел на боя. Он был весь внимание.

— Что это значит?

— Туан Купер нехорошо поступает с Аббасом.

Мистер Уорбертон пожал плечами. Откуда такому Куперу знать, как обращаться со слугами? Мистер Уорбертон часто встречал людей подобного склада: такой будет с лакеем запанибрата, а через минуту накричит и унизит его.

— Пусть Аббас вернется домой.

— Туан Купер не платит ему жалованья, чтобы он не мог убежать. Три месяца ничего не платит. Я уговариваю Аббаса терпеть, но он очень сердит, не хочет слушать. Если Туан Купер станет и дальше его обижать, будет беда.

— Ты хорошо сделал, что рассказал мне об этом.

Какой болван! Неужели он так плохо знает малайцев, что воображает, будто их можно безнаказанно оскорбить? Вот всадят ему в спину крис — и поделом, черт возьми. Крис... Сердце мистера Уорбертона на мгновение замерло. Не надо только ни во что вмешиваться — и в один прекрасный день он избавится от Купера. Он слабо улыбнулся, вспомнив крылатое слово об «умелом бездействии». И теперь его сердце забилося чуточку быстрее, ибо ему представилось, как ненавистный Купер лежит ничком на тропинке в джунглях и между лопаток у него торчит кривой малайский нож. Самый подходящий конец для наглеца и грубияна. Мистер Уорбертон вздохнул. Его долг — предупредить Купера, и, разумеется, он так и сделает. Он написал коротенькую официальную записку, предлагая Куперу сейчас же прийти в форт.

Через десять минут Купер явился. С того дня, как Уорбертон едва его не ударил, они не разговаривали друг с другом. И теперь мистер Уорбертон не предложил ему сесть.

— Вы хотели меня видеть? — спросил Купер.

Он был неряшливо одет и, должно быть, не умывался сегодня. Лицо и руки сплошь в красных пятнах, потому что он расчесал до крови укусы moskitov. Похудел, осунулся, смотрит исподлобья.

— Насколько я понимаю, у вас опять нелады с прислугой, — начал Уорбертон. — Аббас, племянник моего старшего боя, жалуется, что вы задерживаете ему жалованье за три месяца. Я считаю, что это чистейший произвол. Юноша хочет от вас уйти, и я нисколько его не осуждаю. Я вынужден настаивать, чтобы вы уплатили Аббасу все, что ему причитается.

— Я не желаю его отпускать. Я удерживаю его жалованье как залог, чтоб он вел себя прилично.

— Вы не знаете нрава малайцев. Они очень чувствительны к оскорблению и к насмешке. Они пылки и мстительны. Мой долг предупредить вас, что, испытывая терпение этого юноши, вы подвергаете себя серьезной опасности.

Купер презрительно фыркнул.

— А что он, по-вашему, сделает?

— По-моему, он вас убьет.

— А вам жалко?

— О нет, — со смехом ответил мистер Уорбертон. — Я мужественно перенесу этот удар. Но, как лицо

официальное, я обязан вас надлежащим образом предупредить.

— И вы думаете, я испугаюсь паршивого негра?

— Это мне глубоко безразлично.

— Ладно, к вашему сведению, я и сам сумею о себе позаботиться. Этот ваш Аббас — дрянь, воришка. Пусть только он попробует со мной шутки шутить! Я сверну ему шею, черт подери!

— Это все, что я хотел вам сказать, — произнес мистер Уорбертон. — До свидания.

И он легонько кивнул — это означало, что подчиненный может идти. Купер залился краской, постоял минуту в нерешимости, потом неловко повернулся и вышел. Мистер Уорбертон с ледяной улыбкой смотрел ему вслед. Он исполнил свой долг. Но что бы он подумал, знай он, что Купер, возвратясь к себе, в свое безмолвное и унылое жилище, бросился на кровать и, охваченный горьким чувством одиночества, потерял всякую власть над собой! Грудь его разрывалась от рыданий, по худым щекам катились свинцовые слезы.

После этого мистер Уорбертон почти не видел Купера и ни разу с ним не говорил. Каждое утро он читал «Таймс», потом занимался делами, совершал прогулку, переодевался к обеду, а пообедав, сидел в беседке у реки и курил сигару. Если ему и случалось столкнуться с Купером, он попросту не замечал его. Каждый ежеминутно помнил о близости другого и, однако, вел себя так, словно тот вообще не существует. Время шло, но их вражда оставалась все такой же ожесточенной. Они зорко следили друг за другом, и каждому был известен любой шаг и поступок другого. Мистер Уорбертон в юности был метким стрелком, но с годами вкусы его переменились, и теперь ему претило убивать дикую лесную тварь; Купер же по воскресеньям и в праздники уходил с ружьем в джунгли: если охота бывала удачна, он торжествовал победу над Уорбертоном, когда же возвращался ни с чем, мистер Уорбертон фыркал и пожимал плечами. Уж эти приказчики, изображающие из себя спортсменов! Рождественские праздники для обоих были нестерпимо тяжелы: они обедали в одиночестве, каждый у себя, и оба совершенно сознательно напились. Кроме них, на двести миль вокруг не

было ни одного белого, а они жили на расстоянии окрика друг от друга. Вскоре после Нового года Купера свалила лихорадка, и, увидав его потом, Уорбертон был поражен — так страшно тот исхудал. Он казался совсем больным и измученным. От одиночества, вдвойне противостественного потому, что оно не вызывалось необходимостью, Купер совсем извелся. Извелся и Уорбертон, часто по ночам он не мог уснуть. Он лежал и предавался невеселым мыслям. Купер пьет сверх меры, и, без сомнения, недалек час, когда он сорвется; однако с туземцами он осторожен и не дает начальнику повода в чем-либо его упрекнуть. Они вели угрюмую, молчаливую борьбу. Это было испытание выдержки.

Проходили месяцы, и ни тот, ни другой не сдавался. Они были точно обитатели страны, где царит вечная ночь, и их угнетало сознание, что никогда для них не наступит рассвет. Казалось, они обречены до скончания века жить все в той же тупой и злобной ненависти.

И когда неизбежное наконец совершилось, оно потрясло Уорбертона, как неожиданный удар. Купер заявил, что Аббас украл у него какие-то рубашки, и, когда бой загорелся, схватил его за шиворот и спустил с лестницы. Аббас потребовал свое жалованье, и Купер обрушил на него все ругательства, какие только знал. Чтобы через час этого негодяя здесь не было, не то сидеть ему в полиции! На другое утро бой подстерег его у форта, когда Купер шел на службу, и снова спросил свое жалованье. Купер с размаху ударил его кулаком в лицо. Аббас упал, а когда поднялся, из разбитого носа у него струилась кровь.

Купер пришел в канцелярию и сел за работу. Но он не мог сосредоточиться. Гнев его остыл, и теперь он понимал, что хватил через край. Его грызла тревога. Он чувствовал себя больным и несчастным, он совсем пал духом. За стеною в своем кабинете сидел Уорбертон, и Куперу захотелось пойти и все ему рассказать; он было привстал со стула, но тут же ясно представил себе, с каким холодным презрением его выслушают. Он уже видел высокомерную улыбку Уорбертона. На минуту ему стало не по себе: Аббас теперь способен на все. Недаром Уорбертон предостерегал его... Купер вздохнул. Какого он свалил дурака! Но тут же с досадой передернул

плечами. Не все ли равно? Что за радость—такая жизнь! А все Уорбертон виноват: если бы он не злился по пустякам, ничего бы такого не случилось. Уорбертон с самого начала отравлял ему существование. Сноб проклятый! Впрочем, все они такие; это потому, что он, Купер, уроженец колоний. Стыд и срам, что его так и не произвели в офицеры; он воевал ничуть не хуже других. Все они паршивые снобы. И теперь он не покорится, черта с два. Конечно, Уорбертон пронюхает о том, что произошло,—старая лиса всегда все знает. Но ему не страшно. Не испугают его никакие малайцы, и пропади он пропадом, этот Уорбертон!

Он не ошибся, Уорбертон действительно узнал о случившемся. Старший бой рассказал ему об этом, когда он вернулся домой ко второму завтраку.

— Где сейчас твой племянник?

— Не знаю, туан. Он ушел.

Мистер Уорбертон промолчал. После завтрака он имел обыкновение вздремнуть, но сегодня ему не спалось. Взгляд его то и дело обращался к бунгалу, где отдыхал Купер.

Остолоп! Ненадолго мистера Уорбертона охватили сомнения. Понимает ли этот Купер, какая ему грозит опасность? Пожалуй, следует за ним послать. Но ведь всякий раз, как пытаешься его вразумить, в ответ слышишь одни только дерзости. Внезапный бешеный гнев всколыхнулся в груди Уорбертона, даже вены на висках вздулись, и он сжал кулаки. Наглец был предупрежден. Теперь пусть получает по заслугам. Его это не касается, и не его вина, если что-нибудь случится. Но в Куала-Солор еще пожалеют, что не вняли его совету и не перевели Купера в другое место.

В этот вечер Уорбертону было особенно тревожно. Пообедав, он принялся шагать взад и вперед по веранде. Когда старший бой собрался уходить, мистер Уорбертон спросил, не видал ли кто-нибудь Аббаса.

— Нет, туан. Он, верно, пошел в деревню, к брату своей матери.

Мистер Уорбертон посмотрел на него в упор, но слуга не поднимал глаз, и взгляды их не встретились. Уорбертон спустился к реке, посидел в беседке. Но не было ему покоя. Река текла тихая, зловещая. Точно огромная

змея, лениво скользила она к морю. И в джунглях на том берегу тоже таилась глухая угроза. Ни птичьего пения, ни вздоха ветерка в листве кассий. Все вокруг словно замерло, чего-то ожидая.

Он пересек сад и вышел на дорогу. Отсюда было хорошо видно бунгало Купера. Окно гостиной светилось, и через дорогу долетали звуки регтайма: Купер завел граммофон. Уорбертона передернуло; он никак не мог одолеть отвращения к этому инструменту. Если бы не граммофон, он бы пошел и поговорил с Купером. Он повернулся и побрел к себе. Он читал до глубокой ночи и наконец уснул. Но спал он недолго, его мучили страшные сны, и ему показалось, что разбудил его какой-то крик. Конечно, и это тоже только приснилось, ведь никакой крик — из бунгало, например, — не донесся бы до его спальни. До рассвета он больше не сомкнул глаз. Потом слышались торопливые шаги, голоса, его старший бой, даже без фески, ворвался в комнату, и сердце замерло в груди Уорбертона.

— Туан, туан!

Уорбертон вскочил.

— Сейчас приду!

Он сунул ноги в домашние туфли и в саронге и пижамной куртке прошел к Куперу. Купер лежал на кровати, рот его был открыт, а в сердце вонзился крис. Его убили во сне. Мистер Уорбертон вздрогнул; не потому, что он не ждал увидеть именно такую картину, нет, — он вздрогнул, вдруг почувствовав себя безмерно счастливым. Тяжелый камень скатился с его души.

Купер уже совсем окоченел. Мистер Уорбертон вытащил крис из раны — убийца всадил его с такой силой, что едва удалось его извлечь, — и осмотрел. Нож был ему знаком. Этот самый крис ему предлагал торговец недели три назад, и мистер Уорбертон знал, что его купил Купер.

— Где Аббас? — строго спросил он.

— Аббас в деревне, у брата своей матери.

Сержант туземной полиции стоял в ногах кровати.

— Возьми двух человек, ступай в деревню и арестуй его.

Мистер Уорбертон сделал все, что требовалось сделать безотлагательно. С каменным лицом отдавал он

приказания. Они были кратки и властны. Потом он вернулся в форт. Он побрился, принял ванну, оделся и вышел в столовую. Возле прибора его ждал нераспечатанный «Таймс». Мистер Уорбертон взял себе фруктов. Старший бой налил ему чаю, другой подал яичницу. Мистер Уорбертон завтракал с аппетитом. Старший бой все не уходил.

— Что тебе? — спросил мистер Уорбертон.

— Туан, мой племянник Аббас всю ночь провел в доме брата своей матери. Это можно доказать. Его дядя присягнет, что он не выходил из дому.

Мистер Уорбертон, нахмурясь, обернулся.

— Туана Купера убил Аббас. Ты это знаешь не хуже меня. Правосудие должно свершиться.

— Но туан не повесит его?

Мистер Уорбертон мгновение колебался, и, хотя голос его по-прежнему был тверд и суров, во взгляде что-то дрогнуло. Какая-то искорка мелькнула в глазах, и глаза малайца ответно блеснули.

— У Аббаса есть некоторое оправдание: не он начал первый. Его посадят в тюрьму. — Наступило короткое молчание, мистер Уорбертон положил себе джема. — Когда он отбудет часть своего срока, я возьму его сюда, он будет служить мне. Ты его как следует обучишь. Я не сомневаюсь, что в доме туана Купера он приобрел дурные привычки.

— Аббасу надо прийти и повиниться, туан?

— Это было бы разумнее всего.

Бой удалился. Мистер Уорбертон взял «Таймс» и аккуратно разрезал обертку. Приятно разворачивать плотные, шелестящие страницы. Утро было чудесное — такая свежесть, такая прохлада! Мистер Уорбертон обвел дружелюбным взглядом свой сад. Огромная тяжесть свалилась с его души. Он обратился к тем столбцам, где сообщалось о рождениях, смертях и свадьбах. Эти новости он всегда просматривал прежде всего. Знакомое имя привлекло его внимание. Наконец-то у леди Ормскерк родился сын. Господи, до чего, должно быть, рада ее высокородная матушка! Со следующей же почтой надо ее поздравить.

Из Аббаса выйдет отличный слуга.

Болван этот Купер!

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

Лишь очень немногие, вероятно, знают, как случилось, что миссис Альберт Форрестер написала «Статую Ахиллеса»; а поскольку эту книгу причислили к лучшим романам нашего времени, я смею думать, что краткий отчет об обстоятельствах, при которых она появилась на свет, будет небезынтересен для каждого серьезного литературоведа; в самом деле, если этой книге, как утверждают критики, суждена долгая жизнь, нижеследующий рассказ послужит цели более достойной, чем ненадолго развлечь скучающего читателя: будущий историк, возможно, усмотрит в нем любопытный комментарий к литературной летописи наших дней.

Все, конечно, помнят, какой огромный успех «Статуя Ахиллеса» имела у публики. Из месяца в месяц наборщики без усталы набирали, а переплетчики без усталы переплетали одно издание за другим; издатели как в Англии, так и в Америке едва поспевали выполнять срочные заказы книгопродавцев. Роман был немедленно переведен на все европейские языки, а недавно стало известно, что скоро его можно будет прочесть по-японски и на урду. Но сперва он печатался по частям в журналах на обоих берегах Атлантического океана, и с издателей этих журналов агент миссис Форрестер содрал сумму, которую нельзя назвать иначе, как сногшибательной. Переделанный в пьесу, он целый сезон не сходил со сцены в Нью-Йорке, и в Лондоне постановка эта будет, несомненно, иметь столь же бурный успех. Право экранизации уже продано за огромную цену. Хотя сплетники (из литературных кругов), обсуждая гонорар миссис Форрестер, наверняка преувеличивают цифру, однако можно не сомневаться, что на одной этой книге она заработает достаточно денег, чтобы безбедно прожить остаток своих дней.

Редкая книга встречает одинаково благосклонный прием у читателей и у критики, и миссис Форрестер должно бы доставить особенное удовольствие, что именно ей удалось, если можно так выразиться, найти квадратуру круга; ибо хотя критики и раньше не скупились на похвалы (она даже привыкла принимать это как должное), но публика почему-то никак не могла

оценить ее по достоинству. Каждая новая ее книга — изящный томик в белом матерчатом переплете, набранный прекрасным шрифтом, — объявлялась шедевром в рецензии, занимавшей ровно один столбец, а в еженедельных обзорах, которые можно увидеть только в пыльной библиотеке какого-нибудь солидного клуба, — даже страницу; и все тонкие ценители читали книгу и хвалили ее. Но тонкие ценители, очевидно, не покупают книг, и творения миссис Форрестер не расходились. В самом деле, это был просто позор — пошлая чернь не желала замечать писательницу, обладающую таким прихотливым воображением, таким утонченным стилем! В Америке ее и вовсе почти не знали, и, хотя мистер Карл ван Вехтен¹ написал статью, в которой порицал читающую публику за ее косность, читающая публика осталась равнодушна. Агент миссис Форрестер, горячий поклонник ее таланта, пригрозил одному американскому издателю, что, если тот не напечатает две ее книги, не видать ему других (скорей всего каких-то ерундовых романчиков), за которыми он охотился; и эти две книги были опубликованы. Пресса дала на них лестные отзывы, тем доказав, что и в Америке лучшие умы не безразличны к ее таланту; однако, когда зашел разговор о третьей книге, американский издатель (со свойственной издателям грубостью) заявил агенту, что предпочитает истратить лишние деньги на выпивку.

После появления «Статуи Ахиллеса» прежние книги миссис Форрестер были переизданы (и мистер Карл ван Вехтен написал новую статью, в которой с грустью, но твердо указал, что еще пятнадцать лет назад пытался привлечь внимание читающего мира к исключительным достоинствам автора), и рекламировались они так широко, что едва ли могли ускользнуть от внимания интеллигентного читателя. Поэтому мне нет нужды о них распространяться, тем более что это были бы только перепевы мастерских статей мистера Карла ван Вехтена.

Писать миссис Форрестер начала с ранних лет. Первая ее книжка (сборник элегий) вышла в свет, когда она была восемнадцатилетней девицей; и с тех пор

¹ Американский критик и писатель, хорошо известный в 20—30-х годах нашего века.

каждые два-три года — она не торопилась, ибо уважала свое творчество — она печатала либо томик стихов, либо томик прозы. Ко времени написания «Статуи Ахиллеса» она достигла почтенного возраста — пятидесяти семи лет, — из чего явствует, что и сочинений у нее набралось немало. Она подарила миру пять или шесть сборников стихов, озаглавленных по-латыни, например «*Felicitas*», «*Rex Maris*», «*Aes Triplex*»¹, и очень серьезных, ибо ее муза, не склонная являться к ней «стопой воздушной, точно в танце», шествовала несколько тяжеловатой поступью.

Она осталась верна элегии, много внимания уделяла сонету, но главной ее заслугой было возрождение оды — поэтического жанра, которым наши современники пренебрегают, и можно с уверенностью сказать, что ее «Ода президенту Фальеру» войдет во все антологии английской поэзии. Она пленяет не только благородной звучностью стиха, но также на редкость удавшимся описанием прекрасной Франции. О долине Луары, оваянной памятью Дю Белле², о Шартре и цветных стеклах его собора, о солнечных городах Прованса миссис Форрестер пишет с теплым чувством, тем более примечательным, что сама она не бывала во Франции дальше Булони, куда вскоре после свадьбы ездила на экскурсионном пароходе из Маргета. Но физические страдания, вызванные морской болезнью, и моральная травма, причиненная открытием, что жители этого много посещаемого приморского курорта не понимают ее, когда она бегло и свободно изъясняется по-французски, подсказали ей решение — впредь не подвергать себя столь неприятным и бесславным испытаниям; и она действительно больше никогда не вверялась коварной пучине, которую, однако, продолжала воспевать («*Rex Maris*») «в стихах и сладостных и стройных».

«Ода Вудро Вильсону» тоже местами очень хороша, и мне жаль, что поэтесса, изменив свое отношение к этому превосходному человеку, не пожелала включить ее в новое издание. Но ярче всего, думаю мне, миссис Альберт Форрестер проявила себя в прозе. Она написа-

¹ «Счастье», «Морская тишь», «Отвага» (лат.).

² Французский поэт XVI века.

ла несколько томов коротких, но безупречно построенных эссе на такие темы, как «Осень в Сассексе», «Королева Виктория», «О смерти», «Весна в Норфолке», «Архитектура эпохи Георгов», «Мсье Дягилев и Данте», а также труды, сочетающие большую эрудицию и полет фантазии, о иезуитской архитектуре XVII века и о Столетней войне в ее литературном аспекте. Именно своей прозе она обязана тем, что около нее образовался кружок преданных почитателей (немногочисленных, но избранных, как сама она выразилась с присущей ей меткостью), объявивших ее непревзойденным в нашем веке мастером английского языка. Она и сама признавала, что главное ее достоинство — это стиль, пышный, но хлесткий, отточенный, но не сухой, и только в прозе мог проявиться тот восхитительный, хоть и сдержанный юмор, который ее читатели находили неотразимым. Это был не юмор мыслей, и даже не юмор слов; это было нечто куда более тонкое — юмор знаков препинания: в какую-то вдохновенную минуту она постигла, сколько уморительных возможностей таит в себе точка с запятой, и пользовалась ею часто и искусно. Она умела поставить ее так, что читатель, если он был человек культурный и с чувством юмора, не то чтобы катался от хохота, но посмеивался тихо и радостно, и чем культурнее был читатель, тем радостнее он посмеивался. Ее друзья утверждали, что всякий другой юмор кажется после этого грубым и утрированным. Некоторые писатели пытались подражать ей, но тщетно; в чем бы ни упрекать миссис Форрестер, бесспорным остается одно: из точки с запятой она умела выжать весь юмор до последней капли, и никто не мог с ней в этом сравниться.

Миссис Форрестер занимала квартиру неподалеку от Мраморной Арки, сочетавшую в себе два преимущества: прекрасный район и умеренную плату. В квартире была большая гостиная окнами на улицу и просторная спальня для миссис Форрестер, темноватая столовая окном во двор и тесная спальенка рядом с кухней — для мистера Альберта Форрестера, в чьи обязанности входило платить за квартиру.

В гостиной миссис Форрестер по вторникам принимала гостей. Комната была обставлена строго и целомуд-

ренно. Обои, сделанные по рисунку самого Уильяма Морриса; по стенам меццо-тинто в простых черных рамках, собранные еще до того, как меццо-тинто поднялись в цене. Мебель чиппендейльская — вся, кроме бюро с выдвижной крышкой, в котором было нечто от стиля Людовика XVI и за которым миссис Форрестер писала свои сочинения. Его показывали каждому гостю, приходившему сюда впервые, и мало кто, глядя на него, не испытывал глубокого волнения. Ковер был толстый, лампы неяркие. Миссис Форрестер сидела в кресле с прямой спинкой, обитом темно-красным кретоном. В этом не было ничего показного, но поскольку других удобных кресел в комнате не имелось, это как бы создавало дистанцию между ней и гостями. Чай разливала некая особа неопределенного возраста, бесцветная и бессловесная; ее ни с кем не знакомили, но было известно, что она считает за честь предоставленную ей возможность избавлять миссис Форрестер от нудной обязанности поить гостей чаем. Последняя могла таким образом целиком посвящать себя разговору, а послушать ее, безусловно, стоило. Рассуждения ее не отличались чрезмерной живостью; и, поскольку голосом трудно изобразить точку с запятой, им, возможно, недоставало юмора, но она могла беседовать о многих предметах со знанием дела, поучительно и интересно. Миссис Форрестер была неплохо осведомлена в социологии, юриспруденции и богословии. Она много прочла и обладала цепкой памятью. Она всегда умела привести цитату, — а это хорошая замена собственному остроумию, — и за те тридцать лет, что была знакома, более или менее близко, с множеством выдающихся людей, накопила множество забавных анекдотов, которые рассказывала, тактично скрывая истинных героев, и повторяла не чаще, чем могли выдержать слушатели. Миссис Форрестер умела привлекать к себе самых разнообразных людей, и в ее гостиной можно было встретить одновременно бывшего премьера, владельца газеты и посла одной из великих держав. Мне всегда казалось, что эти важные лица бывали у нее потому, что воображали, будто здесь они общаются с богемой, но с богемой такой опрятной и чистенькой, что нет опасности о нее запачкаться. Миссис Форрестер всерьез интересовалась политикой, и я сам

слышал, как один министр так прямо и сказал ей, что у нее мужской склад ума. В свое время она была против предоставления женщинам избирательного права, но, когда они наконец получили это право, стала подумывать, не выставить ли ей свою кандидатуру в парламент. Одно лишь ее смущало — какую партию выбрать.

— В конце концов, — говорила она, кокетливо поводя несколько грузными плечами, — не могу же я образовать партию из одной себя.

Не будучи уверенной, как повернутся события, она, подобно многим искренним патриотам, не торопилась определить свои политические взгляды; но за последнее время она все больше склонялась к лейборизму, усматривая в нем наилучший путь для Англии; и кой у кого создалось впечатление, что, если ей будет предложен надежный избирательный округ, она не колеблясь выступит в защиту прав угнетенного пролетариата.

Двери ее гостиной были широко открыты для иностранцев — для чехов, итальянцев и французов, если они чем-нибудь успели прославиться, и для американцев, даже безвестных. Но снобизмом она не грешила, и герцог мог появиться в ее гостиной, только если был сугубо интеллектуальной натурой, а супруга пэра — только если она вдобавок к титулу могла похвалиться каким-нибудь мелким нарушением светских приличий и заслужила расположение свободомыслящей хозяйки дома, разведясь с мужем, написав роман или подделав подпись на чеке. Художников миссис Форрестер недолюбливала за молчаливость и робость; музыканты ее не интересовали: даже если они соглашались поиграть у нее — а знаменитости чаще всего играть отказывались, — их музыка мешала разговору; кому нужна музыка, те пусть идут на концерт; она же предпочитает более изысканную музыку души. Зато писателям, особенно многообещающим и малоизвестным, она неизменно оказывала самое теплое гостеприимство. Она чутьем угадывала талант, и среди писателей с именем, которые время от времени заходили к ней на чашку чая, почти не было таких, кому она не помогла бы на первых порах советом и добрым словом. Собственное ее положение было так прочно, что исключало даже мысль о зависти, а слово «талант» так часто связывали с ее

именем, что ее ни капельки не обижало, когда другим талант приносил коммерческий успех, не выпавший ей на долю.

Уверенная в признании потомков, миссис Форрестер могла позволить себе такую роскошь, как бескорыстие. Нужно ли удивляться после всего этого, что ей удалось создать самое близкое подобие французского салона XVIII столетия, какое возможно в нашей варварской стране. Приглашение «на чашку чая с булочкой» во вторник было честью, от которой мало кто отказывался; и, сидя на чиппендейльском стуле в строгой гостиной с затененными лампами, всякий невольно ощущал, что на его глазах творится история литературы. Американский посол выразился однажды так:

— Чашка чая у вас в гостиной, миссис Форрестер,— это лучшая интеллектуальная пища, какую мне доводилось вкушать.

Иногда все это действовало даже слегка угнетающе. Вкус у миссис Форрестер был такой безупречный, она так безошибочно знала, чем и в каких выражениях восторгаться, что порой вам просто не хватало воздуха. Я, например, считал за благо подкрепиться коктейлем, прежде чем вдохнуть разреженную атмосферу ее салона. Однажды мне даже грозила опасность быть навсегда из него изгнанным: явившись как-то в гости, я задал горничной, отворившей мне дверь, не стандартный вопрос «Миссис Форрестер дома?», а другой: «Богослужение сегодня состоится?»

Разумеется, это была чистая оплошность с моей стороны, но, на беду, горничная фыркнула, а как раз в эту минуту Эллен Ханнеуэй, одна из самых преданных почитательниц миссис Форрестер, снимала в передней ботики. Когда я вошел в гостиную, она уже успела передать мои слова хозяйке дома, и та устремила на меня орлиный взор.

— Почему вы спросили, состоится ли сегодня богослужение? — осведомилась она.

Я объяснил, что всегда был рассеян, однако миссис Форрестер продолжала сверлить меня глазами.

— Может быть, мои приемы кажутся вам... — она не сразу нашла нужное слово, — сакраментальными?

Я не понял ее, но, не желая, чтобы столько умных людей сочли меня невеждой, решил, что единственное мое спасение — в беспардонной лести.

— Ваши приемы, дорогая миссис Форрестер, так же прекрасны и божественны, как вы сами.

По внушительной фигуре миссис Форрестер пробежала легкая дрожь. Словно человек неожиданно очутился в комнате, полной гиацинтов,— аромат их так пьянит, что начинает кружиться голова. Однако она сменила гнев на милость.

— Если вы в шутовском настроении,— сказала она,— то, прошу вас, шутите лучше с моими гостями, а не с горничными... Ну, садитесь, мисс Уоррен нальет вам чаю.

Мановением руки миссис Форрестер отпустила меня, но моей шутки она не забыла: в последующие два-три года, знакомя меня с кем-нибудь, она неизменно добавляла:

— Имейте в виду, он приходит сюда только каяться в грехах. Когда ему отворяют дверь, он всегда спрашивает: «Богослужение сегодня состоится?» Вот шутник, правда?

Но миссис Форрестер не ограничивала свои приемы еженедельными чаепитиями: каждую субботу у нее устраивался завтрак на восемь персон; это число она считала идеальным для общей беседы, и к тому же оно диктовалось скромными размерами ее столовой.

Если миссис Форрестер чем-нибудь гордилась, так это не своим исключительным знанием английской просодии, а именно своими завтраками. Гостей она подбирала тщательно, и приглашение к ней на завтрак было не только лестно, это был своего рода ритуал посвящения. Разговор в высоком плане легче вести за столом, чем рассеявшись по всей гостиной, и после такого завтрака всякий, вероятно, уходил от миссис Форрестер более чем когда-либо убежденный в ее одаренности и проникнутый более крепкой верой в человеческую природу. Приглашала она одних мужчин, ибо, хоть и высоко ценила женщин и в других случаях охотно с ними общалась, все же сознавала, что за столом женщина любит разговаривать исключительно со своим соседом слева или справа, а это мешает общему обмену мыслями, благодаря которому ее завтраки становятся праздником не только для желудка, но и для души. А надо сказать, что кормили у миссис Форрестер необы-

чайно вкусно, вина были лучшей марки и сигары первоклассные. Это должно удивить всякого, кому случалось пользоваться гостеприимством литераторов: ведь обычно мысли их возвышенны, а жизнь проста; занятые духовными материями, они не замечают, что баранина не прожарилась, а картофель остыл; пиво у них еще туда-сюда, но вино действует отрезвляюще, а кофе лучше и не пробовать. Миссис Форрестер не скрывала своего удовольствия, когда гости расхваливали ее завтраки.

— Если люди оказывают мне честь, преломляя со мною хлеб,—говорила она,—я просто обязана кормить их не хуже, чем они могли бы поесть у себя дома.

Но чрезмерную лесть она пресекала.

— Вы, право же, конфузите меня, да и похвалы ваши не по адресу,—благодарите миссис Булфинч.

— Кто это миссис Булфинч?

— Моя кухарка.

— Не кухарка, а сокровище! Но ведь вы не станете утверждать, что она и вина тоже выбирает?

— А вам понравилось? Я в этих вещах ровно ничего не понимаю; я целиком полагаюсь на своего поставщика.

Но если речь заходила о сигарах, миссис Форрестер расплывалась в улыбке.

— А за это скажите спасибо Альберту. Сигары покупает Альберт, и мне говорили, что никто так замечательно не разбирается в сигарах.

Она смотрела через стол на своего мужа блестящими, гордыми глазами, какими породистая курица (скажем, орпингтон) смотрит на своего единственного цыпленка. И тут поднимался оживленный, многоголосый говор,—это гости, до сих пор тщетно искавшие случая проявить вежливость по отношению к хозяину дома, осыпали его комплиментами.

— Вы очень добры,—отвечал он.—Я рад, что они пришли к вам по вкусу.

После этого он произносил небольшую речь о сигарах—объяснял, какие свойства он в них особенно ценит, и сетовал на снижение качества, вызванное массовым производством. Миссис Форрестер слушала его с умиленной улыбкой, и было видно, что его маленький триумф ее радует. Разумеется, нельзя гово-

рить о сигарах без конца, и, заметив, что гости начинают поеживаться, она тотчас переводила разговор на что-нибудь другое, более интересное и значительное. Альберт умолкал. Но этой минуты торжества уже нельзя было у него отнять.

Из-за Альберта кое-кто находил, что завтраки миссис Форрестер не так приятны, как ее чаепития, ибо Альберт был невыносим; но она, хоть и должна была это знать, не желала без него обходиться и даже завтраки свои именно потому устраивала по субботам, что в остальные дни он был занят. По мнению миссис Форрестер, участие ее мужа в этих пиршествах было некой данью ее самоуважению. Она ни за что не призналась бы, что вышла замуж за человека, уступающего ей по духовному богатству, и, возможно, бессонными ночами размышляла о том, могла ли бы она вообще найти себе равного. Друзей миссис Форрестер подобные соображения не смущали, и они открыто ужасались, что такая женщина обременила себя таким мужчиной. Они спрашивали друг друга, как она могла выйти за него, и (будучи сами по большей части холосты) отвечали, что вообще невозможно понять, почему люди женятся и выходят замуж.

Не то чтобы Альберт был болтлив или назойлив; он не утомлял вас бесконечными рассказами, не изводил плоскими шутками; не распиная вас на трюизмах и не мучил прописными истинами,—он просто был скучен. Пустое место. Клиффорд Бойлстон, постигший все тайны французских романтиков и сам даровитый писатель, сказал однажды, что, если заглянуть в комнату, куда только что вошел Альберт, там никого не окажется. Друзья миссис Форрестер нашли, что это очень остроумно, и Роза Уотерфорд, известная романистка и бесстрашная женщина, рискнула пересказать это самой миссис Форрестер. Та сделала вид, что рассердилась, но не могла удержаться от улыбки. Сама она обращалась с Альбертом так, что за это друзья уважали ее еще больше. Пусть думают о нем, что хотят, но они обязаны оказывать ему полное почтение, как ее супругу. Собственное ее поведение было выше всяких похвал. Если Альберт о чем-нибудь заговаривал, она слушала его доброжелательно, а когда он приносил ей нужную книгу

или подавал карандаш, чтобы она могла записать внезапно возникшую мысль, всегда благодарила его. Другьям ее тоже не разрешалось пренебрегать им, и хотя, будучи женщиной тактичной, она понимала, что повсюду возить его с собою значило бы злоупотреблять чужой любезностью, и много выезжала одна, все же друзья ее знали, что не реже одного раза в год им следует приглашать его к обеду. Когда она ехала на официальный банкет, где ей предстояло произнести речь, он всегда сопровождал ее, а если она читала лекцию, то не забывала достать ему пропуск на эстраду.

Альберт был, вероятно, среднего роста, но рядом со своей крупной и внушительной супругой — а без нее его и вообразить было невозможно — казался низеньким. Он был узкоплеч, худощав и выглядел старше своих лет; они с женой были ровесниками. Волосы, седые и жидкие, он стриг очень коротко и носил седые усы щеткой; его худое, морщинистое лицо не было ничем примечательно; голубые глаза, в прошлом, возможно, красивые, казались выцветшими и усталыми. Одет он бывал безупречно: серые брюки в полоску, черная визитка и серый галстук с небольшой жемчужной булавкой. Он всегда держался в тени, и когда он, стоя в гостиной миссис Форрестер, встречал гостей, приглашенных ею к завтраку, он так же мало бросался в глаза, как спокойная, корректная мебель. Воспитан он был прекрасно и пожимал гостям руки с учтивой улыбкой.

— Здравствуйте, очень рад вас видеть, — говорил он, если это были старые знакомые. — Надеюсь, вы в добром здравье?

Если же это были знатные иностранцы, появившиеся в доме впервые, он подходил к ним, едва они переступали порог гостиной, и сообщал.

— Я — муж миссис Альберт Форрестер. Позвольте представить вас моей жене.

После чего подводил гостя к миссис Форрестер, стоявшей спиной к свету, и та спешила навстречу с радостным приветствием на устах.

Приятно было видеть, как скромно он гордится литературной славой жены и как ненавязчиво печется о ее интересах. Он умел вовремя появиться и вовремя исчезнуть. Он обладал тактом, если не выработанным,

то врожденным. Миссис Форрестер первая признавала его достоинства.

— Просто не знаю, что бы я без него делала,— говорила она.— Это золотой человек. Я читаю ему все, что пишу, и замечания его часто бывают очень полезны.

— Мольер и его кухарка,— сказала мисс Уотерфорд.

— По-вашему, это смешно, милая Роза? — спросила миссис Форрестер не без сарказма.

Когда миссис Форрестер не одобряла чьих-нибудь слов, она имела обыкновение спрашивать, не шутка ли это, которой она по тупости своей не поняла, и многих таким образом смущала. Но смутить мисс Уотерфорд было невозможно. Эта леди за свою долгую жизнь испытала много увлечений, но всего одну страсть — к литературе. Миссис Форрестер не столько одобряла ее, сколько терпела.

— Бросьте, дорогая,— возразила мисс Уотерфорд,— вы прекрасно знаете, что без вас он был бы ничто. Он не был бы знаком с нами. Подумайте, какое это для него счастье — общаться с самыми умными и интересными людьми нашего времени.

— Пчела, возможно, погибла бы, не будь у нее улья, но и пчела имеет ценность сама по себе.

Поскольку друзья миссис Форрестер превосходно разбирались в искусстве и литературе, но в естественных науках смыслили мало, ее замечание осталось без ответа. А она продолжала:

— Он никогда мне не мешает. Он чувствует, когда меня нельзя беспокоить. Более того, если я что-нибудь обдумываю, мне даже приятно, что он в комнате.

— Как персидская кошка,— сказала мисс Уотерфорд.

— Но очень благодетельная и благовоспитанная персидская кошка,— строго возразила миссис Форрестер и тем поставила-таки мисс Уотерфорд на место.

Но миссис Форрестер еще не исчерпала свою тему.

— Мы, люди интеллектуальные,— сказала она,— склонны слишком замыкаться в своем мире. Абстрактное интересует нас больше, чем конкретное, и порой мне думается, что мы взираем на сутолоку человеческих дел слишком издалека, с очень уж безмятежных высот. Вам не кажется, что нам грозит опасность несколько очерстветь? Я всегда буду признательна

Альберту за то, что благодаря ему не теряю связи с рядовым человеком.

После этой тирады, которой, как и многим другим ее высказываниям, никак нельзя было отказать в проницательности и тонкости, Альберта некоторое время называли в ее тесном кружке не иначе, как «Рядовой человек». Но это вскоре позабылось, а потом его прозвали «Филателистом». Кличку эту выдумал остроумный и злой Клиффорд Бойлстон. Однажды, истощив все доступные ему возможности разговора с Альбертом, он с горя спросил:

— Вы не собираете марки?

— Нет,— кротко отвечал Альберт.— К сожалению, не собираю.

Но Клиффорд Бойлстон, едва задав свой вопрос, усмотрел в нем интересные возможности. Его перу принадлежала книга о тетке жены Бодлера, привлекавшая внимание всех, кто интересуется французской литературой, и было известно, что, годами изучая дух французской нации, он и сам приобрел немалую долю галльской живости ума и галльского блеска. Пропустив ответ Альберта мимо ушей, он при первом же удобном случае сообщил друзьям миссис Форрестер, что наконец открыл, в чем тайна Альберта. Альберт собирает марки. После этого он всякий раз при встрече спрашивал его: «Ну, мистер Форрестер, как ваша коллекция?» Или: «Приобрели вы какие-нибудь интересные марки с тех пор, как мы с вами виделись?»

Тщетно Альберт продолжал твердить, что не собирает марок,— из такой удачной выдумки нужно было извлечь максимум: все друзья миссис Форрестер включились в игру и, обращаясь к Альберту, редко забывали спросить про его коллекцию. Даже миссис Форрестер, будучи в особенно веселом настроении, иногда называла мужа Филателистом. Прозвище это как-то удивительно подходило Альберту. Иногда его называли так прямо в глаза, и все вынуждены были оценить, как благодушно он это принимает; он улыбался без всякой обиды, а скоро даже перестал уверять, что они ошибаются.

Конечно, миссис Форрестер слишком уважала светские приличия и слишком дорожила успехом своих завтраков, чтобы сажать самых знатных своих гостей

рядом с Альбертом. Это было уделом более старых и близких друзей, и, встречая намеченную жертву, она говорила:

— Вы ведь не против того, чтобы сидеть с Альбертом?

Гостю оставалось только ответить, что он очень рад, а если он не мог скрыть своего огорчения, она кокетливо похлопывала его по руке и добавляла:

— В следующий раз вы будете сидеть со мной. Альберт так стесняется незнакомых, а вы так замечательно умеете к нему подойти.

Да, друзья миссис Форрестер это умели: они просто игнорировали его. С тем же успехом они могли бы сидеть возле пустого стула. Он не выказывал ни малейшего недовольства тем, что эти люди его не замечают, хоть и угощаются за его счет,— ведь на заработки миссис Форрестер никак нельзя было бы предложить гостям весенней лососины и ранней спаржи. Он сидел и молчал, а если открывал рот, так только для того, чтобы отдать распоряжение горничной. Если же он видел гостя впервые, то внимательно разглядывал его, но это не казалось невежливым, потому что взгляд у Альберта был детский. Он словно спрашивал себя, что это за диво; но как разрешалось его недоумение—этого он не сообщал никому. Когда завязывалась оживленная беседа, он переводил взгляд с одного из говоривших на другого, но и тут по выражению его худого, морщинистого лица невозможно было догадаться, что он думает об этом фантазмагорическом обмене мнениями.

Клиффорд Бойлстон уверял, что все их умные речи и блестящие остроты перекачиваются через него, как вода через спину утки. Он уже отчаялся что-либо понять и теперь только делает вид, что слушает. Но Гарри Окленд, критик с широким диапазоном, утверждал, что Альберт не упускает ни слова; для него все это просто откровение, и он, бедняга, изо всех сил старается понять хотя бы часть тех интереснейших вещей, которые при нем говорят. А в Сити он, наверно, хвалится своими образованными знакомыми, там он, может быть, слывет знатоком по части литературы и философии,— вот бы его послушать! Гарри Окленд был одним из самых верных почитателей миссис Форрестер и автором бле-

стящего эссе о ее стиле. Тонким, даже красивым лицом он походил на святого Себастьяна, которого подвело слишком сильно действующее средство для ращения волос,— ибо волосат он был необычайно. Ему не было еще и тридцати лет, но он уже успел показать себя как театральный критик, литературный критик, музыкальный критик и критик живописи. Теперь, немного устав от искусства, он грозил в дальнейшем посвятить свой талант критике спорта.

Следует пояснить, что Альберт был коммерсантом и, к несчастью (которое миссис Форрестер, по мнению ее друзей, переносила с похвальной стойкостью), не был даже особенно богат. Будь он одним из тех магнатов коммерции, что держат в своих руках судьбы целых народов или посылают корабли, нагруженные экзотическими пряностями, в порты Леванта, чьи названия дали поэтам столько редких и звучных рифм,— в этом хоть было бы что-то романтическое. Но Альберт всего лишь торговал коринкой, и доходов его, надо думать, как раз хватало на то, чтобы миссис Форрестер могла жить красиво и ни в чем себя не стесняя. Так как он был занят в конторе до шести часов, то на вторники миссис Форрестер попадал уже после ухода самых важных гостей. В ее салоне к этому времени обычно оставалось лишь трое или четверо близких друзей, с большим юмором перемывавших косточки отбывшим, и, услышав, как Альберт поворачивает ключ в замке, они все разом приходили к мысли, что время уже позднее. Через минуту он приотворял дверь и заглядывал в комнату. Миссис Форрестер встречала его радостной улыбкой.

— Входи, входи, Альберт. По-моему, ты тут со всеми знаком.

Альберт входил и пожимал руки друзьям своей жены.

— Ты прямо из Сити? — спрашивала она, хотя прекрасно знала, что больше прийти ему неоткуда.— Хочешь чашку чаю?

— Нет, спасибо, милая. Я выпил чаю в конторе.

Миссис Форрестер улыбалась еще радостнее, и гости отмечали про себя, как славно она с ним обращается.

— Но я ведь знаю, что ты с удовольствием выпьешь еще чашечку. Давай, я сама тебе налью.

Она подходила к чайному столику и, забыв, что чай подан полтора часа назад и давно остыл, наливала ему

чашку, клала сахару и добавляла молока. Альберт благодарил, брал чашку и начинал тихонько помешивать чай, но, когда миссис Форрестер возобновляла беседу, прерванную его приходом, незаметно отставлял чашку в сторону. Гости же, восприняв его появление как сигнал, начинали прощаться. Один раз, правда, разговор шел такой увлекательный и на такую важную тему, что миссис Форрестер просто не позволила им уйти.

— Нужно решить это раз и навсегда. И как-никак,—добавила она не без лукавства,—у Альберта может быть свое мнение на этот счет. Послушаем, что он скажет.

В то время в моду входила стрижка, и спор шел о том, остричься миссис Форрестер или нет. Выглядела миссис Форрестер внушительно. У нее была крупная кость, и притом отнюдь не только кости да кожа. Не будь она такого высокого роста, ее можно было бы заподозрить в тучности. Но полнота нисколько ее не портила. Черты лица у нее были крупноваты, чем, видимо, и объяснялась почти мужская интеллектуальность выражения. Смуглая кожа наводила на мысль, что среди ее предков были левантинцы; сама она признавалась, что чувствует в себе цыганскую кровь и, вероятно, поэтому в ее поэзии порой прорывается дикая и необузданная страстность. Глаза у нее были большие, черные, блестящие, нос — как у герцога Веллингтона, только более мясистый, подбородок квадратный, решительный. Ее полные губы алели без помощи губной помады,—миссис Форрестер не снисходила до косметики; а волосы — густые, без блеска седые волосы — были уложены на макушке, отчего она казалась еще выше ростом. В общем внешность у нее была импозантная, чтобы не сказать — устрашающая.

Одевалась она всегда к лицу, в дорогие ткани темных тонов, и весь ее облик говорил о том, что она причастна к литературе. Однако по-своему (ибо человеческая суетность не была ей чужда) она следовала моде, и платья на ней всегда бывали новейших фасонов. Я подозреваю, что ее уже давно подмывало остричься, но ей казалось, что приличнее будет сделать это не по собственному почину, а по просьбе друзей.

— Непременно, непременно! — сказал Гарри Окленд по-мальчишески упрямо.— Вы будете просто изумительны.

Клиффорд Бойлстон, работавший теперь над книгой о мадам де Ментенон, держался иного мнения. Он считал, что это опасный эксперимент.

— По-моему,— говорил он, протирая пенсне батистовым платком,— раз создав какой-то тип, нужно его держаться. Чем был бы Людовик XIV без парика?

— Право, не знаю,— сказала миссис Форрестер.— Нельзя все-таки отставать от века. Я современная женщина и хочу идти в ногу со своим временем. Америка, как сказал Вильгельм Мейстер, это «здесь и сейчас».— Она с улыбкой повернулась к Альберту.— Что скажет по этому поводу мой господин и повелитель? Как ты думаешь, Альберт? Остричься или нет, вот в чем вопрос.

— Боюсь, дорогая, что мое мнение не так уж важно,— ответил он кротко.

— Для меня оно очень, очень важно,— любезно возразила миссис Форрестер.

И почувствовала, как всех восхищает ее обращение с Филателистом.

— Я настаиваю,— не унималась она.— Настаиваю. Никто не знает меня так, как ты, Альберт. Пойдет мне стрижка?

— Возможно,— отвечал он.— Я только опасаюсь, как бы при твоей... монументальной внешности короткие волосы не вызвали в представлении... ну, скажем, «те солнечные острова, где гимн любви Сапфо слагала».

Последовала неловкая пауза. Роза Уотерфорд подавилась смешком, остальные хранили гробовое молчание. Улыбка миссис Форрестер застыла у нее на губах. Да, Альберт отличился!

— Я всегда считала Байрона очень посредственным поэтом,— сказала наконец миссис Форрестер.

Гости разошлись. Миссис Форрестер не остриглась, и этой темы в ее гостиной больше не касались.

Событие, имевшее столь важные последствия для литературной карьеры миссис Форрестер, тоже произошло на одном из ее вторников, уже под самый конец.

То был один из удачнейших ее вечеров. Приезжал лидер лейбористской партии, и миссис Форрестер дала ему понять (оставив себе, однако, путь для отступления), что готова связать свою судьбу с лейбористами. Если уж

она решит делать политическую карьеру, выбирать нужно сейчас, не то будет поздно. Клиффорд Бойлстон привозил члена Французской академии, и хотя миссис Форрестер было известно, что по-английски он не знает ни слова, все же она с удовольствием выслушала его любезный комплимент по поводу ее стиля—одновременно и пышного и строгого. Приезжал американский посол, а также некий молодой русский князь, который сильно смахивал бы на профессионального танцора, если бы в его жилах не текла кровь Романовых. Очень милостиво держала себя некая герцогиня, которая недавно развелась со своим герцогом и вышла замуж за жокея; герцогское ее достоинство, хоть и сильно потускневшее, несомненно, придавало изысканность всему сборищу. Просверкала целая плеяда литературных светил. Теперь все они уже разъехались, и в гостиной остались только Клиффорд Бойлстон, Гарри Окленд, Роза Уотерфорд, Оскар Чарлз и Симмонс. Оскар Чарлз был маленький человечек, еще молодой, но с морщинистым лицом хитрой обезьянки; для заработка он служил в каком-то правительственном учреждении, свободные же часы посвящал литературе. Он писал статейки для дешевых еженедельников и энергично презирал все на свете. Миссис Форрестер он нравился—она считала его талантливым,—но он несколько отпугивал ее своей резкостью, несмотря на то, что безмерно восхищался ее стилем (он-то, кстати сказать, и назвал ее мастером точки с запятой).

Симмонс был ее агент; на круглом его лице блестели очки с очень сильными стеклами, совершенно менявшими форму глаз,—глядя на них, вы вспоминали глаза какого-то нелепого ракообразного, которое видели в аквариуме. Он всегда бывал на вечерах миссис Форрестер отчасти потому, что преклонялся перед ее талантом, отчасти же потому, что мог завязать в ее гостиной новые деловые знакомства. Миссис Форрестер, для которой он уже давно трудился за более чем скромное вознаграждение, с радостью предоставляла ему эту возможность заработать и, рассыпаясь в благодарностях, знакомила его со всяким, у кого мог найтись литературный товар на продажу. Она даже гордилась тем, что именно в ее гостиной впервые были оценены мемуары

леди Сент-Свизн, наделавшие впоследствии столько шуму и обогатившие издателей.

Итак, усевшись в кружок, центром которого была миссис Форрестер, они оживленно и, надо признать, не без ехидства, обсуждали одного за другим всех уехавших гостей. Мисс Уоррен, бледная особа, два часа простоявшая на ногах у чайного столика, молча обходила комнату, собирая пустые чашки. Она где-то кем-то служила, но всегда могла освободиться, чтобы разливать чай гостям миссис Форрестер, а по вечерам перепечатывала на машинке ее рукописи. Миссис Форрестер не платила ей за это, справедливо полагая, что бедняжка и так многим ей обязана; но она отдавала ей бесплатные билеты в кино, которые ей присылали, и нередко дарила какие-нибудь предметы одежды, когда считала, что самой ей они больше не нужны.

Миссис Форрестер говорила что-то своим низким, звучным голосом, остальные внимательно слушали. Она была в ударе, и слова, лившиеся из ее уст, можно было бы печатать без всяких поправок. Вдруг в коридоре раздался стук, словно упало что-то тяжелое, а вслед за тем громкая перебранка.

Миссис Форрестер умолкла, и благородное чело ее слегка нахмурилось.

— Пора бы им знать, что я не терплю, когда в квартире шумят. Мисс Уоррен, будьте добры, позвоните и выясните, что там творится.

Мисс Уоррен позвонила, и через минуту вошла горничная. Мисс Уоррен вполголоса заговорила с ней у двери, чтобы не перебивать миссис Форрестер. Но та с некоторым раздражением сама себя перебила.

— Что там такое, Картер? Может быть, рушится дом или это наконец разразилась революция?

— Простите, мэм, это сундук новой кухарки. Швейцар уронил его, когда вносил в квартиру, а она испугалась, ну и расстроилась.

— Какая еще новая кухарка?

— А миссис Булфинч сегодня уехала, мэм,— сказала горничная.

Миссис Форрестер с удивлением на нее поглядела.

— В первый раз слышу. Разве она предупреждала, что уходит? Как только придет мистер Форрестер, скажите ему, что мне нужно с ним поговорить.

— Слушаю, мэм.

Горничная вышла, мисс Уоррен медленно вернулась к чайному столику и машинально налила несколько чашек, хотя пить никому не хотелось.

— Какое несчастье! — воскликнула мисс Уотерфорд.

— Вы должны ее вернуть, — сказал Клиффорд Бойлстон. — Ведь эта женщина — чистое сокровище, она готовит замечательно, и притом все лучше и лучше.

Но тут опять вошла горничная и подала хозяйке письмо на никелированном подносыке.

— Что это? — спросила миссис Форрестер.

— Мистер Форрестер, мэм, велел, чтобы, когда вы его спросите, передать вам это письмо.

— А где же мистер Форрестер?

— Мистер Форрестер уехал, мэм, — отвечала горничная, словно удивленная этим вопросом.

— Уехал? Хорошо. Можете идти.

Горничная вышла, а миссис Форрестер, всем своим большим лицом выражая недоумение, вскрыла письмо. Роза Уотерфорд рассказывала мне потом, что первой ее мыслью было: наверно, Альберт, убоявшись гнева своей супруги, вызванного уходом миссис Булфинч, решил утопиться в Темзе. Миссис Форрестер прочла письмо, и на лице ее изобразился ужас.

— Это чудовищно! — вскричала она. — Чудовищно!

— Что случилось, миссис Форрестер?

Миссис Форрестер несколько раз топнула ногой по ковру, как застоявшаяся норовистая лошадь, и, скрестив на груди руки жестом, не поддающимся описанию (но знакомым всякому, кто видел рыночную торговку, изготовившуюся кого-то облаять), обратила взор на своих встревоженных и заинтригованных друзей.

— Альберт сбежал с кухаркой.

Все дружно ахнули. А потом случилось нечто страшное. Мисс Уоррен, стоящая у чайного столика, вдруг поперхнулась. Мисс Уоррен, которая никогда не открывала рта и с которой никто не разговаривал, мисс Уоррен, которую они не узнали бы на улице, хотя видели ее каждую неделю в течение трех лет, мисс Уоррен вдруг разразилась безудержным смехом. Все как один оглянулись и растерянно воззрились на нее. Так, должно быть, изумился Валаам, когда заговорила его ослица. Мисс

Уоррен хохотала все громче. Это было жуткое зрелище, точно нарушился извечный закон природы, и впечатление производило такое же, как если бы столы и стулья, внезапно сорвавшись с места, пустились выплясывать какой-то причудливый танец. Мисс Уоррен старалась сдержаться, но чем больше она старалась, тем безжалостнее сотрясал ее смех, и наконец она схватила платок и, засунув его в рот, выбежала из комнаты. Дверь захлопнулась.

— Истерика,— сказал Клиффорд Бойлстон.

— Разумеется, истерика,— сказал Гарри Окленд.

Но миссис Форрестер не сказала ничего.

Письмо, выпавшее из ее рук, лежало на полу. Симмонс поднял его и подал ей. Она отмахнулась.

— Прочтите,— сказала она.— Прочтите вслух.

Мистер Симмонс сдвинул очки на лоб, поднес письмо близко к глазам и прочел следующее:

«Моя дорогая!

Миссис Булфинч нуждается в перемене обстановки и решила от нас уехать, а так как мне не хочется оставаться без нее, я тоже уезжаю. С меня довольно, я по горло сыт литературой и искусством.

Миссис Булфинч не настаивает на законном браке, но, если ты со мной разведешься, она согласна выйти за меня замуж. Надеюсь, что новая кухарка сумеет тебе угодить. У нее отличные рекомендации. На всякий случай сообщаю, что мы с миссис Булфинч живем по адресу: Кеннингтон-роуд, 411, ЮВ.

Альберт»

Никто не прервал молчания. Мистер Симмонс стряхнул очки обратно на переносицу. Как ни привыкли они все при любых обстоятельствах находить тему для разговора, сейчас нужные слова просто не шли на язык. К такой женщине, как миссис Форрестер, не сунешься с утешениями, и к тому же каждый боялся какой-нибудь банальной фразой навлечь на себя насмешки остальных. Наконец Клиффорд Бойлстон решился.

— Просто не знаешь, что и сказать,— заметил он.

Опять наступило молчание, а потом заговорила Роза Уотерфорд.

— Какая эта миссис Булфинч с виду? — спросила она.

— Откуда мне знать? — с досадой отвечала миссис Форрестер. — Я никогда на нее не смотрела. Прислугу всегда нанимал Альберт. Ко мне Булфинч заходила только на минутку, чтобы я могла проверить общее впечатление.

— А разве вы не видели ее каждое утро, когда отдавали распоряжения по хозяйству?

— Все распоряжения отдавал Альберт. Он сам на этом настоял, чтобы я могла без помех отдаваться своей работе. В нашей жизни всюду поспеть невозможно.

— И завтраки по субботам тоже заказывал Альберт? — спросил Клиффорд Бойлстон.

— Конечно. Это входило в его компетенцию.

Клиффорд Бойлстон чуть вздернул брови. Дурак, как он не догадался, что замечательные завтраки миссис Форрестер — это работа Альберта! И, несомненно, заботами Альберта превосходное шашли всегда бывало остужено как раз в меру — чтобы приятно холодило язык, не теряя при этом своего букета.

— Он знал толк в еде и в винах, этого у него не отнимешь.

— Я вам всегда говорила, что у него есть достоинства, — сказала миссис Форрестер, словно он в чем-то упрекал ее. — Вы все над ним смеялись. Вы не верили, когда я говорила, что он мне помогает жить.

Ответа не последовало, и снова наступило молчание — тяжелое и зловещее. Вдруг мистер Симмонс бросил бомбу.

— Вы должны вернуть его.

От удивления миссис Форрестер, наверно, попятилась бы, если б не стояла, прислонившись спиной к камину.

— Что вы говорите! — вскричала она. — Я, пока жива, больше его не увижу. Простить его? Ни за что. Пусть хоть на коленях меня умоляет.

— Я не говорил, чтобы вы его простили. Я сказал — верните его.

Но миссис Форрестер не обратила внимания на эту неуместную поправку.

— Я все для него делала. Ну скажите, чем бы он был без меня? Я дала ему положение, о каком он не мог и мечтать.

Негодование миссис Форрестер было великолепно, однако на мистера Симмонса оно, как видно, не произвело впечатления.

— А на что вы теперь будете жить?

Миссис Форрестер метнула на него взгляд, в котором никто не усмотрел бы дружелюбия.

— Бог меня не оставит,—отвечала она ледяным тоном.

— Сомневаюсь,—возразил он.

Миссис Форрестер пожала плечами. На лице ее изобразилось возмущение. Но мистер Симмонс уселся поудобнее на своем жестком стуле и закурил.

— Вы знаете, что никто не восхищается вами больше моего,—сказал он.

— Больше, чем я,—поправил его Клиффорд Бойлстон.

— Ну, и чем вы,—согласился мистер Симмонс.— Мы все считаем, что из живых писателей ни один с вами не сравнится. И стихи и проза у вас первый сорт. А что до стиля—всем известно, какой у вас стиль.

— Возвышенный, как у сэра Томаса Брауна, и прозрачный, как у кардинала Ньюмена,—сказал Клиффорд Бойлстон.— Хлесткий, как у Джона Драйдена, и точный, как у Джонатана Свифта.

Только по улыбке, на мгновение тронувшей уголки трагически сжатых губ миссис Форрестер, можно было понять, что она его слышала.

— И юмор у вас есть.

— Кто, кроме вас,—вскричала мисс Уотерфорд,— может вложить в точку с запятой столько остроумия, наблюдательности и сатирической силы!

— Но при всем том спроса на вас нет,—невозмутимо продолжал мистер Симмонс.— Я двадцать лет предлагаю ваш товар и прямо скажу—на таких комиссионных не разживешься. Просто хочется иногда продвинуть хорошую книгу. Я всегда в вас верил и все надеялся, что рано или поздно публика на вас клюнет. Но если вы воображаете, что на такие писания, как ваши, можно прожить, так, уверяю вас, вы ошибаетесь.

— Я опоздала родиться,—сказала миссис Форрестер.— Мне нужно было жить в восемнадцатом веке, когда богатый покровитель давал сто гиней в награду за посвящение.

— Как вы полагаете, торговать коринкой доходное дело?

— О нет,—отвечала миссис Форрестер с легким вздохом.—Альберт говорил, что его годовой доход составляет примерно тысячу двести фунтов.

— Он, как видно, умеет делать дела. Но из такого дохода он едва ли сможет назначить вам особо щедрое содержание. Верьте моему слову, у вас есть только один выход—вернуть его.

— Лучше я буду жить в мансарде. Неужели вы думаете, что я стерплю оскорбление, которое он нанес мне? Вы что же, хотите, чтобы я отбивала его у собственной кухарки? Не забывайте, для такой женщины, как я, главное не комфорт, а достоинство.

— А я как раз к этому и веду,—сухо произнес мистер Симмонс.

Он окинул взглядом присутствующих, и в эту минуту его странные, скошенные глаза больше, чем когда-либо, напоминали глаза рака.

— Я прекрасно знаю,—продолжал он,—что в литературном мире вы занимаете почетное, можно сказать, исключительное положение. Вы—единственная в своем роде. Вы никогда не продавали своего таланта за презренный металл, высоко держите знамя чистого искусства. Вы хотите попасть в парламент. Сам я не бог весть какого мнения о политической деятельности, но признаю, что реклама это хорошая, и, если вас изберут, мы, вероятно, могли бы устроить вам лекционное турне по Америке. У вас есть идеалы, и вас, несомненно, уважают даже те, кто отроду не читал ваших книг. Но одного вы в вашем положении не можете себе позволить, а именно стать посмешищем.

Миссис Форрестер заметно вздрогнула.

— Как я должна вас понять?

— Про миссис Булфинч я ничего не знаю, очень может быть, что она вполне порядочная женщина, но факт остается фактом: жена человека, сбежавшего с кухаркой, вызывает смех. Другое дело танцовщица или титулованная леди,—это, возможно, вам и не повредило бы, но кухарка вас доконает. Через неделю весь Лондон будет над вами потешаться, а для писателя и для политического деятеля это—верная смерть. Нет, вы

должны заставить своего мужа вернуться, и притом как можно скорее, черт побери!

Лицо миссис Форрестер вспыхнуло от гнева, но ответила она не сразу. В ушах у нее внезапно зазвучал безобразный, необъяснимый смех мисс Уоррен.

— Мы все тут ваши друзья, на нашу скромность можете положиться.

Миссис Форрестер взглянула на своих друзей, и ей показалось, что в глазах Розы Уотерфорд уже мелькают злорадные искорки. Сморщенная рожица Оскара Чарлза кривилась в усмешке. Миссис Форрестер пожалела, что сгоряча посвятила их в свою тайну. Но мистер Симмонс хорошо знал литературный мир. Он спокойно оглядел всю компанию.

— Ведь вы глава и средоточие этого кружка. Ваш муж сбежал не только от вас, но и от них. Для них это тоже не весело. Альберт Форрестер всех вас оставил в дураках.

— Всех,— подтвердил Клиффорд Бойлстон.— Все мы одинаково влипли. Он прав, миссис Форрестер. Филателиста нужно вернуть.

— Et tu, Brute¹.

Мистер Симмонс не понимал по-латыни, а если бы и понимал, едва ли восклицание миссис Форрестер смутило бы его. Он откашлялся.

— Я считаю так: пусть миссис Форрестер завтра побывает у него, благо адрес он оставил, и попросит его пересмотреть свое решение. Не знаю, что женщинам полагается говорить в таких случаях, но у миссис Форрестер есть и воображение и такт, уж она найдет, что сказать. Если мистер Форрестер будет ставить условия, пусть принимает их. Нужно идти на все.

— Если вы хорошо разыграете свои карты, вполне возможно, что вы завтра же привезете его с собой,— сказала Роза Уотерфорд беспечным тоном.

— Ну как, миссис Форрестер, согласны?

Отвернувшись от них, она минуты две, не меньше, глядела в пустой камин. Потом выпрямилась во весь рост и отвечала:

¹ И ты, Брут (лат.).

— Не ради себя, ради моего искусства. Я не допущу, чтобы кощунственный смех толпы запятнал все, в чем я вижу истину, красоту и добро.

— Правильно,— сказал мистер Симмонс, вставая с места.— Я завтра забегу к вам по дороге домой и надеюсь, что к тому времени вы с мистером Форрестером уже будете ворковать здесь, как пара голубков.

Он откланялся, и остальные, страшась оказаться наедине с миссис Форрестер и ее чувствами, последовали его примеру.

На следующий день, часов около пяти, миссис Форрестер, очень представительная в черных шелках и бархатном токе, выплыла из своей квартиры и направилась к Мраморной Арке, чтобы доехать оттуда автобусом до вокзала Виктории. Мистер Симмонс объяснил ей по телефону, как добраться до Кеннингтон-роуд быстро и без больших затрат. На Далилу она была не похожа, да и не чувствовала себя ею. У вокзала Виктории она села в трамвай, который идет через Воксхоллский мост. За Темзой начинался район Лондона, более шумный, грязный и тесный, нежели те, к которым она привыкла, но, занятая своими мыслями, она даже не заметила этой перемены. По счастью, оказалось, что трамвай идет по самой Кеннингтон-роуд, и она попросила кондуктора остановить вагон за несколько домов от того, который был ей нужен. Когда трамвай, гремя, умчался дальше, а она осталась одна на оживленной улице, ее охватило странное чувство одиночества, как путника из восточной сказки, которого джинн принес в незнакомый город. Она шла медленно, глядя по сторонам, и, несмотря на борьбу, которую вели в ее объемистой груди негодование и робость, невольно думала о том, что перед нею — материал для прелестного очерка. Низкие домики хранили что-то от ушедшего века, когда здесь была еще почти деревня, и миссис Альберт Форрестер отметила про себя, что нужно будет выяснить, какие литературные события и лица связаны с Кеннингтон-роуд.

Дом № 411 стоял в ряду других, таких же обшарпанных домов, немного отступя от мостовой; перед ним была узкая полоска чахлой травы, мощеная дорожка вела к деревянному крыльцу, давно не крашенному. Крыльцо это да еще жидкий плющ, которым был увит

фасад дома, придавали ему фальшиво деревенский вид,— это было странно и даже неприятно здесь, среди шума и грохота уличного движения. Было в этом доме что-то двусмысленное, наводившее на мысль, что здесь обитают женщины, чья жизнь, прожитая в грехе, незаслуженно увенчалась наградой.

Дверь отворила худенькая девочка лет пятнадцати, длинноногая и растрепанная.

— Вы не скажете, здесь живет миссис Булфинч?

— Не в тот звонок позвонили. Это наверху.— Девочка указала на лестницу и пронзительно крикнула:— Миссис Булфинч, к вам пришли! Миссис Булфинч!

Миссис Форрестер стала подниматься по грязной лестнице, покрытой рваной дорожкой. Она шла медленно, чтобы не запыхаться. На втором этаже кто-то отворил дверь, и она узнала свою кухарку.

— Добрый вечер, Булфинч,— с достоинством произнесла миссис Форрестер.— Мне нужно повидать вашего хозяина.

Миссис Булфинч помедлила долю секунды, потом распахнула дверь настежь.

— Входите, мэм.— Она оглянулась через плечо.— Альберт, это миссис Форрестер к тебе.

Миссис Форрестер быстро шагнула мимо нее. У огня в сильно потертом кожаном кресле сидел Альберт в домашних туфлях и без пиджака. Он читал вечернюю газету и курил сигару. При виде миссис Форрестер он встал. Миссис Булфинч вернулась в комнату следом за гостьей и затворила дверь.

— Как поживаешь, дорогая?— бодро сказал Альберт.— Надеюсь, ты в добром здравье?

— Ты бы надел пиджак, Альберт,— сказала миссис Булфинч.— А то миссис Форрестер бог знает что о тебе подумает.

Она сняла пиджак с гвоздя и подала ему, а потом уверенной рукою женщины, для которой мужская одежда не таит секретов, обдернула на нем жилет, чтобы не наезжал на воротничок.

— Я получила твое письмо, Альберт,— сказала миссис Форрестер.

— Я так и думал, ведь иначе ты не знала бы моего адреса.

— Присаживайтесь, мэм,— сказала миссис Булфинч и, ловко смахнув пыль с одного из шести одинаковых стульев, обитых вишневым плюшем, выдвинула его вперед.

С легким поклоном миссис Форрестер села.

— Я бы хотела поговорить с тобой наедине, Альберт. Глаза его лукаво блеснули.

— Все, что ты можешь сказать, касается миссис Булфинч в той же мере, как и меня, поэтому лучше, я думаю, разговаривать при ней.

— Как хочешь.

Миссис Булфинч пододвинула себе стул и села. До сих пор миссис Форрестер видела ее только в ситцевом платье и большом фартуке. Сейчас на ней была белая шелковая блузка с мережкой, черная юбка и лакированные туфли на высоких каблуках и с серебряными пряжками. Это была женщина лет сорока пяти, рыжеватая, румяная, не то чтобы красивая, но цветущая и приятной наружности. Она напомнила миссис Форрестер пышнотелую служанку с жизнерадостной картины какого-то старого голландского мастера.

— Ну-с, дорогая, так что же ты хотела мне сказать?— спросил Альберт.

Миссис Форрестер подарила его одной из своих самых приветливых улыбок. Ее большие черные глаза глядели снисходительно и благодушно.

— Ты, конечно, понимаешь, Альберт, как все это глупо. Мне кажется, ты не в своем уме.

— Вот как, дорогая? Это интересно.

— Я не сержусь на тебя, мне просто смешно, но всякая шутка хороша до известного предела. А сейчас мы с тобою поедem домой.

— Разве я не ясно выразился в своем письме?

— Совершенно ясно. Я ни о чем тебя не спрашиваю и не собираюсь ни в чем упрекать. Будем считать это недоразумением и на том покончим.

— Ничто не заставит меня вернуться к тебе, моя дорогая,— сказал Альберт, впрочем вполне дружелюбно.

— Ты шутишь?

— Нисколько.

— Ты любишь эту женщину?

Миссис Форрестер все еще улыбалась приветливой, немного деревянной улыбкой. Она твердо решила относиться ко всему происходящему легко. Наделенная тонким чувством пропорций, она, конечно, понимала комизм этой сцены.

Альберт взглянул на миссис Булфинч, и по его морщинистому лицу тоже поползла улыбка.

— Мы хорошо спелись, верно, старушка?

— Неплохо,— сказала миссис Булфинч.

Миссис Форрестер подняла брови; ни разу за всю их супружескую жизнь муж не назвал ее «старушкой», да она и не одобрила бы этого.

— Если Булфинч хоть сколько-нибудь уважает тебя, она должна понимать, что это невозможно. После той жизни, которую ты вел, того общества, в котором ты вращался, едва ли она может надеяться, что ты будешь счастлив с нею в каких-то меблированных комнатах.

— Это не меблированные комнаты, мэм,— сказала миссис Булфинч.— Вся мебель моя собственная. Я оставляю за собой эту квартиру, даже когда нахожусь в услужении, чтоб было куда вернуться. Такой уж у меня характер самостоятельный, всегда любила иметь свой угол.

— И очень уютный угол,— сказал Альберт.

Миссис Форрестер огляделась. На плите, установленной в камине, шумел чайник, на каминной полке стояли черные мраморные часы между двух черных мраморных подсвечников. Большой стол, накрытый красной скатертью, комод, швейная машина. На стенах—фотографии и картинки из воскресных приложений. За красной плюшевой портьерой была вторая дверь, и миссис Форрестер, посвятившая немало свободных часов занятиям архитектурой, поняла, что, принимая во внимание размеры дома, за этой дверью может находиться только одно: единственная в квартире спальня. Таким образом, в характере отношений, связывающих миссис Булфинч и Альберта, можно было не сомневаться.

— Разве ты не был счастлив со мною, Альберт?— спросила миссис Форрестер уже менее легким тоном.

— Дорогая моя, мы были женаты тридцать пять лет. Это долгий срок. Слишком долгий. Ты по-своему неплохо

хая женщина. Но мне ты не подходишь. Ты живешь литературой и искусством, а я нет.

— Я всегда старалась вовлекать тебя в круг моих интересов. Всегда заботилась о том, чтобы, несмотря на мои успехи, ты не оставался в тени. Ты не можешь утверждать, что я тобой пренебрегала.

— Ты замечательная писательница, я этого не отрицаю, но скажу откровенно — мне твои книги не нравятся.

— Извини меня, но это только свидетельствует о недостатке вкуса. Все лучшие критики признают силу и обаяние моего таланта.

— И друзья твои мне не нравятся. Позволь открыть тебе один секрет. На твоих вечерах меня иногда так и подмывало раздеться — посмотреть, что из этого выйдет.

— Ничего особенного не вышло бы, — сказала миссис Форрестер, слегка нахмурившись. — Я бы послала за доктором, вот и все.

— И фигура у тебя для этого не подходящая, Альберт, — сказала миссис Булфинч.

Миссис Форрестер помнила намек Симмонса, чтобы она, если нужно будет, не стеснялась пустить в ход свои женские чары, лишь бы вернуть провинившегося супруга под семейный кров; но она понятия не имела, как это делается. Вероятно, подумалось ей, это было бы легче, будь она в вечернем туалете.

— Но, Альберт, ведь я тридцать пять лет была тебе верна, ни разу даже не взглянула на другого мужчину. Я к тебе привыкла. Не знаю, как я буду без тебя.

— Я все меню оставила новой кухарке, мэм, — сказала миссис Булфинч. — Вы только говорите ей, сколько гостей будет к завтраку, она все сделает, как надо. Готовит она отлично, а уж на пирожное — так у нее особенно легкая рука.

У миссис Форрестер стала ускользать почва из-под ног. После замечания миссис Булфинч, подсказанного, несомненно, самыми добрыми намерениями, трудно было вести разговор в таком плане, чтобы высокие чувства не казались фальшивыми.

— Боюсь, дорогая, что ты попусту тратишь время, — сказал Альберт. — Решение мое бесповоротно. Я уже не молод, мне требуется забота. Тебя я, разуме-

ется, по мере сил обеспечу. Коринна советует мне удалиться от дел:

— Кто такая Коринна? — спросила миссис Форрестер в крайнем изумлении.

— Это я, — сказала миссис Булфинч. — У меня мать была наполовину французенка.

— Этим многое объясняется, — заметила миссис Форрестер, поджав губы: при всем своем восхищении литературой наших соседей, она знала, что нравственность их оставляет желать лучшего.

— Я ему говорю, что довольно, мол, ему работать, пора и отдохнуть. У меня есть домик в Клектоне. Местность там здоровая, у самого моря, воздух замечательный. Мы там отлично проживем. Там не скучно — то на пляж сходишь, то на пристань. И люди хорошие. Никто тебя не трогает, если сам никого не трогаешь.

— Я сегодня говорил со своими компаньонами, они согласны выкупить мою долю. Кое-что я на этом потеряю. После всех формальностей у меня останется девятьсот фунтов годовых. Нас трое, значит, на каждого придется по триста фунтов в год.

— Разве я могу на это прожить? — вскричала миссис Форрестер. — Я должна думать о своем положении.

— Ты мастерски владеешь пером, дорогая.

Миссис Форрестер раздраженно повела плечами.

— Ты прекрасно знаешь, что мои книги не приносят мне ничего, кроме славы. Издатели всегда говорят, что печатают их в убыток, но все же печатают, потому что это повышает их престиж.

И тут-то миссис Булфинч осенила мысль, имевшая столь грандиозные последствия.

— А почему бы вам не написать детективный роман, такой, чтобы дух захватывало?

— Чего? — воскликнула миссис Форрестер, впервые в жизни забыв о грамматике.

— А это не плохая идея, — сказал Альберт. — Совсем не плохая.

— Критики разорвут меня в клочки.

— Не думаю. Дай только снобам возможность спуститься с небес на землю, не уронив своего достоинства, и они из благодарности не знаю что сделают.

— «Благодарю, Бернардо, за услугу», — задумчиво проговорила миссис Форрестер.

— Дорогая моя, критики будут в восторге. А так как книга твоя будет написана великолепным языком, то они не побоятся назвать ее шедевром.

— Но это чистейший абсурд. Такие вещи чужды моему таланту. Я все равно не сумею угодить широким массам.

— Почему? Широкие массы любят читать хорошие книжки, но они не любят скучать. Имя твое знают все, но читать тебя не читают, потому что это скучно. Дело в том, дорогая, что ты невыносимо скучна.

— Не понимаю, как ты можешь это говорить, Альберт,— возразила миссис Форрестер, ничуть не обидевшись (экватор тоже, вероятно, не обиделся бы, если бы его назвали холодным).— Все признают, что у меня восхитительное чувство юмора и что никто не может добиться такого комического эффекта с помощью точки с запятой.

— Если ты сумеешь дать широким массам захватывающий роман и в то же время внушить им, что они пополняют свое образование, ты станешь богатой женщиной.

— Я в жизни не читала детективных романов,— сказала миссис Форрестер.— Я слышала про какого-то мистера Барнса из Нью-Йорка, он, говорят, написал книгу под названием «Тайна кэба». Но я ее не читала.

— Тут, конечно, требуется особое умение,— сказала миссис Булфинч.— Главное — не забывать, что про любовь писать не нужно, в детективном романе это ни к чему, там нужно, чтоб было убийство, сыщики и чтобы до последней страницы нельзя было угадать, кто преступник.

— Но нельзя и водить читателей за нос,— добавил Альберт.— Меня всегда злит, когда подозрение падает на секретаря или на герцогиню, а потом оказывается, что убил младший лакей, который за все время только и сделал, что доложил: «Коляска подана». Запутывай читателя как можно больше, но не заставляй его чувствовать себя дураком.

— Обожаю детективные романы,— сказала миссис Булфинч.— Как прочтешь, что на полу в библиотеке лежит знатная леди в вечернем платье, вся в бриллиантах, и в сердце у нее воткнут кинжал,— просто вся дрожишь от радости.

— Кому что,— сказал Альберт.— Я, например, больше люблю, когда в Хайд-парке находят труп почтенного адвоката с бакенбардами, золотой цепочкой от часов и добрым выражением лица.

— И с перерезанным горлом? — живо спросила миссис Булфинч.

— Нет, убитого ножом в спину. Есть особая прелесть в том, чтобы убитый был пожилой джентльмен с безупречной репутацией. Всякому приятно думать, что за самой казалось бы почтенной внешностью скрывается что-то загадочное.

— Я тебя понимаю, Альберт,— сказала миссис Булфинч.— Ему была вверена роковая тайна.

— Мы можем дать тебе кучу полезных советов, дорогая,— сказал Альберт, ласково улыбаясь миссис Форрестер.— Я прочел сотни детективных романов.

— Ты?!

— С этого и началась наша дружба с Коринной. Я их прочитывал, а потом передавал ей.

— Сколько раз я, бывало, услышу, как он выключает свет, а на улице уже утро, всегда улыбнусь про себя и подумаю: ну вот, дочитал наконец, теперь можно ему и соснуть.

Миссис Форрестер встала и расправила плечи.

— Теперь я вижу, какая пропасть нас разделяет,— сказала она чуть дрогнувшим контральто.— Тридцать лет тебя окружало все, что есть лучшего в английской литературе, а ты сотнями читал детективные романы.

— Да, не одну сотню прочел,— подтвердил Альберт с довольной улыбкой.

— Я пришла сюда, готовая на любые разумные уступки, лишь бы ты вернулся домой, но теперь я этого больше не хочу. Ты доказал, что у нас нет и не было ничего общего. Мы живем на разных планетах.

— Хорошо, дорогая. Я подчиняюсь твоему решению. А о детективном романе ты подумай.

— «Теперь я в путь пускаюсь, в далекий Иннисфри»,— прошептала миссис Форрестер.

— Я провожу вас до парадного,— сказала миссис Булфинч.— Там дорожка рваная, недолго и споткнуться.

С большим достоинством, однако же внимательно глядя под ноги, миссис Форрестер спустилась по лестни-

це и, когда миссис Булфинч, отперев дверь, предложила ей позвать такси, покачала головой.

— Я поеду трамваем.

— А насчет мистера Форрестера не беспокойтесь, мэм,— дружелюбно сказала миссис Булфинч,— я о нем буду хорошо заботиться. Я вон за мистером Булфинчем три года ходила, когда он в последний раз захворал, не хуже сиделки. А мистер Форрестер, он для своих лет вон какой крепкий и бодрый. Ну и занятие у него, конечно, будет. Хуже нет, когда мужчине нечем заняться. Он будет собирать марки.

Миссис Форрестер вздрогнула от неожиданности. Но тут показался трамвай, и она, как свойственно женщинам (даже великим), с риском для жизни бросилась на середину улицы и отчаянно замахала рукой. Трамвай остановился, она села. Она не могла представить себе, что скажет мистеру Симмонсу. Ведь он ждет ее. И Клиффорд Бойлстон, наверно, явился. Все они явились, и ей придется сказать им, что она потерпела позорное фиаско. В эту минуту кучка ее преданных почитателей не вызывала у нее особенно теплых чувств. Сообразив, что уже поздно, она подняла глаза на пассажира напротив, чтобы убедиться, прилично ли будет спросить у него, который час,— и вздрогнула: перед ней сидел пожилой человек самой почтенной наружности, с бакенбардами, с добрым выражением лица и с золотой цепочкой. Тот самый, который, как сказал Альберт, был найден убитым в Хайд-парке, и он, конечно же, адвокат. Совпадение было поразительное,— в самом деле, точно перст судьбы поманил ее. На нем был цилиндр, черная визитка и серые брюки в полоску, он был крепкого сложения, немного располневший, а рядом с ним стоял небольшой чемоданчик. Когда они миновали Воксхолл-ский мост, он попросил кондуктора остановить вагон, и она видела, как он свернул в узкий мрачный переулок. Зачем? Если бы знать! Она так ушла в свои мысли, что, доехав до вокзала Виктории, не сдвинулась с места, пока кондуктор не напомнил ей довольно бесцеремонно, что надо выходить. Детективные рассказы писал Эдгар Аллан По. Она села в автобус и ехала, по-прежнему погруженная в задумчивость, но у первых ворот Хайд-парка вдруг решила, что пойдет дальше пешком. Она

больше не могла сидеть на месте. Войдя в парк, она медленно пошла по дорожке, глядя перед собой взглядом, одновременно пристальным и рассеянным. Да, Эдгар Аллан По; этого никто не станет отрицать. В конце концов, ведь именно он изобрел этот жанр, а всем известно, какое влияние он имел на парнасцев. Или на символистов? Впрочем, это неважно. Бодлер и прочие. У статуи Ахиллеса миссис Форрестер остановилась и с минуту глядела на нее, подняв брови.

Наконец она добралась до своей квартиры и, отворив дверь, увидела в передней несколько шляп. Все явились! Она вошла в гостиную.

— Наконец-то! — вскричала Роза Уотерфорд.

Миссис Форрестер энергично пожала протянувшиеся к ней руки. Да, все здесь — мистер Симмонс, Клиффорд Бойлстон, и Гарри Окленд, и Оскар Чарлз.

— Бедные вы мои, вам не дали чаю? — воскликнула она непринужденно и весело. — Я понятия не имею, который час, но я, наверно, ужасно запоздала.

— Ну что? — спросили все.

— Дорогие мои, я должна вам сообщить поразительную новость. На меня снизошло вдохновение. Зачем отдавать все козыри противнику?

— О чем вы?..

Она сделала паузу, чтобы эффект получился сильнее, а потом выпалила без всяких предисловий:

— Я буду писать детективный роман.

Они смотрели на нее, раскрыв рот. Она подняла руку в знак того, чтобы ее не прерывали, но никто и не собирался ее прерывать.

— Я подниму детективный роман до уровня высокого искусства. Эта идея явилась у меня внезапно в Хайд-парке. История с убийством, а разгадку я дам на самой последней странице. Я напишу ее безукоризненным языком, но поскольку мне уже приходило в голову, что я, пожалуй, исчерпала ресурсы точки с запятой, теперь я начну обыгрывать двоеточие. Никто еще не исследовал его потенциальных возможностей. Юмор и тайна — вот к чему я стремлюсь. Называться книга будет «Статуя Ахиллеса».

— Какое заглавие! — воскликнул мистер Симмонс, первым приходя в себя. — Да мне только этого заглавия и вашего имени хватит для договора с журналами.

— А что же Альберт? — спросил Клиффорд Бойлстон.

— Альберт? — отозвалась миссис Форрестер. — Альберт?

Она посмотрела на Клиффорда Бойлстона так, словно не могла взять в толк, о чем он говорит. Потом негромко вскрикнула, будто вдруг что-то вспомнив.

— Альберт! Я же знала, что у меня было какое-то дело. Но когда я шла через Хайд-парк, меня осенила эта мысль и все остальное вылетело из головы. Какой я вам, наверно, кажусь душой!

— Так вы не видели Альберта?

— Боже мой, я о нем и думать забыла. — Она беспечно рассмеялась. — Пусть остается со своей кухаркой. Теперь мне не до Альберта. Альберт — это из эпохи точки с запятой. Я буду писать детективный роман.

— Дорогая моя, вы просто изумительны, — сказал Гарри Окленд.

ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ

Впервые я обратил на него внимание именно из-за этого шрама, широкого и красного, который большим полумесяцем пересекал его лицо от виска до подбородка. Очевидно, это был след страшной раны, то ли от удара саблей, то ли от осколка снаряда. Во всяком случае, этот шрам выглядел странно на его круглом, добродушном лице с мелкими, неприметными чертами и простоватым выражением. Да и само лицо как-то не вязалось с таким огромным телом. Это был могучий человек, выше среднего роста. На нем всегда был один и тот же поношенный серый костюм, рубашка цвета хаки и мягое сомбреро. Вид у него был не слишком опрятный. Каждый день ко времени коктейля он появлялся в гватемальском «Палас-отеле» и, неторопливо расхаживая по бару, продавал лотерейные билеты. Если это был его заработок на жизнь, то жил он, по всей вероятности, очень бедно, потому что я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь купил у него билет; однако изредка ему предлагали выпить. Он никогда не отказывался. Человек со шрамом пробирался между столиками осторожно и как-то вразвалку, словно привык ходить пешком на далекие расстояния, останавливался у каждого столика, с легкой улыбкой называл номера своих билетов и, если на него не обращали внимания, с той же улыбкой

двигался дальше. По-видимому, он почти всегда был под хмельком.

Как-то вечером, когда я с одним знакомым стоял у стойки в баре — в гватемальском «Палас-отеле» готовят превосходный сухой мартини,— человек со шрамом подошел к нам и снова, уже в который раз, вытащил для моего обозрения свои билеты. Я покачал головой, но мой знакомый приветливо кивнул ему.

— Que tal, генерал? Как дела?

— Ничего. Дела идут не блестяще, но бывало хуже.

— Что будете пить?

— Бренди.

Выпив залпом, он поставил рюмку и кивнул моему знакомому.

— Gracias. Hasta luego¹.

Затем он отошел от нас и стал предлагать свои билеты другим.

— Кто такой? — спросил я. — Какой у него ужасный шрам на лице.

— Да, он его не украшает. Этот человек — изгнанник из Никарагуа. Разумеется, головорез и бандит, но неплохой малый. Я даю ему время от времени несколько песо. Он был генералом, возглавил там мятеж, и если бы не кончились боеприпасы, он свергнул бы правительство и был бы военным министром, а не продавал лотерейные билеты в Гватемале. Его захватили вместе со всем штабом и судили военным судом. Такие дела там решаются быстро, и его приговорили к расстрелу. В плену, надо думать, ему сразу стало ясно, что его ждет. Ночь он провел в тюрьме и вместе с остальными — всего их было пятеро — коротал время за игрой в покер, используя вместо фишек спички. Он говорил мне, что ни разу в жизни у него не было такой полосы невезения. На рассвете в камеру вошли солдаты, чтобы вести заключенных на казнь. К этому времени он успел проиграть больше спичек, чем обычный человек может использовать за целую жизнь.

Их вывели в тюремный двор и поставили к стене, всех пятерых в ряд лицом к солдатам. Но ничего не последовало, и наш друг спросил, какого черта их заставляют ждать. Офицер ответил, что ждут прибытия

¹ Спасибо. До скорой встречи (исп.).

генерала — командующего правительственными войсками, который пожелал присутствовать при казни.

— В таком случае я еще успею выкурить сигарету,— сказал наш друг.— Генерал никогда не отличался точностью.

Но едва он закурил, как генерал — между прочим, это был Сан-Игнасио, вы с ним, возможно, встречались — появился во дворе в сопровождении своего адъютанта. Были выполнены обычные формальности, и Сан-Игнасио спросил осужденных, нет ли у кого-нибудь из них последнего желания. Четверо ответили отрицательно, но наш друг сказал:

— Да, я хотел бы проститься с женой.

— Виепо¹,— сказал генерал,— я не возражаю. Где она?

— Ждет у ворот тюрьмы.

— Тогда это займет не больше пяти минут.

— Даже меньше, сеньор генерал,— сказал наш друг.

— Отведите его в сторону.

Два солдата вышли вперед и отвели осужденного в указанное место. Офицер по кивку генерала дал команду, раздался нестройный залп, и те четверо упали. Они упали странно — не разом, а один за другим, нелепо дергаясь, как марионетки в кукольном театре. Офицер подошел к ним и разрядил оба ствола револьвера в того, который был еще жив. Наш друг докурил сигарету и отшвырнул окурки.

В это время у ворот произошло какое-то движение. Во двор быстрыми шагами вошла молодая женщина — и внезапно остановилась, схватившись рукой за сердце. Потом она вскрикнула и, протянув руки, бросилась вперед.

— Саганба²,— сказал генерал.

Женщина была вся в черном, волосы покрыты вуалью, лицо мертвенно бледное. Почти девочка — тоненькая, с правильными чертами лица и огромными глазами. Сейчас в этих глазах застыл ужас. Она бежала, полуоткрыв рот, и так была прекрасна в своем горе, что даже у этих ко всему безразличных солдат вырвался возглас изумления.

¹ Хорошо (исп.).

² Черт возьми (исп.).

Мятежник шагнул ей навстречу. Она кинулась к нему в объятия с хриплым страстным криком: *Alma demí cora! Són*—сердце души моей.

Он прильнул к ее губам. В то же мгновение выхватил нож из-под рваной рубахи—уму непостижимо, как ему удалось его там спрятать,—и ударил ее в шею. Кровь хлынула из перерезанной вены, обагрив его рубаху. Он снова обнял жену и прижался к ее губам.

Многие не поняли, что произошло—настолько быстро все свершилось,—у других же вырвался крик ужаса, они бросились к нему и схватили его за руки: женщина упала бы, если бы адъютант генерала не подхватил ее. Она была без сознания. Ее положили на землю и обступили, растерянно глядя на нее. Мятежник знал, куда нанести удар: остановить кровь было невозможно. Через минуту адъютант, стоявший возле нее на коленях, поднялся.

— Она мертва,—прошептал он.

Мятежник перекрестился.

— Почему ты это сделал?—спросил генерал.

— Я любил ее.

Словно вздох пробежал по рядам; все взгляды были направлены на убийцу. Генерал молчал и тоже смотрел на него.

— Это был благородный поступок,—сказал наконец генерал.—Я не могу казнить такого человека. Возьмите мою машину и отвезите его на границу. Сеньор, свидетельствую вам свое уважение как смелый человек смелому человеку.

Послышался ропот одобрения. Адъютант тронул убийцу за плечо и, не сказав ни слова, зашагал между двумя солдатами к ожидавшей машине.

Мой знакомый умолк, и я некоторое время тоже молчал. Должен заметить, что он был гватемалец и говорил со мной по-испански. Я постарался как можно лучше перевести то, что услышал, сохранив даже и его несколько напыщенный слог. Честно говоря, я думаю, что он вполне соответствует рассказу.

— Но откуда же этот шрам?—спросил я наконец.

— А, это он как-то раз откупоривал бутылку, и она разорвалась у него в руках. Бутылка шипучки.

— Никогда не любил шипучки,—сказал я.

ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА

В баре былолюдно. Сэнди Весткот выпил пару коктейлей и теперь почувствовал, что хочет есть. Он взглянул на часы. Скоро десять, а он был приглашен к обеду на половину десятого. Ева Баррет всегда опаздывает, как бы не пришлось ему просидеть голодным еще целый час. Он опять решил заказать себе коктейль, обернулся к бармену, и в это время к стойке подошел человек.

— Хэлло, Котмен,— сказал Сэнди,— выпьете со мной?

— Пожалуй, не откажусь, сэр.

Котмен был красивый мужчина лет, вероятно, около тридцати, маленького роста, но такой ладный, что это впечатление скрадывалось, в элегантном двубортном смокинге, пожалуй, чуть зауженном в талии, и с галстуком-бабочкой, определенно великоватым. У него были густые вьющиеся черные волосы, зачесанные со лба назад и блестящие до лоска, и большие жгучие глаза. Выражался он очень интеллигентно, но выговор у него был простонародный.

— Как Стелла?—спросил Сэнди.

— Отлично, сэр. Она любит немного полежать перед выступлением. Говорит, это успокаивает.

— Я бы и за тысячу фунтов не взялся повторить ее фокус.

— Да, уж конечно. Кроме нее, этого никто не может, то есть, понятно, с такой высоты и если воды всего пять футов.

— В жизни не видывал такого жуткого зрелища.

Котмен хмыкнул. Он счел это высказывание лестным.

Стелла была его женой. Правда, ныряла и рисковала жизнью она, но пламя придумал он, а ведь именно пламя так нравилось публике и принесло их номеру такой шумный успех. Стелла прыгала в воду с шестидесятифутовой высоты, а вода была в резервуаре, имевшем, как он только что упомянул, глубину всего пять футов. Перед самым ее прыжком на воду выливали немного бензина, Котмен поджигал его— пламя взмывало кверху, и она бросалась вниз, прямо в огонь.

— Пако Эспинель говорит, что у них в казино никогда еще не было такой приманки для публики,—сказал Сэнди.

— Я знаю. Он говорил, что они продали в июле больше обедов, чем обычно в августе. И все, он говорит, благодаря нам.

— Ну, вам, я надеюсь, тоже довольно перепадает.

— Да как сказать, сэр. У нас ведь контракт. А мы, конечно, не могли знать, что будет такой успех. Но мистер Эспинель поговаривает о том, чтобы оставить нас еще на месяц. Так вот, откровенно скажу вам: на прежних условиях или вроде того он нас больше у себя не увидит. Да мне только сегодня утром прибыло письмо от одного агента — нас зовут в Довилль.

— Вон пришли мои друзья, — сказал Сэнди.

Он кивнул Котмену и отошел. Из дверей выплыла Ева Баррет в сопровождении остальных гостей, которые ждали ее в вестибюле. Всего с Весткотом было восемь человек.

— Я так и знала, что мы найдем вас тут, Сэнди, — сказала она. — Я не опоздала?

— Только на полчаса.

— Спросите всех, кому какой коктейль, и пошли обедать.

Когда они подошли к стойке, где теперь уже почти никого не было, так как публика перебралась на террасу к обеденным столикам, проходивший мимо Пако Эспинель остановился, чтобы поздороваться с Евой Баррет. Пако Эспинель был молодой человек, который промотал свои деньги и теперь зарабатывал на жизнь тем, что устраивал зрелища для привлечения в казино посетителей. В его обязанности входило быть любезным с богатыми и знатными. Миссис Челонер Баррет была американка, вдова и обладательница огромного состояния; она не только щедро угощала знакомых, но также играла. А ведь в конечном-то счете все эти обеды и ужины и два эстрадных номера в придачу существовали только для того, чтобы публика расставалась со своими деньгами за зеленым столом.

— Найдется для меня хороший столик, Пако? — спросила Ева Баррет.

— Самый лучший. — Его глаза, красивые, черные аргентинские глаза, выражали восхищение обильными стареющими прелестями миссис Баррет. Это тоже полагалось по должности. — Вы уже видели Стеллу?

— Конечно. Три раза. Никогда в жизни не видела ничего страшнее.

— Сэнди вот приходит каждый день.

— Я хочу присутствовать при трагической развязке. Рано или поздно она неизбежно разобьется насмерть, и мне было бы жаль проморгать это событие.

Пако рассмеялся.

— У нее такой успех, мы думаем продержат ее еще месяц. Все, что мне нужно,— это чтоб она не убилась до конца августа. А дальше уж ее дело.

— О господи, неужели мне придется еще и весь август каждый вечер питаться форелью и жареными цыплятами? — ужаснулся Сэнди.

— Сэнди, вы чудовище,— сказала Ева Баррет.— Ну пошли, пора: я умираю с голоду.

Пако Эспинель спросил у бармена, не видал ли он Котмена. Бармен ответил, что тот пил здесь недавно с мистером Весткотом.

— Если зайдет еще, передайте, что он мне нужен на два слова.

На первой ступеньке лестницы, ведущей на террасу, миссис Баррет задержалась ровно настолько, чтобы женщина-репортер, маленькая, изможденная, с неаккуратной прической, успела подойти к ним с блокнотом в руке. Сэнди шепотом сообщил ей имена приглашенных. Компания собралась типичная для Ривьеры. Английский лорд со своей леди, оба долговязые и тощие, готовые обедать со всяким, кто согласен кормить их бесплатно,— эти двое еще до полуночи будут пьяны как сапожники. Сухопарая шотландка с лицом перуанского идола, выстоявшего натиск бесчисленных бурь на протяжении десяти столетий, и ее муж, англичанин. Биржевой маклер по профессии, он имел тем не менее бравый вид и грубоватые замашки простодушного добряка и оставлял впечатление такого чистосердечия, что вы больше жалели его, чем себя, когда он — исключительно из особого к вам расположения — давал вам совет, и вы же, следуя ему, оказывались в дураках. Еще здесь присутствовали одна графиня-итальянка, которая не была ни итальянкой, ни графиней, зато прекрасно играла в бридж, и русский князь, питающий серьезные намерения сделать миссис Баррет княгиней, а покуда спекулировавший шампанским, автомобилями и полотнами старых мастеров.

В этот вечер в казино был объявлен бал, столики на террасе стояли плотно сдвинутые, и, пережидая, пока

кончится танец, миссис Баррет сверху вниз смотрела на тесную толпу танцующих с выражением, которому ее короткая верхняя губа придавала презрительный оттенок. А за террасой лежало море, спокойное и немое. Музыка кончилась, метрдотель, любезно улыбаясь, поспешил навстречу, чтобы провести Еву Баррет к столику. Она величаво прошествовала вниз по ступеням.

— Отсюда нам будет отлично видно,— заметила она, усаживаясь.

— Я люблю сидеть у самого резервуара, чтобы можно было разглядеть ее лицо,— сказал Сэнди.

— А что, она хорошенькая? — спросила графиня.

— Не в том дело. Главное — это выражение ее глаз. Ей каждый раз бывает до смерти страшно.

— Не верю,— сказал биржевой маклер, которого все величали «полковник Гудхарт», хотя откуда у него воинское звание, оставалось тайной.— Уверяю вас, все это не более как фокус, то есть на самом деле здесь риска ни на грош.

— Да что вы! Она ныряет с такой высоты, и воды так мало, надо вывернуться с молниеносной быстротой, как только она коснется воды. А не успеет — неизбежно ударится головой о дно и сломает шею.

— Вот именно, старина,— сказал полковник.— Фокус. Тут и спорить нечего.

— Ну, если здесь нет риска, тогда и вообще смотреть не на что,— заявила Ева Баррет.— Продолжается все какую-то минуту. И если на самом деле она не рискует жизнью, то это — величайшее надувательство наших дней. Что же получается: мы приходим сюда по столько раз, а тут все, оказывается, сплошной обман?

— Как и все в нашей жизни, уж можете мне поверить.

— Ну что ж. Кому и знать, как не вам,— сказал Сэнди.

Возможно, что полковник и уловил в его словах оскорбительный намек, но виду, во всяком случае, не подал. Он довольно засмеялся.

— Да уж кое-что я знаю, это точно,— согласился он.— Держу ухо востро, меня так просто не проведешь.

Резервуар находился в конце террасы, а позади него поднималась, поддерживаемая подпорками, необычайно высокая лестница с маленькой площадкой наверху.

Сыграли еще несколько танцев, а потом, как раз когда за столом Евы Баррет ели спаржу, музыка смолкла и лампы потускнели. На резервуар направили прожектор. В сияющем кругу стоял Котмен. Он поднялся на несколько ступенек и остановился.

— Леди и джентльмены,—выкрикнул он громко и отчетливо,—сейчас вы увидите удивительнейший номер нашего столетия. Мировая чемпионка по прыжкам в воду, мадам Стелла, прыгнет с шестидесятифутовой высоты в озеро пламени глубиной в пять футов. Это никому еще не удавалось, и мадам Стелла согласна заплатить сто фунтов всякому, кто отважится попробовать. Леди и джентльмены, имею честь представить вам мадам Стеллу!

На широкой лестнице, ведущей на террасу, появилась маленькая фигурка, быстро пробежала к резервуару и поклонилась аплодирующей публике. На ней был мужской шелковый халат и купальная шапочка. Худое лицо загримировано, как для сцены.

Графиня-итальянка навела на нее лорнет.

— Даже не хорошенькая,—высказалась она.

— Фигура красивая,—сказала Ева Баррет.—Сейчас увидите.

Стелла выскользнула из халата и отдала его Котмену. Он спустился вниз. Она постояла еще минуту, глядя на публику. В зале было темно, ей видны были только расплывчатые белые лица и белые манишки. Она была замечательно сложена — маленькая, длинноногая, узкобедрая. Купальный костюм едва прикрывал ее тело.

— Вполне согласен с вами насчет фигуры, Ева,—сказал полковник.— Не очень развитые формы, конечно, но вы, женщины, я знаю, теперь считаете, что в этом вся соль.

Стелла начала подниматься по ступенькам, прожектор следовал за ней. Казалось, лестнице нет конца. Ассистент вылил на воду бензин. Котмену подали горящий факел. Он подождал, пока Стелла добралась до самого верха и стала на площадке.

— Готово? — крикнул он.

— Да.

— Allez!

С этим возгласом он сунул в воду горящий факел. Вспыхнуло пламя, языки устрашающе взметнулись ввысь. В тот же миг Стелла прыгнула. Она мелькнула

молнией—прямо в огонь, который погас, едва она скрылась под водой. Еще секунда—и она выскочила из резервуара навстречу грому, целой буре аплодисментов. Котмен набросил на нее халат. Она все кланялась и кланялась. Аплодисменты не стихали. Заиграла музыка. Сделав на прощание плавный жест рукой, она сбегала по ступенькам, пробралась между столиками и скрылась за дверью. Включили свет, и официанты, словно спохватившись, засуетились со своими подносами.

Сэнди Весткот вздохнул, разочарованно или облегченно—он и сам не знал.

— Шикарно,—сказал английский вельможа.

— Явное надувательство,—повторил полковник с чисто британским упорством.—Готов поспорить на что угодно.

— Не успеешь оглянуться, как уже все кончилось,—сказала супруга английского лорда.—Право же, за свои деньги можно бы ожидать большего.

Деньги-то, конечно, были не ее. Она своих денег никогда не платила. Графиня-итальянка перегнулась через стол. Она говорила по-английски свободно, но с сильным акцентом.

— Ева, дорогая, кто эти удивительные люди, вон за столиком возле двери, которая под балконом?

— Умора, а?—отозвался Сэнди.—Я прямо глаз от них отвести не могу.

Ева Баррет взглянула туда, куда указывала графиня, и русский князь, который сидел спиной к тому столику, тоже обернулся.

— Невероятно!—воскликнула Ева.—Нужно спросить у Анджело, кто это такие.

Миссис Баррет принадлежала к числу женщин, которые знают по именам метрдотелей во всех лучших ресторанах Европы. Она велела официанту, наливавшему ей вино, прислать к ней Анджело.

Действительно, то была очень странная пара. Они сидели одни за маленьким столиком. Они были очень стары. Он, высокий и грузный, с целой шапкой белых волос, большими мохнатыми белыми бровями и огромными белыми усами, напоминал покойного короля Италии Умберто, но только вид имел гораздо более королевский. Сидел он идеально прямо. На нем был фрак, белый галстук и воротничок, из тех, что уже лет тридцать как вышли из моды. С ним была маленькая

старушка в черном атласном бальном платье с большим декольте и затянутая в талии. На шее у нее висело несколько ниток цветных бус. Сразу было видно, что на ней парик и притом плохо пригнанный — сплошные кудряшки и локончики цвета воронова крыла. Лицо у нее было грубо размалевано — ярко-синяя краска под глазами и на веках, брови неестественно черные, на щеках по пятну очень красных румян, а губы фиолетово-пурпурные. Кожа висела на лице глубокими складками. У нее были большие и смелые глаза, и она метала от столика к столику взоры, исполненные живого интереса. Она разглядывала все вокруг, то и дело указывая на кого-нибудь своему спутнику. Вид этой четы среди модной публики, среди мужчин в смокингах, женщин в легких платьях светлых тонов, был настолько фантастичен, что глаза многих были устремлены в их сторону. Однако это, видимо, ничуть не смущало старушку. Чувствуя, что на нее смотрят, она начинала лукаво поднимать брови, улыбаться и играть глазами. Казалось, она вот-вот вскочит и поклонится, прижав ручку к сердцу.

Анджело поспешил подойти к выгодной клиентке, какой была Ева Баррет.

— Вы желали меня видеть, миледи?

— Ах, Анджело, нам просто до смерти интересно узнать, кто эти удивительнейшие люди там за столиком, возле двери?

Анджело оглянулся и тут же принял сокрушенный вид. Всем своим лицом, движением плеч, поворотом спины, жестом руки, быть может даже подергиванием пальцев на ногах он как бы и подсмеивался и оправдывался.

— Прошу вас, не взыщите, миледи.— Он, разумеется, знал, что у миссис Баррет не было титула (точно так же, как он знал, что графиня-итальянка не была ни итальянкой, ни графиней и что английский лорд никогда не платил за себя сам, если это мог за него сделать кто-нибудь другой), но он знал также, что такое величание не было ей неприятно.— Они очень просили, чтоб я дал им столик, им непременно хотелось увидеть, как ныряет мадам Стелла. Они когда-то сами выступали. Я, конечно, понимаю, это не такая публика, какая бывает в нашем ресторане, но им во что бы то ни стало хотелось, у меня просто не хватило духу им отказать.

— Ах, но ведь они сплошной восторг. Они мне страшно нравятся.

— Это мои старинные знакомые. С ним мы земляки,— метрдотель снисходительно усмехнулся.— Я сказал, что оставляю за ними столик при условии, если они не будут танцевать. На это уж я, понятно, пойти не мог, миледи.

— Ах, а мне бы ужасно хотелось поглядеть, как они танцуют.

— Всему есть предел, миледи,— важно произнес Анджело.

Он улыбнулся, поклонился еще раз и отошел.

— Глядите!— воскликнул Сэнди.— Они уходят.

Смешная старая чета уже расплачивалась. Старик встал и набросил на плечи своей супруге большое боа из белых, но не слишком чистых перьев. Она поднялась. Он подал ей руку, держась очень прямо, и она, такая маленькая рядом с ним, засеменила к выходу. У ее черного атласного платья был длинный шлейф, и Ева Баррет (которой было уже за пятьдесят) взвизгнула от восторга.

— Поглядите-ка, я помню, моя мамочка носила такие платья, когда я ходила в школу.

Забавная пара все так же рука об руку прошла по просторным залам казино и остановилась у двери. Старик обратился к швейцару:

— Будьте добры сказать нам, как пройти в артистическую. Мы хотим засвидетельствовать свое почтение мадам Стелле.

Швейцар оглядел их критическим взглядом. С такими людьми не обязательно быть особенно вежливым.

— Ее там нет.

— Разве она уже ушла? Я думал, что в два часа она выступает еще раз?

— Правильно. Они, наверно, в баре сидят.

— По-моему, худого в том не будет, если мы заглянем туда, Карло,— заметила старушка.

— Хорошо, дорогая,— ответил он, налегая на раскатистое «р».

Они медленно поднялись по широкой лестнице и вошли в бар. Здесь не было никого, кроме помощника бармена и одной парочки, сидящей в креслах в углу. Старушка сразу же отпустила локоть мужа и засеменила к ним, еще издали протягивая обе руки.

— Здравствуйте, милочка. Я сижу там и чувствую, что просто непременно должна поздравить вас, ведь я тоже англичанка. И потом я сама выступала. У вас отличный номер, моя милая, вы заслужили этот успех.— Она повернулась к Котмену.— А это муж ваш?

Стелла поднялась из кресла и с застенчивой улыбкой смущенно слушала говорливую даму.

— Да, это Сид.

— Очень приятно,—сказал он.

— А вот это мой,—сказала старушка, легонько поведя локтем в сторону своего беловолосого спутника.— Мистер Пенецци. На самом-то деле он граф, а я по всем правилам графиня Пенецци, но мы теперь опускаем титул, с тех пор как кончили выступать.

— Может быть, вы выпьете с нами?—предложил Котмен.

— Нет, нет, позвольте нам угостить вас,—затрясла головой миссис Пенецци, опускаясь в кресло.— Карло, закажи.

Подошел бармен, и после небольшого совещания были заказаны три бутылки пива. Стелла пить отказалась.

— Она никогда ничего не пьет до второго выступления,—объяснил Котмен.

Стелла была маленькая хрупкая женщина лет двадцати шести, со светло-каштановыми волосами, коротко подстриженными и завитыми, и серыми глазами. Она подкрасила губы, но румян у нее на щеках почти не было, она казалась бледной. Ее нельзя было назвать красивой, но у нее было нежное, аккуратное личико. Одета она была в простое вечернее платье из белого шелка. Принесли пиво, и мистер Пенецци, человек, очевидно, не очень разговорчивый, сделал несколько больших глотков.

— А вы с чем выступали?—вежливо спросил Котмен.

— Миссис Пенецци устремила на него взгляд своих живых, густо подведенных глаз и обратилась к мужу:

— Скажи им, кто я, Карло.

— Женщина Пушечное Ядро,—провозгласил он.

Миссис Пенецци радостно заулыбалась и по-птичьи быстро перевела взгляд с Котмена на Стеллу. Оба с недоумением глядели на нее.

— Флора, Женщина Пушечное Ядро,—повторила она.

Она так явно рассчитывала поразить их, что они просто растерялись. Стелла озадаченно взглянула на своего Сиды. Он поспешил на помощь.

— Это, верно, было еще до нас.

— Конечно, до вас. Ведь мы ушли со сцены как раз в тот год, как умерла покойница королева Виктория. Наш уход тоже вызвал целую сенсацию. Вы наверняка слышали обо мне.—Но на их лицах ничего не обозначилось; голос ее зазвучал жалобно:—Но ведь у меня был потрясающий успех. Я в старом «Аквариуме» выступала, народ туда валом валил. Все самые блестящие люди приезжали меня смотреть. Принц Уэльский, да и вообще, кого там только не было. Весь город обо мне говорил. Правда, Карло?

— Благодаря ей в «Аквариуме» целый год были полные сборы.

— Это у них был самый эффектный номер за все время. Я вот не так давно взяла и поехала представилась леди Де Бат. Знаете, Лили Лэнгтри? Она тогда здесь жила. Так она меня прекрасно помнила. Она сказала, что видела меня десять раз.

— А что вы делали?—спросила Стелла.

— Мною выстреливали из пушки. Поверьте, это была настоящая сенсация. А после Лондона я объездила со своим номером весь мир. Да, моя милая, теперь я женщина старая, не спорю. Мистеру Пенецци вот семьдесят восемь лет исполнилось, да и мне уже за семьдесят, но когда-то мои портреты были расклеены по всему Лондону. Леди Де Бат сказала мне: «Дорогая моя, вы были такой же знаменитостью, как и я». Но ведь знаете, какая у нас публика, увидят что-нибудь хорошее, так восторгаются, да только подавай им все время новенькое, а то им надоедает и они перестают ходить. Так будет и с вами, моя милая, так было и со мной. Это никого не минует. Но у мистера Пенецци всегда была голова на плечах. Он сизмальства артистом. В цирке. Он был шталмейстером, когда я с ним познакомилась. Я тогда выступала в акробатической труппе. Акробаты на трапеции, знаете? Он и сейчас еще видный мужчина, но посмотрели бы вы на него тогда: в русских сапогах и бриджах, в облегающем сюртуке со шнурами по всему переду, щелкает своим длинным хлыстом, а лошади у

него скачут по арене круг за кругом,—я красивой женщины в жизни не видывала.

Мистер Пенецци ничего не сказал, но задумчиво покрутил свои огромные белые усы.

— Ну и вот, как я сказала, он не из тех, кто без толку швыряется деньгами, и, когда нам не могли больше устроить ангажемент, он говорил: «Давай перестанем выступать совсем». И правильно: ведь если ты первая звезда в Лондоне, после этого обратно в цирк на простую работу не вернешься, а мистер Пенецци ведь граф, ему надо о своем достоинстве помнить,—вот мы и уехали сюда, купили дом и открыли пансион. Мистер Пенецци всегда об этом мечтал. Мы уже тут тридцать пять лет как обосновались. И дела у нас шли неплохо, только вот последние года два-три, как случился кризис, стало похуже, да и клиенты теперь пошли совсем не те, что были, когда мы только начинали, все им чего-то надо: то подавай электричество, то водопровод в комнатах, а то вообще бог весть что. Дай им нашу карточку, Карло. Мистер Пенецци сам стряпает, и если когда-нибудь вам захочется настоящего домашнего уюта вдали от дома, вы теперь знаете, где его найти. Я люблю артистов, и у нас с вами будет о чем поговорить, моя милая. Я так считаю, кто был артистом, тот всегда артист.

Вернулся старший бармен, отлучавшийся поужинать. Он увидел Сиду.

— Мистер Котмен, вас искал мистер Эспинель, хотел непременно вас видеть.

— Вот как? А где он?

— Поищите, он где-то здесь.

— Ну мы пойдем,—сказала миссис Пенецци, поднимаясь.—Заходите к нам как-нибудь позавтракать. Я бы показала вам мои старые фотографии и газетные вырезки. Подумать только, вы даже не слышали про Женщину Пушечное Ядро! Да я была настоящая достопримечательность, все равно как лондонский Тауэр!

Миссис Пенецци не обидело, что эти молодые люди даже не слышали о ней. Ее это просто забавляло.

Они распрощались, и Стелла снова опустилась в кресло.

— Сейчас допью пиво,—сказал Сид,—и пойду узнаю, что нужно Пако. Ты здесь останешься, детка, или подымешься к себе?

Она сидела, крепко сжав кулаки. На вопрос она не ответила. Сид взглянул на нее и поспешно отвернул глаза.

— Эта старушенция просто прелесть,— жизнерадостно продолжал он.— Вот комичное создание! А ведь она нам, кажется, правду рассказала. Хотя трудно поверить, ей-богу. Представить себе, что лет этак сорок тому назад за ней весь Лондон бегал. А она-то думает, что ее и теперь помнят, вот забавно. Никак в толк не могла взять, что мы о ней даже и не слыхали.

Он снова взглянул на Стеллу, украдкой, чтобы она не заметила, что он на нее смотрит. Она беззвучно плакала. Слезы катились по ее бледному лицу.

— Ты что, девочка?

— Сид, я не могу прыгать сегодня второй раз,— всхлипнула она.

— Да почему же?

— Я боюсь.

Он взял ее за руку.

— Ну, нет. Я тебя хорошо знаю,— сказал он.— Ты самая храбрая женщина в мире. Выпей-ка бренди, это тебя подбодрит.

— Нет, от этого только хуже будет.

— Нельзя же обманывать ожидания публики.

— Подлая публика! Скоты, только и знают что пить и объедаться. Сборище болтливых болванов, которым некуда деньги девать. Видеть их не могу. Им наплевать, что я жизнью рискую.

— Конечно, они ищут сильных ощущений, я не спорю,— в замешательстве сказал он.— Но ведь ты знаешь не хуже моего, что риска тут нет, если только не терять самообладания.

— А я совсем потеряла самообладание, Сид. Я разобьюсь.

Она слегка повысила голос, и он быстро оглянулся на бармена. Но бармен был занят чтением газеты и не обращал на них внимания.

— Ты не представляешь себе, как это все выглядит сверху, когда смотришь оттуда, с площадки. Честное слово, я сегодня думала, я потеряю сознание. Не могу я прыгать сегодня второй раз, слышишь? Ты должен избавить меня от этого, Сид.

— Если ты смалодушничаете сегодня, то завтра тебе будет еще труднее.

— Нет, не труднее. Меня доконало, что нужно прыгать по два раза, и это бесконечное ожидание. Пойди к мистеру Эспинелю и скажи ему, что я не могу давать по два выступления за вечер. У меня нервы не выдерживают.

— Он никогда на это не согласится. Все их доходы от ужинов держатся на тебе. В это время люди только затем и приходят, чтобы поглядеть на тебя.

— Ничего не поделаешь. Говорю тебе, я больше не могу.

Он помолчал. По ее бледному лицу все еще катились слезы, и он видел, что она быстро теряет над собой власть. Он уже несколько дней чувствовал что-то неладное и беспокоился. Пытался избежать этого разговора. Он смутно понимал, что лучше будет, если она не выразит словами то, что чувствует. Но он беспокоился. Потому что он ее любил.

— Эспинель все равно хотел меня видеть,—сказал он.

— Что ему надо?

— Не знаю. Я скажу ему, что ты не можешь давать больше одного выступления за вечер, и посмотрим, что он на это ответит. Ты меня здесь подождешь?

— Нет, я пойду к себе наверх.

Десять минут спустя он вошел к ней возбужденный, торжествующий, широко распахнув дверь.

— У меня для тебя отличные новости, дорогая. Они оставляют нас еще на месяц и будут платить вдвое.

Он подскочил к ней, чтобы обнять и поцеловать ее, но она его оттолкнула.

— Должна я прыгать сегодня второй раз?

— Боюсь, что да. Я пробовал было договориться только на одно выступление в день, но он и слушать не захотел. Говорит, это совершенно необходимо, чтобы ты прыгала во время ужина. И право же, за двойную-то плату дело стоит того.

Тут она бросилась на пол и разразилась целой бурей слез.

— Не могу я, Сид, не могу! Я разобьюсь насмерть.

Он сел подле нее на пол, поднял ее голову, он обнял ее и ласково погладил.

— Возьми себя в руки, детка. Не можем же мы отказаться от такой суммы. Подумай только, этого хватит нам на целую зиму, и можно будет ничего не

делать. Да и осталось-то всего каких-нибудь четыре дня в июле, а потом—только один август.

— Нет, нет, я боюсь. Я не хочу умирать, Сид. Я люблю тебя.

— Я знаю, детка, а я люблю тебя. Да я, с тех пор как мы поженились, ни разу не взглянул на другую женщину. У нас еще никогда не было таких денег и никогда больше не будет. Ты же знаешь, как это бывает, сейчас у нас бешеный успех, но ведь он скоро пройдет. Надо ковать железо, пока горячо.

— Неужели ты хочешь, чтобы я умерла, Сид?

— Глупенькая. Ну что бы я делал без тебя? Нельзя так распускаться. Не забывай о собственном достоинстве. Ведь ты мировая знаменитость.

— Как Женщина Пушечное Ядро,—подхватила она с горьким смехом.

«Проклятая старуха»,—подумал он.

Он знал, что она была последней каплей. Досадно, что Стелла так ко всему этому отнеслась.

— Она открыла мне глаза,—продолжала Стелла.—Ну для чего они по столько раз приходят и смотрят, как я прыгаю? Надеются, а вдруг им повезет и они увидят, как я разобьюсь насмерть. Я умру, а через неделю они забудут даже, как меня звали. Вот она какая, твоя публика. Я все поняла, когда увидела эту размазанную старую куклу. О Сид, как я несчастна!—Она обвила руками его шею, прижалась щекой к его щеке.—Не уговаривай меня, Сид. Я не могу прыгать второй раз.

— Сегодня не можешь? Если ты в самом деле так сегодня расстроилась, я скажу Эспинелю, что тебе стало дурно. Думаю, один раз сойдет.

— Не сегодня, а вообще. Никогда.

Она почувствовала, что он чуть-чуть отстранился от нее.

— Ты не думай, Сид, я не капризничаю. Это не сегодня ко мне пришло, это назревало уже давно. По ночам я заснуть не могу, все думаю об этом, а как только задремлю, мне снится, что я стою на верхушке лестницы и смотрю вниз. Я сегодня едва смогла на нее подняться, так я дрожала, а когда ты поджег бензин и крикнул «*allez!*» меня словно что-то не пускало вниз. Как прыгнула, сама не знаю. Помню только, что уже стою внизу,

а кругом все хлопают. Сид, если бы ты любил меня, ты бы не заставлял меня идти на такую муку.

Он вздохнул. У него и у самого глаза были мокры от слез, потому что он преданно любил ее.

— Ты ведь знаешь, что это для нас означает. Прежняя жизнь. Марафоны и все такое.

— Что угодно, только не это.

Прежняя жизнь. Они оба помнили ее. Сид с восемнадцати лет был танцором-жиголо; он был очень хорош собой, смуглый, похожий на испанца и горячий; старухи и пожилые женщины охотно платили за то, чтобы потанцевать с ним, и он никогда не сидел без работы. Из Англии его забросило на континент, и здесь он и остался, кочуя из отеля в отель—зимой на Ривьере, а летом на водах во Франции. Жилось неплохо, их обычно было двое-трое, и они вместе снимали где-нибудь дешевую комнату. Вставать они могли поздно, чтобы только успеть одеться к двенадцати часам, когда надо было являться в отель и танцевать с толстыми женщинами, которые хотели похудеть. После этого до пяти они были свободны, а потом снова приходили в отель и садились за столик все втроем, поглядывая по сторонам, всегда готовые обслужить желающих. У них были свои постоянные клиентки. Вечером они переходили в ресторан, и администрация кормила их вполне приличным обедом. В перерыве между блюдами они танцевали. Можно было неплохо заработать. Обычно от тех, с кем они танцевали, они получали от пятидесяти до ста франков. Иной раз какая-нибудь богатая дама, потанцевав со своим жиголо два или три вечера подряд, давала ему даже целую тысячу. А иной раз пожилая женщина предложит провести с ней ночь, и тогда ты получаешь за это двести пятьдесят франков. И всегда оставалась надежда, что какая-нибудь старая дура потеряет голову, и тогда можно было рассчитывать на платиновое кольцо с сапфиром, портсигар, что-нибудь из одежды и часы-браслетку. Один из товарищей Сиды женился на такой, она годилась ему в матери, но зато подарила ему автомобиль, давала деньги на игру, у них была красивая вила в Биаррице. То были хорошие времена, когда денег у всех было хоть отбавляй. Потом наступил кризис и больно ударил по их профессии. Гостиницы пустовали, и редко кто готов был платить за удовольствие потанцевать с красивым молодым человеком. Все чаще и чаще

случалось, что Сид за целый день не зарабатывал себе даже на выпивку, и не раз уже бывало, что какая-нибудь жирная старуха весом в тонну имела наглость заплатить ему десять франков. Расходы его не сократились,— надо было хорошо одеваться, иначе управляющий отелем делал замечание, уйму денег стоила стирка, а сколько белья ему было нужно, со стороны и не представишь себе; потом ботинки, на этих полах ботинки прямо горели, а нужно было, чтобы они выглядели, как новые. И еще он должен был платить за комнату и завтрак.

Именно в это время он встретился со Стеллой. Было это в Эвиане, где сезон оказался просто катастрофическим. Она приехала из Австралии. Здесь она давала уроки плавания. Кроме того, она замечательно владела искусством прыжков в воду и по утрам и после обеда демонстрировала его перед публикой. На вечера она была ангажирована на танцы в отель. Они обедали вдвоем в ресторане за отдельным столиком в стороне от посетителей, а когда оркестр начинал играть, танцевали, чтобы увлечь публику своим примером. Но часто никто не соблазнялся, и они танцевали одни. Ни ему, ни ей платные партнеры почти не подвертывались. Они влюбились друг в друга и к концу сезона поженились.

Они никогда не раскисивались в этом. Им пришлось несладко. Даже несмотря на то, что по деловым соображениям они скрывали свой брак (пожилым дамам как-то не очень нравилось танцевать с женатым мужчиной в присутствии его жены), все-таки достать в отелях работу на двоих было довольно сложно, а одному Сиду никак не под силу было заработать им обоим на жизнь, даже на самую скромную. Дела для жиголо были из рук вон плохи. Они уехали в Париж и там подготовили танцевальный номер, но конкуренция была просто ужасная, и ангажемент на эстрадные выступления почти невозможно было получить. У Стеллы хорошо получались бальные танцы, но в то время в моде была акробатика, и, сколько они ни тренировались, ей ни разу не удалось сделать ничего из ряда вон выходящего. А танец апашей всем уже приелся. Они по неделям сидели без работы. Часы-браслетка Сиды, его золотой портсигар, его платиновое кольцо—все ухнуло в ломбард. Наконец они оказались в Ницце, доведенные до такого состояния, что Сиду пришлось заложить свой парадный костюм. Это была полная катастрофа. Они вынуждены были принять

участие в марафоне, который затеял какой-то предприимчивый антрепренер. Они танцевали двадцать четыре часа в сутки с перерывом в пятнадцать минут каждый час. Это было страшно. У них болели ноги, деревенели ступни. Иногда они надолго переставали сознавать, что делают. Просто двигались в такт музыке, стараясь по возможности беречь силы. Это принесло им немного денег, им давали франков по сто или двести для ободрения, и время от времени, чтобы привлечь к себе внимание присутствующих, они, встряхнувшись, принимались танцевать «на публику», со всем своим искусством. Если публика была настроена доброжелательно, можно было добыть приличную сумму. Они страшно устали. На одиннадцатый день Стелла упала в обморок, и ей пришлось выйти из игры. Сид продолжал танцевать один, двигаясь и двигаясь без остановки, в своем гротескном танце без партнерши. То было самое тяжелое время в их жизни. Полное падение. Оно оставило по себе страшную, унижительную память.

Но именно тут-то Сид и осенило вдохновение. Оно пришло к нему в танцевальном зале, когда он медленно двигался один по кругу. Стелла всегда говорила, что могла бы нырять в блюдце. Тут требовалось только мастерство.

— Странно это, как идеи приходят в голову,— говорил он потом.— Будто вспышка молнии.

Он вдруг вспомнил, как какой-то мальчишка поджег однажды у него на глазах пролитый на мостовую бензин и как сразу взметнулись языки пламени. Потому что, конечно, именно это пламя, этот эффектный прыжок в огонь привлек к ним внимание публики. Он сразу же перестал танцевать, до того разволновался. Он переговорил со Стеллой, она тоже увлеклась этой затеей. Он написал одному своему знакомому агенту; Сид все любили, он был симпатичный паренек, и агент ссудил их деньгами на реквизит. Он устроил им ангажемент в парижском цирке, и их номер понравился. После этого дело пошло. Ангажементы следовали один за другим. Сид заново оделся с головы до ног, а вершиной всего был тот день, когда они устроились в летнее казино на побережье. Сид вовсе не преувеличивал, говоря, что Стелла имеет бешеный успех.

— Теперь наши тяготы позади, старушка,— ласково говорил он.— Мы можем отложить кое-что про черный

день, а когда этот номер публике приесться, я возьму и придумаю что-нибудь еще.

И вот теперь, в самый разгар их процветания, Стелла вдруг хочет все бросить. Он не знал, что ей сказать. У него сердце разрывалось, оттого что она так мучается. Он любил ее теперь еще больше, чем тогда, когда они поженились. Он любил ее за все то, что они пережили вместе; ведь как-то они целых пять дней питались ломтем хлеба в день и стаканом молока на двоих, и он любил ее за то, что она вытащила его из этой жизни; у него теперь опять были хорошие вещи и еда три раза в день. Он не мог смотреть на нее, не мог видеть страдальческого выражения ее милых серых глаз. Она робко протянула руку и коснулась его руки. Он глубоко вздохнул.

— Ты ведь знаешь, что это для нас означает. Связи в отелях мы растеряли, да и вообще со старым покончено. Если и есть там еще работа, так она достается тем, кто помоложе нас с тобой. Ты ведь не хуже меня знаешь, чего хотят старые женщины—им подавай мальчиков,—да и потом у меня рост маловат. Одно дело, когда ты юнец, тогда это не так уж важно. Но сейчас нечего говорить, будто я не выгляжу на свои тридцать лет.

— Может, мы могли бы сниматься в кино?

Он пожал плечами. Они уже один раз пытались, когда дела у них были особенно плохи.

— Я бы на любую работу пошла. Хоть продавщицей в магазин.

— Ты думаешь, работа у тебя на дороге валяется? Она снова заплакала.

— Не надо, дорогая, ты разрываешь мне сердце.

— У нас ведь кое-что отложено.

— Да, верно. Месяцев на шесть хватит. А потом будем голодать. Сначала позакладываем всякую мелочь, а потом пойдет и одежда, как в тот раз. А потом танцы по захудалым пивным за бесплатный ужин и пятьдесят франков в ночь. Целые недели без работы. И марафон—всякий раз, как его объявят. Да и долго ли публика будет интересоваться ими?

— Я знаю, Сид, ты думаешь, что с моей стороны это безрассудство.

Теперь он повернулся, поглядел на нее. У нее в глазах стояли слезы. Он улыбнулся ей своей неотразимой, ласковой улыбкой.

— Нет, детка, не думаю. Я хочу, чтоб тебе было хорошо. Ведь, кроме тебя, у меня никого нет. Я тебя люблю.

Он обнял ее и прижал к себе. Он слышал, как бьется у нее сердце. Раз Стелла так к этому относится, значит ничего не поделаешь. Ведь правда, вдруг она разобьется насмерть? Нет, нет, пусть лучше она все бросит, и к чертям эти деньги.

Она слегка пошевелилась.

— Ты что, девочка?

Она высвободилась и встала. Подошла к туалетному столику.

— Мне пора уже, наверно, готовиться к выходу.

Он вскочил.

— Ты сегодня не будешь прыгать.

— И сегодня и каждый день, куда не убьюсь. Что же еще остается? Ты прав, Сид, я понимаю. Я не могу вернуться опять в эти вонючие номера в третьеразрядных отелях и чтоб опять нечего было есть. Ох, эти марафоны. И зачем ты только о них вспомнил? Целые дни движешься усталая, грязная, а потом все-таки приходится выйти из игры, потому что сил человеческих нет больше терпеть. Может быть, я и правда продержусь еще месяц, и тогда у нас будет довольно денег, чтобы ты успел подыскать что-нибудь.

— Нет, дорогая. Я так не могу. Бросим это. Как-нибудь устроимся. Мы с тобой и раньше голодали, можем и еще поголодать.

Она скинула с себя всю одежду и мгновение стояла в одних чулках, глядя в зеркало. Она безжалостно улыбнулась своему отражению.

— Нельзя обманывать ожидания публики,— со смешком сказала она.

НЕПОКОРЕННАЯ

Он вернулся в кухню. Старик все еще лежал на полу там, где Ганс сбил его с ног; лицо у него было в крови, он стонал. Старуха стояла, прижавшись спиной к стене, и с ужасом, широко раскрыв глаза, смотрела на Вилли, приятеля Ганса, а когда вошел Ганс, она ахнула и бурно зарыдала.

Вилли сидел за столом, сжимая в руке револьвер. На столе перед ним стоял недопитый стакан с вином. Ганс подошел к столу, налил себе стакан и осушил его залпом.

— А здорово тебя, мой милый, разукрасили,— сказал Вилли, ухмыляясь.

На физиономии у Ганса была размазана кровь и тянулись глубокие царапины: следы пяти пальцев с острыми ногтями. Он осторожно коснулся рукой щеки.

— Чуть глаза не выдрала, сука. Надо будет йодом смазать. Ну, теперь она угомонилась. Иди.

— Да я не знаю... Пойти? Ведь уж поздно.

— Брось дурить. Мужчина ты или кто? Ну и что ж, что поздно? Мы заблудились, так и скажем.

Еще не стемнело, и клонящееся к западу солнце лило свет в окна фермерской кухни. Вилли помялся. Он был щуплый, темноволосый и узколицый, до войны работал портным-модельером. Ему не хотелось, чтобы Ганс считал его размазней. Он встал и шагнул к двери, в которую только что вошел Ганс. Женщина, поняв, зачем он идет, вскрикнула и рванулась вперед.

— Non, non!¹ — закричала она.

Ганс одним прыжком очутился возле нее. Он схватил ее за плечи и с силой отшвырнул к двери. Ударившись, женщина покачнулась и упала. Ганс взял у Вилли револьвер.

— Замолчите, вы оба! — рявкнул он. Он сказал это по-французски, но с гортанным немецким выговором. Потом кивнул Вилли на дверь. — Иди, я тут за ними присмотрю.

Вилли вышел, но через минуту вернулся.

— Она без памяти.

— Ну и что?

— Не могу я. Не стоит.

— Дурень, вот ты кто. Ein Weibchen. Баба.

Вилли покраснел.

— Лучше, пожалуй, пойдем,— сказал он.

Ганс презрительно пожал плечами.

— Вот допью бутылку, тогда и пойдем.

Ему не хотелось спешить, приятно было еще немного поблагодарушествовать. Сегодня он с самого утра не слезал с мотоцикла, руки и ноги ныли. По счастью, ехать недалеко, только до Суассона, всего километров де-

¹ Нет, нет (франц.).

сять — пятнадцать. Может, повезет: удастся выпасться на приличной постели.

Конечно, ничего б этого не случилось, если бы она не вела себя так глупо. Они с приятелем сбились с дороги. Окликнули работавшего в поле крестьянина, а он им нарочно наврал, вот они и запутались в каких-то проселках. На ферму зашли, только чтобы спросить дорогу. Очень вежливо спросили — с населением было приказано обращаться по-хорошему, если только, конечно, французы сами будут вести себя подобающим образом. Девушка-то и открыла дверь. Она сказала, что не знает, как проехать к Суассону, и тогда они ввалились в кухню; старуха (ее мать, наверное, решил Ганс) объяснила, как туда доехать. Все трое — фермер, его жена и дочь — только что отужинали, на столе еще оставалась бутылка с вином. Тут Ганс почувствовал, что просто умирает от жажды. Жара стояла страшная, а пить в последний раз пришлось в полдень. Он попросил у них бутылку вина, и Вилли сказал при этом, что они заплатят. Вилли — паренек славный, только рохля. В конце концов ведь немцы победили. Где теперь французская армия? Улепетывает со всех ног. Да и англичане тоже — все побросали, поскакали, как кролики, на свой островишко. Победители по праву взяли то, что хотели, — разве не так? Но Вилли проработал два года в парижском ателье. По-французски он болтает здорово, это верно, потому его и назначили сюда. Но жизнь среди французов не прошла для Вилли даром. Никудышный народ французы. Немцу жить среди них не годится.

Фермерша поставила на стол две бутылки вина. Вилли вытащил из кармана двадцать франков и подал ей. Она ему даже спасибо не сказала. Ганс по-французски говорил не так бойко, как Вилли, но все-таки малость научился, между собой они всегда говорили по-французски, и Вилли поправлял его ошибки. Потому-то Ганс и завел с ним приятельские отношения, Вилли был ему очень полезен, и к тому же Ганс знал, что Вилли им восхищается. Да, восхищается, потому что Ганс высокий, стройный, широкоплечий, потому что курчавые волосы его уж такие белокурые, а глаза — голубые-преголубые. Ганс никогда не упускал случая поупражняться во французском, и тут он тоже заговорил с хозяевами, но те — все трое — словно воды в рот набрали. Он сообщил им, что у него у самого отец фермер,

и, когда война кончится, он, Ганс, вернется на ферму. В школе он учился в Мюнхене, мать хотела, чтобы из него вышел коммерсант, но у него душа к этому не лежит, поэтому, сдав выпускные экзамены, он поступил в сельскохозяйственное училище.

— Вы пришли сюда спросить дорогу, и вам ответили,— сказала девушка.— Допивайте вино и уходите.

Он только тут рассмотрел ее как следует. Не то чтобы хорошенькая, но глаза красивые, темные, нос прямой. Лицо очень бледное. Одета совсем просто, но почему-то не похожа на обыкновенную крестьянку. Какая-то она особенная, нет в ней деревенской грубости, неотесанности. С самого начала войны Ганс постоянно слышал рассказы солдат о француженках. Есть в них, говорили они, что-то такое, чего нет в немецких девушках. Шик, вот что, сказал Вилли, но, когда Ганс спросил, что он, собственно, имеет в виду, тот ответил, что это надо самому видеть, тогда и поймешь. Гансу, конечно, приходилось слышать о француженках и другое, что они корыстные и пальца им в рот не кладут. Ладно, через неделю он сам будет в Париже, увидит все своими глазами. Говорят, верховное командование уже распорядилось насчет веселых домов для немецких солдат.

— Допивай вино и пошли,— сказал Вилли.

Но Гансу здесь нравилось, он не хотел, чтоб его торопили.

— А ты не похожа на фермерскую дочку,— сказал он девушке.

— Ну и что?

— Она у нас учительница,— пояснила мать.

— Ага, образованная, значит.

Девушка передернула плечами, но Ганс продолжал добродушно на своем ломаном французском:

— Значит, ты должна понимать, что капитуляция для французов — благодеяние. Не мы затеяли войну, вы ее начали. А теперь мы сделаем из Франции приличную страну. Мы наведем в ней порядок. Мы приучим вас работать. Вы у нас узнаете, что такое повиновение и дисциплина.

Девушка сжала кулаки и глянула на него. Черные глаза ее горели ненавистью. Но она промолчала.

— Ты пьян, Ганс,— сказал Вилли.

— Трезвее трезвого. Говорю сущую правду, и пусть они эту правду узнают раз и навсегда.

— Нет, ты пьян! — крикнула девушка. Она уже больше не могла сдерживаться.— Уходите, уходите же!

— А, так ты понимаешь по-немецки? Ладно, я уйду. Только на прощание ты меня поцелуешь.

Она отпрянула, но он удержал ее за руку.

— Отец! — закричала девушка.— Отец!

Фермер бросился на немца. Ганс отпустил девушку и изо всей силы ударил старика по лицу. Тот рухнул на пол. Девушка не успела убежать, и Ганс тут же схватил ее и стиснул в объятиях. Она ударила его наотмашь по щеке. Ганс коротко и зло рассмеялся.

— Так-то ты ведешь себя, когда тебя хочет поцеловать немецкий солдат? Ты за это заплатишься.

Он что было сил скрутил ей руки и потащил к двери, но мать кинулась к нему, вцепилась ему в рукав, стараясь оторвать от дочери. Плотно обхватив девушку одной рукой, он ладонью другой грубо отпихнул старуху, и та, едва устояв на ногах, отлетела к стене.

— Ганс! Ганс! — кричал ему Вилли.

— А иди ты к черту!

Ганс зажал рот девушки руками, заглушая ее крики, и выволок ее за дверь.

Вот так оно все и произошло. Ну, сами посудите, кто во всем этом виноват, не она разве? Залепила пощечину. Дала бы себя поцеловать, он тут же и ушел бы.

Ганс мельком взглянул на фермера, все еще лежавшего на полу, и еле удержался от смеха: до того комична была у старика физиономия. Глаза у Ганса улыбались, когда он посмотрел на старуху, жавшуюся к стенке. Бойтся, что сейчас и ее очередь подойдет? Напрасно беспокоится. Он вспомнил французскую поговорку.

— *C'est le premier pas qui coute*¹, — сказал он.— Нечего реветь, старуха. Этого все равно не миновать, рано или поздно.

Он сунул руку в боковой карман и вытащил бумажник.

— На вот сотню франков. Пусть мадемуазель купит себе новое платье. От ее старого осталось не много.

Он положил деньги на стол и надел каску.

— Идем.

Они вышли, хлопнув дверью, сели на мотоциклы и уехали. Старуха поплелась в соседнюю комнату. Там на

¹ Труден только первый шаг (франц.).

диване лежала ее дочь. Она лежала так, как он ее оставил, и плакала навзрыд.

Три месяца спустя Ганс снова оказался в Суассоне. Вместе с победоносной германской армией он побывал в Париже и проехал на своем мотоцикле через Триумфальную арку. Вместе с армией он продвинулся сперва к Туру, затем к Бордо. Боев он и не нюхал, а солдат французских видел только пленных. Весь поход был такой развеселой потехой, какая ему и не снилась. После перемирия он еще с месяц пожил в Париже. Послал цветные почтовые открытки родне в Баварию, купил всем подарков. Приятель его Вилли, знавший Париж как свои пять пальцев, там и остался, а Ганса и все его подразделение направили обратно в Суассон в оставленную здесь немецкими властями часть. Суассон — городок славный, и солдат расквартировали неплохо. Еды вдоволь, а шампанское почти даром, за бутылку одна марка на немецкие деньги. Когда вышел приказ о переводе в Суассон, Гансу пришло в голову, что забавно будет зайти взглянуть на ту девчонку с фермы. Он приготовил ей в подарок пару шелковых чулок, чтобы она поняла, что он зла не помнит. Ганс хорошо ориентировался и был уверен, что без труда разыщет ферму. Как-то вечером, когда заняться было нечем, он сунул чулки в карман, сел на мотоцикл и поехал. Стоял погожий осенний день, в небе ни облачка; местность красивая, холмистая. Уже очень давно не выпадало ни капли дождя, и, хотя был сентябрь, даже немолчно шелестящие тополя не давали почувствовать, что лето близится к концу.

Один раз Ганс свернул не в ту сторону, это его несколько задержало, но все равно в какие-нибудь полчаса он добрался до фермы. Возле дверей его облаяла хозяйская дворняжка. Он, не постучав, повернул дверную ручку и вошел. Девушка сидела за столом, чистила картофель. При виде солдатской формы Ганса она вскочила на ноги.

— Вам что?

И тут она его узнала. Она попятилась к стене, крепко стиснув в руке нож.

— Ты? Cochon¹.

— Ну-ну, не горячись, не обижу. Смотри лучше, что я тебе привез — шелковые чулки.

¹ Свинья (франц.).

— Забирай их и убирайся вместе с ними.

— Не глупи. Брось-ка нож. Тебе же будет хуже, если будешь так злиться. Можешь меня не бояться.

— Я тебя не боюсь.

Она разжала пальцы, нож упал. Ганс снял каску, сел на стул. Вытянув вперед ногу, носком сапога пододвинул нож поближе к себе.

— Давай помогу тебе картошку чистить, а?

Она не ответила. Ганс нагнулся, поднял нож, вытащил из миски картофеля и стал ее чистить. Лицо девушки хранило жесткое выражение, глаза смотрели враждебно. Она продолжала стоять у стены и молча следила за ним. Ганс улыбнулся добродушной, обезоруживающей улыбкой.

— Ну что ты смотришь такой злючкой? Не так уж я тебя обидел. Я был тогда очень взвинчен, ты пойми. Все мы тогда такие были. В то время еще поговаривали о непобедимости французской армии, о линии Мажино...— У него вырвался смешок.— Ну и винцо, конечно, бросилось мне в голову. Тебе еще повезло. Женщины говорили мне, что я не такой уж урод.

Девушка окинула его с ног до головы уничтожающим взглядом.

— Убирайся отсюда вон.

— Уйду, когда мне вздумается.

— Если не уйдешь, отец сходит в Суассон, подаст на тебя жалобу генералу.

— Очень это генералу надо. У нас есть приказ налаживать мирные отношения с населением. Как тебя зовут?

— Не твое дело.

Щеки у нее пылали, глаза сверкали гневом. Она показалась ему сейчас красивее, чем он ее тогда запомнил. Что ж, в общем получилось удачно. Не какая-нибудь простенькая деревенская девчонка. Больше похожа на горожанку. Да, ведь мать сказала, что она учительница. И именно потому, что это была не обычная деревенская девушка, а учительница, образованная, ему было особенно приятно ее помучить. Он ощущал себя сильным, крепким. Он взъерошил свои курчавые белокурые волосы и усмехнулся при мысли, сколько девчонок с радостью оказались бы тогда на ее месте. За лето он так загорел, что голубые глаза его казались какими-то уже совсем ярко-голубыми.

— Отец с матерью где?
— В поле работают.
— Слушай, я проголодался. Дай мне хлеба и сыра и стакан вина. Я заплачу.

Она жестко рассмеялась.

— Мы уже три месяца не знаем, что такое сыр. Хлеба не наедаемся досыта. Год назад свои же французы забрали у нас лошадей, а теперь боши растащили и все остальное: коров наших, свиней, кур — все.

— Ну и что ж, мы не даром взяли, мы заплатили.

— Думаешь, мы можем быть сыты пустыми бумажками, которые вы нам даете взамен?

Она вдруг заплакала.

— Ты что, голодна?

— Нет, что ты, — сказала она с горечью. — Мы же питаемся по-королевски: картошкой, хлебом, брюквой и салатом. Завтра отец пойдет в Суассон — может, удастся купить конины.

— Послушай, честное слово, я неплохой парень. Я привезу вам сыра и, может, даже немного ветчины.

— Я в твоих подачках не нуждаюсь. Скорее умру с голоду, чем прикоснусь к еде, которую вы, свиньи, украли у нас.

— Ну ладно, посмотрим, — ответил он невозмутимо.

Он надел каску, поднялся, сказал «au revoir, mademoiselle»¹ и ушел.

Он не мог, понятно, разъезжать на мотоцикле по окрестным дорогам ради собственного удовольствия, приходилось ждать, пока пошлют с поручением и он сможет снова побывать на ферме. Это случилось десять дней спустя. Он ввалился бесцеремонно, как и тогда. На этот раз в кухне оказались фермер с женой. Было уже за полдень, фермерша стояла у печки, мешала что-то в горшке. Старик сидел за столом. Они взглянули на Ганса, но как будто не удивились. Дочь, вероятно, рассказала им, что он приходил. Они молчали. Старуха продолжала стряпать, а фермер угрюмо, не отводя глаз, смотрел на клеенку на столе. Но не так-то легко было обескуражить добродушного Ганса.

— Bonjour, la compagnie², — приветствовал он их весело. — Вот привез вам гостинцев.

¹ До свиданья, мадемуазель (франц.).

² Привет всей компании (франц.).

Он развязал пакет, вытащил и разложил на столе порядочный кусок сыра, кусок свинины и две коробки сардин. Старуха обернулась, и Ганс усмехнулся, подметив в ее глазах жадный блеск. Фермер окинул продукты хмурым взглядом. Ганс приветствовал его широкой улыбкой.

— У нас тогда вышло недоразумение, в прошлый раз. Прошу прощения. Но тебе, старик, не надо было вмешиваться.

В этот момент вошла девушка.

— Что ты здесь делаешь? — крикнула она ему резко. Взгляд ее упал на продукты. Она сгребла их все вместе и швырнула Гансу. — Забирай их! Забирай их отсюда!

Но мать бросилась к столу.

— Аннет, ты с ума сошла!

— Я не приму от него подачки.

— Да ведь это наши продукты, наши! Они украли их у нас. Ты только посмотри на сардины — это сардины из Бордо!

Старуха нагнулась и подняла их. Ганс взглянул на девушку; голубые глаза его глядели насмешливо.

— Значит, тебя зовут Аннет? Красивое имя. Что ж, ты не позволишь своим старикам немного полакомиться? Сама ведь говорила, что вы уже три месяца сыра не пробовали. Ветчины я достать не смог. Привез то, что удалось раздобыть.

Фермерша взяла обеими руками свинину, прижала ее к груди. Казалось, она готова расцеловать этот кусок мяса. По щекам Аннет текли слезы.

— Господи, стыд какой! — вырвалось у нее, как стон.

— Ну что ты. Какой тут стыд? Кусок сыра и немножко свинины, только и всего.

Ганс уселся, закурил папиросу и передал пачку старику. Одно мгновение тот колебался, но искушение было слишком велико: он вытащил одну папиросу и протянул пачку обратно Гансу.

— Оставь себе, — сказал Ганс. — Я достану еще сколько угодно. — Он затянулся и выпустил дым через нос. — Чего нам ссориться? Что сделано, того не переделаешь. Война есть война, сами понимаете. Аннет — девушка образованная, я знаю; я не хочу, чтоб она обо мне худо думала. Наша часть, вероятно, задержится в Суас-

соне надолго. Я могу заезжать иногда, привозить чего-нибудь съестного. Вы знаете, ведь мы изо всех сил стараемся наладить отношения с населением в городе, но французы упорствуют. И глядеть на нас не желают. В конце концов, ведь это просто досадная случайность—ну, то, что произошло здесь в тот раз, когда я заходил с приятелем. Вам нечего меня бояться. Я готов относиться к Аннет со всем уважением, как к родной сестре.

— Зачем тебе приходить сюда? Почему ты не оставишь нас в покое?—сказала Аннет.

В сущности, он и сам толком не знал. Ему не хотелось признаться, что он просто стосковался по нормальным человеческим отношениям. Молчаливая враждебность, окружавшая немцев в Суассоне, действовала ему на нервы; иной раз он готов был подойти на улице к первому встречному французу, смотрящему на него так, будто он пустое место, и двинуть его как следует, а иной раз это доводило его чуть не до слез. Хорошо бы найти семью, где б тебя принимали дружелюбно. Он не соврал, сказав, что у него нет нечистых намерений в отношении Аннет. Она не принадлежала к его типу женщин. Ему нравились высокие, полногрудые; такие же, как он сам, голубоглазые и белокурые, чтоб они были крепкие, горячие и в теле. Непонятная ему изысканность, прямой тонкий нос, темные глаза, бледное продолговатое лицо—нет, это все не для него. Что-то в этой девушке внушало ему робость. Если б он не был тогда в таком упоении от побед германской армии, если бы не был так утомлен и в то же время взвинчен и не выпил бы столько вина на пустой желудок, ему бы и в голову не пришло, что его может пленить такая вот девушка.

Недели две Ганс никак не мог отлучиться из части. Он оставил на ферме привезенные тогда продукты и не сомневался, что старики накинута на них, как голодные волки. Он не удивился бы, если б и Аннет, едва он вышел за дверь, составила им компанию. Уж таковы французы: любят пройтись на дармовщинку. Слабый народ, вымирающий. Конечно, Аннет ненавидит его—бог ты мой, еще как ненавидит!—но свинина есть свинина, а сыр есть сыр.

Аннет не выходила у него из головы. Ее отвращение к нему раздражило его. Он привык нравиться женщинам. Вот будет здорово, если она в конце концов все же

влюбится в него! Ведь он у нее первый. Студенты в Мюнхене, болтая за кружкой пива, уверяли, что по-настоящему женщина любит того, кто ее совратил,—после этого она начинает любить самую любовь. Обычно, наметив себе девушку, Ганс был совершенно уверен, что не получит отказа. Он посмеивался про себя, и глаза его зажигались хитрецей.

Наконец случай позволил ему снова побывать на ферме. Он забрал сыру, масла, сахару, банку колбасных консервов, немного кофе и укатил на мотоцикле. Но на этот раз повидать Аннет ему не удалось. Она с отцом работала в поле. Мать была во дворе, и при виде свертка в руках Ганса глаза ее загорелись. Она повела Ганса в кухню. У нее дрожали руки, пока она развязывала сверток, а когда увидела, что он принес, на глазах у нее выступили слезы.

— Ты очень добр,—сказала она.

— Могу я присесть?—спросил он учтиво.

— Садись, садись.—Она взглянула в окно. Ганс понял, что старуха хочет проверить, не идет ли дочь.—Может, выпьешь стаканчик вина?

— С удовольствием.

Он без труда сообразил, что жадность к еде заставила старуху относиться к нему если и не вполне благожелательно, то, во всяком случае, терпимо: она уже готова наладить с ним отношения. Этот ее взгляд, брошенный в окно, как бы сделал их сообщниками.

— Ну, как свинина—ничего?

— Давно такой не пробовали.

— В следующий раз, как приеду, привезу еще. А ей, Аннет, ей понравилось?

— Она ни к чему и не притронулась. Скорее, говорит, с голоду помру, чем возьму.

— Глупая.

— Вот и я ей так сказала. Уж раз, говорю, есть еда, так ешь, нечего отворачиваться, этим дела все равно не поправишь.

Они вели мирную беседу, пока Ганс не спеша потягивал вино. Он узнал, что фермершу зовут мадам Перье. Он спросил, есть ли у нее еще дети. Фермерша вздохнула. Нет, нет. Был у них сын, но его мобилизовали в начале войны, и он погиб. Его не на фронте убили, он умер в госпитале в Нанси от воспаления легких.

— А-а,—сказал Ганс.—Жалко.

— Может, так оно и к лучшему. Он ведь был вроде Аннет. Все равно бы пропал, не вынес бы позора поражения.— Фермерша снова вздохнула.— Ах, дружок, ведь нас предали, оттого все так и получилось.

— И чего ради вы кинулись на защиту поляков? Что они вам?

— Верно, верно. Если б мы не стали мешать вашему Гитлеру, дали бы ему захватить Польшу, он бы оставил нас в покое.

Уходя, Ганс повторил, что зайдет еще.

— Насчет свинины я не забуду,— добавил он.

Обстоятельства сложились Гансу на руку. Он получил задание, связанное с обязательными, дважды в неделю, поездками в соседний городок, и это дало ему возможность чаще наведываться на ферму. Он поставил себе за правило никогда не являться туда с пустыми руками. Но с Аннет дело у него не клеилось. Стараясь добиться ее расположения, он пускал в ход все те нехитрые приемы, которые, как научил Ганса его мужской опыт, так действуют на женщин; но Аннет на все отвечала язвительными насмешками. Плотно сжав губы, колючая, неприступная, она смотрела на Ганса так, словно хуже его и на свете никого не было. Не раз она доводила его до того, что, обозлившись, он готов был схватить ее за плечи и так тряхануть, чтобы душу из нее вытрясти.

Однажды он застал ее одну, а когда она встала, собираясь уйти, он загородил ей дорогу.

— Стой-ка. Я хочу поговорить с тобой.

— Говори. Я женщина и беззащитна.

— Вот что я хочу тебе сказать. Насколько мне известно, я здесь могу пробыть еще долго. Жизнь для вас, французов, легче не станет, она станет еще труднее. Я могу кое в чем оказаться тебе полезным. Почему ты не хочешь образумиться, как твой отец с матерью?

Со стариком Перье у него и впрямь дело шло на лад. Нельзя сказать, чтобы старик принимал Ганса сердечно. Сказать правду, он держался с ним сурово и отчужденно, но все-таки вежливо. Он даже как-то попросил Ганса принести ему табак и, когда тот отказался взять с него деньги, поблагодарил его. Старик интересовался новостями из Суассона и жадно хватал газету, которую привозил ему Ганс. Ганс, фермерский сын, мог поговорить о делах на ферме как человек, знающий толк в хозяйстве. Ферма у Перье была хорошая, не слишком

велика и не слишком мала, с поливкой удобно — по участку протекал довольно широкий ручей, есть и плодовый сад, и пашня, и выгон. Ганс понимающе и сочувственно выслушивал старика, когда тот жаловался, что не хватает рабочих рук, нет удобрения, что скот и хозяйственный инвентарь у него отобрали и на ферме все идет прахом.

— Ты спрашиваешь, почему я не могу образумиться, как мой отец с матерью? Смотри!

Аннет туго обтянула на себе платье и так стояла перед Гансом. Он не поверил своим глазам. То, что он увидел, повергло его в никогда доселе не испытанное смятение. Кровь прилила ему к щекам.

— Ты беременна!

Она села на стул и, опустив голову на руки, зарыдала так, словно сердце у нее разрывалось на части.

— Позор, позор! — повторяла она.

Ганс кинулся к ней, распростер объятия.

— Милая моя!

Она вскочила на ноги и оттолкнула его.

— Не прикасайся ко мне! Уходи! Уходи! Или тебе мало того, что ты со мной сделал?

Она выскочила из комнаты. Ганс несколько минут постоял один. Он был потрясен. Голова у него шла кругом, когда он медленно ехал обратно в Суассон. Добравшись до места и улегшись в постель, он лежал час за часом и никак не мог уснуть. Он все время видел перед собой Аннет, ее раздавленное, округлившееся тело. Она была такой нестерпимо жалкой, когда сидела у стола и плакала, надрываясь от слез. Ведь это его дитя она вынашивает в утробе.

Он было задремал, и вдруг весь сон словно рукой сняло. Неожиданная мысль ошеломила его с внезапной и сокрушительной силой орудийного залпа: он любит Аннет. Открытие это совершенно потрясло Ганса, он даже не сразу осознал его до конца. Конечно, он постоянно думал об Аннет, но совсем по-другому. Он просто представлял себе, что вдруг она в него влюбится и как он будет торжествовать, если она сама предложит ему то, что он взял тогда силой, но ни на одно мгновение ему не приходило в голову, что Аннет для него — нечто большее, чем любая другая женщина. Она не в его вкусе. Она и не так чтоб уж очень хорошенькая. Ничего в ней нет особенного. Откуда же у него вдруг это странное

чувство? И чувство это не было приятным, оно причиняло боль. Но Ганс уже понял: это любовь, и его охватило ощущение счастья, какого он еще не знал. Ему хотелось обнять ее, приласкать, хотелось целовать ее полные слез глаза. Он, казалось, не испытывал желания к ней как к женщине, он только хотел бы утешить ее и чтоб она ответила ему улыбкой,—странно, он никогда не видел ее улыбающейся; он хотел бы заглянуть ей в глаза, в ее чудные, прекрасные глаза, и чтоб взгляд их смягчился нежностью.

В течение трех дней Ганс никак не мог выбраться из Суассона, и в течение трех дней и трех ночей он думал об Аннет и о ребенке, которого она родит. Наконец ему удалось съездить на ферму. Он хотел повидать мадам Перье с глазу на глаз, и случай ему благоприятствовал: он встретил ее на дороге неподалеку от дома. Она собирала хворост в лесу и возвращалась домой, таща на спине большую вязанку. Ганс остановил мотоцикл. Он знал, что радушие фермерши вызвано лишь тем, что он приносит им продукты, но это его мало трогало; достаточно того, что она с ним любезна и будет вести себя так и дальше, пока можно будет что-нибудь из него вытянуть. Ганс сказал, что хочет поговорить с ней, и попросил, чтоб она опустила вязанку на землю. Она послушалась. День был серый, по небу ходили тучи, но было не холодно.

— Я знаю насчет Аннет,—сказал Ганс.

Она вздрогнула.

— Как ты узнал? Она ни за что не хотела, чтобы ты знал.

— Она сама мне сказала.

— Да, хороших дел ты тогда натворил.

— Мне и в голову не приходило, что она... Почему вы раньше мне не сообщили?

Она начала рассказывать. Без горечи, даже не обвиняя, как если бы случившееся лишь обычная житейская невзгода,—ну, как если бы сдохла корова во время отела или крепкий весенний мороз прихватил фруктовые деревья и стубил урожай,—невзгода, которую должно принимать смиренно и безропотно. После того страшного вечера Аннет несколько дней пролежала в постели в бреду, с высокой температурой. Боялись за ее рассудок. Она вскрикивала не переставая по многу часов подряд. Врача достать было негде. Деревенского доктора при-

звали в армию. В Суассоне осталось всего два врача, оба старики: как таким добраться до фермы, если б даже и была возможность их вызвать? Но врачам было запрещено покидать пределы города. Потом температура спала, но Аннет была все же слишком плоха, не могла подняться с постели, а когда наконец встала, то такая была бледная, слабая—смотреть жалко. Потрясение оказалось для нее слишком тяжким. Прошел месяц, затем второй, истекли все положенные сроки обычного женского недомогания, но Аннет и не заметила этого. У нее это всегда бывало нерегулярно. Первой почувяла неладное мадам Перье. Она расспросила Аннет. Обе пришли в ужас, но все-таки они не были вполне уверены и отцу ничего не сказали. Когда миновал и третий месяц, сомневаться уже больше не приходилось... Аннет забеременела.

У них был старенький «ситроен», в котором до войны мадам Перье два раза в неделю возила продукты на рынок в Суассон, но со времени немецкой оккупации продуктов на продажу оставалось так мало, что не стоило из-за этого гонять машину. Бензин достать было почти невозможно. На этот раз они кое-как заправили машину и поехали в город. В Суассоне можно было теперь увидеть только немецкие машины, по улицам расхаживали немецкие солдаты, вывески были на немецком языке, а обращения к населению, подписанные комендантом города,—на французском. Многие магазины прекратили торговлю.

Они зашли к старому, знакомому им врачу, и он подтвердил их подозрения. Но врач был ревностным католиком и не пожелал оказать им нужную помощь. В ответ на их слезы он пожал плечами.

— Ты не единственная,—сказал он Аннет.— Il faut souffrir¹.

Они знали, что есть еще другой доктор, и пошли к нему. Они позвонили. Им долго никто не отворял. Наконец дверь открыла женщина в черном платье. Когда они спросили доктора, она заплакала. Немцы его арестовали за то, что он масон, и держат в качестве заложника. В кафе, часто посещаемом немецкими офицерами, взорвалась бомба; двоих убило, нескольких ранило. Если к определенному сроку виновные не будут

¹ Надо смириться (франц.).

выданы, всех заложников расстреляют. Женщина казалась доброй, и мадам Перье поведала ей свою беду.

— Скоты,—сказала женщина. Она поглядела на Аннет с состраданием.— Бедная девочка.

Она дала им адрес акушерки, добавив, что они могут сослаться на ее рекомендацию. Акушерка дала лекарство. От этого лекарства Аннет стало так плохо, что она уж думала, что умирает, но желанного результата от него не последовало. Беременность Аннет не прекратилась.

Все это мадам Перье рассказала Гансу. Некоторое время он молчал.

— Завтра воскресенье,—произнес он наконец.— Я завтра не занят. Заеду к вам, поговорим. Привезу чего-нибудь вкусного.

— У нас игло́к нет. Ты бы не мог достать?

— Постараюсь.

Она взвалила на спину вязанку и поплелась по дороге. Ганс вернулся в Суассон.

Он побоялся брать мотоцикл и на следующий день взял напрокат велосипед. Пакет с продуктами он привязал к раме. Пакет был больше обычного, в нем находилась еще бутылка шампанского. На ферму он приехал, когда стемнело, и он мог быть уверен, что вся семья вернулась домой после работы. Он вошел в кухню. Там было тепло и уютно. Мадам Перье стряпала, муж читал «Пари суар». Аннет штопала чулки.

— Вот взгляните, привез вам иголки,—сказал Ганс, развязывая пакет.— А это материя тебе, Аннет.

— Она мне не нужна.

— Разве?—ухмыльнулся он.— А не пора тебе начать шить белье ребенку?

— Верно, Аннет, пора,—вмешалась мать,—а у нас ничего нет.—Аннет не поднимала глаз от работы. Мадам Перье окинула жадным взглядом содержимое пакета.— Шампанское!

Ганс издал смешок.

— Сейчас я вам скажу, зачем я его привез. У меня возникла идея.—Мгновение он колебался, потом взял стул и уселся напротив Аннет.—Право, не знаю, с чего начать. Я сожалею о том, что произошло тогда, Аннет. Не моя это была вина, виной тому обстоятельства. Можешь ты меня простить?

Она метнула в него ненавидящий взгляд.

— Никогда! Почему ты не оставишь меня в покое? Мало тебе того, что ты погубил мою жизнь?

— Я как раз об этом. Может, и не погубил. Когда я услышал, что у тебя будет ребенок, меня всего точно перевернуло. Все теперь стало по-другому. Я горжусь этим.

— Гордишься? — бросила она ему едко.

— Я хочу, чтобы ты родила ребенка, Аннет. Я рад, что тебе не удалось от него отделаться.

— Как у тебя хватает наглости говорить мне это?

— Да ты послушай! Я ведь только об этом теперь и думаю. Через полгода война кончится. Весной мы поставим англичан на колени. Дело верное. И тогда меня демобилизуют, и я женюсь на тебе.

— Ты? Почему?

Сквозь загар у него проступил румянец. Он не мог заставить себя произнести это по-французски и потому сказал по-немецки — он знал, что Аннет понимает немецкий:

— Ich liebe dich¹.

— Что он говорит? — спросила мадам Перье.

— Говорит, что любит меня.

Аннет запрокинула голову и закатилась пронзительным смехом. Она хохотала все громче и громче, она не могла остановиться; из глаз у нее текли слезы. Мадам Перье больно ударила ее по щекам.

— Не обращай внимания, — обратилась она к Гансу. — Истерика. В ее положении это бывает.

Аннет с трудом перевела дыхание и овладела собой.

— Я захватил бутылку шампанского, отпразднуем нашу помолвку.

— Вот это-то и обиднее всего, — сказала Аннет, — что нас победили дураки, безмозглые дураки.

Ганс продолжал уже по-немецки:

— Я и сам не знал, что люблю тебя, не знал до того дня, как ты сказала, что у тебя будет ребенок. Меня тогда как громом ударило, но я думаю, что люблю-то я тебя уже давно.

— Что он говорит? — спросила мадам Перье.

— Ничего. Чепуха.

Ганс снова перешел на французский. Пусть родители Аннет услышат все, что он собирается сказать.

¹ Я люблю тебя (нем.).

— Я бы и сейчас на тебе женился, только мне не разрешат. И ты не думай, что я ничего собой не представляю. Отец у меня со средствами, у нашей семьи солидное положение. Я старший сын, и ты ни в чем не будешь нуждаться.

— Ты католик?—спросила мадам Перье.

— Да, я католик.

— Вот это хорошо.

— У нас там, где мы живем, места красивые и земля отличная. Лучшего участка не сыщешь от Мюнхена до Инсбрука. И участок наш собственный. Мой дед купил его после войны семидесятого года. У нас и машина есть, и радио, и телефон поставлен.

Аннет повернулась к отцу.

— Он на редкость тактичен, этот субъект,—сказала она иронически, поглядев на Ганса в упор.— Да, конечно, мне там уготована сладкая жизнь—мне, иностранке из побежденной страны, с ребенком, рожденным вне брака. Все это гарантирует мне полное счастье, не правда ли?

Тут впервые заговорил Перье, человек скупой на слова.

— Должен признать,—сказал он Гансу,—ты это поступаешь великодушно, ничего не скажешь. Я сам участвовал в прошлой войне, и все мы на войне вели себя не так, как в мирное время. Уж такова человеческая натура, ничего не поделаешь. Но теперь, когда сын наш умер, у нас никого нет, кроме дочери. Мы не можем расстаться с Аннет.

— Я уже подумал, что вам это нелегко будет. И вот что я решил: я останусь здесь.

Аннет окинула Ганса быстрым взглядом.

— Как это надо понимать?—спросила его мадам Перье.

— У меня есть брат. Он останется с отцом, будет ему помогать. Мне здешние края нравятся. Человек предприимчивый и с головой может добиться толку на такой ферме, как ваша. После войны многие немцы осядут во Франции. Всем известно, что у французов земли много, а обрабатывать ее некому. Я сам слышал это от одного нашего лектора в Суассоне. Он сказал, что треть французских ферм запущена, потому что на них некому работать.

Старики переглянулись. Аннет видела, что родители готовы идти на уступки. Именно об этом они и мечтали с тех пор, как умер их сын: им нужен хороший зять, здоровый, сильный, чтоб было кому заботиться о ферме, когда сами они состарятся и смогут выполнять лишь самую легкую работу.

— Это меняет дело,— сказала мадам Перье.— О таком предложении стоит подумать.

— Замолчите,— сказала Аннет резко. Она наклонилась вперед и впиалась в немца горящим взглядом.— У меня есть жених, учитель, он преподавал в том же городе, где и я. После войны мы поженимся. Он не такой здоровяк и не такой смазливый, как ты. Он невысок и узкоплеч. Его красота—его ум, он светится у него в лице, и вся сила его—сила душевного величия. Он не варвар, он культурный человек, за его плечами тысяча лет цивилизации. Я люблю его. Люблю всей душой.

Ганс помрачнел. Ему не приходило в голову, что Аннет может любить еще кого-то.

— Где он сейчас?

— Где ему быть, как ты думаешь? В Германии, в плену, умирает с голоду. А вы тут живете припеваючи. Сколько раз мне повторять, что я тебя ненавижу? Ты ждешь, чтоб я тебя простила? Никогда—слышишь? Ты готов искупить вину? Ты глуп.— Она откинула голову: в глазах ее горела нестерпимая тоска.— Я опозорена. Но он простит меня, у него нежная душа. Меня только мучит мысль, что вдруг когда-нибудь у него возникнет подозрение, что, может, ты взял меня не силой, что я сама отдалась тебе за сыр и масло, за шелковые чулки. Я была бы не единственная, такие есть. Во что превратится тогда наша жизнь? Между нами будет стоять ребенок—ребенок, прижитый от немца. Твой ребенок, такой же большой и белокурый, такой же голубоглазый, как ты. О боже, боже, за что я так наказана?

Она порывисто встала и вышла из кухни. С минуту все трое, оставшиеся в кухне, молчали. Ганс уныло уставился на бутылку с шампанским. Потом вздохнул и поднялся. Когда он шагнул к двери, мадам Перье последовала за ним.

— Ты это серьезно сказал, что женишься на ней?—спросила она вполголоса.

— Да. Абсолютно серьезно. Я люблю ее.

— И ты не заберешь ее отсюда? Ты останешься здесь и будешь работать на ферме?

— Даю слово.

— Старик мой вечно работать не сможет, это ясно. Дома тебе пришлось бы делить все с братом. Здесь тебе ни с кем не придется делиться.

— Да, и это тоже, конечно, имеет значение.

— Мы никогда не одобряли, что Аннет собирается замуж за этого своего учителя. Но тогда еще был жив сын. Он говорил, пусть выходит, за кого хочет. Аннет любит его без памяти. Но теперь сын наш, бедный мальчик, умер, теперь дело другое. Одной ей с фермой не управиться, если б даже она захотела.

— Просто срам продавать такую ферму. Я-то знаю, как дорога человеку своя земля.

Они дошли до дороги. Мадам Перье взяла его за руку, слегка сжала ее.

— Приходи опять поскорее.

Ганс видел, что старуха держит его сторону. Этой мыслью он и утешался, когда ехал обратно в Суассон. Досадно, что Аннет влюблена в другого. По счастью, он в плену. К тому времени, как его выпустят, ребенок успеет родиться. И это может изменить отношение Аннет. Женщин разве поймешь? У них в деревне одна была так влюблена в своего мужа, что над ней все потешались, а потом она родила и мужа после этого просто видеть не могла. Как знать, может, что-нибудь в этом роде — только наоборот — произойдет и с Аннет. Теперь, когда он предложил ей вступить с ним в брак, она должна понять, что он парень порядочный. Бог ты мой, до чего же трогательный был у нее вид, когда она сидела вот так, откинув назад голову. И как замечательно она говорила! Актриса на сцене и то не сумела бы выразить все это лучше. И при этом слова ее звучали так естественно. Да, надо признаться, французы говорить умеют. Аннет, безусловно, умна. Даже когда она язвит его своим злым языком, слушать ее — наслаждение. У него у самого не такое уж плохое образование, но он не стоит ее мизинца. Она культурная, вот уж чего у нее не отнять.

— Осел я, — сказал он вслух, продолжая нестись на своем велосипеде. Она же сама сказала про него, что он рослый, сильный, красивый. Разве б она так сказала, если б все это не имело для нее ровно никакого

значения? И про ребенка она говорила, что у него глаза будут голубые, как у отца. Провалился он на этом месте, если его светлые кудри и голубые глаза не произвели на нее впечатления! Ганс самодовольно хмыкнул. Дай срок. Запасемся терпением, а природа свое дело сделает.

Недели проходили одна за другой. Командир части в Суассоне был человек пожилой, не педант: зная, что ожидает солдат весной, он не слишком донимал их работой. Немецкие газеты утверждали, что Англия совершенно разрушена налетами Luftwaffe¹ и что население страны охвачено паникой. Немецкие подводные лодки топят британские суда десятками. Англия голодает. Близятся большие перемены. К лету все будет кончено, немцы станут хозяевами мира. Ганс написал родителям, что собирается жениться на француженке и в придачу получит отличную ферму. Он предложил брату занять денег и выкупить его, Ганса, долю в хозяйстве, чтобы Ганс мог прикупить земли во Франции, расширить участок при ферме. После войны, да при теперешнем курсе, землю можно будет купить за гроши. Ганс расхаживал по ферме со стариком Перье и делился с ним своими планами. Тот спокойно его выслушивал. Надо будет обновить инвентарь. Он, как немец, получит льготы. Трактор устарел, Ганс привезет отличный новый из Германии, и механический плуг тоже. Чтобы ферма давала доход, надо применять новейшие усовершенствования. Мадам Перье потом передавала Гансу, что муж ее считает его очень дельным и знающим. Она теперь принимала Ганса радушно и настояла на том, чтобы он обедал у них каждое воскресенье. Она переименовала его имя на французский лад и звала его Жаном. Он охотно помогал по хозяйству. Аннет уже не могла выполнять тяжелую работу, и на ферме был очень полезен человек, всегда готовый подсобить, если нужно.

Аннет держалась все так же неприступно и враждебно. Она никогда не заговаривала с ним сама, только отвечала, если он что спрашивал, и при малейшей возможности уходила наверх, к себе в комнату. Когда наверху становилось совсем уж невыносимо холодно, она спускалась в кухню, усаживалась возле печки, шила или читала, не обращая на Ганса ни малейшего внимания, будто его тут и не было. Она поздоровела, расцвела,

¹ Германский военно-воздушный флот.

на щеках у нее заиграл румянец. В глазах Ганса она была красавицей. Близящееся материнство придавало ей какое-то особое достоинство. Ганс глядел на нее и ликовал в душе.

Однажды, подъезжая к ферме, он увидел, что по дороге навстречу идет мадам Перье и машет рукой, чтобы он остановился. Ганс резко затормозил.

— Я поджидаю тебя уже целый час. Думала, ты и не приедешь. Не заходи к нам сегодня. Пьер умер.

— Какой Пьер?

— Пьер Гавэн. Учитель, за которого Аннет собиравлась замуж.

Сердце у Ганса радостно дрогнуло. Вот это удача! Теперь он свое возьмет!

— Она очень расстроена?

— Она не плачет. Я было пыталась заговорить с ней, но она на меня так и накинулась. Если ты ей сегодня покажешься на глаза, она, чего доброго, всадит в тебя нож.

— Я ж не виноват, что он умер. Как вы об этом узнали?

— Его друг бежал из плена, пробрался через Швейцарию. Он написал Аннет. Письмо получили сегодня утром. Заключение в лагере подняли бунт: их там морили голодом. И зачинщиков расстреляли. Среди них оказался и Пьер.

Ганс молчал. Пьер, по его мнению, получил по заслугам. Они, что ж, воображают, что концентрационный лагерь это им курорт, что ли?

— Дай ей время прийти в себя,—продолжала мадам Перье.—Когда успокоится, я с ней переговорю. Я напишу, когда тебе можно будет зайти к нам.

— Ладно. Вы меня поддержите, а?

— Можешь быть уверен. Мы с мужем согласны. Мы все обсудили и порешили на том, что нам ничего не остается, как принять твоё предложение. Он не дурак, мой муж, а он говорит, что единственное спасение для Франции—это содружество с немцами. И уж что бы там ни было, ты мне пришелся по душе. Я даже так думаю, что ты более подходящий муж для Аннет, чем тот учитель. Да еще ребенок у вас будет, и все такое.

— Я хочу, чтобы это был мальчик,—сказал Ганс.

— Мальчик и будет, я наверняка знаю. Я уже гадала на кофейной гуще. И на картах гадала. Каждый раз выходит одно и то же: будет мальчик.

— Чуть было не забыл, тут у меня для вас газеты,— сказал Ганс, поворачивая мотоцикл и собираясь садиться.

Он передал ей три номера «Пари суар». Старик Перье читал их каждый вечер. Он читал о том, что французы должны трезво смотреть на факты, что они должны признать «новый порядок», который Гитлер собирается установить в Европе; он читал о том, что немецкие подводные лодки повсюду бороздят моря, что генеральный штаб продумал в мельчайших деталях план кампании, которая поставит Англию на колени, и что американцы слишком плохо подготовлены, слишком неоперативны, слишком раздроблены, чтобы оказать помощь Англии. Он читал о том, что Франция должна воспользоваться самым небом посланной ей возможностью и в лояльном сотрудничестве с немецким рейхом восстановить свое почетное положение в обновленной Европе. И писали все это не немцы, нет,— сами французы. Перье одобрительно кивал головой, читая о том, что плутократы и евреи будут истреблены и что простой народ во Франции возьмет наконец то, что принадлежит ему по праву. Они это верно говорят, те умные люди, которые объясняют, что Франция—в основе своей страна земледельческая и ее опора—трудолюбивые фермеры. Во всем этом есть здравый смысл.

Как-то вечером, когда они кончали ужинать—прошло десять дней после получения известия о смерти Пьера Гавэна,—мадам Перье, заранее договорившись с мужем, обратилась к Аннет:

— Я на днях написала Жану, чтоб он зашел к нам завтра.

— Спасибо за предупреждение. Я не выйду из своей комнаты.

— Послушай, дочка, пора бросить глупости. Смотри на вещи трезво. Пьер умер. Жан тебя любит, готов на тебе жениться. Парень он красивый. Любая девушка гордилась бы таким мужем. Как нам управиться на ферме без его поддержки? Он обещал купить на свои деньги трактор и плуг. Уж что было, то было, постарайся забыть об этом.

— Зря тратишь слова, мама. Я и прежде зарабатывала себе на жизнь, заработаю и потом. Я его ненавижу. Мне ненавистно его тщеславие, его самонадеянность. Я готова убить его. Но мне и смерти его мало. Я хотела бы причинить ему такие муки, какие он причинил мне. Мне кажется, я умру спокойно, если только найду способ ранить его так же больно, как он меня.

— Какой ты вздор говоришь, бедное ты мое дитя.

— Мать права, дочка,— сказал Перье.— Нас победили, и приходится мириться с обстоятельствами. Надо стараться наладить отношения с победителями. Мы поумнее их, и, если сумеем пустить в ход свои козыри, мы еще окажемся в выигрыше. Франция вся насквозь прогнила.. Евреи и плутократы — вот кто погубил нашу страну. Почитай-ка газеты, сама поймешь.

— И ты полагаешь, что я верю хоть единому слову этой несчастной газеты? Ты думаешь, почему он тебе ее таскает? Потому что это продажная газета, она продана немцам. Те, кто пишет в ней,— изменники. Да, изменники! Господи, хоть бы дожить мне до того дня, когда толпа разорвет их в клочки! Все они куплены, куплены на немецкие деньги. Подлецы!

Мадам Перье начала терять терпение.

— И что ты так взъелась на парня? Ну да, он взял тебя силой. Он был пьян, ничего не соображал. Не ты первая, не ты последняя, с кем такое случилось. Ведь вот он тогда ударил твоего отца, из него кровь хлестала, как из борова, а разве отец твой помнит зло?

— История неприятная, но я предпочитаю забыть о ней,— сказал Перье.

Аннет насмешливо захохотала.

— Тебе бы священником быть. Ты прощаешь обиды с истинно христианским смирением.

— Ну и что тут плохого? — сердито спросила мать.— Парень сделал все, что мог, чтобы загладить вину. Где бы отец твой доставал табак все эти месяцы, если бы не Жан? И если мы не голодали, так только благодаря Жану.

— Будь у вас хоть капля гордости, хоть малейшее чувство достоинства, вы бы швырнули ему в лицо его подачки.

— Ты ведь тоже кое-чем от них попользовалась. Скажешь, нет?

— Нет! Ни разу!

— Это неправда, и ты сама отлично это знаешь. Да, ты отказывалась есть сыр, который он принес, и масло, и сардины. Но суп ты ела, а я в него положила мясо, которое принес нам Жан. И вот этот салат сегодня за ужином: ты бы ела его без всякой приправы, если бы Жан не достал мне масла.

Аннет глубоко вздохнула. Она провела рукой по глазам.

— Знаю. Я не хотела притрагиваться, но не могла удержаться: я так наголодалась. Да, я знала, что в супе мясо, которое он принес, и все-таки поела супу. И я знала, что салат приправлен его маслом. Я решила отказаться, но мне так хотелось есть! Это не я его ела, а голодный зверь, который сидит во мне.

— Так ли, этак ли, а суп ты ела.

— Да, со стыдом, с отчаянием в душе. Сперва они сломили танками и самолетами нашу силу, а теперь, когда мы беззащитны, сокрушают наш дух, морят нас голодом.

— Драмы разводить, дочка, ни к чему, этим делу не поможешь. Ты женщина образованная, а здравого смысла в тебе нет. Забудь про то, что было, подумай, ведь ребенку нужно дать отца, не говоря уж о том, что мы получим такого ценного работника на ферме. Он один стоит двух батраков. Так-то будет благоразумнее.

Аннет устало пожала плечами, и все трое умолкли.

На следующий день приехал Ганс. Аннет хмуро взглянула на него, но не шелохнулась, не проронила ни слова. Ганс улыбнулся.

— Спасибо, что не убежала от меня,—сказал он.

— Родители приглашали тебя зайти. Они ушли в деревню. Я пользуюсь случаем поговорить с тобой начистоту. Садись.

Он снял шинель и каску, пододвинул стул к столу.

— Отец с матерью хотят, чтобы я вышла за тебя замуж. Ты повел себя ловко. Своими подачками и посулами ты обвел их вокруг пальца. Они верят тому, что пишут в газете, которую ты им носишь. Так вот, знай: я никогда не стану твоей женой. Я прежде не подозревала, я и представить себе не могла, что можно так ненавидеть человека, как я ненавижу тебя.

— Послушай, давай я буду говорить по-немецки. Ты достаточно хорошо знаешь немецкий, поймешь, что я скажу.

— Еще бы мне не знать немецкий! Я преподавала его. Я два года была гувернанткой двух девочек в Штутгарте.

Ганс перешел на немецкий, она же продолжала говорить по-французски.

— Я не только люблю тебя, я тобой восхищаюсь. Я восхищаюсь твоими манерами, твоей культурностью. В тебе есть что-то для меня непонятное. Я уважаю тебя. Ну да, я понимаю, сейчас ты не захочешь выйти за меня замуж, будь это даже возможно. Но ведь Пьер умер.

— Не смей произносить его имя! — крикнула она вне себя. — Этого еще не хватало!

— Я только хотел выразить тебе сочувствие по поводу того, что он...

— Безжалостно расстрелян немецкими тюремщиками.

— Может, со временем ты станешь горевать о нем меньше. Знаешь, когда умирает человек, которого любишь, кажется, этого и не пережить. Но постепенно оно забывается. Ну, а в таком случае, ты не думаешь, что твоему ребенку нужен отец?

— Допустим, если б я даже не любила другого: неужели ты воображаешь, что я смогла бы когда-нибудь забыть, что ты немец, а я француженка? Если бы ты не был туп, как только могут быть тупы немцы, ты бы сообразил, что ребенок этот будет для меня вечным укором. Думаешь, у меня нет друзей? Как я стану глядеть им в глаза — я, у которой ребенок от немецкого солдата? Я прошу тебя об одном: оставь меня одну с моим позором. Уходи, ради бога, уходи и никогда не возвращайся.

— Но ведь это и мой ребенок. Я хочу его.

— Ты? — воскликнула она изумленно. — Что он тебе — ребенок, зачатый в скотском опьянении?

— Ты не понимаешь. Я горд и счастлив. Когда я услышал, что ты родишь, я тут-то и понял, что люблю тебя. Я сперва и сам не поверил, до того это было неожиданно. Неужели ты не понимаешь? Он для меня все на свете, этот ребенок. Не знаю, как тебе выразить это. Он меня так задел за душу, что я сам себя не понимаю.

Аннет внимательно посмотрела на него, и глаза ее странно блеснули. Казалось, она торжествует. Она коротко рассмеялась.

— Не знаю, что во мне сильнее: ненависть к скотству немцев или презрение к их сентиментальности.

Он, казалось, не слышал ее.

— Я все время только о нем и думаю.

— Ты так уверен, что будет мальчик?

— Я знаю, что будет мальчик. Мне хочется держать его на руках, я хочу сам учить его ходить. А когда подрастет, научу всему, что сам знаю. Научу ездить верхом, научу стрелять. В вашем ручье рыба водится? Научу его удить рыбу. Я буду самым счастливым отцом на свете.

Она смотрела на него в упор холодным, жестким взглядом. Выражение лица у нее было напряженное, суровое. Страшная мысль возникала и складывалась у нее в мозгу. Он улыбнулся ей обезоруживающей улыбкой.

— Когда ты увидишь, как крепко я люблю нашего сына, ты, может, меня тоже полюбишь. Я буду тебе хорошим мужем, моя красавица.

Она молчала. И только по-прежнему смотрела на него пристально и мрачно.

— Неужели у тебя не найдется для меня ласкового словечка? — сказал Ганс.

Аннет вспыхнула. Она крепко стиснула руки.

— Пусть меня презирают другие. Но я никогда не совершу поступка, за который буду презирать себя сама. Ты мой враг и всегда останешься для меня врагом. Мне бы только дожить до того дня, когда Франция будет снова свободна. День этот настанет. Пусть через год, через два, может, даже через тридцать лет, но он настанет. Остальные могут поступать, как им заблагорассудится, но я никогда не примирюсь с теми, кто поработил мою родину. Я ненавижу и тебя и ребенка, которого зачала от тебя. Да, мы потерпели поражение. Но это не значит, что мы покорены, ты это еще увидишь. А теперь иди. Я приняла твердое решение, и никакая сила на свете не заставит меня изменить ему.

Минуты две он молчал.

— Ты позаботилась насчет доктора? Все расходы я беру на себя.

— Ты что, думаешь, мы хотим расславить наш позор по всей округе? Мать сама сделает все, что нужно.

— Ну, а что, если роды пойдут неблагополучно?

— А что, если ты не будешь соваться не в свое дело?

Ганс вздохнул и поднялся со стула. Он вышел, прикрыв за собой дверь. Она следила за ним в окно, пока он шел по тропинке, ведущей к дороге, с яростью в душе она вдруг осознала, что какие-то сказанные им слова разбередили в душе ее чувство, неведомое ей прежде.

— Боже, боже мой, дай мне сил! — выкрикнула она в отчаянии.

Старая дворняжка, много лет прожившая на ферме, подскочила к Гансу, свирепо на него лая. Ганс вот уже несколько месяцев пытался приручить собаку, но все без толку. Когда он тянулся ее погладить, она отскакивала, рыча и скаля зубы. И сейчас, вымещая на ней обиду на неоправдавшиеся надежды, давая выход раздражению, Ганс сильным пинком грубо отшвырнул собаку, она отлетела в кусты, взвыла и, прихрамывая, побежала прочь.

— Зверь! — воскликнула Аннет. — Все ложь, ложь! И я еще по слабости своей чуть не начала его жалеть!

На стене возле двери висело зеркало. Аннет подошла к нему. Она выпрямилась и улыбнулась своему отражению. Но улыбка получилась похожая на злобную гримасу.

Стоял уже март. В суассонском гарнизоне началась кипучая деятельность. Усиленная муштра и то и дело инспекции. Носились всякие слухи. Несомненно, часть готовили к отправке, но куда именно, об этом рядовые солдаты могли только гадать. Одни полагали, что наступил наконец момент вторжения в Англию, другие держались того мнения, что их пошлют на Балканы; поговаривали и об Украине. Все это время Ганс был очень занят. На ферму он смог поехать только через две недели.

День выдался пасмурный, холодный. Моросил дождь, но казалось, он того и гляди перейдет в снег и ветер подхватит и закружит снежные хлопья. Все вокруг было сумрачно и безрадостно.

— Наконец-то! — воскликнула мадам Перье, когда вошел Ганс. — Мы уж думали, ты помер.

— Раньше приехать не мог. Каждый день ждем приказа об отправлении. Когда будет приказ, неизвестно.

— Ребенок родился сегодня утром. Мальчик.

От бурной радости сердце у Ганса захолонуло. Он кинулся к старухе, обнял ее и расцеловал в обе щеки.

— В воскресенье родился, счастливым будет. Ну, сейчас откупорим шампанское. Как чувствует себя Аннет?

— Хорошо — насколько хорошо можно чувствовать себя в ее положении. Роды были легкие. С ночи начались схватки, а к пяти утра уже родила.

Старик Перье сидел у самой печки, курил трубку. Он спокойно улыбнулся не помнящему себя от радости Гансу.

— Это со всеми так бывает, когда у кого родится первый ребенок, — сказал он.

— Волосики у мальчика густые, и они светлые, как у тебя. А глаза голубые. Все так, как ты и думал, — сказала мадам Перье. — Первый раз вижу такого красивого младенчика. Весь будет в папу.

— Бог ты мой, до чего же я рад! — восклицал Ганс. — До чего же здорово жить на свете! Я хочу повидать Аннет.

— Не знаю, согласится ли она. Нельзя ее тревожить, а то еще молоко пропадет.

— Нет-нет, тогда не надо. Ни в коем случае. Если не хочет меня видеть, не надо. Но дайте мне хоть на минутку взглянуть на сына!

— Подожди. Попробую принести его сюда.

Мадам Перье вышла. Слышны были ее тяжелые шаги, пока она медленно взбиралась по лестнице. Но почти тут же ступени снова затрещали под ее быстрыми шагами. Она, запыхавшись, вбежала в кухню.

— Ее там нет. Ее нет в комнате. И ребенка нет.

Перье и Ганс вскрикнули, и все трое, не соображая, что делают, кинулись по лестнице наверх. Резкий свет зимнего дня беспощадно обнажал убогую обстановку: железная кровать, дешевый шкаф, комод. В комнате никого не было.

— Где она? — вопила мадам Перье. Она выбежала в узкий коридорчик, распахнула там двери, громко звала дочь.

— Аннет! Аннет! Господи, она просто с ума сошла!

— Может, она внизу в гостиной?

Они бросились вниз, вбежали в гостиную, давно нежилую. Оттуда пахло ледяным холодом. Они заглянули в кладовку.

— Нигде нет! Ушла! Случилось что-то ужасное!

— Как она могла уйти из дому? — спросил Ганс, замирая от тревоги.

— Да через парадную дверь, дурень ты!

Перье пошел к парадной двери, осмотрел ее.

— Да, верно. Засов отодвинут.

— Господи! Боже мой! — вскрикивала мадам Перье. — Это погубит ее!

— Надо ее поискать, — сказал Ганс. По привычке он побежал обратно в кухню — он всегда входил и выходил только через кухню. Старики бежали за ним следом.

— Куда идти?

— Господи! Ручей... — вдруг ахнула старуха.

Ганс остановился как вкопанный. Он ошеломленно, с ужасом смотрел на старуху.

— Мне страшно! — кричала она. — Мне страшно!

Ганс распахнул дверь, и в тот же момент вошла Аннет. На ней была только ночная рубашка и тонкий халатик из вязаного шелка: бледно-голубые цветы по розовому полю. Она вся вымокла, мокрые, распущенные волосы прилипли к голове и свисали на плечи грязными путанными прядями. Она была смертельно бледна. Мадам Перье кинулась к дочери, обняла ее.

— Где ты была? Бедная моя дочка, ты промокла насквозь. Сумасшедшая!

Но Аннет оттолкнула ее. Она взглянула на Ганса.

— Ты пришел вовремя.

— Где ребенок? — воскликнула мадам Перье.

— Я должна была сделать это немедленно. Я боялась, что позже у меня не хватит мужества.

— Аннет, что ты сделала?

— То, что велел мне долг. Я опустила его в ручей и держала под водой, пока он не умер...

Ганс дико вскрикнул — это был крик смертельно раненного зверя. Он закрыл лицо руками и, шатаясь как пьяный, кинулся вон из дома. Аннет рухнула в кресло и, опустив голову на сжатые кулаки, страстно, неистово зарыдала.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛУНА И ГРОШ. <i>Перевод Н. Ман</i>	5
ТЕАТР. <i>Перевод Г. Островской</i>	203
РАССКАЗЫ	
Рыжий. <i>Перевод Е. Бучацкой</i>	433
На окраине империи. <i>Перевод Н. Галь</i>	456
Источник вдохновения. <i>Перевод М. Лорие</i>	488
Человек со шрамом. <i>Перевод В. Ашкенази</i>	523
Жиголо и Жиголетта. <i>Перевод И. Бернштейн</i>	527
Непокоренная. <i>Перевод Н. Дехтеревой</i>	545

СОМЕРСЕТ МОЭМ

Луна и грош

Театр

Рассказы

Редактор

Н. Н. Ермолаева

Оформление художника

Д. Б. Шимилиса

Художественный редактор

Н. Н. Каминская

Технический редактор

Л. Ф. Молотова

Сдано в набор 21.08.82. Подписано к печати 27.12.82.

Формат 84×108¹/₃₂. Бумага офсетная № 1.

Гарнитура «Баскервиль». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 30,24. Уч.-изд. л. 30,21. Тираж 3 000 000 экз

(10-й завод 2250001—2500000).

Цена 2 р. 80 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
газеты «Правда» имени В. И. Ленина.

125865. ГСП. Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии «Уральский рабочий»,
г. Свердловск, проспект Ленина, 49.

Заказ № 156.



Уважаемые товарищи!

С 1974 года организован сбор макулатуры с одновременной продажей популярных книг отечественных и зарубежных авторов.

Применение макулатуры для производства бумаги дает возможность экономить остродефицитное древесное сырье, значительно уменьшить расходы по производству бумаги.

Использование одной тонны макулатуры позволяет получить 0,7 тонны бумаги или картона, заменить 0,85 тонны целлюлозы или 4,4 кубического метра древесины. Кроме того, при этом сберегаются леса нашей Родины, чистота ее рек, озер, воздушного пространства.

Сбор и сдача макулатуры — важное государственное дело.

*Сдавайте макулатуру
заготовительным организациям!*

COMERCE
MODA



ЛУНА И ГРОШ
ТЕАТР

